

ACTA ANTIQUA

ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE

ADIUVANTIBUS

A. DOBROVITS, I. HAHN, J. HARMATTA, J. HORVÁTH,
GY. MORAVCSIK

REDIGIT

I. TRENCSÉNYI-WALDAPFEL

TOMUS XIV

FASCICULI 1-2



AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST
1966

ACTA ANT. HUNG.

ACTA ANTIQUA

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KLASSZIKA-FILOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEI

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST V., ALKOTMÁNY UTCA 21.

Az *Acta Antiqua* német, angol, francia, orosz és latin nyelven közöl értekezéseket a klasszika-filológia köréből.

Az *Acta Antiqua* változó terjedelmű füzetekben jelenik meg. Több füzet alkot egy kötetet.

A közlésre szánt kéziratok a következő címre küldendők:

Acta Antiqua, Budapest 502, Postafiók 24.

Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadóhivatali levelezés.

Az *Acta Antiqua* előfizetési ára kötetenként belföldre 80 Ft, külföldre 110 forint. Megrendelhető a belföld számára az „Akadémiai Kiadó”-nál (Budapest V., Alkotmány utca 21. Bankszámla 05-915-111-46), a külföld számára pedig a „Kultúra” Könyv- és Hírlap-Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest I., Fő utca 32. Bankszámla 43-790-057-181) vagy külföldi képviselőinél és bizományosainál.

Die *Acta Antiqua* veröffentlichen Abhandlungen aus dem Bereiche der klassischen Philologie in deutscher, englischer, französischer, russischer und lateinischer Sprache.

Die *Acta Antiqua* erscheinen in Heften wechselnden Umfanges. Mehrere Hefte bilden einen Band.

Die zur Veröffentlichung bestimmten Manuskripte sind an folgende Adresse zu senden:

Acta Antiqua, Budapest 502, Postafiók 24.

An die gleiche Anschrift ist auch jede für die Redaktion und den Verlag bestimmte Korrespondenz zu richten.

Abonnementspreis pro Band: 110 Forint. Bestellbar bei dem Buch- und Zeitungsaussenhandels-Unternehmen «Kultúra» (Budapest I., Fő utca 32. Bankkonto Nr. 43-790-057-181) oder bei seinen Auslandsvertretungen und Kommissionären.

ACTA ANTIQUA

ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE

ADIUVANTIBUS

A. DOBROVITS I. HAHN, J. HARMATTA, J. HORVÁTH,
GY. MORAVCSIK

REDIGIT

I. TRENCSENYI-WALDAPFEL

TOMUS XIV



AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST
1966

ACTA ANT. HUNG.

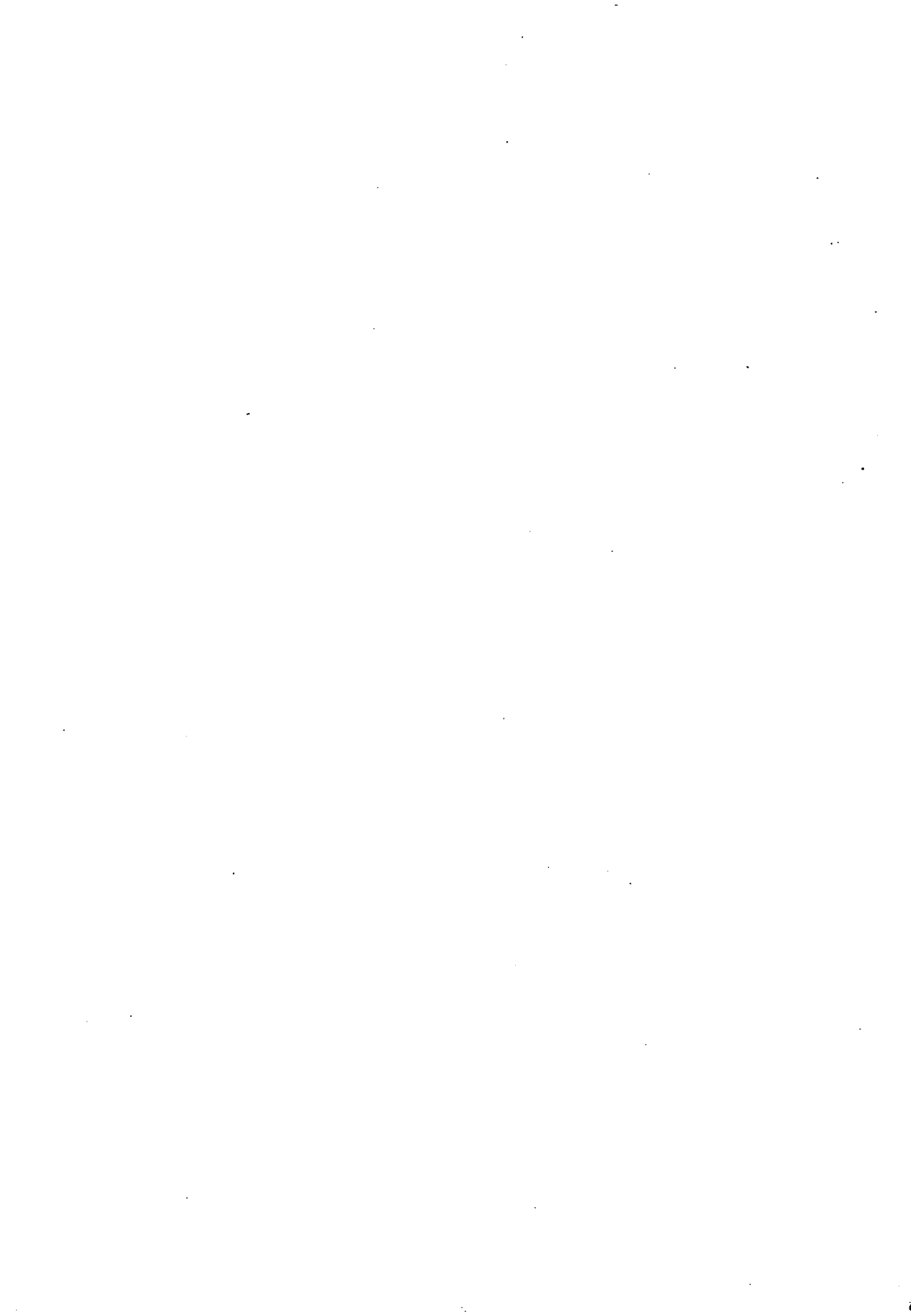


ACTA ANTIQUA

TOM. XIV

INDEX

<i>G. Erdélyi</i> : A Hippolytos Relief from Szőny	211
<i>E. Ferenczy</i> : The Rise of the Patrician-Plebeian State	113
<i>R. Ghirshman</i> : Délégation archéologique française en Iran. Campagne de l'hiver 1965/1966	249
<i>J. Harmatta</i> : Zu den griechischen Inschriften des Aśoka	77
<i>J. Harmatta</i> : The Bisitun Inscription and the Introduction of the Old Persian Cuneiform Script	255
<i>J. Harmatta</i> : New Evidences for the History of Early Medieval Northwestern India	423
<i>D. Hegyi</i> : The Historical Background of the Ionian Revolt	285
<i>I. K. Horváth</i> : <i>Catulli Veronensis liber</i>	141
<i>G. Koshelenko</i> : The Beginning of Buddhism in Margiana	175
<i>L. Kákósy</i> : Der Gott Bes in einer koptischen Legende	185
<i>Z. Múdy</i> : Zwei pannonische Ortsnamen	197
<i>E. Maróti</i> : <i>Currus Achaicus</i>	359
<i>A. Mócsy</i> : Die Vorgeschichte Obermösens im hellenistisch-römischen Zeitalter	87
<i>A. Mócsy</i> : Die Unkenntnis des Lebensalters im Römischen Reich	387
<i>Г. Пузюс</i> : Вопросы римского романа «Сатирикон»	371
<i>S. Schreiber</i> : Neue Bemerkungen zu den antiken Zusammenhängen der Aggada	225
<i>A. P. Smotrytsch</i> : Die Vorgänger des Herondas	61
<i>Á. Szabó</i> : Theaitetos und das Problem der Irrationalität in der griechischen Mathematikgeschichte	303
<i>I. Trencsényi-Waldapfel</i> : Werden und Wesen der bukolischen Poesie	1
<i>L. Varga</i> : De operibus philologicis et poeticis Ioannis Sambuci	231
<i>J. Zsilka</i> : Probleme des Aorists bei Homer	33
<i>R. Lattimore</i> : Story Patterns in Greek Tragedy. (Rec. <i>R. Falus</i>)	245



И. ТРЕНЧЕНИ-ВАЛЬДАПФЕЛЬ:

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СУЩНОСТЬ БУКОЛИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ

(Резюме)

Сравнительные этнографические исследования подтверждают античные традиции относительно греческого народного обычая буколиазмоса. Поразительные совпадения между народно-поэтическими формами, живущими в современных народных обычаях, сходных с греческим буколиазмом, и между идилиями Теокрита подтверждают заявление античных греческих и римских грамматиков, что литературный жанр буколической поэзии корнями восходит к народной поэзии. Теокрит не только развивает дальше поэтические жанры народного буколиазмоса, — например, буколическое соревнование в пятой идилии, или буколическую песню нищего в шестнадцатой идилии, — но и реалистично изображает народный обычай буколиазмоса наряду с характерным праздничным одеянием буколиастов в седьмой идилии. Здесь идет речь о празднике урожая, но можно доказать, что народные игры буколиазмоса состоялись и в праздничные дни зимнего солнцестояния, так как и теперь у различных народов среди народных обычаев, в первую очередь, в рождественских праздниках можно найти родственные элементы греческого буколиазмоса. Для всех этих народных обычаев характерно, что пастухи или крестьянские парни, наряженные пастухами, иногда надевающие маски животных, прося подаяния, благославляют тот дом, в котором их приняли сердечно, и носят хозяина-скопи-дома.

Так называемые этиологические сказания, указывающие на происхождение греческого буколиазмоса, являются весьма различными по своему содержанию, но их общей чертой является то, что основание обычая они связывают с очищением от какого-то тяжелого греха или же с минованием несчастья или опасности и приписывают избавление от них богине Артемиды. Существует такая традиция, согласно которой пастухи заменяют девственниц, первоначально участвовавших при жертвоприношениях в честь Артемиды. Пастухи считались достойными участия в жертвоприношениях, потому что их кроткий образ жизни сохранил память о золотом веке. Мифологическим образцом для участников буколиазмоса является Дафний — любимец Артемиды, этот кроткий пастух, который точно также противопоставляется жестокому королю-земледельцу Литурэссу, как в ветхом завете Авель противопоставляется Канну.

Дафний точно также как Адонис является греческим вариантом месопотамского Даму-Думузи-Тамуза, и по всей вероятности относится к тому же арханчному слою восточных заимствований греческой культуры, к которому относится знакомство с вавилонским календарём и восточные элементы поэзии Гезиода. Оплакивание рано умершего Дафния в первой идилии Теокрита и в пятой эклоге Вергилия содержит в себе такие же совпадения в деталях как с греческими оплакиваниями Адониса, так и с месопотамскими текстами Думузи.

Эта параллель позволяет сделать вывод относительно мотива воскресения Дафния. Следовательно, Вергилий не противоречит традициям буколиазмоса, когда в пятой эклоге после оплакивания Дафния воспевает его восхождение на небо. Хронология мифа определяет последовательность четвертой и пятой эклог: рождение ребёнка, смерть юноши и его апофеоз составляют единство одного «языческого евангелия». Это тем более является поразительным, что в хронологии римской истории событие, отмеченное в пятой эклоге — смерть Юлия Цезаря и его возможное вознесение — предшествует рождению ребёнка в доме миролюбивого консула Азиния Полия, которое дало повод для написания четвертой эклоги. Но поэт связывает оба события с надеждой на мир золотого века, на избавление от грязи гражданской войны согласно настоящей сущности народного буколиазмоса, который является катартическим, то есть он происходит из древнего обряда очищения от грехов.

Е. ЖИЛКА

ПРОБЛЕМЫ АУРИСТА У ГОМЕРА

(Резюме)

В статье исследуются взаимосвязи лексического значения и глагольной формы, в первую очередь ауриста. Автор приходит к заключению, что очень часто в противоположность лексическому значению формы имперфекта в ауристе возникает новое значение глагола.

В то же самое время это новое лексическое значение воздействует на форму. В ауристе, в противоположность оригинальному ингрессивному и эгрессивному значениям, возникает весьма общая пунктуальная сторона, то есть более отвлеченное значение словаря лексикона и весьма отвлеченное акциональное содержание (agr. punct.) возникают при воздействии друг на друга.

А. МОЧИ

ПРЕДИСТОРИЯ ВЕРХНЕЙ МЕЗИИ В ЭЛЛИНИСТИЧЕСКО-РИМСКИЙ ПЕРИОД

(Резюме)

В статье вначале рассматриваются источники событий, а затем недатированные источники. На основе этих анализов можно установить, что в V-ом веке до н. э. эта территория находилась под властью племени трибалли. Самое позднее в начале IV века это племя было постепенно вытеснено народом автариате, пришедшим с запада, но власть этого последнего еще не распространялась на южные области, где племя дардани стало независимым. Кельтская инвазия в конце IV века привела к беспокойству, народ автариате исчез бесследно и на его месте появились кельты, господство которых одно время распространилось на большую часть Балканского полуострова. В 279 году новая попытка нашествия кельтов привела к тому, что большая часть территории (на севере) попала под власть политического образования известного под именем Скордиской, а в южных областях укрепилась власть племени дардани. В начале II-ого века образование Скордиской настолько укрепилось, что одно время оно распространяло всю власть и на дардани. В начале I века Скордиской в результате поражения, понесенного от римлян, сократилось до своих старых территорий и в середине I века оно подпало под власть даков. В первой половине I века мези появляются как самостоятельное племя, к периоду римских завоеваний они разделились на несколько ветвей: тимахи и мези. Скордиской, освободившись из-под власти даков, тоже распалось на несколько частей (целегеры). К моменту римского завоевания власть находилась в руках по крайней мере пяти одинаково независимых политических образований.

Э. ФЕРЕНЦИ

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПЛЕБЕЙСКО-ПАТРИЦИАНСКОГО ГОСУДАРСТВА

(Резюме)

Автор занимается наиболее общими проблемами и причинами общественного развития и развития конституционного права пятидесятилетнего периода после издания *leges Liciniae Sextiae* (367 г. до н. э.). С одной стороны, патрицианская реакция, с другой стороны, плебейские средние и низшие слои с неизменным упорством продолжали борьбу против нового господствующего класса, возникшего из плебейской аристократии и союзных с ней патрицианских родов. Под влиянием этой общественной борьбы возникли законы решающего значения с точки зрения конституции нового плебейско-патрицианского государства: *плебисциты* Генуция.

И. К. ХОРВАТ

CATULLI VERONENSIS LIBER

(Резюме)

Ещё Р. Вестфаль указал на ту особенность сборника стихов Катулла, что стихотворени яэтого сборника, составляющие одно целое по содержанию, по интонации и по форме, почти всегда разделяются третим геторогенным стихотворением (иногда несколькими другими). Если произведенный анализ *nugae* распространить на эпиграммы, то можно найти, что там проявляется подобный же принцип: среди любовных стихотворений всегда можно найти одну или несколько эпиграмм издевательского, пасквильного характера. На то, что это явление у римлян не было случайным в данную эпоху, указывали несколько исследователей, в том числе В. Порт и В. Кролл в своей сводной работе, посвященной общим принципиальным вопросам, об античных сборниках стихов. Они обнаружили и то, что при составлении сборников стихов чаще всего применялся принцип *varietas*. Если принять во внимание заявление Плиния (Epist. 1, 16, 5), согласно которому поэты *hendecasyllabus*, следуя примеру Катулла и Кальвия, по такому же принципу составляли свои сборники стихов, то не остаётся никаких сомнений относительно того, что сборник Катулла был составлен сознательно и что автором по крайней мере первой части *nugae* и третьей части *epigrammata* был сам поэт.

З. МАДИ

ДВА ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЯ В ПАННОНИИ

(Резюме)

В старых исследованиях считалось, что паннонское название *Sopiana* являлось личным именем. Когда были обнаружены подобные же географические названия в Галлии, тогда возникла гипотеза о том, что это название было привезено в Паннонию кельтами. Автор доказывает, что причиной общего названия является тождественность природных условий этих двух областей. Корнем географического названия является кельтское слово *vor[u]* болото. Это название было очень распространено на старых кельтских территориях.

Правильным членением географического названия *Scarabantia* является *Scaraban-tia*. Как это установили Г. Крахе и А. Майер второй член является иллирским словом и означает жилище, поселение. Это название происходит от первых известных жителей *Scarabantia*. Первый член географического названия *scara* является словом кельтского происхождения и означает «разбросанное», «отдельно стоящее». Оба названия являются характерными для этого античного поселения.

Г. ЭРДЕИ

БАРЕЛЬЕФ ГИППОЛИТА ИЗ Г. СЁНЯ

(Резюме)

В г. Сёнье в 1957 году в одной могиле маленького позднеримского кладбища был обнаружен обломок барельефа, сделанного из известняка (XIII, 1965, 233 и 248, Т. XXIV, 2). Обломок барельефа, на котором изображена фигура юноши, является частью другого обломка, найденного в прошлом столетии. Восстановленная сцена изображает Гипполита, отвергающего любовное предложение Федры. Барельеф отличается от обычных для римских саркофагов изображений, ближайшей его аналогией является один барельеф из *Flavia Solva*. Барельеф был сделан вероятно, в конце 11-ого столетия. (Таблица 2).

А. САБО

THEAITETOS И ПРОБЛЕМА ИРРАЦИОНАЛИЗМА В ИСТОРИИ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ МАТЕМАТИКИ

(Резюме)

История математики в течение последних ста лет большую роль отводит Theodoros-у и Theaitetos-у в развитии греческой теории иррационализма. Основой этой исторической концепции является так называемый математический раздел (147c—148b) диалога «Theaitetos» Platon-a. Автор этого сочинения исходит из исторического объяснения греческого математического термина «*dynamis*». Он устанавливает, что этот научный термин в значении «величина квадрата» относится ко времени, предшествующему Платону. Поэтому на основе упомянутого платоновского диалога нельзя приписать никакого нового математического открытия ни Theodoros, ни Theaiteto. Филологи и историки, начиная с П. Теннери, без исключения неправильно объясняют «этот платоновский отрывок. (Впрочем мы имеем следы неправильного толкования этого места еще в античности!) Во второй части статьи автор исходя из интерпретации Платона, пытается реконструировать тот исторический процесс, в котором возникла теория иррационализма в доплатоновскую эпоху.

Э. МАРОТИ

CURRUS ACHAICUS

(Резюме)

По мнению автора в с. IV, 3, 3—6 строках Горация речь идет не о двух состязующихся (о кулачном бойце и о гонщике), а о победителе греческих соревнований и о его триумфальном въезде римского полководца, фигурирующего в 6—9 строках. Победителям четырех всеэлленистических игр по традиции принадлежало право торжественного возвращения на родину. Во времена Римской Империи целому ряду вновь организованных соревнований придавали характер *εισελαστικός* — *iselasticus*. Такими были уже в период Августа игры в Никополисе *Ἄχτια*, в Неаполисе *Σεβαστά* и т. д. Автор подтверждает актуальность этого явления в период Горация и указанное толкование исследованного места привлечением широкого круга литературных, эпиграфических и папирусных материалов.

WERDEN UND WESEN DER BUKOLISCHEN POESIE

Die moderne Forschung — bis auf einige Ausnahmen — lehnt als unbrauchbare Schulweisheit die alte Überlieferung ab, die die bukolische Kunstgattung der hellenistischen Literatur aus einem religiösen Volksbrauch bzw. aus der diesem Volksbrauch entsprechenden Volkspoese, den Liedern der sogenannten *bukoliasten* ableitet. F. G. Welcker hat noch wenigstens zugegeben, dass bei Theokrit «eine kunstreiche, aber auf scharfe Beobachtung des Hirtenstandes und guter Kenntnis seiner Sangesart gegründete Nachahmung» vorliegt, und so durch diesen «ersten und einzigen eigentlichen Bukoliker der Griechen» wir gewissermassen auch betreffs seiner volkstümlichen Vorlage unterrichtet sind, das ist aber «alles, was wir von dem Sizilischen Hirtengesang wissen können». Denn es ist nach seiner Meinung «vollkommen klar, dass die Erklärungen der Alten über den Ursprung der bukolischen Poesie aus den Festen der Artemis, sowohl aus den dabei von Hirten gesungenen Hymnen als aus dem Liedchen beim Erheben von Gaben, die eigentliche Frage ganz vorbegehen und ohne alle Kenntnis der Natur der Sache geschrieben sind».¹ Anders beurteilt die Frage nicht viel später É. Egger, der zwar mehr Aufmerksamkeit den literarischen Vorgängern Theokrits, Homer, Hesiod, Sophron, den Komödiendichtern usw. widmet, bei denen, wenn nicht mehr, sich doch gelegentlich eine bukolische Stimmung kundgibt. Er bewertet dennoch mit Recht als ein indirektes Zeugnis für die volkstümliche Hirtenpoese beispielsweise wenigstens die auf Sparta lokalisierte ätiologische Sage, hebt mit gebührendem Nachdruck hervor, dass schon der sizilische Komödiendichter Epicharmos auf das Hirtenlied mehrmals Bezug nimmt und erwähnt beiläufig den Bischof von Kyrene, Synesios, als einen glaubenswürdigen Augenzeugen für das Fortleben des alten Volksbrauchs in der Spätantike.² Seine Annahme, dass Epicharmos in Ἄγρωστίως ein Hirtenlied aufgenommen hat, lässt sich nicht einwandfrei beweisen, dass aber in seinen zwei anderen Stücken nicht nur der Name Diomos vorkam, sondern diesen sonst unbekanntem Erfinder des Hirtenliedes — vielleicht einen dem Daphnis ähnlichen sagenhaften Hirten — Epicharmos gerade in dieser Beziehung erwähnte, geht aus dem Zusammen-

¹ F. G. WELCKER: Kleine Schriften I. Bonn 1844, 408—409.

² É. EGGER: Mémoires de littérature ancienne. Paris 1862, 258—259.

hange bei Athenaios (619ab) klar hervor; hier wird nämlich die Eigenart und Entstehung verschiedener Gattungen der Volkspoesie behandelt, so auch die des Hirtenlides: ἦν δὲ καὶ τοῖς ἡγουμένοις τῶν βοσκημάτων ὁ βοσκολιασμός καλούμενος. Δίωμος δὲ ἦν ὁ βοσκόλος Σικελιώτης ὁ πρῶτος εὐρὼν τὸ εἶδος· μνημονεύει δ' αὐτοῦ Ἐπίχαρμος ἐν Ἀλκίονι καὶ ἐν Ὀδυσσεὶ ναυαγῶ.

Ich wäre bereit, eine gerade in ihrer Unklarheit bezeichnende biographische Überlieferung hinzuzufügen. Wenn man nämlich auch die unbedingt verdorbene Stelle in Iamblichos' *Vita Pythagorae* (241), die vielleicht im Stammbaum des Epicharmos auf einen Thyrsos (vgl. Thyrsis) zu schliessen ermöglicht, ausser acht lassen will, es bleibt dennoch das Suda-Lexikon übrig, wo die andere ständige Figur der bukolischen Poesie, Tityros als Name des Vaters von Epicharmos angegeben wird, und zwar mit einer Alternative: Ἐπίχαρμος Τίτυρον ἢ Χιμάρον . . . Nun, χίμαρος appellativ in der Bedeutung «Ziegenbock» kommt u. a. auch bei Theokrit (Id. I. 7. Epigr. IV. 15) vor; der Name Τίτυρος wird ebenso gedeutet (τοὺς τράγους τίτύρους λέγουσι) oder mit Σειληνός und Σάτυρος gleichgesetzt (z. B. schol. ad Theocr. III. 2. Strabon X. 3, 10 nimmt die Tityren neben Silenen, Satyren, Bacchantinnen usw. als eine besondere Gruppe der Dionysos-Verehrer auf; ähnlich Aelian VH III. 40). Wenn andere Quellen (Diog. Laert. VIII. 78) den auf der Insel Kos geborenen Epicharmos als kleines Kind nach Sizilien kommen lassen, und seinen Vater Elothales nennen, so liegt die Vermutung nahe, dass hinter der Ausschmückung seiner Genealogie mit sizilischen Hirtennamen eine gewisse Tendenz steckt, die durch eine tatsächliche Verbindung des Dichters mit dem *bukoliasmos* einigermaßen berechtigt war.³ Die literarische Gattung der bukolischen Poesie hat er freilich nicht begründet — selbst Theokrit, der ein Epigramm für sein Standbild gedichtet hat (Epigr. XVII), rühmt ihn nur als Erfinder der Komödie. Was aber seine komische Kunst dem volkstümlichen Mummenschanz zu verdanken hat, darauf weist bereits die Analogie des athenischen Theaters an sich, seine nach Art und Form altertümlichste Gattung, das Satyrspiel insbesondere hin.

Der allzu knappe Hinweis auf Synesios liesse sich auch in verschiedene Richtungen erweitern. Sein 148. Brief verdiente sogar eine besondere Unter-

³ So, auf den *bukoliasmos* konkretisiert möchte ich die Ansicht Welckers (a. a. O. 48) modifizieren, der in den scheinenealogischen Angaben nur einen scherzhaften Hinweis «auf den bukolischen Ursprung der Komödie» zugibt. Richtiger AUG. O. FR. LORENZ (Leben und Schriften des Koers Epicharmos. Berlin 1864, 48): «Ich wage . . . die Vermutung, dass man durch den Einfluss, den die schon vor Epicharm blühende bukolische Poesie gewiss auf seine, dem Volkston sehr nahe stehenden, Schilderungen hatte, später dahin geleitet wurde, sich auch den Dichter selbst als einer Hirtenfamilie angehörig vorzustellen.» Man muss nur innerhalb der «bukolischen Poesie» scharf unterscheiden, einerseits die literarische Gattung, die erst von Theokrit ausgebildet wird, andererseits das volkstümliche Vorbild Theokrits, das im Rahmen eines dramatischen Volksbrauchs schon von Epicharmos beobachtet und in einer anderen Richtung als von Theokrit auch weiterentwickelt wurde. Vgl. auch Pollux IV. 56: Καὶ ἐρετικά δὴ τιν' ἀλλήματα καὶ ποιμενικά· Ἐπίχαρμος δὲ καὶ ποιμενικόν τι μέλος ἀλεῖσθαι φησι.

suchung, wobei verschiedene Gebiete der antiken Volkskunde — Volksbrauch, Volksmusik, Volksdichtung — ihren unerwarteten Gewinn davontragen könnten. Der human gesinnte Bischof seiner Geburtsstadt — ob vor oder nach seiner Ordination, ist hier gleichgültig — beschreibt aus lauter Lokalpatriotismus im schroffen Gegensatz zu den übrigen kirchlichen Schriftstellern, die den Mummenschanz im Rahmen verschiedener, noch «ungetaufter» Volksbräuche für ein gefährliches Spiel des Teufels ansahen, begeistert manche Gewohnheiten der einfachen Leute in der Umgebung von Kyrene, einer alten griechischen Siedlung in Nordafrika, wo — wie der Erfahrung der Ethnographie gemäss in Randgebieten einer Sprachgemeinschaft fast regelmässig — besonders zäh die altertümlichen Formen aufbewahrt wurden. Synesios beschreibt seine Heimat beinahe als ein utopistisches Wunderland, wo eine ideale Gleichheit unter den Menschen herrscht, niemand ohne Schweiss sein Brot essen darf, die Feldarbeiter, die Hirten und die Jäger arbeiten aber in freundschaftlicher Hilfsbereitschaft zusammen und die Fruchtbarkeit des Erdbodens entspricht der fleissigen Arbeit; Honig, Öl, Getreide und Salz steht in bester Qualität zur Verfügung. Einstweilen bleibe es dahingestellt, inwieweit gerade in diesen utopistischen Zügen ein Grundkern der gesellschaftlichen Wirklichkeit vorliegt, wenn nicht mehr, eine Erinnerung an Überbleibsel der Ideologie des Aufstandes der sog. *βουκόλοι*. «Es gibt aber nichts» — geht er zu Schilderung des volkstümlichen Sings und Spiels über —, «was so bezeichnend wäre für unsere Gegend, als die Art und Weise der Musik.» Und da folgt die Beschreibung der Musik, die den Wettstreit der Hirten begleitet; die Bezeichnung der Teilnehmer *ἀγχεμαχηταί* (eigentlich «Zweikämpfer») weist auf den Wettstreit hin, das Beiwort ihres Musikinstruments *ποιμενικόν* bezeugt, dass Hirten gemeint sind. Nachdem diese wenig beachtete Beschreibung trotz ihrer Dürftigkeit betreffs der musikalischen Seite des antiken *bukoliasmos* soviel ich weiss noch immer für die ausführlichste gelten mag, wäre es erwünscht, dass sie von einem Musikwissenschaftler eingehender untersucht werde. Es wird hier allerdings hervorgehoben, dass das Instrument dieser «Anchemacheten» eine ausgesprochen kleine Lyra (*λύριον*) ist, und zwar zum Hirten gehörig (*ποιμενικόν*), einfach (*λιτόν*), von diesen Leuten selbst gemacht (*αὐτόσχευον*), wohl lautend (*εὐφρημον*) und männlich, wie es geziemt (*ἄρρεν ἐπεικῶς*). Selbst das hat was zu sagen, dass der im Neuplatonismus geschulte Verfasser diese Volksweise nicht für unwürdig hält, um damit «die Kinder in Platons Staat erzogen werden sollen»; er beruft sich freilich auf die bekannte Ablehnung der ionischen und lydischen bzw. auf die Aufrechterhaltung der dorischen und phrygischen Tonart in der «*Politeia*» (398E - 399A). Das folgende kann auch zur Erklärung des problematischen Begriffs *μεταβολή* in platonischer Musiklehre (397B)⁴ beitragen, zumindest zeigt es,

⁴ Vgl. W. VETTER: *Mythos—Melos—Musica*. Bd. I. Leipzig 1957, 21.

wie ihn ein später Anhänger Platons aufgefasst hat, indem es festgestellt wird, dass diese Hirtenmusik «sich nicht biegsam umwandelt und sie besitzt auch nicht die Fähigkeit, sich mit jeder Stimme in Harmonie zu bringen» (*ὡς οὐ λυγίζεται τοῦτο οὐδὲ ἀρετὴν ἔχει παμφώνως ἡρμόσθαι*). Im Gegenteil, die zu dieser Musik singen, nähern sich zur Einfachkeit der Saiten. Und was die Thematik der auf solche Weise vorgetragenen Lieder betrifft, sie bewegt sich im Vorstellungskreis der Bukolik bzw. des *bukoliasmos*, den als Quelle der literarischen Hirtenpoesie die nachstehenden Blätter noch von mehreren Seiten aus zu beleuchten vorhaben. Synesios zählt dieser Thematik das Lob des unversehrten Widders und des Hundes, der das verdient, weil er sich von den Hyänen nicht fürchtet und die Wölfe laut anbellt;⁵ die Treue des Hundes als ein bukolisches Motiv, und zwar in Verbindung mit Daphnis' Tod, wird auch durch eine Angabe bei Aelian (NA XI. 13) wahrscheinlich gemacht. Auch der Jäger wird besungen, der den Frieden der Weiden sichert und aus der Jagdbeute uns reichlich mit Fleisch bewirtet; das Schaf, welches Zwillinge lämmert, darf keineswegs wegbleiben, damit der Nachwuchs gedeihe; man besingt (Synesios schreibt schön in erster Person: *ψάλλομεν*) oft den Feigenbaum und den Weinstock. All das ist als ein Fruchtbarkeitszauber gemeint, wie es der Zusatz zeigt: es kommt nichts häufiger in diesen Liedern vor, als gute Wünsche, die Segen für die Menschen, für die Pflanzen und für das Vieh erlangen wollen. Und was vielleicht noch mehr den überraschenden Sinn der Wesenheit der Folklore gegenüber bei Synesios bezeugt: er weiss, dass hier die mit der Jahreszeit gezeitigte Gelegenheit und die althergebrachte Überlieferung in unauflösbarer Einheit zur Geltung kommen, all das ist also zugleich zeitgemäss und alt, und gehört den armen Leuten als ihr gemeinsames Gut: *ταῦτά σοι καὶ τοιαῦτα παρ' ἡμῖν ὄρια καὶ ἀρχαῖα καὶ πενήτων ἀγαθά*. Man kann diese Formulierung getrost als eine der besten Definitionen der Volksdichtung überhaupt annehmen.

Es lohnt sich, vor allem um diesen in der Antike und Spätantike fast einzigartig dastehenden, hoch entwickelten Sinn für die Eigenart des Folkloristischen, den ergötzenden Brief weiter zu lesen. Um die wechselnden Schicksale zeitgenössischer Gewalthaber — Könige und ihrer Freunde — kümmert man sich hier nicht viel, dass es aber einen König immer gibt, weiss man, das Volk wird ja daran jährlich durch die Steuereintreibung erinnert. Wer aber dieser König eigentlich ist, wie er heisst, bleibt unklar, einige meinen sogar, dass noch immer Agamemnon regiert, dies wird uns nämlich als ein Königsname von Kind auf beigebracht. Das Fehlen der Kategorie der geschichtlichen Zeit — wie es sich z. B. im Volksmärchen und nicht in letzter Linie in seinen zeitlosen Königsgestalten widerspiegelt — wird hier wirklich-

⁵ Vielleicht erwürgt, oder gar «die Kehle ihnen abbeisst»; zur Zweideutigkeit des Zeitworts *λαονγγίζειν* vgl. I. HERMELIN: Zu den Briefen des Bischofs Synesios. Uppsala 1934, 71.

keitsgetreu der Volksphantasie zugeschrieben; die Ausnahmefälle, die wir kennen, sind eben diejenigen, die eine besondere Erklärung beanspruchen. Die guten Hirten (*οἱ χρηστοὶ βουκόλοι*) um Kyrene kennen auch einen gewissen Odysseus, den Freund Agamemnons, den sie aber auch jeder geschichtlichen oder mythologischen Beziehung entkleidet sich einfach als einen schlaun Kahlkopf vorstellen. Unter vielem Gelächter erzählen sie sein Abenteuer mit dem Kyklops, sie meinen aber, dass es erst im vorigen Jahr (*πέρυσιν*) geschehen ist. All das ist echte Folklore und man braucht keine Homerkenntnisse in dieser ländlichen Umgebung vorauszusetzen, wenn auch solch ein konkreter Zug — mit der Odyssee (IX. 447—454) vollkommen übereinstimmend — hervorgehoben wird, dass der geblendete Riese sich wundert, als der Widder, der sonst immer vorangeht, jetzt zurückbleibt, wie der gestrafte Schuft (*κάθαρμα*) meint, aus Mitleid, tatsächlich aber weil er eine schwere Last — den sich anklammernden Märchenheld — tragen muss. Fast wortwörtlich taucht dieses Motiv auch im von J. Honti im Jahre 1930 aufgezeichneten ungarischen Volksmärchen auf,⁶ wie übrigens die Polyphemos-Geschichte gerade in bezug auf ihre folkloristische Verbreitung bei den verschiedenen Völkern der Welt alle übrigen Erzählungen Homers übertrifft. Polyphemos erscheint aber auch im Rahmen der Bukolik bei Theokrit (XI), und schon früher in der dorischen Komödie Epicharms, dessen mutmassliche Beziehung zu dem *bukoliasmos* schon behandelt war; ein Bruchstück von seinem *Κύκλωπ* (*φέρ' ἐγγέας εἰς τὸ σκύφος*, Athenaios 498d) lässt auf eine gewisse Verwandtschaft mit dem gleichbetitelten Satyrspiel des Euripides (V. 556: *ἔγχει, πλέων δὲ τὸν σκύφον δίδου μόνον*) schliessen. Der Schauplatz ist auch bei Euripides Sizilien, was freilich jener alten Tradition entspricht, die die homerische *Κυκλώπεια* auf Sizilien lokalisiert;⁷ das geht aber schon weit über die verbindliche homerische Tradition hinaus, wie im Satyrenchor die bukolische Umgebung dargestellt wird: das bekannte Gefolge des Weingottes, Seilenos und die Satyren dienen hier als Hirtensklaven dem einäugigen Riesen, und dursten, bevor Odysseus ankommt, vergebens nach Wein, sie haben nur Milch zu trinken. Der gemeinsame Ursprung des *bukoliasmos* und des Satyrspiels wird hier spürbar, wie er auch in der Gleichstellung *τίτυρος* = *σάτυρος* zur Geltung kommt, *τίτυρος* der Ziegenbock bzw. der Hirt, der im Mummenschanz den Ziegenbock spielt, *σάτυρος* der halbtierische Naturdämon, den der Schwanz und die Bockfüsse kennzeichnen. Wir werden noch sehen, dass der *bukoliasmos* vorwiegend zum Kult der Artemis gehört, das Satyrspiel

⁶ J. HONTI: A mese világa (Die Welt des Märchens). Budapest 1937, 155 und A mézáróslégény meséje (Das Märchen von dem Metzergesellen). Budapest 1940. Vgl. u. a. L. RADERMACHER: Die Erzählungen der Odyssee. Wien 1915, 13—16. J. BOLTE — G. POLÍVKA: Anmerkungen zu den Kinder- u. Hausmärchen der Brüder Grimm. Bd. III. Leipzig 1918, 375. J. G. FRAZER: Ulysses and Polyphemos. Anhang zur zweisprachigen Apollodor-Ausgabe in The Loeb Classical Library, II. London 1956, 404—455.

⁷ Vgl. W. DÖRPFELD — H. RÜTER: Die Heimkehr des Odysseus. München 1926. Bd. I. 252.

entfaltet sich in Athen aus dem Mummenschanz im Bereiche der Dionysos-Verehrung, die zwei göttlichen Bereiche greifen aber ineinander.

Wir haben dies «Vorspiel» zum Hauptthema mit Absicht den flüchtigen Beobachtungen Eggers angeknüpft, und sie weitergeführt, um zu zeigen, wie ertragreich es manchmal sein kann, einen verlassenen Pfad wieder aufzusuchen. Die einmal schon angeschnittene Richtung hat leider auf die weitere Forschung kaum einen Einfluss ausgeübt. R. Reitzenstein ist z. B. in einer entgegengesetzten Richtung noch weiter gegangen als Welcker; die *βουκόλοι* Theokrits haben nach seiner Auffassung nichts mit echten Hirten zu tun; es sind damit Mitglieder einer religiösen Genossenschaft gemeint, Anhänger des Dionysos oder der Artemis oder der beiden, manchen orphischen Gemeinschaften ähnlich; der koische Dichterbund, zu dem Theokrit gehörte, hat seine poetische Sendung noch in diesem Sinne religiös aufgefasst, wenn auch Theokrit die verschiedenen Hirtennamen — sich selbst oft unter einer Hirtenmaske verschleiern — mit durchsichtigen Rätseln spielend seinen Sinnungsgenossen und literarischen Gegnern zuteilte.⁸ Die Unhaltbarkeit dieser Ansichten bezeichnen die Worte eines Wilamowitz: «Was über einen koischen Dichterbund, über Zusammenhang der Bukolik mit den späten Kultvereinen der *βουκόλοι* und Geheimnisse, die hinter den Namen stecken sollen, vermutet ist, sind längst verwehte Träume.»⁹ Es ist nur schade, dass die Forschung lange Zeit hindurch bei dieser negativen Feststellung geblieben ist; selbst A. Dieterich, der antiken Volksbrauch und antike Volkspoese — gerade die Verwandten des *bukoliasmos* — durch Heranziehung einiger bis heute fortlebenden Formen so geistvoll zu interpretieren wusste, lässt eben die bukolische Poesie fast gänzlich ausser acht.¹⁰

Eine günstige Wendung ist aus zutreffenden Einzelbeobachtungen hervorgegangen; so sieht z. B. T. A. Krassotkina im V. Idyll Theokrits «die vollkommenste Form des bukolischen Wettstreits», den sie auf das gerichtliche Verfahren der primitiven Gemeinschaft — *ordalia* — zurückführt.¹¹ R. Merkelbach betrachtet das XVI. Idyll desselben Dichters als ein «Bettelgedicht» nach Art der pseudo-homerischen Eiresione, des rhodischen Chelidonismos und der Koronistai des Phoinix von Kolophon, wobei er auch auf merkwürdige Parallelen im neuzeitlichen Volksbrauch und mittelalterlichen Schrifttum (Carmina Burana, Walther von der Vogelweide) hinweist.¹² Die beiden haben

⁸ R. REITZENSTEIN: Epigramm und Skolion. Giessen 1893, 193–243.

⁹ U. VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFF: Hellenistische Dichtung. Berlin 1924. I. 138.

¹⁰ A. DIETERICH: Sommertag. AfRW 8 (1905), Beiheft = Kleine Schriften. Berlin–Leipzig 1911, 324–352.

¹¹ T. A. КРАСОТКИНА: Фольклорно-бытовые корни буколического состязания. ВДИ 1948/2, 208–212.

¹² R. MERKELBACH: Bettelgedichte. RhM NF 95 (1952), 312–327. Dieselbe Interpretation, z. T. mit denselben Beweisgründen habe ich schon früher vorgetragen, in einem Aufsatz über Vergils Hirtenmuse (Pásztori Magyar Vergilius. Budapest 1938,

durch einige mehr beiläufige Bemerkungen auch den richtigen Weg zur weiteren Forschung vorgezeigt; Krassotkina hebt nicht nur die Ähnlichkeit des bukolischen *agons* mit manchen bezeichnenden — auf Volkstradition hinweisenden — Formen der alten Komödie hervor, sondern weist auch auf dessen Zusammenhang mit jenen Lustrationsriten hin, die anlässlich des Wechsels der Jahreszeiten die Naturvorgänge reproduzieren, das heisst den Kampf zwischen Licht und Dunkel, Winter und Sommer usw. im magischen Sinn entscheiden; sie findet sogar bei einem Nachzügler der literarischen Bukolik, in der VII. Eclogue des Calpurnius, das Bewusstwerden dieses Zusammenhanges:

*Nam dum lentus abes lustravit ovilia Thyrsis,
iussit et arguta iuvenes certare cicuta.*

Merkelbach führt wenigstens unter den volkstümlichen Parallelen des theokritischen «Bettelgedichtes» den berühmten Segenspruch der sizilischen Bukoliasten an (*δέξαι τὰν ἀγαθὰν τύχην, δέξαι τὰν ὑγίειαν, ἂν φέρομεν παρὰ τᾶς θεοῦ, ἂν ἐκελήσατο τίρνα*) und als dessen lebhaften Rahmen erwähnt den Umzug, wie ihn Diomedes der Grammatiker beschreibt: *circum pagos et oppida solitos fuisse pastores composito cantu precari pecorum ac frugum hominumque proventum*. Es sei schon hier bemerkt, dass diese Formulierung besonders der soeben erwähnten Beschreibung der Volksweise bei Synesios nahesteht: *οὐδὲν δὲ ὅσον εὐχαί τινες· ἔτι τε ἄσμα καὶ αἰτήσεις ἀγαθῶν ἀνθρώποις καὶ φυτόις καὶ βοτοῖς*. Dieselbe Dreiteilung der Lebewesen — Pflanzenwelt, Tierwelt, menschliches Leben — ist übrigens auch für Segensprüche der neuzeitlichen Folklore bezeichnend, wie z. B. die ungarischen Regös-Lieder, die uns — wie wir es bald sehen werden — auch andere Aufschlüsse versprechen.

Nachdem aber die Bezugnahme auf die Volkspoesie und gerade auf den *bukoliasmos* bei Theokrit im XVI. Idyll bei weitem nicht vereinzelt dasteht, von allen Behauptungen Merkelbachs scheint die einzige Annahme nicht überzeugend zu sein, nach welcher alle folkloristischen Elemente zu Theokrit ein verlorenes Gedicht des Simonides übermittlelt hätte. Das geht übrigens schon aus jenen weiteren Ausführungen klar hervor, die um einige Jahre später selbst Merkelbach der bukolischen Poesie widmet, wo er aber ausschliesslich «den Wettgesang der Hirten» behandelt. Im Mittelpunkt steht — wie bei Krassotkina — das V. Idyll, der Gesichtskreis aber wird erweitert, indem auch andere

63–74, und meiner kurzgefassten Griechischen Literaturgeschichte (A világirodalom története = Geschichte der Weltliteratur, herausgegeben von B. Zolnai, I. Bd. Budapest 1944, 227–228), ich habe aber meine Beobachtungen damals nur ungarisch veröffentlicht. Vgl. jetzt: Literatur und Folklor im klassischen Altertum. Acta AntHung. 7 (1959), 17 und Vallástörténeti tanulmányok (= Religionsgeschichtliche Untersuchungen). Budapest 1960², 353–363.

Beispiele des bukolischen *agons* bei Theokrit und bei seinen Nachahmern erörtert werden, und zwar an der Hand zahlreicher Parallelen, die das Streitgedicht sowohl bei den Griechen wie bei anderen Völkern als eine bezeichnende Gattung der mündlichen Poesie nachweisen.¹³ So fällt die Frage nach literarischen Vorbildern Theokrits von selbst weg, wenn auch das Problem des XVI. Idylls im Lichte der neuen Aufschlüsse nicht wieder berührt wird: «Dass Theokrit echte Prahl- und Schimpfturniere griechischer Hirten nachbildet, sein Gedicht also ein rechter Mimus ist, darf als sicher gelten» — diese Folgerung lässt sich auch auf das «Bettelgedicht» ausdehnen, obwohl an dem Wort «Hirten» wir noch eine leichte, aber nicht unwesentliche Modifizierung durchzuführen haben. Im wesentlichsten sind wir mit Merkelbach einverstanden: Theokrit bereicherte die griechische Literatur auf Grund der Volkspoesie mit einer vollkommen neuen Kunstgattung, wenn auch diese literarische Ausbildung einer volkstümlichen Gattung selbstverständlich die Berücksichtigung jener literarischen Tradition voraussetzt, in welche jetzt das neue *γένος* aufgenommen wird; es ist auch zutreffend, wenn Merkelbach zwischen Theokrit, der sich noch bewusst auf die Volkspoesie stützt, und seinen Nachahmern unterscheidet, für denen die Bukolik schon als eine literarische Gattung feststeht. Wir vermissen nur, dass bei diesen feinen Erörterungen das Besondere der folkloristischen Bukolik gar nicht hervorgehoben wird; Wettgesang bleibt Wettgesang, gleichviel, ob er bei einem Symposion, bei der Hochzeit oder wo immer seine Gelegenheit findet, und selbst in dem verhältnismässig dünnen Material, wo diese Gelegenheit im Kult aufgesucht wird — Apollonfest auf Anaphe, Demeterfest in Pellene und Demeterprozession nach Eleusis usw. — bleiben eben jene Quellen vernachlässigt, die die religiösen Wurzeln der Bukolik und — nicht isoliert von der Gesamterscheinung — auch des bukolischen *agons* zu beleuchten geeignet wären.

Aus dem geschilderten Stand der Forschung ergibt sich also als erste Aufgabe die Sichtung und Interpretation jener Angaben, die besonders in Scholien zu Theokrit und Vergil bzw. in einigen alten Traktaten über bukolische Poesie und sonstiger Grammatikerliteratur aufzufinden sind.¹⁴ Man kann diese Berichte oft anachronistisch und auch einander widersprechend bezeichnen, es gibt dennoch eine bestimmte Gruppe unter ihnen, welche wenn sie auch die reale Geschichte der Entstehung der volkstümlichen Bukolik nicht enthält, doch was für uns noch wertvoller ist: die religiöse Bedeutung jener Riten verrät, die die bukolische Gattung der Volkspoesie hervorgerufen und mit einer ganz besonderen Beharrlichkeit am Leben erhalten haben. Die Vertreter dieser Gruppe — und nur diese Gruppe hat für uns eine gewisse geschicht-

¹³ R. MERKELBACH: *BOYKOΛIAΣΤAI* (Der Wettgesang der Hirten). RhM NF 99 (1956), 97–133.

¹⁴ Das meiste zusammengestellt bei C. Wendel: *Scholia in Theocritum vetera*. Leipzig 1914.

liche Glaubwürdigkeit — sind ja eben sog. ätiologische Legenden, das heisst sie suchen etwas was besteht durch eine Gründungssage zu unterstützen, somit kann die Sage eine Sage bleiben, die Ursache in früherer oder späterer Zeit erdichtet, sogar hie und da an verhältnismässig junge geschichtliche Angaben geknüpft sein, die Sache, die damit erklärt wird, steht ausser Zweifel, es werden sogar eben jene Züge der Sache durchsichtig, die einer Erklärung bedürfen. Die ätiologischen Legenden, besonders wenn sie einen Volksbrauch oder einen religiösen Ritus betreffen, haben sogar meistens eine Eigenschaft, die einen Schritt noch weiter führt: sie erzählen eigentlich in die Vorzeit projiziert das Vorgehen selbst, indem sie das Erzählte als verbindliches Vorbild des tatsächlich und immer wiederholt Geschehenen hinstellen. So können wir getrost damit rechnen, dass in ihnen sich die religionsgeschichtlichen Tatsachen widerspiegeln; wenn für dieselbe Tatsache nach ihrem epischen Gehalt verschiedene ätiologische Legenden vorhanden sind, geben sie ihr Zeugnis noch mehr eindeutig ab, weil sich das Wesentliche eben dadurch herausstellt, worin sie trotz aller Unterschiede übereinstimmen. Und nun in aller Kürze die Haupttypen der Legenden, die der kleine griechische Traktat «Über die Erfindung der Bukolik», das sog. «Anecdoton Estense», Probus, Diomedes, Aelius Donatus Iunius Philargyrius, Servius usw. im Grunde genommen einstimmig, auf Grund derselben Quellen uns überliefern.

Nach der einen Überlieferung stammt die Bukolik aus Lakedaimon, wo während der Perserkriege die Jungfrauen noch vor dem Feinde sich verborgen hielten, als das Fest der Artemis Karyatis eintrat. Da kamen Bauern, die mit ihren eigentümlichen Liedern (*ιδίαις ᾠδαῖς*) die Göttin besungen haben, und weil ihre fremdartige Muse Erfolg erreichte, hat man dies als einen ständigen Brauch aufbewahrt. Es lohnt sich schon hier darauf hinzuweisen, dass einerseits das *bucolicum carmen* nicht Hirten, sondern Bauern (*ἀγοῖκοι, rustici*) eingeführt haben, und dass sie statt der Jungfrauen den Gottesdienst verrichteten. Es gibt auch Quellen — wie Probus —, die es betonen, dass die Sieger von Marathon gerade an dem Festtage der Göttin heimgekehrt sind; Probus spricht übrigens anstatt von Bauern über *pastores*, die man in Abwesenheit der Jungfrauen von den nachbarlichen Feldern zusammengerufen hat. Die *bukoliasten* sind also nicht unbedingt Hirten, sondern gelegentlich sich als Hirten maskierende Bauern. Die Maskierung ist aber mehrschichtig, indem die Hirten bzw. die sich für Hirten ausgebenden Bauern zugleich bestimmte Kennzeichen von Tieren, Hörner und zottiges Fell tragen. Die Hirten haben also nicht ihre alltägliche Kleidung an, bzw. die Bauern, wenn sie als *bukoliasten* auftreten, ahmen nicht einfach die Hirten nach, sondern diejenigen Hirten, die schon ihrerseits die Tiere nachahmen oder — wie Vergil Ecl. V. 73 zeigt — die halbtiergestaltigen Satyren. Verhältnismässig späte Testimonien geben Anlass zu vermuten, dass bei dieser Mehrschichtigkeit der Verkleidung auch die Weibertracht eine gewisse Rolle spielte. Pseudo-Augustinische Reden (Sermo CXXIX

und CXXX in «Appendix» bei Migne) schelten den Volksbrauch der Calendae Ianuariae, wobei nicht nur Heiden, sondern auch Leute, die durch die Taufe gegangen sind, sich für Hirsche ausgeben, Tierköpfe tragen, Fell der Viehe, Kleider von Frauen und Mädchen anziehen: *virī nati tunicis muliebribus vestiuntur et turpissima demum demutatione puellaribus figuris virile robur effemant* (Migne PL XXXIX, 2002). Gerade dieser letzte Charakterzug des Mummenschanzes widerspiegelt sich vielleicht in jenem Motiv der ätiologischen Sage, dass die *bukoliasten* ursprünglich für Stellvertreter der abwesenden Jungfrauen galten.

In bezug auf Sizilien sind drei Varianten vorhanden. Als Orestes von den Taurern das *xoanon* der Artemis mitgebracht hat, hat ihm ein Orakelspruch befohlen, sich in den einer Quelle entspringenden sieben Flüssen zu waschen; dies hat er in dem süditalischen Rhegion gefunden, in dem Wasser hat er sich von der Blutschuld gereinigt, dann überfuhr er nach Sizilien, wo in der Stadt Tyndaris die Einwohner die Göttin mit ihren eigentümlichen Liedern gerühmt haben und damit den Brauch begründeten. Zwei andere Legenden haben damit — und auch mit der lakedaimonischen Sage — nur das kathartische Motiv gemein. In Syrakusai ist einmal Bürgerkrieg (*στάσις*) ausgebrochen und als die Eintracht zustande kam, galt Artemis für die Urheberin der Versöhnung und so haben die Bauern Geschenke gebracht und die Göttin mit Freude besungen. Diese Legende ist an keinen geschichtlichen Zeitpunkt gebunden, die andere wenigstens vor Gelon gesetzt: bei einer Seuche hat man Gelübde getan und als das Übel vorbei war, wurde ein Tempel der Erlöserin, Artemis Lyaia errichtet; da kamen zur Einweihung viele Hirten zusammen, die unter bezeichnenden Umständen, die wir noch bald näher betrachten müssen, in der Wette der Göttin Lob gesungen haben.

Reinigung von Blutschuld im Rahmen des Orestes-Mythos, Sühnung nach überstandener Kriegsgefahr, nach Bürgerzwist oder nach einer Seuche: die vier Legenden sind zwar nach ihrem epischen Gehalt unterschiedlich, doch weisen alle darauf hin, dass der Brauch, den sie erklären wollen, als ein kathartisches Verfahren empfunden wurde, und zwar mit der Verehrung jener Göttin verbunden, die einem schönen Dichterwort entsprechend (Eur. Hipp. 76) die einen auf jungfräulich-unbefleckten, von der eisernen Pflugschar unberührten Wiesen gepflückten Blumenkranz liebt. Den Wettstreit an sich als eine bezeichnende Form des Reinigungsverfahrens, zeigt ein leider nicht genau zu lokalisierender Gebrauch bei dem Grab einer Jungfrau, die in vieler Hinsicht wenigstens für eine lokale Nebenform der Artemis gelten mag;¹⁵ sie heisst Harpalyke, die «Raubwölfin» — ein Name, der sich schon selber zu einer Tochter der Leto, die in der Gestalt einer Wölfin von den Hyperboräern nach Delos kommt

¹⁵ So schon O. GRUPPE: Griechische Mythologie und Religionsgeschichte. II. Bd. München 1906, 1294.

(Aristoteles, Hist. An. VI. 35) oder auch der Zwillingschwester des Wolfsapollons ziemt. Wie Servius ad Aen. I. 317 erzählt — eine gewisse Ähnlichkeit mit der Camilla-Sage bei Vergil selbst betonend —, wurde sie, nachdem ihr Vater, ein König der Amymonier in Thrakien, wegen seiner Grausamkeit aus der Stadt ausgewiesen war, im Wald erzogen und ganz verwildert. Sie lebte aus Jagd und Raub, suchte die Herden in der Nachbarschaft heim und als sie davonlief, konnte man sie nicht einmal mit Pferd einholen. Einmal aber, als sie einen jungen Ziegenbock gestohlen hatte, fiel sie in eine den Hirschen aufgestellte Falle und wurde getötet. Gleich danach entflamte ein Streit (*orta contentio est*) darüber, wem der geraubte Bock gehörte; so kam es zu einem heftigen Kampf, viele haben den Tod gefunden. Seitdem besteht der Brauch, dass beim Grab der Jungfrau die Leute zusammenkommen und um die Sünde zu reinigen, einen Scheinkampf begehen (*postea consuetudo servata est, ut ad tumultum virginis populi convenirent et propter expiationem per imaginem pugnae concurrerent*). Wenn man die oben gekennzeichnete Beschaffenheit einer richtigen ätiologischen Sage in Betracht zieht und bedenkt, dass der vorbildliche Kampf in der Vorzeit um das Eigentum des geraubten Tieres zu entscheiden ausbrach, wird man mit Eitrem¹⁶ gerne annehmen, dass auch der Siegespreis, wie oft bei dem bukolischen *agon*, ein Böcklein war; dass der Wettstreit diesmal die Rolle eines Sühnungsritus spielte, besagt Servius *expressis verbis*, es geht übrigens auch aus der ätiologischen Legende klar hervor. Dass aber dem Scheinkampfe auch ein Wettgesang entsprach, bezeugt Aristoxenos bei Athenaios (XIV. 619e), der ausdrücklich eine Art des Wettgesanges (*ᾠδῆς ἀγών*) «Harpalyke» nennt; dieser Wettgesang wird von Jungfrauen gesungen — wir haben es bereits wenigstens in einer Variante beobachtet, wie die *bukoliasten* an Stelle der Jungfrauen treten. Aristoxenos gibt allerdings eine andere mythologische *aitia* als Servius an, die aber eben bukolische Parallelen hat: Harpalyke ist an unerwidelter Liebe gestorben und die Jungfrauen singen seitdem in der Wette das Harpalyke-Lied. Ebenso schmachtete ohne Hoffnung gerade nach dem berühmten Hirten Menalkas die unglückliche Eriphanis, die aber selbst eine Sängerin war, und so tröstete sich selbst mit dem Hirtenliede (*ἄδουσα τὸν καλούμενον νόμιον*), aus welchem Athenaios (619d) nach Klearchos wenigstens ein Bruchstück aufbewahrt hat: *Μακροὶ δρῦες, ὦ Μέναικα*. Wurden hier vielleicht die hochgewachsenen Eichen — sonst, mit Recht oder Unrecht auf Od. XIX. 163 anspielend, Sinnbilder der Unerbittlichkeit schlechthin — mit ihrem zarten Mitgefühl etwa der Unerbittlichkeit des spröden Jünglings gegenübergestellt? Bei Theokrit (Id. VII. 75) beweinen allerdings in einer ähnlichen Situation gerade die Eichen den in Liebe dahinschmachtenden Daphnis. Und Menalkas ist eben die bekannte Pendantfigur zu Daphnis, Pendantfigur im wortwört-

¹⁶ PWRE VII. 2402.

lichen Sinne, so spielt seine hoffnungslose Verliebte die Rolle in der Liebe, die in der Panderzählung dem Daphnis zukommt: aus Mitleid zu Eriphanis giessen auch die wildesten Tiere Tränen: *καὶ τῶν θηρῶν τοὺς ἀνημερωτάτους σνδακρῦσαι τῷ πάθει . . .*

Die obengenannten Quellen beschreiben auch meistens ausführlich den Volksbrauch, dessen mythologische *aitia* sie erzählen; die Beschreibung ist sogar ein organischer Teil der Legende, indem der bezeichnende Brauch — vorbildlich für die Zukunft — im Rahmen der Legende zum erstenmal begangen wurde. So ist es gleichgültig, ob wir den Brauch in Vergangenheit oder in Gegenwartsform darstellen; wenn auch nicht unsere Gewährsmänner, so beobachtete doch bestimmt derjenige, der ihre gemeinsame Vorlage schon mit antiquarisch-literarischem Interesse, unbedingt in nacharistotelischer Zeit verfasst hat, noch mit eigenen Augen das folgende. Diejenigen, die die bukolischen Lieder in Form eines Wettstreits gesungen haben, schmückten ihren Kopf mit Kranz und Hirschhörnern, hatten den Hirtenstab *λαγωβόλος*, mit welchem man ursprünglich Hasen erlegte, und welcher durch den Beinamen *λαγωβόλος* der Artemis bei Nonnos (Dion. XV.171) als Zubehör der Jagdgöttin nachgewiesen wird, in der Hand. Sie brachten mit sich Brotlaibe, einen Sack voll mit allerlei Samen (*πήραν πανσπερμίας ἀναπλέων*) und Wein in einem Schlauch aus Ziegenfell, woraus sie jedem, den sie unterwegs getroffen haben, zutranken. Der Wettstreit ging um die Brote; wer im Wettgesang gesiegt hat, erhielt das Brot des anderen; die unterlagen, zogen zu den in der Nähe Wohnenden, um bettelnd ihre Nahrung zu erhalten; all das ging unter Scherz und Gelächter vor sich, wobei man den Segenspruch sagte: «Nimm an das gute Glück, nimm an die Gesundheit, die wir bringen dir von der Göttin, die sie selbst herbeigerufen hat.» Dieser Zusammenhang zeigt vor allem, dass Wettgesang und Bettelgedicht, die Merkelbach als zwei besondere Gattungen voneinander ganz isoliert behandelte, in der volkstümlichen Bukolik miteinander eng verbunden waren, sogar zwei nacheinander folgende Etappen desselben Volksbrauchs darstellen, indem diejenigen, die im *agon* unterliegen, zu betteln genötigt werden. Dass hier aber ein echter Volksbrauch beschrieben wird, beweisen die zahlreichen Parallelen, die noch in neuerer Zeit bei verschiedenen Völkern zu beobachten sind, und zwar anlässlich solcher Zeitpunkte des Jahres, die nach dem Volksglauben einer Art Lustration bedürftig sind.

Aufzeichnungen aus dem XIX. Jahrhundert zeigen, dass z. B. in Bulgarien der ganze Zusammenhang als organisches Ganzes fortlebt, vielleicht auch jenes Moment, welches in der antiken Überlieferung am unklarsten ausgesprochen wird, die Rolle der Raubwölfin Harpalyke. Als nämlich der Winter einbricht, dessen zyklische Volksbräuche — wie in den Nachbarländern von Bulgarien — in den auf Kalendae Ianuariae hinweisenden Koleda-Spielen (Kolinda bei den Rumänen) um Weihnachten gipfeln, finden im November

die sog. «Wolfsfeste» (Vlčite prasnici) statt, die mit einer ätiologischen Sage begründet werden; die ätiologische Sage setzt übrigens wie oft den mit ihr begründeten Brauch als schon in einer früheren Zeit bestehenden voraus. Man hat diese Wolfsfeste vernachlässigt, der Wolf hat aber ihr Recht dazu bewiesen. Eine Frau flickte — die besondere Observanz dieser Tage ausser acht lassend — den Mantel ihres Gatten, danach griff ihn ein Wolf an, riss ihm den Fleck vom Mantel herab, und entfernte sich nachher im Wald, ohne dem Mann ein Leid anzutun. Zur Zeit der Wolfstage darf man also nicht arbeiten und man muss auch mit verschiedenen Vorschriften einer analogischen Magie «den Wolf binden» bzw. «den Rachen des Wolfes vernähen».¹⁷ Es ist bezeichnend, dass der Wolf selbst gutmütig die Menschen mahnt, wie man die Wolfsgefahr abwehren soll; das stimmt auch mit der griechischen Auffassung überein, das Prinzip «wer Wunden macht, der heilt auch sie» ist besonders in bezug auf Apollon gültig, der als Wolfsapollon (*Ἀπόλλων λύκιος*) mit Tod bedroht, der aber als Wolfstöter (*λυκοκτόνος*) auch die Todesgefahr abzulenken die Macht innehat.¹⁸ Wie bekannt, zieht auch nach dem germanischen Aberglauben um Weihnachten die wilde Schar umher, an deren Spitze schon nach dem Völuspálied der Wolf steht, und dennoch einen Wolf unter Eschenzweigen heulen zu hören, gilt nach dem Reginswál, ebenfalls unter den Edda-Liedern, für ein günstiges Vorzeichen.¹⁹ Um aber die Beispiele nicht endlos zu häufen, kehren wir zum griechischen Boden zurück, wo antiker Volksbrauch — sporadisch auch für das Mittelalter belegt — bis heute weiterlebt. In diesem Zusammenhang kommen vor allem die Kallikantzaren in Betracht: böse Geister, die in halbtierischer Gestalt in den Zwölftagen zwischen Weihnachten und Epiphaniien umher ziehen; das zweite Glied ihres Namens (*Καλλι-κάντζαροι*) bewahrt nach der wohlbegründeten Annahme J. C. Lawsons die Erinnerung an die Kentauren.²⁰ Dass aber unter ihren verschiedenen Tiergestalten der Wolf eine bevorzugte Stelle einnimmt, zeigt eine Variante des Namens: *Λυκοκάντζαροι* in Messenia, in Cynouria und auf Kreta, oder auch die Angabe, dass sie in Mazedonien manchmal einfach *λύκοι* heissen.²¹ Zur Abwendung der Gefahr, mit welcher sie das menschliche Leben bedrohen, dient der Mummenschanz, wobei sie selbst mit Tracht und Gebärden nachgeahmt werden; ein sich in Wolf verzaubernder Hirte kommt übrigens auch in Vergils Bukolik vor, der auch die Toten herbeizuschwören imstande ist (VIII. 97–98). Wenn man bedenkt, dass in einer neugriechischen Variante der Polyphemos Sage

¹⁷ A. STRAUZ: Die Bulgaren. Leipzig 1898, 350.

¹⁸ Vgl. meinen Aufsatz: Der Mäusegott bei Homer. *ΓΕΡΑΣ*, Studies presented to G. Thomson. Prague 1963, 213–215 und K. KERÉNYI: Der göttliche Arzt. Basel 1948, 12.

¹⁹ Vg. W. BAETKE: Die Religion der Germanen in Quellenzeugnissen. Frankfurt am Main 1938, 23, 155 etc.

²⁰ J. C. LAWSON: Modern Greek Folklore and Ancient Greek Religion. New York 1964², 203.

²¹ Ebd. 233.

die Rolle des Kyklops von einem Kallikantzare gespielt wird,²² kommt man vielleicht auf den Gedanken, dass wenn die Hirten in Kyrene sie erzählten — oder wie in der sizilischen Komödie und in dem athenischen Satyrspiel auch vorspielten? —, schrieben sie dem Motiv des besiegt Unholds dieselbe magische Wirkung zu, auf welche der Volksbrauch des *bukoliasmos* überhaupt abzielte.

Das Moment der Lustration bei den Koleda-Bräuchen und damit verbunden auch die Fruchtbarkeitsmagie wird u. a. dadurch in Vordergrund gestellt, dass am heiligen Abend der Familienvater den gedeckten Tisch mit Weihrauch räuchert, dann hebt er und seine Gattin das mit Kerze versehene Brot hoch empor, mit den Worten: «So hoch möge unser Getreide wachsen.»²³ Am Vorabend von Weihnachten, am eigentlichen Koleda-Tage, sind auch die tiergestaltigen Brote dabei, mit einer interessanten, gerade dem Wettspiel dienenden Modifikation. Es werden Kuchen gebacken, und in sie Geld und Kornelkirschenzweiglein gesteckt; den Kuchen gibt man je einen Tiernamen, den man aber bis zum Ende des Spiels geheimhält. Dann wählt sich ein jeder einen Kuchen und führt den Tiernamen das ganze Jahr hindurch, den der Kuchen hatte, den er gewählt hatte. Der das Glück hatte, den Kuchen zu wählen, in welchem das Geldstück eingebacken wurde, wird das ganze Jahr hindurch ein besonderes Glück haben.²⁴ Nun einiges aus den Texten der «Gassen-Lieder» (*putni pesni*), die die Koleda-Sänger unterwegs, oder bei den mit Segenspruch besuchten Häusern vortragen:

*Auf, Bolare, du Tschorbadshi,
Wenn du schlummerst, so erwache,
Nüchtern werde, wer betrunken!
Zu dir kommen liebe Gäste,
Liebe Gäste, Koledari,
O Koledo, Koledo . . .*

*. . . Möge dir und möge uns auch
Gott gewähren viel Gesundheit.
Wie viel da in Feld und Auen,
So viel sei in deinem Hause, —
O Koledo, Koledo.²⁵*

²² Politis, *Παράδοσεις*, Nr. 626, angeführt von RADERMACHER: a. a. O. 15, Anm. 2.

²³ STRAUZ: a. a. O. 361.

²⁴ Ebda 360. Tierförmige Weihnachtskuchen u. a. in Ungarn bei D. RELKOVIĆ: Adalékok a Somló-vidék folklorejához (Beiträge zur Folklore der Somló-Gegend). Ethnographia 39 (1928), 99 – 100; in Dänemark und Schweden bei W. MANNHARDT: Wald- und Feldkulte. II. Bd. Berlin 1905², 197 – 198; in Lausitz an Neujahr und Dreikönigstag geknüpft bei E. SCHNEEWEIS: Feste und Volksbräuche der Sorben. Berlin 1953, 101.

²⁵ STRAUZ: a. a. O. 362 – 363.

Man braucht nicht besonders die mit dem bukolischen Segenspruch (*δέξαι τὰν ἀγαθὸν τύχην . . .*) und auch mit dem Theokritischen «Bettelgedichte» gemeinsamen Züge in Erinnerung zu rufen. Es sei anstatt dessen noch eines merkwürdigen Koleda-Liedes gedacht, einer prächtigen Ballade, die einen mythologischen Wettstreit besingt und die zugleich den Standpunkt Useners von einer neuen Seite zu unterstützen geeignet ist, dass nämlich in dem kathartischen Scheinkampfe der Makedonier, Xanthika, wie auch in dem Zweikampfe des «Blonden» und «Schwarzen», Xanthos und Melanthos, nach der Gründungssage der athenischen Apaturien ursprünglich der jährlich sich wiederholende Kampf zwischen Wintergott und Sommergott — wie Usener meint, das Urbild jedes Wettspiels — dargestellt war, gleichwie ob dieser Kampf um Frühlingnachtsgleiche wie in Makedonien, oder um Herbstnachtsgleiche wie in Athen stattfindet²⁶ oder auch — wie wir jetzt hinzufügen können — um Wintersolstitium, welches zur Wette des Jünglings mit der Sonne in Bulgarien Anlass gibt.²⁷ Das Koleda-Lied ist übrigens verschiedentlich nach den Familienverhältnissen des Hauses, wo es gesungen wird: anders wo ein neugeborenes Kind in der Wiege liegt, anders wo eine Braut oder unverheiratete Mädchen wohnen; das Lied kann oft eine Ballade sein, deren epischer Gehalt eine gewisse Anspielung auf die betreffenden Familienverhältnisse vermuten lässt, es kann sogar auch Ereignisse der neueren Geschichte besingen, danach aber erhält der Sänger einfache Gaben, Kuchen, Bohnen, Salz und dergleichen, für die er sich mit formelhaften Segensprüchen bedankt, wie: «Gold und Silber fliesse in seinem Hause!» oder «Reichlich sei Wein, Weizen, Frieden!» Was die erste Formel betrifft, glauben wir eine ähnliche folkloristische Vorlage für den bekannten Bukolikervers *λείτω χά Συβαοῖτις ἐμὴν μέλι . . .* (Theokr. V. 126) oder *Mella fluant illis . . .* (Verg. Ecl. III. 89) voraussetzen zu dürfen; die zweite trifft gerade den Mittelpunkt unseres Problemkreises. Sie zeigt nämlich, dass die Überlieferung, die ihren Niederschlag im sog. Anecdoton Estense hinterliess, das Wesentliche im Volksbrauch richtig zusammenfasst, als sie die Rolle von Brot und Wein folgendermassen charakterisiert: «Brot und Wein und das Zutrinken (*ἡ σπονδή*) sind Kennzeichen (*σημεῖα*) des Friedens; die bukolischen Gedichte sind nämlich für den Frieden erfunden.» So sind Brot, Wein und Frieden auch in dem ungarischen Festgruss vereinigt und ihre Einheit auch durch die Alliteration kunstvoll ausgedrückt: «Bort, búzát, békességet!», was der bulgarischen Formel wortwörtlich und

²⁶ H. USENER: Heilige Handlung (1904). Kleine Schriften Bd. IV. Leipzig — Berlin 1913, 422 — 467. Folkloristische Parallelen, auf die wir hier weiter nicht eingehen können, bei W. LUNGMAN: Der Kampf zwischen Sommer und Winter. FFC Nr. 130, Helsinki 1941. Zur ähnlichen naturmythologischen Symbolik des römischen Zirkus vgl. C. KOCH: Gestirnverehrung im alten Italien. Frankfurt am Main 1933, 41 — 55. Á. SZABÓ: Lustrum und Circus. AfRW 36 (1938), 135 — 160. I. BORZSÁK: Lustrum, Circus és Kirke. Antiquitas Hungarica 2 (1948), 69 — 84. Zur Gründungssage der Apaturien vgl. auch A. BRELICH: Guerre, agoni e culti nella Grecia arcaica. Bonn 1961, 53 — 59.

²⁷ STRAUZ: a. a. O. 370 — 372.

auch dem griechischen Gedanken inhaltlich entspricht. Es ist sogar eine durchsichtige ängmatistische Variante bekannt: «Gott gebe euch drei *B*» -- nämlich Wein (*bor*), Waizen (*búza*) und Frieden (*békesség*). Mit einem *B* (nämlich «*boldogság*» = Glückseligkeit) vermehrt, wird die volkstümliche Formel schon in einem aus dem XVI. Jahrhundert handschriftlich überlieferten Neujahrslied paraphrasiert: «Friede und Glückseligkeit, Wein, Waizen und Reichtum soll die Eheleute erneuern! Gott bewahre das Vieh vom Feinde, vom hergelaufenen Lumpengesindel!»²⁸ Ähnlich noch in einem erst vor einigen Jahren aufgezeichneten Weihnachtslied: «Wein, Waizen, Getreide sei reichlich unter uns, dass das kleine Jesuskind bei uns Unterkunft suche!»²⁹ Damit sind wir unvermerkt ins Bereich der ungarischen Folklore geraten, die uns noch -- ohne eine Vollständigkeit nur annähernd beanspruchen zu wollen -- die folgenden Ergänzungen liefern soll.

Wir haben bereits beobachtet, dass den *bukoliasmos* eigentlich nicht, oder wenigstens nicht immer Hirten, vielmehr Bauern vorgetragen haben, das heisst, *bukoliastes* oder *bukolistes* nicht mit dem Wort *bukolos* gleichbedeutend ist, sondern bezeichnet einen, der sich für einen Hirten ausgibt, oder die Rolle eines Hirten spielt. *Bukolismos* oder *bukoliasmos* ist eben immer eine Maskerade, das liegt auf der Hand bei der Umständlichkeit, mit welcher unsere Berichte gerade die Hirtenmaske beschreiben. Wenn man auch das Tierartige in dieser Beschreibung bedenkt, vor allem die Hörner, die die *bukoliasten* tragen, kommt man logisch zu der Folgerung, dass die *bukoliasten* nicht einfach Hirten in ihrem alltäglichen Leben nachahmen, sondern diejenigen, die schon bei ihren uralten Gebräuchen selbst die Tiere nachgeahmt haben.

Es sind im allgemeinen auch keine Hirten, sondern als Hirten verkleidete Bauernjungen, die im ungarischen Dorfe noch heute das bekannte Bethlehemspiel in vielen, untereinander mehr oder weniger unterschiedlichen, in ihrer Gesamtheit dem allgemein-europäischen Schema des Spieles mehr oder weniger ähnlichen Varianten vortragen. Zu ihrer Tracht gehören meistens die Pelzmütze, oft mit seiner zottigen Seite nach aussen gekehrter Pelzmantel, ein mit einer Kette versehener Hirtenstab. Diese «Hirten» -- oder in ihrer Begleitung die als «Engel» verkleideten Burschen in langem, weissem Hemd und mit einem Kranz am Haupte -- tragen den Kasten, der nach aussen wie eine kleine Kirche, von innen wie ein Stall ausgestaltet ist; darin, vom Kerzenlicht

²⁸ Nach der Annahme eines Sachkenners wie Á. SZILÁDY, stammt diese frühe Bearbeitung des folkloristischen Neujahrsgrusses von dem grössten ungarischen Dichter des XVI. Jh. B. BALASSI; veröffentlicht in: Irodalomtörténeti Közlemények 3 (1893), 252.

²⁹ B. BARTÓK -- Z. KODÁLY: Corpus Musicae Popularis Hungaricae, Bd. II. (herausgegeben von GY. KERÉNYI). Budapest 1953, 1002, aufgezeichnet von L. KISS im J. 1952. Hier auch das meiste der von uns im weiteren angeführten Bethlehem-Spiele und Regös-Lieder.

beleuchtet, einfache Puppen: die Heilige Jungfrau, eventuell auch der heilige Joseph, mit dem neugeborenen Erlöser in der Krippe, unter Tierfigürchen. Die Rolle der Hirten wird freilich mit der Erzählung Lucas' begründet: die Hirten am Feld waren die ersten, denen der Engel die Geburt Christi verkündet hat. Die Ausschmückung ist — mittelbar oder unmittelbar — vom Schullatein beeinflusst, indem diese Hirten nicht selten ihren Namen von den berühmten Hirten Vergils geerbt haben: Tityrus, Menalcas, Mopsus und Corydon kehren z. B. in solchen Varianten wieder, wie Titeris, Monolka, Makuschus, Karidon, Koledom, Koredob usw., wie u. a. auch in einem volkstümlichen französischen Weihnachtspastorale, wo unter den Hirten um Bethlehem z. B. ein Tyreis und ein Hirtenmädchen Amarille vorkommen.³⁰ Sie setzen dennoch eine vorvergilianische, sogar vorthekritische Volkstradition fort, welche hie und da durch Spiel und Gesang noch durchschimmert, besonders in dem manchmal — in Anwesenheit der heiligen Familie! — sehr groben Wortwechsel der Hirten, der an den bukolischen *agon* erinnert, und auch in ihren Bettelformeln, die die Erinnerung an das XVI. Idyll Theokrits und hinter diesem an den *agermos* der griechischen *bukoliasten* wachruft. Die Hirten des Bethlehemspiels betteln meistens nicht für sich selbst, sondern weil sie dem Jesukind ein Paar Stiefel oder Bundschuh kaufen wollen; Theokrit beklagt sich auch schon im voraus, dass wenn der Sänger, der mimenartig den *bukoliasten* versinnbildlicht, bei dem reichen Königshaus nichts verdient, seine Chariten barfüßig heimkehren müssen. In Anbetracht dessen, was wir von Harpalyke und den bulgarischen Wolfstagen sagten, geschieht es vielleicht nicht von der ursprünglich magisch-kathartischen Bedeutung dieser Spiele ganz unabhängig, wenn am Anfang der Bethlehemspiele oft, bevor den Hirten die Geburt Christi und der damit eingetretene Friede bekannt gemacht wird, der unerlöste Zustand der Welt durch die ständige Gefahr gekennzeichnet wird, mit welcher der Wolf die Herde bedroht.³¹ Das bukolische und zugleich prophetisch-messianistische Motiv des Tierfriedens — für Vergils IV. Ecloge z. B. kommen beide Quellen in einer kunstvollen Synthese in Betracht — ist

³⁰ Veröffentlicht bei DU MÉRIL: *Les origines latines du théâtre moderne* (réimpression). Paris 1897, 390–409. Zur frühen Christianisierung der Bukolik vgl. etwa W. SCHMID: Tityrus Christianus, *RhM NF* 96 (1953), 101–165. Das hier in Anm. 149 angeführte deutsche Gedicht aus dem XVIII. Jahrhundert, wo die Hirten in den Bethlehemitischen Feldern die Namen Damon und Corydon führen, ist freilich bedeutend mehr als ein vereinzelt dastehendes Kuriosum; es setzt eine mittelalterliche, im Barockzeitalter wiederbelebte Tradition fort. Zu Endelechius' Gedicht aus den letzten Jahren des IV. Jahrhunderts, welches im Mittelpunkt der Beobachtungen Schmidts steht, liesse sich auch noch manches hinzufügen; die christliche *purificatio animi* scheint nämlich gerade jenen kathartischen Riten gegenübergestellt zu sein, mit welchen die Heiden am Dorfe die Seuche von der Herde fernhalten wollten.

³¹ Eine gewisse Möglichkeit zur Anknüpfung bietet freilich auch hier das Evangelium: «Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässet sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, des die Schafe nicht eigen sind, siehet den Wolf kommen, und verlässet die Schafe, und fleucht; und der Wolf erhaschet und zerstreuet die Schafe» (Joh. 10, 12).

wieder im Bereich der jungfräulichen Artemis zu Hause: in ihrem Hain bei Timavos, wie Strabon (V. 1, 9) berichtet, werden die wilden Tiere zahm, die Wölfe weiden mit den Hirschen zusammen und wenn ein Tier sich vor den Jagdhunden daher flüchtet, bleibt es unversehrt.

Es sei noch hervorgehoben, dass bei den als Hirten verkleideten Bethlehemträgern auch die Tiermaske vorkommt; so trägt z. B. der Ziegenhirt in dem Bethlehemspiel von Szögliget in Oberungarn ausser der Hirtentracht auch einen Ziegenkopf, er ist also zugleich ein Ziegenhirt und ein Bock. Was aber im Bethlehemspiel nur ein Ausnahmefall ist,³² gilt — wie bei den griechischen *bukoliasten* — fast als Gesetz bei dem Volksbrauche, der zeitlich parallel mit dem Bethlehemspiel vor sich geht, also auch um das Wintersolstitium, der aber viel dünner mit Christlichem übertüncht erscheint, oder auch Merkmale des alten Kampfes zwischen Christentum und Heidentum aufzeigt. Die sogenannten *regös* tragen — wie ihre zahlreichen Verwandten bei den Nachbarvölkern — Tiermasken, es gibt einen Stier unter ihnen, manchmal auch ein Schwein und eine Katze, und besonders eine Hirschgestalt, den «csodafiúszarvas» — «wunderbarer Hirschensohn» —, der an seinem Geweih bezeichnende Lichtsymbole des Solstitiumfestes, Kerzen oder auch die Abbildung der Sonnenscheibe trägt.³³ Gerade dies Motiv sieht man besonders oft als ursprünglich-altertümliches Erbe des ungarischen Volkes an. Es gibt aber u. E. noch mehr Bedenken als die gelegentlich angeführte Legende des heiligen Eustachius (oder des heiligen Hubertus) der Umstand, dass die Hörner des Hirtengottes Pan, der gelegentlich durch eine Art «Volksetymologie» des Namens mit dem Weltall gleichgestellt wird und zu welchem Daphnis, das mythologische Vorbild der *bukoliasten* in mehrfacher Beziehung steht, ähnlich auf die Himmelskörper bezogen werden: *καὶ τὸ μὲν τῶν κεράτων ἀπομίμημα ἡλίου καὶ σελήνης μῆρισκους φασὶν εἶναι* (Schol. ad Theocr. I. 3/4), oder: *Pan*

³² Das ungarische Bethlehem-Spiel steht dennoch auch in dieser Hinsicht nicht ganz vereinzelt da; Tiermaskerade vor der heiligen Krippe wird z. B. schon im XIII. Jahrhundert an der steinernen Taufwanne im schwedischen Kviinge dargestellt, vgl. Z. KÁDÁR: Karácsonyi állatalakoskodás ábrázolása egy svéd románkori keresztelőkúton (= Tiermaskerade bei Weihnachten dargestellt an einer schwedischen Taufwanne romanischen Stils). *Antiquitas Hungarica* 2 (1948), 211–215.

³³ Grundlegend noch immer GY. SEBESTYÉN: A regös-énekek gyűjteménye (= Sammlung der Regös-Lieder) und A regösök (= Die Regös-Sänger). Magyar Népköltési Gyűjtemény, Új Folyam (= Sammlung ungarischer Volksdichtung Neue Folge). Bd. IV–V. Budapest 1902. Eine deutsche Beschreibung des Volksbrauchs von K. VISKI: Volksbrauch der Ungarn. Budapest 1932, 15–27. Eine knappe Übersicht der neueren Literatur bei T. DÖMÖTÖR: Naptári ünnepek — népi színdrámák (= Kalenderfeste — Volksspielkunst). Budapest 1964, 175–177. Das angeblich spezifisch Ungarische des «wunderbaren Hirschensohns» wird besonders umsichtig von T. KARDOS behandelt: Adatok és szempontok a magyar dráma kezdeteihez, I. rész (= Angaben und Gesichtspunkte zu den Anfängen des ungarischen Dramas, I. Teil). *Filológiai Közlöny* 3 (1957), 210–232; zustimmend T. DÖMÖTÖR: Árpádházi Imre herceg és a csodaszarvas-monda (= Der Königssohn Imre aus dem Arpadenhaus und die Sage von dem Wunderhirsch). *Ebda* 4 (1958), 317–323. Zum Kult des hl. Eustachius im ungarischen Mittelalter L. MEZEY: Az Árpádok eredet-mondája és a csuti alapítás (= Die genealogische Sage der Arpaden und die Gründung des Klosters in Csut). *Ebda* 3 (1957), 427–429.

pastoralis deus per cornua solem significat et lunam, per fistulam septem planetas stellas, per pellem maculosam coeli sidera . . . (Philarg. ad Verg. Buc. II. 32) usw. Die allegorisierende Methode der stoischen Mythenklärung wird hier offensichtlich durch volkstümliche Vorstellungen unterstützt.

Die Bettelformeln der Regös-Sänger sind oft gerade so bedrohend, wie z. B. die der griechischen Eiresione oder auch des Schwalbenliedes; wenn in dem letzteren der geizige Hauswirt damit bedroht wird, dass man ihm die Tür oder die Türschwelle wegnimmt, wird bei einer altertümlichen Form der ungarischen Regös-Lieder die Bedrohung auch verwirklicht. Falls man die Maskenspieler nicht hereinlässt, oder sie ohne Gaben fortschickt, machen sie eine vollkommene Unordnung im Vorhof: der «Stier» schiebt alles weiter, was nicht nagelfest dasteht, wie Wagen und Fässer, die «Katze» bekrätzt sogar mit einem schlechten Messer die Wände usw.³⁴

Bei Theokrit ist nur ein Anhaltspunkt vorhanden, der es ermöglicht, den volkstümlichen *bukoliosmos* an einen konkreten Zeitpunkt des Jahres zu knüpfen. Es gibt nämlich ein bukolisches Lied bei ihm, welches beweist, dass die *bukoliasten* auch bei der Ernte ihren festen Platz hatten. Das VII. Idyll trägt nämlich schon den bezeichnenden Titel «Thalysia», das heisst «Erntefest», und der Text, ungeachtet seiner handgreiflichen Anspielungen, die auf das zeitgenössische literarische Leben hinweisen,³⁵ zeigt dies als eine typische Gelegenheit für den *bukoliosmos*. Phrasidamos und Antigenes bereiten ein Erntefest der Göttin Deo vor; drei Freunde kommen aus der Stadt an, und unterwegs treffen sie den Lykidas, welcher ein Ziegenhirt ist, oder besser gesagt einem Ziegenhirt ähnlich aussieht (*αἰπόλῳ ἔξοχ' ἐώκει*), er trägt nämlich die Merkmale eines Ziegenhirten: das gelbe zottige Bocksfell auf den Schultern, das noch vom Lab stinkt, sein altes Gewand mit einem breiten Gürtel umgeschürzt, in seiner rechten Hand hält er einen krummen Stab, aus

³⁴ Gy. SEBESTYÉN: Regös-énekék, 187. — «Ouvrez-nous la porte, — Nous vous saluerons . . .» und «Si vous n'voulez rien nous donner — Vous f'rons dommage: — Nous en irons vos jardins, — Dans vos potages» — führt L. VARGYAS (Francia párhuzam regös énekeinkhez — Les chants de quête pour le nouvel an dits «regös» et quelques parallèles français. Néprajzi Közlemények II. Jg. No. 1–2, 1957, 1–10) aus französischen Neujahrsliedern an, die er für Überbleibsel derselben alten Tradition des Mittelmeergebietes betrachtet, wie die ungarischen «Regös»-Gesänge. VARGYAS vergleicht auch die Melodie der betreffenden französischen und ungarischen Volkslieder, wogegen Gy. SZOMJAS-SCHIFFERT (Finnisch-ugrische Herkunft der ungarischen «Regös»-Gesänge. Congressus internationalis Fenno-ugristarum Budapestini habitus 20–24. IX. 1960. Budapest 1963, 364–396) finnisch-ugrische Parallelen einsetzt, die inhaltliche Seite der erwähnten Formeln aber ausser acht lässt. VARGYAS rechnet übrigens vernünftig auch mit finnisch-ugrischen Komponenten, a. a. O. und in einem persönlich mitgeteilten Gutachten für J. HARMATTA: Egy iráni jövevényzavunk magyarázatához (= Zur Erklärung eines iranischen Lehnworts im Ungarischen). Pais-Emlékkönyv. Budapest 1956, 297.

³⁵ Vgl. besonders R. REITZENSTEIN a. a. O. 224, wo freilich das Literarische einseitig betont wird: «Von Volkstümlichem, von Hirtenlied keine Spur. Dann aber kann auch die Aufforderung *Βουκολιασδώμεσθα* nicht heissen, singen wir ein Hirtenlied, sondern singen wir ein Lied im Wettstreit. Auf Letzterem, nicht auf die Hirtenmaske liegt eigentlich der Ton.»

Olivenholz, den der Scholiast zutreffend mit dem *λαγωβόλος* gleichsetzt. Es kommt alles auf seine Tracht an; warum? Weil eben seine Tracht heute aus dem Lykidas einen Hirten macht. In dieser Beschaffenheit ist er gerade dazu geeignet, bei dem Erntefest zu erscheinen, wo die beiden reichen Gastgeber im Rahmen eines fröhlichen Schmauses der Göttin Demeter die Erstlinge ihrer gesegneten Ernte darbringen wollen. So bedeutet der Aufruf des Simichidas-Theokritos — *βουκολιασδώμεσθα* -- nicht einfach: «Wir sollen ein Hirtenlied singen», sondern «wir sollen das Hirtenspiel vollbringen», das heisst als Hirten maskierte Sänger jenem Volksbrauch genugtun, der bei dem Erntefest üblich ist. Wenn wir also auch gerne annehmen, dass die drei Freunde -- Simichidas, Eukritos und Amyntas, und auch vielleicht der vierte, Lykidas, der nachträglich sich zu ihnen gesellt, nur Masken wahrhaftiger Dichter — Theokritos' und seiner Freunde — darstellen, sie verummten sich nicht einfach als Hirten, sondern als volkstümliche Sänger, die sich bei solch einem Festspiel als Hirten maskieren, sie wollen sich also nicht für *βουκόλοι*, sondern für *βουκολιασταί* ausgeben.

Dass Lykidas endlich einen anderen Weg geht, ist eine andere Frage, nur Eukritos, Amyntas und selbst Simichidas geniessen bei dem Altar der Tennegöttin Obst und Wein, das Lied aber, welches Lykidas vor dem Abschied antönt, nimmt auch auf den religiösen Hintergrund des Erntefestes, auf Tod und Auferstehung bezug; wir hören von der verzehrenden Liebe Daphnis' des Hirten um Xenea; sein Tod wird hier euphemistisch verschwiegen, nur die Klage der Eichen um ihn erwähnt. Als ein anderes, typisches Thema des Hirtenliedes wird gleich danach gerade eine Auferstehungslegende angeschnitten: wie Komatas von seinem grausamen Herrn lebendig in einen Kasten eingesperrt durch die Bienen mit Honig ernährt wird. Der Scholiast weiss Bescheid: der fromme Hirt hat allzu oft aus der Herde seines Herrn den Musen Opfer dargebracht, der Herr wurde zornig, und sperrte ihn in einen hölzernen Kasten (*εἰς λάρανα ξυλίνην*) ein, mit dem bösen, ironischen Vorwand, ob ihn seine Göttinnen erretten (*εἰ σώζουσιν αὐτὸν αἱ Μοῦσαι*). Es sind zwei Monate verflossen, der Herr öffnet den Kasten, und er findet den Hirten am Leben, den Kasten voll mit Wachs. Der Scholiast bemerkt einerseits, dass Theokrit vermengt die Züge des Komatas mit denen des Daphnis, andererseits aber, dass Komatas mit Menalkas identisch ist. Zu dem Kasten, der Tod und Auferstehung bedeutet, kehren wir bald zurück; über Menalkas aber schon hier eine Bemerkung. Er ist nach dem gesagten in gewisser Hinsicht ein Ebenbild des Daphnis — nicht umsonst hört eben er als erster die Offenbarung über die Vergöttlichung des jung Verstorbenen in Vergils V. Eclogie: *deus, deus ille Menalcas!* Er ist aber zugleich ein Gegner des Daphnis, der ihm aus lauter Neid das schöne Jagdsgerät zugrunde richtet (Verg. Ecl. III. 12—15), somit ergibt sich das Motiv des Wettstreits schon unter den göttlichen Vorbildern der Hirtenpoesie. Das wissen wohl auch die Nachahmer Theokrits, die das

VIII. bzw. IX. Stück des Corpus verfasst haben, obgleich — vielleicht das Schlussverspaar des ersten ausgenommen — jedes mythologischen Elementes bar, die zwei Wettsänger Daphnis und Menalkas hier mit beliebigen anderen Hirtennamen ersetzt werden könnten.

Während dem Menalkas — ausser der oben erwähnten Geschichte der Eriphanis — nur in seinem Verhältnis zu Daphnis eine gewisse Bedeutung zukommt, ist Daphnis eine vollständige mythologische Figur; es scheint sogar die Vermutung berechtigt zu sein, dass Menalkas gerade darum ihm nebengestellt wurde, um Daphnis in der typischen Situation des bukolischen Wettstreits darstellen zu können. Daphnis gilt nämlich gerade für *εὐρετής* des bukolischen Liedes; so weiss es Diomedes der Grammatiker (III. 487, 8 Keil) und auch Diodorus Siculus (IV. 84), dessen Zeugnis sich eindeutig auf den volkstümlichen *bukoliasmos* bezieht; dieser vorzügliche Kenner der Verhältnisse seiner eigenen Heimat im I. Jh. v. u. Z. fügt noch hinzu, dass die Erfindung des göttlichen Sängers «bis heute» auf Sizilien fortlebt. Solch eine Benennung eines persönlichen Erfinders gerät keinesfalls in Gegensatz zu jenen ätiologischen Legenden, die den Volksbrauch im Bereich des Artemis-Kultes entstehen lassen; Diodorus selbst weiss von Mythen, die Daphnis als Liebling und Jagdgeselle der Göttin hinstellen, und bemerkt, dass Artemis ganz besonders der Hirtenflöte und der bukolischen Weise ergötzte. So werden die Züge der *bukoliasten* auf ihr angebliches Vorbild übertragen; man kann nur auf diese Weise das berühmte Epigramm auf Daphnis (Theokr. Epigr. II) auslegen, in welchem er all die Geräte des *bukoliasten* dem Hirtengott Pan weihet: «Daphnis, der mit weisser Haut, der mit der schönen Hirtenflöte bukolische Hymnen singt, hat dies alles dem Pan geweiht: die durchbohrten Rohre, den Hirtenstab (*λαγωβόλος*), den spitzigen Wurfspiess, das Hirschfell, den Brodsack, in welchem er einst Äpfel getragen hat.» Die *bukoliasten* lassen sich also für Anhänger des Daphnis betrachten, für eine ganz lockere Kultgemeinschaft, deren Mitglieder — ständig oder mehr gelegentlich — sich in seiner Nachahmung und Verehrung vereinigen. Diese Verehrung des Daphnis, eben weil sie zugleich eine Nachahmung ist, schliesst auch die Verehrung der Jagdgöttin Artemis und des Hirtengottes Pan in sich. Sie gebaren sich aber nicht nur nach dem Vorbilde, sie besingen auch die Schicksalswechsel des Daphnis und beklagen hauptsächlich seinen jähen Tod, wie z. B. Thyrsis in dem I. Idyll Theokrits oder auch Tityros in dem VII., zwar ist im letzteren nur eine kurze Anspielung darauf in Lykidas' Worten zu finden. Desto ausführlicher liegt die Klage um Daphnis im I. Idyll vor, in welchem Theokrit aller Wahrscheinlichkeit nach ebenso die traditionsgemässe Klage um Daphnis literarisch bearbeitet, wie etwa Bion (I) das «Grablied» für Adonis. Der Einklang ist nicht zufällig und auch nicht bloss durch den Einfluss Theokrits auf den jüngeren Dichter bedingt; die Übereinstimmungen der beiden Gedichte weisen wenigstens zum Teil auf die tiefliegende Verwandtschaft der beiden Göttergestalten hin; um sie

besser deuten zu können, müssen wir vor allem die Hauptzüge der Daphnis-Mythologie ins Auge fassen.³⁶

Diodorus Siculus und Aelianus (VH X. 18) fassen diese Züge im wesentlichen einstimmig zusammen; Daphnis ist ein Sohn Hermes' und einer Nymphe; seinen Namen erhielt er von dem dichten Lorbeer, der an der Stelle wuchs, wo er geboren oder von seiner Mutter ausgesetzt war. Die Nymphen haben ihn erzogen; die Kühe, die er weidete, waren verwandt mit den Kühen des Helios; eine Nymphe hat sich in ihn verliebt und ihn zur Treue verpflichtet, sogar unter Bedrohungen, dass wenn er die Treue nicht hält, geht ihm sein Augenlicht verloren. Und so geschah es; Daphnis wurde von einer Königstochter verführt und gleich blind geworden; Aelianus meint, dass er das bukolische Lied schon als Blinder um sich zu trösten erfunden hat; Diodorus — wie wir es sahen — setzt die Erfindung des bukolischen Liedes vor dem «Sündenfall» Daphnis, er ergötzte doch damit die Göttin Artemis, die diejenigen aus ihrem Kreise ausstosst, die der Liebe verfallen sind. Zu dieser bündigen Erzählung — zwar ohne zusammenhängende Darstellung des Ganzen — bietet wichtige Ergänzungen die bukolische Poesie selbst und die Scholien zu Theokrit und Vergil. Aus dem I. Idyll Theokrits scheint ein Konflikt ähnlich der Hippolytos-Sage im Hintergrund zu stehen: Daphnis war eben, wie Theseus' Sohn, allzu treu der jungfräulichen Göttin Artemis und darum von Kypris-Aphrodite zugrunde gerichtet, wie hier angedeutet wird, durch unerwiderte Liebe zu einer Nymphe — sie heisst Xenea in dem VII. Idyll. Er stirbt und wird von der ganzen Natur beweint. Nach Servius (ad Ecl. V. 20) als er sein Augenlicht verlor, betete er zu seinem Vater Mercurius um Hilfe, der ihn in den Himmel erhoben hat (*in caelum eripuit*) und an der Stelle eine Quelle hervorspringen liess, wo die Siculer jährlich Opfer darbringen.

Zu einer — wie uns scheint — richtigen Interpretation des inneren Zusammenhanges zwischen Daphnis-Mythologie und bukolischer Poesie kann noch besonders das Abenteuer bei Lityerses beitragen. Unsere Hauptquelle dafür ist Servius ad Ecl. VIII. 68, wo auch eine interessante Variante zur Erblindungsgeschichte erzählt wird: ihn, den schönsten Jüngling von allen Hirten haben alle Weiber geliebt, so auch eine Nymphe namens Nomia, die er zurückwies und sich eher der Chimaera angeschlossen hat, die beleidigte Nymphe hat ihn dann seines Augenlichtes beraubt; danach wurde er in einen Stein verwandelt, den man — mit seiner menschlichen Form — bei der Stadt Cephaloedium zeigt (vgl., anders lokalisiert, Ovid. Met. IV. 277). Mit einem Hinweis auf «andere Gewährsmänner» (*alii*) unterscheidet Servius scharf von dieser Überlieferung eine andere, nach welcher die Geliebte Daphnis' Pimpleia (oder Thalia) hiess; das sind schon echte Musennamen, die im Grunde genom-

³⁶ Die wichtigsten Quellen und Mythenvarianten zusammengestellt bereits bei R. H. KLAUSEN: Aeneas und die Penaten. I. Bd. Hamburg-Gotha 1839, 518–534. Vgl. auch Welcker a. a. O. 188–204 und Reitzenstein a. a. O. 243–263.

men der Formulierung bei Silius Italicus (XIV. 466—467) entsprechen: *Daphnin amarunt Sicelides Musae* . . . Diese Pimpleia aber wird von Piraten geraubt, Daphnis sucht sie durch die ganze Erdenrunde, bis er sie als Sklavin bei dem König Lityerses in Phrygien — nach Schol. ad Theocr. X. 41 einem unehe-lichen Sohne des Midas — trifft. Dieser Lityerses besass viele Saatkfelder (das angeführte Theokrit-Scholion, in welchem übrigens Daphnis mit Lityerses nicht zusammengebracht wird, bezeichnet ihn einfach als γεωργός), so hat er alle die Ankömmlinge aufgefordert, mit ihm in der Wette zu mähen, und wen er besiegte, den tötete er. Es liegt die Vermutung nahe, dass in einer Variante mit diesem Motiv gerade Daphnis' Tod begründet war. Das Märchen will aber ein glückliches Ende haben, so auch der antike Roman, dessen typische Motive — Trennung, Suche und Auffindung — schon in dieser einfachen Erzählung vorliegen und auch einem Longos sich zur Weiterbildung anboten.³⁷ Die Misshandlung der Fremden rief freilich die Erinnerung an Busiris wach; so kam der Tendenz, der Erzählung eine gute Wendung zu geben, die Rolle des Herakles zugute: der Held erbarmt sich des Daphnis, kommt ins Königshaus, hört die Bedingung des Wettstreits, ergreift die Sichel zum Mähen, dann aber, nachdem er den König mit einem Totenliede betäubt hatte, enthauptet er ihn. So befreit Herakles den Daphnis von der Todesgefahr, und gibt ihm seine Geliebte zurück, er gibt sogar dem jungen Paar den königlichen Wohnsitz als Hochzeitsgeschenk. Auf diese Weise konnte schon Sositheos die ätiologische Legende des Schnitterlieds in einem Theaterstück bearbeiten, dessen Titel *Δάφνις ἢ Αἰτωρέσις* uns überliefert ist (Athen. 415b); es ist leicht möglich, dass er die Rolle des Herakles und damit auch die glückliche Wendung in die Handlung eingeschaltet hat.³⁸

Wie dem aber auch sei, soviel steht fest, dass jene Volksbräuche bei der Ernte, mit welchen W. Mannhardt die Lityerses-Sage erklärte, nur bei jener Form zutreffen, die wir im Theokrit-Scholion finden; hier werden nämlich die Körper der enthaupteten Opfer des grausamen Königs in den Garben versteckt, wie noch bei verschiedenen Völkern Europas — freilich unter harmlosen Formen — ein Lebewesen, oder sogar der Schnitter, die Binderin, der Drescher der letzten Garbe, die dann mit Spass und Scherz «totgeschlagen» werden. Daphnis' Rolle in der Lityerses-Sage wird auch dadurch nicht erschöpft, dass bei den erwähnten Volksbräuchen der Fremde, der zufällig vorübergeht, insbesondere ein Zielpunkt des Gelächters wird: man bindet ihn mit einem Bande aus Ähren an, und wartet, bis er sich mit einem Trinkgelde loskauft.³⁹ Daphnis gilt nämlich nicht einfach als Fremder dem grausamen

³⁷ Vgl. R. MERKELBACH: Roman und Mysterium in der Antike. München—Berlin 1962, 208 und dazu meine Besprechung: Deutsche Literaturzeitung 86 (1965), 298.

³⁸ Vgl. O. JAHN: Satura 23. Hermes 3 (1869), 180—181.

³⁹ W. MANNHARDT: Mythologische Forschungen. Strassburg—London 1884, 1—57. Vgl. auch J. G. FRAZER: The Golden Bough. Abridged Edition, London 1929, 424—447 und W. LIUNGMAN: Traditionswanderungen Euphrat—Rein. I. Teil. FFC Nr. 118. Helsinki 1937, 243—244 und *passim*.

König gegenüber, sondern als der unschuldige Hirt im Gegensatz zu dem Ackermann, den bereits seine Arbeit an sich mit Schuld belastet. So steht auch im Alten Testament Abel der Hirte Kain dem gewalttätigen Ackermann gegenüber, und es ist bezeichnend, dass die Voraussetzung des Brudermordes gerade die Darbringung des Opfers war: Kain hat aus der Erdenfrucht geopfert, Abel hingegen hat Milch und den Erstgeborenen seiner Schafherde dargebracht. Es ist eine alte und immer wiederkehrende Frage der Bibelauslegung, warum sich Gott schon vor der Mordtat von Kain abwendet, die Opfer Abels hingegen mit Gnade annimmt. Josephus Flavius z. B. beantwortet die Frage wie folgt: «Gott findet mehr Freude am Opfer, wenn er damit verehrt wird, das von sich selbst (*αὐτομάτως*) und der Natur gemäss entsteht, und nicht auf Grund der Erfindung eines habstüchtigen Menschen und durch seine Gewalt wächst» (*Antiqu. I. 2*).⁴⁰ Das entspricht vollkommen der antiken Auffassung, welche sich die Feldarbeit als eine Gewalttat an der jungfräulichen Erde vorstellt; sie gehört zu den Charakterzügen des Eisernen Zeitalters, indem im Goldenen Zeitalter die fruchtbare Erde noch von sich selbst (*αὐτομάτη*) alles in wunderbarer Fülle hervorbrachte, wie schon Hesiod sagt oder noch mehr die sündige Gewalttat des Ackermanns betonend Ovid (*Met. I. 101-102*):

*Ipsa quoque immunis rastraque intacta nec ullis
saucia vomeribus per se dabat omnia tellus.*

Nun ist aber, wie bekannt, der Name des Bauernkönigs Lityerses zugleich der Name des Schnitterlieds (*Athen. 619a* usw.); dieses Lityerses-Lied können wir uns ursprünglich als ein Klagegedicht um die geschnittenen Ähren vorstellen, darauf weist in der ätiologischen Sage der Ausdruck *ferale carmen* hin. Ein Lityerses-Lied lesen wir auch bei Theokrit (*X. 42-55*), das aber von dieser Trauer nichts spüren lässt. Es ist dennoch für unsere Betrachtung bedeutungsvoll, indem es als ein Gegenstück zu dem Liebesliede eines müssigen Menschen gemeint ist: dem Mäher, der den Frosch um sein Leben ohne Arbeit beneidet, geizt eine Weise, die zu fleissiger Arbeit ansport, höchstens noch ein Spottwort, dessen Zielpunkt der geizige Verwalter ist, und mit welchem der arme Ackerknecht eine harmlose Genugtuung sich verschafft; eine witzige Gegenüberstellung der hungrigen Arbeiter mit den schmausenden Herrschaften gehörte aller Wahrscheinlichkeit nach zu den traditionellen Motiven der Lityerses-Lieder, die neben Trauer um die geschnittenen Ähren auch Spass und Belustigung zulassen. Aus solch einem Zusammenhang stammt vielleicht die Überlieferung, dass Lityerses, der mythologische Grundbesitzer, ein beson-

⁴⁰ Vgl. u. a. auch Philon *De sacrificiis Abelis et Caini* 11-15. Zur Geschichte der Auslegung der Bibelstelle und folkloristische Parallelen zum Motiv der Sündhaftigkeit der Feldarbeit in meinem Aufsatz: *Az oxfordi symposion (= Symposium in Oxford: Erasmus' Stellungnahme in einer Diskussion darüber). Vallástörténeti Tanulmányok (= Religionsgeschichtliche Untersuchungen)*. Budapest 1960², 471-486.

ders gefräßiger Mensch war: Aelian (VH I. 27) fängt wenigstens mit ihm einen Katalog der ἀδηφάγοι ἄνθρωποι an. Es bleibe dahingestellt, ob der Gegner Milons, der eben ein des Arbeiters unwürdiges Liebeslied gesungen hat, Bukaios heisst oder wie einige Handschriften es wollen, das Wort appellativ gebraucht wird, und dann wäre ein Ochsenhirt damit gemeint, der nur gelegentlich bei der Feldarbeit tätig ist; der Name selbst kann nicht auf geradewohl gewählt werden: er ist es eben, der zur schweren Arbeit der Mäher nicht gewöhnt ist⁴¹. So treffen die geringschätzenden Worte Milons das Gebaren der Hirten, im Leben und ihrer bezeichnenden Poesie — wenn man will, eine Selbstironie Theokrits, dennoch im Rahmen traditioneller Züge: eine Gegenüberstellung der Hirten und der Bauern, wo nur Milon — vielleicht unter seiner Maske ein tatsächlicher Gegner der bukolischen Poesie, freilich, schon der literarischen Gattung — für die Feldarbeiter Stellung nimmt. Die bukolische Poesie erhebt eben den *bukoliasmos* zu den literarischen Formen, der mit dem Artemis-Kult verbunden das Hirtenleben bei gewissen Zeitpunkten des Jahres immer wieder in einer vorbildlichen Form auch den Bauern vor Augen stellte. Jetzt können wir schon vermuten, aus welchen religiösen Bedürfnissen: um eine Sühnung zu verwirklichen, bei verschiedenen Wendepunkten, und nicht in letzter Linie gerade beim Jahreschluss im Ackerbau anlässlich der Ernte, welche nicht nur die Freude des Erfolgs, sondern zugleich das Schuldbewusstsein wegen der gewalttätigen Behandlung der Natur, der mit Eisen des Pfluges beraubten Jungfräulichkeit der Erde und des Todes der Ähren mit sich bringt.

Sühne und Entsühnung, Tod und Auferstehung müssen hier vorgespielt werden, nicht in letzter Linie auch darum, damit die Fruchtbarkeit der Erde für das neue Agrarjahr gesichert werde. Bei der Thalysia wird auch von den Erstlingen der Frucht geopfert, das genügt aber nur, wenn die Vertreter des unschuldigen Lebens des Goldenen Zeitalters, die Hirten oder sich für Hirten ausgebende Maskenspieler — also *bukoliasten* wie Lykidas — auch anwesend sind. Noch Vergil weiss, dass bei der Lustration des Feldes (*cum lustrabimus agros*), oder als die Bauern ihre jährlichen Gelübden vollbringen (*vota quotannis agricolae faciunt*), gerade solche Maskenspiele am Platze sind: der eine von den Hirten ahmt die tanzenden Satyren nach, er ist also gewiss mit einem zottigen Pelzmantel bekleidet und trägt Hörner. Und es genügt nicht bloss den Agrargöttern — Bacchus und Ceres — zu opfern, man muss auch den Hirtengöttern Daphnis und Phoebus Altäre aufstellen, wobei natürlich Apollon Nomios gemeint ist, der nach einer Überlieferung selbst den *bukoliasmos* einführte, als er als Hirte bei König Admetos diente (z. B. Iunius Philargyrius, Expl. in Verg. Buc., Appendix Serviana, ed. H. Hagen, p. 11). Man bringt für

⁴¹ Den Scholiasten zwingt offensichtlich nur die angebliche Etymologie ἀπό τοῦ βῶν ἐπιτατικοῦ καὶ τοῦ καίνω τὸ κόπτω καὶ θερίζω einen Pflüger (ἀροτήρα) im βουκαῖος zu sehen: τὸν σὺν τοῖς βοσῶν καίνοντα τὴν γῆν, und er vermerkt auch die Ansicht, nach welcher βουκαῖος einfach den βουκόλος bedeutet.

Daphnis als Trinkopfer Milch dar, wenigstens zum Teil also dasselbe, womit der alttestamentliche Hirt Abel mehr Gnade bei seinem Gott verdiente, als Kain mit den Früchten der Erde. Vergil weiss genau, wann diese Festlichkeiten vor sich gehen: zweimal im Jahre, im Winter (*frigus*), also um das Wintersolstitium, wie die oben geschilderten Volksbräuche bei verschiedenen Völkern von heute, und in der Zeit der Ernte (*messis*), also bei jener Gelegenheit, welche den drei Freunden in dem theokritischen Thalysia-Gedicht Lykidas als vierten in bezeichnender Tracht der *bukoliasten* zuführte.

Nach Vergil werden in der soeben angeführten V. Ecloge die hier beschriebenen Festlichkeiten mit dem Tode und der darauf folgenden Apotheose Daphnis' begründet; damit wird aber zugleich eine gesegnete Epoche des Friedens, eine Art Goldenes Zeitalter inauguriert. So folgen zwei Lieder nacheinander, ein Wettgesang, wie es den *bukoliasten* ziemt; Mopsus besingt Daphnis' Tod, den die ganze Natur miterlebt, die wilden Tiere im Walde klagen um Daphnis, und die Fruchtbarkeitsgötter Pales und Apollon verlassen die Erde, die mit Unkraut überwuchert wird. Menalkas aber bringt schon die fröhliche Botschaft, Daphnis hat den Olymp erreicht und unter dem neuen — eigentlich auferstandenen — Gotte wird die Natur voll mit Freude, sogar das berühmte Motiv des Goldenen Zeitalters, der Tierfrieden kommt zustande: der Wolf lauert nicht mehr dem Schafe.

Mopsus' Lied hat sein Vorbild in dem I. Idyll Theokrits, wo Thyrsis den jung verstorbenen Daphnis ohne Zweifel mit herkömmlichen Formeln eines rituellen Threnos beweint. Schon Reitzenstein hat es vermutet, dass auch Menalkas' Lied ein uns unbekanntes bukolisches Gedicht befolgte.⁴² Wir möchten diese Meinung etwas anders formulieren: nicht unbedingt ein literarisches Vorbild ist hier vorauszusetzen, viel mehr die Motivik des volkstümlichen *bukoliasmos*, der noch in Vergils Zeit nach dem Zeugnis des Diodorus in Sizilien lebendig war, und wenn auch die Annahme eines literarischen Zwischenglieds sich beweisen liesse, das Entscheidende ist eben, was durch das Literarische aus dem Volkstümlichen zu Vergil übermittelt wurde. Vom Daphnis' Himmelfahrt weiss auch die mythographische Tradition: sein Vater Hermes hat ihn in den Himmel erhoben. Und nach der Klage um Daphnis' Tod folgt auch in dem von Lykidas in dem VII. Idyll Theokrits kurz wiederholten Liede des Tityros das Auferstehungsmotiv, zwar mit einer anderen Hirtengestalt — Menalkas—Komatas — verbunden, das Nacheinander zeigt aber, dass eben Tod und Auferstehung zusammen den Inhalt des Streitgedichts der *bukoliasten* am Erntefest — und wahrscheinlich auch um das Wintersolstitium, worauf das Erblindungsmotiv in der Daphnis-Sage hinweist⁴³ — ausmachten.

⁴² REITZENSTEIN a. a. O. 212.

⁴³ Zum mythologischen Motiv der Erblindung vgl. I. GOLDZIEHER: Der Mythos bei den Hebräern. Leipzig 1876, 124–129 und meine Mythologie: Die Töchter der Erinnerung. Berlin–Budapest 1966², 15–16.

Die Äusserlichkeiten der Auferstehung des Komatas – Menalkas, dessen Gestalt, wie wir sahen, aus der für den bukolischen Wettstreit unentbehrlichen Verdoppelung der Daphnis-Gestalt entstanden ist, verdienen noch unsere Aufmerksamkeit. Er wird nämlich in einen Kasten gesperrt, wo er Monate lang⁴⁴ von den Bienen ernährt wird, und als man den Kasten öffnet, tritt er lebendig heraus. Die Lade als Symbol des Todes und der Auferstehung ist besonders der hellenistisch-ägyptischen Mythologie bekannt; wie Plutarch erzählt, lockt Typhon heimtückisch den Gott Osiris in eine kostbare Lade, die er dann fest verschliessen und in den Fluss werfen lässt; Isis sucht den verschwundenen, und findet die Lade in der phönizischen Byblos (de Iside et Osiride 15). Lukian aber berichtet: in Byblos meinen einige, dass bei ihnen nicht Adonis, sondern Osiris begraben liegt (de Dea Syria 7) – Osiris, der ebenso aufersteht, wie Adonis, woraus nicht nur auf die Gleichstellung der beiden Götter seitens der hellenistischen Theologie zu folgern ist, sondern gerade, dass in Byblos ein ähnliches Motiv der beiden Kulte zu dieser Gleichstellung Anlass gab. Dass aber eine gewisse Gleichstellung des Adonis mit Daphnis den bukolischen Dichtern selbst nicht fremd war, beweist vielleicht eine leise Anspielung auf Adonis schon im I. Idyll Theokrits, noch mehr der Umstand, dass das Adonifest auch ihm für ein ergiebiges Thema galt (XXVI), und am meisten, dass sein Nachfolger Bion – wenn auch das überfeine Spiel eines Anonymen (Theokr. XXXI) wir ausser acht lassen – eine Klage um Adonis schreibt, die in mancher Hinsicht – besonders was die Teilnahme der Natur in der Trauer betrifft – theokritische Motive wiederholt. Oder wiederhallen die beiden gerade Klänge, die dem Daphnis- und dem Adonis-Kult schon von vornherein gemeinsam waren? Diese letztere Formulierung scheint das Richtige zu treffen, besonders in Anbetracht der mesopotamischen Dumuzi-Tamuz-Texte, die schon, wie auch der Mythos, mit dem der Kult begründet wird, in *ultima analysi* sowohl Adonis, wie Daphnis in richtige Beleuchtung stellen, indem sie den gemeinsamen orientalischen Ursprung der beiden griechischen Göttergestalten nahelegen.

Daphnis und Adonis sind ebenso junge Hirten, wie Dumuzi-Tamuz, und beide sind von Göttinnen geliebt, wie dieser. Sie alle sterben aber jung, und werden beweint – und die Klage um sie, welche ihrer Auferstehung vorangeht, ist eben das Hauptmoment ihres Kultes. Für Adonis ist die Gleichstellung mit Dumuzi-Tamuz eine alte Erkenntnis, und wir halten es – trotz mancher modernen Bedenken – für eine richtige Erkenntnis.⁴⁵ Man kann schon ein

⁴⁴ Bei Theokrit (VII. 85) steht der Ausdruck *ἔτος ὅσιον*, welcher nach dem Scholion zwei verschiedene Erklärungen zulässt: «ein ganzes Jahr» (*τὸν ἅλον ἐνιαυτόν*), oder eine Jahreszeit, die aus drei Monaten besteht (*τὸν τριμηνιαῖον καιρόν*); ein anderes Scholion ad V. 78/79 besagt ausdrücklich, dass Komatas-Menalkas zwei Monate lang in dem Kasten eingesperrt von den Musen ernährt wurde.

⁴⁵ Entschieden ablehnend z. B. DÜMLER PWRE s. v. Adonis und besonders P. KRETSCHMER: *Mythische Namen* 4. *Glotta* 7 (1916), 29–39, wo auch die semitische Etymologie abgelehnt und der Name Adonis im Anschluss an die alexandrinischen

Zeugnis, wie das des Hieronymus nicht geringschätzen; er übersetzt den Götternamen Tamuz bei Hesekiel (VIII. 14), wo der Prophet den Frauen von Jerusalem vorwirft, dass sie den fremden Gott beweinen, mit dem in der griechisch-römischen Welt mehr geläufigen Äquivalenten Adonis. Er tut aber noch mehr, er begründet sein Verfahren in seiner *Commentatio in Ezechielem Prophetam* zur Stelle: *Quem nos Adonidem interpretati sumus, et Hebraeus et Syrus sermo Tamuz vocat: unde quia juxta gentilem fabulam in mense Junio amasius Veneris et pulcherrimus juvenis occisus et deinceps revixisse narratur, eundem Junium mensem eodem appellant nomine, et anniversariam ei celebrant solemnitatem, in qua plangitur a mulieribus quam mortuus et postea reviviscens canitur atque laudatur.*⁴⁶ Es sind in diesem Bericht gleich drei Momente von Belang: 1. Das Nacheinander der Klage um den Toten und des Lobgesanges auf den Auferstandenen ist dasselbe, wie wir es in Vergils V. Ecloge beobachtet haben. 2. Der Monat Juni entspricht auch der Mahd, die in dieser Ecloge als einer der beiden Zeitpunkte für Daphnisfeste angegeben wird. 3. Der Monat Tamuz in dem synagogalen Kalender entspricht bis heute ungefähr dem Juni, und was eine besondere Aufmerksamkeit verdient: in der Mitte dieses Monats begeht der jüdische Volksbrauch noch immer die drei Trauerwochen, die zwar — wie die ätiologischen Sagen überhaupt oft zur Historisierung eine Neigung zeigen (vgl. auch den Perserkrieg, als *aitia* für bukoliasmos) — jetzt mit der Belagerung Jerusalems begründet werden, ursprünglich aber ohne Zweifel mit dem Agrarjahr verbunden waren. Das bekannte Schabbatlied vom Empfang der Braut stammt auch erst aus dem XVI. Jh., dass man aber es von 17. Tamuz an drei Wochen lang auf die Melodie eines Klageliedes singt, mag die Erinnerung auf uralte Klagelieder aufrechterhalten haben. Im Hintergrund liegt eine in grauer Vorzeit verblasste Bezugname auf die Naturverhältnisse, die in der Fortsetzung des angeführten Abschnitts bei Hieronymus wenn auch

Grammatiker (*ἀδείν τῆ δαίμωνι*) und Fulgentius (*adon enim graece suavitas dicitur*) auf griechischen Wortstamm zurückgeführt wird. F. NÖTSCHER, Reallexikon für Antike und Christentum, Bd. I. Stuttgart 1950, 96 setzt auch nur eine späte Gleichsetzung des Adonis mit Tamuz vor; sich etwas zurückhaltend, dennoch mehr positiv M. P. NILSSON: Griechische Feste. Leipzig 1906, 384, Anm. 4, derselbe zieht später auch die Texte von Ras Schamra in Betracht: Geschichte der griechischen Religion. I. Bd. München 1955², 727, Anm. 3. Die orientalische Herkunft des athenischen Adoniskultes wird durch ein inschriftliches Dekret einer Vereinigung von Leuten aus dem kyprischen Salamis bei L. DEUBNER: Attische Feste. Berlin 1956², 222 bekräftigt. Eindeutig positiv, auch die Analogie des euphemistischen Gottesnamens in der Jahwe-Religion richtig bewertend J. G. FRAZER: Adonis (Sonderausgabe aus *The Golden Bough*). London 1932.

⁴⁶ Es ist allerdings bemerkenswert, dass W. W. BAUDISSIN, diese Einzelzüge, die schon an sich auf Autopsie hinweisen, vernachlässigend, sich auf die Gleichsetzung Tamuz-Adonis bei Hieronymus beschränkt, sie hinwiederum bloss der Gelehrsamkeit des Kirchenvaters zuschreibt und auf Origenes zurückführt: Adonis und Esmun. Leipzig 1911, 83 und 95. Nach BAUDISSINS Auffassung sind Tamuz und Adonis dennoch «in ihrer geschichtlich erkennbaren Form verschiedene Gottheiten, die aber aus einer gemeinsamen Wurzel erwachsen sind», obgleich «fraglich bleibt, wo diese Wurzel zu suchen ist», a. a. O. 368–369.

einseitig, dennoch nicht unrichtig kennzeichnet wird: . . . *interfectionem et resurrectionem Adonidis planctu et gaudio prosequens: quorum alterum in seminibus, quae moriuntur in terra, alterum in segetibus, quibus mortua semina renascuntur, ostendi putat* . . . Wenn man aber mit dieser Aussage als einer blossen Annahme auch diskutieren mag, er berichtet unbedingt gut informiert von Religionsverhältnissen, die erst etwas mehr als ein halbes Jahrhundert seiner Niederlassung in Bethlehem vorangingen; in einem seiner Briefe (Ep. LVIII) zählt er die heidnischen Kulte auf, die von Hadrian an bis auf Constantinus in Palästina begangen wurden, und sagt: *Bethlehem nunc nostram, et augustissimum orbis locum de quo Psalmista canit: Veritas de terra orta est (Ps. 84, 12), lucus inumbrabat Tamuz, id est Adonidis: et in specu, ubi quondam Christus parvulus vagit, Veneris amasius plangebatur*. Dass übrigens Adon, Adonaj nicht nur in der Jahwe-Religion zur euphemistisch-verallgemeinernden Bezeichnung der Gottheit diente, dafür haben wir einen syrisch-griechischen Zeugen, und zwar fast halbttausend Jahre früher, als Hieronymus, nämlich Meleagros. Der berühmte Epigrammatiker — der auch einen hübschen Threnos auf Daphnis in den Mund Pans setzt (AP VII. 535), des Hirtengottes also, der nach einer Erzählung Plutarchs (de Iside et Osiride 14) als erster von Osiris' Tod mit den Satyren zusammen (eigentlich in Mehrzahl: *Πανῶν καὶ Σατύρων τὸ πάθος αἰσθομένων* . . .) Kenntnis genommen und mit der Trauerbotschaft die Gegend in «panischen Schrecken» versetzt hat, dessen eigener Tod aber nach einer anderen, besonders merkwürdigen Erzählung ebenfalls bei Plutarch (de orac. defectu) von einem sterblichen *Thamus* angekündigt wird — schreibt seine eigene Grabschrift (AP VII. 419), auf welcher er den Wunsch äussert, dass wenn ein Syrer ihn besucht, der soll ein «Salam» sagen, wenn ein Grieche den Gruss *χαῖρε* aussprechen, wenn aber ein Phönizier, soll bei dem Grab der Gottesname *Ἀδδονίς* laut werden, wie schon Scaliger anstatt *vaidios* richtig gelesen hat. Meleagros aus Gadara meint eben den Tamuz der Phönizier, den sie schon unter dem euphemistischen Namen als Adonis den Griechen übermittelten; diesen Namen bei einem Grabe auszusprechen, wirkt ebenso im Sinne eines guten omens, wie das syrische Wort für «Frieden» oder das griechische «Lebewohl»; es ist vielleicht noch mehr wirksam, weil es auf den auferstehenden Gott hinweist, der übrigens auch oft auf Sarkophagen abgebildet wird.

Adonis ist also der babylonische Gott Dumuzi-Tamuz, wie seinen euphemistischen Decknamen die Phönizier den Griechen übermitteln haben, in verhältnismässig später Zeit, worauf auch die fast unveränderte, nur mit dem Nominal-Suffix versehene Namensform hinweist; schon durch Sappho (fr. 133. u. 152. Reinach-Puech) ist freilich nicht nur der Name, sondern auch die Adonis-Verehrung mit den auch für Tamuz bezeichnenden Klageliedern der Weiber belegt. Es ist gar nicht entscheidend, dass Daphnis erst später oder höchstens gleichzeitig im griechischen Schrifttum auftaucht; eine Bezugnahme

auf ihn bei Stesichoros ist nämlich nur indirekt bezeugt; es bleibt allerdings fragwürdig, ob Aelian (VH X. 18) ihm die Anfänge der literarischen Bearbeitung der Daphnis-Mythe oder der bukolischen Poesie überhaupt zuschreiben will.⁴⁷ Der Hinweis auf *δαφνή* «Lorbeer» ist freilich als eine pure Volksetymologie anzusehen, wenn auch durch diese Volksetymologie — wie oft — auch die mythologische Entwicklung, hier die Geburtslegende beeinflusst wurde. Die Volksetymologie konnte aber zugleich zu einer leichten Modifizierung der Namensform beitragen, und dieser Umstand lässt auch die Annahme zu, dass im Namen Daphnis auch der orientalische Name des Hirtengottes aufbewahrt blieb. Die gräzisierte Form des orientalischen Gottesnamens Damu-Dumuzi-Tamuz, bevor sie unter dem Einflusse des Pflanzennamens *δαφνή* gewissermassen entstellt wurde, konnte ähnlich lauten, wie etwa der getreue Begleiter des Apollonios von Tyana, der Assyrer aus Ninive heisst: *Damis*.

Die Daphnis-Mythologie gehört aller Wahrscheinlichkeit nach zu jener älteren Schicht orientalischer Entlehnungen, zu welcher die Kenntnisse des babylonischen Kalenders und von den letzteren nicht unabhängig die orientalische Färbung der hesiodischen Dichtkunst gehören. Unter den altorientalischen Quellen, die Daphnis' Identifizierung mit Damu-Dumuzi-Tamuz unterstützen, kommt eine wichtige Rolle dem sumerischen Gedicht zu, welches S. N. Kramer vor einigen Jahren dem XXV. Internationalen Orientalistenkongress in seiner geistvollen Rekonstruktion vorlegte.⁴⁸ Ich wäre geneigt, auch jene weibliche Daphnis, eine Bergnymphe, die nach einer Angabe bei Pausanias (X. 5, 5) noch vor Apollon in Delphi Orakel gab, mit der Schwester Dumuzi's, Geshtinanna der Wahrsagerin in dem sumerischen Texte zu vergleichen. Es scheint mir aber schon etwas bedenklich, auf Grund einer fragmentarischen Überlieferung die Auferstehung Dumuzi's zu verneinen; er stirbt allerdings als Gott und wird unter bestimmten Riten beweint, das heisst, er stirbt alljährlich, er muss also auch alljährlich auferstehen wie Adonis. Gerade zur Klage um Daphnis bei Theokrit und Vergil stehen überzeugende Parallelen sowohl im griechischen Adonis-Kult wie in orientalischen Dumuzi-Tamuz-Texten zur Verfügung. Es genügt ein bezeichnendes Motiv anzuführen: wie die ganze Natur um den Tod des jugendlichen Gottes trauert, wie die Pflanzenwelt aus Mitleid ihre Fruchtbarkeit einstellt. Bei dem Tode Dumuzi's heisst es: «Die Wehklage gilt den Kräutern, die Früchte nicht hervorbringen, die Wehklage gilt dem Getreide, das Ähren nicht hervorbringt . . .»⁴⁹ In dem Grablied über Adonis bei Bion: *ὡς τῆνος τέθνακε, κατ' ἄνθεα πάντ' ἐμαράνθη* (I. 76). Noch mehr betont nach Daphnis' Tod bei Vergil (Ecl. V. 34–37):

⁴⁷ Vgl. WELCKER: a. a. O. 189. REITZENSTEIN a. a. O. 262.

⁴⁸ S. N. KRAMER: The Death of Dumuzi (Tammuz). Труды двадцать пятого конгресса востоковедов. Т. I. Москва 1962, 169–173.

⁴⁹ A. UNGNAD: Die Religion der Babylonier und Assyrer. Jena 1921, 231.

*postquam te fata tulerunt,
ipsa Pales agros atque ipse reliquit Apollo.
Grandia saepe quibus mandavimus hordea sulcis,
infelix lolium et steriles nascuntur avenae . . .*

Gerade auf eine verschollene bukolische Quelle Vergils lässt das Motiv der mütterlichen Trauer schliessen (Ecl. V. 22–23), wenn man es mit dem babylonischen Text vergleicht. «Seine Mutter lässt Klage um ihn überall hindringen . . .»⁵⁰

Vergil gerät kaum mit einer mythologischen Überlieferung in Gegensatz, wenn er auf die Beweinung des Hirtengottes Daphnis' auch eine Art Auferstehung: die Himmelfahrt folgen lässt. Somit wird die Reihenfolge der IV. und V. Ecloge in der kunstvoll komponierten Gedichtsammlung durch die mythologische Chronologie der folgenden Motive: Geburt des Kindes, jäher Tod des Jünglings und seine Apotheose bestimmt, nach Art und Weise eines «heidnischen Evangeliums», obgleich die Gelegenheit, die die V. Ecloge hervorrief (Caesars Tod und angeblicher *katasterismos*) nach der Chronologie der römischen Geschichte derjenigen vorangeht, die in der IV. Ecloge gefeiert wird (Geburt des Kindes im Hause des *consul*, des Friedenstifters Asinius Pollio). Demgemäss kommen auch hier, wie im religiösen Hintergrund der bukolischen Poesie überhaupt, Sünde und Versöhnung zur Geltung: der Bürgerkrieg und seine Aufhebung, einerseits durch Tod und Apotheose Caesars, andererseits durch die Geburt eines unschuldigen Kindes; beide verkünden eine neue, mit dem Frieden des Goldenen Zeitalters gesegnete Epoche. Die IV. Ecloge hat schon H. Wagenvoort mit Recht in eine gewisse Beziehung zu dem *sidus Julium* gestellt.⁵¹ Wir meinen, dass diese Beziehung erst durch die Vermittlung der V. Ecloge handgreiflich wird, und infolge dessen ist sie, was die Einzelzüge der Interpretation betrifft, auch etwas anders gestaltet.⁵²

⁵⁰ Ebd. 233. Vgl. auch Macrobius Sat. I. 21: «*Simulacrum huius deae (sc. Veneris) in monte Libano fingitur capite obnupto, specie tristi, faciem manu laeva intra amictum sustinens, lacrimae visione conspicientium manare creduntur. Quae imago praeter quod lugentis est ut diximus deae, terrae quoque hiemalis est, quo tempore obnupta nubibus sole viduata stupet, fontesque veluti terrae oculi uberius manant, agrique interim suo cultu vidui macstam faciem sui monstrant.*»

⁵¹ H. WAGENVOORT: *Studies in Roman Literature, Culture and Religion*. Leiden 1956, 1–29.

⁵² Diesen Aufsatz habe ich in abgekürzter Form dem XI. Internationalen Kongress der Internationalen Gesellschaft für Religionsgeschichte (Claremont, 6–11. September 1965) vorgelegt. Auf demselben Kongress hat W. Harrelson einen besonders aufschlussreichen Vortrag unter dem Titel «The Fall of Jerusalem in 586 and its celebration» gehalten; es ist mir sehr angenehm zu verzeichnen, dass meine Beobachtungen betreffs der Vorgeschichte des Festes durch seine Ausführungen z. T. anderer Art unterstützt werden können.

PROBLEME DES AORISTS BEI HOMER

I

Das abstrakte Kategoriensystem der Grammatik als Grundlage betrachtet, sind wir geneigt anzunehmen, dass die Verben durch die sogenannten Aktionen nur aktionell modifiziert werden, während ihre Bedeutung, die aktionellen Veränderungen ungeachtet, unverändert bleibt. Diese Annahme wurde bereits im vorigen Jahrhundert von Delbrück zurückgewiesen.¹ Delbrück förderte die Verfertigung eines Lexikons, in dem die verbalen Formen ihren Wurzeln nach systematisiert werden sollten. Dies sollte — seiner Meinung nach — eine strikte Bestimmung der Bedeutung bei den Tempus-Stämmen ermöglichen, sowie die Bestimmung dessen, welche Tempus-Stämme die einzelnen Verben haben. Er selbst machte darauf aufmerksam, dass nicht alle Verben sämtliche Tempus-Stämme besitzen; bei einigen ist nur der Imperfekt, bei anderen nur der Aorist-Stamm zu finden.² Von einer diesbezüglichen speziellen Untersuchung auf Grund des auf diese Weise verfertigten Lexikons hat er viel gehofft.

Fast ein Jahrzehnt nach dem Aufruf Delbrücks ist das Lexikon von H. Ebeling³ erschienen und auf dieser Grundlage die Untersuchung in der — von Delbrück bestimmten — Richtung ermöglicht. Am Ende des Jahrhunderts hat C. Mutzbauer die Verbal-Stämme der homerischen Gedichte⁴ — nach den von Curtius bestimmten Klassen systematisiert. Er bemühte sich, die Grundbedeutungen der Stämme und ihre Weiterentwicklung zu bestimmen.⁵

Mutzbauer hat im angeführten Werk viele merkwürdige Beobachtungen gemacht. Das Werk lässt aber im ganzen genommen noch viel zu wünschen übrig. Den allgemeinen Prinzipien gegenüber, die im ersten, einleitenden Teile ausgeführt werden, ist der zweite Teil äusserst statisch. Es enthält bloss eine mechanische Zusammenstellung des Materials. Die Erscheinungen werden nicht in ihrer Bewegung, in ihren Zusammenhängen dargestellt. Die Zusam-

¹ B. DELBRÜCK; Syntaktische Forschungen. II. Halle, 1876. S. 80.

² B. DELBRÜCK; ibidem S. 92.

³ H. EBELING; Lexicon Homericum I—II., Lipsiae, 1880—5.

⁴ C. MUTZBAUER; Die Grundlagen der griechischen Tempuslehre... Strassburg, 1893.

⁵ C. MUTZBAUER; ibidem. VII. 1.

menhänge zwischen den einzelnen lexikalischen Bedeutungen — bzw. zwischen lexikalischen Bedeutungen und Aktionen — sowie zwischen Simplex-Formen und Komposita werden nicht festgestellt. So vermisst man vor allem den Zusammenhang zwischen den lexikalischen Bedeutungen und den Aktionen, wovon Delbrück viel gehofft hat.⁶ Daher sollen im folgenden einige Zusammenhänge zwischen den verbalen Aktionen (vor allem dem Aorist) und lexikalischen Bedeutungen klargelegt werden. Zugleich können aber — wie wir es sehen werden — diese Zusammenhänge von denselben innerhalb der lexikalischen Bedeutungen, zwischen Simplex-Formen und Komposita, zwischen verbalen Aktionen und Genera nicht getrennt werden. Ja sogar der Inhalt des Aorists selbst bleibt nicht unverändert; während sich die lexikalische Bedeutung der Verben im Aorist verändert — verwandelt sich der Inhalt der Aorist-Aktion selbst.

II

Beim Lesen der homerischen Gedichte fällt es häufig auf, dass eine bestimmte Bedeutung bei einigen Verben *oft* in der Aorist-Aktion vorkommt. Dadurch wird die enge Verflechtung dieser Bedeutungen mit der Aorist-Aktion wahrscheinlich gemacht.

Die Wahrscheinlichkeit wird noch grösser, wenn wir alle Erscheinungsformen dieser Verben berücksichtigen. Es wird nämlich im Verhältnis zwischen der Aorist-Aktion und den Bedeutungen bei den Verben oft folgendes ersichtlich:

a) die in Frage stehenden Verben kommen in keiner anderen Aktion, nur in Aorist vor, z. B.

$\acute{\epsilon}\chi\text{-}\varphi\upsilon\gamma\text{-}$ = 'entfliehen';

b) bzw. sie können in einer bestimmten Bedeutung nur Formen im Aorist annehmen:

$\kappa\theta\upsilon\text{-}\alpha\text{-}$ (aor.) = 'auswählen';

c) die ältere und eine neuere Bedeutung kommen gleicherweise so im Imperfekt wie in der Aorist-Aktion vor — auf Grund des Gebrauchs aber — sowie aus dem Verhältnis zwischen der impf.- und aor. Aktion — kann darauf gefolgert werden, dass die Entstehung der neueren Bedeutung im Aorist vor sich zu gehen begann, z. B.

$\varphi\upsilon\gamma\text{-}$ (aor.) = 'entfliehen' (< 'entlaufen');
 $\varphi\epsilon\upsilon\gamma\text{-}$ (impf.) = 'laufen', '(ent)fliehen'.

⁶ B. DELBRÜCK: (siehe I.) S. 92.

Und die Wahrscheinlichkeit wird zur Gewissheit, wenn wir die in Frage stehenden Formen einer konkreten Analyse unterwerfen. Es stellt sich nämlich heraus, dass die Bedeutungen der Verben im Aorist nicht einfach mit der aoristischen Einschränkung der lexikalischen Bedeutung desselben Verbs in der impf. Aktion identisch sind, sondern:

1. aus der aoristischen Einschränkung des Verb-Inhalts entsteht eine neue Bedeutung, die ursprünglich nur im Aorist einen Sinn hat:

$\varphi\varepsilon\nu\gamma$ - (impf.) 'laufen' = $\varphi\nu\gamma$ - (aor.) = 'entfliehen' (\sim , 'ent-laufen')

(später erscheint die neue Bedeutung auch in einer anderen, vielleicht auch in einer impf. Aktion:

$\varphi\varepsilon\nu\gamma$ - (impf.) '(ent)fliehen',

das ist aber nur eine Rückwirkung der Bedeutung des Aorists auf dieselbe des Imperfekts).

2. Manchmal erscheint der Kern der neueren Bedeutung in der Imperfekt-Aktion — eventuell in der Form einer Wendung —, endgültig wird sie aber nur in der Aorist-Aktion selbständig.

$\kappa\rho\acute{\iota}\nu\omega$ (impf.) + $\nu\acute{\epsilon}\iota\lambda\epsilon\alpha$. . . 'urteilen . . .' \sim 'trennen', 'scheiden':
 $\acute{\epsilon}\text{-}\kappa\rho\iota\nu\text{-}\alpha$ - (aor.) 'urteilen', 'entscheiden'.

So kann die Rolle des Aorists bei der Ausgestaltung neuer lexikalischen Bedeutungen festgestellt werden. Die Untersuchung des Verhältnisses zwischen lexikalischen Inhalten und Aktionen bei den Verben führt also zur Folgerung, dass die Annahme unveränderter und von den Aktionen unabhängiger Verb-Inhalte und der Aktionen, die ihrerseits von den Verb-Inhalten unabhängig wären, der Wirklichkeit widerspricht. Genauer ausgedrückt: die Annahme der verbalen Aktion — als einer Kategorie, die von der lexikalischen Bedeutung unabhängig besteht — hat nur innerhalb bestimmter Grenzen eine Berechtigung.

Eine weitere Frage ist nun, wie sich die in den homerischen Gesängen oft vorkommenden, ursprünglich aoristgebundenen Bedeutungen einander gegenüber verhalten, was sie in ihrer Ganzheit im allgemeinen ausdrücken. Die neueren Bedeutungen, die aus der aoristischen Begrenzung der impf. Bedeutungen entstehen, sind ihre Abstraktheit betreffend mit den zugrunde liegenden impf. Bedeutungen nicht gleichwertig. Z. B.

$\varphi\varepsilon\nu\gamma$ - (impf.) = 'laufen': $\varphi\nu\gamma$ -, $\acute{\epsilon}\kappa\text{-}\varphi\nu\gamma$ - (aor.) = 'entfliehen'.

Die neueren Bedeutungen sind — wie wir es sehen werden — nicht nur im Vergleich zu ihren Grundbedeutungen abstrakt; sie sind oft abstrakt auch in dem Sinne, dass sie aus den Momenten mehrerer sinnlicher Grundbedeutungen zusammengesetzt werden. Z. B. die aoristischen Formen *κρηην-* und *τελεσ-* führen zu einer neueren Bedeutung von 'vollbringen', die auf der Vereinigung der Bedeutungen *κραίνω* und *τελέω* beruht. Die neueren, im Aorist entstehenden Bedeutungen setzen also neuere Assoziationen bei den lexikalischen Bedeutungen voraus.

Was die Abstraktheit der im Aorist entstehenden Bedeutungen betrifft, bieten sich auch auf morphologischem Gebiet überzeugende Folgerungen — und zwar auf Grund des Verhältnisses der betreffenden Bedeutungen zu den verbalen Komposita. Bei der Untersuchung der Tmesis wiesen wir darauf hin,⁷ dass die Entstehung der verbalen Komposita eine Erscheinung eines Abstraktionsprozesses ist, die sich auf das ganze Verbal-System erstreckt. Nun sehen wir aber folgendes:

1. Bestimmte Verbal-Komposita erscheinen nur im Aorist, die Grundbedeutung des verbalen Simplex enthalten sie bereits nicht mehr. Z. B. **ἐκφεύγω* (impf.) ist tatsächlich nur in *ἐκφυγ-* (aor.) 'entfliehen' vorhanden. Hier wirken das Kompositum und der Aorist bei Ausbildung der neuen Bedeutung mit. Genauer: die aus der Einschränkung im Aorist entstehende neuere Bedeutung diente als Ausgangspunkt zur Entstehung des Kompositums.

2. Manchmal hat das Impf. Kompositum dieselbe Bedeutung, wie der Aor. Simplex. Z. B.

ἀπ-ερούκω (impf.) ~ *ἐρουκακ-* (aor.)

Das weist wieder darauf hin, dass die Komposit-Form und die Aorist-Aktion als gleiche Faktoren mitgewirkt haben — unabhängig voneinander — bei der Ausbildung der neueren Bedeutung. Das heisst: sie wirken — unabhängig voneinander — in derselben Richtung.

Das Erscheinen der verbalen Komposita und die Ausbildung der sich an die Aorist-Formen knüpfenden neuen Bedeutungen müssen also zeitlich im grossen und ganzen zusammenfallen und auch beim Prozess der Bedeutungs-Abstraktion des Verbal-Systems die gleiche Rolle spielen.

Oft kann eine gleiche Verflechtung des medialen bzw. passiven Genus mit der aor. Aktion in der Ausbildung einer neuen Bedeutung beobachtet werden. Z. B.

φαίνω 'leuchten . . .': *ἐ-φάν-ην* 'erscheinen'.

⁷ Siehe: J. ZSILKA: Das Problem der Tmesis in der Ilias. A. A. XII. 1–2. 1964. S. 23.

So konvergieren also das mediale (pass.) Genus und die aor. Aktion bei der Ausbildung der neuen Bedeutung.⁸ Manchmal transformieren aber das mediale Genus und die Aorist-Aktion unabhängig voneinander die Bedeutung eines Verbs in die Richtung einer abstrakteren Bedeutung. Z. B.

ἐ-φρυγ- (aor.): *φρυγ-σ-εσθαι* (fut.)

Es kommt auch vor, dass eine Zusammenwirkung des medialen (< act.) Genus, der Aorist-Aktion und des verbalen Kompositums bei einer neuen Bedeutung zu beobachten ist:

κρίνω 'scheiden': *ὑπ-ε-κρίνα-το* (*ὄνειρον*) 'deuten (einen Traum)'.

Im folgenden werden wir die dargelegten Zusammenhänge im Rahmen einer ausführlichen Analyse der Bedeutungsentwicklung bei einigen Verben ins Auge fassen:

Ebelings *Lexicon Homericum* interpretiert *ἐξέφυγον* usw. aoristische Formen mit einem kurzen Stamm laut an den Stellen *ψ* 236, *μ* 112, *τ* 231 mit dem konkreten bzw. sinnlichen Ausdruck 'pedibus abeo fugiens'. Diese Interpretation ist aber unrichtig. Überprüfen wir also gründlich die einzelnen Stellen:

ψ 236 *παῖροι δ' ἐξέφυγον πολίης ἀλός ἠπειρόνδε / νηρόμενοι . . . / ἀσπάσιοι δ' ἀπέβαν γαίης, κακότητα φηγόντες*

'*Εξέφυγον* und *νηρόμενοι* können nur im Falle verbunden werden — ohne den logischen Unsinn:

'schwimmend — entlaufen'

herausgebracht zu haben — falls sich im Inhalt des *ἐξέφυγον* die sinnliche Bedeutung bereits verdunkelt hat, das Verb also in seiner eigenen Bedeutung (proprie) nicht mehr vorkommt. Also:

'schwimmend — entfliehen'

μ 211 *ἀλλὰ καὶ ἔνθεν . . . / ἐκφύγομεν . . .*

Das Moment des Entlaufens, an das hier erinnert wird, ging in *ι* 488 auf folgende Weise vor sich:

αὐτὰρ ἐγὼ χεῖρεσσι λαβὼν περιμήγεα κοντὸν / ὄσα παρέξ, ἐτάροισι δ' ἐποτρύνας ἐκέλευσα / ἐμβαλέειν κώπης, ἔν' ὑπέκ κακότητα φύγομεν / . . .

Auf Grund dessen bezieht sich *ἐκφύγομεν* auf 'Schiffahrt'; übrigens: *ἐκφύγομεν* ~ *ὑπέκ κακότητα φύγομεν*. Hier ist also *ἐκφύγομεν* = 'entfliehen', ohne das ursprüngliche sinnliche Moment ('laufen') zu finden.

τ 229 (die Beschreibung einer Schnalle)

. . . τὸ δὲ θανμάζεσκον ἄπαντες, / ὡς οἱ χρύσειοι ἐόντες ὁ μὲν λάε νεβρόν ἐπάγων, / αὐτὰρ ὁ ἐκφυγέειν μεμαῶς ἤσπαιρε πόδεσσιν.

⁸ Siehe: J. ZSILKA: *Das Passiv in Homers Heldengesängen*. A. A. XIII. 1–2., 1965. S. 23–26.

Aus dem Gesichtspunkt der Interpretation bei *ἐκφυγέειν* kann das im Satze stehende *πόδεσσαν* irreführen. Es bezieht sich aber nicht auf *ἐκφ.* — und so schwankt die Bedeutung des *ἐκφυγέειν* wieder zwischen 'ent-laufen (= ent-fliehen)' bzw. 'ent-fliehen'.

Bei den *nomina abstracta* *θάνατος*, *κῆρ* usw. kommt gleichfalls die abstraktive Bedeutung 'entfliehen...' vor:

Φ 64 ὡς ὄρμαινε μένων, ὁ δέ οἱ σχεδὸν ἤλλθε τεθπιώς, / γούνων ἄψασθαι μεμαώς, περὶ
δ' ἤθελε θνητῶ / ἐκφυγέειν θάνατον . . .

ε 413 . . . οὐ πως ἔστι . . . / . . . ἐκφυγέειν κακότητα

δ 502 καὶ νύ κεν ἔκφυγε κῆρα : . . / εἰ μὴ ὑπερφίαλον ἔπος ἔκβαλε καὶ μέγ' ἀάσθη

I 355 ("Εκτωρ) ἔνθα πότε οἶον ἔμιμνε, μόγις δέ μεν ἔκφυγεν ὀρμήν.

ε 288 . . . ἔνθα οἱ αἶσα / ἐκφυγέειν μέγα πείρα οἰζύος . . .

In Verbindung mit *βέλος* kommt es ebenfalls *non proprie* vor:

E 18 . . . τοῦ δ' οὐχ ἄλιον βέλος ἔκφυγε χειρός

(gleichfalls: II 480, A 376, Ξ 407, χ 292, A 380)

Auf Grund des Gebrauches dieses Verbs kann folgendes gestellt werden:

**ἐκ-φενγ-* kommt in der Bedeutung 'entfliehen' nur in aoristischer Aktion vor; in τ 231 die Bedeutung 'ent-laufen' — 'ent-fliehen' können schwer voneinander getrennt werden: die Bedeutung 'ent-laufen' enthält ein allgemeines Moment von 'ent-fliehen' — 'ent-fliehen' entsteht durch eine aoristische Begrenzung von 'ent-laufen'; im Laufe des Entstehungsprozesses beim Praeverbium *ἐκ-* bzw. dem verbalen Kompositum bedingen sich die Veränderung *φενγ > φνγ-* und die Entfaltung einer neuen Bedeutung ('ent-laufen > entfliehen') gegenseitig; *ἐκ-φνγ-* weist im allgemeinen auf die Entfernung von der sinnlichen Bedeutung 'ent-laufen' hin; das Verbale Kompositum — der Aorist mit kurzem Wurzelvokal — und die neue Bedeutung ('ent-fliehen') bedingen sich gegenseitig — die Aufnahme der Wortform *ἐκ-φενγ-* — ist also im Homer-Lexikon unbegründet.

* *προφεύγω*

A 339 . . . οὐδέ οἱ ἴπποι / ἐγγὺς ἔσαν προφνεύων . . .

In der Bedeutung von *προφνεύειν* sind 'ent-laufen' und 'ent-fliehen' voneinander nicht scharf zu trennen; die Bedeutung von *προφνεύειν* zeigt also einen Übergangszustand zwischen 'ent-laufen' und 'ent-fliehen'. Aus diesen Fällen wird es klar, dass sich die Bedeutung 'ent-fliehen' zuerst in 'ent-laufen' involviert; sie vertritt ein besonderes Moment der Bedeutung 'ent-laufen'.

χ 325 τῷ οὐκ ἂν θάνατόν γε δυσηλεγέα προφύγοισθα.

λ 107 . . . προφνεύων ἰσιδέα πόντον

An diesen Stellen wird das spezielle — potenzielle — Moment von A 339 *προφνεύειν* («entfliehen») vorherrschend.

Ξ 81 βέλτερον, ὅς φεύγων προφύγη κακὸν ἢ ἐάλωη.

Diese Zeile weist klar auf den Bedeutungsunterschied zwischen *φεύγων* — *προφύγη*, also zwischen dem Imperfekt mit einem vollen Wurzellaut — dem Aorist mit kurzem Wurzellaut, und zugleich den zusammengesetzten Formen hin. Das Wortgefüge *φεύγων προφύγη* . . . bedeutet nämlich: '...laufend ent-fliehen...'

Der konkreten Bedeutung der Impf. Aktion gegenüber erscheint ursprünglich innerhalb des Aorists mit kurzem Wurzelvokal zuerst die abstrakte Bedeutung.

ὑπο-φεύγω

X 200 οὐτ' ἄρ' ὁ τὸν δύναιται ὑποφεύγειν οὐθ' ὁ διώκειν

Hier hat ὑποφενγ- (impf.) die Bedeutung: 'von jemandem ent-laufen'. Dagegen:

Φ 55 . . . Τρωῆς . . . / . . . ἀναστήσονται . . . / οἷον δὴ καὶ ὄδ' ἦλθε φηγὼν ὑπο
νηλεῆς ἡμῶν

In diesem Zusammenhang bedeutet φηγὼν ὑπο 'ent-fliehen'. Auch bei ἰπο-φεύγω hängen also der Entstehungsprozess der abstrakteren Bedeutung und die aoristische Form mit kurzem Wurzelvokal aufs engste zusammen.

Die ἐκ-, προ-, ὑπο- φηγ- — (aor.) haben scheinbar eine völlig identische Bedeutung 'ent-fliehen'. Diese Annahme unterstützen besonders lexikalische Strukturen, wie z. B.

Φ 65 . . . περὶ δ' ἤθελε θυμῷ / ἐκφυγεῖν θάνατον . . .

χ 325 τῷ οὐκ ἂν θάνατόν γε δρῶσιν ἡλεῖα προφύγοισθα usw.

wo θάνατον lexikalisch mit ἐκ — φ. und mit προ — φ. in gleichem Wert konstruiert werden kann.

In der Tat weist die eindringliche Prüfung der lexikalischen Strukturen darauf hin, dass sich die ursprüngliche sinnliche (adverbiale) Bedeutung der Präpositionen innerhalb der — scheinbar einheitlichen — Bedeutung 'ent-fliehen' noch ganz entscheiden geltend macht. Und zwar:

Die Bedeutung 'ent-fliehen' bei ἐκ — φηγ — (aor.) enthält noch: 'irgendwoher (ent-)laufend'. Ist also davon die Rede: 'aus dem Meer aus entfliehen', steht ἐκ — φ. und nicht ὑπο- oder προ — φ. Z. B.

ψ 236 παῦροι δ' ἐξέφυγον . . . ἄλός . . .

μ 211 . . . ἐνθεν (von dem Meer aus) / ἐκφύγομεν . . .

τ 231 . . . αὐτὰρ ὁ (νεβροῦς) ἐκφυγείν μεμαῶς . . .

eher: τ 228

ἐν προτέρουσι πόδεσσι κύων ἔχε ποικίλον ἑλλόν

Ἑλλός möchte also aus den Krallen des Hundes 'entfliehen'.

In der Bedeutung von προ-φηγ- (aor.) 'entfliehen' steckt also noch der Nebenumstand: einer entflieht vor jemandem, wobei er schnell davonläuft. Z. B.:

Α 339 . . . οὐδέ οἱ ἵπποι / ἐγγυῶς ἔσαν προφύγειν . . .

In λ 107 ist προ-φ. mit πόντος in einer lexikalischen Struktur verbunden:

. . . προφηγῶν ἰοιδέα πόντον

Es entsteht dabei die Frage, ob es nicht im Widerspruch damit steht, was in bezug auf ἐκ-φ. gesagt wurde. Prüfen wir also die Antezedenzien der Zeile λ 107:

λ 100 (die Seele Teiresias:) νόστον δίζημι . . . 'Οδυσσεῦ / τὸν δέ τοι ἀργαλέον
θήσει θεός· οὐ γὰρ οἶω / λήσειν ἐννοσίγαιον . . . / . . . ὅτι οἱ νῆον φίλον ἐξαλάωσας.

Es ist also in λ 107 nicht davon die Rede, dass Odysseus vom Meer aus, das gegen ihn gleichgültig wäre, entflohe (laufend entging). Im Gegenteil, es wird eben betont, dass er, der ständig vor dem Meer flieht, augenblicklich «ent-flohen ist».

Es steckt in der Bedeutung des ὑπο-φηγ-(aor.): 'jemand entflieht' — er hat aber kaum entfliehen können, denn der Verfolger sass ihm stets auf den Fersen. Z. B.

Φ 57 οἷον δὴ καὶ ὄδ' ἦλθε φηγὼν ὑπο νηλεῆς ἡμῶν

Innerhalb der Bedeutung bei ἐκ-, ὑπο-, προ-φηγ- besteht noch immer ein gewisses Moment, das aus den adverbialen Bedeutungen der ἐκ-, προ- usw., verbunden mit φεύγω

in sinnlicher Bedeutung, abzuleiten ist. Andererseits lässt sich aber das Erbleichen der Bedeutungsunterschiede bei Präverbien, worauf in bezug auf Φ 65 (*ἐκ-φ. θάνατον*) und χ 325 (*θάνατον προ-φ.*) hingewiesen wurde, auch von einer anderen Seite her beleuchten. Wie *ἐκ-, ὑπο-, προ-φνγ-* (aor.) oft in denselben lexikalischen Strukturen vorkommen, ebenso bilden *ἐκ-, προ-, ὑπο-* häufig komplexe Präverbien. Also:

ὑπ- ἐκ- φνγ-
ὑπ- ἐκ- προ- φνγ-

Wie bestimmte Unterschiede in der Bedeutung bei *ὑπ-, ἐκ-, προ- φνγ-* (aor.) wahrnehmbar sind, so kann *ὑπ- ἐκ-, ὑπ- ἐκ- προ-* teilweise als Synthese der Bedeutungen einiger Präverbien betrachtet werden. Oft repräsentieren sie aber ein einheitliches Zeichen der allgemeinen Bedeutung 'ent-fliehen', in dem die Unterschiede *ἐκ-* usw. verschwinden, genauer verschmelzen.

Ein neues Bedeutungsmoment («entfliehen») entsteht aus der aoristischen Begrenzung («entlaufen») der ursprünglich ungeteilten Bedeutung ('laufen') bei *-φεύγω*. Und das bezieht sich nicht nur auf die praeverbialen Verbal-Komposita; auch innerhalb des Simplex *φνγ-* (aor.) entfaltet sich dieselbe Bedeutung. Die Lage ist aber nicht die, dass das Simplex *φνγ-* und derselbe Stamm innerhalb der praeverbialen Komposita (*-φνγ-*) als dem Wesen nach identische Elemente bei der Ausbildung der Bedeutung 'ent-fliehen' teilnehmen. Bei der Zusammensetzung mit den Präverbien *ἐκ-, προ-* usw. kommen gewisse Unterschiede innerhalb der aoristischen Bedeutung des *φνγ-* ('entlaufen') zustande. Doch entsteht innerhalb der Unterschiede andererseits auch eine gewisse Ähnlichkeit — die sich aber nicht innerhalb der Grenzen der Grundbedeutung bei *φευγ-, φνγ-* ('laufen', 'entlaufen') stehenbleibt. Die in der aoristischen Begrenzung («entlaufen») steckende Möglichkeit («entfliehen») der Bedeutung in Simplex *φνγ-* («laufen») wird unmittelbar als Identität der verschiedenen Inhalte bei *ἐκ-, προ-, ὑπο-φνγ-* (aor.) erkennbar. Es ist also keinesfalls als Zufall zu betrachten, wenn die neuere Bedeutung vertretende aoristische Wurzel oft zugleich auch einen Teil eines Verbal-Kompositums bildet.

Die Erweiterung der fakultativen Möglichkeiten bei der lexikalischen Konstruktion, die Erscheinung der Komplex-Präverbien zeugen dafür, dass sich eine allgemeine Bedeutung 'ent-fliehen' ausgebildet hat. Die Entstehung der abstrakteren Bedeutung 'ent-fliehen' wurde durch die Erkennung der Ähnlichkeiten möglich, die sich in einer Reihe verschiedener Bedeutungsinhalte von 'ent-laufen' ~ 'ent-fliehen' verborgen sind.

Auf die Zusammenhänge zwischen den Bedeutungen bei Simplicia bzw. Komposita in den Imperfekt- und Aorist-Aktionen kommen wir bei der Analyse des *φεύγω* (simpl.) ausführlich zu sprechen.

Die Grundbedeutung von *φεύγω* in der Simplex-Form ist in der Imperfekt-Aktion: 'laufen (fugit)'. Z. B.

Ξ 81 βέλτερον, ὃς φεύγων προφύγη κακὸν ἢ ἐάλωη.
K 358 . . . λαιψηρὰ δὲ γούνατ' ἐνώμα / φευγέμεναι

Usw.

Die typische Bedeutung des Aorists mit kurzem Wurzel-Vokal ist: 'effugit' ('entflieht'). Z. B.

E 257 τούτω δ' οὐ πάλιν αὐτίς ἀποίσετον ὠκέες ἵπποι / ἄμφω ἀφ' ἡμείων, εἴ γ' οὐν ἕτερός γε φύγησιν.

Σ 270 . . . ἀσπασίως γὰρ ἀφίξεται Ἴλιον ἱρήν, / ὃς κε φύγη . . .

Gleichzeitig ist die neue Bedeutung des Aorists auch in der Imperfekt-Aktion zu finden, und zwar —

a) entweder mit einer gewissen Ergänzung, z. B.:

B 74 καὶ φεύγειν σὺν νηυσὶ πολυκλήμισι κελεύσω·

B 140 φεύγωμεν σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαίαν·

Ω 356 ἀλλ' ἄγε δὴ φεύγωμεν ἐφ' ἵππων . . .

b) oder selbständig:

A 327 ἀσπασίως φεύγοντες ἀνέπνεον Ἐκτορα δῖον.

I 447 οἶον ὅτε . . . λίπον Ἑλλάδα . . . / φεύγων νεῖκεα πατρὸς Ἀμύντορος . . .

Die Frage ist nun, wie sich die impf. und aor. Aktion in bezug auf die neue Bedeutung ('ent-fliehen') einander gegenüber verhalten.

Die Ausbildung einer neuen Bedeutung innerhalb des Bedeutungsinhalts bei φεύγω hängt mit derselben der verbalen Komposita aufs engste zusammen — diese neue Bedeutung der Komposita erscheint aber immer in aoristischer Aktion mit kurzem Wurzelvokal. Auf Grund dessen muss angenommen werden, dass die impf. Simplicia, wenn sie ihrerseits die entwickeltere Bedeutung der Komposita aufweisen, als Rückwirkungen auf die impf. Simplicia teils der aoristischen Simplicia mit kurzem Wurzelvokal, teils der aoristischen Komposita (mit kurzem Wurzelvokal) zustande kommen. Das heisst:

impf.		aor.
'laufen'	— →	'ent-laufen' ~
'fliehen'	← —	~ 'ent-fliehen'

Mutzbauer hat das Verhältnis zwischen den aor. und impf. Formen bzw. zwischen den Bedeutungen derselben überhaupt nicht verstanden, als er folgendes sagt: φεύγω . . . skt. bhūg bhūgami biegen lat. fugio . . . lit. bugti 'sich fürchten'. Aus dem Begriff 'ausbiegen, umbiegen, sich wenden' kann die auf die europäischen Sprachen beschränkte Anwendung auf Flucht und Furcht sehr leicht entsprungen sein. I. a) Praesensstamm 'bin auf der Flucht', 'fliehe', 'weiche . . .'.

Hoffmann verfolgt im E. Wb. ebenfalls eine falsche Spur: «Wz. bheug- fliehen als ausbiegen oder sich zusammenbiegen ist identisch mit bheug(h)- biegen . . .». Demnach:

1. Leiten sie die Bedeutung 'ent-fliehen' nicht aus der aoristischen Beschränkung des impf. 'laufen', 'ent-laufen' ab;

2. Infolge dessen wird sie («entfliehen») als eine Grundbedeutung des impf. φευγ- erklärt. Sie verstehen es nicht, dass die Bedeutung des Aorists auf die des Imperfekts zurückwirkt.

Auf diese Weise wäre die folgende unwahrscheinliche Entwicklung entstanden: 'sich umdrehen', 'sich zusammenziehen . . .' → 'entfliehen', 'sich fürchten' → 'laufen'.

Um vieles plausibler scheint es zu sein, dass sich 'biegen' durch die Beschreibung der Bewegung mit den Beinen der Bedeutung 'laufen' nähert; darauf folgt 'ent-fliehen' aus deren aoristischen Beschränkung ('ent-laufen') bzw. aus deren ('ent-fliehen') Rückwirkung auf die impf. Aktion ('ent-)fliehen'. Sonst ist das Bein σκέλος selbst durch dieselbe Bewegung bezeichnet geworden (Hofmann E. Wb. σκέλος . . . n. «Schenkel») . . . Wz. squel- biegen . . . Auch in bezug auf die neue Bedeutung des φεύγω ('ent-fliehen') kann ein Zusammenhang zwischen den verbalen Genera und Aktionen nachgewiesen werden. Beobachten wir folgende Beispiele:

N 88 . . . εἰσορόωντες ὑπ' ὀφρύσι δάκρυα λείβον' / οὐ γὰρ ἔφαν φεύξεσθαι ὑπέκ κακοῦ.

Φ 92 . . . οὐ γὰρ οἴω / σὰς χεῖρας φεύξεσθαι

X 67 ἀλλά τιν' οὐ φεύξεσθαι οἴομαι αἰπὸν ὄλεθρον.

Das mediale Genus im Fut. Imperfekt spielt dieselbe Rolle bei der Ausbildung eines neuen Wertes des Bedeutungsinhalts, wie der Aorist mit kurzem Wurzelvokal auf dem Gebiet der Aktionen.

κρίνω

Neue Bedeutungen kommen auch innerhalb der aoristischen Einschränkung der ursprünglichen Bedeutung bei κρίνω zustande. Diese neuen Bedeutungen können aber vorläufig von der ursprünglichen Grundbedeutung nicht scharf getrennt werden; sie

stehen sozusagen als aoristische Momente der Grundbedeutung vor uns. Nehmen wir also der Reihe nach die verschiedenen Bedeutungen:

I. Auf Grund des Gebrauches in den Epen ist die Grundbedeutung von *κρίνω*: 'sondern', 'scheiden', 'trennen', 'trennen' . . . Diese Bedeutung ist zuerst mit der Impf. Aktion verbunden — sie ist aber auch in aor. Aktion zu finden. So. z. B.:

B 362 κρίν' ἄνδρας κατὰ φύλα, κατὰ φρήτρας, Ἀγάμεμνον

B 445 . . . βασιλῆες / θῆνον κρίνοντες . . .

E 500 . . . ὅτε . . . Δημήτηρ / κρίνη ἐπειγομένων ἀνέμων καρπὸν τε καὶ ἄχρας

im Aorist:

Π 198 αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντα ἄμ' ἠγγεμόνεσσιν Ἀχιλλεύς / στῆσεν εὖ κρίνας . . .

II. Ist das nähere Objekt der Bedeutung in *κρίνω* nur ein Teil dessen, worauf sich die Handlung richtet — so entsteht aus der Grundbedeutung, durch die Mitwirkung eines qualitativen Moments, eine neue Bedeutung:

'sondern', 'trennen', 'scheiden' ~ 'auswählen'.

Während die Grundbedeutung zuerst in der Impf. Aktion erscheint, kommt die neue Bedeutung in den finiten Formen fast ohne Ausnahme in aoristischer Aktion vor. Die neue Bedeutung ('auswählen') steht als ein aoristisches Moment der Grundbedeutung ('sondern', 'trennen', 'scheiden') vor uns — die älteren und die neueren Bedeutungen können voneinander nicht scharf getrennt werden.

Die Bedeutungsveränderung des Verbs, die Tatsache, dass sich die Handlung nur auf einen Teil des Ganzen bezieht, bringt auch in syntaktischer Beziehung Veränderungen beim Verb mit sich; neben dem Acc. erscheint ein Genitiv partitivus. Da die Bedeutungsveränderung beim Verb noch nicht abgeschlossen ist, wird eine gewisse Schwankung auch in syntaktischer Beziehung bemerklich: gen. part. + acc. obj. und blosser acc. obj. wechseln einander ab. Sehen wir einige Beispiele:

κ 100 δὴ τότ' ἐγὼν ἐτάρων προΐειν . . . / . . . ἄνδρε δύο κρίνας . . .

ι 195 αὐτὰρ ἐγὼ κρίνας ἐτάρων δυοκαίρεκ' ἀρίστον / βῆν'

Nach L: *ἐτάρων*. In der Schwankung zwischen *ἐτάρων* — *ἐτάρων* zeigt sich dieselbe der Bedeutungen in *κρίνω* ('trennen' — 'auswählen').

ξ 108 καί σφι συῶν τὸν ἄριστον εὖ κρίνας ἀποπέμπω.

Die zweideutigen (impf. oder aor.) Formen können daher als aoristische Formen betrachtet werden, z. B.

A 308 Ἀτρεΐδης . . . νῆα . . . ἄλαδε προέειρυσεν, / ἐς δ' ἐρέτας ἔκρινεν εἰκόσιν . . .

Die einzige Ausnahme — *ξ 217* — weist doch darauf hin, dass das Eindringen der — sich ursprünglich an den Aorist knüpfenden — Bedeutung ins Gebiet des Imperfekts bereits begonnen hat:

. . . ὁπότε κρίνομι λόχονδε / ἄνδρας ἀριστῆας . . .

Die Prüfung der Zusammenhänge zwischen den verbalen Genera und der Lexik weist darauf hin, dass im passiven Genus oft eine neue Bedeutung entsteht. So ist die Bedeutung der passiven Formen von *κρίνω* nicht: 'ge-sondert', 'ge-trennt' — sondern enthält immer auch ein qualitatives Moment: 'erwählt', 'ausgewählt' z. B.

ν 181 . . . Ποσειδάωνι δὲ ταύρους / δώδεκα κεκοιμένους ἱερεύσομεν . . .

π 247 ἐκ μὲν Λουλιχίου δύο καὶ πεντήκοντα / κοῦροι κεκοιμένοι . . . ἔπονται

ω 106 . . . τί παθόντες ἐρεμνὴν γαίαν ἔδοντε / πάντες κεκοιμένοι . . .

Manchmal benehmen sich Passiv und aor. Aktion konvergent bei der Ausbildung der neuen Bedeutung:

N 128 . . . οἱ γὰρ ἄριστοι / κρινθέντες Τρωάς τε καὶ Ἐκτορα δῖον ἔμμινον

θ 48 κούρω δὲ κρινθέντε δύω καὶ πενήκοντα / βήτην . . .

Auch die Bedeutung der aoristischen Formen im medialen Genus ist fast ausnahmslos er wählt', 'ausgewählt'. Z. B.

*δ 530 κρινάμενος κατὰ δῆμον εἰκόσι φῶτας
ἀρίστους / εἶδε λόχον . . .*

Die Bedeutungsveränderung des Verbs kommt — wie wir es gesehen haben — auch im syntaktischen Verhalten zum Ausdruck: die Struktur mit accusativus obiectivus wechselt mit derselben mit Genitiv partitivus ab. Die Veränderung zeigt sich aber oft auch in der lexikalischen Struktur. Als Quelle der Wahl wird nämlich oft κατὰ λαόν, κατὰ δῆμον zum Verb hinzugefügt. Ein anderes Mal wird das Substantiv, das in einem accusativus obiectivus steht, mit ἄριστος, erweitert. Manchmal verflechten sich die mit der Bedeutungsveränderung des Verbs parallel entstandenen syntaktischen und lexikalischen Strukturen miteinander. Z. B.

θ 35 . . . κούρω δὲ δύω καὶ πενήκοντα / κρινάσθων κατὰ δῆμον . . .

δ 778 . . . ἐκρίνατ' εἰκόσι φῶτας ἀρίστους /

I 520 ἄνδρας δὲ λίσσεσθαι ἐπιπροέηκεν ἀρίστους / κρινάμενος κατὰ λαόν Ἀχαιοῖν . . .

T 193 κρινάμενος κούρητας ἀριστήας Παναχαιῶν

III. Mit Berücksichtigung der lexikalischen Struktur ist beim Gebrauch von κρίνω ein spezieller Bedeutungskreis zu beobachten. Κρίνω bildet nämlich in bestimmten Fällen mit Wörtern aus dem Gebiet des juristischen Lebens eine lexikalische Struktur:

*μ 439 . . . ἦμος δ' ἐπὶ δόρπον ἀνὴρ ἀγορήθεν ἀνέστη / κρίνων νείκεα πολλὰ δικαζομένων
αἰζηῶν, / τῆμος . . .*

*Π 385 . . . χέει ἕδωρ / Ζεὺς, ὅτε δὴ ὅ' ἄνδρεςσι κοτεσσάμενος χαλεπήνη, / οἱ βίη εἰν
ἀγορῇ σκολιάς κρίνωσι θέμιστας*

Doch scheint es unwahrscheinlich, κρίνω in diesen Zusammenhängen ohne weiteres mit der Bedeutung 'richten', 'ent-scheiden' interpretieren zu können. In der Bedeutung κρίνω noch macht sich die in I. festgestellte Bedeutung ('trennen', 'scheiden') geltend; die im allgemeinen mit der Impf. Aktion verbunden ist. Das heisst:

'trennend (ordnend) . . . viele Streitige Fragen' (μ 439)

'verkehrt trennen (ordnend) . . . (Π 385).

Κρίνω erhält also die neue Bedeutung nur in Verbindung mit νείκεα, θέμιστας, die neue Bedeutung von κρίνω involviert sich vorläufig in der lexikalischen Struktur. κρίνω kommt bei Homer in selbständiger Bedeutung wie 'entscheiden', 'richten' nicht vor. Der Kern der Bedeutung, der in den obenangeführten lexikalischen Strukturen erscheint, hatte gewiss — wie wir es später sehen werden — in der aor. Aktion seine Selbständigkeit erhalten. Z. B.

Thuc. 6, 39:

. . . κρίναι δ' ἂν ἀκούσαντας ἄριστα τοὺς πολλούς . . .

Plat. Apol. p. 35. D :

τῷ θεῷ ἐπιτρέπω κρίναι, περὶ ἐμοῦ ὅπη κτέ.

Das heisst:

'trennen, ordnen (impf.) + die Streitige Frage . . .' > 'entscheiden' (aor.)

Die neue, ohne eine spezielle Ergänzung gültige Bedeutung ist mit dem Aorist verbunden. σ 263 vertritt zwischen den homerischen μ 439, Π 385- und den oben erwähnten posthomerischen Wendungen einen Übergangszustand:

. . . οἱ κε τάχιστα / ἔκριναν μέγα νείκος ὁμοῖον πολέμοιο.

Auch die Heranziehung anderer Wortarten weist darauf hin, dass sich eine selbständige Bedeutung 'entscheiden', 'richten' von *κρίνω* noch nicht entfaltet hat. Das nomen actionis *κρίσις* bzw. das nomen agentis *κριτήρ* usw. sind nämlich im homerischen Wortbestand nicht zu finden.

IV. Ein anderes spezielles Moment des *κρίνω* taucht in der mit *ὄνειρος* gebildeten lexikalischen Struktur auf. Siehe:

E 150 τοῖς οὐκ ἐρχομένοις ὁ γέρον ἐκρίνατ' ὄνειρους

1. Ebeling, Lex. Hom.: paraphr. *ἔκρινε*, cf. schol. ABIDL et BDL;
2. Eustat. 532, 41

ἀντὶ τοῦ ἔκριεν, ὃ καὶ αὐτὸ διάκρισιν τινα δηλοῖ τῆς κατὰ τὸ ὄναρ συνχύσεως διενκρινουμένης τῶ ὄνειροπόλῳ, ὃς καὶ λύειν ὄνειρον λέγεται οἷα συνδεδεμένον κα, οὕτω καμπύλον καὶ ἀδιενκρίνητον.

Die enge Verbindung zwischen *κρίνω* und *ὄνειρος* wird noch mehr in den lexikalischen Strukturen *ὑπο-κρίνομαι* und *ὄνειρος* sichtbar. *Ὑπο-*, wie auch die Analyse bei *ὑπο-τρομέω* usw. zeigt, diene immer mehr zur Bezeichnung von inneren, seelischen Vorgängen.⁹ In gegebenem Falle weist *ὑπο-* darauf hin, dass die Traumdeuterei einen inneren Vorgang verwirklicht, der Traumdeuter dringt in die Tiefen des übrigen verworrenen (*ἀ-διενκρίνητον*) Traumes. Es ist also Tatsache, dass die Verbindung mit *ὑπο-* . . . (med.) in derselben Richtung wirkt; all das gibt einen genaueren Rahmen zur Bestimmung des Verhältnisses zwischen *κρίνω* und *ὄνειρος*. Sehen wir die Beispiele der Reihe nach

M 228 ὄδῃ χ' ὑποκρίναιτο θεοπρόπος, ὃς σάφα θυμῷ / εἰδείη τεράων . . .

Eine charakteristische Erscheinung ist die Schwankung in der Bestimmung des *ὑποκρ.* (med.): Nican. *ἀποκρίναιτο*, V *συμβάλοι* cf. Eust. 1473, 21 (Ebeling, Lex. Hom.).

τ 535 ἀλλ' ἄγε μοι τὸν ὄνειρον ὑπόκρηναι . . .

τ 555 ὃ γόνα, οὗ πως ἔστιν ὑποκρίνασθαι ὄνειρον / ἄλλη ἀποκλίναντ' . . .

ο 170 ὅπως οἱ κατὰ μοῖραν ὑπο- κρίναιτο νοήσεις.

(Es bezieht sich nicht auf die Traumdeuterei, sondern auf ein himmlisches Zeichen.)

Andererseits ist auch eine andere Bedeutung von *ὑπο-κρίνομαι* zu beobachten: „antworten“.

β 111 σοὶ δ' ὄδε μνηστῆρες ὑπο- κρίνονται . . .

H 406 Ἴδχι' ἦτοι μῦθον Ἀχαιῶν αὐτὸς ἀκούεις, / ὃς τοι ὑποκρίνονται

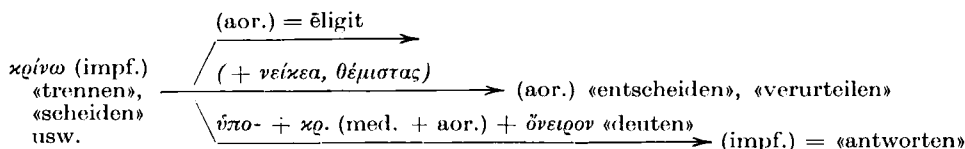
Auch die lexikalische Struktur (*-κρ-* + *ὀ.* kann nur auf Grund der unter I. besprochener Grundbedeutung ('trennen', 'ordnen') interpretiert werden. Zugleich steht (*-κρ.* — in allen lexikalischen Strukturen — im Aorist. Das bedeutet, dass sich (*-κρ.* auf die Verteilung der einzelnen Momente des Traumes nicht als auf einen Prozess bezieht; *κρ.* (aor.) bedeutet die Verteilung derselben als Ergebnis, also das Moment des Verständnisses für die Traumdeutung ..

Innerhalb der lexikalischen Struktur (*-κρ.* + *ὀ.* entsteht aus der aoristischen Begrenzung der Grundbedeutung im (*-κρ.* eine neue Bedeutung: 'scheiden, ordnen (aor.) einen Traum' ~ 'deutet (aor.) einen Traum'. Im Verhältnis des Traumdeuters und des um Rat bittenden bedeutet es: 'deuten den Traum jemandem' ~ 'den Traum beantworten'.

Die Bedeutung 'antworten' von *ὑπο-κρ.* (med.) ist ursprünglich eine spezielle Antwort, die bei der Traumdeutung gegeben wurde. Die Bedeutung 'deuten' kam wieder aus der aoristischen Begrenzung einer Grundbedeutung zustande. 'Antworten' als eine andere Seite derselben Bedeutung 'deuten', und zwar von Seite des Sprechenden gegeben, hat sich im Imperfekt bereits in den homerischen Gesängen verallgemeinert.

⁹ Siehe J. ZSILKA: Das Problem der Tmesis in der Ilias. A. A. XII. 1—2. 1964. S. 34.

Die Bedeutungsverzweigungen bei (-)κρίνω können auf folgende Weise dargestellt werden:



κράινω

Die Etymologie bringt κρ. mit dem alt-indischen *kṛnomi* in Verbindung, das dem Lateinischen: *facere* entspricht.

Im homerischen Gebrauch des Wortes überwiegen die aoristischen Formen. So:

A 41 . . . τόδε μοι κρήνηρον ἔέλωρ·

(gleicherweise: A 504, 455)

ρ 242 . . . τόδε μοι κρηγήνατ' ἔέλωρ·

γ 418 καρπαλίμως μοι, τέκνα φίλα, κρηγήνατ' ἔέλωρ

I 100 τῷ σε χρῆ πέρι μὲν φάσθαι ἔπος ἦδ' ἐπακοῦσαι, / κρηγήναι δὲ καὶ ἄλλω . . .

ν 115 κρήνον νῦν καὶ ἐμοὶ δειλῆ ἔπος, ὅττι κεν εἴπω·

ε 169 . . . θεοὶ . . . / οἱ μὲν φέρτεροὶ εἰσι νοῆσαι τε κρηγήναι τε^ε.

Untersuchen wir die Bedeutung von κρ. Es kann festgestellt werden, dass sie nicht einfach eine aoristische Variante der Bedeutung in *kṛnomi* (lat. *facere*) ist. Nämlich: lat. *votum fecit* bedeutet: 'er hat ein Gelübde getan' (praes. perf. \cong aor.) und nicht 'er hat ein Gelübde erfüllt'. Der Satz mit Praes. Perf. ist eine blosse aoristische Begrenzung des Satzes mit Praes. Impf. *Κρ.* (aor.) + *ἔέλωρ* bedeutet dem gegenüber «den Wunsch von jemandem erfüllen» und nicht: 'etw. begehren, verlangen'. *ἔέλωρ* steht also nicht im Verhältnis eines inneren Objekts mit κρ. (aor.); κρ. verbalisiert nicht einfach den Inhalt des *ἔέλωρ* (das heisst κρ. (aor.) + *ἔέλωρ* nicht = *ἔέλομαι*).

Diese Tatsachen lassen darauf schliessen, dass im Falle einer aoristischen Begrenzung aus der ursprünglichen Bedeutung des *κράινω* ('machen', 'tun') eine neue Bedeutung 'verwirklichen' zustande gekommen ist.

Κράινω ('verwirklichen') ist dem Ursprung nach aoristisch. Demgegenüber kann in Verbindung mit einer Form, die zur Impf. Aktion gehört, nicht klar entschieden werden, ob sie eine der ursprünglichen Bedeutung des Imperfekts oder eine zur aor. Aktion gehörende Bedeutung vertritt.

τ 566 οἱ δὲ διὰ ξεστῶν κερῶν ἔλθωσι θύραζε, / ῥ' ἔτυμα κραινόνσι . . .

In bezug auf eine Form, die zur Impf. Aktion gehört, kann für bestimmt angenommen werden, dass sie einer Bedeutung entspricht, die für Formen im Aorist typisch ist:

E 506 . . . ἀμφὶ δὲ νόκτα / . . . Ἄρης ἐκάλυψε μάχῃ . . . / . . . τοῦ δ' ἐκραινῶν ἐφετμῆς / Φοῖβον Ἀπόλλωνος . . .

Daraus wird es klar, dass die ursprünglich aorist-gebundene, in dessen Rahmen entstandene Bedeutung auch auf das Gebiet der Impf. Aktion übergreif. Das Verhältnis der Bedeutungen, innerhalb der verschiedenen Aktionen ist also wie folgt:

impf.		aor.
«ich tue ein Gelübde»	→	ich habe ein Gelübde getan ~
⌘		
ich erfülle ein Gelübde	←	~ ich habe ein Gelübde erfüllt

Das Passiv ist in einem Falle bei der Ausbildung der neuen Bedeutung mit der aor. Aktion konvergent:

I 625 . . . οὐ γάρ μοι δοκέει μύθοιο τελευτή / τῆδε γ' ὄδῳ κρᾶνέσθαι

wo also die Bedeutung des κρ. (med. – pass) der des κρ. (aor.) entspricht. ('verwirklicht werden' usw.)

Die neue Bedeutung des κρ., die in der aor. Aktion entsteht, fällt scheinbar mit der des τελέω zusammen. Auch aus den Bemerkungen der Kommentatoren kann auf diese Koinzidenz gefolgert werden. Sie versuchen nämlich die Bedeutung des κρ. (aor.) oft mit den entsprechenden Formen von τελέω zu erklären. Z. B.

A 41, 504 . . . τόδε μοι κρήνηρον ἐέλωρ·
paraphr. πλήρωσον, τελειώσον

I 101 . . . κρηῆραι δὲ καὶ ἄλλῳ . . .
paraphr. τελειώσαι, Enst. 737, 50, 738, 14 (ἐπι)τελέσαι

ε 170 (θεοί . . .) οἳ μὲν φέρετροί εἰσι νοῆσαι τε κρηῆραι τε^ε.
Eust. 1929, 1 τελειώσαι τὸ νοηθέν . . .

I 625 . . . οὐ γάρ μοι δοκέει μύθοιο τελευτή / τῆδε γ' ὄδῳ κρᾶνέσθαι
paraphr. τελειοῦσθαι

Es besteht aber die Frage, ob die Freiheit bei der Versetzbarkeit beider Verben auch inmitten der inneren Bedeutungsverhältnisse in den homerischen Epen so gross gewesen wäre. Das heisst, es ist unwahrscheinlich, dass den Gebrauch von κρᾶνω und τελέω bloss der Zufall bestimmt hatte. Untersuchen wir nun genauer, was für eine Regel im Gebrauch beider Verben sich geltend macht.

Τελέω bedeutet: 'vollbringen', 'beenden etw.' – im strengsten Sinne des Wortes. Das heisst: jemand vollbringt etwas, das er selbst in irgend einer Form angefangen hat. τ. drückt den Inhalt der 'Vollendung' aus, die den Anfang in sich involviert; es muss nämlich vorausgesetzt werden: vollführt jemand etwas, so hat er es auch angefangen. Das Objekt des τ. als etwas realisierbares, gehört bereits im vorhinein in irgend einer Form zum Subjekt desselben. Z. B.

A 80 κρείσσων γὰρ βασιλεύς, ὅτε χώσεται ἀνδρὶ χέρι· εἷ περ γὰρ τε χόλον γε καὶ
αὐτῆμαρ καταπέρη, / ἀλλὰ τε καὶ μετόπισθεν ἔχει κότον, ὄφρα τελέσῃ

Das Ergebnis des χώσεται ist κότος, das verwirklicht werden soll.

H 69 ὄρκια μὲν Κρονίδης ὑψίζυγος οὐκ ἐτέλεσεν

Ὀρκια drückt etwa den Anfang dessen aus, was es enthält – die Handlung wird nur durch die Verwirklichung des Inhalts des Eides vollendet. Mit dem Eid wird etwas angefangen, dessen Gültigkeit so lange besteht, bis es verwirklicht wird.

Ψ 20 180 πάντα γὰρ ἦδη τοι τελέω, τὰ πάροιθεν ὑπέστην

Ähnlich:

κ 483 „ὦ Κίρκη, τέλεσόν μοι ὑπόσχεσιν, ἣν περ ὑπέστης

oder:

K 303 „τίς κέν μοι τόδε ἔργον ὑποσχόμενος τελέσειεν

(ähnlich: N 377, ο 195, 203)

Der Zustand wird also vollendet, der mit ὑπόσχεσις begonnen hat.

I 456 (Phoenix erzählt, dass er von seinem Vater verbannt wurde)

. . . θεοὶ δ' ἐτέλειον ἐπαράς, / Ζεὺς τε καταχθόνιος καὶ ἐπαινή Περσεφόνηα.

Auch der Fluch (ἐπαρά) ist, seitdem es ausgesprochen wurde, gültig – er erwartet etwa zur Erfüllung gebracht zu werden.

Es ist lehrreich, die scheinbar identischen lexikalischen Strukturen beider Verben zu vergleichen. Z. B.

Ξ 44 δειδω, μὴ δὴ μοι τελέσῃ ἔπος ὄβριμος Ἐκτωρ, ὥς ποτ' ἐπιπείλησεν . . .

Υ 369 οὐδ' Ἀχιλεὺς πάντεσσι τέλος μῦθοις ἐπιθήσει, ἀλλὰ τὸ μὲν τελέει . . .

δ 776 ἀλλ' ἄγε σιγῇ τοῖον ἀναστάντες τελέωμεν | μῦθον . . .

Für alle ist folgendes charakteristisch: jemand sagt etwas (*ἔπος*, *μῦθος*) aus, dessen Verwirklichung voraussteht. Der Sprechende vollendet etwa später im Laufe der Handlung, was sich — einmal ausgesagt — sozusagen im Prozess der Verwirklichung befunden hatte.

Beobachten wir andererseits die Bedeutung der lexikalischen Struktur, die gleichfalls mit *ἔπος* und *κραίνω* gebildet wird:

I 100 τῷ σε χρῆ πέρι μὲν φάσθαι ἔπος ἰδ' ἐπακοῦσαι, | κρηῆναι δὲ καὶ ἄλλοι, ὅτ' ἂν τινα
θῆμος ἀνώγει | εἰπεῖν εἰς ἀγαθόν

Der Sinn des Satzes ist: 'Du sollst vor allem deine eigene Ansicht äussern — und die der anderen anhören; du sollst aber verwirklichen, was nützlich erscheint, ist es auch von jemand anderem aufgeworfen worden'. Es ist also von der Verwirklichung des *ἔπος* die Rede. (Dies wird auch bei Cram. an. Par. III. e cod. 2681 ad h. 1. *τελειῶσαι, εἰς τέλος ἀγαγεῖν τὸ ὑπ' ἄλλον καλῶς λεγόμενον* unterstützt.)

Bezieht sich also *ἔπος* nicht auf den Handelnden, wird das *ἔπος* eines anderen vom Handelnden verwirklicht, das heisst: die Handlung hat für den Handelnden, in betreff des *ἔπος*, keine Kontinuität, so ist die lexikalische Struktur:

κρ. (aor.) + *ἔπος* und nicht *τ.* + *ἔπος*.

In diesem Falle können wir die — auch vorangehend erwänte — Interpretationen, in betreff von *κρηῆναι* nicht gelten lassen:

paraphr. *τελειῶσαι* Cust. 737, 50; 738, 14 (*ἐπι*)*τελέσαι* . . .

Es kann auch ein anderes Beispiel gebracht werden, um zu beweisen, dass *ἔπος* falls es nicht der Handelnde aussagt, mit *κρ.* (aor.) eine lexikalische Struktur bildet. Z. B.

v 115 κρηῆνον νῦν καὶ ἐμοὶ δεῖλῃ ἔπος, ὅττι κεν εἴπω

Andererseits bildet *ἔέλδωρ*, das sich niemals auf den Handelnden bezieht (der Handelnde verwirklicht immer das *ἔέλδωρ* eines anderen) — wie wir es sahen — ausschliesslich mit *κραίνω* (aor.) eine lexikalische Struktur.

Dieselbe Regel zeigt sich beim Gebrauch des verbalen Kompositums *ἐπι-κρ.* Z. B.

o 598 (dass Zeus) . . . Θέτιδος δ' ἐξάϊσιον ἀρήν | πᾶσαν ἐπικρήνει

Wo also *ἀρή* wiederum von einem anderen herrührt, nicht von dem, der es vollbringt; besitzt *ἀρή* für den Handelnden keine Kontinuität. Dementsprechend:

B 419 ὥς ἔφατ', οὐδ' ἄρα πῶ οἱ ἐπεκράϊαιε Κρονίων

'*Επεκρ.* bezieht sich also auf das Gebet Agamemnon's (Sch. br. ist also unrichtig: *ἐπετέλει*). '*Επι-κρ.* wird manchmal mit *ἔέλδωρ* verbunden:

Θ 242 ἀλλά, Ζεῦ, τόδε πέρ μοι ἐπικρήνην ἔέλδωρ

(gleich: II 238)

Es kann auf Grund unserer vorausgehenden Untersuchungen festgestellt werden: die lexikalische Struktur mit *κραίνω* und *τελέω* ist um vieles strenger gebunden, als bisher gedacht wurde. *κρ.* und *τ.* konzentrieren in sich etwa das Verhältnis der Objekte zum Handelnden bzw. zur Handlung. *τ.* drückt die Vollendung eines Vorgangs aus, dessen Objekt zum Handelnden (Subjekt) gehört, und dessen Anfang eben durch das Objekt gekennzeichnet ist. Durch *κρ.* (aor.) wird aber ein solches punktuell Moment (oder Vorgang) der 'Vollendung' ausgedrückt, dessen Objekt dem Handelnden (Subjekt) fremd ist — und das nicht als ein im Objekt bezeichnetes, zu erwartendes Moment oder Vorgang vor uns steht (bzw. sich verwirklicht).

Wir können mit der unbedingten Verwechslung des *κραίνω* und des *τελέω*, die bei den Kommentatoren usw. zu finden ist, nicht übereinstimmen. Dieses Verfahren konnte nur auf Grund eines Nichtbegreifens der inneren, homerischen Bedeutungsverhältnisse zustande kommen. Zugleich sind aber die Missverständnisse der Kommentatoren selbst sprachgeschichtliche Tatsachen. So entsteht die Frage, mit welchen Präzedenzfällen des späteren Wortgebrauchs man im homerischen Gebrauch des *κρ.* und des *τ.* — trotz der festgestellten Gebundenheiten — rechnen kann.

Untersuchen wir zuerst den Gebrauch des *τελέω*. *T.* bezeichnet oft eine Handlung, deren Präzedenzien im Handelnden vorhanden sind — das Objekt der Handlung gehört aber nicht zu dem Handelnden. So z. B.

Ε 195 (Aphrodite sagt zu Hera:) *αὔδα, ὅτι φρονεῖς· τελέσαι δέ με θυμὸς ἄνωγεν, / εἰ δύναιμι τελέσαι γε . . .*

Die Präzedenzien des *τελέω* sind in Aphrodite vorhanden: mit *τ.* wird nur das verwirklicht, wozu sie die bereits vorhandene Bereitwilligkeit antreibt (*θυμὸς ἄνωγεν*); andererseits gehört das Objekt des *τ.*, also was Aphrodite verwirklicht (*ἔπος, μῦθος*), zu Hera. Eine ähnliche Lage entsteht im folgenden Fall:

X 365 „. . . *κῆρα δ' ἐγὼ τότε δέξομαι, ὅππότε κεν δῆ | Ζεὺς ἐθέλη τελέσαι ἠδ' ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι.*

Σ 362 *καὶ μὲν δὴ πού τις μέλλει βροτὸς ἀνδρὶ τελέσαι | . . .* (nämlich *κακά*)

In diesen Fällen vollbringt *τ.* etwa nur was in *ἐθέλη, μέλλει* usw. als zu erfüllende Aufgabe gegeben wurde.

Es muss hinzugefügt werden, dass die Aktion des *τ.* in solchen Fällen ausnahmslos ein Aorist ist. Und dies ist überaus wichtig. *T.* bedeutet nämlich im allgemeinen etwa 'vollbringen', dessen Präzedenzien bereits gegeben sind. Tritt aber dieser Inhalt des *τ.* in einer aoristischen Einschränkung auf, so wird immer mehr das blosses Moment des Vollbringens betont — die Kontinuität mit den Präzedenzien hingegen verschwindet immer mehr. So fallen die Bedeutungen von *τ.* und *κρ.* zusammen.

Andererseits sehen wir, dass *κραίνω* in einigen Fällen in einem Zusammenhange auftritt, wo man *τελέω* erwarten würde, bzw. wo es nicht entschieden werden kann, ob auf Grund des inneren Zusammenhangs der Bedeutungen nicht *τ.* stehen müsste. So:

ε 169 *αἶ κε θεοὶ γ' ἐθέλωσι . . . / οἷ μιν φέρτεροί εἰσι νοῆσαι τε κς' ἠναί τε.*

Inwieweit es sich um die Verwirklichung des Inhalts von *νοῆσαι* handelt, könnte eher *τελέω* erwartet werden. In diesem Fall bemerkt Eust. richtig:

τελειῶσαι τὸ νοηθέν, ὃ πλείονός ἐστι δυνάμεως

Oder:

I 625 . . . ὁδ' γάρ μοι δοκεῖ μύθοιο τελευτῆ | τῆδε γ' ὁδῶ κρανέεσθαι

Interpretieren wir den Satz so: die Worte der Deputation erreichen nicht ihr Ziel, da sie bei Achilles nicht Gehör finden — ist der Gebrauch von *κρανέεσθαι* richtig. Interpretieren wir aber die Worte der Deputation auf folgende Weise: sie erreichen ihr Ziel nicht, weil die Deputation sie nicht zur Geltung bringen kann, so ist *τελέω* zu erwarten. Im letzteren Fall ist die Interpretation von *κρανέεσθαι* durch paraphr.: *τελειοῦσθαι* — richtig.

Die Unsicherheit beim Gebrauch von *τελέω* und *κραίνω* die auch bei den Kommentatoren zu finden ist, kann in völlig engen Grenzen gehalten und mit gewissen Einschränkungen auch bei Homer selbst beobachtet werden. Beim Gebrauch beider Verben sind Anwendungen zu finden, die mit den ursprünglichen Typen unvereinbar — einander jedoch gegenseitig entprechend sind. Die Inkonsequenz im Gebrauch beider Verben entspringt nicht aus der Subjektivität der Methode des Forschers, sondern aus den inneren Bedeutungsverhältnissen des homerischen Wortbestandes.

Der ursprüngliche Inhalt des *τελέω* und *κραίνω* kann das Moment der Verwirklichung nur auf eine überaus anschauliche — sozusagen umständliche — Weise ausdrücken. Der durch *τ.* ausgedrückte Inhalt involviert einen ganzen vorangehenden Zu-

stand in sich; er kann nichts beenden, ohne zugleich als Endergebnis gewisser Präzedenzen zu gelten. *T.* kann sich nicht von *τέλος* trennen, es besteht nur als ein Antipode von *ἀρχή*. *Kρ.* 'etwas vollbringen' — diese Vollendung wird aber mit einer urwüchsigen Anschaulichkeit ausgedrückt. *Kρ.* kann nämlich — scheinbar — von *κάρη* (*ker(e)n 'Haupt') nicht getrennt werden — es bedeutet also wörtlich: 'be-fej-ez'.

Im Aorist bei *κράινω* und *τελέω* entwickelt sich eine neue Bedeutung, die eine — von anschaulichen Elementen freie — Summierung beider Wortbedeutungen darstellt. Die neue Bedeutung ist also im Vergleich mit der ursprünglichen Bedeutung des *κρ.* und *τ.* abstrakter. Sie ist abstrakter nicht nur in dem Sinne, dass sie die anschaulichen Elemente beider Verben nicht enthält, sondern auch weil sie aus der Erkenntnis, Abstraktion der identischen Elemente innerhalb zwei verschiedener Inhalte zustande gekommen ist. Auf den Zusammenhang zwischen dem abstrakteren Inhalt der Bedeutung und dem punktuell-aoristischen Charakter der Aktion werden wir im weiteren noch ausführlich zurückkommen.

Zuletzt möge hier noch ein Problem aufgeworfen werden. Der Vergleich des Gebrauchs von *τελέω* und *κράινω* weist darauf hin, dass die Bedeutung des *τ.* = 'etwas vollbringen' (ung. 'vég-hez-visz'), das schon vorher seinen Anfang nahm, also sich im Gange befindet und bereits eine Realität besitzt. Ein ausgesprochenes Wort (*ἔπος*, *μῦθος*), ein Eid (*ὄρκια*), ein Versprechen (*ὑπόσχεσις*), ein Fluch (*ἐπαιράι*) usw. sind eben ihrer Verwirklichung harrende, sich im Gange befindliche, also etwa bestehende Realitäten. Die ungarische Bedeutung 'valóra vált' ('verwirklichen') kann also die Bedeutung des *τελέω* nicht wiedergeben, sie beruht auf einer völlig anderen Anschauung, demgemäß erhält bei 'valóra vált' das 'Versprechen' seine Realität nur durch die Handlung selbst.

Diese Bedeutung bei *τελέω* dient dazu, um viele andere scheinbar uninteressante Wahrheits-Zusammenhänge begreifen zu können. (Z. B. den Weg, die Wettrennbahn durchlaufen usw.). Die lexikalische Struktur *τ.* + *ἔπος* usw. ist nur als Teil dieser Zusammenhänge aufzufassen. Diese Bedeutung des *τ.* durchdringt die Anschauung im weiten Kreise — daher entsteht die Frage, ob wir nicht etwa im gegebenen Falle einer notwendigen Parallelität zwischen bestimmten sprachlichen Bedeutungsinhalten — und bestimmten religionsgeschichtlichen Tatsachen gegenüberstehen.

ἐρύκω

Die sinnliche Grundbedeutung von *ἐρύκω* ist: 'zurückhalten (bei sich behalten)'.
Z. B.

Z 216 Οἶνεός . . . Βελλεροφόντην | ξείνισ' ἐνὶ μεγάροισιν εἰκόσιν ἡματ' ἐρύξας.

θ 316 . . . τάχ' οὐκ εθελήσεται ἄμφω | εὔθειν' ἀλλὰ σφωε δόλος καὶ δεσμός ἐρύξει

Φ 60 ἀλλ' ἄγε . . . δουρὸς ἀκωκῆς . . . | γεύσεται, ὄφρα ἴδωμαι . . . | ἦ ἄρ' ὁμῶς καὶ
κεῖθεν ἐλεύσεται, ἦ μιν ἐρύξει | γῆ φυσίζοος . . .

Ebelings Lex. Hom. führt ausser dieser noch viele andere Bedeutungsgruppen an — er trennt sie aber scharf voneinander. Die Bedeutungsgruppen gehen aber in der Wirklichkeit fast unbemerkt ineinander über, bis endlich die Ausbildung eines der Grundbedeutung völlig entgegengesetzten Bedeutungsinhalts erreicht wird. Auch hier macht sich die Regel des Bedeutungswandels in drei Phasen geltend: in bestimmten Kontexten kann nur eine (die alte) Bedeutung bestehen — ein andermal können die alte und die neue Bedeutung voneinander nicht getrennt werden — und endlich gibt es Kontexte, wo nur die neue Bedeutung einen Sinn hat. Beobachten wir also die einzelnen Kontexte der Reihe nach, und untersuchen wir, wie die Bedeutung 'zurückschlagen, verhindern' aus 'zurück (bei sich) behalten' usw. entstanden ist.

'*Ερύκω* bedeutet — in lexikalischen Strukturen mit *τάφρος* und *τείχεα* soviel wie 'anhalten' ~ 'zurück (bei sich) halten' — andererseits enthält es aber bereits auch ein Element einer neuen Bedeutung: 'zurückhalten im Vordringen' ~ 'zurückschlagen', So:

II 367 . . . Ἐκτορα δ' ἵπποι | ἔκφερον . . . λείπε δὲ λαὸν | Τρωϊκόν, οὐδ' ἀέκοντα
ὄρουκτῆ τάφρος ἔρουκεν.

Θ 177 νῆπιοι, οἳ ἄρα δὴ τάδε τείχεα μηχανώοντο | ἀβλήχρ' οὐδενόσωρα· τὰ δ' οὐ μένος
ἄμὸν ἐρύξει·

II 341 ἔκτισθεν δὲ βαθεῖαν ὀρύξομεν ἐγγύθι τάφρου | ἦ χ' ἵππους καὶ λαὸν ἐρυκάκοι ἄμφις
ἔουσα

Die Bedeutung 'zurückschlagen' wird noch mehr in lexikalischen Strukturen einbegriffen, wo *ἐρύκω* die bewusste Handlung einer Person ausdrückt. Z. B.

Θ 295 (Hector dringt unaufhaltbar vor, dann ἀγόρευε

Θάσας . . .) *πληθὺν μὲν ποτὶ νῆας ἀνώξομεν ἀπονέεσθαι / αὐτοὶ δ', ὅσοι ἄριστοι ἐνὶ στρατῷ εὐχόμεθ' εἶναι, / στήρομεν, εἴ κε πρῶτον ἐρύξομεν ἀντίασαντες / δοῦρατ' ἀνασχόμενοι· τὸν δ' οἶω καὶ μεμαῶτα / θυμῷ δεῖσσεσθαι Δαναῶν καταδύναϊ δμῖλον.*

Das Wesentliche bei diesem Rat ist folgendes: οἱ ἄριστοι sollten Hector festhalten — etwa bei sich behalten. Die andere Seite desselben ist aber: sie verhindern Hector dadurch, in die Massen der Danaer einzudringen — sie wenden ihn also von den anderen ab (ung. 'elhárít'). Die Wahrheit besteht im folgenden: vorwiegende Bedeutung des *ἐρύκω* im gegebenen Kontext ist 'cohibeo' — sie involviert aber auch 'prohibeo' in sich. Gleicherweise:

M 462 . . . ὁ δ' ἄρ' ἔσθορε . . . Ἐκτωρ / νυκτὶ θοῆ ἀτάλαντος ὑπόπια . . . / . . . δοιὰ δὲ χερσὶν / δοῦρ' ἔχεν· οὐ κέν τις μιν ἐρκάκοι ἀντιβολήσας νόσφι θεῶν . . .

χ 136 . . . ἄρχι γὰρ ἀνώξ / ἀυλῆς καλὰ θύρετρα . . . / καὶ χ' εἷς πάντας ἐρύκοι ἀνήρ, ὅς τ' ἄλκιμος εἶη.

Der Bedeutungsinhalt von 'aufhalten' hat in den oben angeführten Beispielen etwa zwei Seiten: 'aufhalten' (ung. 'megállít') ~ 'bei sich behalten' (ung. 'magánál tart') — andererseits 'nicht weiter gehen lassen' (ung. 'nem enged tovább') ~ 'abwenden' (ung. 'elhárít'). Die Bedeutung 'abwenden' (ung. 'elhárít') ist in den vorangehenden Beispielen in der Bedeutung 'nicht weiter gehen lassen' ('bei sich behalten') nur einbegriffen. Der Kern einer neuen Bedeutung ('abwenden', ung. 'elhárít') ist nur als eine mehr oder weniger klare Möglichkeit vorhanden. In den folgenden lexikalischen Strukturen hingegen kann nur die Bedeutung 'abwenden' (ung. 'elhárít') bestehen; die ursprüngliche Bedeutung von *ἐρύκω* 'bei sich behalten' ('von sich nicht gehen lassen') schlägt in ihren Gegensatz um:

A 351 . . . πλάγχθη δ' ἀπὸ χαλκῶφι χαλκός / οὐδ' ἵκετο χροά καλόν. ἐρύκακε γὰρ τροφάλεια / . . .

Die genauere Bestimmung der ἐ. ist durch πλάγχθη gegeben. Die Bedeutung von πλάγχθη ist aber nach sch. AD: ἀπεκρούσθη.

Φ 164 . . . δουρὶ σάκος βάλεν, οὐδὲ διαπρὸ / ὕψζε σάκος· χρυσὸς γὰρ ἐρύκακε . . .

Der Inhalt von ἐ. entfaltet sich erst später in Φ 167 klar:

ἦ δ' ὑπὲρ αὐτοῦ / γαίῃ ἐνεστήριζτο . . .

Λόφω prallt also vom Metall zurück.

Φ 590 . . . ἄκοντα . . . χειρὸς ἀφῆκεν, / καὶ ὃ' ἔβαλε κνήμην . . . / ἀμφὶ δὲ οἱ κνημῖς νεοτευκτοῦ κασιπέροιο / σμερδαλέον κονάβησε· πάλιν δ' ἀπὸ χαλκός οἶρονσεν / βλημένου, οὐδ' ἐπέρησε, θεοῦ δ' ἐρύκακε δῶρα.

Der Inhalt des *ἐρύκακε* wird durch χαλκός ὄρουσε | βλημένου genau bestimmt — demnach hat *ἐρύκακε* eine neue — der ursprünglichen etgegengesetzte — Bedeutung erhalten.

ε 165 αὐτὰρ ἐγὼ σίτον καὶ ὕδωρ καὶ οἶνον ἐρυθρὸν / ἐνθήσω μενοεικέ', ἃ κέν τοι λιμὸν ἐρύκοι /

Ο 449 . . . τάχα δ' αὐτῷ / ἦλθε κακόν, τό οἱ οὐ τις ἐρύκακεν ἱμένων περ.

Die Aktion bei *ἐρύκω* kann in der oben angeführten Bedeutung, wo 'bei sich behalten' (ung. 'magánál tart') dominierte und 'abwenden' (ung. 'elhárít') nur einbegriffen ist, gleicherweise aoristisch oder Imperfekt sein. Die neue Bedeutung 'abwenden' (ung. 'elhárít') erscheint aber fast ausschliesslich in aoristischer Aktion. Das weist darauf hin, dass die neue Bedeutung 'abwenden' ihren Ursprung nach aoristisch ist; sie ist aus der aoristischen Einschränkung des früheren Bedeutungsinhalts entstanden, der die neue Bedeutung eher als eine Möglichkeit enthielt.

Die entstandene Bedeutung bei ἐρύκω ('abwenden', ung. 'elhárít') weist mit der Grundbedeutung von ἀμύνω ('arceo...') eine Ähnlichkeit auf. Die lexikalische Struktur mit ἀμύνω ist aber der des ἐρύκω wesentlich verschieden. Ἀμύνω ist nämlich unmittelbar am meisten mit λογός, ὄλεθρος usw. verbunden. Z. B.

E 603 . . . ὅς λογὸν ἀμύνει

Sodann bildet es mit Substanzen, im Dativ und Genitiv, weitere Syntagmen. Z. B.

A 341 χρεῖὸν . . . λογὸν ἀμύναι | τοῖς ἄλλοις.

Π 74 οὐ . . . / μαίνεται ἐγγεῖη Λαυαῶν ἀπο λογὸν ἀμύναι

Eine neuere Bedeutung des ἀμύνω entsteht innerhalb der (elliptischen) mit dem Dativ und Genitiv gebildeten Strukturen. Z. B.

Φ 414 . . . Τρωσὶν . . . ἀμύνεις.

N 109 οἷ . . . ἀμυνέμεν οὐκ ἐθέλουσαν | νηῶν . . .

Die Ausbildung dieser neuen Bedeutungen geht andererseits mit der des περιβαίνω 'verteidigen' usw. parallel vor sich.

Es ist die Tatsache, dass lexikalische Strukturen mit der neuen Bedeutung von ἐρύκω neben ἀμύνω nur überaus selten vorkommen. Z. B.

X 84 . . . φίλε τέκνον, ἄμυνε δὲ δῆιον ἄνδρα | τείχεος ἐντὸς ἐών . . .

ω 376 αἶ . . . / . . . / τοῖος ἐών τοι . . . / . . . ἀμύνειν | ἄνδρας μνηστῆρας

im Medium:

P 509 . . . οἷ περ ἄριστοι, / . . . ἀμύνεσθαι στίχας ἀνδρῶν

Diese Tatsache kann auf zweierlei Weisen erklärt werden. Entweder entwickelte sich diese seltenere lexikalische Struktur mit ἀμύνω mit der neuen Bedeutung von ἐρύκω parallel, oder aber wurde die neue Bedeutung des ἐρύκω in den vorliegenden lexikalischen Strukturen ein starker Rival der ursprünglichen Bedeutung von ἀμύνω ('abwenden', ung. 'elhárít'). Die letztere Annahme scheint wahrscheinlicher zu sein. Der Durchbruch von ἐρύκω könnte auch durch die Tatsache gefördert werden, dass die Bedeutung 'verteidigen' im Bedeutungsinhalt des ἀμύνω immer mehr zur Geltung gelangte.

Zugleich ist in den homerischen Gesängen auch eine andere Bedeutung von ἐρύκω zu finden. Und zwar:

φ 226 καὶ νύ κ' ὀδυρομένοισιν ἔδν φάος ἡελίοιο, / εἰ μὴ Ὀδυσσεὺς αὐτὸς ἐρύκακε φώνησέν τε

ν 311 ἀλλ' ἔμπης τάδε μὲν καὶ τέτλαμεν εἰσορόωντες | μῆλων σφαζομένων οἴνοιο τε πνομένοιο / καὶ σίτου· χαλεπὸν γὰρ ἐρυκακίειν ἕνα πολλούς.

Ω 184 αὐτὰρ ἐπὴν ἀγάγησιν ἔσω κλισίην Ἀχιλλῆος, / οὐτ' αὐτὸς κτενέει ἀπὸ τ' ἄλλους πάντα ἐρύξει.

In den oben angeführten Beispielen ist nicht einfach von einer 'Abwehr' die Rede (ung. 'elhárítás'); das Objekt bei ἐρύκω fordert eine Infinitiv-Ergänzung. Z. B.

. . . ἄλλους πάντα ἐρύξει nämlich κτενέειν.

Ἐρύκω bedeutet in solchen lexikalischen Strukturen: 'verhindern'.

Die Entstehung der Bedeutung 'verhindern' ist auf Grund weiterer Kontexte zu begreifen. Z. B.

A 351 . . . πλάγχθη δ' ἀπὸ χαλκῶφι χαλκός, / οὐδ' ἔκετο χροά καλόν· ἐρύκακε γὰρ τρυφάλεια

Die eigentliche Bedeutung von *ἐρύκακε* ist in gegebenem Kontext — wie wir es gesehen haben — 'abwenden' (ung. 'elhárít'). Es könnte aber leicht auch eine andere Bedeutung entstehen, indem *ἐρύκακε γάρ* . . . mit dem vorangehenden Verb in einen engeren Zusammenhang gebracht wird. Also:

. . . *ἐρύκακε γάρ τρουφάλεια — ἰκέσθαι*

Die Bedeutungsentwicklung des *ἐρύκακε* ist also im gegebenen Falle:

[. . . (πλάγχθη) . . . «verjagte»] > [«verhinderte» . . . ἰκέσθαι].

Eine Möglichkeit dieser Bedeutungsentwicklung in *ἐρύκα* ist auch bei der früheren Bedeutung ('bei sich halten') gegeben. Auf Grund des überlieferten Materials ist es aber ganz sicher, dass die Bedeutung 'verhindern' in ihrem Ursprung die Grundbedeutung 'abwenden' voraussetzt. Die Bedeutung '(ver)hindern' fasst in ihrem Inhalt — etwa ohne Vorzeichen — die identischen Elemente der konkreten Bedeutungen 'bei sich halten' — 'abwenden' zusammen. Diese Bedeutung kommt bei *ἀμύνω* nicht vor — bei *ἐρύκω* steht sie vor allem mit der — (des *ἐρύκω*) ursprünglich entgegengesetzten, der des *ἀμύνω* entsprechenden — Bedeutung in Verbindung. Es müssten sich also entgegengesetzte Bedeutungen innerhalb des Inhalts von *ἐρύκω* entwickeln, damit eine — die identischen Elemente von *ἀμύνω* und *ἐρύκω* zusammenfassende — Bedeutung entstehen könne. *Ἐρύκω* wird im Falle der ursprünglichen ('bei sich halten') sowie der neueren ('abwenden') Bedeutung durch eine Person oder einen Gegenstand näher bestimmt. Bei der Bedeutung 'verhindern' wächst aber die syntaktische Expansivität des *ἐρύκω* — er wird durch ganze Sätze meistens durch Infinitiv-Strukturen erweitert. Diese neuere Eigenart im syntaktischen Verhalten von 'verhindern' nimmt in posthomerischen Zeiten immer mehr an Bedeutung zu. Doch sind gewisse Präzedenzen bereits bei Homer vorhanden. Die grössere syntaktische Expansivität der Bedeutung von 'verhindern' ist als eine Erscheinung einer hochgradigen Bedeutungskonzentration, die die Bedeutung 'verhindern' enthält, zu erklären. Innerhalb des Inhalts von *ἐρύκω* mussten nämlich verschiedene konkrete Bedeutungen zusammenfallen, damit eine allgemeine — die identischen Elemente derselben zusammenfassende Bedeutung entstehen könne.

Die Bedeutung 'abwenden' steht — wie wir es gesehen haben — vorläufig fast ausnahmslos als eine aoristische Einschränkung des *ἐρύκω* vor uns. Die Bedeutung 'verhindern' entsteht aber unter gewissen Bedingungen aus 'abwenden'. Daraus wird klar, dass auch zwischen der Bedeutung 'verhindern' und dem Aorist ebenfalls ein enger Zusammenhang besteht. Trotzdem kommt die Bedeutung 'abwenden', und 'verhindern' in einigen Fällen (*Ω* 184, *ε* 163) auch als ein Prozess (Impf.) vor. Der Verb-Inhalt, ursprünglich mit dem Aorist verbunden, beginnt also auf das Gebiet der Impf. Aktion hinüberzugreifen. Das heisst:

impf.	aor.
'bei sich behalten' —	→ 'aufhalten', 'zum Stehen bringen' ~
'jagen' } ←	{ ~ 'abwenden'
'hindern' } ←	{ ↓ 'verhindern'

παρέροχομαι

Die sinnliche Bedeutung 'an jemandem vorbeigehen' ist so in der Imperfekta Aktion wie auch im Aorist zu finden:

π 356 . . . *εἴσιδον αὐτοὶ | νῆα παρεροχομένην*

μ 62 *τῆ μὲν τ' οὐδὲ ποτητὰ παρέροχεται οὐδὲ πέλειαι*

ε 428 . . . *λάβε πέτρης, τῆς ἔχετο . . . εἴως μέγα κῆμα παρήλθεν.*

Die Bedeutung 'jemanden überholen', 'jemanden übertreffen' kommt aber nur in aoristischer Aktion vor:

θ 230 οἴοισιν δειδοῖκα ποσὶν μὴ τίς με παρέλθῃ / Φαιήκων
 ν 291 „κερδαλέος . . . ὅς σε παρέλθοι / ἐν πάντεσσι δόλοισι . . .

In der Bedeutung 'vernachlässigen', 'ausser acht lassen' in Θ 239 finden wir wieder den Aorist:

οὐ . . . φημι τεὸν περικαλλέα βωμῶν / νηὶ πολυκλήιδι παρελθέμεν ἐνθάδε ἔρρων

Die Bedeutungen 'der Aufmerksamkeit entgehen', 'jemanden betrügen' in A 132

μη . . . | κλέπτε νόρ, ἐπεὶ οὐ παρελεύσεαι οὐδέ με πείσεις

werden aus der Wurzel *παρ-ελ-εμ-* gebildet, und sind daher vermutlich aoristische Formen.

Eine ganze Reihe von neuen Bedeutungen entstand also aus der Grundbedeutung von *παρελθ.*: 'an etwas vorbeigehen'. Charakteristisch für alle ist es, dass sie innerhalb der aoristischen Begrenzung der Grundbedeutung erscheinen. Das heisst:

'an jemandem vorbeigehen (aor. punct.)' ~ 'jemanden überholen' (~ 'jemanden übertreffen'), 'jemanden vernachlässigen'.

Wir haben bei der Untersuchung der Genus-Verhältnisse in bezug auf *ἀάω*, *βλάπτω*, *φαίνω* usw. die Folgerung gezogen, dass die Ausbildung bestimmter neuer Bedeutungen ('schaden', 'zeigen', 'vorweisen' usw.) von den Veränderungen der Genera bzw. der Rektionen (act. → med. bzw. med. → pass. (tr. ↔ intr.)) nicht getrennt werden kann. Daraus hat sich die weitere Folgerung ergeben, dass auch im Verhältnis der verbalen Genera (namentlich pass. (tr. ↔ intr.)) zu den lexikalischen Bedeutungen ein Zusammenhang besteht.¹⁰

Untersuchen wir das Verhältnis — ebenfalls innerhalb des Bedeutungsinhalts von *φαίνω* usw. — zwischen bestimmten lexikalischen Bedeutungen und Aktionen, können wir feststellen, dass die neuen Bedeutungen in den meisten Fällen im Aorist stehen. Wird das Problem aus dem Gesichtspunkt der Genera betrachtet: die im Med.-Passiv entstehenden neueren Bedeutungen kommen oft mit dem Aorist verbunden zustande. Das Med.-Passiv Genus und die aoristische Aktion benehmen sich also bei der Ausbildung von lexikalischen Bedeutungen konvergent. Die Zusammenhänge zwischen den verbalen Genera und Aktionen erhalten eine noch grössere Bedeutung, wenn sie aus diachronischem Gesichtspunkt untersucht werden. Auf eine ausführlichere Behandlung dieser Frage kehren wir aber im folgenden zurück (Siehe IV).

III

a) Die analysierten Beispiele weisen darauf hin, dass innerhalb der Aorist-Aktion eine ganze Reihe von neueren, allgemeineren Bedeutungen entstanden sind. Nun entsteht die Frage, wie sich diese neuen Bedeutungen dem Inhalt der Aorist-Aktion gegenüber verhalten. Der Gedanke, dass der Inhalt des Aorists eigenartig sei, dass er nicht unverändert bleibe, sondern sich entwickele, taucht bereits bei Mutzbauer auf. Er setzt sich der Auffassung entgegen, wonach das griechische Verbalsystem ohne weiteres auf Grund des Lateinischen zu interpretieren wäre.¹¹ Die Aufgabe der griechischen Aktionen — besteht nämlich nicht im Ausdruck zeitlicher Beziehungen zwischen verschie-

¹⁰ siehe: J. ZSILKA: Das Passiv in Homers Heldengesängen. A. A. XII. 3—4., 1964. S. 285—307.

¹¹ C. MUTZBAUER: (siehe 4.) I. —

denen Inhalten, Ereignissen, d. h. einer Gleichzeitigkeit Vorzeitigkeit usw., sondern darin: die Handlung den Hörern auf eine sinnliche, anschauliche Weise zu vergegenwärtigen. Das Imperfekt stellt die Handlung in ihrem vollen Prozess, der Aorist hingegen punktuell dar.¹²

Die Punktualität der Handlung kann aber nach Mutzbauer auf dreierlei Weisen verwirklicht werden:

1. Der Aorist als Ausgangspunkt der Handlung;
2. Der Aorist als Endpunkt der Handlung;
3. Die ganze Handlung erscheint im Aorist konzentriert, in einem Punkt zusammengefasst (ungeachtet der In- bzw. E-gressivität).¹³

Die einzelnen Typen des Aorists sind bereits bei Delbrück zu finden; der 3. Typ wird durch 'die Effektivierung einer Handlung in Vergangenheit'¹⁴ bezeichnet. Das Verdienst Mutzbauers ist es, einen Versuch dazu angestellt zu haben, das Verhältnis zwischen den Typen 1., 2. und 3. historisch zu interpretieren. Zwar können wir seinen Endfolgerungen nicht beipflichten, sein Gedanke selbst ist allerdings fruchtbar zu nennen.

Nach der Meinung Mutzbauers sind die Bedeutungen der beiden ersten Aoristformen für eine naive Zeit charakteristisch, die an der Anschaulichkeit und allen Einzelheiten der Erzählung Gefallen fand. Die Handlung, durch den Aorist ausgedrückt, etwa in einem Punkt konzentriert, von früheren in- und egressiven Momenten befreit, fängt erst im Attischen an vorzukommen. Die Entwicklung dieser neuen Bedeutung des Aorists soll mit der attischen Demokratie im Zusammenhang gestanden haben, wo die Volksversammlungen eher eine kurze und genaue, als eine weitschweifige und anschauliche Ausführung der Angelegenheiten benötigt hätten.¹⁵

Nach Delbrücks Auffassung entspricht es dem Griechischen eher, die Geschehnisse der Vergangenheit einfach als etwas Geschehenes hinzustellen, als sie zusammenhängend und anschaulich zu schildern. Daraus versuchte er es zu erklären, dass der Aorist, zwar selber kein Tempus der Erzählung, das Imperfekt, ein narratives Tempus doch zurückzudrängen vermag.¹⁶ Er betrachtete daher den Aorist gänzlich als punktuell, dementsprechend gingen die Unterschiede zwischen dem in- bzw. egressiven und punktuellen Aorist bei ihm verloren. Er hat also den qualitativen Unterschied zwischen 1., 2. — und 3. nicht erkannt.

Eine bedeutende Ahnung Mutzbauers war es, den Aorist als ein historisches Gebilde zu betrachten. Eine sprachliche Erscheinung kann aber nicht unmittelbar aus äusserlichen historischen Veränderungen usw. abgeleitet

¹² C. MUTZBAUER: (siehe 4.) 8. und 11. 1.

¹³ C. MUTZBAUER: (siehe 4.) 11. 1.

¹⁴ B. DELBRÜCK: (siehe 1.) S. 102.

¹⁵ C. MUTZBAUER: (siehe 4.) S. 19—20.

¹⁶ B. DELBRÜCK: (siehe 1.) S. 103.

werden. Eine sprachliche Veränderung wird nur aus der Wechselwirkung zwischen den verschiedenen Seiten der Sprache heraus richtig verstanden.

Die Bedeutung der unter II. analysierten Verben ist aoristischen Ursprungs und zwar ohne in- und egressive Momente des Aorists. Genauer: aus den in- und egressiven Momenten der Grundbedeutung entsteht eine neue Bedeutung als punktueller, aoristischer Inhalt. Das bedeutet, dass die Entwicklung der Punktualität im Inhalt des Aorists bereits um vieles früher eingesetzt war, als es Mutzbauer meinte. Ferner: steht die Ausbildung des neueren, eigenartigen Inhalts im Aorist als eine Seite der Verwandlung im lexikalischen Material vor uns. Der spätere scheinbar autonome Gebrauch des Aorists erscheint als ein ursprünglich lexikalisch gebundener Inhalt. Demnach ist also nicht nur eine gewisse Bedeutungsschicht des homerischen Verbbestandes dem Ursprung nach aoristisch, sondern auch die punktuelle Schicht innerhalb des Inhalts des Aorists ist ihrem Ursprung nach an eine Gruppe der lexikalischen Bedeutungen gebunden.

b) Mutzbauer hat es vorausgeahnt, dass der punktuelle Aorist aus dem anschaulichen in- und egressiven Aorist entstanden ist. Er hat weiterhin eine merkwürdige Parallelität zwischen dem Aorist und den Kasus bzw. Präpositionen beobachtet. Eine eindringende Untersuchung der Zusammenhänge bestätigt einerseits den Scharfsinn dieser Ahnung, andererseits unterstützt sie die unter a) gezogenen Folgerungen. Die Parallelität zwischen den Aktionen und Kasus usw. weist nämlich darauf hin, dass die Entwicklung des punktuellen Inhalts im Aorist bereits in der homerischen Sprache zugetreten ist.¹⁷

Mutzbauer verbindet den in- und egressiven Aorist mit einer konkreteren Anschauungsweise, und leitet den punktuellen Aorist aus dem Aufhören dieser konkreteren Anschauungsweise ab. Er schreibt darüber folgendes: «Dieselbe Erscheinung sehen wir z. B. im Gebiete der Verwendung der Kasus, wo der Akkusativ seine ursprüngliche Funktion der Bezeichnung des örtlichen Zieles verliert, im Gebrauch der Suffixe, wo wir schon bei Homer neben *Τροίηθεν* auch *ἀπὸ Τροίηθεν* finden, und der Präpositionen, indem neben die Präposition mit ihrem Kasus das Kompositum des Verbums oder umgekehrt tritt.»¹⁸

Er bringt also die Reduktion der lokalen Funktion beim Akkusativ und Genitiv, den Wechsel von präpositionalen Syntagmen und verbalen Komposita mit derselben abnehmenden Konkretheit der Anschauungsweise in Zusammenhang, aus der er den punktuellen Aorist abgeleitet hat.

Wir haben bei der Untersuchung der Tmesis-Formen die Folgerung gezogen, dass die Entstehung der verbalen Komposita genauer mit der Ausbildung einer abstrakteren Bedeutungsschicht, im allgemeinen aber mit dem

¹⁷ Siehe: J. ZSILKA: Das Problem der Tmesis in der Ilias. A. A. XII. 1–2., 1964. S. 50.

¹⁸ C. MUTZBAUER: (siehe 4.) S. 19.

— den gesamten Wortbestand durchdringenden — Abstraktionsprozess zusammenhängt.¹⁹ Nicht nur abstraktere lexikalische Inhalte kommen aber bei Verben zustande, sondern parallel damit verändert sich auch ihr syntaktisches Verhalten; es erscheinen abstraktere Beziehungen. Die flektierten Kasus dienen weiterhin zur Bezeichnung dieser Beziehungen, — die alten lokalen Beziehungen werden hingegen immer mehr durch präpositionelle Kasus bezeichnet.²⁰ Die alten Adverbien erfüllen im allgemeinen — einander gegenseitig bedingt — zwei neue Funktionen: als Präverbien bezeichnen sie die Verschiebung der Bedeutung des Verbs in eine abstraktere Sphäre — als Präpositionen werden sie zum Zeichen lokaler Beziehungen.

Die abnehmende lokale Funktion beim Akkusativ und Genitiv und die Erscheinung der Präpositionen einerseits, die Ausbildung der Präpositionen und der verbalen präpositionalen Komposita andererseits sind nicht voneinander zu trennen.²¹ All diese Zusammenhänge sind aber in den homerischen Gesängen im letzten Stadium ihrer Entwicklung zu beobachten. Falls der punktuelle Aorist das Verschwinden der in- und egressiven Momente voraussetzt, letzteres hingegen mit dem Verschwinden der lokalen Funktion beim Akkusativ und Genitiv zusammenhängt, so kann die Ausbildung des punktuellen Aorists nur in die Zeit der homerischen Gesänge fallen. Die Gegenüberstellung von präpositionalen Ausdrücken und verbalen Komposita ist nur in gewisser Hinsicht berechtigt -- was ihren Ursprung betrifft, bedingen sie gegenseitig einander.

Die Gleichzeitigkeit der Ausbildung der präpositionalen Syntagmen und des punktuellen Aorists, sowie die Tatsache, dass der punktuelle Aorist aus in- und egressiven Momenten des früheren Aorists zusammengesetzt worden ist, kann auch durch die Ergebnisse, der Analyse der Präposition *διά* begründet werden.²²

Die ursprünglich lokale Bedeutung des flektierten Kasus ist manchmal in Syntagmen mit *διά* noch wahrnehmbar. Also:

[*διά* ← gen.] bzw. [*διά* ← acc.].

Häufig wird aber die Bedeutung des Genitivs bzw. Akkusativs innerhalb der Syntagmen irrelevant. Das Erblässen der ursprünglichen Bedeutung des Genitivs und Akkusativs innerhalb der Syntagmen *διά* usw. + ... gen./acc. bedingen einander gegenseitig. Also:

¹⁹ Siehe: J. ZSILKA: Das Problem der Tmesis in der Ilias. A. A. XII. 1–2., 1964. S. 31. —

²⁰ Siehe: J. ZSILKA: Das Problem der Tmesis in der Ilias. A. A. XII. 1–2., 1964. S. 28. —

²¹ Siehe: J. ZSILKA: Das Problem der Tmesis in der Ilias. A. A. XII. 1–2., 1964. S. 28. —

²² Siehe: J. ZSILKA: Das Problem der Tmesis in der Ilias. A. A. XII. 1–2., 1964. S. 46. —

$$\begin{array}{ccc} [\delta\acute{\iota}\acute{\alpha} \rightarrow \text{gen.}] & \leftrightarrow & [\delta\acute{\iota}\acute{\alpha} \rightarrow \text{acc.}] \\ \updownarrow & & \updownarrow \\ [\acute{\upsilon}\pi\acute{o} \rightarrow \text{gen.}] & \leftrightarrow & [\acute{\upsilon}\pi\acute{o} \rightarrow \text{acc.}] \end{array}$$

Die neue präpositionale Bedeutung beruht auf dem Zusammenfallen von direktiven und separativen Elementen:

$$[\delta\acute{\iota}\acute{\alpha} \rightarrow \text{gen./acc.}]$$

Eine ausführlichere Untersuchung der Präpositionen weist darauf hin, dass der Inhalt eines präpositionalen Syntagmas oft innerhalb eines weiteren Syntagmas mit der Aktion des Verbs verbunden ist. So:

$$\{[\delta\acute{\iota}\acute{\alpha} \leftarrow \text{gen./acc.}] \leftrightarrow \text{verb (aor.)}\}$$

bzw.

$$\{[\delta\acute{\iota}\acute{\alpha} \rightarrow \text{gen./acc.}] \leftrightarrow \text{verb. (impf.)}\}.$$

Falls sich also die ursprüngliche lokale Bedeutung innerhalb des präpositionalen Syntagmas geltend macht, finden wir beim Verb einen ingressiven bzw. egressiven Aoristos, wurde hingegen die ursprüngliche Bedeutung des Kasus irrelevant, so steht das Verb im Imperfekt.

Manchmal hört aber die ursprüngliche lokale Bedeutung des Kasus innerhalb des Syntagmas auf, die Aktion des damit verbundenen Verbs ist doch aoristisch. Der Aorist ist aber in solchen Fällen weder ingressiv noch egressiv, sondern punktuell. Daraus haben wir die Folgerung gezogen, dass sich nicht nur eine Seite des weiteren Syntagmas verändert hat — sich nicht nur ein neuer präpositionaler Kasus aus dem Zusammenfallen der ursprünglich direktiven und separativen Momente entwickelt hat. Gleichzeitig damit veränderte sich auch der Inhalt des Aorists: ein allgemeiner punktueller Inhalt hat sich aus den ingressiven und egressiven Momenten entwickelt. Die neue Bedeutung des präpositionalen Syntagmas und der neue Inhalt des Aorists bedingen einander gegenseitig. Also:

$$\begin{array}{c} [\delta\acute{\iota}\acute{\alpha} \leftarrow \text{gen./acc.}] \rightarrow [\delta\acute{\iota}\acute{\alpha} \rightarrow \text{gen./acc.}] \leftrightarrow \\ \leftrightarrow [\text{aor. ingr./egr.} \rightarrow \text{aor. punkt. (= aor. ingr. + aor. egr.)}] \end{array}$$

Der punktuelle Aorist ist also in bezug auf die Rektionsanalyse eine — in seinen wichtigen Zügen mit den präpositionalen Syntagmen übereinstimmende, gleichzeitige — Erscheinung.

IV

Unter II. haben wir bereits gesehen, dass sich das mediale Genus und die aoristische Aktion bei Ausbildung bestimmter Bedeutungen konvergent benehmen. Oft wirken sie aber voneinander unabhängig bei der Ausbildung

von verbalen Bedeutungsinhalten in derselben Richtung. All diese Zusammenhänge erhalten einen tieferen Sinn, wenn sie aus diachronischem Gesichtspunkt untersucht werden.

Das Passiv entsteht — wie wir es gesehen haben²³ — durch die Zurückströmung der Verben im Aktiv in das mediale Genus. Im Passiv gibt es unbedingt einen gewissen *Zustandsinhalt*, der aber als eine Reflexion des Aktivs zustande kommt. Der Zustandsinhalt der lexikalischen Schicht, die parallel mit dem Passiv entsteht, gehört häufig zum Kreis des seelischen Lebens. Auf Grund des Zusammenhangs zwischen den Genera und den Rektionen ist es völlig klar, dass der im Passiv entstandene Zustandsinhalt mit dem des medialen Genus, das in bezug auf seine Entstehung dem Aktive vorausging, nicht identisch ist. Das Passiv vereinigt in sich die wichtigsten Züge des aktiven und medialen Genus; es beruht auf einer Einheit von Transitivität und Intransitivität. Das Passiv, das im medialen Genus undifferenziert eher als eine Möglichkeit besteht, ist eine Einheit des differenzierten Aktivs und Mediums.

Auf Grund einer formalen Analyse der Aktionen ist die Folgerung gezogen worden, dass $\xi\text{-}\delta\alpha\kappa\text{-}\sigma\nu$ der $\delta\acute{\alpha}\kappa\nu\omega$ zeitlich vorausgeht. Die $\xi\text{-}\delta\alpha\kappa\text{-}\sigma\nu$ weist nämlich die schlichteste Wurzelform, ohne irgendwelche Erweiterung auf. $\Delta\alpha\kappa\text{-}$ begann nur parallel mit der Entwicklung der Imperfekta Aktion in der Bedeutung des Aorists sich aufzukommen.²⁴ Das bedeutet: der Aorist ist nicht nur als eine — der Imperfekta und Perfekta Aktion gegenüber — «unbestimmte» Aktion aufzufassen. Er kann als ein undifferenzierter Zustand der Aktionen betrachtet werden, welcher der Ausbildung der Imperfekta usw. vorausging.

H. Schuchardt hat Ende des vorigen Jahrhunderts ein Werk über die Genus- und Aktionsverhältnisse in den kaukasischen Sprachen veröffentlicht. Hier zog er die überraschende Folgerung, dass ein Satz, dessen Prädikat im Aorist steht, die Regeln der passiven Struktur befolgt. Der Aorist zeigt dabei im Georgischen bei den meisten transitiven Verben die bloße Wurzelform auf — im Imperfekt wird er aber durch Suffixe ausgedrückt. Aus diesen Tatsachen zog er die Schlussfolgerung: die Verbwurzeln an sich wären in den kaukasischen Sprachen (aor.) passiv.²⁵ Ziehen wir in Betracht, dass die Natur des Mediums und des Passivs den Forschern nicht scharf getrennt erscheint. So können wir teils auf Grund einer formalen Analyse der griechischen Aktionen, teils Schuchardt's Beobachtungen nach feststellen, dass ein indifferenzierter Zustand bei Genera und der Aktionen einander gegenseitig bedingen.

²³ Siehe J. ZSILKA: Das Passiv in Homers Heldengesängen. A. A. XII. 3—4. 1964. S. 306. —

²⁴ E. SCHWYZER: Griechische Grammatik, München, 1934.

²⁵ H. SCHUCHARDT: Ueber den passiven Charakter des Transitivs in den kaukasischen Sprachen. Wien, 1896. [Die Ereignisse von H. SCHUCHARDT sind mir aus einem Aufsatz von H. VOGT bekannt (Journal de Psychologie normale et pathologique, 43 année, N° 1, 1950). Mit der Kritik von VOGT bin ich nicht einverstanden.]

Der Aorist nimmt -- wie es bereits W. Schulze dargelegt hat -- im Aktions-system des homerischen Verbbestandes eine zentrale Rolle ein.²⁶ Seine enge Verflechtung mit dem Passiv haben wir bereits bei der lexikalischen Analyse von einzelnen Verben gesehen. Mit der Entstehung des aoristischen Passivs (-θη-ν usw.) kam diese Verflechtung auch morphologisch zum Ausdruck. Unter Aorist werden aber nicht sämtliche Formen verstanden; auf Grund einer Analyse der rektionalen Beziehungen gilt ausschliesslich der innere Zusammenhang zwischen dem punktuellen Aorist und dem Passiv als bewiesen. Der punktuelle Aorist ist aus Elementen des ingressiven und egressiven Aorists aufgebaut worden. Aus der auf diese Weise entstandenen Aktion ergibt sich aber nicht nur ein neuer Inhalt des Aorists; sie drückt die Aktion als solche aus. Sie bedeutet den übrigen Aktionen, Imperfekta usw. gegenüber etwa eine Aktionslosigkeit, und kann daher auf Grund der früheren Bedeutung der Aktionen als keine Aktion mehr betrachtet werden. Wie das Passiv aus wesentlichen Zügen des Aktivs und Mediums aufgebaut wurde, so stellt der punktuelle Aorist eine Verallgemeinerung des Imperfekts, Perfekts, des in- und egressiven Aorists dar. So im Passiv wie im punktuellen Aorist wiederholen sich ehemalige Zustände; sie bilden eine Einheit der sich verwirklichten Möglichkeiten des indifferenzierten Mediums und Aorists.

Wenn wir davon ausgehen, dass sich der Aorist (in-, egr.) ungefähr zur Zeit der Entstehung des aktiven Genus ausgebildet hatte, muss mit der folgenden Parallelität zwischen verbalen Genera und Aktionen gerechnet werden:

act. tr.	med. intr.	pass ²⁷	Aktionen				Kasus ²⁸		
/		/		der undifferenzierte Zustand (aor.)		a		b	
←	←	/	impf.	aor.		a	a/b	b	
				ingr.	egr.		(acc. obj.)		
→	→	→	impf.	ingr.	punct. + (in- egr.)	a : b	a/b	b : a	
					egr.	(acc. rel.)		(gen. obj.)	

a = casus localis direktionis. — b = casus localis separationis. — a/b = acc. obj. besteht aus den direktiven und separativen Momenten. — a : b / a = die lokalen Bedeutungen bekommen eine — ihrer ursprünglichen entgegengesetzte — Bedeutung.

²⁶ W. SCHULZE: K. Z. 43. 185. Diese Annahme ist auch von K. MEISTER übernommen und unterstützt worden. (Die homerische Kunstsprache. Leipzig, 1921. II. Teil. Zweites Kapitel.)

²⁷ Siehe J. ZSILKA: Das Passiv... A. A. XII. 3–4. S. 308.

²⁸ Siehe J. ZSILKA: Das Problem der Tmesis... A. A. XII. 1–2. S. 50.



A. P. SMOTRYTSCH

DIE VORGÄNGER DES HERONDAS

Jeder Dichter ist in gewisser Hinsicht mit der vorangehenden Literatur eng verbunden. Obwohl es unter den uns bekannten Dichtern keinen gibt, der Herondas, was Thematik und Darstellungsmittel anbelangt, gleich wäre, so findet man in den Mimiamben doch manche Parallelen, die auf die enge Verbindung des Dichters mit seinen Vorgängern und Zeitgenossen hinweisen. Es ist vor allem interessant, wie die Vorgänger des Herondas seine Darstellung des gemeinen Volkes beeinflusst hatten.¹ Zu solchen Vorgängern gehören die Komödiendichter, Jambographen u. a. m.

I. HIPPONAX UND SOPHRON

Es ist bezeichnend, dass Herondas auf seine mimischen Vorbilder im «Traum» nicht hingewiesen hat. Sein echtes Vorbild ist Hipponax von Ephesos, dessen Selbstbekenntnisse und Sittenbilder eingehende, höchst anschauliche Schilderungen des Alltäglichen und Niedrigen enthielten, wie sie die Literatur vor ihm nicht kannte. Auch seine Sprache war in viel höherem Grade, als die der anderen Jambographen, dem gemeinen Leben nachgebildet.² Im *Ἐνόπιον* sagt der Dichter: οἴσω] κλέος ναὶ Μοῦσαν . . . ἢ με δευτέρῃ γν[ώσι κν]λλ(ο)ῖς μεθ' Ἰππώνακτα τὸν πάλαι [κεῖνον] τὰ κύλλ' αἰδεῖν. Aber Herondas ist in sprachlicher Beziehung keinesfalls ein sklavischer Nachahmer der hipponaktischen Sprache, obwohl es sich einige recht auffällige Übereinstimmungen in ihrem Wortschatz finden. Sein Versmass ist der Choliambus des Hipponax. Herondas hat in seiner Dichtung das gemeine Volk seiner Zeit dargestellt und hat m. E. die hipponaktischen Ausdrücke nur in dem Fall benutzt, wenn sie in der hellenistischen Zeit im Gebrauch waren. Leider sind

¹ Es ist bekannt, dass die hellenistischen Dichter gerade darin ihre vornehmste Aufgabe erblickten, dem schon mehrfach bearbeiteten Stoff immer wieder neue Seiten abzugewinnen, die Akzente anders als ihre Vorgänger zu verlegen, das Vorbild zu überbieten und zu berichtigen. Vgl. W. GÖRLER: *Knemon*. *Hermes* 91, S. 268 (in bezug auf Menander).

² O. CRUSIUS — R. HERZOG: *Die Mimiamben des Herondas*, L., 1926, S. 43.

die Überreste der Werke von Hipponax so unbedeutend, dass wir gar nichts genaueres über sie auszusagen vermögen.

Führen wir jetzt einige Beispiele des wahrscheinlichen lexikalischen Zusammenfallens an:

N	Hipponax	N	Herondas
14	<i>βακτηρία κόψαι</i>	VIII, 60	<i>τῇ βακτηρίῃ κόψω</i>
14a	<i>τῇ κράδι συνηλοίησεν</i>	II, 34	<i>οὐδείς πολίτης ἠλοήσεν</i>
25,3	<i>οὐτ' ἀσκέρησι</i>	II, 23	<i>ἀσκέρας σαπρός</i>
32a	<i>καὶ σαπρόν</i>		
98	<i>ἐς λάρην</i>	I, 13	<i>ἐν δὲ ταῖς λάραις</i>
56	<i>λίσσομαί σε</i>	VI, 17	<i>λίσσομαί σε</i>
III, 13	<i>ἐλθὼν ἐς οἶκον</i>	III, 95	<i>ἐλθοῦσ' ἐς οἶκον</i>
VIII, 18	<i>τοὺς πόδας περιμήσας</i>	V, 30	<i>ποδόμηστορον</i>

Obwohl die Mimiamben als literarische Gattung mit dem Verspotten dieser oder jener gesellschaftlichen Erscheinung oder deren Träger verbunden waren, kann man die Werke Herondas' nicht als blosses *ιαμβίζειν* auffassen. Er stellt nicht nur die negativen Charakterzüge der Mimiambengestalten dar, sondern auch die positiven. Darin besteht der wichtigste Unterschied zwischen Herondas und den übrigen Verfassern von Jamben. Was aber die Mimen des Sophron anbelangt, haben wir keine Möglichkeit, etwas sicheres über seinen Einfluss auf Herondas zu sagen. Die Fragmente seiner Mimen sind so unbedeutend, dass sie uns keinen Grund für den Vergleich der Werke der beiden Dichter geben. K. Kerényi³ behauptet, dass Herondas die naturalistischen Elemente bei Sophron vorgefunden hätte. Es ist bekannt, dass Sophron *μίμοι ἀνδρεῖοι* und auch *γυναικεῖοι* verfasste. Wie ist diese Tatsache zu verstehen? Waren die handelnden Personen nur Frauen (bzw. Männer) oder wurde die Hauptrolle durch den Archimimus (die Archimima) gespielt? Manche Gelehrten sind geneigt zu glauben, dass nur Männer an einem männlichen Mimus teilnahmen, und ähnlich war es auch bei den weiblichen Mimen. Bei Herondas kann man dasselbe beobachten. In den meisten Mimiamben fällt der weitaus grössere Teil einer Person zu. Aber Herondas ist nur Geistesverwandter des Sophron, nicht sein Nachahmer.⁴ Es ist viel schwerer, die Berührungspunkte zwischen den Werken des Herondas und den volkstümlichen mimischen Vorstellungen festzustellen. Die erhaltenen sogenannten volkstümlichen Mimen «Charition» und «Moicheutria» sind nur ein Drehbuch der

³ C. KERÉNYI: Sophrone ovvero il naturalismo greco, *Rivista di filologia classica* 13 (1935), S. 18.

⁴ CRUSIUS – HERZOG: a. a. O.

wirklichen Aufführung. Aus diesem Drehbuch der mimischen Darstellung ist es ersichtlich, für welches Milieu diese Aufführungen mit ihren primitiven Mitteln des Komischen oder Schrecklichen bestimmt waren.

II. DIE ANTIKE KOMÖDIE UND HERONDAS

Mehr Material bietet uns für die Erklärung der Frage der Verbindung des Herondas mit seinen Vorgängern die griechische Komödie⁵ und auch die Werke der römischen Dichter, die diese Komödie benutzt hatten. Leider sind die meisten nur fragmentarisch erhalten oder überhaupt verloren gegangen. Infolgedessen stösst die Bearbeitung dieses Materials auf viele Schwierigkeiten. Spricht man über die Fragmente, so ist es nicht möglich mit Sicherheit zu behaupten, dass der eine oder der andere Ausdruck auf Herondas Einfluss hatte, nachdem der Kontext unbekannt ist. Man soll darum alle zufälligen Parallelen aufgeben, die möglicherweise nicht zu den Mimiamben gehören. Es ist z. B. bekannt, dass die Komödiendichter gern die Tragödie parodieren und Nairn hat den Versuch gemacht, solche Parodien bei Herondas zu finden. Er sah z. B. in III, 5 Parodie von tragischen Ausdrücken.⁶ Dieser Versuch gilt heute schon als misslungen. Den Einfluss der Komödie sieht man vor allem in den Namen der handelnden Personen, die häufig redende Namen führen.

1. DIE REDENDEN NAMEN BEI HERONDAS

Zum ersten Mal wurde diese Frage durch J. C. Austin untersucht.⁷ Er versuchte nachzuweisen, dass alle Namen der handelnden Personen als redende Namen zu betrachten sind. Diese Meinung ist kaum überzeugend. Einer Reihe von solchen Namen begegnet man in den Inschriften von Kos. Also, sie sind nicht zu den redenden Namen zu zählen, die in der Komödie oft gebraucht wurden. Solche Namen, wie *Ἄρτεμις*, *Βιτᾶς*, *Βίτινα Γυλλίς*, *Ἥκατῆ*, *Ἡρμῶν*, *Ἐθβούλη*, *Ἐθθύης* findet man in den koischen Inschriften. Darum ist der Name der Kupplerin Gyllis nicht auf *γύλιος* zurückzuführen, wie es Austin vermutete. Doch ist das Vorhandensein der redenden Namen in den Mimiamben nicht zu bezweifeln. Zu diesen gehören folgende Namen: *Metriche*, *Metrotime*, *Battaros*, *Kottalos*, *Kerdo*, *Lampriskos*, *Gastron*.

Die Frauennamen *Metriche* und *Metrotime* sind ohne weiteres als theopore Namen anzusehen und mit *Μήτηρ* (sc. *Μεγάλη*) zu vergleichen. Der Name *Metriche* ist mit dem Deminutivsuffix *-ιχο-* gebildet und lässt sich z. B. mit böot. *Ἀσώπιχος* (aus dem Flussnamen *Ἀσωπος*, natürlich als aus

⁵ Die antike Komödie war immer mit den Traditionen des *λαμβίξεν* eng verbunden. Dies hat m. E. J. BAGLAJ (Die Fragen der klassischen Philologie, III, 1963, 61 ff.) überzeugend nachgewiesen.

⁶ J. NAIRN: The mimes of Herondas. Oxford 1904. S. XXVII.

⁷ J. C. AUSTIN: The significant name by Herondas. Transactions and Proceedings of the American Philological Association, 53 (1922), S. XVI–XVIII.

dem Namen eines Gottes) vergleichen.⁸ Auch der Name des Frauenwirts Battaros ist interessant. Man darf ihn mit dem Zeitwort βατταρίζω und βάταλος : κίναδος vergleichen. O. Hense⁹ zieht eine Stelle aus Plutarchos' «*Quomodo adolescens poetas audire debeat*» (c. III, 30) heran, wo nicht Βάτταρος ὁ πορνοβοσικός sondern Βάτραχος ὁ πορνοβοσικός steht. Es ist charakteristisch, dass Battaros und Batrachos als Name eines versumpften Gesellen vielleicht zu allerhand komischen Bezügen Gelegenheit geben konnte. Beide leben ἐν βορβόρῳ und sind stark in ἀλαζονεύειν. Der Βάτραχος dient in volkstümlicher Sprache zum Vergleich mit einem niedrigen unmoralischen Mann und er wurde sprichwörtlich. Im Zusammenhang damit sei hier das Sprichwort aus dem Roman von Petronius angeführt «*qui fuit rana, nunc est rex*» (c. 77). In c. 75 liest man: *ad delicias feminas ipse mei Domini annos quattuordecim fui . . . et ipsi meae dominae satisfaciebam.* Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Abschreiber des Plutarchos Battaros und Batrachos verwechselt hat. M. E. ist der Name des Frauenwirts auf Grund des Hinweises von Austin besser zu erklären. Wenn das Wort Battaros von βατταρίζω oder βάταλος abgeleitet ist und auf das Unterscheidungsmerkmal des Battaros hinweist, so wird der komische Effekt seiner nach den Regeln der klassischen Rednerkunst gebauten Rede sehr gross. Es sei auch erwähnt, dass das Wort βάταλος ausser κίναδος auch eine andere Bedeutung hatte. Βάταλος haben den Demosthenes seine Gegner wegen seines angeblich liederlichen Lebens genannt.¹⁰ Beachtet man diese Sinnesabstufung, so fällt es einem sofort auf, dass Herondas im zweiten Mimiambus meistens die Kunstgriffe des Demosthenes benutzt.

Der Name seines Lehrers Lampriskos enthält das Deminutivsuffix -ισκ-, das dem Wort λαμπρός eine ironische Färbung verleiht. Der Name des Schusters Kerdo ist ohne Zweifel von τὸ κέρδος gebildet und charakterisiert sein Streben nach Gewinn. Das berühmte griechische Sprichwort *Κέρδων γαμῆ* weist darauf hin. Bei römischen Dichtern wurde der Name Kerdo als allgemeingültige Bezeichnung des durch einen Schuster erlangten Reichtums. Martialis:

III, 16: *das gladiatores sutorum regule, Cerdo*

III, 59: *sutor Cerdo*

III, 99: *irasci . . . non debes, Cerdo*

Persius IV, 51: *tollat tua munere Cerdo*

Juven. VIII, 182: *turpia Cerdoni Volesos Brutumque decebunt.*

Zu den redenden Namen gehört, wie es R. Herzog richtig bemerkte,¹¹ auch der Sklavename *Gastron*. «Der nicht seltene Name *Gastron* soll hier wohl

⁸ Darauf hat Prof. Dr. F. ZUCKER meine Aufmerksamkeit gelenkt.

⁹ O. HENSE: Battaros-Batrachos. NJb, 145 (1892), S. 265.

¹⁰ (Plut.) *X or. vita Dem.*, p. 289 WESTERN.

¹¹ CRUSIUS — HERZOG: a. a. O., S. 203.

redend sein, aber nicht den Dickbauch bezeichnen, sondern den zur Steigerung der aphrodisischen Potenz kräftig Genährten.» Es ist also zu bedenken, dass die redenden Namen in der Namengebung der Mimiamben eine gewisse Rolle spielten.

2. DIE ATTISCHE KOMÖDIE UND DIE MIMIAMBEN DES HERONDAS

Zweifellos kannte Herondas gut die attische Komödie und er verstand sie zu benutzen. H. Krakert untersuchte diese Frage in seiner Dissertation und er kam zu demselben Schluss.¹² Leider waren ihm die neueren Funde nicht bekannt. Auch einige Parallelen zwischen den Fragmenten der Komiker und des Herondas sind sehr problematisch. H. Krakert zieht richtig Parallelen auch aus der römischen Komödie herbei, in der gewöhnlich griechische Originale benutzt werden. Nach diesen Bemerkungen gehen wir zum Vergleich der Mimiamben und der Komödienfragmente hinüber.

1. Zu den in dem Mimiambus dargestellten Frauentypen (die treue Metrice und die Kupplerin Gyllis) gibt es schöne Parallelen in der Komödie, und es ist kein Zufall, dass Philippidos eine Komödie *Μάστροπος* verfasst hatte. Der Darstellung der edlen und treuen Hetäre begegnet man in der griechischen und römischen Komödie. Diese Spielart hat besonders Menander ausgebildet. In der «Hydria» von Antiphanes ist eine Hetäre mit goldenem Herz dargestellt. Sie ist eine wahre Freundin des Jünglings und ein solcher Typus kommt auch bei Lukian (Dial. meretr. VII; XII) vor. Terenz zeigt die treue Geliebte in derselben Situation, wie hier Metrice (*Heauton timorumenos*).

V. 25: ἀλλ' ἐκλέλησται καὶ πέπωκεν ἐκ καινῆς

Der metaphorische Ausdruck *πέπωκεν ἐκ καινῆς* ruft ins Gedächtnis Plaut. *Truc.* 43:

*Si semel amoris poculum accepit meri
eaeque intra pectus se penetravit potio*

Vgl. auch Verg. Aen. I, 749: *longumque bibebat amorem.*

V. 41: νηῦς μιῆς ἐπ' ἀγκύρης οὐκ ἀσφαλῆς ὀρμεῦσα

Vgl. Prop. II, 22: *nam melius duo defendunt retinacula navem*

V. 54: πλουτέων τὸ καλόν, οὐδὲ κάροφος ἐκ τῆς γῆς κινέων, ἄθικτος ἐς Κυθηρίην,
σφρηγίς

Epicrates, Fragm. 9:¹³

τελέως μ' ὑπῆλθεν ἢ κατάρατος μάστροπος ἐπομνύουσα τὰν Κόραν, τὰν Ἄρτεμιν τὰν
Φερρέφατταν, ὡς δάμαλις, ὡς παρθένος ὡς πῶλος ἀδμής· ἢ δ' ἄρ' ἦν μωνοιά ὄλη . . .

¹² H. KRAKERT: Herondas in mimiambis quatenus comoediam graecam respexisse videatur, Progr. Tauberbischofsheim 1901/1902.

¹³ Alle Fragmente der Komödiendichter zitiere ich nach EDMONDS Ausgabe.

Beachtenswert ist die Anrede der Kupplerin bei den römischen Dichtern, weil auch diese meistens den aus der Komödie entlehnten Typus der Kupplerin darstellen.¹⁴

Ähnlich wendet sich die Kupplerin (*Iena*) bei Propertius IV, 5, 59 ff:

*Dum vernat sanguis, dum rugis integer annus
utere, ne quid cras libet ob ore dies.
Vidi ego odorati victura rosaria Paesti
sub matutino cocta iacere Noto.
His animum nostrae dum versat Acanthis amicae
per tenues ossa sunt numerata cutes.*

Man kann auch die Rede der Kupplerin bei Ovidius und Herondas vergleichen.

Ovidii, <i>Amores</i> I, 8	Herondae <i>Mimiambus</i> I
V. 23 <i>Scis here te mea lux iuveni placuisse beato haesit et in vultu constitit usque tuo.</i>	56. ιδών σε καθόδω τῆς Μίσης ἐκύμηε τὰ σπλάγχχ' ἔρωτι καρδίην ἀνοιστηθεῖς
V. 29 <i>Stella tibi oppositi nocuit contraria Martis Mars abiit signo nunc Venus apta suo. Prosit et adveniens en aspice dives amator te cupiit. Curae quid tibi desit, habet.</i>	61. μίαν ταύτην ἀμαρτήν δός, τῇ θεῶ κατάρτησον σαυτήν. 54. πλουτέων τὸ καλόν 60. καὶ ποθέων ἀποθνήσκει
V. 49 <i>Labitur occulte, fallitque volubilis actas ut celer admissis labitur amnis aquis</i>	42. κείνος ἦν ἔλθη [ἐκ νεοτέρων οὐ] μηδὲ εἰς ἀναστήσει ἡμέας πάλιν; τὸ δεῖνα δὲ ἄγριος χεῖμων ἐξ εὐδίδης ἐνέπεσε καὶδὲ εἰς οἶδεν τὸ μέλλον ἡμέων
V. 53 <i>Forma nisi admittas nullo exercente senescit.</i>	38. κατ' οὖν λήσεις [γηράσα] καὶ σευ τὸ ὄριμον τέφρη κάψει

Natürlich handelt es sich nicht bloss um die ähnlichen Ausdrücke, sondern um das Zusammenfallen der einzelnen Situationen bei Herondas und Ovidius, die aus der attischen Komödie entlehnt wurden. Die Trunksucht der Kupplerin wird in der Komödie oft geschildert. Auf ihre Trunksucht hinweisend sagt Metrice der Sklavin (V. 79 ff):

. . . Θρεῖσσα, τὴν μελανιδ' ἔκτρινον κήκτημόρους τρεῖς ἐγγέα[σα τοῦ ἀ]κρήτου καὶ ὕδωρ ἐπιστάξασα δός πιεῖν . . .

Vgl. z. B. «*Cistellaria*» des Plautus:

V. 20 *Raro nimium dabat, quod biberem: atque id merum infuscabat . . .*

V. 122 *Quiaque adeo me complevi flore Libero . . .*

V. 149 (Auxilium charakterisiert die Kupplerin): *et multiloqua et multibiba est anus.*

¹⁴ I. M. TRONSKIJ: История античной литературы М., 1957, S. 397.

In der Komödie «*Curculio*» drückt die Alte übertreibend ihr Streben nach dem Wein aus (v. v. 96 ff.):

*Flos veteris vini meis naribus obiectus est.
Eius amor cupidam me huc prolicat per tenebras.
Ubi ubi est? Prope me est. Euax habeo. Salve, anime mi,
Liberi lepos. Ut veteris vetusti cupida sum!
Nam omnium unguentum odor prae tuo, nautea est.
Tu mihi stacte, tu cinnamonum, tu rosa,
Tu crocium et casia es, tu bdellium: nam ubi
Tu profusus, ibi ego me pervelim sepultam.*

Dieser Charakterzug der Kupplerin war so traditionell, dass Diabolus («*Asinaria*») in dem Kontrakt schrieb (v. 799): *Nec mater lena ad vinum accedat interim.*

H. Krakert vergleicht Antiphanos *Mystis* Fgm. 163, wo wir lesen:

A. σὺ δ' ἀλλὰ πῖθι. Γραῦς· τοῦτο μὲν σοι πείσομαι mit Herondas I, 81: τῆ, Γαλλί, πῖθι—δείξον.

H. Krakert berücksichtigte nicht, dass wir im weiteren Text des Antiphanes lesen: *ἐπαγωγὸν . . . τὸ σχῆμα πως τῆς κύλικός ἐστιν ἄξιόν τε τοῦ κλέους τοῦ τῆς ἐορτῆς.* Es ist nicht zu behaupten, dass die Alte in Antiphanes Fgm. 163 Kupplerin ist.

Man sieht an dem *Mimiambus*, dass Herondas diesen Charakterzug nicht in den Vordergrund rückte. Für ihn ist Gyllis eine arme Alte aus dem gemeinen Volk und wurde wie eine solche vom Dichter dargestellt.

Was *Metriche* anbelangt, möchten wir folgende Parallele ziehen:

v. 9 *τί σὺ θεὸς πρὸς ἀνθρώπους.*

In diesem Fall sagt *Metriche* ein berühmtes Sprichwort, das mit Sen. *Apocol.*¹³ zu vergleichen ist (*Quid di ad homines*)

v. 67: *Γυλλί τὰ λευκὰ τῶν τριχῶν ἀπαμβλύνει τὸν νοῦν*
Menander, *inc. fragm.* 639 *οὐ αἱ τρίχεις ποιοῦσιν αἱ λευκαὶ φρονεῖν*

Vgl. Plaut. *Mostell.* v. 1148:

Sapere istae aetate oportet, qui sis capite candido

v. 72: *καὶ τῆς θύρης τὸν οὐδὸν ἐχθρόν ἡγεῖσθαι*

Plaut. *Trucul.* v. 352:

*Num tibi nam amabo ianuast mordax mea
quo intrare metuas . . .*

2. Der im zweiten Mimiambus dargestellte Frauenwirt Battaros sticht im wesentlichen von dem traditionellen Typus des Frauenwirts in der Komödie ab. Dieser Unterschied tritt schon in seiner Kleidung in Erscheinung. Laut Bericht von Pollux (IV, 20) war ein Pornoboskos in der Komödie so gekleidet: *πορνοβοσκοὶ δὲ χιτῶνι βαπτῶ καὶ ἀνθίνῳ περιβολαίῳ ἤσθηται*. Ganz anders ist seine Kleidung im v. 22 des zweiten Mimiambus: *οἰκέω . . . τριβωνα καὶ ἀσκέρας σαρκᾶς ἔλκων*. In der griechischen und römischen Komödie und wahrscheinlich auch im Mimus ist er mit negativen Zügen ausgestattet. Er verachtet die Götter, seine Habsucht ist grenzenlos (Plaut. *Poen.* v. 449 ff), die Jünglinge misshandelten ihn mit Recht. Der Frauenwirt führt Klage über sein schlechtes Los und verflucht es. Z. B. Plaut. *Rudens* v. 1281: *Quis mest mortalis miserior qui vivat alter hodie*, oder bei Diphilos Frgm. 87: *οὐκ ἔστιν οὐδὲν τέχγιον ἐξολέστερον τοῦ πορνοβοσκοῦ*.

In den Komödien des Plautus und wahrscheinlich auch in der griechischen Komödie hat der Frauenwirt Angst, seinen Beleidiger beim Gericht anzuklagen. Der Frauenwirt war eine besonders beliebte Person in der griechischen Komödie; Philippidos, Poseidippos und Eubolos machten ihn zum Haupthelden. R. Herzog (a. a. O., S. 11) zeigte, dass alle Züge des Battaros in der griechischen Komödie schön vorgebildet waren. Ich bin mit dieser Behauptung nicht einverstanden, weil der Pornoboskos bei Herondas ganz anders als in der Komödie dargestellt wird. Er klagt sich wegen seines Berufs und er verklagt den Kaufmann Artimmas beim Gericht. Dies ist sehr wichtig, weil in der griechischen und römischen Komödie diese Motive nicht vorkommen, obwohl in dem Mimiambus die Parallelen mit der Komödie zu finden sind.

v. 9: *καὶ ζῶμεν οὐχ ὡς βουλόμεθ' ἀλλ' ὡς ἡμέας ὁ καιρὸς ἔλκει*

Menandr. *Monost.* 190: *ζῶμεν γὰρ οὐχ ὡς θέλομεν ἀλλ' ὡς δυνάμεθα*

Plat. *Hipp. mai.* p. 30 I: *τοιαῦτα τὰ ἡμέτερά ἐστιν, οὐχ οἷα βούλεται τις, φασίν, ἄνθρωποι ἐκάστοτε παροιμιαζόμενοι*

Terent. *Andr.* 805:

Ut quimus aiunt, quando ut volumus non licet.

v. 19: . . . *δωρεὴν γὰρ οὐθ' οὔτος πυροῦς [δίδωσ' ἀλή]θειν, οὔτ' ἐγὼ πάλιν κείνην*

Plaut. *Asin.* 200:

*Quom a pistore panem petimus, vinum ex oenopolio
Si aes habent, dant mercem, eadem nos disciplina utimur.*

v. 24 *βίη τιν' ἄξει τῶν ἐμῶν ἐμ' οὐ πείσας*

Plaut. *Rud.* 712: *meas mihi ancillas invito me eripis.*

v. v. 34—37:

οὐδείς πολίτης ἠλόησεν, οὐδ' ἦλθεν
 πρὸς τὰς θύρας μεν νυκτὸς οὐδ' ἔχων δᾶδας
 τὴν οἰκίην ὑφῆλθεν οὐδὲ τῶν πορνέων
 βίη λαβῶν οἴχωνκεν

Vgl. Terent. *Andr.* 88 sqq.: *fores ecfregit atque in aedis inruit alienas; ipsum dominum atque omnem familiam mulcavit usque ad mortem; eripuit mulierem, quam amabat.*

vgl. II, 79: ἐρᾶς σύ . . . Μυρτάλης . . . ἐγὼ δὲ πυρῶν . . .

v. 63: πύξ ἐπλήγην, ἡ θύρη κατήρακται.

Plaut. *Persa* 568: «*Venient ad te comissatum . . . illi noctu occentabunt ostium, exurent fores.*

Terent. *Adel.* 198:

*Domo me eripuit, verberavit, me invito abduxit meam
 homini misero plus quingentos colaphos infregit.*

Bezüglich dieser Verse bemerkt Donatus, dass Terenz hier Menanders Komödie wörtlich übersetzt hatte. Ähnlich war die Situation auch schon in der griechischen Komödie (Men. Ad. β' fr. 4 Koerte).

v. 81—83:

εἶ σεν θάλπεται τι τῶν ἔνδον
 ἔμβυσον εἰς τὴν χεῖρα Βαττάρῳ τιμῆν
 καὶ τός. τὰ σ' αὐτοῦ θλῆ λαβῶν ὄκως χροῖσεις.

Plaut. *Asin.* 193:

*Si mihi dantur duo talenta argenti numerata in manum
 Hanc tibi noctem honoris causa gratiis dono dabo.*

Ibid. 239:

*Ut voles, ut tibi lubebit, nobis legem inponito:
 Modo tecum una argentum afferto; facile patiar cetera.*

v. 89: . . . μούνον ἡ τιμῆ ἐν τῷ μέσῳ ἔστω.

Terent. *Adelph.* 206: «*Id quoque possum ferre, si modo (sc. nummos) reddat, quamquam iniuria est.*»

Der Ausruf des Battaros τὴν αὐτονομίην ὑμέων Θαλῆς λύσει (v. 27) ist mit den Worten des Frauenwirts Sanion (Terent. *Adelph.* v. 183) zu vergleichen: «*O hominem impurum! Hiccinne libertatem aiunt aequam esse omnibus?*»

Dieser Satz hat ein echt athenisches Kolorit. Im demokratischen Athen soll die bürgerliche Freiheit für alle dieselbe sein. Sehr bezeichnend dafür ist die Benennung *ισότης*. Eine ähnliche Sinnesabstufung hatten auch die weiteren Worte Sanions (v. 176): «*Regnumne, Aeschine, hic tu possides?*»

Die Anklage des Strebens nach Tyrannei ist für die attische Komödie durchaus typisch und es ist darum anzunehmen, dass auch dieser Satz aus Menanders Komödie entlehnt wurde.

v. 74: *κίναιδός εἰμι καὶ οὐκ ἀπαρνεῦμαι|καὶ Βάτταρός μοι τοῦνομ' ἐστὶ χῶ πάππος|
ἦν μοι Σισυμβροῦς χῶ πατήρ Σισυμβροῖσκος|κῆπορονοβόσκεν πάντες . . .*

Vgl. Aristoph. *Aves* v. 1451: *τὸ γένος οὐ καταισχνῶ παππῶς ὁ βίος σοκοφαντεῖν ἐστὶ μοι.*

Diese Stelle ist ein Gemeinplatz der Komödie. Ebenso rühmt sich der Parasit im Plautus «*Persa*» v. 53 ff. und der Frauenwirt in Terenz' *Adelphoe* v. 188.

Man sieht auch gleich, dass in unseren Beispielen nur die Situation dieselbe ist und nicht die einzelnen Ausdrücke. Dies zeigt, dass Herondas die Komödie gut kannte, seinen Gegenstand aber selbständig bearbeitete.

3. Die Figur des prügelfrohen Lehrers ist uns nur aus diesem Mimiambus bekannt. Natürlich erzählte man in der Komödie von der prügelreichen Erziehung, aber eine solche lebendige Darstellung gibt es nur hier. In den erhaltenen Fragmenten von Menanders Komödien findet man die folgenden Verse, gewiss Sprichwörter:

336: *μόχθος διδάσκει γράμματ' οὐ διδάσκαλος.*

359: *μέγ' ἐστὶ κέρδος ἦν διδάσκεσθαι μάθησ.*

663: *Βακτηρία γάρ ἐστι παιδεία βίον.*

836: *ὁ γραμμάτων ἄπειρος ὡς τυφλὸς βλέπει.*

Leider, kennt man nicht den Kontext, in dem diese Sprichwörter standen und man kann nur vermuten, dass Menander sich für die Erziehungsfrage interessierte. Auch sind die folgenden Vergleiche von besonderem Interesse:

v. 28: *αὐτὸν διδάσκω γραμμάτων δὲ παιδείην δοκεῦσ' ἄρωγόν τῆς ἀωρίας ἔξειν.*

vgl. Heliod. *Aeth.* I, 13: *οὐκ ἐπὶ τοιαύταις μὲν ἐλπίζω . . . τὸνδε ἀνέτρεφον, ἀλλὰ τοῦ γήρωσ τοῦ μοῦ βακτηρίαν ἔσεσθαι προσδοκῶν . . . καὶ πρώτα τῶν γραμμάτων διδαξάμενος.*

v. 66: *ἐγὼ σε θήσω κοσμιώτερον κούρης κινεῦσα μηδὲ κάρφος.*

Aristoph. *Lysistr.* 473.

ἐπεὶ θέλω ἴγω σωφρόνων ὥσπερ κόρη καθῆσθαι λυποῦσα μηδὲν ἔνθαδί, κινουσα μηδὲ κάρφος.

v. 89: ἀλλ' ἐστὶν ὑδρῆς ποικιλώτερος πολλῶ καὶ δεῖ λαβεῖν νιν κατὰ βιβλίῳ δῆκον
τὸ μηδέν, ἄλλαι εἴκοσιν γε.

Plaut. *Bacch.* 433—434:

*Quom librum legeres, si unam peccavisses syllabam
Fieret corium tam maculosum, quam est nutricis pallium.*

4. Was den vierten Mimiambus anbelangt, schreibt R. Herzog (a. a. O. S. 19): «Vorbilder für die naive Kunstbetrachtung seiner Frauen fand der Dichter in der ihm vertrauten Literatur. Schon Epicharm hatte in seinem Drama 'Die Festgäste' geschildert, wie Besucher der Pythien die Weihgeschenke im delphischen Heiligtum betrachten und ihre Bemerkungen darüber austauschen, was wohl den Euripides zu seiner Einlage im «*Ion*» (v. 184—237) angeregt hat, wo Besucherinnen Delphis sich auf die am Tempel angebrachten plastischen Darstellungen aufmerksam machen und den Tempelwart um Auskunft bitten.» Dieses Motiv hat Herondas gewiss nicht nur ausgenutzt, sondern auch erweitert. Sein Mimiambus ist ein Glied in dem Kampf um die realistische Kunst und diese Tatsache führt zu den Veränderungen in der Darstellung. Die Freundinnen besichtigen fleissig nicht nur die Weihgeschenke und die Werke von Apelles, sondern sie unterstreichen auch in jedem Fall die realistische Darstellung. Möglicherweise ist hier nur die Episode der Sklavin aus der Komödie entlehnt.

5. Die Darstellung einer Herrin, die ihren Sklaven haben möchte, hat keine Parallele in der Komödie,¹⁵ weil solche Verhältnisse laut ungeschriebenen Zensurgesetz ausgeschlossen waren (R. Herzog, a. a. O., S. 23.) Aber man findet auch hier einige Ausdrücke, die für die Komödie charakteristisch waren.

v. 6 kann man mit Xenoph. *Ephes.* II, 5 zu vergleichen. Dort liest man:
*Δέσποινα, ὅτι βούλει ποίει, καὶ χρῶ σώματι ὡς οἰκέτον καὶ εἴτε ἀποκτενεῖν
θέλεις ἔτοιμος, εἴτε βασανίζεις, ὅπως ἐθέλεις, βασανίζε· εἰς εὐνήν δὲ τὴν σὴν
οὔκ ἂν ἔλθοιμι, οὐδ' ἂν τοιαῦτα πεισθεῖην κελουούσι.*

v. 14: ἐγὼ αἰτή τοῦτων Vgl. Orig. *Philocal.* 35. *σε πτοτῶν φασκόντων τοῖς διὰ
τὴν χρησιμότητα καὶ μακροθυμίαν ἐπιτριβομένοις οἰκέτας τὸ ἐγὼ σε πονηρὸν
ἐποίησα, καὶ ἐγὼ σοι αἴτιος γέγονα τῶν τηλικούτων ἁμαρτημάτων.*

v. 15: ἐγῶμι, *Γάστρων, ἣ σε θεῖσα ἐν ἀνθρώποις.*

¹⁵ Es sei hier die interessante Arbeit von WILLIAMS (Towards the Recovery of a Prologue from Menander. *Hermes* 91 [1963] S. 295) erwähnt, in der dieser Mimiambus in Verbindung mit einem Kompositionsschema der antiken Komödie behandelt wird.

Dass diese Worte Bitinnas zu den oft gebrauchten Sprichwörtern gehören, zeigen folgende Sätze aus Petronius' Roman:

c. 39. *Patrono meo ossa bene quiescant, qui me hominem inter homines voluit, c. 57: homo inter homines sum.*

v. 26: ἄφες μοι τὴν ἁμαρτίην ταύτην. ἄνθρωπος εἰμι, ἥμαρτον.

Terent. *Eun.* 852: *unam hanc noxiam amitte, si aliam admisero umquam occidito.*

Menandr. *Phanion* 432 (Koerte): ἄνθρωπος ὦν ἥμαρτον, οὐ θαναμαστέον

Vgl. Petronius c. 75: *nemo non peccat, homines sumus, non dei.*

c. 130: *fateor me, domina, saepe peccasse: homo sum et adhuc iuvenis.*

6. Das Gespräch zwischen zwei Freundinnen war für die Komödie typisch. Dafür ist ein Dialog in Oxyrrhynchus Papyri II N 212 bezeichnend. Es geht hier um die Benutzung eines Baubons, der ganz anders als im sechsten Mimiambus eingeschätzt wird.

v. 4: μᾶ λίθος τις οὐ δούλη

Aristoph. *Nub.* 1201: τί κάθησθ' ἀβέλτεροι — λίθοι . . .

v. 5: ἀλλὰ τᾶλφτιτ' μετρέω τὰ κριμν' ἀμιθρεῖς κῆν τοσοῦτ' ἀποστάξῃ τὴν ἡμέρην ὄλην σε τονθορούζουσας καὶ προημονῶσας οὐ φέρονσιν οἱ τοῖχοι . . .

Plaut. *Stich.* 60:

*Vos meministis quot calendis petere demensum cibum
Qui minus meministis, quod opus sit facto facere in aedibus.*

v. 11: φίλη Κοριττοῦ, ταῦτό μοι ζυγόν τρίβεις

fragm. adesp. 524: ἐγώ τε καὶ σὺ ταῦτὸν ἔλκομεν ζυγόν

v. 60: οὐδ' ἂν σῦκον εἰκάσαι σύκω ἔχοις ἂν οὕτω

fragm. adesp. 189: σύκω μὰ τὴν Δήμητρα σῦκον οὐδὲ ἐν οὕτως ὅμοιον γέγονεν.

Es scheint, dass wir keine solche Parallele zu dem siebten Mimiambus haben, obwohl eine Komödie des Eubulos Σκντεύς bekannt ist.¹⁶ Es ist interessant, dass man hier überraschende Parallele mit den «Charakteren» des Theophrast finden kann und zwar Theophr. XV, 4: καὶ πωλῶν τι μὴ λέγειν τοῖς ὠνούμενοις, πόσου ἂν ἀποδοῖτο, ἀλλ' ἐρωτᾶν τί εὐρίσκει.

¹⁶ O. HENSE: Ein Vorbild des Herondas. *RhM* 50 (1895) S. 140.

Herond. VII, 67—68:

αὐτὴ σὺ καὶ τίμησον, εἰ θέλεις αὐτὸ
καὶ στῆσον ἧς κοτ' ἐστὶν ἄξιον τιμῆς

Theophr. II καὶ συνωγούμενος ἐπικρηπίδας πόδα φῆσαι εἶναι εὐροθμόθηρον τοῦ
ὑποδήματος

ist zu vergleichen mit Herondas VII, 93—96:

οὐ σοι δίδωσιν ἡ ἀγαθὴ Τύχη, Κέρδων
παῦσαι ποδίσκων ὣν Πόθοι τε κῆρωτες ψάουσιν . . .

Was besagen diese Parallelen? J. M. Tronskij (a. W., S. 228) behauptet, dass Herondas, wie auch Theophrast, das dargestellte niedrige Milieu mit Verachtung beobachtet habe. Es wäre darum möglich, dass Theophrast auf Herondas einen gewissen Einfluss ausgeübt hätte. Aber es gibt viele Beispiele des Zusammenfallens der Fragmente der griechischen Komödie mit Theophrasts «Charakteren». Darum dürfte man vermuten, dass Theophrast bei dem Verfassen seines Werkes die Komödientypen ausgenutzt hatte. Die oben angeführten Beispiele weisen nur auf die gemeinsame Quelle der beiden Autoren — die attische Komödie hin.

3. HERONDAS UND DIE ATTISCHEN GERICHTSREDEN

Zu den beliebtesten Motiven der Komödie gehörten die Gerichtsszenen. Die Gerichtsszenen dienten in der Komödie zur Parodierung, und man erwartet, dass der Parodierung auch bei Herondas eine wichtige Rolle zufällt. A. Körte glaubte, dass die Battaros' Rede eine launige Parodie der Gerichtsrede sei.¹⁷ Einer entgegengesetzten Meinung war P. Händel. Er schrieb: «Herondas hat mit dieser Gerichtsrede keine Parodie etwa der attischen Kunstrede geben wollen . . . Die Rede soll nicht das Verhalten von Gerichten im Typischen kritisieren, sondern zu unseren Vergnügen zeigen, wessen ein talentiertes Individuum unter besonders amüsanten Umständen fähig ist.»¹⁸ Battaros' Rede ist nach allen Regeln raffinierter Technik aufgebaut und man findet darin verschiedene Mittel, die zum *τόπος* der attischen Gerichtsrede gehörten. Wir möchten den Anfang des zweiten Mimiambus *τῆς γενῆς μὲν οὐκ ἐστὲ ἡμέων κριταὶ δήκουθεν οὐδὲ τῆς δόξης οὐδ' εἰ Θαλῆς μὲν οὗτος ἀξίην τὴν νηῶν ἔχει ταλάντων πέντ', ἐγὼ δὲ μηδ' ἄρτους, ἀλλ' εἰ ὑπερέξει Βάτταρόν τι πημίγρας* mit Isocr. in Lochit. 13 (p. 398d) vergleichen: *καὶ μηδεὶς ὑμῶν εἰς τοῦτ' ἀποβλέψας ὅτι πένης εἰμι καὶ τοῦ πλήθους εἰς ἀξιούτω τοῦ τιμήματος ἀφαιρεῖν οὐ γὰρ δίκαιον*

¹⁷ A. KÖRTE: Die hellenistische Dichtung, L., 1925, S. 278.

¹⁸ Die hellenistische Dichtung von A. KÖRTE, zweite vollständig neu bearbeitete Auflage von P. HÄNDEL, Stuttgart, 1960, S. 294; vgl. R. HERZOG: a. a. O., S. 10.

ἐλάττους ποιῆσθαι τὰς τιμωρίας ὑπὲρ τῶν ἀδόξων ἢ τῶν διωνομασμένων, οὐδὲ χείρους ἡγεῖσθαι τοὺς πενομένους ἢ τοὺς πολλὰ κεκτημένους. Oben haben wir auf manche Parallelen zu v. 8 hingewiesen, die in der Komödie zu finden sind. Dasselbe Sprichwort haben die Redner benutzt und zwar: Demosth. in Eubul. (LVII), 31 ζῆν οὐχ ὄντινα τρόπον βουλόμεσθα; de corona (18), 239 οὐχ ὅσ' ἐβουλόμεθα ἀλλ' ὅσα δοίη τὰ πράγματ' ἔδει δέχεσθαι.

Battaros weiss seine elende kleine Sache zu vergrössern, wie der raffinierteste attische Rechtsanwalt. Bleibt dem Täter seine Missetat ungestraft, so wird ein Präzedenzfall geschaffen, der alles als möglich erscheinen lässt. Freiheit und Gerechtigkeit der Stadt stehen auf dem Spiel. So machte auch Demosthenes, *contra Polycl.* οὐ γὰρ ἐμὸς καὶ Πολυκλέους ἰδίος ἐστὶν ὁ ἀγὼν μόνον, ἀλλὰ καὶ τῆς πόλεως κοινός 66. εἶ δ' ἴστε, ὅτι οὐ περὶ τῶν ἐμῶν ἰδίων μᾶλλον τι μωρήσεσθε Πολυκλέα ἢ οὐχ ὑπὲρ ὑμῶν αὐτῶν.

Der Hinweis auf die niedrige gesellschaftliche Abstammung des Gegners gehört auch zu den weit und breit gebrauchten Mitteln der attischen Gerichtsrede. Diesen Kunstgriff hat z. B. Demosthenes in der Kranzrede gegen Aeschines (c. 130) benutzt: χθὲς μὲν οὖν καὶ πρόωιη ἄμ' Ἀθηναῖος καὶ ῥήτωρ γέγονεν καὶ δύο συλλαβὰς προσθεὶς τὸν μὲν πατέρα ἀντὶ Τρόμητος ἐποίησεν Ἀτρόμητον τὴν δὲ μητέρα σεμνῶς πάντῃ Γλαυκοθέαν, ἣν Ἔμπουσαν ἅπαντες ἴσασι καλουμένην.¹⁹ So macht auch Battaros, als er in v. 37 sagt: 37 f: ἀλλ' ὁ Φρόξ οὗτος, ὁ νῦν Θαλῆς ἐὼν, πρόσθε, ἄνδρες, Ἀρτίμης. Eine solche Situation, wie in v. 65, kommt auch in der berühmten Verteidigungsrede des Hypereides für die Hetäre Phryne vor (Athen. XIII, p. 590c). Weitere Battaros' Worte ὃ θ' εἴλκεν αὐτὴν κἀβιάζειτ' vergleicht man mit Demosth. *contra Meid.* (XXI), 15: τὸ τῆς φύσεως ἀληθῶς βάρβαρον καὶ θεοῖς ἐχθρὸν ἔλκει καὶ βιάζεται. Der Ausruf des Battaros (v. 90): ταῦτα τρυτάνη Μένως οὐκ ἂν δικάζων βέλτιον διήτησε ist sehr interessant. Die Beziehung des Frauenwirts zu Minos in der Unterwelt war für den Leser pikant, weil dieser dort mit Hurenwirten und ähnlichen wenig Federlesens machte. Wenigstens lässt Lukian den Menippos so berichten (*Nekyom.* 11). Es ist mit folgender Stelle Demosth., *de cor.*, c. 127 zu vergleichen, wo dieser sagt: εἰ γὰρ Αἰακὸς ἢ Ῥαδάμανθος ἢ Μίνως ἦν ὁ κατηγορῶν οὐκ ἂν αὐτὸν οἶμαι ταῦτ' εἰπεῖν.

Das Ende der Battaros' Rede (v. 92 ff.):

τὸ λοιπὸν ἄνδρες, μὴ δοκεῖτε τὴν ψῆφον
τῷ πορνοβοσκῷ Βαττάρῳ φέρειν, ἀλλὰ
ἅπασι τοῖς οἰκεῦσι τὴν πόλιν ξείνοις.

ist mit Demosth. *contra Meid.* 30, Isocr. XX, 21 zu vergleichen, weil die allgemeine Bedeutung des zu fällenden Urteils auch ein beliebter Gemeinplatz ist.

¹⁹ Vgl. Luc. *Peregr.* I Ὁ κακοδαίμων Περειγρῖνος ἢ ὡς αὐτὸς ἔχαιρεν ὀνομάζων ἑαυτὸν Πρωτεύς. Vgl. Athen. IV, p. 160d.

Es ist im Vorausgehenden eine Anzahl von Berührungspunkten mit den Topen attischer Redner aufgezeigt worden. Aber man wird aus solchen Anklängen auch nicht zu viel folgern dürfen.²⁰

Auf Grund des Vergleichs der Komödie und der Mimiamben könnte man behaupten, dass Herondas die griechische Komödie gut kannte und sie in seinen Werken ausgenutzt hat. Diese Ausnutzung zeigt sich im Gebrauch der für die Komödie typischen Ausdrücke und Situationen, die jeweils unter den eigenartigen Umständen am Platz sind. Obwohl der Dichter verschiedene Mittel, die der Komödie zur Verfügung standen, anwendet, sind seine Werke dennoch originell.

²⁰ O. HENSE: Zum zweiten Mimiambus des Herondas. *RhM* 55 (1900), S. 141.

ZU DEN GRIECHISCHEN INSCHRIFTEN DES AŚOKA

I

Unter den Neufunden der letzten Jahre auf dem Gebiet der griechischen Epigraphik nehmen die griechischen Inschriften des Aśoka eine besondere Stellung ein. Wenn schon die 1958 in Kandahar gefundene griechisch—aramäische Bilinguis des Aśoka in der wissenschaftlichen Forschung ein lebhaftes Interesse erregte,¹ so wurde jetzt die Bedeutung dieser Inschrift durch das Auffinden eines grösseren Fragmentes von der griechischen Version der Felsenedikte noch mehr erhöht. Letztere Inschrift hat ein deutscher Arzt, Dr. W.S. Seyring im Jahre 1963 in Kandahar entdeckt und gekauft und später, 1964, dem Museum von Kabul geschenkt. So wurde dieser wertvolle Fund der wissenschaftlichen Forschung zugänglich und von D. Schlumberger auf mustergültige Weise ohne Verzug schon am 22. Mai 1964 mit einigen Bemerkungen anderer französischer Forscher zusammen veröffentlicht.²

Die neugefundene griechische Inschrift wurde in eine verhältnismässig dünne, nur 12—13 cm starke Steinplatte eingemeisselt und stellt offenbar eine Wandinschrift dar. Da der aufgefundene Block den grösseren Teil des zwölften und den Anfang des dreizehnten Felsenediktes enthält, hat Schlumberger die naheliegende Vermutung geäussert, dass die ganze Inschrift aus mehreren Blöcken bestand, die eine vollständige griechische und vielleicht auch aramäische Version der Felsenedikte enthielten und die durch künftige Ausgrabungen einmal vielleicht noch entdeckt werden können.³

Diese Inschriften stellen die östlichsten Vertreter der griechischen Schriftlichkeit dar und bedeuten eine unschätzbare Quelle für die Geschichte

¹ Vgl. G. PUGLIESE CARRATELLI—G. LEVI DELLA VIDA: Un editto bilingue greco—aramaico di Aśoka. *SOR XXI*. Roma 1958; D. SCHLUMBERGER—L. ROBERT—A. DUPONT-SOMMER—E. BENVENISTE: *JA* 246 (1958) 1—48; F. ALTHEIM—R. STIEHL: *EaW* 9 (1958) 192—198; F. ZÜCKER: *Acta Ant. Hung.* 7 (1959) 103—106; F. ALTHEIM—R. STIEHL: *Acta Ant. Hung.* 7 (1959) 107—116 und 123—126, ferner *EaW* 10 (1959) 243—260, *Geschichte der Hunnen*. I. Berlin 1959. 397—408, 431, II. Berlin 1960. 167—177 und *Die aramäische Sprache unter den Achämeniden*. Frankfurt am Main 1963. 21—32.

² D. SCHLUMBERGER: *Une nouvelle inscription grecque d'Aśoka*. Paris 1964. 1—14. Für die Zusendung dieser Arbeit möchte ich Herrn D. SCHLUMBERGER auch an dieser Stelle meinen herzlichsten Dank aussprechen.

³ SCHLUMBERGER: *a. W.* 8—9.

und Kultur des Griechentums in Baktrien und Indien. Durch diese einzig dastehenden griechischen Texte werden jetzt viele alte Probleme gelöst, aber zugleich auch manche neue Fragen gestellt, die noch der Untersuchung harren.

II

Von den alten Problemen ist in erster Linie die Frage nach der Herkunft des baktrischen und indischen Griechentums hervorzuheben. Noch unlängst vor der Veröffentlichung der griechisch—aramäischen Bilinguis von Kandahar versuchte A. K. Narain den Nachweis zu erbringen, dass die griechische Bevölkerung von Nord-Indien und Baktrien — die Yavanas der Sanskritliteratur — nicht durch die Kolonisationstätigkeit Alexanders des Grossen und seiner Nachfolger dort angesiedelt, sondern noch in vorhellenistischer Zeit nach Indien verpflanzt wurde. In seiner Beweisführung stützte sich Narain einerseits auf die Erzählungen des Arrianos über die Feldzüge des Dionysos und Herakles nach Indien, andererseits auf die Nachrichten des Herodot und Strabon über die Umsiedlung der Barkäer und der Branchidai nach Baktrien bzw. nach Sogdien in achämenidischer Zeit.⁴

Während die mythischen Erzählungen über die Feldzüge des Dionysos und Herakles wohl besser ausser acht zu lassen sind, da sie ihre Existenz teils einer *interpretatio Graeca* der indischen Götter Śiva und Kṛṣṇa, teils den Bestrebungen der Alexanderhistoriker, mythische Vorläufer für Alexander den Grossen auf dem Gebiet Baktriens und Indiens zu finden,⁵ verdanken, spiegeln die Nachrichten des Herodot und Strabon offenbar geschichtliche Tatsachen wider. Es lässt sich auf diese Weise die Existenz einiger griechischen Siedlungen schon in vorhellenistischer Zeit annehmen. Aber diese von Indien ziemlich weitliegenden und isolierten griechischen Bevölkerunginseln sind mit den Yavanas der Sanskritliteratur kaum in Zusammenhang zu bringen. Es ist auch sehr zweifelhaft, ob sie selbst in Baktrien einen beträchtlicheren Bestandteil der griechischen Bevölkerung des hellenistischen Zeitalters bedeuten konnten.

Eine klare Entscheidung dieser Frage wird jetzt durch die griechischen Inschriften des Aśoka ermöglicht. L. Robert hat schon in der Veröffentlichung der griechisch—aramäischen Bilinguis darauf hingewiesen, dass der griechische Übersetzer für die Proklamation des indischen Königs den Wortschatz der hellenistischen Philosophie gebraucht hatte.⁶ Die Sprache der Inschrift spiegelt auf diese Weise die hellenistische Entwicklung wider. Dieselbe Erscheinung liess sich auch im Falle der neugefundenen Inschrift beobachten.⁷ Es handelt sich also nicht um einen seit mehr als zwei Jahrhunderten isolierten griechischen

⁴ A. K. NARAIN: *The Indo-Greeks*. Oxford 1957. 1—6.

⁵ Vgl. F. SCHACHERMEYR: *Alexander der Grosse*. Graz—Salzburg—Wien 1949. 335 ff.

⁶ L. ROBERT: *JA* 246 (1948) 13.

⁷ L. ROBERT bei D. SCHLUMBERGER: *Une nouvelle inscription grecque d'Açoka*. 9 ff.

Dialekt, wie man es erwarten könnte, wenn die griechische Bevölkerung Baktriens und Nord-Indiens vorhellenistischer Herkunft wäre, sondern um die lebendige, zeitgemässe, hellenistische Gemeinsprache, deren Gebrauch in diesen Gebieten nur in dem Falle vorstellbar ist, wenn sie von einer neueingewanderten griechischen Schicht mitgebracht wurde.

Die Zeugnisse des Stils und des Wortschatzes werden auch durch einige lautgeschichtlichen Beobachtungen bekräftigt. Von diesen sind zuerst die itazistischen Schreibungen *δειαμείνωσιν* und *ἡγεινται* statt *διαμείνωσιν* und *ἡγηνται* zu erwähnen. Interessant sind und einer Erklärung bedürfen auch die Formen *γλώσης*, *διαπράτονται*, *σύνταξις* und *κατέστρεπται*.

Von diesen zeigt *γλώσης* die Vereinfachung der Geminata -σσ-, aber sonst vertritt sie — gegenüber der attischen Form *γλώττα* — die in der Koine regelmässige ionische Form *γλώσσα*. Die Kürzung der langen Konsonanten vollzog sich im Griechischen während des III. Jh. vor u. Z.⁸ und die Schreibung der Geminaten bedeutet von dieser Zeit an in den meisten Fällen wahrscheinlich nur noch eine historische Orthographie. Diese Erscheinung zeigt wieder anschaulich den engen sprachlichen Zusammenhang der Asoka-Inschriften mit der allgemeinen Entwicklung der hellenistischen Gemeinsprache.

Ähnlich ist wohl auch die Form *διαπράτονται* zu erklären, aber im Zusammenhang mit dieser stellt sich noch eine weitere Frage. Dasselbe Verb kommt in der Inschrift in Zeile 20/21 nochmals, aber diesmal in der Form *διαπρασσομένων* vor. Die regelmässige Koine-Form wird — gegenüber der attischen *διαπράττω* und der ionischen *διαπρήσσω* — gerade durch die letztere Form, d. h. *διαπράσσω* vertreten. So steht die interessante Erscheinung vor uns, dass in der Inschrift einmal die richtige Koine-Form, das andere Mal jedoch die attische Form desselben Verbs gebraucht wird. Dieser sprachliche Befund liesse sich vielleicht so interpretieren, dass — obwohl der Übersetzer die korrekte Koine-Sprachform angestrebt hatte — einige attische Formen in seinem Text trotzdem dargeblieben sind. Es scheint indessen eine andere Erklärung dieser Erscheinung besser gerecht zu werden. Die zwei Formen verteilen sich in der Inschrift auf die Weise, dass die attische Form *διαπράτονται* in der Übersetzung des 12. Felsenediktes, die richtige Koine-Form *διαπρασσομένων* dagegen in der Bearbeitung des 13. Felsenediktes gebraucht wird. Es liegt nahe anzunehmen, dass in diesem zweiten Teil der Inschrift eine stärkere Neigung für den Gebrauch von Koine-Formen vorliegt.

In demselben Teil der Inschrift in Zeile 22 kommt die Verbalform *κατέστρεπται* vor, die Schlumberger für einen Steinmetzfehler hält und zu *κατέστραπται* verbessert.⁹ Die Form *κατέστρεπται* ist jedoch anders zu beur-

⁸ E. SCHWYZER: Griechische Grammatik. I. München 1934. 392; A. DEBRUNNER: Geschichte der griechischen Sprache. II. Berlin 1954. 105; W. BRANDENSTEIN: Griechische Sprachwissenschaft. I. Berlin 1954. 38 f.

⁹ SCHLUMBERGER: a. W. 6.

teilen. In dieser Verbalform steht ein interessanter Fall von «Hyperkoinismus» vor uns. Die richtige Sprachform war *κατέστραπται*, aber in der Kenntnis dialektischer Entsprechungen, wie sie z. B. zwischen der dorischen Form *ἔστράφθην* und der attischen *ἔστρέφθην* bestehen, hatte man die Verbalform *κατέστραπται* zu *κατέστρεπται* «koinisiert». Gerade bei demselben Verb *στρέφω* liegt ein ähnlicher Fall von «Hyperkoinismus» in der Form *ἀεστρέφησαν* für die sprachgeschichtlich richtige *ἀεστράφησαν* (SIG³ Nr. 932, 6) vor.¹⁰

Es lässt sich auf diese Weise feststellen, dass im zweiten Teil der Inschrift ein bewusstes Bestreben nach Koine-Sprachformen vorhanden ist. Daraus folgt, dass der in bezug auf den Gebrauch von attischen und Koine-Formen entstandene Gegensatz zwischen dem ersten und dem zweiten Teil der Inschrift kein Zufall sein kann. Da der Gebrauch von ausgeprägt attischen Formen statt der üblichen Koine-Formen — wie A. Debrunner in Zusammenhang mit der attischen Verbalform *γίγνομαι* treffend bemerkte¹¹ — in der Koine immer ein Zeichen des Anspruchs auf Bildung darstellt, so lässt sich der Gebrauch der attischen Form *διαπράττονται* im ersten Teil der Inschrift als Ausdruck eines bewussten Strebens nach gebildetem, literarischem Stil bewerten. Demgegenüber weisen die korrekten Koine-Formen und der «Hyperkoinismus» im zweiten Teil auf den bewussten Gebrauch der Gemeinsprache hin. Da so eine gegensätzliche Stilabsicht bei einem Verfasser innerhalb eines gleichartigen Textes wohl kaum anzunehmen ist, liegt es nahe daran zu denken, dass die Übersetzungen der 12. und 13. Felsenedikte von zwei verschiedenen Übersetzern verfertigt wurden. Diese Folgerung steht im besten Einklang mit der Vermutung von L. Robert, der auf Grund seines allgemeinen Stileindrucks (der erste Teil stellt nach ihm «bon style philosophique» dar, während im zweiten «tout est abrupt et en asyndètes») für die Zeilen 1–11 und 12–22 gleicherweise verschiedene Redaktoren angenommen hat.¹²

In diesem Zusammenhang ist noch die Form *σύνταξις* zu besprechen. Dieses Wort kommt in dem Ausdruck *σπουδῆν τε καὶ σύνταξιν πεποιήται περὶ εὐσεβείας* (Zeilen 15–16) vor. L. Robert hat mit feinem Sprachgefühl erkannt, dass das Wort *σύνταξις* in diesem Textzusammenhang und in dieser syntaktischer Struktur kaum richtig sein kann. In Betracht kommt wohl nur *σύντασις* 'Anstrengung, Bemühung', ein Synonym von *σπουδή*, mit der zusammen dieses Wort — wie Robert darauf hingewiesen hat — auch in Platons Symposium vorkommt.¹³ Es stellt sich nun die Frage, warum in der Inschrift statt *σύντασις* die Form *σύνταξις* gebraucht wurde. Ein einfacher Steinmetzfehler lässt sich in Anbetracht der scharf abweichenden Buchstabenformen wohl kaum annehmen. Die Erklärung des Gebrauchs der Form *σύντα-*

¹⁰ Vgl. DEBRUNNER: a. W. 49.

¹¹ DEBRUNNER: a. W. 65.

¹² ROBERT bei D. SCHLUMBERGER: Une nouvelle inscription grecque d'Açoka. 13.

¹³ ROBERT: a. W. 12.

ξις statt σύντασις ergibt sich vielmehr aus der griechischen Sprachentwicklung. Die Lautverbindung *-ks-* wurde an verschiedenen Punkten des griechischen Sprachgebiets zu *-ss-* > *-s-*,¹⁴ aber die Orthographie der diese Konsonanten-Gruppe enthaltenden Wörter blieb unverändert. Im Falle solcher Wörter, die — wie gerade σύνταξις und σύντασις — in Folge dieses Lautwandels lautlich zusammengefallen sind, entstand dadurch die Möglichkeit einer Inversschreibung. Es liegt wohl nahe anzunehmen, dass sich der Lautwandel *-ks-* > *-ss-* > *-s-* auch im griechischen Dialekt von Baktrien vollzogen hat und dass auf diese Weise hinter der Inversschreibung σύνταξις gerade das von Robert geforderte Wort σύντασις stecken kann.

Trifft diese Annahme zu, so eröffnet sich für den späteren Gebrauch des griechischen Alphabets in Baktrien eine interessante Perspektive. Wie bekannt, wurde später das griechische Alphabet auch für die Schreibung der iranischen Sprache Baktriens angewendet. Aber es ist sehr auffallend, dass das Schriftzeichen ξ für die Schreibung des Baktrischen nicht gebraucht wurde, obwohl eine Lautgruppe χš in dieser Sprache vorhanden und der Buchstabe ξ schon seit Jahrhunderten gerade für die Bezeichnung dieser iranischen Konsonantenverbindung (z. B. in den Namen Xerxes, Artaxerxes usw.) gebräuchlich war. Nimmt man jedoch an, dass dieses Schriftzeichen in Baktrien schon seit dem III. Jh. vor u. Z. den Lautwert *ss* oder *s* hatte, so wird es sofort verständlich, warum der Buchstabe ξ im baktrischen Alphabet aufgegeben und durch die neue Buchstabenverbindung *XP* ersetzt wurde.

Auf Grund dieser Beobachtungen lässt sich wohl feststellen, dass die Sprache der griechischen Inschriften des Asoka mit der Entwicklung der hellenistischen Gemeinsprache organisch zusammenhängt und auf diese Weise ein klares Zeugnis für die Ansiedlung der Griechen Baktriens und Nord-Indiens durch Alexander den Grossen und seine unmittelbaren Nachfolger ablegt.

III

Von den neuen Problemen, die durch die griechischen Inschriften des Asoka gestellt wurden, sind in erster Linie die folgenden hervorzuheben: 1. das Problem der Vorlage der griechischen und aramäischen Versionen, 2. die Interpretation der Inschriften durch die gegenseitige Hilfe der verschiedenen Versionen, 3. die Beziehungen zwischen der griechischen Philosophie und philosophischen Terminologie einerseits und den griechischen Inschriften des Asoka andererseits. Dass man in bezug auf diese Probleme bisher nur verhältnismässig bescheidene Ergebnisse aufweisen konnte, hängt wohl mit den grossen Schwierigkeiten zusammen, welche die Untersuchung der in

¹⁴ Vgl. SCHWYZER: a. W. 211; BRANDENSTEIN: a. W. 41, 44.

drei verschiedenen Sprachen abgefassten Inschriften den Forschern ob Gräzisten, ob Iranisten oder Indologen bereitet.¹⁵

Von diesen Problemen soll diesmal das erste behandelt werden. In bezug auf diese Frage hat L. Robert die Meinung geäußert, dass keine genaue indische Vorlage für die griechische und die aramäische Version zu suchen sei, sondern beide Redaktionen unabhängig voneinander über ein bestimmtes Thema frei ausgearbeitet worden seien.¹⁶ Demgegenüber vertrat A. Dupont-Sommer die Auffassung, dass beide Versionen voneinander unabhängige Bearbeitungen desselben indischen Textes darstellen, obwohl die aramäische Inschrift der Vorlage viel näher stehe.¹⁷ Was ferner das indische Original betrifft, hat L. Alsdorf den Gedanken ausgesprochen, dass es im Ostprakrit der Patnaer Kanzlei abgefasst war,¹⁸ während zuletzt L. Renou ein aus der Kanzlei des Aśoka stammendes Sanskritoriginal annahm.¹⁹ Eine besondere Rolle spielte in dieser Frage die Namensform des Aśoka: *Piodasses* in der griechischen und *pydrś* (etwa **Piryadaraś*) in der aramäischen Version. E. Benveniste glaubte aus der Abweichung der Namensformen den Schluss ziehen zu können, dass die griechische und die aramäische Version voneinander unabhängig sind.²⁰ Dagegen sah Alsdorf die Namensform *Piodasses* als ein entscheidendes Argument für die gemeinsame ostprakitische Vorlage beider Versionen an.²¹

Für die Lösung dieser schwierigen Frage wäre eine sorgfältige neue Bearbeitung und ein genauer Vergleich beider Versionen und der Felsenedikte wohl unumgänglich, die aber in diesem Rahmen nicht gegeben werden können. So muss die Behandlung des Problems auf einige kurze Andeutungen beschränkt werden. Die Annahme eines Sanskritoriginals steht in scharfem Gegensatz zu allem, was über die Kanzlei Praxis des Aśoka bekannt ist. So muss diese Theorie schon von vornherein ausscheiden. Aber auch die Namensformen *Piodasses* und *pydrś* fallen als Argumente für verschiedene Theorien weg. Es lässt sich kaum bezweifeln, dass die Griechen Nord-West-Indiens mit dem Königshof der Maurya-Herrscher in unmittelbarem Kontakt gestanden hatten und dass sie auf diese Weise die ostprakitische Form *Piyadassi*, wie sie in der Hauptstadt gebräuchlich war, kennenlernen konnten. Demgegenüber war das Aramäische in Nord-West-Indien — wie Alsdorf richtig betont hat²² — nur eine Kanzleisprache. So muss die in der aramäischen Version gebrauchte Namensform *pydrś* offenbar aus einer schriftlichen Quelle stammen. Aber die griechische Version kann nicht als Quelle der aramäischen in

¹⁵ Infolge dieses Umstandes erwies sich die Zusammenarbeit von verschiedenen Fachleuten beim Studium dieser Inschriften als notwendig.

¹⁶ ROBERT: JA 246 (1958) 18.

¹⁷ DUPONT-SOMMER: JA 246 (1958) 34.

¹⁸ L. ALSDORF: Zu den Aśoka-Inschriften. Indologen-Tagung 1959. Göttingen 1960. 63. (Eine der besten Arbeiten zum Problem der Bilinguis von Kandahar!)

¹⁹ L. RENOU bei D. SCHLUMBERGER: Une nouvelle inscription grecque d'Açoka. 9.

²⁰ E. BENVENISTE: JA 246 (1958) 37.

²¹ ALSDORF: a. a. O.

²² ALSDORF: a. W. 62.

Anspruch genommen werden, da sie die Namensform *Piodasses* gebraucht. Daraus folgt zugleich, dass die aramäische Version von der griechischen unabhängig sein muss.

Da die griechische Version als Grundlage der aramäischen ausscheidet, bleibt wohl nur noch eine Möglichkeit übrig: die Vorlage der aramäischen Version war ein in Prakrit abgefasstes Dokument. Aber dieses Prakritoriginal konnte keineswegs in Ostprakrit abgefasst sein. Die Namensform *prydrś* und die prakritischen Elemente in der aramäischen Inschrift von Pul-i Daruntah weisen eindeutig auf eine nordwestprakritische Vorlage. Dieses Ergebnis wird auch durch die neugefundene griechische Version der Felsenedikte bekräftigt, insofern in ihrem Text die Wortformen *βραμηναι* ('Brahmanen') und *σραμηναι* ('buddhistische Mönche') ebenfalls den nordwestprakritischen Formen *bramaṇa* und *śramaṇa* der Inschrift von Shahbazgarhi entsprechen.

Diese Beobachtungen sprechen eindeutig dafür, dass die Vorlage der aramäischen Version in Nordwestprakrit abgefasst war, und dass die aramäische Inschrift eine von der griechischen unabhängige Version darstellt. Aber angesichts der übereinstimmenden inhaltlichen und syntaktischen Gliederung beider Inschriften scheidet der Gedanke, dass die griechische und die aramäische Version unabhängig voneinander über ein vorgeschriebenes Thema frei abgefasst wurden, gleichfalls aus. Danach bleiben nur noch zwei Möglichkeiten übrig: entweder war die griechische Version auf der Grundlage der gleichen nordwestprakritischen Vorlage unabhängig von der aramäischen verfasst oder die aramäische Version stellt die Vorlage der griechischen dar.

Da das indische Original der aramäischen Version der Bilinguis von Kandahar unbekannt ist, kann die Wahl zwischen diesen zwei Möglichkeiten nur durch einen sorgfältigen Vergleich der aramäischen und griechischen Versionen getroffen werden. Der Anfang der aramäischen Inschrift lässt sich folgendermassen interpretieren:

1 *šnn X ptytw 'byd zy mr'n prydrś mlk' qšyt' mhqšt*

«Nach zehn Jahren wurde Bekehrung²³ gemacht, indem unser Herr, der König Priyadarśi Frömmigkeit übte.»

Die griechische Version beginnt folgendermassen:

- 1 δέκα ἐτῶν πληρη^Γθ^Γ[έ]^Γντων^Γ βασιλευς
- 2 Πιοδάσσης εὐσέβεια[ν] ἔδειξεν τοῖς ἀν-
- 3 θρώποις

«Nach Verlauf von zehn Jahren zeigte König
Piodasses Frömmigkeit den Menschen.»

²³ Das Wort *ptytw* stellt die aramäische Wiedergabe eines iranischen Ausdrucks **paīθva-* 'Herantreten, Einsicht, Bekehrung' (vgl. sanskr. *paīṭi-* 'Herantreten, Einsicht, Glaube') dar, der der Wendung *ayāya sambodhiṃ* im VIII. Felsenedikt entspricht. Auf eine ausführliche Interpretation der Textstelle möchte ich in anderem Zusammenhang noch zurückkommen.

Wie man sieht, stimmt die griechische Version mit der aramäischen ziemlich genau überein, aber sie lässt den offenbar unverständenen Ausdruck *ptylw 'byd* «Bekehrung wurde gemacht» weg und fügt «den Menschen» hinzu, einen Ausdruck, der an anderer Stelle auch in der aramäischen Version vorkommt. Dann setzt der aramäische Text folgendermassen fort:

2 *mn 'dyn z'yr mr' klhm 'nšn wklhm 'dwsy' hwbd*
 «Seitdem hat er die Bosheit aller Menschen vermindert
 und alle Feindseligen²⁴ beseitigt.»

Die griechische Version zieht die zwei Sätze in einen zusammen:

3 *καὶ ἀπὸ τούτου ἐδσεβεστέρους*
 4 *τοὺς ἀνθρώπους ἐποίησεν*
 «Seitdem machte er die Menschen frommer.»

Der Ausdruck «die Menschen» war im Griechischen eigentlich überflüssig. In elegantem Stil hätte man dafür vielmehr *αὐτούς* zu sagen. Die Wiederholung dieses Wortes im zweiten Satz lässt sich wohl als Einfluss der aramäischen Vorlage verstehen. Der folgende Satz stimmt ähnlicher Weise in beiden Fassungen überein:

aramäische Version:

3 *wbkl 'rq' r'm šty* «Und auf der ganzen Erde erhob sich Freude»,²⁵

griechische Version:

4 *καὶ πάντα*
 5 *ἐδόθηεν κατὰ πᾶσαν γῆν*
 «Und alles ist glücklich auf der ganzen Erde.»

Wie man sieht, sind die Entsprechungen zwischen den zwei Versionen derartig, dass sich der griechische Text als eine etwas abgekürzte und freie Wiedergabe der aramäischen Fassung auffassen lässt. Das Verhältnis der zwei Versionen zueinander bleibt auch in der Fortsetzung des Textes ähnlich. Wo man früher eine wesentlichere Abweichung zu beobachten glaubte (z. B. in Zeilen 7—8 des aramäischen Textes), verschwinden die Unterschiede, wenn eine befriedigende Interpretation der betreffenden Stelle der aramäischen Fassung gegeben wird. So liegt es nahe daran zu denken, dass die griechische Version der Bilinguis von Kandahar auf der Grundlage der aramäischen Fassung verfertigt wurde. Die Abweichungen zwischen den zwei Fassungen

²⁴ Keine der bisher gegebenen Deutungen des Wortes scheint mir annehmbar zu sein. Eine neue Interpretation des Ausdrucks *'dwsy'* hoffe ich an anderer Stelle vorlegen zu können.

²⁵ Die richtige Interpretation dieser Stelle stammt von F. ALTHEIM—R. STIEHL: *Acta Ant. Hung.* 7 (1959) 124.

ergaben sich daraus, dass der griechische Übersetzer die aramäische Version etwas abgekürzt, die unverständlichen Ausdrücke (wie z. B. *ptytw* ^e*byd*) weggelassen und den aramäischen Text nicht sklavisch, sondern den Begriffen der hellenistischen Philosophie entsprechend wiedergegeben hatte.

Die Frage des indischen Originals der Bilinguis von Kandahar blieb vorläufig noch offen. L. Alsdorf hat die Vermutung geäußert, dass die griechisch — aramäische Bilinguis gewissermassen als ein Auszug aus den Felsenedikten anzusehen sei.²⁶ Diese Auffassung mag das Richtige treffen. Auf ähnliche Gedanken führt auch der neugefundene griechische Text der XII. und XIII. Felsenedikte. In diesem Fall ist die griechische Übersetzung wieder wesentlich kürzer als das indische Original. Da man bei diesen offiziellen Texten eine ganz freie Umarbeitung der Vorlage nach eigenen Gutdünken wohl kaum annehmen darf, so gibt es für die Erklärung dieser Erscheinungen nur eine Möglichkeit: ausser der bekannten Fassung der Felsenedikte existierte auch eine abgekürzte Version und diese ist als Vorlage der griechischen Übersetzung anzusehen. Diese Folgerung wird auch durch eine bisher unbeachtete Stelle des XIV. Felsenediktes unterstützt. Hier liest man folgendes:

ayaṃ dhammalipī devānaṃpriyena priyadassina rāññā lekhāpitā . asti eva saṃkhittena asti majjhamena asti vistatena (Girnar)

«Diese Gesetzinschrift liess der von den Göttern geliebte König Priyadassi herstellen. Es gibt davon eine abgekürzte, es gibt eine mittlere, es gibt eine ausführliche (Version).»

Wenn die bekannten Felsenedikte die ausführliche Version vertreten, dann lässt sich die Vorlage der griechischen Übersetzung der Felsenedikte vielleicht der mittleren Fassung gleichsetzen, während die griechisch — aramäische Bilinguis von Kandahar in diesem Fall der abgekürzten Version, dem Auszug der Felsenedikte entspricht.

²⁶ ALSDORF: a. W. 64.

²⁷ Vortrag, gehalten an der Tagung der Deutschen Akademie der Wissenschaften für «Neue Funde und Interpretationen auf dem Gebiet der griechischen Epigraphik» (Berlin, 27–29. April, 1965). — [Seitdem ich diesen Vortrag gehalten hatte, sind mir zwei neuere Arbeiten über die griechischen Inschriften des Ašoka bekannt geworden: E. BENVENISTE: Édits d'Açoka en traduction grecque. JA 252 (1964) 137–157 (die betreffende Nummer des «Journal Asiatique» war laut gefälliger Mitteilung von Dr. L. BESE, dem Leiter der Orientalischen Bibliothek der Ung. Akad. der Wiss. erst in Juli 1965 eingetroffen!) und G. TUCCI—U. SCERRATO—G. PUGLIESE CARRATELLI—G. GARBINI: A Bilingual Graeco-Aramaic Edict by Ašoka. SOR XXIX. Roma 1964. Letztere Arbeit werde ich demnächst in der «Orientalistischen Literaturzeitung» besprechen. Auch die interessanten Ausführungen von BENVENISTE würden eine ausführliche Stellungnahme beanspruchen, die jedoch in diesem Rahmen zu weit führen würde. So möchte ich hier nur soviel bemerken, dass die von BENVENISTE angewandte Methode (der unmittelbare Vergleich der griechischen und indischen Fassungen) mir bedenklich erscheint. Er hat offenbar nicht genügend beachtet, dass der bekannte indische Text der Felsenedikte keineswegs als die Vorlage der griechischen Fassung in Betracht kommen kann. Seinem Versuch, in *σύνταξις* eine Wiedergabe vom Ausdruck *dhramanuṣasti* zu erblicken, stehen schwere semantische Bedenken gegenüber. Ich hoffe, auf den ganzen, unter Punkt 2 angeschnittenen Problembereich bald zurückkommen zu können.]

DIE VORGESCHICHTE OBERMÖSIENS IM HELLENISTISCH—RÖMISCHEN ZEITALTER

I

Von Ländern und Völkern ausserhalb des jeweiligen Machtbereichs der Griechen und Römer liegen zusammenhängende antike Schilderungen nur in wenigen Fällen vor. Die sonstigen Nachrichten knüpfen sich an die Gelegenheiten an, wobei ein Volk mit der antiken Welt in kriegerische Berührungen kam. Will man daher ein räumlich und zeitlich möglichst lückenloses Bild von irgendeinem Volk oder Land der «Barbaren» entwerfen, so ist man meistens auf diese gelegentlichen Bemerkungen antiker Schriftsteller angewiesen. Der historische Prozess, der die Schicksale vom Land und Volk bestimmt hat, kann erst mittelbar, durch die Analyse episodenhafter Angaben herausgeschält werden. Wohl gibt es kurzgefasste antike Schilderungen solcher Prozesse, aber man darf sie erst dann verwerten, wenn an Hand der chronologisch feststehenden Episoden bereits ein geschichtlicher Vorgang nachgewiesen werden konnte. Dann liefern sie eine gute Möglichkeit zur Kontrolle und zur Vervollständigung des gewonnenen Bildes.

Die Geschichte eines bestimmten Volkes oder Stammes lässt sich auch einfach auf Grund der auf ihn bezüglichen Quellenangaben verfolgen. Dann besteht aber noch die Gefahr, Macht- und Siedlungsgebiet des Volkes nicht unterscheiden zu können, und den Stamm als eine Jahrhunderte hindurch unverändert gebliebene Formation zu behandeln. Es gab ja Wechselbeziehungen zwischen Völkern, worüber wir nicht oder nur mittelbar unterrichtet sind, weil an diesen Beziehungen, mögen sie noch so kriegerischer Art gewesen sein, Griechen oder Römer nicht interessiert waren. Solche Beziehungen haben die politischen Verhältnisse der «Barbaren» wesentlich beeinflusst, werden jedoch für uns erst dann greifbar, wenn ein Gebiet, nicht aber ein Stamm untersucht wird. Es empfiehlt sich daher, auch für die Erschliessung der Geschichte der «Barbaren» Gebiete und nicht einzelne Völker ins Auge zu fassen, wobei das Gebiet freilich nicht nach modernen, sondern nach antiken Kategorien umgrenzt werden soll.

In der vorliegenden Untersuchung haben wir uns das Ziel gesteckt, die Geschichte des Gebiets zu untersuchen, das zwischen Thrakien und Dalmatien, der Donau und Makedonien gelegen das spätere Obermösien des Römischen

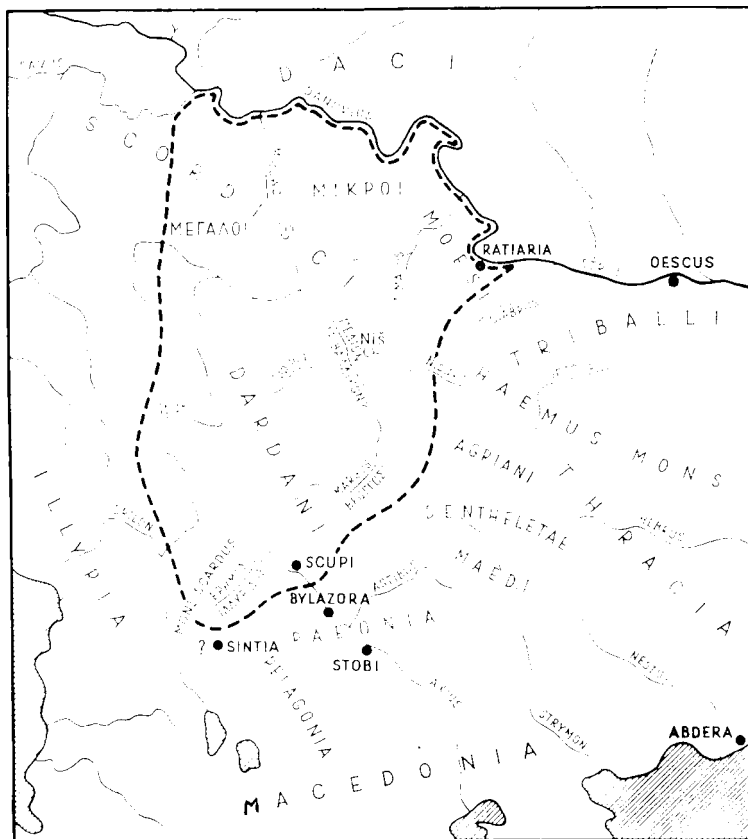


Abb. 1

Reiches werden sollte (Abb. 1). Griechen und Römer zeigten nie ein eigentliches Interesse an ihm,¹ es ist nur als Durchgangsgebiet zum Gegenstand verschied-

¹ Bezeichnend dafür sind zwei Stellen bei Strabon: VII 5, 7 werden — ausgegangen vom Adriatischen Meer — Völker der Balkanhalbinsel aufgezählt, wobei die Dardaner am Ende erwähnt werden. VII 5, 12 gibt eine Beschreibung von Norden (Skordiskoi) nach Osten (Pontos). Die Dardaner werden wiederum am Ende, nach den westthrakischen Stämmen genannt. Man darf dabei nicht vergessen, dass die Dardaner unmittelbare Nachbarn des bereits seit 168 römischen Makedonien waren, während die Ausgangspunkte von Strabons Beschreibungen erst anderthalb Jahrhunderte später fest in Roms Hände gelangt sind. Auch der merkwürdigen Völkergenealogie bei Appian. Illyr. 2. dürfte eine geographische Beschreibung zugrunde gelegt haben, die die Völker der Balkanhalbinsel in drei Zonen, von West nach Ost und von Süd nach Nord beschrieb; erste Zone: Kinder des Illyrios: Encheleus, Autarius, Dardanos, Majos, Taulantes, Perhaihos, Partho, Daortho, Dassaro «und andere» — zweite Zone: Sohn des Autarius: Pannonios «oder Paion» — dritte Zone: Söhne des Paion: Skordiskos, Triballos. Geschichtlich ist diese Genealogie wertlos und lässt sich nur geographisch deuten. Da Paion bei Hygin. astr. II 20 und Paus. V 1, 5 in anderen genealogischen Beziehungen erscheint, ist die Genealogie des Appianos nicht alt. Ihre Entstehung fällt in die Zeit, als die Pannonier mit den Päonen δι' ἐξορίαν καὶ φωνὴν βαρβαρισμοῦ (Lydos) gleichgesetzt wurden; frühestens am Anfang des 2. Jh. u. Z. (vgl. RE Suppl. IX 520).

dener Machtansprüche geworden und kam auch erst spät, man weiss ja nicht einmal genau wie und wann, unter römische Herrschaft. Die einschlägigen Quellen bieten daher meistens nur Nachrichten über kriegerische Ereignisse in Stichworten oder besserenfalls in Episoden, deren Mehrzahl indessen chronologisch sich leicht einordnen lässt. Da zusammenfassende antike Schilderungen kaum zur Verfügung stehen, so gehen wir von den chronologisch gesicherten Angaben aus und lassen die weiteren Angaben erst nach dem chronologischen Überblick zu Wort kommen.²

II

Falls die vielbehandelte Herodotstelle IV 49 auf Hekataios zurückgeht, dann stammt unsere erste sichere Nachricht³ aus dem 6. Jh. Herodot zählt die Nebenflüsse der Donau auf, darunter den Brongos, der sich der Morawa gleichsetzen lässt. Fraglich ist, ob der Nebenfluss des Brongos, der Angros die Ibar, die Toplica⁴ oder die Westliche Morawa vertrete. Der Angros fliesst ἐξ Ἰλλυριῶν durch das πεδῖον Τριβαλλικόν und ergiesst sich dort oder nachher in den Brongos. Es lässt sich daraus entnehmen, dass das Morawatal unter der Herrschaft der Triballer stand. Aber wir wissen nicht, wo dieses πεδῖον im Machtgebiet der Triballer lag. Da die Triballer immer nur weiter im Osten bzw. Nordosten, nie aber im Morawatal bezeugt sind, liegt es nahe, dieses Triballerfeld nicht für das Zentrum des Triballerlandes zu halten.⁵

Über geschichtliche Vorgänge im 5. Jh. wird kaum etwas berichtet. 424 hören wir über kriegerische Tätigkeit der Triballer, jedoch östlich von

² Bisher wurde die Geschichte des Landes nicht zusammenfassend untersucht. A. STEIN: Die Legaten von Moesien (Diss. Pann. I 11, Budapest 1940) behandelt nur die Ereignisse der spätesten Zeiten. Die ausführlichste Schilderung der beiden letzten Jahrhunderte v. u. Z. bietet C. PATSCH: Beiträge zur Völkerkunde Südosteuropas V. Aus 500 Jahren vorrömischer und römischer Geschichte Südosteuropas, 1. Teil: Bis zur Festsetzung der Römer in Transdanuvien (S.-Ber. Akad. Wiss. Wien, Phil.-hist. Kl. 214, 1. Wien, 1932). Über die Nachbargebiete s. besonders B. GEROV: Untersuchungen über die westthrakischen Länder in römischer Zeit (Annuaire de l'Université de Sofia, Faculté Philologique, LIV 3, Sofia 1961), F. PAPAZOGLU: Makedonski gradovi u rimsko doba (Skoplje 1957) und das noch immer unentbehrliche Werk von G. ZIPPEL: Die römische Herrschaft in Illyrien bis auf Augustus (Leipzig 1877). Die Chronologie der Ereignisse in griechischer Zeit ist am eingehendsten noch immer bei K. J. BELOCH: Griechische Geschichte IV² 1–2 (1925–27) behandelt, für die letzte Periode der Makedonen vgl. P. MELONI: Perseo e la fine della monarchia macedone (Roma 1953), für die römische Zeit T. R. S. BROUGHTON: The Magistrates of the Roman Republic I–II (1951–52). Vgl. ausserdem die wichtigen Zusammenstellungen in den RE-Artikeln über die Völker und Gebiete, die hier behandelt werden.

³ Angaben über die Sigynnoi, Sindoi usw. lassen wir ausser acht.

⁴ Dieser sonst nicht bedeutende Fluss darf deswegen in Frage kommen, weil der Becken von Niš noch am nächsten zum Gebiet liegt, wo die Triballer später bezeugt sind.

⁵ Es ist immer der leichtere Weg, das Vorkommen eines und desselben Stammes in verschiedenen Gebieten mit Hin- und Herwanderungen zu erklären. Demnach hätten aber die Triballer von Herodotos bis Alexander d. Gr. mindestens fünf Wanderungen unternommen (Morawa – Balkangebirge – Thrakische Küste – Pontosküste – Makedonien – Donau). – Auch Thukydides kennt die Triballer östlich vom πεδῖον, s Anm. 158.

unserem Gebiet, bei den Odrysen.⁶ Etwa gegen Ende des 5. oder Anfang des 4. Jh. wurden die Triballer von den Autariaten besiegt.⁷ Die ungefähre Datierung dieses Ereignisses ergibt sich daraus, dass die Autariaten später — wohl um die Mitte des 4. Jh. — von den Kelten geschlagen wurden. 376 unternahmen die Triballer in Bündnis mit Maroneia einen Angriff auf Abdera.⁸ Dieser Angriff scheint von einer durch Lebensmittelnot veranlasste Auswanderung begleitet gewesen zu sein.⁹ Vielleicht hat hier der Sieg der Autariaten mitgespielt,¹⁰ insofern die Triballer des πεδίον im Morawatal verlustig geworden sind, und die dort sesshaften Teile des Stammes auswandern mussten. Der Versuch einer Niederlassung um Abdera scheiterte.

Die Autariaten erlagen dem Keltensturm. Die bekannte Geschichte über die Invasion von Fröschen,¹¹ die die Autariaten zur Auswanderung gezwungen hätten, wird auf das Vordringen der Kelten bezogen. Das ist in vollem Masse berechtigt, weil aus einigen weiteren Angaben ebenfalls ein keltischer Sieg über die Autariaten herausgeschält werden kann. Strabon¹² führt den Niedergang der Autariaten auf den Sieg der Skordisker zurück; ein evidenten Anachronismus, zumal die Skordisker erst nach 278 auf der Bühne erschienen, als die Autariaten längst aufgerieben oder ausgewandert waren.¹³ Strabon hat den Sieg vielleicht deshalb den Skordiskern zugeschrieben, weil eine keltische Völkerschaft dort den Sieg erfochten hatte, wo später die keltischen Skordisker ansässig waren, d. h. in der nördlichen Hälfte des späteren Obermösien.¹⁴ Ein weiteres Zeugnis darf im 41. Fragment (39. Oxf.) des Theopompos erblickt werden.¹⁵ Theopompos hat im 2. Buch seiner Philippika eine Episode aus dem Kampf zwischen Kelten und Ἀρδιαῖοι angeführt. Diesen Namen emendiert man auf Ἀρδιαῖοι, obwohl Polyainos, der dieselbe Episode gekürzt wiedergibt, von Autariaten spricht.¹⁶ Da die Ardiäer in der Zeit des Theopompos noch recht unbedeutend waren, so ist es wenig wahrscheinlich, dass sie Herren von 300 000 Untertanen (προσπελαταί bei Theopompos) gewesen wären. Dies

⁶ Thuk. IV 101, 4.

⁷ Strabon VII 5, 11.

⁸ Aen. poliork. 15, 8—10. Diodor. XV 36, 1—4. Isoer. or. XII 227. Schol. Aristeid. Panath. 127, 2 (3, 275).

⁹ σιτοδεία πιεζόμενοι πανδημει στρατεῖαν ἐποιήσαντο Diodor. XV 36, 2.

¹⁰ E. POLASCHKE: RE VIA (1936) 2395.

¹¹ Diodor. III 30, 3. Agatharchides GGM I 151, Athen. VIII p. 333. Aelian, anim. 17. 41. Appian. Illyr. 4 (hier stark verwirrt und mit dem keltischen Angriff auf Delphi verbunden). Iustin. XV 2, 1 (auch Mäuse).

¹² VII 5, 11.

¹³ Es wäre freilich möglich, die Tradition von der Entstehung der Skordisker (Anm. 58.) zu verwerfen und auf Grund von Strabon VII 5, 11 die Existenz der Skordisker bereits für das 4. Jh. anzunehmen. Die Überlieferung durch Trogus (Iustinus) und die Sage von Bathantos bei Athen. fallen aber m. E. schwerer in die Waage. Letzten Endes ist es freilich einerlei, ob die Kelten, die die Autariaten vertrieben hatten, Skordisker heissen.

¹⁴ Ähnlich M. FLUSS: RE IIA (1921) 833.

¹⁵ FHG I p. 284 f. = Athen. X p. 443 A—C.

¹⁶ VII 42: Κελτοὶ στρατεύουσιν ἐπὶ Ἀδταριάτας καὶ ἦν πόλεμος μάρκος etc.

dürfte man bei den Ardiäern eher für das Ende des 3. Jh. annehmen. Dagegen ist bei den Autariaten, die damals *τὸ μέγιστον καὶ ἄριστον τῶν Ἰλλυριῶν ἔθνος* waren,¹⁷ so eine Menge von Untertanen wahrscheinlicher. Ich möchte daher vorschlagen, *Ἀριαῖοι* auf *Ἀυταριᾶτοι* zu emendieren.

Der erste keltische Vorstoß nach Illyrien fiel zeitlich mit der Plünderung Roms durch die Kelten zusammen.¹⁸ Erst später, *domitis Pannoniis* folgten die Kämpfe mit den Nachbarvölkern.¹⁹ Die Niederlage der Autariaten ist daher frühestens um die Mitte des 4. Jh. zu datieren.

Die Triballer wurden von Philippos II. in einem unbekanntem Jahr besiegt. Da dieses Ereignis zusammen mit dem Illyrierfeldzug genannt wird,²⁰ dürfte es damit zusammenhängen und so ist seine Datierung auf 344 wahrscheinlich.²¹ In Zusammenhang mit dem Illyriekrieg des Philippos II. wurden die Dardaner zum ersten Mal genannt.²² Aber sie sind wahrscheinlich nicht zu dieser Zeit zum ersten Mal aufgetreten, denn unter Illyriern dürften gelegentlich auch die Dardaner gemeint sein,²³ wie vielleicht z. B. 383, als Amyntas III. gegen Illyrier zu kämpfen hatte.²⁴ Auf jeden Fall traten die Dardaner als Feinde Makedoniens im 4. Jh. auf, das wahrscheinlich ebenfalls auf die Lockerung der Triballermacht zurückzuführen ist.

Im Osten waren die Triballer zu dieser Zeit noch nicht gebrochen. 339 kämpften sie als Verbündete von Histria gegen den Skythenkönig Ateas²⁵ und erst 335 hat der berühmte Feldzug Alexanders d. Gr.²⁶ ihrer Macht ein Ende gemacht. Das Zentrum des Triballerlandes lag nicht weit, sondern ist etwa nordöstlich von den Dardanern anzusetzen.²⁷ Dies folgt daraus, dass die Triballer nicht Thrakien, sondern samt Illyrien und Agrianiern Makedonien zugeteilt wurden.²⁸ Dementsprechend erhielten nach dem Tod Alexanders Krateros und Antipatros mit Makedonien *Ἀγριᾶνας καὶ Τριβαλλοῦς*.²⁹

¹⁷ Strabon VII 5, 11.

¹⁸ Iustinus XXIV 4, 2–5.

¹⁹ *ibi domitis Pannoniis per multos annos cum finitimis varia bella gesserunt*, Iustin. XXIV 4, 5. Eben deshalb halten wir es für wenig wahrscheinlich, dass bereits hinter dem Triballerangriff auf Abdera das Vordringen der Kelten zu erblicken sei.

²⁰ *Ἰλλυριοὶ καὶ Τριβαλλοὶ* Arrian. anab. I 1–4, VII 9, 2. Porphy. Tyr. frg. 1. (FHG III p. 691). Demosth. XVIII 44, ferner Diodor. XVI 69, 7. 93. Trogus. prol. VIII.

²¹ POLASCHEK: a. a. O. 2396 f.

²² Iustin. VIII 6, 3.

²³ Z. B. Trogus prol. VIII: *Illyrii reges . . . victi*, vgl. Iustin. VIII 6, 3: *Dardanos ceterosque finitimos . . . expugnat*; Trogus prol. XXIV: *Monunius Illyrius*, vgl. Iustin. XXIV 4, 11: *Dardanus rex*. Anders CH. EDSON: Cl. Philology 52 (1957) 280, der in den Quellen eine Unterscheidung von *Dardani* und *Illyrii* sieht.

²⁴ Diodor. XIV 92.

²⁵ Polyain. VIII 44. Iustin. IX 2. 3. Frontin. II 4, 20. Der *Histriarorum rex* bei Iustinus war der Triballerkönig (POLASCHEK: a. a. O. 2396).

²⁶ Arr. anab. I 1 sqq. Strabon VII 3, 1. usw. B. LENK: RE VIA (1936) 428 f, POLASCHEK: a. a. O. 2396 f.

²⁷ Vgl. Strabon VII 5, 11: *Τριβαλλοῦς ἀπὸ Ἀγριᾶνων μέχρι τοῦ Ἰστρου καθήκοντας ἡμερῶν πεντεκαίδεκα ὁδόν*.

²⁸ POLASCHEK: a. a. O. 2398 mit Hinweis auf Dexippos frg. 8, 3 (FrGrHist nr. 100). Die Triballer kämpften als Söldner im Heer des Alexander (Diodor. XVII 17, 4).

²⁹ W. TOMASCHEK: Die alten Thraker. I. Wien 1889. 89.

Es ist leicht möglich, dass der entscheidende Zusammenstoss der Kelten und der Autariaten erst kurz vor 335 erfolgte. Denn als Alexander an der Donau war, kam eine keltische Gesandtschaft von der adriatischen Küste zu ihm,³⁰ und bei der Rückkehr erhielt er die Nachricht von den Angriffsplänen der Autariaten, die dann vom Agrianerkönig Langaros geschlagen wurden.³¹ Diese Schlacht dürfte irgendwie auch mit der durch die Froschinvasion verursachten Auswanderung der Autariaten zusammengehängt haben, weil Athenaios diese Froschinvasion in die Nachbarschaft der Agrianer setzte.³² In diesem Fall wäre der bei Theopompos überlieferte Keltenangriff vor oder um die Mitte des 4. Jh., die Auswanderung kurz vor 335 zu datieren. Iustinus bringt sie sogar mit einem noch späteren Ereignis in Zusammenhang:³³ die Autariaten, 20 000 an Zahl, griffen die Päonen an³⁴ und Kassandros wies ihnen danach Wohnsitze beim Orbelos zu.³⁵ Dies geschah wahrscheinlich 310.³⁶ Damit endete eigentlich die Geschichte der Autariaten, die in den letzten Jahrzehnten des 4. Jh. offenbar ihrer Wohnsitze beraubt viele Streifzüge an der Nordgrenze Makedoniens unternommen hatten.³⁷

Im Rücken der Autariaten drangen die Kelten vor. Der Ausgangspunkt ihrer Streifzüge war Pannonien, und zwar entweder Südwestpannonien mit der adriatischen Küste oder Nordpannonien; je nachdem, ob die «adriatischen Kelten», die zu Alexandros kamen, oder die bereits am Anfang des 4. Jh. in Pannonien eingedrungenen Kelten in Betracht gezogen werden.³⁸ Kassandros (316—298) hat mit einer keltischen Schaar im Balkangebirge zu tun gehabt,³⁹ die man bereits für die ersten Vorläufer der grossen keltischen Invasion halten, und daher vielleicht mit dem Zug des Kambaules gegen Thrakien gleichsetzen darf. Dieser Zug war nach Pausanias die erste grössere Unternehmung der Kelten ausserhalb ihrer Grenzen, scheiterte aber infolge der Überzahl der Griechen.⁴⁰

Im Jahre 284 werden die Dardaner erwähnt, als Ariston, der von Lysimachos herabgesetzte Päonenkönig zu ihnen floh.⁴¹ — Nicht viel später begann die grosse Kelteninvasion in der Balkanhalbinsel. Unsere Quellen (besonders

³⁰ Strabon VII 3, 8. Arr. anab. I 4, 6 aus der Alexandergeschichte des Ptolemaios

³¹ Arr. anab. I 5, 1—3.

³² VIII p. 333: *περὶ τὴν Παιονίαν καὶ Δαρδανίαν.*

³³ Iustin. XV 2, 1: *Cassander ... incidit in Audariatas, qui propter ranarum muriumque multitudinem relicto patrio solo sedes quaerebant...*

³⁴ Vgl. Anm. 32.

³⁵ Diodor. XX 19, 1, vgl. Iustin. XV 2, 1—2.

³⁶ B. GEROV: in Omagiu lui C. Daicoviciu. Bukarest 1960. 249.

³⁷ Nach Appian. Illyr. 4. kam ein Rest des Volkes zu den Geten und Bastarnern.

³⁸ Strabon VII 3, 8 bzw. Iustin. XXIV 4, 4—5.

³⁹ Seneca quaest. nat. III 11, 2 (nach Theophrastos).

⁴⁰ Paus. X 19, 5: *ὑπερόριον μὲν οἱ Κελτοὶ στρατείας πρότην ὑπὸ ἡγεμόνι ἐποιήσαντο Καμβάυλῃ προσελθόντες δὲ ἄγοι τῆς Θράκης...* vgl. Iustin. XXIV 4, 4—6: die grossen Balkanfeldzüge der Kelten fallen nach der Besitznahme Pannoniens und nach den darauffolgenden *per multos annos* geführten Kriegen mit den Nachbarvölkern.

⁴¹ Polyain. IV 12, 3.

Trogus-Iustinus, Pausanias, Diodoros, Polybios und Livius) geben eine mehr oder weniger zusammenhängende Schilderung der Geschehnisse in Makedonien, Thrakien und Griechenland,⁴² aber die Vorgeschichte der Invasion wird nur kurz und mit sagenhaften Entstellungen zusammengefasst. Soviel steht fest, dass die Invasion nicht nur aus Raubzügen von beute- und kriegslustigen Scharen bestand, sondern eine riesige Menge⁴³ auch nach neuen Wohnsitzen suchte⁴⁴ — nicht ohne Erfolg, wie das die Galaten, das «Reich» von Tylis und vielleicht auch die Skordisker beweisen. Die Invasion ging von einem Land aus, das fest in keltischen Händen war und zu dessen Schutz ein Teil der Wehrkraft hinterlassen wurde.⁴⁵ Diese *οἰκεῖα*⁴⁶ lag wohl in Pannonien,⁴⁷ weil die südlich und südöstlich von der Save liegenden Gebiete damals noch zu den Randgebieten gehörten, wo *per multos annos cum finitimis varia bella* ausgefochten waren⁴⁸ (z. B. mit den Autariaten).

Nach Pausanias⁴⁹ haben die Kelten ihr Volk dreigeteilt; ein Teil unter Kerethrios zog sich gegen die Thraker und Triballer, der zweite Teil unter Brennos und Akichorios gegen Pänonien und der dritte Teil unter Bolgios gegen Makedonien und die Illyrier. Bolgios hat auch Ptolemaios Keraunos geschlagen. Iustinus schreibt nur von einer Zweiteilung des Volkes⁵⁰ zwischen Belgius und Brennus. Der zurückgebliebene dritte Teil brach nach ihm erst später auf, griff die Geten und die Triballer an, wurde aber von Antigonos Gonatas geschlagen.⁵¹ Dies geschah frühestens 277 oder 276.⁵² Ein Vergleich zwischen den Berichten des Pausanias und des Iustinus legt es nahe, dass der von Antigonos geschlagene Keltenfürst Kerethrios war. Bevor Belgios Makedonien angegriffen hatte, wurde vom Dardanerkönig Monunios eine ansehnliche Streitmacht als Hilfe dem Ptolemaios angeboten, aber zurückgewiesen.⁵³ Darauf folgte ein Krieg zwischen Monunios und Ptolemaios,⁵⁴ wahrscheinlich noch im Jahre 280.

Belgios griff wohl Anfang 279 Illyrien und Makedonien an, schlug Ptolemaios, weiteres ist aber über ihn nicht berichtet. Unter Illyrien dürfte hier

⁴² BELOCH: Gr. Gesch. IV 2, 485 ff.

⁴³ Brennos hatte z. B. 50 oder 150 Tausend Fusskämpfer, 10 oder 15 Tausend Reiter (Diodor. XXII 9, 1 bzw. Iustin. XXIV 6, 1) und zweitausend Wagen (Diodor.).

⁴⁴ Vgl. BELOCH: a. a. O. 560, Anm. 1: das Volk des Leonnorios und Lutarios bestand nur zur Hälfte von Kriegern: Liv. XXXVIII 16.

⁴⁵ *ad terminos gentis tuendos relicti* Iustin. XXV 1, 2.

⁴⁶ Polyb. IV 46, 1.

⁴⁷ S. den Bronzekantharos aus dem keltischen Gräberfeld bei Szob (an der Donau nördl. von Budapest), der offenbar als Beute aus Griechenland von einem heimkehrenden Krieger mitgebracht wurde: J. GY. SZILÁGYI: VIII^e Congr. Internat. d'Archéol. Class. Paris, 1963. Paris 1965. 389.

⁴⁸ Iustinus. s. Anm. 19.

⁴⁹ X 19, 6–7.

⁵⁰ XXIV 4, 6.

⁵¹ XXV 1–2.

⁵² POLASCHEK: a. a. O. 2398.

⁵³ Iustin. XXIV 4, 9–11.

⁵⁴ Trog. prol. XXIV.

Dardanien gemeint sein. Belgios kehrte heim, oder schloss sich den anderen Teilen an.

Brennos scheint ein wenig später in Makedonien angekommen zu sein.⁵⁵ Diese Verspätung lässt sich damit erklären, dass er in Dardanien mit einer Empörung in seinem eigenen Volke zu tun hatte.⁵⁶ Die Folge war, dass ungefähr 20 000 Kelten unter Leonnorios und Lutarios von Brennos abfielen und schliesslich nach Asien kamen. Brennos kam daher erst im Spätherbst in Griechenland an.

Zwischen 310 und 280 wurde die nördliche Hälfte unseres Gebiets endgültig von Kelten besetzt. Die Herrschaft der nach 278 auftauchenden Skordisker⁵⁷ währte dort bis zur Römerzeit. Eine noch nicht konsolidierte Keltenherrschaft ist freilich seit der Vertreibung der Autariaten anzunehmen. Spätestens vom Anfang 279 geriet auch Dardanien unter keltische Herrschaft. Während aber die nördlichen Gebiete nicht von der Keltenherrschaft loswerden konnten, hat Dardanien im folgenden Jahrzehnt die Freiheit wohl allmählich, aber doch erkämpft. Dass bei den Dardanern nicht sofort nach 278 eine Konsolidation eintrat, darf zunächst daraus geschlossen werden, dass sich der Rückzug der Kelten in mehreren Scharen und offenbar mit Kampfhandlungen abspielte.⁵⁸ Es ist ferner auch kein Zufall, dass an der dardanischen Nordgrenze Makedoniens unter Antigonos Gonatas keine besonderen kriegerischen Unternehmungen nötig waren. Die Dardaner haben zu dieser Zeit wahrscheinlich nach Westen Eroberungskriege geführt,⁵⁹ weil 230 Illyrier gegen sie empörten, wovon die in Epirus kämpfenden Illyrier durch Teuta Nachricht erhielten.⁶⁰

Makedonien griffen die Dardaner erst am Ende der Regierung des Demetrios an. Etwa um 230⁶¹ wurde Demetrios vom Dardanerkönig Longaros geschlagen,⁶² und musste Päonien räumen, das erst 217 rückerobert werden konnte. Der Krieg dauerte einige Jahre, weil noch Antigonos Doson nach dem Tode des Demetrios mit Dardanern zu tun hatte.⁶³ Makedonien war den Angriffen der Dardaner besonders unter dem jungen Philippus V. ausgesetzt.⁶⁴ Wir

⁵⁵ Iustin. XXIV 6, 1.

⁵⁶ Liv. XXXVIII 16.

⁵⁷ Iustin. XXXII 3. Athen. VI p. 234, vgl. aber auch Anm. 13.

⁵⁸ Iustin. XXXII 3: wenigstens zwei Gruppen aus Thrakien und Asien (?) und die Skordisker. Diodor. XXII 9, 3: eine Gruppe von Kelten in Dardanien aufgerieben. Athen. VI p. 234: Skordisker unter Bathanatos. Diodor. XXII 18; Paus. X 23: Rückzug des Akichorios.

⁵⁹ vgl. ZIPPEL: a. a. O. 42 f.

⁶⁰ Polyb. II 6, 4.

⁶¹ BELOCH: a. a. O. IV 1, 634. 638. IV 2, 531.

⁶² Trog. prol. XXVIII. Liv. XXXI 28.

⁶³ Iustin. XXVIII 3, 14: *Dardanos Thessalosque exultantes morte Demetrii regis conspexerit.*

⁶⁴ *Dardani, gens semper infestissima Macedonibus* Liv. XL 57, 6. *Philippum Dardani ceterique omnes finitimi populi . . . contemptu aetatis adsidue lacecebant* Iustin. XXIX 1, 10. *Flamininus vor Kynoskephalä: . . . cum Philippo, puero immaturae aetatis, qui regni terminos adversus finitimos aegere defendat, et cum his Macedonibus, qui non ita pridem praedae Dardanis fuerint* Iustin. XXX 4, 12.

sind wahrscheinlich nicht über alle Dardanereinbrüche unterrichtet. 219 brachen sie ein,⁶⁵ 217 gelang es Philippos Bylazora (wohl das heutige Veles) in Besitz zu nehmen, wodurch Päonien wieder fester in seinem Besitz kam und der Weg nach Makedonien beim Vardardurchbruch abgesperrt werden konnte.⁶⁶ Den anderen Übergang nach Makedonien, Sintia⁶⁷ eroberte Philippos im Jahre 211.⁶⁸ Wahrscheinlich im selben Jahr hat er auch eine Landschaft verwüstet, um die Dardaner auch dadurch von Makedonien fernhalten zu können. Dieser *ἐρήμος Ἰλλυρίδος* lag nämlich in der Nähe der Šar-Planina (*Scardus mons*) und dürfte vielleicht mit dem Becken von Tetovo gleichgesetzt werden.⁶⁹ Doch fielen die Dardaner 208 gerade in dieser Gegend in Makedonien ein, und schleppten auch viele Gefangene mit.⁷⁰ Im nächsten Jahr führte Philippos wieder einen Krieg gegen sie.⁷¹

200 schloss sich der Dardanerkönig Bato, Sohn des Longaros, dem unter römischer Führung zustande gekommenen makedonfeindlichen Bündnis der Illyrier an.⁷² Die Illyrier und Dardaner fielen in Makedonien ein.⁷³ Als die Dardaner nach Kynoskephalä (197) auf die Nachricht der makedonischen Niederlage wieder einbrachen, schlug Philippos sie mit einer kleinen, flüchtig zusammengestellten Truppe bei Stobi.⁷⁴ Damit hörten die Dardanereinfälle für ein Jahrhundert auf. Es ist an sich wenig wahrscheinlich, dass diese plötzlich eingetretene Ruhe einzig auf die Schlacht bei Stobi zurückzuführen sei. Obwohl für Philippos nach 197 gewiss nicht das Wichtigste war, Feldzüge gegen ein Bergvolk in seiner nördlichen Nachbarschaft zu führen, doch hätte er gegen Einfälle gelegentlich Widerstand leisten können, wie es von ihm in allerletzter Not bei Stobi auch getan wurde. Als er 181 den Hämus besteigen wollte, konnte er über Stobi und Päonien nach die Maidika gehen,⁷⁵ ohne vom Norden her angegriffen zu werden. Wir möchten daher annehmen, dass die Kräfte Dardaniens anderswo in Anspruch genommen waren. Dafür kommt in erster Linie die Nordgrenze der Dardaner in Betracht, wo die Skordisker damals ihre ersten Angriffe nach Süden werden begonnen haben. Denn während nach 197 kaum mehr noch von Bewegungen der Dardaner zu hören war, spielten die Skordisker bereits 179 in den Plänen des Philippos eine Rolle, und nach

⁶⁵ Polyb. IV 66.

⁶⁶ Polyb. V 97, 1–2.

⁶⁷ Liv. XXVI 25: *vastatis proximis Illyrici in Pelagoniam eadem celeritate vertit iter: inde Dardanorum urbem Sintiam, in Macedoniam transitum Dardanis futuram, cepit.* Sintia lag daher wohl zwischen Gostivar und Kičevo.

⁶⁸ MELONI: a. a. O. 16.

⁶⁹ Polyb. XXVIII 8 = Liv. XLIII 19–20.

⁷⁰ Liv. XXVII 32, 9–33, 1. Iustin. XXIX 4, 6. Die Dardaner kamen bis zur Orestis.

⁷¹ Liv. XXVIII 8, 14. Iustin. XXIX 4, 10.

⁷² Liv. XXXI 28.

⁷³ Cass. Dio XVIII frg. Zon. IX 15.

⁷⁴ Liv. XXXIII 19.

⁷⁵ Liv. XL 21, 1.

der Schlacht von Pydna sind sie die einzigen Feinde an der Nordgrenze Makedoniens.

Den Niedergang der Dardaner, die bereits wohl geschwächt waren, führten die Makedonen und Bastarnen herbei. Nachdem die Bastarnen schon 194 und 184 als mögliche Verbündete oder Söldner hellenistischer Monarchen im Blickfeld erschienen waren,⁷⁶ wollte sie Philippus 179 in Dardanien ansiedeln um einerseits der Dardanergefahr ein für allemal loszuwerden⁷⁷ und andererseits die neuen Nachbarn zur Verheerung Italiens schicken zu können.⁷⁸ Zur Verwirklichung dieses Plans war natürlich auch ein Bündnis mit den Skordiskern nötig, das Philippus wahrscheinlich schon früher zustande gebracht hatte.⁷⁹ Aber er hat diesen Plan nicht verwirklichen können, und sein Sohn Perseus gab es sofort nach dem Tod seines Vaters auf.⁸⁰ 30 000 Bastarnen sind jedoch in Dardanien geblieben,⁸¹ und infolgedessen brach ein Kampf zwischen Dardanern und Bastarnern aus. Auf Seiten der Bastarner standen die Skordisker, die thrakischen Nachbarn der Dardaner und schliesslich auch Perseus.⁸² Die Dardaner baten um die Hilfe Roms.⁸³ 174 gelang es ihnen, die eingedrungenen Bastarner zu schlagen und wegzujagen.⁸⁴ 170 wurden sie aber von Perseus anscheinend vernichtend geschlagen.⁸⁵ Nach Plutarch wären 10 000 Dardaner gefallen.⁸⁶ Als die Bastarner von Perseus wieder herbeigerufen wurden, ist nicht mehr von einer Besetzung Dardaniens die Rede, ja die Bastarner sind südlicher, in Päonien erschienen.⁸⁷ Nach der Niederwerfung Makedoniens meldeten sich die Dardaner für lange Zeit zum letztenmal. Sie forderten Päonien zurück,⁸⁸ ohne dieser Forderung irgendwie Nachdruck gegeben zu haben. Bis zum Jahre 97 ist nichts von Dardanern zu hören, um so mehr aber von den Skordiskern, die Makedonien in der zweiten Hälfte des 2. Jh. mindestens siebenmal angriffen.

⁷⁶ PATSCH: a. a. O. 8 ff.

⁷⁷ Liv. XL 57: *Dardanorum gentem delere propositum erat, inque eorum agro sedes dare Bastarnis . . . Dardanos tamen sublato . . . etc.*

⁷⁸ Ibidem: *duplex inde erat commodum futurum, si et Dardani . . . tollerentur, et Bastarnae, relictis in Dardania coniugibus liberisque, ad populandam Italiam possent mitti.*

⁷⁹ Ibidem: *per Scordiscos iter esse ad mare Adriaticum, vgl. Justin. XXXII 3, 5: nam et Gallos Scordiscos ad belli societatem perpulerat.*

⁸⁰ MELONI: a. a. O. 79 ff. Die Gründe des Perseus dürften von denen des Kallikrates nicht verschieden gewesen sein, s. Liv. XLI 23: *qui si sedem eam tenuissent, graviore eos accolae Graecia habuissent, quam Asia Gallos habebat.*

⁸¹ Liv. XL 58, 7–8: *aliis penetrandum in Dardaniam consentibus: triginta fere milia hominum Clondico duce, quo profecti erant, pervenerunt . . .*

⁸² Liv. XLI 19. Polyb. XXX 6.

⁸³ Polyb. XXX 6.

⁸⁴ Oros. IV 20, 34.

⁸⁵ Liv. XLIII 18, 2–3. per. XLIII. vgl. MELONI: a. a. O. 273.

⁸⁶ Plut. Aem. 9, 5.

⁸⁷ Liv. XLIV 26–27.

⁸⁸ Liv. XLV 29, 12: *Dardanis repetentibus Paeoniam, quod et sua fuisset et continens esset finibus suis, (Cn. Octavius) omnibus dare libertatem pronuntiavit, qui sub Perseo fuissent.*

Zum erstenmal wurden die Skordisker 156, wohl im Zusammenhang mit dem Dalmatenkrieg⁸⁹ von den Römern besiegt.⁹⁰ 141 schlugen sie die Römer.⁹¹ 135 kämpfte M. Cosconius⁹² in Thrakien mit Erfolg gegen Skordisker.⁹³ Spätestens 119⁹⁴ fiel der Prätor Sex. Pompeius bei Argos⁹⁵ gegen die Skordisker. Bald darauf schlug sie der Quästor M. Annius P. f., dann fielen sie von Osten her mit den Mäden zusammen ein und wurden von Annius nochmals geschlagen.⁹⁶ 114 wurde der Konsul C. Porcius Cato von den Skordiskern in Thrakien geschlagen.⁹⁷ 112 kämpfte M. Livius Drusus ebenfalls in Thrakien gegen Skordisker.⁹⁸ 109 kämpfte der Prokonsul M. Minucius Rufus gegen Skordisker, Besser und verschiedene andere thrakische Stämme und vielleicht auch gegen Daker und Triballer.⁹⁹

Die von 135 bis 109 bezeugten Kriege spielten sich nach unseren Quellen entweder in Thrakien ab oder nahmen daran auch westthrakische Stämme teil. Das wird wohl bedeuten, dass die Skordisker ihre Herrschaft ganz bis zur Westgrenze Thrakiens ausgedehnt hatten, und infolgedessen oft mit westthrakischen Stämmen gemeinsam auftraten.¹⁰⁰ Schauplatz dieser Kriege waren also die Täler des Axios (Vardar), Astibos (Bregalnica), Strymon (Struma) und des Oberlaufs des Hebros (Marica). Genannt werden in unseren Quellen Argos im Vardartal,¹⁰¹ und der Hebros, wo er zwischen Bergen fließt.¹⁰² Daraus folgt

⁸⁹ RE Suppl. IX 528.

⁹⁰ Iul. Obsequ. 16.

⁹¹ Liv. per. Oxyr. 174–175, vgl. Iul. Obsequ. 22. zum Jahr 142.: *in Macedonia exercitus Romanus proelio vexatus*. BROUGHTON: a. a. O. I 477.

⁹² Prätor Makedoniens nach BROUGHTON: a. a. O. 488 f.

⁹³ Liv. per. LVI. BROUGHTON nimmt an (a. a. O.), die Skordisker wären von den Ardiäern und Pleräern unterstützt worden.

⁹⁴ BROUGHTON: a. a. O. 526 f.

⁹⁵ Wahrscheinlich nicht Argos in der Orestis, sondern Argos in Päonien, unweit von Stobi, s. zuletzt B. JOSIFOVSKA-DRAGOJEVIĆ: *Živa Antika* 15 (1965) 117 ff.

⁹⁶ DITTENBERGER: Syll.³ 700, wo unter dem *Γαλατῶν ἔθνος* die Skordisker zu verstehen sind, vgl. auch ibidem 710: *Galleis Scordisteis* = *πρός [Γαλατίας] κορδίστας*.

⁹⁷ Liv. per. LXIII. Eutrop. IV 24.

⁹⁸ Liv. per. LXIII (hier die Skordisker). Cass. Dio frg. XXVI 88 (nur über die Erfolge). — Über diese und die folgenden Kriege s. auch die wohl auf eine Liviusepitome zurückgehenden Stellen bei Flor. I 39, Ruf. Fest. brev. 9, Amm. Marc. XXVII 4, 10. Die beiden letzteren sind auch von Florus abhängig. Vgl. auch Anm. 100.

⁹⁹ Liv. per. LXV. Vell. Pat. II 8, 3. Frontin. II 4, 3. Eutrop. IV 27, 5. DITTENBERGER: Syll.³ 710. Über die Örtlichkeit der Kampfhandlungen nur Florus I 39, 5: am Hebros, und Frontinus: zwischen Bergen. F. MÜNZER bezweifelt RE XV 1962 f, nr. 54. die Teilnahme der Daker und POLASCHEK: a. a. O. 2399 die der Triballer, ob mit Recht, steht aus. POLASCHEK bezieht allerdings das 116. (118. MÜLLER) Fragment des Nikolaos Damask. über die Triballer auf diese Kriege oder auf den Feldzug des Crassus.

¹⁰⁰ S. die Stellen in der Liviusepitome LVI (*in Thracia cum Scordiscis*), LXIII (*in Thracia . . . adversus Scordiscos*; . . . *adversus Scordiscos . . . in Thracia*), und hier noch Anm. 115. Dies ist der Grund, warum die Skordisker bei Florus, Festus und Ammianus (Anm. 98.) unter die Thraker eingereiht sind, Festus sogar: *in Thraciae regionibus Scordisci habitaverunt*, Florus: *sacvissimi omnium Thracum Scordisci*. — Nach FLUSS: RE HA 834 bzw. nach BROUGHTON: a. a. O. 535. 571. kämpften C. Caecilius Metellus Caprianus im Jahre 113 und T. Didius im Jahre 100 in Thrakien ebenfalls gegen Skordisker. Für diese beiden Jahre sind zwar die Skordisker quellenmässig nicht bezeugt, aber ihre Teilnahme ist nicht unwahrscheinlich.

¹⁰¹ DITTENBERGER: Syll.³ 700, s. Anm. 95.

¹⁰² Flor. I 39, 5. vgl. Frontin. II 4, 3.

aber, dass in dieser Zeit die Dardaner unter der Herrschaft der Skordisker waren. Die Skordisker griffen Makedonien von dort an, wo vormalig die Dardaner einfielen.¹⁰³

Am Anfang des 1. Jh. hörten die Skordiskereinfälle plötzlich auf.¹⁰⁴ Dagegen wird zum Jahr 97 über eine Niederlage der Dardaner berichtet, die wohl im Bündnis mit den Mäden gekämpft hatten,¹⁰⁵ wie vor nicht langer Zeit noch die Skordisker. Die Dardaner haben sich demnach um 100 irgendwie von der Skordiskerherrschaft befreit. Seitdem werden sie wieder häufiger unter den Feinden der Römer genannt. Zunächst traten Skordisker und Dardaner gemeinsam auf. 86 oder 85 führte Sulla einen Feldzug gegen die eingefallenen Dardaner, Skordisker, Mäden und andere Stämme.¹⁰⁶ Vielleicht im nächsten Jahr,¹⁰⁷ aber sicherlich zwischen 88 und 81¹⁰⁸ schlug L. Cornelius Scipio Asia-genus dieselben Stämme,¹⁰⁹ darunter fast vernichtend die Skordisker.¹¹⁰

¹⁰³ Nur vom Nordosten, aus dem ἐρῆμος Ἰλλυρίδος und von Sintia aus nicht.

¹⁰⁴ Ob im Jahre 100 noch Skordisker am Kriege des T. Didius teilnahmen, steht aus, s. Anm. 100.

¹⁰⁵ Iul. Obsequ. 48: *Celtiberi, Medi, Dardani subacti*.

¹⁰⁶ Liv. per. LXXXIII. Plut. Sulla 23, 1. Appian. Mithr. 55. Gran. Lic. 35. Eutrop. V 7, 1, (wo irrig *Delmatas* statt *Denseletas*) vir. ill. 75, 7. BROUGHTON: a. a. O. II 58. Skordisker nennt allerdings nur Eutropius.

¹⁰⁷ BROUGHTON: a. a. O. 58 f.

¹⁰⁸ Die Datierung ist vorderhand nicht sicher. Appian. Illyr. 5: Ῥωμαῖοι δ' ἔχοντες ἤδη δεύτερον καὶ τριακοστὸν ἔτος ἀπὸ τῆς πρώτης ἐς Κελτοὺς πείρας . . . Die Emendation auf τριακοσιεστὸν (s. die Literatur in Anm. 109.) ist nötig und berechtigt, weil als erster keltisch-römischer Zusammenstoß nur die gallische Plünderung Roms bzw. die Schlacht an der Allia in Frage kommen kann.

¹⁰⁹ Appian. Illyr. 5. Wir halten es für besser, das vorderhand wohl unlösbare Rätsel, ob Balkanstämmen in den 80er Jahren das delphische Heiligtum in Brand gesteckt haben, dahingestellt zu lassen. Auf jeden Fall glauben wir diesen Brand nicht so unbedingt annehmen zu müssen, wie es die neuere Forschung anscheinend tut (die Literatur s. bei B. GEROU: Omagiu lui C. Daicoviciu. Bukarest 1960. 247 und noch etwa J. DOBIÁŠ: Studie k Appianově kniže Illyrské. Prag 1931. 248 ff, BROUGHTON: a. a. O. II 58 f.). Die früheste Quelle ist Plut. Numa 9: ἐν Δελφοῖς δὲ τοῦ ναοῦ καταπορηθέντος ὑπὸ Μήδων, περὶ δὲ τὰ Μιθριδατικά καὶ τὸν ἐμφύλιον Ῥωμαίων πόλεμον ἅμα τῷ βωμῷ τὸ πῦρ ἠφανίσθη. Wenn περὶ δὲ τὰ (τε statt δὲ seit REINACH und MÜNZER mit allgemeiner Zustimmung) beibehalten wird, dann darf das Verschwinden des heiligen Feuers und des Altars auf das Kapitolum bezogen werden, das ja 83, also gerade zur Zeit des mithridatischen Krieges abbrannte. Die Erwähnung des kapitolinischen Brandes neben Athen und Delphi wäre in einer Numabiographie doch nicht überraschend. Μήδων braucht vielleicht ebenfalls nicht emendiert werden (*Μαδῶν*), obwohl die Plünderung des Heiligtums den Persern nicht gelungen ist (Herodot. VIII 35 ff. Diodor. XI 14, 3 ff.). Die zweite Quelle, Appianos (Illyr. 4–5) verwirrt die Autariatensage von der Froschinvasion mit der keltischen Plünderung Delphis (279), lässt dafür die Kimbern durch Marius bestrafen und nimmt an (vielleicht mit Recht), dass an der delphischen Plünderung vom J. 279 auch Illyrier teilgenommen hatten. Demnach lässt er πολλὰ τῶν ἱερῶν καὶ τὸ Δελφικόν durch diese Illyrier (Skordisker, Mäden, Dardaner) ἅμα τοῖς Κελτοῖς (!) wieder (ἀδῆς) plündern, um den Feldzug des Scipio als die dafür erfolgte Rache hinstellen zu können. Dabei fällt nach ihm diese angebliche zweite Plünderung Delphis und anderer vieler Heiligtümer vor der Besitznahme Makedoniens durch die Römer: Ῥωμαῖοι . . . ἐπιστρατεύουσι τοῖς Ἰλλυριοῖς ἐπὶ τῆδε τῇ ἱεροσουλία, ἡγομμένου Λευκίου Σκιπίωνος, ἤδη τῶν τε Ἑλλήνων καὶ Μακεδόνων προστατούντες. In dieser heillosen Verwirrung hat gewiss auch die Plünderung Dodonas durch die Thraker im Jahre 88 (Cass. Dio frg. 101,2 = Borss. I p. 344) mitgespielt. Was als historischer Kern aus Appianos herausgeschält werden kann, sind die Teilnahme gewisser illyrischer Völkerschaften an der keltischen Plünderung Delphis, der Feldzug Scipios gegen Skordisker, Dardaner und Mäden

In das folgende Jahrzehnt fällt die grösste römische Unternehmung der republikanischen Zeit.¹¹¹ 76 brachen Thraker in Makedonien ein und App. Claudius Pulcher kämpfte gegen sie um die Rhodope.¹¹² Als er starb, kam C. Scribonius Curio auf der Via Egnatia nach Makedonien und führte ein *bellum Dardanicum*¹¹³ von 76 bis 73.¹¹⁴ Die im Verhältnis zur zeitlichen und räumlichen Ausdehnung des Krieges äusserst dürftigen Quellenangaben lassen darauf schliessen, dass die Hauptfeinde die Dardaner waren,¹¹⁵ gegen die Curio mit beispielloser Grausamkeit vorging.¹¹⁶ Er kam als erster bis zur Donau und zu den Dakern¹¹⁷ und kämpfte auch gegen die Mäden.¹¹⁸ In Quellen der Spätzeit¹¹⁹ werden auch die *Moesi* — zum erstenmal — genannt. Dies könnte man zunächst für einen Anachronismus halten,¹²⁰ ebenso wie die Erwähnung der Moeser zum Ende desselben Krieges in anderen Quellen.¹²¹ Es war aber gerade die Zeit, als das Problem von Poseidonios behandelt wurde, ob in der Ilias N 5 die europäischen *Μυσοί* gemeint waren.¹²² Letzten Endes dürfte daher die Zuverlässigkeit dieser Stellen nicht bezweifelt werden. Da Curio als erster die

und vielleicht die Plünderung Dodonas. Es ist freilich auch leicht möglich, dass Scipio seinen Sieg über die Skordisker in der Tat als eine Rache für Delphi 279 eingestellt hat. Die dritte Quelle ist Euseb. chron. 151 d (HELM) zum J. 84: *templum tertio apud Delfos a Thracibus incensum et Romae Capitolium*. Eusebius weiss weder etwas von der Plünderung Dodonas noch von dem persischen und keltischen Angriff auf Delphi (vgl. 47 e: erster Brand im J. 1450, 103 g: zweiter Brand im J. 549). Vielleicht geht seine Angabe gerade auf Appianos zurück.

¹¹⁰ Appian. Illyr. 5: *Σκορδίσκους μὲν διαφθεῖραι, καὶ εἴ τι λοιπὸν αὐτῶν ἦν, ἐς τὸν Ἰσθμὸν καὶ τὰς νήσους τοῦ ποταμοῦ μετακίησαι φηγόντας*, was freilich eine starke Übertreibung ist.

¹¹¹ Wir wissen nicht, über wen Dolabella 80/78 triumphierte (PATSCHE: a. a. O. 35.). Auszuschalten ist die erste angebliche Erwähnung Viminaciums beim Auctor ad Herenn. IV 54, 68: *Lemnum praeteriens cepit, inde Thasi praesidium relinquit, post urbem viminacium sustulit, inde pulsus in Hellespontum statim potitur Abydi*. Der unbekannte Feldherr hätte also in Kürze einen Sprung von Thasos zur Donau gemacht, um sofort zum Hellespontos zurückzukehren. Die alte Emendation auf *Lysimachium* (an der thrakischen Küste) trifft das richtige, s. A. v. DOMASZEWSKI: JÖAI 5 (1903) 147 ff. Es dürfte um eine Flottenoperation etwa zwischen 73–69 in Verbindung mit der Tätigkeit von Cotta und Lucullus gehandelt haben.

¹¹² Liv. per. XCI. Flor. I 39. Fest. brev. 9. Eutrop. VI 2. Oros. V 23. Nach BROUGHTON: a. a. O. 94 auch gegen Skordisker, die aber diesmal nicht bezeugt sind.

¹¹³ Frontin. IV 1, 43.

¹¹⁴ PATSCHE: a. a. O. 35 ff. BROUGHTON: a. a. O. 93. 99. 104. 112.

¹¹⁵ Sall. hist. II 80 (MAURENBRECHER). Liv. per. XCII. XCV. Frontin. IV 1, 43. Festus brev. 7. Eutrop. VI 2. Amm. Marc. XXIX 5, 22. Auch die Dardaner *in Thracia* bei Liv. per.

¹¹⁶ Amm. Marc. 1. c.

¹¹⁷ Flor. I 39. Festus brev. 7. Eutrop. VI 2.

¹¹⁸ Iul. Obsequ. 59.

¹¹⁹ Festus brev. 7. Iord. Rom. 216.

¹²⁰ Gerade Festus pflegt geographische Kategorien seiner eigenen Zeit anzuwenden, vgl. brev. 7: *regio Savensis ac secundorum Pannoniorum loca, 9: ita ditioni rei publicae sex Thraciarum provinciae sunt conquestae...*

¹²¹ *Getarum fera gens etiam apud maiores fuit, nam ipsi sunt Moesii: quos Sallustius a Lucullo dicit esse superatos* Serv. ad Aen. VII 604 = Sall. hist. IV 18* (MAURENBRECHER). Daraus ist freilich nicht klar, ob Sallustius die Geten oder die Moeser genannt hat. Bei Appian. Illyr. 30 sind mit *Μυσοί* die Griechenstädte am Pontos gemeint.

¹²² Strabon VII 3.

Donau erreicht hat, ist es offenbar kein Zufall, dass gerade diesmal die Moesi auftauchen. Zu erklären ist nur, warum sie nicht schon früher, z. B. anlässlich des Alexanderfeldzuges gegen die Triballer genannt sind.

Die Skordisker werden dagegen weder in Zusammenhang mit Curio noch mit seinem Nachfolger Lucullus erwähnt. Dies ist um so auffälliger, als Curio auf seinen Weg zur Donau mit ihnen irgendwie wohl in Fühlung hätte kommen müssen. Die Nichterwähnung der Skordisker ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass Curio entweder die Donau östlich von den Skordiskern erreicht hatte,¹²³ oder aber die Skordisker von Scipio eine wahrhaft katastrophale Niederlage erlitten. Beides ist wahrscheinlich, zumal die Skordisker — abgesehen davon, dass sie noch einmal, von den Dakern geschlagen wurden — bis zum Ende des 1. Jh. nichts von sich hören liessen.¹²⁴

Seribonius Curio wurde von M. Terentius Varro Lucullus abgelöst,¹²⁵ der die Kämpfe fortgeführt hatte, und zwar zuerst nach Nordosten gegen die Besser und von dort vielleicht weiter ebenfalls bis zur Donau, denn auch er kam zu den Moesern.¹²⁶

Nachdem Scipio die Skordisker und Curio die Dardaner geschlagen hatten, war ein Jahrzehnt hindurch Ruhe an der Nordgrenze Makedoniens. Von den beiden Stämmen, die einst das ganze Gebiet von Makedonien bis zur Donau beherrschten, waren besonders die Skordisker in Rückgang begriffen. Als Mithridates 64 einen Feldzug mit Hilfe der Bastarnern¹²⁷ gegen Italien plante, werden die Skordisker nicht einmal erwähnt.¹²⁸ Das Auftreten der Moeser wird man daher auch mit dem Niedergang der Skordisker in Zusammenhang bringen dürfen. Die Dardaner sind bald zu sich gekommen. 62 schlugen sie C. Antonius Hybrida¹²⁹ und 57 plünderten sie in Makedonien.¹³⁰ Die Skordisker erlitten dagegen um die Mitte des Jahrhunderts eine neue Niederlage, als der Dakerkönig Boirebistas Thrakien und Makedonien «bis zu den Illyriern» plünderte.¹³¹ Zwar haben unter diesen Streifzügen wohl auch die Dar-

¹²³ so PATSCH: a. a. O. 35 f.

¹²⁴ Ein sonst unbekannter Lucullus ist nach Frontinus III 10, 7 gegen die Skordisker bei Heraclea gefallen. Diese Episode wird in die zweite Hälfte des 2. Jh. zu setzen sein, vgl. auch F. MÜNZER: RE XIII (1926) 372, 34–37. Heraclea war entweder die Sintica oder die Lyncestis.

¹²⁵ BROUGHTON: a. a. O. 118 f. 124.

¹²⁶ S. Ann. 121, und die Aufzählung der von Varro besiegten Völker bei Fest. brev. 9. T. S. noch Liv. per. XCVII. Eutrop. VI 7–8. Euseb. chron. 152 k (HELM) usw.

¹²⁷ Appian. Mithr. 109. 119. Die hier genannten Kelten waren die Bastarnen, vgl. Liv. per. CII, Appian. Mithr. 111 und vir. ill. 76, 8 über den Bastarner Bitoitus, der Mithridates getötet hat.

¹²⁸ Plut. Pomp. 41. Appian. Mithr. 102. 110. vgl. RE Suppl. IX 530.

¹²⁹ Cass. Dio XXXVIII 10. Iul. Obsequ. 61.

¹³⁰ Cic. pro Sestio 43 (94): *Thracibus ac Dardanis primum pacem maxima pecunia vendidisse, deinde, ut illi pecuniam conficere possent, vexandam iis Macedoniam et spoliandam tradidisse.*

¹³¹ Strabon VII 3, 11. vgl. Suet. Caes. 44.

daner gelitten,¹³² aber die Skordisker sind nach ihrer Niederlage Verbündete der Daker geworden,¹³³ das freilich eine Abhängigkeit bedeutete.

Die dakische Herrschaft südlich der Donau hat den Tod des Boirebistas wahrscheinlich etliche Jahre überdauert. Nach Caesars Ermordung wurde in Rom mit einem dakischen Einbruch in Makedonien gerechnet,¹³⁴ und auch der blosse Umstand, dass die Beteiligung von Dakern am Kampfe zwischen Octavianus und Antonius in Frage kam,¹³⁵ lässt auf die Nähe der Daker schliessen. Wir sind freilich nicht imstande, die Südgrenze der dakischen Herrschaft auf der Balkanhalbinsel genau anzugeben. Die Dardaner sind wohl bald wieder unabhängig geworden, weil sie 39 in Makedonien eingefallen sind.¹³⁶ Der Machtbereich der Daker ist auch aus der verhältnismässig eingehenden Beschreibung nicht zu erschliessen, die Cassius Dio von den Kriegen des M. Licinius Crassus gab.¹³⁷ Dieser Krieg brach 29 aus und wurde nach Dio¹³⁸ gegen die Daker und Bastarner geführt. In der Erzählung der Kämpfe ist aber von Dakern nicht mehr die Rede. Man darf daher eine Lücke im Bericht bzw. in den Quellen des Dio annehmen,¹³⁹ zumal wenigstens ein Dakersieg des Crassus nach anderen Quellen feststeht.¹⁴⁰ Selbst Dio versucht diese fühlbare Lücke irgendwie zu rechtfertigen, indem er meint, die Daker hätten an beiden Seiten der Donau gewohnt,¹⁴¹ nur hiessen die südlich der Donau, neben den Triballern wohnenden Daker *Μυσοί*, «ausgenommen diejenigen in der nächsten Nachbarschaft»,¹⁴² die also doch «Daker» hiessen. Aber er habe alles, auch die Namen so geschrieben, wie er sie in seinen Quellen vorfand,¹⁴³ nur hätten die Völker Moesiens ihre Namen gewechselt, und hiessen jetzt *Μυσοί*, ausgenommen die Triballer und Dardaner, die ihre alten Namen beibehalten haben.¹⁴⁴ Das Nichtvorkommen der Daker wollte also Dio mit einem Namenswechsel erklären. Aber er hat allerdings von Dakern südlich der Donau und auch vom blossen Fakt eines Dakerkrieges im Jahre 29 gewusst. Hinsichtlich der Daker

¹³² Die Daker als Nachbarvolk bei Appian. b. civ. II 110 (459) vor dem Tod des Caesar; den Dakerfeldzug wollte Caesar von Makedonien aus führen: Liv. per. CXVII: *bellum in Macedonia gesturus*.

¹³³ Strabon VII 5, 2: *τούτοις δὲ καὶ συμμάχοις ἐχρήσαντο πολλάκις*.

¹³⁴ Appian. b. civ. III 25.

¹³⁵ z. B. Suet. Aug. 63. Plut. Ant. 63. Cass. Dio LI 22, 8. Frontinus I 40, 4.

¹³⁶ Appian. b. civ. V 75.

¹³⁷ Cass. Dio LI 23–27.

¹³⁸ Cass. Dio LI 23, 2: *τοῖς τε Λακοῖς καὶ τοῖς Βαστάρνοις ἐπολέμησε*.

¹³⁹ Auch Liv. per. CXXXIV hat einen Bruch im Text gerade bei Crassus.

¹⁴⁰ Hor. earm. III 8, 18: *occidit Daci Cotisonis agmen*. Cotiso war trotz Suet. Aug. 63,2 König von Dakern und nicht von Geten, vgl. Flor. II 28, wo Cotisos Land zwischen Bergen, jenseits der Donau liegt.

¹⁴¹ Ebenso Strabon (VII 3, 13) über die Donau, die bis zu den Katarakten (= dem Eisernen Tor) *μάλιστα διὰ τῶν Λακῶν φέρεται*, dann bis zum Pontos neben (*παρά*) den Geten. *Διά* ist also hier im gewöhnlichen Sinn, und nicht als «entlang» (vgl. LIDDELL—SCOTT s. v. A, I 4: «along») zu übersetzen.

¹⁴² LI 22, 7: *καὶ Μυσοί, πλην παρὰ τοῖς πάνυ ἐπιχωρίοις, ὀνομάζονται*.

¹⁴³ LI 27, 2: *γράφω δὲ τὰ τε ἄλλα ὡς πον παραδέδοται, καὶ αὐτὰ τὰ ὀνόματα*.

¹⁴⁴ LI 27, 3.

lassen uns auch die übrigen Quellen¹⁴⁵ im Stich. Man kann leicht zum Verdacht kommen, dass der Dakersieg des Crassus irgendwie unterschlagen worden ist,¹⁴⁶ weil der zeitlich am nächsten gestandene Horatius noch unvoreingenommen darüber sprach.¹⁴⁷

Da 29 Cotiso besiegt wurde, dessen Herrschaftsgebiet am bergigen Uferabschnitt der Donau lag,¹⁴⁸ hat man das Recht anzunehmen, dass er ein Herrscher der südlich der Donau wohnenden Daker war. Crassus hat wohl diesen Dakerkönig aus dem Gebiet des späteren Obermösiens vertrieben.¹⁴⁹ Über die weiteren Erfolge des Crassus sind wir durch Dio gut unterrichtet. Die Bastarner haben die Triballer und Dardaner geschlagen und einen Teil des späteren Moesiens besetzt. Als sie die Dentheleten angriffen, kam Crassus diesen zur Hilfe, eroberte das Land der Serden (bei Dio Segetika) und kam plündernd ins Land der Moeser. Am Fluss Kedros (= Ciabrus, heute Cibrica) besiegte er die Bastarner, verfolgte sie mit Hilfe des Getenkönig Roles, schlug sie nochmals und kehrte zu den Moesern zurück, die nach wechselvollen Kämpfen ebenfalls eine Niederlage erlitten. Dann zog er sich vor dem Winter ins Land der Mäden und Serden zurück.

Im nächsten Jahr (28)¹⁵⁰ kämpfte Crassus in Westthrakien und nördlich vom Hämus. Bei einer nochmaligen Niederwerfung der aufständischen Moeser war er persönlich nicht zugegen.

Durch die Feldzüge des Crassus wurde ein grosser Teil des späteren Obermösiens pazifiziert.¹⁵¹ Weder Dardaner noch Moeser oder Triballer haben seither etwas von sich hören lassen. Nur die Skordisker fielen mit den Dentheleten zusammen im Jahre 16 in Makedonien ein.¹⁵² Es ist leicht möglich, dass die

¹⁴⁵ Liv. per. CXXXIV. CXXXV. Flor. II 26. Epit. I 7.

¹⁴⁶ Nach der üblichen Interpretation (vgl. A. STEIN: a. a. O. 10) hätte Dio LI 23, 2 mit *Δαχοί* die Geten gemeint. Aber die Niederlage Cotisos bleibt dann unerklärt bzw. auf innere Kämpfe bezogen, wogegen s. Flor. II 28 über das wahrscheinliche Weiterbestehen dieses Königtums bis zur Zeit des Lentulus-Feldzugs.

¹⁴⁷ Ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass das Verschweigen der Daker auf dieselben Erwägungen des Augustus zurückgeht, wie das Verweigern des Imperatorstitels (Dio LI 25, 2), der dem Crassus von seinem Heer in Makedonien bereits erteilt worden war (vgl. ILS 8810). Auch den Triumph hat Crassus nur über Thraken und Geten, nicht aber über Daker gefeiert (CIL I² p. 50. 77. 180). Da die Besiegung der Daker sozusagen zum politischen Vermächtnis Caesars gehörte (Suet. Caes. 44, Aug. 8) und dazu sogar der junge Octavianus ausgesehen war (*belli Getici commilito* Vell. Pat. II 59, 4), wollte Augustus einen Triumph über Daker sich selbst vorbehalten, oder wenigstens nicht gleich nach Actium einem Feldherrn gestatten, der ja zur Partei des Antonius gehörte und dem auch der Titel eines Imperators untersagt wurde, vgl. E. GROAG: RfE XIII (1926) 271 ff.

¹⁴⁸ Flor. II 28: *Daci montibus inhaerent. Inde Cotisonis regis imperio . . . decurrere solebant.*

¹⁴⁹ Die völlige Verdrängung der Daker aus dem Gebiet des späteren Obermösiens fällt nach Flor. II 28 in eine noch spätere Zeit.

¹⁵⁰ Dio erzählt die Feldzüge des Crassus so, als ob alles in einem Jahr (29) geschehen wäre. Die Zäsur des Winters geht aber aus LI 25, 2 klar hervor.

¹⁵¹ E. SWOBODA: Forschungen am obermösischen Limes (Schr. der Balkankommission, Antiqu. Abt. X, Wien 1939) 112 f.

¹⁵² Cass. Dio LIV 20, 3.

Skordisker durch Crassus von der Dakerherrschaft befreit wurden. Ihre Pazi- fikation erfolgte im Jahre 15, als sie am Ende des Jahres von Tiberius unter- jocht worden sind.¹⁵³ Die weitere Geschichte des Landes verlief im Rahmen einer allmählichen Provinzialisierung.

III

Dieser chronologische Überblick hat uns ermöglicht, eine gewisse Vor- stellung vom historischen Verlauf des Gebietes wenigstens in den letzten vier Jahrhunderten v. u. Z. haben zu können. Es stellte sich heraus, dass das Gebiet von Dardanern, Skordiskern und Moesern bewohnt oder beherrscht, und zeit- weise von Triballern, Autariaten, Kelten, Bastarnern und Dakern besetzt war, die sich einander in der Herrschaft ablösten, wobei für gewisse Zeitperioden die Vormachtstellung eines bestimmten Volkes festgestellt werden konnte. Im folgenden wollen wir diese Völker, soweit sie mit unserem Gebiet in Berüh- rung kamen, einzeln ins Auge fassen.

Triballi. Wie wir gesehen haben, waren die Triballer wohl bis ins 4. Jh. hinein Herren eines Gebietes, das von Herodotos τὸ πεδίον τὸ Τριβαλλικόν genannt wurde. Sie waren damals unmittelbare Nachbarn von Makedonien, und zwar recht gefährliche, wie dies aus einer Bemerkung des Dio Chrysosto- mos wenigstens im allgemeinen geschlossen werden darf.¹⁵⁴ Diese Nachbarschaft ist bei Plinius d. Ä. gemeint, wenn er Päonien und Pelagonien als zwischen den Triballern und Makedonien liegende Gebiete aufzählt.¹⁵⁵ Gerade diese beiden Länder waren spätestens seit der Mitte des 3. Jh. den Dardanereinfällen aus- gesetzt. Die Angabe stammt also aus früheren Zeiten, und zwar offenbar aus dem 5. Jh., weil die Dardaner bereits um die Mitte des 4. Jh. selbständig auf- traten (344), und die Triballer nie wieder so nahe zu Makedonien bezeugt werden. Die nördlich von den Dardanern liegenden Gebiete blieben vielleicht eine Zeitlang auch nach der Autariatenherrschaft in den Händen der Triballer, weil diese nach Appian¹⁵⁶ auch mit den Skordiskern zu kämpfen hatten, und auch noch später Nachbarn dieser keltischen Ankömmlinge waren.¹⁵⁷ Da wir nichts davon hören, dass die Skordisker ihre Herrschaft weiter östlich, auf das Stammgebiet der Triballer ausgedehnt haben, ist es wahrscheinlich, dass Skor- diskern und Triballer östlich der Morawa, etwa im Timoktal zusammenstiessen und dieser Zusammenstoß dann zur Verdrängung der Triballer führte.

¹⁵³ S. A. v. PREMIERSTEIN: JÖAI 1 (1898) Bbl. 158 f.

¹⁵⁴ II 9: ἐδούλενον καὶ Τριβαλλοῖς. (Alexander d. Gr. sagte seinem Vater).

¹⁵⁵ IV 81: (Macedonia) ... infestatur a Dardanis. partem eius septentrionalem Paeonia ac Pelagonia protegunt a Triballis.

¹⁵⁶ Appian. Illyr. 3.

¹⁵⁷ Strabon VII 5, 12.

Das Zentralgebiet der Triballer lag immer, auch im 5. Jh. weiter im Osten, wie das aus der Beschreibung des Thukydides¹⁵⁸ klar hervorgeht. In demselben Gebiet sind sie bis in die Kaiserzeit anzutreffen.¹⁵⁹ Die nordöstliche Ecke des späteren Obermösiens (die Umgebung von Vidin) blieb aber wahrscheinlich dauernd unter Triballerherrschaft, weil Moeser und Triballer durchwegs als Nachbarn genannt werden¹⁶⁰ und zwar oft so, dass es unklar bleibt, wer von den beiden östlich oder westlich wohnt.¹⁶¹ Die Triballer waren mit Thrakern und Moesern vermischt.¹⁶² Nur durch eine Triballerherrschaft über Moeser lässt sich erklären, warum die Moeser so spät auftraten und warum ein ziemlich fragwürdiges Triballerland irgendwo südlich der Donau und nördlich der Dardaner genannt wird. Dieses Triballerland dürfte vielleicht eine Erinnerung an das πεδίον sein, insofern Dio einen Teil der Dardaner dort wohnen lässt,¹⁶³ aber die unmittelbare Nachbarschaft von Triballern und Dardanern geht auch aus der Beschreibung des Plinius hervor,¹⁶⁴ die nichts mit den Umständen so früher Zeiten zu tun hat. Falls das πεδίον der Becken von Niš und das Nišavatal war,¹⁶⁵ dann ist es möglich, dass dieses Tal als ein Zankapfel von Triballern und Dardanern bald von diesen, bald von jenen besetzt wurde; zur Zeit des Crassusfeldzugs, worauf sich die Angabe Dios bezieht, war es in den Händen der Dardaner.

Autariatae. Ihre Herrschaft ist ins 4. Jh. zu setzen. Die Grösse ihres Machtgebietes lässt sich nicht genau bestimmen. Da sie aber nicht nur die Triballer besiegte, sondern auch andere, thrakische und illyrische Stämme¹⁶⁶ unterjocht hatten, dürfte es einen Zeitpunkt gegeben haben, als sie den grössten Teil des späteren Obermösiens unter sich hatten. Damals sind sie Nachbarn der Besser gewesen, und da diese zu gleicher Zeit auch Nachbarn der Dardaner waren,¹⁶⁷ ist es anzunehmen, dass die Dardaner nicht von den Autariaten besiegt worden sind.

¹⁵⁸ II 96: οἰκοῦσι δ' οὗτοι πρὸς βορέαν τοῦ Σκόμβρου ὄρους καὶ παρήκουσι πρὸς ἡλίου δύσει μέγρι τοῦ Ὀσζίου ποταμοῦ.

¹⁵⁹ Ptol. III 10, 4. Ihr Vorort Oescus III 10, 5. — Vgl. CIL V 1838 = ILS 1349. Problematisch bleibt ihre Erwähnung zum J. 109 bei Eutrop. IV 27, 5, s. Anm. 99.

¹⁶⁰ Strabon VII 3, 13; 5, 12. Cass. Dio LI 22. Plin. n. h. III 149. IV 3. PREMERSTEIN: a. a. O. 148 f.

¹⁶¹ Plin. IV 3: *Triballi . . . et Moesicae gentes*. Strabon VII 5, 12: Aufzählung der Völker von West nach Ost: Skordisker, Triballer, Mysen usw. vgl. Plin. III 149: *Dardani, Celegeri, Triballi, Timachi, Moesi, Thraces Pontoque contermini Scythae*.

¹⁶² τοῖς Θραξὶ καὶ τοῖς Μυσοῖς ἀναμεμῖχθαι Strabon VII 3, 13.

¹⁶³ LI 23, 3: τοὺς τε Ααρδάνους ἐν τῇ γῶρᾳ τῇ ἐκείνων (Τριβαλλῶν) οἰκοῦντας ἐχειρώσαντο.

¹⁶⁴ Plin. IV 3: *Dardanis iuxta Triballi praetenduntur latere et Moesicae gentes*. III 149: *Triballi, Timachi, Moesi*. Triballisch-moesische Nachbarschaft auch bei Dio LI 22, 7. s. auch PREMERSTEIN: a. a. O. 149.

¹⁶⁵ s. Anm. 4.

¹⁶⁶ ἐπήρξαν καὶ τῶν ἄλλων Θρακῶν τε καὶ Ἰλλυριῶν Strabon VII 5, 11.

¹⁶⁷ Strabon VII 5, 12: Βέσσοι . . . συνάπτοντες . . . τῶν Ἰλλυριῶν τοῖς τε Αὐταριάταις καὶ τοῖς Ααρδανίοις. Autariaten neben Dardanern auch VII 5, 1. 7. Frg. 4. des VII. Buches gibt die Himmelsrichtungen irrthümlich an: Päonien ist nicht vom Süden, sondern vom Norden mit den Dardanern benachbart. Nach Strabon:

Dardani. Ihre West-, Süd- und Ostgrenzen lassen sich aus den Quellen mit ziemlicher Sicherheit bestimmen.¹⁶⁸ Sie waren die nördlichen Nachbarn des hellenistischen Makedoniens,¹⁶⁹ oder richtiger eigentlich Nachbarn von Pelagonien und Päonien. Nach Westen war ihre Grenze etwa die heutige albanisch-jugoslawische Grenze mit der Šar-Planina,¹⁷⁰ nach Osten waren ihre Grenznachbarn die westthrakischen Mäden, Besser, Agrianern usw. Unbestimmbar bleibt die Nordgrenze, die offenbar ständigem Wechsel ausgesetzt war. Das schon erwähnte Triballerland, das um 29 v. u. Z. von Dardanern bewohnt war,¹⁷¹ weist vielleicht darauf hin, dass die Dardaner ihre Gebiete in nord-östlicher Richtung im Morawatal, vielleicht bis zum Timoktal ausgebreitet hatten.

Scordisci. Die unter diesem Namen¹⁷² entstandene keltische Macht dürfte anfänglich strukturell dem «Reich» von Tyllis¹⁷³ ähnlich gewesen sein, da beide aus ähnlichen Umständen hervorgegangen waren: eine keltische Schar hat sich als dünne Herrscherschicht behaupten, und teils durch die Ausbeutung der Bevölkerung, teils durch Raubzüge (auch Söldnertum) eine Art innere und äussere Stabilität erreichen können. Während aber Tyllis bald unterging, haben die Skordisker eine drei Jahrhunderte währende Herrschaft entfaltet. Dass dies ihnen gelang, und den Tyllenern nicht, ist ausser dem wohl beträchtlichen zahlenmässigen Unterschied darauf zurückzuführen, dass die Skordisker ein Gebiet mit starkem keltischen Hinterland besetzten. Die von der Balkanhalbinsel heimkehrenden Kelten waren dort auch nicht die ersten Kelten gewesen, die eine Herrschaft zu begründen versuchten.

Die grösste Ausdehnung der Skordiskermacht fällt in die zweite Hälfte des 2. Jh. Auf diese Zeit bezieht sich die Angabe Strabons, dass ihr Gebiet bis zu den Bergen Päoniens, der Illyrier und der Thraker reichte,¹⁷⁴ und dass

Päonien
Autariaten Dardaner Ardiäer
(Süd)

Wird dieses Schema auf den Kopf gestellt, dann haben wir die richtige Lage:

Ardiäer Dardaner Autariaten
Päonien
(Süd)

Dieses Schema ist freilich erst für die Zeit gültig, als die Autariaten bis zu den Westthrakern verdrängt waren, vgl. Anm. 32.

¹⁶⁸ Vgl. zuletzt F. PAPAZOGLU bei R. KATIČIĆ: in Symposium sur la délimitation territoriale et chronologique des illyriens. Sarajevo 1964. 46, M. GARAŠANIN: ebenda 154 f.

¹⁶⁹ Plin. IV 81. Cass. Dio XVIII frg. = Zon. IX 15, im Vardartal. Als ständige Feinde Makedoniens (auch der röm. Provinz): Iustin. XXIX 1, 10. Liv. XL 57, 6. Appian. b. civ. V 75 (320) und vielleicht bereits Thuk. IV 125.

¹⁷⁰ Strabon VII 5, 7. Die Šar-Planina bei Liv. XLIV 31.

¹⁷¹ Dio LJ 23, 3.

¹⁷² Von den antiken Etymologien (Hesych. s. v., Ptol. V 6, 8. Appian. Illyr. 2) hat vielleicht die aus dem Namen des *Scardus mons* einen historischen Kern.

¹⁷³ S. G. MIHAILOV: Athenaeum N. S. 39 (1961) 39 f.

¹⁷⁴ VII 5, 12: *μέχρι τῶν Ἰλλυρικῶν καὶ τῶν Παιονικῶν καὶ Θρακικῶν προῆλλον ὄρων.*

sie die Ardiäer, Denselen und Hybriener geschlagen und ihr Land verwüstet hatten.¹⁷⁵ Wie gesehen, waren damals auch die Dardaner unter ihrer Herrschaft. Es wäre verfehlt, dieses Machtgebiet einfach für einen keltischen Staat zu halten. Die ethnisch am Anfang wohl scharf abgeordnete Herrscherschicht, die diese Macht schuf, ging allmählich in die Urbevölkerung auf. Im 2. Jh. werden die eingefallenen Skordisker noch *Γαλάται* genannt,¹⁷⁶ aber nicht viel später werden sie für ein illyrisch-thrakisches Mischvolk gehalten.¹⁷⁷ Es ist auch nicht wahrscheinlich, dass sie immer eine einheitliche Macht unter einem Haupt darstellten. Strabon unterscheidet die «Kleinen» und die «Grossen» Skordisker.¹⁷⁸ Die «Kleinen» Skordisker wohnten östlich der Morawa bis zu den Moesern und Triballern. Es ist daher nicht unwahrscheinlich, dass die Streifzüge und Eroberungen von den «Grossen» ausgingen, und die «Kleinen» bloss das Gebiet zwischen Morawa und Timok innehatten.

Moesi. Sie werden erst 76/72 greifbar, aber auch dann nur in Quellen von zweifelhaftem Wert.¹⁷⁹ Die Tatsache ihres Auftauchens darf indessen nicht geleugnet werden, weil Poseidonios gerade zu dieser Zeit die Frage stellte, ob in der Ilias N 5 mit *Μυσῶν τ' ἀγχεμάχων καὶ ἀγανῶν Ἰππημολγῶν* die *Μοισοί* in Thrakien gemeint waren.¹⁸⁰ Nach der Bejahung der Frage schlug Poseidonios sogar vor, den Text auf *Μοισῶν τ' ἀγχεμάχων* zu ändern.¹⁸¹ Strabon widmet den Mysen bei Homeros neun Kapitel,¹⁸² die wohl grösstenteils auf den Gedankengang des Poseidonios beruhen. Sein vielleicht einziges selbständiges Argument ist die Übersiedlung von Geten nach dem Südufer der Donau auf die Initiative des Aelius Catus: die Übersiedelten wohnen auch jetzt dort und hiessen *Μοισοί*.¹⁸³ Das ist für Strabon das Argument dafür, dass es auch in Europa Mysen gibt. Es ist auffallend, wie wenig er (oder Poseidonios) über die Moeser unterrichtet war. Er weiss eigentlich nur soviel, dass dieses Volk beiderseits der Donau lebt, und *Μοισοί* (nicht *Μυσοί*) heisst. Die Ilias liefert aber den Beweis, dass sie ursprünglich *Μυσοί* waren und erst unlängst umgenannt wurden.¹⁸⁴ Er schreibt über die Urverwandtschaft verschiedener Balkanvölker mit Kleinasiaten (die Dardaner werden nicht erwähnt),¹⁸⁵ aber über Geschichte, Lage, Nachbarn usw. der europäischen Mysen weiss er nur soviel, dass sie bei den Skordiskern und Triballern wohnen.¹⁸⁶ Sie werden von Strabon

¹⁷⁵ VII 5, 12. Zu den Eroberungen nach Westen und Nordosten s. RE Suppl. IX 527 f.

¹⁷⁶ z. B. DITTENBERGER: Syll.³ 700. 710.

¹⁷⁷ Strabon VII 3, 2. 11; 5, 2, nach Poseidonios.

¹⁷⁸ Strabon VII 5, 12.

¹⁷⁹ S. Anm. 119–121.

¹⁸⁰ Strabon VII 3, 2.

¹⁸¹ Strabon VII 3, 3.

¹⁸² Strabon VII 3, 2–10.

¹⁸³ Strabon VII 3, 10.

¹⁸⁴ VII 3, 2. 4. XII 3, 3. *μετωνομάσθαι δὲ καὶ νῦν*.

¹⁸⁵ VII 3, 2.

¹⁸⁶ VII 5, 12.

auch nicht aufgezählt unter den Völkern, die einst im nördlichen Balkan eine führende Rolle gespielt hatten, obwohl diese Aufzählung trotz ihrer Kürze nichts wesentliches ausser acht gelassen hat.¹⁸⁷ Dies alles deutet darauf hin, dass die Moeser in der Tat erst am Anfang des 1. Jh. bekannt geworden sind, und damals ein sehr unbedeutendes Volk waren, das die Aufmerksamkeit des Poseidonios nur durch ihren Namen erwecken konnten. Hat doch kurz vor Poseidonios Apollodoros in seinem Kommentar zu Homer Anstoss genommen, wie die *Μυσοί* Ilias N 5 auf die Mysen in Asien bezogen werden können.¹⁸⁸ Wären ja die Moeser an der Donau irgendwie schon früher hervorgetreten sein, dann hätte man doch in der langen Beweisführung Strabons (bzw. des Poseidonios) wenigstens einen der früheren Gewährsmänner, der von Moesern in Europa gewusst hatte, erwähnt finden sollen. Triballer, Geten, Bastarner, Skythen, Skordisker, ja sogar Daker waren als Völker der unteren Donau schon längst bekannt. Die Nichterwähnung der Moeser lässt sich also nicht allein dadurch erklären, dass erst Scribonius Curio zu ihnen gelangte; der wahre Grund darf vielmehr darin gesucht werden, dass die Moeser zwischen Skordiskern, Triballern, Geten und Dardanern ihrer politischen Selbständigkeit beraubt lebten und diese erst sehr spät wiedergewinnen konnten.¹⁸⁹

Ihre Existenz in früheren Zeiten darf nicht bezweifelt werden. Zunächst ist Ilias N 5 in der Tat nicht anders auszulegen,¹⁹⁰ aber auch in einem Hellenikosfragment dürften sie gemeint gewesen sein.¹⁹¹ Sie gehörten demnach einer älteren Schicht der Balkanvölker, die von den jüngeren Schichten der Triballer, Skordisker und Geten überlagert waren.¹⁹²

Die Wohnsitze der Moeser lassen sich verhältnismässig gut umgrenzen. Crassus traf sie zum erstenmal, bevor er zum Flüsschen Cibrica kam.¹⁹³ Sie besetzten den nordöstlichen Teil des späteren Obermösiens¹⁹⁴ mit dem Vorort Ratiaria.¹⁹⁵ Die spätere Grenze zwischen Ober- und Untermösien fiel offenbar

¹⁸⁷ VII 5, 6: Kelten: Boier, Skordisker. Illyrier: Autariaten, Ardiäer, Dardaner. Thraker: Triballer.

¹⁸⁸ VII 3, 10: ἢ τοὺς ἐν τῇ Ἀσίᾳ δέχεται. Daraus kann ich nicht herauslesen, dass Apollodoros etwas von den europäischen Mysen gewusst hätte. Asiatische und europäische Mysen wären nach E. THRAEMER: Pergamos, Leipzig 1888. 306 ff. 386. bereits durch die pergamenische Schule in einen genetischen Zusammenhang gebracht worden. Aber auch noch Poseidonios hat nur über *Μυσοί* in Europa gewusst (schlug ja diese Schreibart in Il. N 5 vor) und erst von oder nach ihm wurden die Mysen und Moeser gleichgesetzt. Ob die Pergamener auf Grund von einigen uns unbekanntem Angaben (vgl. Hellenikos, Anm. 191) zu dieser Gleichung hätten gekommen sein, steht freilich aus.

¹⁸⁹ S. schon ZIPPEL: a. a. O. 178.

¹⁹⁰ Diese Auslegung ist dann Gemeinplatz geworden, s. z. B. Dio Chrysost. XII 16.

¹⁹¹ FrGrHist I, frg. 74 = Steph. Byz. p. 427 (ΜΕΙΝΕΚΕ): Μακεδόνας [τοῦ] Αἰόλου, [ἀφ'] οὗ νῦν Μακεδόνες καλοῦνται, μόνοι μετὰ Μυσῶν τότε οἰκοῦντες.

¹⁹² Vielleicht eine Erinnerung daran bei Cass. Dio LI 27, 2: Τὸ μὲν γὰρ πάλαι Μυσοί τε καὶ Γέται πᾶσαν τὴν μεταξὺ τοῦ τε Αἰμου καὶ τοῦ Ἰστρου οὖσαν ἐνέμιοντο.

¹⁹³ Cass. Dio LI 24, 1, und Anm. 194.

¹⁹⁴ Ptol. III 9, 2: πρὸς τῷ Κιάβρω.

¹⁹⁵ Ptol. III 9, 3: Ῥατιαρία Μυσῶν.

mit der Grenze zwischen den *civitates peregrinae* der Moeser und Triballer¹⁹⁶ zusammen. Die Westgrenze in der Zeit der Provinz war vielleicht die Stara Planina, weil Plinius einen anderen Stamm als Bewohner des Timoktals nennt.¹⁹⁷ Da in dieser Aufzählung die Skordisker nicht erwähnt werden, darf man die Celegeri für die Reste der «Grossen» und die Timachi für die Reste der «Kleinen» Skordisker halten.¹⁹⁸ Eine andere, auf ältere Quellen zurückgehende Völkerliste des Plinius kennt die Celegeri und Timachi noch nicht, an ihrer Stelle nennt er die *Moesicae gentes*,¹⁹⁹ woraus sich vermuten lässt, dass die Moesi etwa in der Zeit des Crassus auch das Timoktal unter sich hatten.²⁰⁰ Anlässlich des Crassusfeldzuges traten ja die Skordisker nicht auf und so ist keinesfalls unwahrscheinlich, dass die «Kleinen Skordisker» am Ende des 1. Jh. unter die Herrschaft der Moeser kamen oder unter dem Namen *Moesi* die Selbständigkeit erfochten haben; dann waren aber die Moeser des Crassus ein ziemlich bedeutendes Volk zwischen der Morawa und der Cibrica: die zuletzt entstandene politische Formation im Gebiet des späteren Obermösien.²⁰¹

IV

Es hat sich ein ziemlich komplizierter Verlauf ergeben, der den häufigen Wechsel in der Hegemonie verschiedener Völker bzw. Stämme widerspiegelt. Die führenden Völker waren zuerst die Triballer, dann die Autariaten und neben ihnen bereits die Dardaner; im 4. Jh. haben die Kelten der Herrschaft der Autariaten ein Ende gemacht und am Anfang des 3. Jh. im Norden die neue politische Formation der Skordisker geschaffen. Im 3. Jh. haben die Dardaner die führende Rolle gespielt. Im 2. Jh. vereinigten die Skordisker das ganze Gebiet unter sich. Am Anfang des 1. Jh. haben Dardaner und Moeser ihre Selbständigkeit wiedergewonnen, die Skordisker erlagen dagegen zuerst den Römern, dann den Dakern. Die Daker wurden im letzten Drittel des 1. Jh. aus dem Land vertrieben, worauf es in drei Machtgebiete zerfiel: Dardaner, Skordisker und Moeser. Wir haben versucht, diesen Prozess auch graphisch anschaulich zu machen (Abb. 2).

¹⁹⁶ Ein gemeinsamer Präfekt beider *civitates* im frühen 1. Jh. u. Z. CIL V 1838 = ILS 1349.

¹⁹⁷ Plin. n. h. III 149: *In ea (sc. Moesia) Dardani Celegeri Triballi Timachi Moesi Thracis Pontoque contermini Scythae.*

¹⁹⁸ G. ALFÖLDY: Acta Antiqua ASH 12 (1964) 107 f.

¹⁹⁹ IV 3: *Dardanis laevo Triballi praeferuntur litere et Moesicae gentes.*

²⁰⁰ Mit *Mysae gentes* bei Ovid. ex Ponto IV 9, 77 waren m. E. die *Moesicae gentes* des Plin. gemeint.

²⁰¹ Damit lässt sich wohl erklären, warum die Provinz gerade nach den am wenigsten bekannten (allerdings zentral gelegenen) Moesern, nicht aber nach den Dardanern, Triballern oder Geten benannt wurde. Dass das Ethnikon *Μοισοί* auf die Bewohner der ganzen Provinz übergang, hat schon Cass. Dio gewusst (LI 27, 3) vgl. noch Appian. Ilyr. 29 u. a. m.

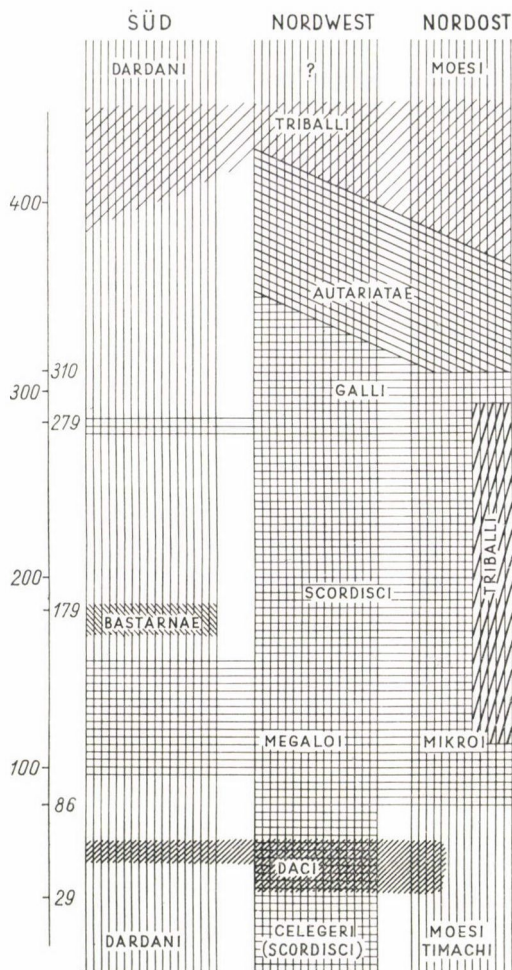


Abb. 2

Das Land war bis zum Erstarken der Skordischer Randgebiet einer östlichen (Triballer), später einer westlichen (Autariaten) Macht. Erst zur Zeit des Höhepunktes der Skordischerherrschaft lag das Zentrum im Lande. Am Vorabend der römischen Besitzergreifung war die politische Hoheit zersplittert.

Welche Stämme in einem gewissen Zeitabschnitt die führende Rolle spielten, liess sich entweder durch ihr aufeinander folgendes und ausschliessliches Auftreten bei kriegerischen Aktionen oder durch direkte Angaben feststellen. Die direkten Angaben haben die indirekt erschlossenen Hegemonieperioden bestätigt oder das gewonnene Bild ergänzt. Dabei blieb aber meistens unerklärt, wie man diese Hegemonie in den einzelnen Fällen genauer vorzustellen hat. Es dürfte sich ja um Stammesbünde gleichberechtigter Völkerschaften,

um Söldnertum (Bastarner), um Söldnertum auf Grund einer durch Niederlage entstandenen Abhängigkeit (Skordisker unter Dakern), um Unterjochung und Besetzung u. ä. m. gehandelt haben. Es lässt sich zumeist auch nicht entscheiden, ob ein Abhängigkeitsverhältnis mit der Besetzung des Landes verbunden war und wie stark diese Besetzungen im Verhältnis zur ortsansässigen Bevölkerung waren. Ein Blick auf den Verlauf der vier Jahrhunderte (vgl. Abb. 2) macht aber gewisse Typen von politischen Formationen wahrscheinlich.

Es ist anzunehmen, dass die relativen Urbewohner²⁰² des Landes im Süden die Dardaner und im Nordosten die Moeser (Mysen) waren. Sie gehörten nämlich zu jener Schicht der antiken Balkanvölker, deren Namen in Nordwestkleinasien genaue oder nahe Parallelen haben, das bereits den Alten aufgefallen ist.²⁰³ Einige Mitglieder dieser Völkergruppe sind in den Quellen beträchtlich früher als die Moeser und die Dardaner bezeugt, aber die asiatischen Parallelvölker der Dardaner und Moeser sind bereits in der Ilias und sogar in den altorientalischen Quellen des 2. Jahrhunderts vor u. Z. bezeugt. Ungewiss ist die Urbewohnerschaft des von den Skordiskern besetzten nordwestlichen Gebiets. Hier könnten als Nachbarvolk auch die Pannonier in Frage kommen. Aber auch mit den Angaben über *Σίγυρνοι*, *Σινδοί* und *Καυλιζοί*²⁰⁴ ist kaum etwas anzufangen.

Was nun das Endergebnis einer vierhundertjährigen Entwicklung betrifft, haben die Dardaner sich immer unter ihrem alten Namen behauptet. Weder die Triballer noch die Kelten und Bastarner haben irgendeine Desintegration ihres Stammes in Gang gesetzt und auch die Skordiskerherrschaft im 2. Jh. scheint keine nachhaltige Wirkung ausgeübt zu haben. Anders hat sich die Lage im Nordwesten gestaltet. Die keltische Herrschaft hat das Stadium einer blossen Unterjochung überwunden und eine Synthese von keltischen Eroberern und nichtkeltischen Urbewohnern zustande gebracht. Das keltische Element ging allmählich im Einheimischen auf, ohne dass der keltische Name des Volkes aufgegeben wurde.²⁰⁵ Dies ging offenbar nicht ohne

²⁰² Das heisst, die ältesten dem Namen nach bekannten Bewohner, die freilich aus ebenso komplizierten Vorgängen hervorkamen, wie ihre Nachfolger. «Urbewölkerung» als eine sprachlich, anthropologisch und kulturell «reine» Menschengruppe gab es nie.

²⁰³ Strabon VII 3, 2 zählt einige auf (Dardaner nicht). Über Dardaner s. z. B. Solinus II 51: *homines ex Troiana prosapia in mores barbaros efferati*. Übereinstimmungen von troianischen und thrakischen Namen Strabon XIII 1, 21 (*πολλὰ δ' ὁμοωνμίας Θραξί και Τρωσίν*) Eine diesbezügliche Anekdote bei Herodot. V 12–14 über eine Päonerin, die dem Dareios bei Sardes aufgefallen ist, wird Const. Porphy. de them. I 3 (3, 23, 3 Bonn) auf eine Myserin aus Thrakien übertragen. Die Anekdote selbst ist ethnographisch interessant, weil die gehend spinnende Frau mit Korb am Kopf und mit dem Zügel des Pferdes am Gürtel bis heute in einigen Teilen der Balkanhalbinsel eine typische Erscheinung ist.

²⁰⁴ Herodot. V 9. Apoll. Rhod. IV 320. 324. Hekat. frg. 60 (MÜLLER) = FrGrHist 92 = 101 (NENCI). Zu den Sindi s. jetzt die geistreiche Hypothese von M. GARAŠANIN: Zbornik filosofskog fakulteta (Beograd) VII/1 (1963) 45 ff.

²⁰⁵ Das soll freilich nicht bedeuten, dass die keltische Technik, und vieles andere dadurch verloren ging. Diesbezüglich s. die La-Tène-Funde in Nordserbien M. GARAŠANIN: A P. Bosch-Gimpera (México 1963) 176 ff. Im vorliegenden Aufsatz gingen wir von den

innere Kämpfe und Krisen vor sich — aber dafür stand das 3. Jh. zur Verfügung.

Nach Theopompos²⁰⁶ hatten die Autariaten 300 000 Untertanen, «gleichsam Heloten». Nach Agatharchides²⁰⁷ hatten manche Dardaner — wohl in der Zeit des Höhepunktes ihrer Macht am Endes des 3. Jh. — 1000 «Sklaven», eigentlich eine Art von Leibeigenen, weil sie diese ausser für Ackerbau auch als Krieger verwendet hatten. Diese Fälle zeugen von einer Art der Unterjochung, die wahrscheinlich häufig vorkam. Die Triballer haben nach Strabon²⁰⁸ zu ähnlichen Zwecken Eroberungszüge geführt. Die Kelten traten ebenso auf. Das Beispiel der Skordisker deutet aber darauf hin, dass diese sozial und ethnisch sehr straff zweigeteilte Gesellschaft imstande war, unter günstigen Umständen aufgelockert zu werden. War dies nicht der Fall, dann hat ein neuer kriegslustiger Stamm das alte Herrenvolk leicht vertrieben und abgelöst. In diesen Fällen kam es vor, dass die vertriebene Herrscherschicht aufbrach und anderswo Wohnsitze bzw. zu unterjochende Völker suchte, wie die Triballer um Abdera, und die Autariaten nach dem Sieg der Kelten. War eine Herrscherschicht fest eingebettet, dann hat sie auch weitere Eroberungen versucht, wie die Kelten am Anfang des 3. Jh. Gelang so ein Streifzug, dann gab es zwei Möglichkeiten: Herrschaft nach dem Muster der Triballer und Autariaten oder nach dem der Skordisker.

Eine Niederlage konnte auch zu einem Bündnis führen, das eine mildere Art der Unterjochung war. So sind die Skordisker *σύμμαχοι* der Daker, oder einige westthrakische Stämme Verbündete von Dardanern und Skordiskern geworden, wobei jedoch nicht zu vergessen ist, dass infolge eines grossangelegten römischen Feldzugs zeitweilige Bündnisse auch unter gleichgestellten Stämmen zustande kommen konnten.

Ein weiteres Merkmal dieser auf Stammesgesellschaft aufgebauten politischen Formationen war der Partikularismus. Hierfür liefern die «Grossen», die «Kleinen» und die Celegeri bei den Skordiskern, die Galabrioi und die Thunatai bei den Dardanern²⁰⁹ und die Timachi bei den Moesern einen klaren Beweis. Dieser Partikularismus, der sonst ein wesentlicher Zug der Barbaren war,²¹⁰ darf in unserem Falle auch auf die Wirkung der benachbarten makedonischen bzw. römischen Macht zurückgeführt werden, besonders wenn auch die gegenseitigen Beziehungen der Barbarenvölker eine Veränderung erfahren hatten.

Schriftquellen aus und haben die Bodenfunde nicht zu Wort kommen lassen. Ein Überblick über das vorderhand sehr dürftige Fundmaterial der behandelten Periode s. M. GARAŠANIN: *ŽIVA Antika* 8 (1958) 121 ff.

²⁰⁶ s. Anm. 15.

²⁰⁷ Athen. VI p. 272.

²⁰⁸ VII 3, 13: *μεταναστάσεις γὰρ δέδεκται, τῶν πλησιοχώρων ἐς τοὺς ἀσθενεστέρους ἐξαναστάτων.*

²⁰⁹ Strabon VII 5, 7.

²¹⁰ vgl. die *ἀναρχία* der Pannonii Appian. *Illyr.* 22, der Daker z. B. Strabon VII 3, 11.

Es fällt nämlich auf, dass die «wilderer» Formen der Herrschaft für die früheren Zeiten bezeichnend waren, wie die auf ethnische Sonderung aufgebaute Herrschaft der Triballer, Autariaten, Kelten und Dardaner. Ein Volk unternahm Streifzüge, und wenn diese mit Erfolg begleitet waren, dann führten sie zur Unterjochung anderer Völker. Bündnisse werden erst später, etwa seit dem Eintritt in die mittelmeerländische Politik üblich, und am Ende führt eine Niederlage fast regelmässig zu einem Bündnis und zu einer Waffengemeinschaft. Ein sozialer Fortschritt war das keineswegs. Sobald die Griechen und besonders die Römer die Balkanvölker in ihre Politik einbezogen hatten, war ein qualitativ neues Element im politischen Leben dieser Völker aufgetaucht. Dadurch wurden die politischen Beziehungen wesentlich beeinflusst. Im Hintergrund aller politischen Handlungen der Skordischer, Dardaner und Daker standen — sozusagen als letzte Instanz — die Makedonen bzw. die Römer. Unter solchen Umständen war es nicht mehr möglich, auf eigene Faust und rücksichtslos vorzugehen. Grausamkeit war immer mehr ein Privileg der Römer geworden,²¹¹ und die schwebende politische Lage war für Bildungen grösserer politischer Formationen nicht günstig. So wird uns auch die Tendenz zum Partikularismus begreiflich. Standen am Anfang des geschilderten Ablaufes die Triballer als einziges Volk mit einem riesigen Machtgebiet, so stehen an seinem Ende kleine und grosse Skordischer, Celegeri, Timachi, Moesi und Dardani entweder unbedeutend klein oder besiegt und geschlagen nebeneinander. Es versteht sich, dass nicht viel später zur Organisation der Provinz Moesia keine kriegerischen Operationen grösseren Ausmasses mehr nötig waren.

²¹¹ Abhauen der Hände von Gefangenen: Amm. Marc. XXIX 5, 22 (Scribonius Curio), Cass. Dio LI 25, 4 (Licinius Crassus).

THE RISE OF THE PATRICIAN—PLEBEIAN STATE

There was a period of less than eighty years from the Decemviral legislation, the first codification of the laws binding both patricians and plebeians and thus signifying the unity of the state founded on a class society¹, until the *leges Liciniae Sextiae* which lay down the foundations of the patrician-plebeian state.² According to tradition based on the data of the annalists, the *leges Liciniae Sextiae* re-established the consular constitution and by recognizing the claims of the *plebs* to one of the offices of consul, the way was opened for the political equality of the plebeians. After receiving the office of consul, the *plebs* very quickly obtained the right of filling the rest of the magistracies. In 356 B. C. a plebeian dictator was first appointed and the first censor of plebeian origin took office in 351. In 339 the *leges Publiliae Philonis* declared that one of the censors must be plebeian but even both censors may be plebeian.³ In 336 the office of praetor was also opened to the *plebs*. One year later an agreement was made among the minor magistrates concerning the office of curule aedile founded in 367 and originally held only by patricians. Accordingly the curule aediles should be chosen in alternate years from the *patres* and the *plebs*.⁴ The struggle of the *plebs* for the conquest of the priestly colleges lasted the longest. Only the generation following the *leges Liciniae Sextiae* witnessed the success of the *plebs*. In 300, according to the decree of the *lex Ogulnia*, the great priestly colleges of the *pontifices* and *augures* were opened to the *plebs*, too.⁵

¹ Cf. ALTHEIM: RG II. 1953. 228., RG I. (Sammlung Göschen. 19.). 1956. 60. HEUSS: RG, Braunschweig, 1960, 18. BERNARDI: Patrizi e plebei nella costituzione della primitiva repubblica romana, Rendiconti dell'Istituto lomb. di Scienze e lettere LXXIX. 1945-46. 3.

² Cf. v. FRITZ: The reorganization of the Roman government in 366 B. C. and the so-called Licinian Sextian Laws. Historia I, 1950. 3., v. LÜBTOW: Das römische Volk, Frankfurt a. M. 1955 222., E. MEYER: Römischer Staat u. Staatsgedanke, Zürich, 1961.² 42 and 72.

³ Cf. DE SANCTIS: Storia dei Romani II. 218., DE FRANCISCI: Storia del diritto romano. I.² 276., or v. LÜBTOW: Das röm. Volk, 1955, 222.

⁴ For the listing of the sources and their evaluation: DE SANCTIS: Storia II. 219., DE FRANCISCI: Storia del dir. rom. I.² 275.

⁵ Cf. DE SANCTIS: Storia II. 223.

The epoch-marking significance of the Licinio-Sextian laws was un-animously admitted by Roman historiography and it is because of this that modern histories of antiquity have begun to focus on it.^{5a} Two points have made modern critical historiography suspicious about the authenticity of the Licinio-Sextian laws: the series of legends surrounding the origin of these laws in Roman tradition and, even more so, the circumstance that the stipulations of these laws became reality only after long social struggles (as proved by the Roman annalists). Niebuhr, the founder of philological-critical historiography, already noticed that the course of development beginning with the *leges Liciniae Sextiae* and bringing about the recognition of the right of the *plebs* to hold office mainly affected the upper plebeian strata.⁶ Mommsen, just like Niebuhr, placed high significance on the value of the Licinio-Sextian laws and stated that Roman society and the aristocratic character of the institutions did not change in the development following these laws.⁷ Lange, too, did not miss the break of the plebeian aristocracy with the lower plebeian strata.⁸ At the end of the last century the hypercritical radicals went so far as to completely deny the authenticity of tradition concerning the *leges Liciniae Sextiae* and they considered the debt laws and the laws stating the upper limits of landed property as the forerunner of the laws of the Gracchan period.⁹ The authenticity of these latter were doubted even by the reputed representatives of conservative historiography.¹⁰ The views of recent researchers still differ as to the significance and authenticity of the *leges Liciniae Sextiae*, but the number is steadily increasing of those who, accepting the stand of the Livian tradition, regard these laws as the products of a uniform legislative creation and support their authenticity.¹¹ However, recent research in accordance with the results of Gelzer,¹² Münzer,¹³ Siber,¹⁴ and Hoffmann¹⁵ — fully agree that at the time of the *leges Liciniae Sextiae* it is impossible to speak about the *plebs* as a united class.

The stratification of the *plebs* probably began in the first century of the Republic. The office holders of the *plebs*, the plebeian tribunes and their

^{5a} Cf. MASHKIN: История древнего Рима p. 95.

⁶ RG III. (ed. ISLER) Berlin, 1874. 39, *passim*.

⁷ RG I.¹³ 1923. 296; 783: «Der Sturz des Junkertums (sc. Patriziats) nahm dem römischen Gemeinwesen seinen aristokratischen Charakter keineswegs.» Cf. GELZER: Die Nobilität d. röm. Republik, Kleine Schriften I. Wiesbaden, 1962. 19.

⁸ LANGE: Röm. Altertümer II. 1962. 20.

⁹ Cf. PAIS: Storia di Roma I. 2. 136., Storia di Roma IV. 1928. 106., NIESE — HOHL: Grundriss d. röm. Gesch. 64., BELOCH: RG 343.

¹⁰ Cf. DE SANCTIS: Storia II. 216., JONES: CAH VII. 526.

¹¹ Cf. ALTHEIM: Italien und Rom II. 368. RG II. 360., RG I. (Sammlung Göschel) 70., v. LÜBTOW: Das röm. Volk, 222. SIBER to an extent still holds to his opposite views: Die plebejischen Magistraturen (Leipziger Rechtswissenschaftl. Studien, 100.) Leipzig, 1938. 57, and Plebs, 150. v. FRITZ: Historia I. 1950. 11.

¹² Die Nobilität d. röm. Republik, Kl. Schr. I. 17.

¹³ Römische Adelsp. u. Adelsf., Stuttgart, 1920. 8.

¹⁴ Plebs, RE XXI. 1. 1951. 120.

¹⁵ Plebs, RE XXI. 1. 1951. 80.

aides, the aediles, as well as those possessing larger landed property (from among whom the former rose) after a time came to acquire a privileged status within the *plebs*. This «class élite» constituted the leaders of the struggles of the *plebs* and those distinguished families more closely related to the patricians following the *lex Canuleia* (445 B. C.) are also from among them. The appearance of individuals originating from the plebeian élite among the *tribuni militum consulari potestate* marked the changing of the times already from the beginning of the 4th century B. C., i.e., the diminishing number of patrician clans were unable to further preserve their monopoly of power.¹⁶ Although the *plebs* were already very stratified in this period, until the passage of the *leges Liciniae Sextiae*, they fought against the patricians, politically — speaking, as a unified class. The financial status of the leading stratum of the *plebs* was closer to the large land-owning patricians than to the class it headed at the time of the passage of the *leges Liciniae Sextiae*. The poorer strata of the *plebs* — contrary to the plebeian élite — did not oppose the patricians for trying to take their power away, but they fought because of their depressing economic status. The lower plebeian strata wanted protection against the excess economic power of the patrician large estates and they wanted to eliminate the threat of interest slavery. The plebeian aristocracy knew how to take advantage of the pressure of the lower strata on the patricians in order to further advance their goals in power politics. They knew that without the support of the plebeian masses they had no hopes of breaking down the stubborn isolation of the patricians and therefore they were willing to reconcile — at least temporarily — their own political goals with the social concessions to be given to the poorer strata of the *plebs*. This political guideline was expressed in the *leges Liciniae Sextiae*. Besides the law bringing the attempts of the plebeian aristocracy to fruition by making the office of *consul* accessible, the plebeian aristocracy forced the passage of the laws to reduce debts and to set the upper limits of the sizes of estates — although these latter interfered with the interests not only of the patricians but also of the plebeian aristocracy.¹⁷ The extent to which the plebeian aristocracy did not agree with the laws they proposed is clearly shown by the case of C. Licinius Stolo, one of the proposers of the *leges Liciniae Sextiae*, who was given a heavy fine in 357 for violating the law concerning the size of estates.¹⁸ After achieving the *leges Liciniae Sextiae* the plebeian aristocracy could enjoy its victory for a short time only. The causes which temporarily aided the patrician reaction to victory deserve attention especially because they have

¹⁶ Cf. DE FRANCISCI: *Storia del dir. rom.* I.² 269., HOFFMANN: *op. cit.* 81., v. LÜBTOW: *Das röm. Volk.* 226.

¹⁷ v. LÜBTOW: *Das röm. Volk.* 226.

¹⁸ Liv. VII. 16. 9.: *Eodem anno C. Licinius Stolo a M. Popillio Laenate sua lege decem milibus aeris est damnatus, quod mille iugerum agri cum filio possideret emancipandoque filium fraudem legi fecisset.*

not yet been adequately examined by research.¹⁹ The grave situation in foreign politics which disturbed the usual course of constitutional life evidently played an essential role in the revival of the old, experienced, patrician government²⁰ which was becoming prominent. Even more essential was the circumstance that the great part of the patricians strongly opposed the *leges Liciniae Sextiae* from the beginning; this opposition, which mainly consisted of the old patrician aristocracy, only waited for the proper chance to step in and take over the power. The annalists, who take every opportunity to call attention to the anti-plebeian attitude of the Claudius clan, mention Appius Claudius Crassus Inregillensis who was strongly opposed to the *rogationes* of Licinius-Sextius²¹ already during the internal struggles surrounding the *leges Liciniae Sextiae*. Here it is not my intention to closely examine the authenticity of these data, but let me mention that with the exception of the Aemilii almost the entire patrician aristocracy opposed the policy of compromise with the *plebs* a few years after the *leges Liciniae Sextiae*. Although the Fabii and Sulpicii temporarily supported the plebeian aristocracy (in case of the Fabii their family ties to the Licinii have to be considered²²), this political sympathy could not have been too strong as it was to be proved in less than ten years after the passage of the *leges Liciniae Sextiae*. In 355 the previously pro-plebeian Sulpicius Peticus took office together with the patrician consul (M. Valerius) in violation of the *leges Liciniae Sextiae*.²³ Almost simultaneously the plebeian families of the Licinii, Sextii and Genucii, who led the compromise with the patricians, vanished from public life and we find the names of new plebeian families in the Fasti. These new leading plebeian families, the Popillii, Plautii and Marcii, closely co-operate with the patrician aristocracy and pave their way back to power. Their reward is of course not forgotten. In 356 a plebeian first holds the office of dictator and this plebeian happens to be C. Marcius Rutilus who in the previous year together with Cn. Manlius Capitolinus Imperiosus filled the consulship to the satisfaction of the patrician aristocracy. There is another data to prove that C. Marcius Rutilus was a faithful supporter of patrician policy. In 351 he becomes the first plebeian to win the office of censor where his co-officeholder happens to be Cn. Manlius Capitolinus Imperiosus, the same person with whom he shared the office of consul in 357.²⁴ The circumstance that

¹⁹ The expression «patrician reaction» is from MÜNZER: R. Ap. u. Af. 21. Cf. DE FRANCISCI: Storia I.² 270., DE MARTINO: Storia I.² 326.

²⁰ Cf. MOMMSEN: RG I.¹³ 347., BELOCH: RG 352., ALFÖLDI: Early Rome and the Latins, Ann Arbor, 1964, 355.

²¹ Cf. Liv. VI. 40. 1–42., *Auct. de vir. ill.* 20. 2. MÜNZER: RE III. 2697.

²² That the father-in-law of Licinius Stolo, tribune, was M. Fabius Ambustus according to tradition with a slight anecdotic flavor (cf. Liv. VI) 34. 6–11., Flor. I. 17. 26. 1–4, Dio Cass. fr. 27. 1., Zonar VII. 24., *Auct. de vir. ill.* 20. 1.) is probable even in face of the doubts raised by BELOCH: RG 352. Cf. MÜNZER: R. Ap. u. Af. 13.

²³ Cf. Liv. VII. 17. 13., 18. 1., Diod. XVI. 7. 1., Cf. BROUGHTON: MRR I. 124.

²⁴ On C. Marcius see: MÜNZER: R. Ap. u. Af. 31.

the *plebs* did not consider censorship of C. Marcius to be in their interest is shown by the fact that in 339 the *leges Publiliae Philonis* established the right of the *plebs* to fill the office of censor without considering that this office was already held by a plebeian, C. Marcius.²⁵

Besides the above mentioned causes, the career competition which flared up among the new plebeian power élite²⁶ also promoted the ousting of the plebeian families who achieved the compromise of 367. Naturally the patricians profited from this discord. It is likely that the patrician politicians similarly employed the dissatisfaction of the lower plebeian strata with the plebeian aristocracy who were isolated — at least temporarily — from the majority of the *plebs* by the patrician politicians.²⁷ The *lex Duilia Menenia de unciario fenore* was accepted in 357. This law which set down the rate of compound interest and probably even punished usurers, was formulated during the consulship of C. Marcius Rutilus and Cn. Manlius Capitolinus Imperiosus, *i.e.* in the same year which marked the end of the political career of Licinius Stolo. The concurrence of these two events clearly shows that the patricians, supported by a few families of the plebeian aristocracy, the Marcii, Popillii and Plautii, at this time had fully launched the struggle against those who forced the reforms of 367. One of the links in the resulting chain of events was the *lex Duilia Menenia* which was aimed at gaining the support of the lower strata of *plebs*. The circumstance that the measures against usury were approved not in a plebiscite but in the form of a *lex* is proof of this problem being put on the agenda by the tribunes of the *plebs* in full agreement with the consuls and the Senate.²⁹ It is certainly not accidental that 5 years later another antiusury law which sets a moratorium in favor of the debtors was passed under the consulship of the same Cn. Manlius who was also in office during the passage of the law of 352.³⁰

For one and a half decades the patrician aristocracy again gained control of the government, led the state, but it was naturally unable to reverse the tide of history. The events of foreign policy certainly played as important a role in the fall of the patrician restoration as it did in its victory.³¹ On the threshold of a decisive battle with the Latins, the patrician government

²⁵ Cf. Liv. VIII. 12. 16.

²⁶ As is mentioned above one of the political leaders of the *plebs*, Licinius Stolo, had to pay a heavy fine because of the circumvention of the law limiting the size of landed property, f. BROUGHTON: MRR I. 122. Popillius Laenas who fined him (very likely in the position of plebeian aedile: Gelzer, Kl. Schr. I. 191.) was another political leader of the *plebs*.

²⁷ According to Liv. VII. 16. 1., the *lex Duilia Menenia de unciario fenore* was unfavourably received by the senate. This statement from Livy cannot at all be relied upon and because of its banality its authenticity must be doubted.

²⁸ Cf. ROTONDI: *Leges publicae pop. Rom.* Torino, 1912.

²⁹ Cf. ROTONDI: *Leges publicae pop. Rom.* 222.

³⁰ Cf. ROTONDI: *Leges publ. pop. Rom.* 224., FRANK: *ESAR* I. 2 30.

³¹ Cf. ALFÖLDI: *Early Rome and the Latins*, 406.

which had a very limited social basis (the old patrician aristocracy and their clients) was forced to seek a compromise with the insulted plebeian nobility. The party of compromise, *i.e.* the plebeian aristocracy claiming the re-establishment of the laws of 367 and the allied patrician families, consequently regained prominence and got into the government. Their assumption of power could be attributed to a considerable extent to their success in getting the support of the plebeian masses for their policy. The plebeian aristocracy recognized the error they committed after 367 when they let down the medium and lower strata of the plebeians for the sake of co-operating with the patricians. Now they again return to the policy which gained them the achievement of the *leges Liciniae Sextiae*.

A tribune of the *plebs* called L. Genucius, who might be identical with the L. Genucius who held the office of consul together with the patrician Servilius Ahala in 365 and 362, proposed a «law» in 342 B. C. which similarly to the *leges Liciniae Sextiae* contained the claims of both the plebeian aristocracy and the poor strata of the *plebs*.³² One of these laws aiming to hinder the return of the patrician regime of former years (when the leaders of the patrician clans in mutual agreement practically handed the consulship back and forth) prohibited the same person from reassuming the same magistracy for 10 years. Another accepted proposition simultaneously put on the agenda similarly prohibited a person from holding two magistracies at the same time. These plebiscites were undoubtedly directed against the patricians and served the interest of the plebeian nobility. The decision of the comitia made at the same time as the two former ones even more definitely reinforced the same trend. This plebiscite states that henceforth it will be possible to fill both consulships with plebeians.³³

While these three popular decisions served the interests of the plebeian nobility, the fourth plebiscite which was passed in the same year satisfied the claims of the poor lower plebeian strata. This plebiscite contained an important decree according to which the claims for compound interest or the violation of the legal rate of interest is prohibited.³⁴ Thus at this time the plebeian aristocracy united a «law» serving its own interests (similarly as in the time of the *leges Liciniae Sextiae*) with another serving the interests of the plebeian masses, thereby gaining the support of the plebeian masses while achieving its own political goals.

With the exclusion of the provision on the rate of interest, historical

³² Cf. ROTONDI: *Leges publ. pop. Rom.* 224., 226. The author distinguishes between the laws passed in 342 and attributes only one of them (the repeal of the compound interest) to Genucius. If we seriously consider the course of Roman internal politics these laws — in my opinion — cannot be separated.

³³ Liv. VII. 42., Zon. VII. 25. 9.

³⁴ Cf. ROTONDI: *Leges publ.* 226., FRANK: *ESAR I.*² 31., L. CLERICI: *Economia e finanza dei Romani*. I. 1943. 334.

criticism debates the authenticity of the plebiscites accepted in 342.³⁵ The decisive argument against the authenticity of the popular decisions is that they were put into practice only much later. Accordingly, this proves that they came into being at a later date than that given by the Roman annalists. In my view there is no reason to doubt the authenticity of these plebiscites. They were really voted for in 342 and moreover by the *comitia tributa* in all likelihood. The fact that they were not immediately put into practice does not contradict the possibility that they were passed by the *comitia*. The simple reason for this is that the Senate did not consider them valid and thus they did not have the binding force of law.³⁶ This, however, hardly lessens their political importance.

The significance of the *comitia tributa* as a legislative organ was still very new in 342. According to Livy, in 357 they first passed a law at this *comitia* which had legal force. This was the *lex Manlia de vicesima manumissionum*.³⁷ Concerning this law, Livy emphasizes the consent of the *patres* as being very important for the validity of a law.³⁸ In all instances the *lex Manlia de vicesima manumissionum* is proof that in this period laws were passed not only by the *comitia centuriata* but also by the *comitia tributa* although here again the legal force of the decree was dependent on getting the *auctoritas patrum*.³⁹ At this time the distinction between the *concilia plebis* and the *comitia tributa* was not clear already. It seems probably that in the 4th century B. C. the majority of plebiscites mentioned by the annalists do not refer to the special meetings of the *plebs*, the decisions of the *concilia plebis* but to those of the patrician plebeian *comitia tributa*. The *plebs* had such a majority in the *comitia tributa* that the participation of the patricians was of hardly any significance. In this period the number of patrician clans was reduced to such an extent (due to their dying out and sinking into a lower class) that in comparison to the *plebs* they formed only an insignificant minority.⁴⁰ The great weight of the patricians in public affairs lay mainly in the Senate and secondly in the power of the magistrates originating among them.

The significance of the plebiscites of 342 is comparable to that of the *leges Liciniae Sextiae*. They again reflect a united plebeian stand and irrevocably end the age in Roman home policy which was called the age of «patrician reaction» (Münzer). But these popular decisions went even further. They

³⁵ For earlier literature see: ROTONDI: *Leges publ.* 225. From newer literature: PAIS: *Storia critica di Roma* IV. 387., and *Ricerche* IV. 279., DE FRANCISCI: *Storia* I.² 276, 287., DE MARTINO: *Storia della costituzione romana*, Napoli, I.² (1958) 328.

³⁶ On the standpoints of the patricians opposing the plebiscites, cf. DE MARTINO: *Storia*, I.² 315.

³⁷ Cf. ROTONDI: *Leges publ.* 221., DE MARTINO: *Storia*, I.² 331.

³⁸ VII. 16. 7.

³⁹ Cf. MOMMSEN: *RStR* III. 1. 156., v. LÜBTOW: *Das röm. Volk*, 302.

⁴⁰ Cf. MOMMSEN: *RF* I. 112., BERNARDI: *Rendiconti dell' Ist. Lomb.* 1945/46. 6.

set up such goals for the *plebs* which pointed to full political equality. The declaration of the right of the *plebs* to fill both consulships was such a radical plebeian claim that it can only be attributed to the heat of the political struggle and not to the dominant internal balance of power at those times. Actually it was more than 170 years before both consulships were held by plebeians.⁴¹ The popular decision which prohibited a person from holding the same magistracy within ten years was also not immediately put into effect.⁴² In neither case does this mean, however, that the plebiscites concerned are of later origin than that ascribed to them by tradition⁴³ nor does it reduce the significance of these plebiscitary decisions. The *plebs* took a united stand against the attempt at a patrician restoration while expressing their determination to achieve full equality. Even if they could not make decisions of legal force and consequently were unable to realize their goals within a short time, the patricians had to understand the warning and threat which these plebiscites meant to them. The warning emanating from the plebiscites made it clear that the *plebs* not only refuse to relinquish any of their rights stipulated in the *leges Liciniae Sextiae*, but plan to go even further. If the patricians lay aside the policy of compromise with the *plebs*, the plebeians will not settle for a mutual government with the patricians any more but will continue to fight as long as the patricians are in the government and until they are able to take over the leadership of the state.

The decisive result of the plebiscites passed in 342 was that those patricians who co-operated with the plebeians gained prominence and henceforth continued to govern on the side of the plebeian nobility and in close alliance with them. The patrician reaction finally failed and the *leges Liciniae Sextiae* again came into effect. The circle of families belonging to the patrician—plebeian ruling class became somewhat larger, and their leadership simultaneously became consolidated to such an extent that it held the power firmly through an entire generation.⁴⁴

⁴¹ In 172 B. C. two plebeians were elected consuls for the first time. Cf. DE FRANCISCI: *Storia* I.² 286., DE MARTINO: *Storia*, I.² 328.

⁴² Cf. DE MARTINO: *Storia*, II.² 186.

⁴³ Cf. PAIS: *Storia di Roma* I. 2. 278. According to Mommsen (RStR I. 520.) the law stipulating a ten-year interval between terms as magistrate was passed in 330.

⁴⁴ Cf. MÜNZER: *R. Ap. u. Af.* 34. In the examination of the formation of the new patrician-plebeian élite, MÜNZER first pointed out the great importance of the relations of the noble families and the cliques to filling the offices of the supreme magistrates of the state. His prosopographical researches recently had great influence on the whole of research which adapted or used his results and in quite a few instances his methods, too (only BELOCH attacked MÜNZER's methods in his criticisms. RG 338.). Realizing the paramount importance of MÜNZER's research we must not overlook the weakness closely related to his methods. The excellent German researcher, in a few instances, exaggerates the influence of noble cliques on political life while simultaneously not paying proper attention to the great social forces working below the surface which are rarely or never mentioned in the sources. The rivalry between the noble cliques was in many instances not the cause of change in Roman public life, but was itself the consequence of those greater economic and social forces which penetrated from the background.

For a long time the families of the patrician aristocracy were suppressed in public life. Exceptions were made by only a few distinguished patrician families co-operating earlier with the plebeian nobility. Among these were the Aemilii, who above all other patrician families, again assumed a leading role in the state. A serious role was played by the Manlii in the new system and although they were not as determined as the Aemilii they kept up contact with the plebeian nobility in the critical period, too. In the period following 342 a significant role was assumed by the patrician clan of the Papirii which, according to Cicero, belonged to the *gentes minores*.⁴⁵ One of the members of this clan, L. Papirius Cursor, especially distinguished himself as commander during the Samnite war and besides being consul five times he was twice dictator. According to the *Fasti triumphales* he thrice held triumphs. Even if the authenticity of the tradition surrounding him evoked serious criticism on several occasions,⁴⁶ the outstanding role he assumed in the political life of Rome in the second half of the 4th century is undoubtable. Under all circumstances the Papirii together with the Aemilii, Servilii and Manlii, represented a group of patricians which based its policy on co-operation with the plebeian nobility and which consistently followed the principles laid down in the *leges Liciniae Sextiae*. The close relation between the Papirii and the plebeian nobility are convincingly proved by the co-consulship of L. Papirius Cursor and Q. Publilius Philo, the best known and most outstanding plebeian politician. The second component of the ruling class, the plebeian nobility, considerably changed its attitude following the changes of 342. The spirit which penetrated the previously discussed Genucian plebiscites henceforth motivated the leading stratum of the *plebs* to completely realize the aspirations of the *plebs* for equality and moreover to attempt to gain — at least in principle — supremacy of the *plebs*. The families heading the *plebs* (the Plautii, Popillii, Genucii, etc.) were joined mainly by the noble families of the neighbouring territories united with Rome.⁴⁷ It was also very important that in the following period the *plebs* were headed by an energetic, gifted statesman who for a generation led his own class with unmatched skill and at the same time acquired decisive influence in the government, too.

After C. Marcius Rutilus, Publilius Philo was the second plebeian whose career as a supreme magistrate was distinguished by his formerly unmatched *interatio*.⁴⁸ He held the office of consul on four occasions (339, 327, 320 and 315). In 339 he was made dictator and he became the first of the plebeians to hold the office of praetor in 336. In 332--331 he was a censor. According

⁴⁵ Ad fam. IX. 21. 2. Cf. MÜNZER: R. Ap. u. Af. 110.

⁴⁶ Cf. BELOCH: RG 414., PAIS: Storia di Roma V. 1928. 136., 168., v. LÜBTOW: Die röm. Diktatur, 119. (Sonderabdr. aus der Staatsnotstand, Colloquium Verlag Berlin).

⁴⁷ Cf. MÜNZER: R. Ap. u. Af. 34., SCHUR: Fremder Adel im römischen Staat. Hermes LIX, 1925, 463.

⁴⁸ Cf. HOFFMANN: Publilius Philo, RE XXIII. 2. 1912.

to Livy⁴⁹ he was the first proconsul, *i. e.*, a chief magistrate whose power was extended by law.

Until that point the career of Publilius Philo was approached among those of plebeian origin by C. Marcius Rutilus who also held the office of consul four times (357, 352, 344 and 342) and who was the first plebeian to become dictator (356) and in 351 he was censor.⁵⁰ The difference between the two plebeian statesmen is, however, still very great and we can immediately add that the comparison favors Publilius Philo. Marcius Rutilus' unmatched career can be mainly attributed to his loyal support of the restoration attempts of the patrician *gentes* and to his willing sacrifice — in most instances — of the interests of the *plebs* for the sake of his own career. Although in 342, in the decisive moment, he became separated from the patrician reaction and together with his co-office holder, Servilius Ahala, gave way to the consuls allied with the plebeians, to Aemilius Mamercinus and Plautius Venno, it is still a fact that almost throughout the whole of his career he was allied with the patricians and did not adhere to the interests of his own class.⁵¹ This was evidently the opinion of the *plebs* because after 341 C. Marcius Rutilus does not appear in public life again.

Unlike C. Marcius, Publilius Philo was definitely a politician of the *plebs*, or more exactly of the plebeian nobility.⁵² His close tie to the *plebs* could be noted already at the beginning of his career when he acted as a representative of the interest of the poor strata of the *plebs*.⁵³ Through those laws of sweeping importance which are associated to his name he becomes known as the leading politician of the ruling class and state apparatus. If the Genucian decisions of 342 resulted in the re-establishment of the unity of the *plebs* and of the reassertion of the *leges Liciniae Sextiae*, then the laws associated to Publilius Philo had more far-reaching results. They extended the influence of the plebeian nobility over the leadership of the state, they harmonized the conquest of the *plebs* in public life with the interests of the ruling class, the patricians, and last but not least they regulated the operation of the most important institutions of the state in accordance with the arising new circumstances.

Livy related three laws to the dictatorship of Publilius Philo in 339.⁵⁴

⁴⁹ VIII. 23. 12.

⁵⁰ MÜNZER: C. Marcius Rutilus RE XIV. 1588. R. Ap. u. Af. 29.

⁵¹ MÜNZER: R. Ap. u. Af. 31.

⁵² MÜNZER's contention (R. Ap. u. Af. 31.) that Publius Philo used the offices he held for benefitting the lower strata of the people holds true only for the beginning of his career. After he attained the highest positions he was the consistent representative of the interests of the plebeian nobility.

⁵³ In 352 Publilius Philo was one of the *V viri mensarii* (Liv. VII. 21. 5–8), *i. e.*, of the body which was designed to ameliorate the general indebtedness of the *plebs*. In this position he became related to the leading plebeian families (the Duilii, the Decii, etc.) and to the leading politicians of the patricians (Aemilii, Papirii). Cf. HOFFMANN: RE XXIII. 2. 1913.

⁵⁴ VIII. 12. 14.

The first of these established the constitutional principle that the decisions of the *comitia tributa* are binding on every citizen (*«ut plebi scita omnes Quirites tenerent»*). The second law concerning the legislation of the *comitia* of the *plebs* declared that before laws proposed in the *comitia centuriata* are passed, the consent of the patrician members of the Senate (*patrum auctoritas*) is necessary: *«ut legum quae comitiis centuriatis ferrentur patres ante initum suffragium auctores fierent.»* The third law stipulated that plebeian claim according to which one of the censorships must be filled by plebeians, but the *plebs* have a right to both offices of censor: *«ut alter utique ex plebe, cum eo (ventum sit), ut utrumque plebeium fieri liceret, censor crearetur.»*

Research on history and legal history recognized the importance of the *leges Publiliae Philonis*, but did not realize the actual significance for the consolidation of the new patrician—plebeian government. The researchers influenced by Livy's text regard these laws mainly as one of the important stages of the struggle for the equality of the *plebs*. In reality these laws imply more than just the increasing of plebeian rights. The *leges Publiliae Philonis* mean the reform of the earlier constitution in favor of the new patrician—plebeian ruling class. Consequently these laws did not only try to onesidedly alter the legal status of the *plebs* but included important measures affecting the conditions, the political situation, of the entire free society, *i.e.*, of the patricians as well as of the *plebs*. The relation of the three fundamental political institutions of the Roman state (the *senatus*, the *comitia* and the *magistratus*) was set on a new foundation and therefore without exaggeration they may be regarded as the fundamental laws of the new patrician—plebeian state.⁵⁵

Livy's discussion about the circumstances of the origin of the laws provide a good help when evaluating the significance of the *leges Publiliae Philonis*.⁵⁶ Publius Philo had the laws passed when he was dictator and this in itself bears a relation to the importance of the laws. The circumstance of his becoming dictator also deserve attention. Aemilius Mamercinus, the patrician consul of 339, undoubtedly after his disagreement with the patrician majority in the Senate, appointed his plebeian co-office holder, Publius Philo, dictator; this was a definitely revolutionary step. Livy who undoubtedly depended on an annalist of patrician origin when describing this event unmistakably notes that the appointment of Publius Philo to the office of dictator was against the will of the Senate.⁵⁷ Not only was the appointment coup-

⁵⁵ For the view in modern literature opposing the *leges Publiliae Philonis* see HOFFMANN: Publius Philo RE XXIII. 2. (1959) 1912., for the literature listed there as well as the literature found in the notes below.

⁵⁶ VIII. 12. 12.

⁵⁷ VIII. 12. 10. . . . *hinc alienatus ab senatu Aemilius seditiosis tribunatibus similem deinde consulatum gessit. 11. nam neque quoad fuit consul, criminari apud populum patres destitit collega haudquaquam adversante, quia et ipse de plebe erat. — materiam autem praebebat criminibus ager in Latino Falernoque agro maligne plebei divisus, — et postquam senatus, finire imperium consulibus cupiens dictatorem adversus rebellantes Latinos dici*

like but the use of the dictatorial power was also anti-constitutional. Namely Publilius Philo did not use his extraordinary military power as he was supposed according to the unwritten laws having legal force, but he also used this power for passing important reforms of constitutional rights.

The circumstance that one of the members of the Aemilius clan co-operating with the plebeian nobility from the beginning, appointed Publilius Philo dictator, is in itself proof that the laws passed under the influence of the new dictator protected the interests of the patrician—plebeian nobility. If Livy writes that these laws were very favourable for the plebs and against the nobility, this statement, too, must be classed among the inconsistent or faulty terminology which he has also presented at other times. In an anachronistic way the historian calls the old ruling class «nobility» instead of the new patrician—plebeian ruling class, while he designates the latter, in the restricted sense of the word, simply as *plebs*. Otherwise in Livy *plebs* means both the plebeian nobility and the allied patrician group as well as the medium and lower strata of the *plebs*, although the class status and the political stands of the latter did not at all agree with the leading stratum of the *plebs*. These evident terminological inconsistencies seem important to me because they are frequently found in modern literature. (Otherwise the blame for those mistakes occurring in Livy's texts in the designations of the parties and social strata of the 4th century must be laid at the feet of the annalists from whom Livy uncritically accepted the terminology.)

The great importance of the *leges Publiliae Philonis* explains those contradictions concerning their evaluation found in modern literature.⁵⁸ There were sharp arguments concerning the first law which endowed the plebiscites with legal force because this law literally agrees with the *lex Valeria Horatia* (Liv. III. 55 3.) and later with the *lex Hortensia* of 286 (the listing of the sources: Rotondi, *Leges publicae pop. Rom.* 238.). Several researchers argue against the authenticity of this law, stating that similarly to the *lex Valeria Horatia* this is a simple anticipation of the *lex Hortensia*.⁵⁹

iussit, Aemilius, cuius tum fasces erant, collegam dictatorem dixit; ab eo magister equitum Iunius Brutus dictus. Cf. v. LÜBTOW: *Die römische Diktatur*. 108.

⁵⁸ For older literature see: ROTONDI: *Leges publicae pop. Rom.* 226. Among the newer literature: HOMO: *Institutions politiques romaines* 67., DE FRANCISCI: *Storia* I.² 304., GUARINO: *Storia del diritto romano*. Milano, 1948. 192., BONFANTE: *Storia del diritto romano*, I.⁴ 1958. 145., ARANGIO-RUIZ: *Storia del diritto Romano*, Napoli, 1957. 52., SCERILLO—DELL'ORO: *Manuale di storia del diritto romano*. Milano—Varese, 1950. 207., SIBER: *Plebiscita*, RE XXI. I. 54., KASER: *Römische Rechtsgeschichte*, Göttingen, 1950. 40., LENGLE: *Tribunus* RE VI. A 2. 2469., v. LÜBTOW: *Das röm. Volk*. 103., BLEICKEN: *Das Volkstribunat der klass. Republik*. München, 1955. 12., DE MARTINO: *Storia*, I.² 332., II.² 128., KUNKEL: *Römische Rechtsgeschichte*, Weimar, 1964.⁴ 18.

⁵⁹ BELOCH: *RG* 349., 477., KASER: *Römische Rechtsgeschichte*. 40., SIBER: *RE* XXI. I. 58., BONFANTE: *Storia del dir. rom.* I.⁴ 145., DE FRANCISCI: *Storia* I.² 304., GUARINO: *Studi Solazzi*, 1948. 21, *Festschrift Schulz* I. 1951. 459., STAVELEY: *Athenaeum* XXXIII. 1955. 12., 26., E. MEYER: *Römischer Staat u. Staatsgedanke*, 1961. 213., 510. A. 75., FREZZA: *Corso di storia del dir. rom.*, Roma, 1954. 106.

Concerning the second law which requires a preliminary *patrum auctoritas* for the decisions of the *comitia centuriata*, there are no doubts among the majority of the researchers,⁶⁰ although a few respected experts raise doubts even about the historical authenticity of the laws.⁶¹ The third law which provided for the election of the censor created a rather moderate interest in literature due to its lesser significance and no convincing arguments were raised against its authenticity.⁶²

The mutually contradictory views of modern research on the authenticity and significance of the *leges Publiliae Philonis* necessitates the examination of the problem of these laws by a new method. Siber held that the law concerning the decisions of the *comitia centuriata* mainly concerned the interest of the plebeian nobility.⁶³ Hoffmann made a further observation that the *leges Publiliae Philonis* were in harmony with the political efforts manifest from 342/341, *i. e.*, with the general policy of the plebeian nobility⁶⁴. If we thoroughly analyze this policy, we find an important feature: while on the one hand it really attempted to increase the influence of the *plebs* in the handling of state affairs, on the other hand it considerably respected the alliance with the patricians, *i. e.*, the interests of the patrician circles co-operating with the plebeian nobility.⁶⁵ In consequence of the reduction of the number of patrician *gentes* and the declassing of a considerable part of the patricians, the patrician politicians could not hope for their interests being favourably protected in the *comitia tributa*. Therefore they wanted to increase the political strength of the Senate by every means; there their influence was solidly based on traditions interwoven with the ancient religious ideas.⁶⁶ For the same reason they stubbornly protected their rights to have the magistrates chosen from among the *patres* if possible and if this is not possible, then a place for the patricians should be assured in the colleges of the magistrates. This latter claim was also based on ancient religious traditions just as was the maintenance of their influence in the Senate.⁶⁷ We must not overlook the circumstance that the patricians still

⁶⁰ Cf. MOMMSEN: RStR III. 1042., SIBER: Die plebejischen Magistraturen 41., ARANGIO-RUIZ: Storia del dir. rom. 52., v. LÜBTOW: Das röm. Volk. 106., DE MARTINO: Storia I.² 332., II.² 130., HOFFMANN: Publilius Philo. RE XXIII. 2. 1913. ARANGIO-RUIZ and DE MARTINO relate the mentioned old law, Appian. *Bell. Civ.* I. 59 to the *lex Publilia*. Accordingly the popular decisions were law only if they were proposed to the Senate and authorized by this body.

⁶¹ Cf. PAIS: Storia di Roma. I. 2. 279., BELOCH: RG 477., BONFANTE: Storia I.⁴ 145.

⁶² Cf. HOFFMANN: RE XXIII. 2. 1914., SUOLAHTI: The Roman censors, Ann. Acad. Scient. Fenn. 117. Helsinki, 1963. 76.

⁶³ Cf. Die plebejischen Magistraturen. 43.

⁶⁴ RE XXIII. 2. 1914.

⁶⁵ Cf. DE SANCTIS: Storia II. 221., PARETI: Storia di Roma I. 638.

⁶⁶ Cf. DE FRANCISCI: Storia I.² 316., GUARINO: Storia del dir. Rom. Milano, 1948. 192., v. LÜBTOW, Das röm. Volk. 246. For DE MARTINO's view in relation to the *patrum auctoritas* see Storia II.² 132.

⁶⁷ DE FRANCISCI: *loc. cit.*, Primordia civitatis, Roma 1959. 199., DE MARTINO: Storia I.² 332., II.² 128., v. LÜBTOW: *loc. cit.*, E. MEYER: Römischer Staat und Staatsgedanke.² 1961. 106.

possessed considerable constitutional power at the time of the Latin wars to protect their power position. Therefore it was in the interests of the rising plebeian nobility to show a degree of moderation when stating their claims. They had to be aware of the fact that if they exert too much pressure in forcing their claims, then the reputation of the allied patrician group will be ruined in the eyes of the rest of the patrician families. And this would be to the advantage of the antiplebeian intransigent patrician clique. On the other hand the plebeian nobility was blocked by its class situation from becoming more closely allied with the plebeian masses. It still wanted to manipulate with these masses for taking further tactical steps, but for the above mentioned reasons it did not want to permanently depend on them, nor to get into the government with only their help, to the exclusion of the patricians. With knowledge of all this, Publilius Philo the political realist, had no other choice but to satisfy the patrician claims as far as possible, *i. e.*, to compromise with them. Such a compromise, besides protecting the interests of the plebeian nobility, would admit the claims of the patricians for participating in the power and would establish the legal grounds for this.

One of the most important and at the same time unresolved problems of the new patrician — plebeian state was the determining of the sphere of authority of the *comitia tributa*. The *comitia curiata* in whose meeting only the patricians participated in the beginning was later opened to the *plebs*, too.⁶⁸ In the second half of the 5th century B. C. during the consolidation of the state based on the system of the *centuriae* it lost its political significance and was supplanted by the *comitia centuriata*, the most important legislative and electoral assembly of the entire people.⁶⁹ In the age of the *leges Liciniae Sextiae* or afterwards the composition of the *comitia centuriata* was transformed more and more in favour of the *plebs*. The patricians preserved their indisputable majority only by the 18 *centuriae* composed of equestrians, while the 80 *centuriae* of the first category was primarily composed of the plebeian nobility and wealthy plebeian citizens. Only such an alteration in the power relations of the *comitia centuriata* can make understandable the reform of Publilius Philo which was worded in the second law associated to his name by tradition. Namely the provisions of this law (*i. e.*, laws proposed in the *comitia centuriata* can gain legal force only if approved by the patrician members of the Senate) would be completely senseless or at least useless if the patricians could hold their majority in the *comitia centuriata*, *viz.*, if besides the 18 *centuriae* they could depend on the votes of the 80 *centuriae* of the first category.

⁶⁸ Cf. MOMMSEN: Die patrizisch — plebejischen Comitien der Republik. RF I. 134. DE MARTINO: Storia I.² 130., E. MEYER: Römischer Staat u. Staatsgedanke.² Zürich, 1961. 141.

⁶⁹ NOCERA: Il potere dei comizi e i suoi limiti, 1940., DE MARTINO: Storia I.² 238., DE FRANCISCI: Per la storia dei «comitia centuriata», Studi Arangio-Ruiz I. 1., SCHÖNBAUER: Historia II. 1953/54. 21.

The preliminary approval of the patrician members of the Senate required for validating the decisions of the *comitia centuriata*, the *patrum auctoritas*,⁷⁰ made it possible to preserve their influence in legislation in spite of their numerical minority. As we know even in Athenian democracy there existed the practice according to which laws proposed to the people's assembly were previously discussed and approved by the council (*βουλή*).⁷¹ Although it is possible that the institution of *προβούλευμα* in Athens was known to Publius Philo and could even influence him in making his reform, it is certain that the *lex Publilia Philonis* making the legal force of the plebiscites dependent on the *patrum auctoritas* helped such aristocratic attempts to succeed which far surpassed the conservative effects of the Athenian *προβούλευμα* in regard to significance in constitutional law. Modern researchers⁷² frequently hold that the preliminary approval of the Senate required by the *lex Publilia Philonis* was only a formality and did not have a decisive influence on the decision of the *comitia*. From the fragmentary and inexact data of the tradition it is not clear whether the laws of Publius Philo were consistently enforced at later periods. Still we find such data in the sources which indicate that the patricians or the new ruling class recognized only those plebiscites as having legal force which satisfied the prescriptions of the law of Publius Philo and consequently obtained the *patrum auctoritas*.⁷³ Moreover the senators supporting the law of Publius Philo, and even following the later *lex Hortensia* (286 B. C.) sanctioning the legal force of the plebiscites, still spoke about their rights to approve the laws.⁷⁴ Those decisions of the people which were made without the consent of the Senate or the *patrum auctoritas* were labelled unconstitutional by the nobility; in this way in opposition to the assertion of the democratic system of suffrage⁷⁵ the majority rule was given a powerful tool precisely through the *lex Publilia Philonis*.

The insertion of the rights of the Senate to propose laws or rather to approve of them into the constitution of the patrician—plebeian state in itself

⁷⁰ Cf. O'BRIEN MOORE: *Senatus*, RE VI. Suppl. Bd. 677., DE FRANCISCI: *Storia* I.² 308., GUARINO: *La genesi storica dell' auctoritas patrum*, *Studi Solazzi* 21., v. LÜBTOW: *Das röm. Volk*. 245., DE MARTINO: *Storia* I.² 218., II. 128.

⁷¹ Cf. OEHLER: *Βουλή*. RE III. 1023., SCHÄFER: *Προβούλευμα*. RE XXIII. 1. 48., EHRENBERG: *Der Staat der Griechen*. I., Leipzig, 1957, 48.

⁷² Cf. DE SANCTIS: *Storia* I.² 209., DE FRANCISCI: *Storia* I.² 316., GUARINO: *Storia del dir. rom.* 192., KASER: *Röm. Rechtsg.* 45., SIBER: *Plebiscita*, RE XXI. 1. 60., DE MARTINO: *Storia* I.² 132.

⁷³ *Gai Inst.* I. 3.: *Plebs autem a populo eo distat, quod populi appellatione universi cives significantur connumeratis et patriciis, plebis autem appellatione sine patriciis ceteri cives significantur: unde olim patricii dicebant plebiscitis se non teneri quia sine auctoritate eorum facta essent*; *Pomp. Dig.* I. 2. 8.: *quia multae discordiae nascebantur de his plebis scitis, pro legibus placuit et ea observari lege Hortensia et ita factum est, ut inter plebis scita et legem species constituendi interesset, potestas autem eadem esset*. Cf. *Gell.* XV. 27. 4.

⁷⁴ Cf. DE FRANCISCI: *Storia* I.² 316., DE MARTINO: *Storia* II.² 232.

⁷⁵ Cf. LANGE: *Röm. Altertümer* I₁. 62., 110., DE FRANCISCI: *Storia* I.² 304., DE MARTINO: *Storia* I.² 315.

makes the second law of Publilius Philo of great importance. Nevertheless this law had an indirect effect, the significance of which was not less than that of the former.

In practising their official duties, the Roman magistrates had an almost unparalleled independence from the two other fundamental institutions of the Roman constitution: the Senate and the *comitia*. The *imperium* — that almost unchecked power — which was possessed by the leading magistrates of the patrician state had its origin in the age of the Monarchy⁷⁶ and was rooted in ancient religious ideas.⁷⁷ The higher magistrates of the new patrician — plebeian state preserved essentially unchanged the unrestricted power of the magistrates of the patrician state. Although the election of the higher magistrates occurred in the *comitia centuriata* (*i.e.*, formerly with the participation of every citizen entitled to vote) in practice the principle of «*magistratus creat magistratum*» was instituted instead of the election. This meant that only the leading magistrate of the previous year had a right to propose his successor in the official electing *comitia*.⁷⁸ The people's assembly only accepted or rejected the proposal of the presiding magistrate — there was no possibility to debate it.⁷⁹ At these times the *lex curiata de imperio* was only a formality without any political significance.⁸⁰

The independence of the magistrates invested with the *imperium*⁸¹ from the two other organs of the constitution made the new ruling class anxious. As it was shown by the internal political development of the decades following the *leges Liciniae Sextiae* this anxiety was not at all unfounded. The higher magistrates frequently formed cliques, power groups, which agreed among themselves on the choice of magistrates since 367. On the other hand the leading magistrates had such laws passed which assured their popularity while simultaneously ignoring the interest of the ruling class. In such a way the law of Publilius Philo, when it still made the acquisition of the *patrum auctoritas* obligatory before the passage of a law, limited not only the sphere of authority of the *comitia* but also attempted to put an end to the previous too great independence of the magistrates.

The higher magistrates possessing the *imperium*, mainly the consuls had an extremely great jurisdiction in times of war and peace. The *imperium*

⁷⁶ Cf. LEIFER: Die Einheit des Gewaltgedankens im römischen Staatsrecht, Leipzig, 1914. and Studien zum antiken Ämterwesen, 1931., v. LÜBTOW: Das röm. Volk. 182., E. MEYER: Römischer Staat u. Staatsgedanke.² 1961. 117.

⁷⁷ Cf. RADIN: Studi Riccobono II. (1936) 23., DE MARTINO: Storia, I.² 95., DE FRANCISCI: Primordia civitatis, 199.

⁷⁸ Cf. DE FRANCISCI: Storia I.² 281., v. LÜBTOW: Das röm. Volk. 241., DE MARTINO: Storia, I.² 345., 363.

⁷⁹ Cf. MOMMSEN: RStR. I. 212., II. 80., 125., III. 390., KASER: Röm. Rechtsg. 43., v. LÜBTOW: Das röm. Volk. 185.

⁸⁰ Cf. v. LÜBTOW: Das röm. Volk. 185., E. MEYER: *op. cit.* 192.

⁸¹ For the latest study on the problems of the *imperium* see: ARANGIO-RUIZ: Storia⁷ 409., DE FRANCISCI: Primordia civitatis, Roma, 1959. 392.

militiae assured them the chief command of the army together with all the associated rights during times of war (enlisting or the mobilization of the army, the appointment of officers, the right of *coertio* and *judicatio* in handling the soldiers). The *imperium domi* gave the consuls the highest right of supervision in state administration including certain rights to practice the *iurisdictio*. The most significant, however, was that peacetime right of the consuls to convene the Senate and the *comitia*. There they presided, made proposals for filling the new magistracy and furthermore they could propose laws at the *comitia*. With certain limitations this right also belonged to the praetor.⁸²

The *lex Publilia Philonis* brought an important innovation in the sphere of authority of the magistrates. Accordingly the higher magistrates were required to report their laws in the Senate before presenting them to the people's assembly and to acquire before hand the consent of the patrician senators, the *patrum auctoritas*. This measure subordinate the highest magistrates to the Senate in a very important sphere. The magistrates were formerly independent and unrestricted by any constitutional body in practising their power received from the people. If the highest magistrates (consul, praetor, etc.) ignored the letter of the law and passed laws without questioning the Senate or getting their consent, they committed an illegal act and had to face the consequences. The Senate did not recognize the thus passed *rogationes* as valid and the law bypassing the magistrates did not only lose the trust of the ruling class but also was to be held responsible.⁸³

The discussion of the second law of Publilius Philo was purposely treated before the first. In doing this I was convinced that the first law which gave the decisions of the people's assembly the force of law can be correctly interpreted only in relation to the second law.

The counter-argument used by modern researchers against the authenticity of the first law of Publilius Philo according to which, similarly to the earlier *lex Valeria Horatia* (449 B. C.) of corresponding content, it is an anticipation of the later *lex Hortensia* (286 B. C.) cannot be considered convincing. In the legislation of the ancient states it frequently happens that the same provision is adapted by successive codifications sometimes without change and at other times with slight alterations. This occurs not only in Roman but also in Assyrian-Babylonian legislation.⁸⁴ This should not be regarded as unusual at this point of Roman legal development when in the struggle of classes the balance of power frequently changed. Naturally as soon as the balance of power

⁸² Cf. DE FRANCISCI: *Storia* I.² 280., DE MARTINO: *Storia* I.² 352., E. MEYER: *op. cit.* 119.

⁸³ Cf. HERZOG: *Geschichte und System der röm. Staatsverfassung* I. 954., DE FRANCISCI: *Storia* I.² 316.

⁸⁴ Cf. CARDASCIA: *La transmission des sources juridiques cuneiformes* RIDA 3^o ser. tom. 7. 1960. 31., KOROSEČ: *Le Code de Hammurabi et les droits antérieurs*, RIDA 3^o ser. tom. 8. 1961. 11.

became different the formerly enforced provisions were invalidated. If the authenticity of the *lex Valeria Horatia* is undoubtedly lessened by the circumstance that it occurred too early in the development, this argument cannot be regarded as valid for the *lex Publilia Philonis*.⁸⁵ In my view there is another much more significant argument against the proposition that the first *lex Publilia Philonis* was the mere anticipation of the *lex Hortensia*: the *lex Publilia Philonis* did not have the same content as the *lex Hortensia* and therefore it is impossible to regard it as its anticipation.

The two laws of the *leges Publiliae Philonis* which concern the assemblies of the people are closely related. The first law introduces the second and the second is the continuation of the first. The first law states a general principle: the decisions brought by the people's assembly are *laws* which are binding on every citizen. In order to correctly interpret this we have to first of all assume that the plebiscites at this time did not only mean the decisions passed at the meetings of the *plebs*. It is likely that every decision passed at the people's assembly was called *plebiscitum* irregardless of the circumstance that not only the *plebs* but also the patricians participated in the meetings. Therefore the decisions were brought by the whole *populus*, the entire people. Lacking concrete data we can only make assumptions to explain how the word *plebiscitum* came to denote the decision of plebeian meetings, and to mean the decision of the *populus*. Since the decision of the special assembly of the *plebs* (*concilia plebis tributa*) was called *plebiscitum*, it is very likely that the designation *plebiscita* was first carried over to the decisions of the *comitia tributa* which already included the entire people and was developed from or analogously with the former. Then the name was carried over to the decisions of the *comitia centuriata*, too.⁸⁶

The general principle which was established by the first law of Publius Philo concerning the legal force of a *plebiscitum* was modified by the second law only in one respect. This modification was of paramount importance since it accepted the decisions of the *comitia centuriata* as having the force of law only if the *rogationes* were given the *patrum auctoritas* in advance. Otherwise the second law did not modify or change the validity of the first law. Thus the decisions of the *comitia tributa* became binding on every citizen without the consent of the Senate.⁸⁷ Similarly the supreme magistrates were not obliged to ask the approval of the Senate at the *comitia centuriata* for filling positions of the magistracy. As we know this occurred only later following the *lex Maenia*.⁸⁸

⁸⁵ Cf. GUARINO: *Storia* 192., DE MARTINO: *Storia* I.² 128.

⁸⁶ Cf. v. LÜBTOW: *Das röm. Volk.* 306.

⁸⁷ Cf. v. LÜBTOW: *Das röm. Volk.* 245.

⁸⁸ About the *lex Maenia* cf. ROTONDI: *Leges publ. pop. Rom.* 248., SIBER: *Die plebejischen Magistraturen.* 41., GUARINO: *Studi Solazzi,* 22., KASER: *Röm. Rechtsg.* 45., DE MARTINO: *Storia* I.² 222., E. MEYER: *op. cit.* 213.

The *leges Publiliae Philonis* had an immediate great affect on the contemporary internal political development. They strengthened the constitution of the new patrician—plebeian state by eliminating the contradictory duality of patrician and plebeian institutions and the legal stand. At the same time they made the now fused institutions permanent and state-like in nature. The mixture of the principles of democratic and aristocratic constitutions which Polybius considered characteristic of the Roman constitution of a few hundred years later is already clearly discernible in the *leges Publiliae Philonis*. Thus *«ne plurimum valeant plurimi»*⁸⁹ became asserted at the initial stage of the patrician—plebeian state so that it would also affect the development of Roman constitutional law in later periods.

Approximately 50 years later the *lex Hortensia* greatly advanced the significance of the *comitia populi* in regard to constitutional rights by the annulment of *patrum auctoritas* for the *comitia centuriata* and by redeclaring the legal force of the plebiscites. But the significance of the *leges Publiliae Philonis* did not lessen even after the *lex Hortensia*. As the democratic tendencies increased in Roman home politics during the last two centuries of the Republic, the ruling class paid increasing attention to the old laws which similarly to the *leges Publiliae Philonis* were created in defense of their class interests and the renewal of which helped to counterbalance or fight back the increasing power of the assembly of the people.⁹⁰ The most important proof here is that during the restoration of the aristocratic system, Cornelius Sulla, as witnessed by Appianus,⁹¹ instated the old law limiting the legislative right of the assembly of the people in favor of the Senate. This old law could only be the *lex Publilia Philonis*.⁹²

The strengthening of the constitution of the patrician—plebeian state in which the *leges Publiliae Philonis* played such a significant role did not end at once the political struggle between the patricians and plebeians and the class struggle was even less reduced — in fact it became heightened between the medium and lower strata of the *plebs* and the new ruling class, the nobility composed of patricians and wealthy plebeian families. The relative calm characterizing Roman home politics during a generation can to a great extent be attributed to the establishment of the national and then Latin colonies in the newly acquired territories as well as to the affect of the *leges Publiliae Philonis*. These colonies were an attempt to bring about the economic recovery of the agrarian population which lost its land as the large estates spread, but

⁸⁹ Cicero, *De rep.* II. 22. Cf. v. LÜBTOW: *Das röm. Volk.* 306.

⁹⁰ For the significance and goals of the populares cf. FISCHER (FERENCZY): *Contributo alla storia del movimento dei populares*, *Annuario della R. Accademia d'Ungheria di Roma.* I. 1936. 126., CHR. MEYER: *RE Suppl.* 10. 59.

⁹¹ Bell. civ. I. 59.

⁹² Cf. ARANGIO-RUIZ: *Storia?* 52.

they simultaneously served the expansionist efforts of the Roman rule.⁹³ The internal political «*treuga dei*» was further strengthened by the outbreak of the Samnite War in 326. Although in the history of the Latin War this was truly a great victory for Roman warfare whose consequences were important for world history, but this war — if we take into consideration its antecedents — was rather a self-defensive struggle the nature of which was changed only by the victorious ending.⁹⁴ The Samnite War, basically differed from the earlier wars of Rome and thus from the Latin War, too. In a certain regard it started as a defensive struggle or to be more exact Rome could not avoid the Samnite war just as she could not avoid the clash with the alliance of Latin cities earlier. Still the strategy of the Samnite war shows that this was not only regarded as a defensive struggle, for the long war fought against the Samnite League was also accompanied by a desire to conquer and to get slaves. Rome not only hoped for an increase in territory and slaves but she also expected the victorious termination of this war to provide the solution to the most pressing social problems.

The Roman ruling class was undoubtedly aware of the possible seriousness of the Samnite War. This is shown by the law, accepted in the first year of the war, which terminated a several centuries-long internal struggle which frequently acquired a revolutionary character. This was the *lex Poetelia Papiria* which served the purpose of quieting the dissatisfied lower strata of *plebs* and required the class of the rich to make sacrifices for the sake of social peace necessitated by the war.

Livy described the *lex Poetelia Papiria* as «*aliud initium libertatis*» but the rest of the ancient sources underlined the significance of this law.⁹⁵ This law changed the proceedings to be brought against defaulting debtors from that of a criminal law suit to a civil law suit, thereby repealing a very important decree of the Twelve Tables. The merit of the law was the abolition of personal execution for debt and it raised to a law the principle according to which «*pecuniae creditae bona debitoris, non corpus obnoxium esse*».⁹⁶ The significance of the law is increased by the retroactive termination of *noxam* and the mitigating or terminating power of the law was inapplicable only to those sentenced for criminal acts («*nisi qui noxam meruissent*»). Concerning the interpretation of the law, there are sharp differences between modern researchers which may

⁹³ Cf. FRANK: ESAR I.² 40., AFZELIUS: Die römische Eroberung Italiens, Acta Jutlandica XIV. 3. 1942., HEUSS: Römische Geschichte, Braunschweig, 1960. 33.

⁹⁴ Cf. FERENCZY: Critique des sources de la politique extérieure romaine de 390 à 340 avant notre ère. Acta Ant. Hung. I. 1951. 127.

⁹⁵ Cf. ROTONDI: Leges publ. pop. Rom. 230. FRANK: ESAR I.² 32., DE FRANCISCI: Storia, I.² 353.

⁹⁶ Liv. VIII. 28. Cf. Cicero, *De rep.* II. 59.: *Nexa civium liberata, nectierque postea desitum.* Varro, L. L. VII. 105. (he assigns the law to 313 B. C. and gives C. Poetelius Libo, dictator, as the formulator (*Hoc nexum*) C. Poetelio Libone Visolo dictatore sublatum ne fieret et omnes qui bonam copiam iurarent, ne essent nexi, dissoluti.

be traced to the obscurity of the different versions of the text they are familiar with. Thus first of all the clause «*si bonam copiam iurarent*» is unclear. This was the condition of releasing the already sentenced debtors according to the law. It is probably that this meant an oath of insolvency, but we cannot deny the possibility of other interpretations.⁹⁷ The paramount importance of the law is unaltered by the obscurity of certain details especially because there is no doubt about the essence of the law: it is the legal statement of the principle that henceforth no Roman citizen may lose his personal liberty because of debt and even those who lost their freedom in such cases previous to the law had to be let free if they can satisfy certain requirements.

The great significance unanimously attributed to the *lex Poetelia Papiria* by ancient sources requires a more thorough examination of the circumstances surrounding the origin of this law and of its historical background.⁹⁸ Livy introduces the passage of the *lex Poetelia Papiria* with an interesting story⁹⁹ which is, however, without historical basis and therefore provides no explanation of the origin of the law. The fact that the law was passed in the first year of the Second (actually the First) Samnite War easily suggests that the ruling class thought it necessary to quiet the plebs with this law because of the recent outbreak of war. But taking into consideration the long series of debt laws which mark the importance of this problem in the life of Roman society, this explanation is not satisfactory. The significance of the *lex Poetelia Papiria*, the «Magna Carta of plebeian rights» (Frank) of the *plebs* was much greater than is generally assumed by modern researchers in face of the indisputable proofs of ancient sources. Previous to the *lex Poetelia Papiria* Roman law followed a procedure concerning debt proceedings which was identical with that of the states of Ancient East. The state openly supported or tacitly tolerated the self-sale of the debtor or the willing relinquishing of his personal freedom to the creditor for longer or shorter periods, or giving the debtor or one of his family members in an open or concealed way to the creditor.¹⁰⁰ The *lex Poetelia Papiria* opened an entirely new course of development in Roman contract law which corresponded to the large-scale transformation beginning in Roman economic and social life in the middle of the 4th century B. C. and leading to the full development of the slave system.

More than 100 years passed from the time of the Twelve Tablets which

⁹⁷ In the listings of ROTONDI: *Leges publ.* 231.

⁹⁸ Not much attention is paid to the examination of this law in modern historical research: cf. DE SANCTIS: *Storia II.*² 471. For the latest listing in literature on the history of law see BERGER: *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*. Philadelphia, 1953. 557., KASER: *Röm. Privatr. I.* (1955) 137.

⁹⁹ VIII. 28, 1–8.

¹⁰⁰ Cf. SIEGEL: *Slavery during the Third Dynasty of Ur*. *Memoir Series of the American Anthropological Association* N° 66. 1944., MENDELSON: *Slavery in the Ancient Near East*, New York, 1949., KASER: *Röm. Privatr. I.* 136. and the literature listed in these works.

brought a penal suit against the defaulting debtor and in the trial treated the convicted person with the severity known from the states of Ancient East until the passage of the *lex Poetelia Papiria* which repealed these decrees. Up until this point several other decrees of the Twelve Tables also became invalidated. This was a natural consequence of the economic, social and political transformations taking place in the history of Rome during this period. The old Roman law recorded in the Twelve Tables was the law of a peasant society which, although starting to disintegrate, still lived in a clan system. Although the Decemviral legislation unmistakably reflected the transformation from tribal organization to the family system and its rules were already equally binding on their ruling class, the patricians and the *plebs* set apart in several respects from the state, the views and legal principles of the Decemviral legislation were still rooted in the patrician state and its sphere of validity did not extend beyond the category of *quirites*.¹⁰¹ The recognition of the legal equality of the plebeians and the increase of Roman territory after the Latin war added new categories of citizens with full and limited rights to the population of Rome. The applicability of the lawsuits associated to the old rigid and severe forms became doubted among the changed social circumstances. The new praetorian law adjusting to the needs of modern life was at the beginning of its development, but here, however, we have surveyed only one part of those difficulties which hindered the application of the rules of procedure of the Twelve Tables in the second half of the 4th century B. C. The political complications originating from the execution of debt laws affecting a considerable stratum of the *plebs* and which increased the bitterness of this stratum almost to the point of revolution were also similarly grave. Since at this time the majority of the Roman army was composed of plebeians, the preservation of social peace was of vital importance for the ruling class at the time of the outbreak of the Samnite War even if it meant some sacrifices.

The most important circumstance which made the ruling class tractable on this point was the sweeping changes which took place in the structure of Roman economic life in the last hundred years. Even from the viewpoint of the ruling class this change made the maintenance of the strict, old debt laws unnecessary. The spread of slavery, the increasing abundance of cheap slave labor in agriculture and the use of slaves in industrial production abolished the labor shortage which 100 years earlier played a role in the passage of the strict debt laws. The turning of as great a number of *plebs* as possible into clients or even into slaves (certainly done on a much broader scale than indicated by the Roman sources) which was in the interest of the ruling class,

¹⁰¹ For literature on the *ius Quiritium* see BERGER: *Encyclopedic Dictionary*, 532., KASER: *Röm. Privatr.* I. 18., LEVY-BRUHL: *Recherches sur les actions de droit*, Paris, 1960. Publications de l'Institut de Droit Romain de l'Université de Paris XIX., WIEACKER: *Vom römischen Recht*, Stuttgart, 1961.² 64.

became harmful among the new conditions for both the ruling class and the interests of the state. It now became more useful to gain the support of the masses of *plebs* for the state and the ruling class, to use them for the wars of conquest than to exploit them with earlier methods which had threatening political consequences. The power of commercial and usurious capital did not lessen after the *lex Poetelia Papiria* but it rather increased in Rome.¹⁰² The true large-scale development of contract law began afterwards and defended the interests of the capital or the creditor with legal means better suited to the new relations.¹⁰³

The decline of the *nexum* legal transaction which was the result of the cessation of personal execution protected the *plebs* from the threat of debt slavery, but at the same time it proved catastrophic for the members of the *plebs* with a small livelihood. The ruling class to which the commercial and usurious capital flooded, abundantly recompensated itself for the loss of the exploitation of the free and poor strata of Italia and Rome by the exploitation of the subdued peoples which followed the new large conquests. At the same time the former lost all hope of improving their conditions for they did not possess the required financial basis for this. Thus the large-scale impoverishment of the *plebs* began after the *lex Poetelia Papiria* and the fact that this process did not constitute a social threat for more than 100 years must be attributed to the colonization policy following the conquests.

The political passivity of the medium and lower strata of the *plebs* following the *leges Publiliae Philonis* which became manifest in the transitory weakening of the class struggle could be traced to — in addition to the already mentioned causes — the circumstance that these strata lacked any political experience and had no leaders who could direct their struggle for the improvement of their status. As it was seen the élite of the *plebs* was absorbed by the new ruling class and the office of plebeian tribunes which up to those times organized the movement of the *plebs* lost its revolutionary tendency.¹⁰⁴ From 367 onwards they elected 10 *tribuni*, the majority of which were from among the plebeian nobility. Consequently the plebeian tribunes did not support the opposition to the government but were supporters of the ruling regime. But there were also other hindrances to the political activization of the medium and lower strata of the *plebs*. The plebeian masses living in the rural areas were dependent on the large estate-owning patricians and the plebeian nobles both economically and politically. Moreover these rural plebeian strata were not related to the urban *plebs* in an identical class situation. The urban plebeian

¹⁰² Cf. SALVIOLI: Il capitalismo antico, 1912. passim.

¹⁰³ Cf. ARANGIO-RUIZ: Storia, 135., WIEACKER: Vom röm. Recht. 64.

¹⁰⁴ On the history of the tribunes of the *plebs*: NICCOLINI: Il tribunato della plebe Milano, 1932., and I fasti dei tribuni della plebe. 1938., SIBER: Die plebejischen Magistraturen, and Plebs RE XXI. I. 103., LENGLE: Tribunus pl. RE VI. A 2. 2467., BLEICKEN: Das Volkstribunat der klass. Republik, München, 1955 (Zetemata H. 13.)

medium and lower strata lived on a higher economic level than those of the rural areas. They mainly controlled industry and commerce and the territorial gains of Rome increased their financial status to a great extent. Rome, which earlier was for the most part an agrarian state, became after the middle of the 4th century and the conquest of Latium and Campania, a significant industrial and commercial centre¹⁰⁵. While Rome earlier did trade only with the markets of Italia, now she joined the international flow of trade.^{105a} The freedmen (*i. e. libertini*) who formed a newly developing social stratum had a significant role in fostering industry and commerce. As it can be assumed from the *lex Manlia de vicesima manumissionum* the number of freedmen was increasing. Due to their financial status many of them rose to the central strata of *plebs* and some of them fought their way up into the ranks of the plebeian aristocracy.¹⁰⁶ Generally the freedmen, even if they became wealthy, found a place in the lower or medium strata of the urban *plebs* and the majority of them, since they were not admitted into the tribes, did not possess citizenship for a long time.¹⁰⁷

The change in the structure of Roman economic life (the considerable growth of industry and commerce as well as agrarian activity) did not result in the corresponding transformation of political rights and state institutions of the people. For the most part the rural population possessed political rights, since the conquest led to an increase in the proportion of rural tribes, while the number of urban tribes remained unaltered. Since the votes at the assembly of the people were counted according to tribes, the 27 rural tribes^{107a} could easily out-vote the 4 urban tribes at the *comitia centuriata*. The circumstance was overlooked that the number of people belonging to the urban tribes — due to the population growth of the city of Rome — reached the number of those belonging to the rural tribes. The ruling class composed of large-holders did not want to stop this disproportion which put the rural population at an advantage when practising its political rights. Similarly it was also reluctant to introduce a census of movable property in favor of the urban population. Namely, this could have resulted in the rich urban citizens getting into the first class and thus having a decisive influence on the resolutions of the *comi-*

¹⁰⁵ FRANK: ESAR I. 37.

^{105a} From this we can deduce the text of the Second Carthagian Treaty as known from Polybius (III. 24. 1–13.). Cf. TAUBLER: Imperium Romanum, I. 255., FRANK: ESAR I.² 35., BENGTON: Die Staatsverträge d. Altertums. II. 306., ALTHEIM: RG II. (1953) 382., WERNER: Der Beginn der röm. Republik. 341.

¹⁰⁶ Regarding Claudius Marcellus cf. MOMMSEN: RStR. III. 74., MÜNZER, RE III. 2731.

¹⁰⁷ Cf. KASER: Die Geschichte der Patronatsgewalt über Freigelassene, ZS 58. 1938. 88., and Die Anfänge der manumissio ZS 61, 1941. 153., LEVY: Libertas und civitas. ZS 78. 1961. 142.

^{107a} In 318 B. C. the number of rural tribes rose to 27. Cf. HOMO: L'Italie primitive,² Paris, 1938. 267.

tia centuriata.¹⁰⁸ The four urban tribes or rather the population belonging to them, can be regarded as being without political rights at the time of the outbreak of the great Samnite War, because they had no adequate representation either at the *comitia centuriata* or at the *comitia tributa*. They could count even less on gaining the magistracy. The magistrates were elected by the people's assembly (the supreme magistrates by the *comitia centuriata* and the minor ones by the *comitia tributa*) from among those nominated by the supreme magistrates. In almost all instances these were persons belonging to the patrician—plebeian ruling class.

Data concerning this period and the life of the slaves in the Roman state are almost entirely lacking in ancient historiography. This blank is not only related to the general attitude which the historiography of the slave-holding society had towards the society of slaves. The life of the slaves was interesting for ancient historiography only so far as it influenced the life of the free, *i. e.*, the life of the slave-holders. In the 4th century B. C. there was no contemporary Roman historiography because we cannot speak about official historical records in the period before the turn of the 4th and 3rd centuries.¹⁰⁹ Those historical works which provide information about the treated period were on the whole written during the 1st century. Even from the scanty indirect data and weak historical tracings it may be stated that the number of slaves and the significance of slavery was increasing in Rome around the middle of the 4th century B. C. in the decades of the rise of the patrician—plebeian state. The formerly mentioned *lex Manlia de vicesima manumissionum* which imposed a heavy tax for manumission proves that the state wanted to make it difficult to manumit slaves, the number of whom were steadily increasing. This is difficult to imagine without the existence of a great number of slaves. Otherwise concerning the sources of slavery in this age we are mostly dependent on assumptions. The constant wars of Rome with the neighbouring states previous to the Latin War certainly resulted in slave acquisitions, but this could not yet have been significant. It was, however, much more important that after the conquest of Latium and Campania Rome joined the international slave trade which delivered to Rome the slaves from territories outside of Italia. It is likely that previous to the passage of the *lex Poetelia Papiria* there was a significant number of plebeians sinking into slavery on account of debts.¹¹⁰ The great flood of slaves as war booty began during the Samnite

¹⁰⁸ Cf. MOMMSEN: RStR II. 1. 371., FRACCARO: «Tribules» ed «aerarii», Athenaeum NS XI. 1933. 150. = Opuscula II. Pavia, 1957. 149., TAYLOR: The Voting Districts of the Roman Republic, Roma, 1960. (American Academy in Rome, Papers and Monographs, XX) *passim*.

¹⁰⁹ Cf. KORNEMANN: Gestalten und Reiche, Leipzig, 1943. 245., MOMIGLIANO: Secondo contributo alla storia degli studi classici, Roma, 1960. 69., WERNER: Der Beginn d. röm. Republik, München—Wien, 1963.

¹¹⁰ Cf. WESTERMANN: The Slave systems of Greek and Roman antiquity. Philadelphia, 1955. (Memory of the American Philosophical Society, vol. 40.) 59., 70.

Wars,¹¹¹ and this source of slave acquisition acquired increasing significance in later times.¹¹² Naturally the steady growth of slaves had harmful consequences for the status of slaves which worsened in proportion to the flood of slaves entering Rome.

We possess no data on the conditions of the employment of slaves in the middle of the 4th century. If we try to make inferences it is probable that they were employed on the large estates for agricultural work as well as working in the shops of Rome as craftsmen. On the latifundia of the plebeian nobility the employment of the slave labor force was certainly much greater than on the patrician lands or at least it was so when production based on slave labor first started to become prevalent. This is possible because the patricians traditionally employed their clients on their estates while the plebeian nobility, which in the beginning did not necessarily possess clients in such great numbers, was bound to recognize the possible advantages of slave labor sooner. In all likelihood at the end of the Samnite War slaves were employed on the conquered public lands. The steadily increasing opposition arising between the large estate owners and the rural *plebs* during this period certainly could be traced to this circumstance.¹¹³

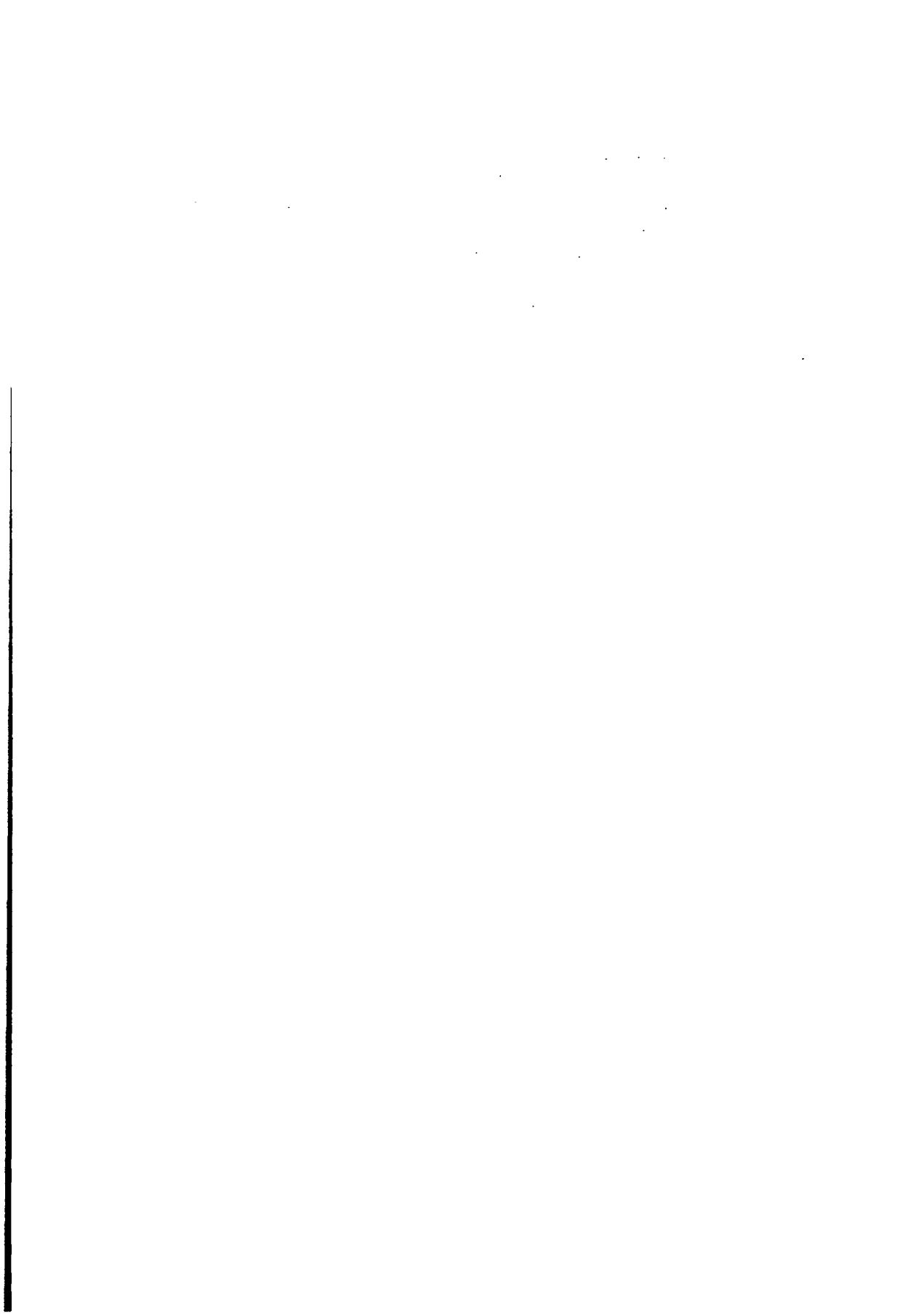
The two generations following the passage of the *leges Liciniae Sextiae* saw the development of the new patrician—plebeian ruling class and state apparatus. The first period of this era is characterized by the attempts of the old ruling class, the patricians, to introduce a restoration. During the 18 years of the «patrician reaction», the old patrician aristocracy succeeded in getting the upper hand in the government until the surmounting foreign and internal political difficulties forced them to finally relinquish their leadership in the state to the plebeian nobility and to the patrician *gentes* allied to this latter. The Genucian plebiscites (342 B. C.) mark the suppression of the patrician reaction and following this the laws of the gifted politician, Publilius Philo, of the new ruling class laid the foundations for the constitution of the patrician—plebeian state. The foreign political successes, the conquest of Latium and Campania, the rise of Rome to become the strongest power of central Italy, significantly contributed to the strengthening of the new regime. By the foundation of the colonies, by the gradual reduction of the severity of the debt laws and finally by the abolishment of interest slavery in the *lex Poetelia Papiria*, the new ruling class was successful in appeasing the dissatisfaction of the medium and lower strata of the *plebs* and in temporarily consolidating the social basis of the government. The effect of the first phase of the (Second) Samnite War

¹¹¹ Cf. Liv. IX. 42. 8. X. 46. 5.

¹¹² Cf. WESTERMANN: *op. cit.* 60., FINLEY: Slavery in classical antiquity, London, 1964. 151., WELSKOPF: Probleme der Sklaverei in der griechisch-römischen Welt, Acta Ant. Acad. Scient. Hung. XII. 1964. 311.

¹¹³ Liv. Epit. 11., Dio Cass. fr. 37, 2., Zon. VIII. 2., Plin. XVI. 37., Aug. De civ. Dei III. 17. Cf. ROTONDI: Leges publ. 238., PARETI: Storia di Roma II. 1952. 79.

(326—321) on Roman home politics meant the premonitory signs of crisis. The failure and hardships of the war disclosed the weaknesses of the system: they showed the discord within the ruling class as well as the impotence and irresolution of the social basis of the government. The increasing dissatisfaction of the medium and lower strata of the *plebs* with their political rights and social status, the dissatisfaction with military organizations set up on a limited social basis and its backwardness were strikingly pointed out by the defeat at Caudium and the effects of this defeat on home politics. Dissatisfaction with the ruling regime increased and they were close to an open rebellion when the social strata claiming the reform found a proper leader in the extremely gifted person, the member of an already declined patrician clan. Thus in the decade following the defeat of Caudium, Appius Claudius Caccus appeared on the historical scene.



I. K. HORVÁTH

CATULLI VERONENSIS LIBER

DISCUSSION SUR LE LIVRE DE CATULLE ET LES DEUX TYPES
PRINCIPAUX DE SON LYRISME

I. REVUE CRITIQUE DES PROBLÈMES ACTUELS

Il y a près d'une dizaine d'années déjà, Léon Herrmann, le savant belge bien connu, faisait au monde scientifique la surprise d'une curieuse édition de Catulle. L'écho soulevé à cette époque parmi les spécialistes fut des plus variés, un certain scepticisme l'emportant à l'égard des fondements philologiques de la manière de procéder de l'auteur.¹ En effet, Herrmann part de ce point de vue que le volume de poésies de Catulle tel que nous le connaissons, ne peut être identique à sa forme originelle (les inversions, les vers tronqués, les lacunes, etc. en font foi); la grande tâche de la science est donc de tenter la reconstitution de l'archétype qui se trouve à l'origine de la forme actuelle. Si cette tentative n'apporte pas de résultats absolument probants, c'est-à-dire que si nous ne parvenons pas à remonter jusqu'aux rouleaux de papyrus de l'époque de Catulle, peut-être pouvons-nous donner une idée de l'édition de cette oeuvre, telle qu'elle se présentait à l'époque impériale: «un reflet assez fidèle d'un Catulle sur cahiers de parchemin, tel que ceux qu'on pouvait acheter par exemple à l'époque de Martial.»² Pour parvenir à ce but, le seul moyen est — selon Herrmann — de supposer un volume constitué de colonnes ou de pages de 18 lignes dont nous avons des raisons de supposer la connaissance et l'emploi dans les cas de Valerius Caton et de Lucrèce.

À quelles hypothèses l'auteur dut-il avoir recours, à quelles substitutions arbitraires de vers et même à quels tours de force mathématiques, pour appliquer une idée qu'on peut tout au plus qualifier d'ingénieuse, voilà qu'il est inutile d'exposer en détail.³ Le résultat est en lui-même assez surprenant:

¹ L. HERRMANN: Les deux livres de Catulle (Collection Latomus V. XXIX) Bruxelles, 1957. — À propos des critiques, signalons comme une des plus caractéristiques peut-être, le compte rendu d'HERESCU, solidaire du livre de HERRMANN et qui évite d'abord longtemps le problème pour poser tout de même la question à la fin, avec sincérité: «... a-t-on le droit de remanier un texte sans tenir compte de la tradition manuscrite? Pour toutes nos conjectures, les manuscrits ne demeurent-ils pas la première et la plus indispensable des cautions?» — N. I. HERESCU: REL 35 (1957) 342 l.

² L. HERRMANN: op. cit. Introduction VI.

³ On ne voit absolument pas pourquoi l'auteur juge incompréhensibles les vers 251—253 de la pièce LXIV, dans l'ordre où ils se présentent dans la tradition manuscrite: le groupe *tuoque incensus amore* qui se trouve au vers 253 peut parfaitement se rapporter

deux volumes de poésies «mathématiques» chacun contenant par page 18, en tout $68 \times 18 = 1224$ vers, ni plus, ni moins. En tête du premier volume ne se trouve pas le préambule dédié à Cornelius Nepos, mais une «autre préface» reconstituée à partir des fragments IIa et XIVa; ainsi l'auteur peut rapprocher le motif de la pomme qui fait détacher sa ceinture à Atalante, du motif de la pomme qui roule du sein de la jeune fille effrayée, dans le poème LXV considéré comme l'épilogue de ce volume.⁴ Le premier volume contient en

au *Iacchus* du vers 251, même s'il en est séparé par un autre vers; de la même façon il est tout à fait arbitraire d'intervertir les vers 15 et 16 de la pièce LV. Cf. N. I. HERESCU: op. cit. (pp. 341—342). Mais plus surprenantes encore sont des interprétations comme celle du vers *num te lacteolae tenent puellae* (pièce LV, 17, selon la tradition) à propos duquel HERRMANN affirme comme indubitable que puisque *lacteolae puellae* ne peut pas être ici qu'un génitif singulier (?), il faut bien que nous supposions ensuite une lacune, un mot comme *bracchia*, — cela, en réalité, pour la seule raison que la ligne qui manque à la colonne supposée, de 18 lignes, soit trouvée quelque part. Dans la pièce LXIV, dans laquelle il est obligé de doubler deux vers (336 et 354), d'en intervertir quatorze (252, 365, 378 et 254—264) et d'en considérer enfin, deux, comme n'existant pas (322 et 332), l'un des deux vers qu'il rejette est précisément celui qui contient le motif de la *perfidia* que beaucoup considèrent comme contenant l'idée fondamentale de tout le poème. Cf. E. v. MARMORALE: L'ultimo Catullo. Napoli, 1957. pp. 84—85. Si l'on a même tiré un argument en faveur des rapports entre les pièces LXV et LXIV du fait qu'on relève dans ces deux poèmes une analogie jusque dans les mots employés pour exprimer certaines idées, alors pourquoi l'auteur n'y ajouterait-il pas aussi la pièce XXX? Car les motifs de *tua dicta vagis nequiquam credita ventis effluxisse* (LXV, 17—18), *cuncta discernunt irrita venti* (LXIV, 142) ou *pulsae ventorum flamine nubes* (LXIV, 239) qui figure dans un contexte semblable, se retrouvent tous dans l'expression: *tua dicta . . . ventos irrita ferre ac nebulas aerias sinis* (XXX, 9—10).

⁴ HERRMANN mélange la pensée de deux de ses prédécesseurs également distingués. L'un est FRIEDRICH qui à la suite de KLOTZ et d'autres encore ont voulu voir un «deuxième prooemium», une dédicace adressée directement au lecteur dans la pièce constituée par la réunion des deux fragments. Cf. G. FRIEDRICH: Catulli Veronensis Liber. Leipzig—Berlin, 1908. pp. 82—83. HERZOG, qui essaie d'expliquer la pièce à partir d'une épigramme destinée au tombeau d'une jeune fille de Sardes du nom de *Μηροφίλα*, risque même la supposition selon laquelle cette dédicace se serait trouvée *extra ordinem paginarum* sur la couverture d'une édition de luxe de Catulle, peut-être sous le portrait du poète. Cf. R. HERZOG: Catulliana. Hermes 71 (1936) 338 et sq. L'autre idée est celle de Schmidt qui suppose dès l'époque de Catulle, l'existence de deux recueils de poésies courants, dont l'un aurait peut-être commencé par le «Passer», et aurait compris les poésies du début, au ton plus tendre (pièces sur le moineau, les baisers, etc.) tandis que l'autre aurait été précédé de la préface dédiée à Cornelius Nepos, et aurait compris les courtes pièces composées plus tard. Cf. B. SCHMIDT: Die Lebenszeit Catulls und die Herausgabe seiner Gedichte. RhM LXIX (1914) 280 et sq. Dans ces conditions donc, s'il y a deux volumes, l'un commençant par la préface dédiée à Cornelius Nepos, l'autre étant dépourvue de préface, le problème de la «double préface» qui gêne beaucoup de philologues, disparaît mais sans que disparaisse pour autant le problème — entre autres — que pose la réunion en une seule des deux pièces en question: car a-t-on le droit de les faire fusionner? Nous ne voulons certes pas être aussi conservateurs que Dornseiff qui explique avec enthousiasme que dans le recueil de Catulle, la pièce XIVa qui est la conclusion de la pièce XIV (satire des rimailleurs amateurs) et qui évoque la pièce XVI (*Pedicabo ego vos . . .*) est parfaitement à sa place. Cf. FR. DORNSEIFF: Die Trümmer in Catullbuch. Ph XCI (1936) p. 347 et Menophila von Sardes von Catulls Passer befreit. Studies presented to D. M. Robinson. Washington, 1951. p. 660 et sq. —; mais nous sommes pleinement d'accord à cet égard, avec le prudent KROLL, qui traite les tentatives de ce genre de jeux audacieux (Spielerei). Cf. W. KROLL: C. Valerius Catullus. Leipzig—Berlin, 1929. p. 3 — ou encore avec ZICARI qui considère bien qu'il est indispensable de séparer les vers 10 et 13 si l'on veut vraiment comprendre la pièce II, mais laisse au moins ouverte la question de leur appartenance. Cf. M. ZICARI: Il secondo carme di Catullo. Studi Urbinati. N. S. Urbino, 1963. p. 14.

outre tous les longs poèmes et à côté de deux petites poésies choisies à la suite d'un raisonnement compliqué, un poème plus important, qui ne nous est pas resté *incantamentorum amatoria imitatio*, dont l'existence est déduite à partir d'un texte de Pline l'Ancien;⁵ le deuxième volume, de son côté, témoigne de la confusion qui règne parmi les poésies de moindre envergure; dans la première moitié du volume, et avec la préface adressée à Cornelius Nepos, en tête, sont rangées les *nugae* groupées comme il convient, et dans la deuxième partie, les épigrammes. La disposition de la matière du deuxième volume, a été, selon l'auteur, une tâche plus compliquée que dans le cas du premier livre, mais, il a fini par reconstituer par induction 4×18 vers qui manquaient toujours au poème qui en comprend 1224, en réunissant d'une part un fragment en l'honneur de Priape écrit en hendécasyllabes phalécien (Priap. LXXV) et un autre écrit en vers priapéens, cité par Terentianus Maurus (2756—2759) et en supposant d'autre part, une lacune de trois pages entières.

Nous avons du mal à croire qu'on fasse avancer la science en brouillant ainsi l'ordre traditionnel des manuscrits de ces recueils de poésies anciennes; nous n'y voyons aucun intérêt pratique, même si cette théorie repose sur une idée philologique (ou mathématique) aussi séduisante. Depuis Lachmann c'est une idée qui ne cesse d'exercer son attrait que celle de la reconstitution de l'archétype, manuscrit de la tradition, d'après le chiffre supposé ou déduit par des moyens philologiques, de certaines pages ou de certaines colonnes,

comme Lachmann lui-même essaya de le faire lors de la reconstitution du texte de Lucrèce en émettant son hypothèse de colonnes de 26 lignes. C'est en gros cette ligne que suit également Fr. della Corte, lorsqu'en s'inspirant de Lachmann, il tente à propos de Catulle d'établir le texte d'un archétype composé de colonnes ou de pages de 30 lignes, et c'est encore de la même manière que procède, immédiatement avant la parution, du livre de Herrmann, J. Colin, lorsqu'il répartit le texte manuscrit de Juvénal en groupes de 34 lignes.⁶ Toute la conception qui est à la base de l'oeuvre de della Corte a d'ailleurs dû influencer Herrmann dans l'élaboration de sa théorie selon laquelle il aurait existé deux livres de Catulle. Car dans sa recherche de

⁵ Plin. Nat. Hist. XXVIII, 19. — Dans le passage cité, Catulle figure en compagnie de Théocrite et de Virgile, ce dont HERRMANN conclut que sa poésie a pour sujet la sorcellerie amoureuse exactement comme la III^e idylle et la VIII^e églogue. Puis il établit que l'idylle contient plus de 200 vers (qu'on nous permette de mentionner en passant que la sorcellerie amoureuse fait l'objet non pas de la III^e mais de la II^e idylle et qu'elle n'a pas plus de 200 vers, mais 166 très exactement), tandis que le chant magique d'Alphesiboeus dans l'églogue de Virgile comporte 45 vers en tout, on peut donc supposer, selon lui, que la pièce de Catulle qui est *intermédiaire dans le temps* a également une place intermédiaire quant à sa longueur, et que par conséquent, elle ne peut pas avoir plus de 72 vers (?), c'est-à-dire qu'elle occupe quatre colonnes, exactement ce qu'il lui faut pour ses calculs. Cf. L. HERRMANN: op. cit. XI.

⁶ FR. DELLA CORTE: *Due Studi Catulliani*. Genova, 1952. p. 91 et sq. Cf. encore J. COLIN: *Atti della Accademia di Torino* 1952—1953 et N. I. HERESCU: op. cit. p. 341.

«l'autre Catulle», della Corte en était déjà arrivé, à la suite d'une étude approfondie de l'histoire de la tradition des textes, à l'idée sinon de «deux livres de Catulle», du moins d'une transmission de textes double. Et comme U. Knoche l'avait fait à propos du texte de Juvénal, della Corte suppose une édition savante à peu près contemporaine (oeuvre de M. Terentius Varro peut-être?) qui aurait compris, sous forme des recueils spéciaux, (hendécasyllabes, épithalames, épigrammes, poèmes priapéens, etc.) l'oeuvre complète (*opera omnia*) de Catulle; mais il tient compte par ailleurs d'une tradition vulgaire, peu délicate en matière de fidélité au texte, qui était très largement répandue et qui selon le témoignage de la préface adressée à Cornelius Nepos, se trouvant en tête du recueil, était peut-être bien précisément l'oeuvre de Catulle. Avec le temps la tradition «savante» conservant le texte le meilleur et le plus complet, se serait évanouie, tandis que l'autre a survécu jusqu'à nos jours, grâce à la diffusion de l'édition vulgaire puis à la transmission des manuscrits *G* et *O* qui sont les plus fidèles au texte du manuscrit de Verone (*V*) lui-même disparu; c'est ce texte-là qui sert presque exclusivement à l'établissement des textes actuels de Catulle.^{6a} Nous avons donc toutes les raisons de penser qu'Herrmann, même s'il n'en fait pas état lui-même, a été amené à sa précaire hypothèse de «deux livres de Catulle» et à ce jeu de logique-mathématique placé sous le signe du chiffre magique «18», par l'idée séduisante d'un autre texte, plus authentique, de Catulle.

Ce caractère par trop hypothétique des tentatives de solution, fait que la question, bien entendu, est toujours ouverte. Et cela d'autant plus, que nous ne voyons toujours pas clairement pourquoi le volume de Catulle, sous sa forme actuelle, constitue un problème. Serait-ce parce qu'ici et là des lacunes se présentent, qu'il y a des fragments dont on ne sait que faire, et que parfois des vers se confondent? Même sans avoir recours à l'idée de Dornseiff qui s'est employé avec l'ardeur la plus sincère à faire croire aux autres et à lui-même que tous les fragments étaient à leur place, qu'il n'y avait nullement lieu d'établir un lien entre eux ou de les insérer à d'autres endroits du texte, car ces fragments en somme n'étaient pas des fragments⁷, nous ne pouvons répondre que par la négative à la question que nous avons posée; des altérations de ce genre se rencontrent dans la plupart des traditions manuscrites. Ou bien encore, serait-ce que pour l'esprit d'un savant qui voit tout, ou désire tout voir, sous une forme systématique, l'absence de succession chronologique, comme de cohésion dans le sujet, et d'unité dans la forme, doive aussitôt suggérer l'idée de gratuité ou de confusion? Certes ce sentiment

^{6a} Cf. U. KNOCHÉ: *Handschriftliche Grundlagen des Juvenaltextes*. Leipzig, 1940 (Ph. Suppl. XXXIII, 1) p. 31 et sq. G. B. PIGHI fait une critique très approfondie et détaillée du volume de FR. DELLA CORTE, dans son livre: *L'altro Catullo*. RIFC XXX (1952) pp. 303—328. A propos de la double tradition voir p. 305 et le compte rendu d'E. GALLETIER REL 30 (1952) pp. 400—401.

⁷ FR. DORNSEIFF: *Die Trümmer* . . . op. cit. 346 et sq.

d'imperfection n'est pas entièrement sans fondement; mais il est néanmoins incontestable que nous sommes, dans cette oeuvre, en présence d'une volonté consciente d'ordonner logiquement la matière dans la mesure au moins où le formule R. Helm dans la sérieuse introduction qu'il a écrite pour la dernière édition bilingue en allemand: «Die uns vorliegende Sammlung verrät von selber die bewusste Ordnung, nach welcher die kleineren, in verschiedenen Versmassen verfassten und die in daktylischen Distichen die grossen Gedichte einrahmen . . .»⁸ Le fait qu'il y ait deux pièces liminaires dans le volume (I et XIVa) — c'est sur cet argument précaire qu'Herrmann appuie son hypothèse des «deux livres de Catulle» — n'est pas davantage une preuve que ne doit pas être considérée comme une préface, la poésie adressée à Orthalus (LXV). Enfin, l'argument selon lequel nous rencontrons chez des auteurs et des grammairiens postérieurs, des allusions à des poèmes que le volume actuel ne contient pas (comme l'*incantamentorum amatoria imitatio* déjà mentionnée que della Corte considère comme une traduction de Théocrite, ainsi que des poèmes priapéens et anacréontiques) cet argument donc ne tient pas; on est tout au plus en droit de déduire de ces allusions que le volume actuel ne contient pas toutes les poésies de Catulle, della Corte lui-même n'étant d'ailleurs pas allé beaucoup plus loin dans sa critique du Catulli Veronensis liber.

Ce n'est d'ailleurs guère que depuis le début de notre siècle que les spécialistes s'occupent d'une façon générale du problème d'un principe compositionnel devant présider à la naissance et à l'ordonnance des recueils de poésies de l'antiquité. A cet égard, l'ouvrage de W. Kroll sur les recueils de poèmes hellénistiques et romains, malgré son caractère un peu trop général, ouvre une nouvelle voie; cet ouvrage est suivi, une dizaine d'années plus tard, par l'étude détaillée de W. Port qui s'étend aux recueils des poètes de l'époque d'Auguste⁹, étude qui a inspiré à B. Heck une dissertation — encore manuscrite — où il étudie le principe auquel obéit l'économie du recueil de poésies de Catulle.¹⁰ Dans cette étude de la composition on part généralement de l'observation selon laquelle la mode qui consiste à publier des recueils de poésies de tout genre est en connexion avec l'extension prise par la «petite poésie» alexandrine. Ces recueils de poésies publiés sous le titre de «Paignia», «Katalepton», «Epistolai», «Grapheion», etc., répondaient à un double but: d'une part, ils empêchaient que les oeuvres de petite envergure du poète, ne s'égarèrent et d'autre part, ils les rendaient plus facilement accessibles au public; on est en droit de supposer que, le recueil de Callimaque les «Iamboi»,

⁸ R. HELM: Catull Gedichte. Berlin, 1963. Einführung, p. 15.

⁹ W. KROLL: Hellenistisch-römische Gedichtbücher. Neue Jahrbücher XIX (1916) p. 93 et sq. (par la suite: HRG) et W. PORT: Die Anordnung in Gedichtbüchern augusteischer Zeit. Ph LXXXI (1926) p. 280 et sq. et p. 427 et sq.

¹⁰ B. HECK: Die Anordnung der Gedichte des C. Valerius Catullus. Diss. Tübingen, 1951.

était déjà aussi varié avec des poèmes écrits en trimètres iambiques figurant à côté de pièces en choliambes et en tétramètres trochaïques.¹¹ Quel plan présidait à la disposition des oeuvres rassemblées dans un volume de cette sorte, ou quel principe conscient de composition, un point de vue de cet ordre existait-il à l'époque hellénistique, ce sont là des questions auxquelles actuellement encore on ne peut fournir aucune réponse, en raison du caractère défectueux de la transmission des textes.¹² On peut affirmer par contre avec certitude, que chez les Romains paraissent, à partir du I^{er} siècle av. n. è., des recueils de poésies où la matière est disposée selon des règles conscientes (nous laissons de côté ici, les livres de satires à contenu varié d'Ennius et ceux de Lucilius qui posent des problèmes non encore résolus). Il ne faut, bien entendu, pas exagérer l'importance de ce fait et en déduire que d'une façon générale les auteurs romains ne publiaient jamais leurs petits poèmes séparément mais toujours et immédiatement sous forme de recueil.¹³ A titre d'exemple justement — nous avons déjà tenté ailleurs de prouver la chose — on peut avancer comme un fait certain que Catulle comptait dans ses poésies, lorsqu'il s'agissait d'un sujet d'actualité, sur un effet rapide, sur les réactions immédiates du public (quand il tournait en dérision une rivale en amour, un ami infidèle, une personnalité politique considérée comme peu sympathique).¹⁴ Il faut rappeler aussi le fait qu'au I^{er} siècle la publication sous forme de volume destiné à la lecture n'était pas le lien unique — non plus que le plus important — entre l'artiste et son public.¹⁵ Même après la mort de Catulle, ses poésies sont chantées par des chanteurs que tout Rome connaît et aime, Tigellius Hermogène et Demetrius, sur des estrades autour desquelles le public

¹¹ W. KROLL: HRG p. 95.

¹² W. PORT montre: «Wenn man schliesslich in hellenistischer Zeit der Buchform sich bediente, so geschah dies nur, um die einzelnen kleinen Gedichte . . . vor dem Verlorengehen zu bewahren. Dass man sie nicht ganz planlos . . . in Buch verteilete, ist klar, doch war das Buch aus Zwang entstanden, keine Kunstform.» Cf. W. PORT: op. cit. p. 463. De même W. KROLL: HRG p. 95. Mais KROLL a raison de souligner que dès l'époque alexandrine (depuis la discussion entre Callimaque et Apollonios Rhodios) le recueil de vers avait sans aucun doute un rôle auprès du public dont il formait et influençait le goût par l'intermédiaire d'une préface en vers, d'une lettre poétique ou d'une épigramme, programme placée à une place requise. Cf. W. KROLL: HRG p. 98.

¹³ W. PORT: op. cit. p. 463.

¹⁴ En partant de l'analogie avec le *totam cantata per urbem . . . Corinna* (Trist. IV, 10, 59—60) FRIEDRICH essaie avec un argument philologique et psychologique à la fois, de donner pour certaine la supposition qui s'impose, selon laquelle les vers de Catulle étaient connus à Rome, dès la jeunesse du poète (selon lui à partir de 60/59). Cf. G. FRIEDRICH: op. cit. p. 71 et sq. — Mais beaucoup plus importantes encore, sont un grand nombre de vers de Catulle dans lesquels le poète en appelle directement au «public» — plus d'une fois aux gens de la rue —, comme dans ce vers célèbre du poème écrit contre Ravindus qui se précipite tête baissée au-devant des iambes de Catulle, et où il menace ainsi: *An ut pervenias in ora vulgi?* (XL, 5) ou bien encore la réaction si directe à l'avis formulé à propos de ses poésies, comme la menace perverse de la pièce XVI à l'adresse de Furius et d'Aurelius qui ont critiqué ses vers sur les *baisers*.

¹⁵ Cf. Irodalmi élet a régi Rómában (La vie littéraire dans la Rome antique). Budapest, 1962. — Ism. RIFC 92, (1964) p. 255.

se rassemble en foule,¹⁶ tout comme les Églogues de Virgile — la tradition antique en fait foi — connaissent un succès frénétique grâce au concours d'une chanteuse très applaudie.¹⁷ Il n'empêche que la supposition selon laquelle le livre en tant que forme d'art et conçu dans ce sens aurait été une invention des Romains semble tout à fait plausible.¹⁸ Mais alors comment parvenir jusqu'à la certitude d'un principe de composition qui — à la façon du code dans le cas d'une écriture secrète — est susceptible de faire la lumière sur la véritable intention du poète ou de celui qui par la suite a établi un ordre parmi les poésies?

Certes ce n'est guère la peine de prouver que, si Catulle n'avait pas besoin d'un instrument à calculer (abacus) ou d'une «logique mathématique» supérieure à celle du commun des mortels pour établir, avec Lesbie au cours d'un badinage amoureux, le compte plaisant des baisers donnés et reçus, ce dont il fera plus tard la pointe de sa poésie¹⁹, — il nous est tout aussi difficile d'imaginer le poète contrôlant fièvreusement vers par vers, tout en écrivant une poésie, l'application dans la poésie en question du principe mathématique de la composition «énumérative» ou «embrassée»; et cela même si nous sommes en droit de considérer la reconnaissance de ces deux principes de la composition comme le résultat précieux de la généralisation de tendances qui peuvent s'observer concrètement.²⁰ S'il est vrai qu'il existe dans les créations littéraires de l'antiquité certaines régularités que des examens approfondis peuvent révéler et qui peuvent être figurées sous forme d'équations mathématiques, il faut les considérer dans la plupart des cas, comme le résultat de certains efforts esthétiques spontanés; faute de quoi nous serions accusés légitimement, de prêter arbitrairement aux poètes des intentions qu'ils n'eurent jamais. Sur ce point nous nous en tenons entièrement à l'exigence sévère que Port se pose à lui-même et à tout spécialiste en général travaillant sur les principes de composition des recueils de poésies de l'antiquité: «Wir dürfen kein Schema und kein Prinzip von aussen herantragen und den Versuch machen, diesem möglichst alle Gedichte unterzuordnen, sondern müssen . . . die Gedichte . . . mit dem Auge des antiken Lesers in ihrer überlieferten Ordnung lesen, ihre formalen und inhaltlichen Beziehungen und Zusammenhänge beobachten, die Gründe für die Stellung des einzelnen Gedichtes im Buchganzen . . . suchen und uns dann fragen, welcher Plan für die Komposition des ganzen Buches

¹⁶ Catull und Horaz, Dichter ihrer Zeit. Sozialökonomische Verhältnisse im Alten Orient und im Klassischen Altertum. Berlin, 1961. p. 148 et sq.

¹⁷ Servius Vergl. Ecl. VI, 11: «. . . cum eam (sc. eclogam) Cytheris meretricis cantasset in theatro, quae in fine Lycoridem vocat, stupefactus Cicero, cuius esset, requireret». Servii Grammatici . . . Commentarii (Rec. G. THILO) Lipsiae, MCMXXVIII. p. 66 — Cf. E. DE SAINT-DENIS: Virgile Bucolique. Paris, 1942. p. 49.

¹⁸ «Das Buch als Kunstform, in diesem Sinne kann wohl als eine römische Schöpfung angesehen werden . . .» Cf. W. PORT: op. cit. p. 463.

¹⁹ R. PACK: Catullus Carm. V.: abacus or finger-counting? AJPh LXXVII (1956) p. 47 et sq.

²⁰ H. BARDON: L'art de la composition chez Catulle. Paris, 1943.

leitend war.»²¹ En dépit de cette sévérité relative, le fait de ne pas tenir compte d'exigences conformes à la réalité, et de pratiquer un arbitraire subjectif qui se contente de tours de force mathématiques, peut conduire justement lorsqu'il s'agit d'expliquer le principe de composition des recueils de poésies de l'antiquité, à des excès dont fait foi par exemple — et nous ne pensons pas ici seulement au livre de Herrmann — la courte étude de H. J. Mette; dans cette étude, l'auteur communique à propos du livre sur Catulle de Marmorale,²² une formule qui doit rendre compte du principe de composition de la première partie de l'oeuvre de Catulle et qui à première vue semble étonnamment conforme aux règles. L'auteur use des possibilités de classification arbitraire, il y a pourtant des précédents et des exemples de la chose qu'offre le mètre classique, et il commence par séparer des autres mètres, les mètres iambiques, dactyliques (hexamètre + distique) et ioniques (LXIII), puis il essaie d'uniformiser du point de vue du rythme la partie restante des poèmes (soit en gros les 61 premières pièces).²³ De cette manière, il «réussit» à adopter, sans raison particulière, comme unité rythmique de base, le vers glyconique (gl), puis certaines variantes tronquées de ce vers, que ce soit au début (^gl), à la fin (gl') ou au début et à la fin (^gl'), constituant une unité glyconique,²⁴ grâce à laquelle et avec l'adjonction de formules crétique, bacchique et iambique, il parvient à fabriquer des formules de vers et de strophes éoliques. L'auteur de ce schéma mathématique avait visiblement besoin de cette uniformisation pour pouvoir établir une alternance régulière des hendécasyllabes (gl + ba) avec une combinaison de vers différente fondée sur une unité glyconique; de toutes façons, une seule pièce en mètres différents formant limite, était intercalée entre les hendécasyllabes qui s'étendaient éventuellement sur plusieurs poèmes. Les 60 premières pièces obéissent donc à une répartition de cet ordre, avec un groupement A, B et C, le centre de chacune d'elles, l'*ὀμφαλός* étant occupé par une pièce contenant une déclaration d'une importance décisive dans la vie de Catulle: ainsi le poème XI (déclaration sapphique), XXX (Sirmio) et LI (déclaration sapphique), qui sont enchâssées dans des pièces en mètres différents alternant régulièrement avec des hendécasyllabes à peu dans le même nombre.

²¹ W. PORT: op. cit. 280.

²² E. V. MARMORALE: op. cit. — Rec. H. J. METTE: *Gnomon* XXVIII (1956) p. 34 et sq.

²³ Par goût de l'uniformisation, lorsqu'il établit un «ordre» parmi les mètres, il met également la pièce LXI dans le groupe des mètres éoliens (4 vers glyconiens + un vers phérecratien), mais il ne la range pas parmi les pièces réunies dans la première partie du volume, quoiqu'il insiste lui-même sur le principe purement métrique qui prévaut dans l'économie du recueil de poésies.

²⁴ Un vers glyconien tronqué au début et à la fin (^gl') c'est par exemple le vers adonique qui termine — allongé d'une syllabe — les vers sapphiques (XI et LI): < — > — | — υ — υ < — >. Ainsi la strophe sapphique se présente donc de la façon suivante:

$$\begin{array}{cccccccc} - & \upsilon & - & | & - & - & \upsilon & \upsilon & - & \upsilon & - & | & \upsilon \\ - & \upsilon & - & | & - & - & \upsilon & \upsilon & - & \upsilon & - & | & \upsilon \\ - & \upsilon & - & | & - & - & \upsilon & \upsilon & - & \upsilon & - & | & - \\ & & & & & & - & \upsilon & \upsilon & - & & & \upsilon \end{array}$$

Laissons de côté les contradictions de cette construction fort téméraire,²⁵ mais il n'est pas sans intérêt de nous arrêter un instant au point de départ réel à partir duquel l'auteur avec un arbitraire tout subjectif, s'est laissé entraîner dans de fantastiques aventures mathématiques. Il ne s'agit de rien d'autre, que du principe de la *varietas* — la *ποικιλία* qu'on trouve déjà dans la poésie alexandrine, dont l'importance du rôle dans la poésie à Rome, a été mise en lumière au cours du 19^e siècle déjà, par une étude de K. P. Schulze où ce dernier se montrait un pionnier en la matière.²⁶ Lorsqu'on veut prouver le rôle joué par ce principe de la *varietas* dans la composition des volumes de poésies, à Rome, on choisit généralement parmi les données de l'antiquité dont nous disposons, tout d'abord une note de Servius, à propos du premier vers de la 3^e Églogue de Virgile, à laquelle on se réfère. Servius explique que trois modes d'expressions sont possibles dans la poésie bucolique (*tres characteres . . . dicendi*): 1. la communication à la première personne (c'est-à-dire — en d'autres termes — le mode d'expression «lyrique»), 2. l'expression objective, dramatique sous forme de dialogue à deux ou trois personnages (*dramaticum*) et 3. une forme mixte où se mêlent les deux formules précédents (*mixtum*). Selon lui, le poète bucolique doit choisir entre ces trois modes d'expression avec un soin particulier, ses poésies étant réunies en un recueil, «. . . qui enim bucolica scribit, curare debet ante omnia, ne similes sibi sint eclogae». Une deuxième conséquence importante peut se tirer de cette affirmation absolument claire de Servius, à savoir que le principe de *varietas* devait présider obligatoirement à la composition d'un volume de poésies un peu important, non seulement pour des raisons de forme mais aussi pour des raisons de fond. Il est vrai que le principe de la variété selon la forme des vers a toujours été le principe formel primordial (primaire), les volumes des épodes et des odes d'Horace, ainsi que les recueils d'épigrammes de Martial

²⁵ Si nous prenons au sérieux l'application des principes de la *ποικιλία* et de *ὑπερβατόν* telle que la conçoit Mette, des difficultés se présentent quand il s'agit de fixer une place aux pièces XXX et LII. La pièce XXX est construite en asclepiades major et si la pièce XXXI (choliambus) est considérée comme le centre, il faudrait que son pendant ne soit pas en hendécasyllabes; or la pièce XXXI est suivie de deux hendécasyllabes (les pièces XXXII et XXXIII).

XXX asclepiades maior

XXXI (centre) choliambus

XXXII et XXXIII hendécasyllabes.

Il en va de même dans le cas de l'autre pièce centrale:

XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX et L hendécasyllabes

LI (centre) strophe sapphique

LII strophe glyconienne.

Le système est donc en contradiction avec lui-même, à la place la plus importante, au «centre» lui-même. Sans parler du fait que la pièce XI qui constitue le premier centre, fait également difficulté; Mette n'a pu y remédier qu'en comblant le hiatus entre les pièces XVIII et XX qui s'était produit à la suite d'une erreur dans les éditions précédant celles de LACHMANN, à l'aide d'un vers priapéen qui subsistait chez Terentianus Maurus et d'un autre supposé, et il insère le tout entre XIVa et XV.

²⁶ K. P. SCHULZE: Über das Prinzip der variatio bei den römischen Dichtern. *Fleckeisens Jahrbücher* 131 (1885) p. 857 et sq.

le montrent avec une élégance sans pareille: on en dégage sans difficulté la tendance consciente à faire alterner les mètres selon certaines règles.²⁷ Cependant, cette solution primaire est d'emblée impossible dans le cas de certains genres qui sont liés à une forme métrique fixée d'avance, comme les genres bucolique, élégiaque et satirique (dans ce dernier cas, depuis Horace du moins); pour ces genres, l'unique solution résidait dans les nombreuses possibilités de varier le fond,²⁸ auxquelles les poètes qui usaient du système reposant sur la *ποικιλία* de la métrique, eurent également recours dès le début.²⁹ Ainsi, chaque fois que nous avons affaire à un recueil de poésies construit sur des mètres divers, nous devons tenir compte de l'influence réciproque de deux systèmes fondamentaux, de l'interprétation, de deux tendances, l'une visant à une variété formelle fondamentale, primaire, et l'autre, qui est inséparable de la précédente, visant à la variété dans le fond — tant du point de vue du sujet que de l'atmosphère; nous devons aussi tenter de voir, dans notre recherche des règles du genre, à travers la manifestation de quelle tendance, nous pouvons décider de la conscience plus ou moins grande du poète. Si nous pouvons constater dans la plus grande partie d'un recueil de poésies qu'une tendance régulière se manifeste, nous sommes en droit d'en conclure avec une grande vraisemblance à une intention consciente du poète (ou de celui qui aurait plus tard recomposé le recueil); cependant, nous ne sommes point autorisés à tenter de ramener cette activité consciente à des formules mathématiques.

Car l'application du principe de la variété = *ποικιλία*, de par son essence même, ne peut être raide, mécanique³⁰ et c'est peut-être pour l'incom-

²⁷ W. KROLL: *HRG* pp. 95—96. — Selon KROLL, si les mètres sont variés c'est tout simplement pour éviter que le lecteur ne s'endorme (durch Abwechslung der Ermüdung des Lesers vorzubeugen). W. PORT voit les choses un peu différemment: *op. cit.* p. 456 et sq. Cependant lui aussi reconnaît, sinon avec la rigueur exigée par SCHULZE, que le principe de la *varietas* jouait un rôle décisif dans la composition des recueils de poésies à Rome: «Bei Einteilung eines Buches war im allgemein das Streben nach *variatio* der leitende Gedank.»

²⁸ Ce principe prévaut nécessairement dans le cas des recueils où les vers et la prose sont mélangés, ainsi que dans la correspondance de Pline aussi. Cf. W. KROLL: *HRG* p. 101.

²⁹ Recherchant les traces dans les odes d'Horace d'un traitement des mythes tel qu'il se présente dans les ballades, et principalement dans le cas des Odes I, 15 (prédiction de Paris) III, 11 (Danaïdes) et III, 27 (Europe) KROLL en arrive à la conclusion que dans ces cas-là les combinaisons lyre éolienne + ballade (et même + hymne) doivent être ramenées à un effort en vue de la *varietas* (auf das Streben nach *varietas*). Les mélanges des méditations philosophiques (sur la richesse, etc.) et des sentiments individuels, ainsi qu'un certain nombre d'autres particularités des Odes d'Horace, il essaie même de montrer une *ποικιλία* du point de vue du fond et de l'atmosphère jusqu'à l'intérieur du groupe des «Odes romaines» d'une métrique semblable. Cf. W. KROLL: *HRG* pp. 103—104. De même à propos de Propertius déjà M. ITES: *De Propertii elegiis inter se connexis*. Diss. Göttingen, 1908.

³⁰ Il est évident que séparer des pièces semblables par la forme ou par le sujet, en introduisant une troisième pièce entre elles, différente celle-là, (a | b | a) n'est qu'un schéma de base, si on y avait recours tout au long du recueil, on n'obtiendrait que l'effet intense de celui que l'on poursuit; le volume deviendrait ennuyeux, monotone. C'est la

préhension où l'on est à son égard, que la plupart des tentatives faites jusqu'ici pour déchiffrer le principe de composition des recueils de poésies antiques, se sont soldées par des échecs.

II. LA NAISSANCE DU RECUEIL DE POÉSIES ET LES CONSÉQUENCES

Le recueil de poésies dont -- après ce qui a été dit -- l'originalité ne sera mise en doute par personne, se divise visiblement en trois parties: la première est caractérisée par la grande variété des mètres (*polymetra*), la troisième partie est écrite en distiques, elle se compose généralement de poésies de petites dimensions (*epigrammata*) tandis que la partie médiane plus longue, comprend des poèmes qui trahissent fortement l'influence de la poésie alexandrine.³¹ Dans une étude servant de préface à une édition de Catulle parue récemment, R. Helm distingue quatre genres caractéristiques de Catulle, à savoir 1. les poésies lyriques et de circonstance, 2. les poèmes hellénistiques (63—67), 3. les élégies (68, 76, 99, 107) et 4. les épigrammes; distinction qui ne l'empêche nullement de reconnaître la division en trois du recueil.³² Il n'y a rien là qui puisse nous étonner, car si certains arguments subtils plaident en faveur d'une distinction entre les poèmes «hellénistiques» et «élégiaques», la partie centrale qui forme bloc et est enchâssée entre ces groupes formant une unité, les *nugae* d'une part, les épigrammes de l'autre, cette partie centrale n'infirme en rien cette distinction. Surtout si nous examinons les arguments qui remontent à R. Westphal, et qui tendent à prouver l'existence d'une structure «mésodique», en d'autres termes d'une composition à *ὀμφαλός*, dans les poèmes de plus longue haleine de Catulle, de type alexandrin (en premier lieu dans les poèmes LXVIII et LXIV), c'est de la même manière que procède J. Svennung, lorsqu'il montre comment ce même principe de composition est appliqué dans la partie centrale du recueil.³³ «L'ombilic» de la partie centrale est sans aucun doute constitué par le poème LXIV, qui

raison pour laquelle cette forme est souvent modifiée de façon à ce que des groupes entiers constitués de poèmes faisant partie d'un ensemble, viennent occuper la place de certaines pièces; ce qui, en soi, offre la possibilité de trois variantes (a | bb | a ou aa | b | aa ou aa | bb | aa), dont la combinaison permet ensuite toute une gamme de variations. Ainsi, par exemple, la symétrie ou le principe de composition de l'*ὀμφαλός* peuvent également intervenir, ce qui dans le cadre de l'application d'un schéma de base, peut donner lieu à des solutions extrêmement compliquées.

³¹ Du point de vue de la longueur il n'y a que la pièce LXV qui constitue une exception; elle se compose de 24 vers en tout et pour tout et ainsi même la pièce LXXVI qui figure dans la troisième partie est plus longue. Mais puisque cette pièce n'est rien d'autre qu'une dédicace jointe à la pièce LXVI, ou plus exactement, une sorte de lettre d'envoi, il est juste qu'elle se trouve placée avant la précédente. Les pièces LXI et LXII par contre, tout en trahissant moins, l'influence de la poésie alexandrine, ont trouvé place dans la partie médiane du volume visiblement en raison de leur longueur (235 et 66 vers).

³² R. HELM op. cit. p. 15.

³³ R. WESTPHAL: *Catull's Gedichte in ihrem geschichtlichen Zusammenhange*. Breslau, 1870. p. 1 et sq. et J. SVENNING: *Catulls Bildersprache*. Uppsala—Leipzig, 1945. p. 20 et sq.

tranche sur les autres à la fois par son caractère et son étendue (408 vers). Avant ce poème, se trouvent trois poésies qui sont une transition vers les polymètres et diffèrent entre elles par la métrique: les strophes glyconiques de LXI se rattachent encore directement aux *nugae*, les hexamètres qui se répondent de LXII trahissent toujours une influence éolique, l'influence de Sappho, quant au poème LXIII il est déjà franchement du type alexandrin «eigenartige . . . Gedicht». Nous trouvons ensuite trois poèmes qui sont composés tous les trois de distiques, et qui, formant la contrepartie symétrique des précédents, constituent une transition vers les épigrammes (en faisant un seul poème de LXV et de LXVI).³⁴ La formule est donc la suivante:

Polymètres (I—LX)

{	I. transition (LXI—LXIII)
	ombilic (LXIV)
	II. transition (LXV—LXVIII)

Épigrammes (LXIX—CXVI)

Cependant, du point de vue de notre raisonnement, une conséquence s'impose à nous plus importante que tout ce qui précède, à savoir que quelqu'ait été celui qui a rangé les pièces du Catulli Veronensis Liber dans l'ordre que nous leur connaissons actuellement — du point de vue des genres, il a séparé les poésies lyriques de Catulle au sens le plus étroit du mot (*nugae*) des petites poésies écrites en distiques (*epigrammata*) et qui déjà du temps des Grecs étaient considérées comme un genre en soi. J. Svennung critique sévèrement et à bon droit, la manière d'une grande partie des philologues (Friess, Wilamowitz, Reitzenstein, Kappelmacher, Wheeler, etc.) qui sur le plan de la théorie, divisent en deux l'ensemble de la poésie de Catulle, et rangent ensemble toutes les poésies de petites dimensions, pour opposer cette branche de la poésie, aux vrais poèmes savants du type alexandrin.³⁵ Il établit avec fermeté que Catulle a consciemment séparé les épigrammes des «petites poésies» de la première partie de son livre, et il s'est efforcé de souligner la différence qui existe entre eux, en s'appuyant sur le style de ces poèmes (durch bewusste formale und stilistische Ausgestaltung).³⁶ Mais malheureusement, mise à part une description détaillée de différences de style purement formelles, Svennung ne nous donne que peu de preuves, si bien que la question ne se pose qu'avec plus d'acuité. Est-ce bien Catulle lui-même qui a disposé les pièces du recueil dans l'ordre que nous connaissons et est-ce lui qui a fait deux genres «lyriques» séparés, des *nugae* et des épigrammes?

³⁴ J. SVENNUNG: op. cit. 21/76.

³⁵ J. SVENNUNG: op. cit. p. 24.

³⁶ J. SVENNUNG: op. cit. p. 34.

Lorsqu'ils examinent ce problème, la majorité des chercheurs partent du fait que le recueil de poésies, tel que nous le possédons ne correspond nullement à l'original. S'appuyant sur les données de Birth, ils s'efforcent de démontrer qu'un recueil de cette envergure qui comporte quelque 2300 vers, n'aurait pu, depuis qu'Ennius avait introduit à Rome la technique alexandrine de l'édition, paraître en un seul rouleau; sans parler du fait qu'il eût été franchement comique d'employer à propos d'une oeuvre de cette importance, un diminutif comme *libellus*.³⁷ On avance aussi généralement que l'actuel volume de Catulle contient des poésies qui n'avaient guère d'intérêt pour le public des lecteurs, et d'autres où certains vers n'étaient que la reprise littérale de vers appartenant à d'autres poésies, ou les complétant, comme par exemple les poèmes LV et LVIIIa, ce dernier ayant été compris par beaucoup comme une étude préparant LV.³⁸ La conséquence que l'on déduit généralement de ce qui précède, c'est que le recueil de poésies que nous possédons n'a pas été composé par le poète lui-même, mais qu'il est peut-être bien le résultat d'un travail ultérieur.

Les commentateurs les plus pondérés se contentent de supposer que la première partie (ou peut-être la première et la troisième?) étant parvenue entre les mains d'un éditeur ultérieur sous la forme d'un recueil indépendant, cet éditeur se serait efforcé d'introduire les grands poèmes publiés à part au milieu des deux types de poèmes moins étendus, de façon à ce qu'ils se trouvent encadrés entre ces derniers, ainsi se seraient constituées les trois parties du recueil. Le premier à défendre cette opinion et le plus autorisé, est R. Brunér; il partait du point de vue que le terme de *nugae* figurant dans la dédicace à Cornelius Nepos, pouvait difficilement s'appliquer aux poèmes LXI LXVIII qui forment le centre du recueil actuel, et il en tire la conséquence, que cette pièce servant de préface devait à l'origine figurer en tête d'un recueil comprenant les poèmes de I à LX.³⁹ Les conceptions ont été admises par un grand nombre d'excellents spécialistes de Catulle,⁴⁰ plus tard

³⁷ TH. BIRTH: *Das antike Buchwesen*. Berlin, 1882. p. 400 et sq. Cf. encore du même auteur: *Die Buchrolle in der Kunst*. Leipzig, 1907. pp. 217—218 et V. GARDT-HAUSEN: *Das Buchwesen im Altertum und byzantinischen Mittelalter*. Leipzig, 1911. p. 136 et sq. — Pour une vue d'ensemble historique et bibliographique de la question, Cf. A. RIESE: *Die Gedichte des Catullus*. Leipzig, 1884. Einleitung XXX et sq.; SCHANZ-HOSIUS: *GRL VIII*, 1 pp. 294—295 et M. SCHUSTER: *RE VII A 2365—2367*.

³⁸ Au contraire K. BARWICK: *Zu Catull c. 55 et 58a. Hermes* (1928), p. 66 et sq. où l'auteur exprime l'opinion selon laquelle la pièce LV est une oeuvre de jeunesse du poète, dont il a employé de nouveau certains motifs dans un poème plus tardif (LVIII) écrit peu de temps avant sa mort et introduit après coup dans le recueil, les deux pièces cependant, selon lui aussi, sont des doubles. Cf. encore: C. PASCAL: *I frammenti dei carmi perduti di Catullo*. Athenaeum (1921) p. 264 et sq.

³⁹ E. BRUNÉR: *De ordine et temporibus carminum Valerii Catulli*. Acta Soc. Scient. Fenn. (1863) p. 599 et sq.

⁴⁰ Ainsi à la fin du siècle dernier, les auteurs des excellents commentaires sur Catulle, A. E. BAEHRENS: *Catulli Veronensis Liber*. Lipsiae, MDCCCLXXXV. et R. ELLIS: *A commentary on Catullus*. Oxford. MDCCCLXXXIX. et parmi les plus récents M. LENCHANTIN DE GUBERNATIS: *Il libro di Catullo*. Torino 1955, etc.

ependant, le grand philologue allemand J. Vahlen,⁴¹ auquel devait se joindre Wilamowitz-Moellendorf,⁴² s'en prit violemment à cette opinion et réussit, semble-t-il, à discréditer une fois pour toutes l'opinion de Bruner, en montrant que le mot *nugae*, pouvait désigner, avec une nuance de modestie, les grands poèmes alexandrins également.⁴³ Beaucoup d'années plus tard, A. C. Wheeler reprend l'hypothèse à peu près tombée dans l'oubli, mais sous une forme compliquée. Il pense que peu avant sa mort, Catulle a publié un recueil d'épigrammes, très varié par la métrique, à la façon des recueils de Martial, et c'est dans ce recueil qu'on aurait puisé plus tard pour en faire un volume à part, les poésies écrites en distiques élégiaques.⁴⁴ Cependant tout récemment Fr. della Corte en est revenu à l'ancienne solution, la plus simple et inspirée par le bon sens, lorsqu'il distingue le *libellus* publiée le premier, avant 58, et contenant les poésies de I à LX, du *liber*⁴⁵ composé plus tard par Cornelius Nepos; ce qui lui valut aussitôt un déferlement de contre-arguments de la part de Pighi.⁴⁶

Face aux représentants des opinions que nous avons exposées jusqu'ici, d'autres nient catégoriquement qu'aucune des parties de ce recueil sous sa forme actuelle, ait été composée par Catulle. Car, ainsi que l'objecte B. Schmidt, le représentant peut-être le plus combatif de ce camp, «le recueil de poèmes tel qu'il s'offre à nous est un immense chaos, dans lequel les poèmes les plus différents, aussi bien du point de vue fond, que de l'atmosphère et de la chronologie, sont là pêle-mêle, et s'il était dû à Catulle, lui-même, nous ne pourrions que lui reprocher son manque de sérieux.»⁴⁷ Les chercheurs appartenant à ce camp ne nient pas bien entendu que dès son vivant Catulle ait livré au public un ou plusieurs recueils, ainsi que Friedrich s'efforce de le démontrer avec une ardeur des plus dignes de respect,⁴⁸ mais ces recueils ne ressemblaient pour ainsi dire à aucune des parties du volume actuel. Selon la plupart des philologues (Riese, Birth, Friedrich, Schmidt, etc.) il s'agissait

⁴¹ J. VAHLEN: *Gesammelte filologische Schriften*. Berlin — Leipzig, 1923. p. 744 et sq.

⁴² U. VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFF: *Hellenistische Dichtung*. Berlin, 1924. T. II. p. 306.

⁴³ VAHLEN s'en réfère à Goethe entre autres, qui lui aussi, emploie des diminutifs affectifs à propos de ses poèmes, et même à propos de poèmes sérieux. Nous avons déjà eu l'occasion de montrer ce qu'il y a d'erroné dans cette conception en relation avec une interprétation fautive du mot *nugae*. Cf. Catulle et la tradition populaire italique. *Acta Ant. Hung.* 5 (1957) p. 170 et sq.

⁴⁴ A. L. WHEELER: *Catullus and the traditions of ancient poetry*. Berkeley, Cal. 1934.

⁴⁵ Mais, selon DELLA CORTE, non seulement le *Libellus*, le recueil de poésies dédié à Cornelius Nepos, différerait du recueil postérieur plus complet (*liber*), mais l'édition critique déjà mentionnée qui contenait les oeuvres complètes du poète (*opera omnia*) et dont il cherche les traces dans les références et citations antiques, différerait à la fois de l'un et de l'autre. Cf. FR. DELLA CORTE: op. cit. p. 47 et sq.

⁴⁶ G. B. PIGHI: op. cit. p. 304 et sq.

⁴⁷ B. SCHMIDT: *Die Lebenszeit* . . . op. cit. p. 178.

⁴⁸ G. FRIEDRICH: op. cit. p. 71 et sq.

là d'un charmant recueil des poèmes d'amour de jeunesse qui devait contenir des mètres éoliens et des épigrammes et peut-être même les épithalames.⁴⁹

Il en est d'autres par contre (Leutsch, Richter, Schulze, etc.) selon lesquels le recueil de jeunesse en question était constitué par l'ensemble des 14 premiers poèmes actuels, ce qui, selon eux est manifestement prouvé, d'une part par le fragment XIVA, de ce qui devait être un épilogue à l'adresse des lecteurs, et par plusieurs sources antiques d'autre part, où il est question d'un volume de Catulle intitulé «Passer». Martial lui aussi, du reste, mentionne dans plusieurs de ses poèmes le *passer* de Catulle; en supposant que la dédicace destinée à Cornelius Nepos ait été *extra paginam*, ils pensèrent donc qu'on désignait à Rome, par le nom de «Passer» ce petit recueil de 14 poèmes. Cette tentative de solution cependant ne pouvait conduire à un résultat satisfaisant, encore que c'eût été l'unique indication concrète de l'Antiquité à propos du recueil des poèmes de Catulle. En effet, le philologue humaniste, Angelo Poliziano, remarquait déjà que les poésies de Catulle sur «le moineau» qui d'une part pouvaient être conçues comme la suite latine des épigrammes grecques déplorant la mort d'un animal,⁵⁰ avaient par ailleurs de profondes racines dans la symbolique animale du folklore italique ancestral; c'était là du moins l'interprétation qu'en donnait Martial.⁵¹ C'est sans aucun

⁴⁹ «Ausser 61 und 62 können in dem libellus gestanden haben und haben wohl darin gestanden: 1. 2. 3. 5. 7. 9. 13. 15. 17. 26. 30. 34. 50. 51. 83. 86. 92. Chronologisch wie sachlich können alle diese Gedichte etwa im Jahre 60 veröffentlicht worden sein.» Voir G. FRIEDRICH: op. cit. p. 76.

⁵⁰ A propos de cette question, cf. G. HERRLINGER: Totenklage um Tiere in der antiken Dichtung, Tübingen 1930. et O. HEZEL: Catull und das griechische Epigramm. Tübingen, 1933. Dans les épigrammes grecques, les animaux dont on déplore la perte, sont souvent eux-mêmes des chantages inspirés, comme les grillons ou les cigales (A. P. VII. 192, 197, 198, 200, 201, 202) ou bien ils participent au moins au chant du poète, comme les dauphins qui dansent autour de la cabane du pêcheur au son du chalumeau (A. P. VII. 214); mais souvent parmi les animaux que l'on pleure, on rencontre aussi des oiseaux, des pics, des hirondelles et des perdrix (A. P. VII. 191, 199, 203, etc.). Mais en dehors d'une analogie dans les sujets, les chants funèbres en l'honneur d'animaux les épigrammes grecques, et les pièces II et III de Catulle, révèlent aussi une analogie dans les détails concrets. Le poète grec veut oublier Eros en écoutant le chant des cigales (A. P. VIII, 196) tout comme Catulle attend une consolation du moineau de sa bien-aimée; *tristis animi levare curas*; de même la cigale «endort les peines de l'amour» (A. P. VII, 195) comme l'oiseau préféré de la maîtresse de Catulle est un *solacium sui doloris*. Dans les chants funèbres grecs, l'ombre de l'animal mort avance «par les voies silencieuses de la nuit» vers le royaume d'Hadès (A. P. VIII. 199), exactement comme le moineau mort de Catulle: *nunc it per iter tenebricosum illuc, unde negant redire quemquam*. Et de la même manière que lors de la mort de la belle Patrophila, le poète grec se répand en lamentations et maudit l'odieux Hadès (A. P. VIII, 211), Catulle agit de même lui aussi: *at vobis male sit malae tenebrae Orci* . . . etc. et l'un et l'autre, parce qu'Hadès (*Orcus*) ravit toute beauté du monde des vivants. A propos de la question de l'emprunt des motifs voir encore V. BONGI: *Influssi e motivi ellenistici in due nugae di Catullo* c. 3. e 5. *Aevum* (1944) p. 169 et sq.

⁵¹ HERESCU souligne la nature parodique du chant funèbre sur le moineau de Catulle, et ses rapports avec les chants funèbres populaires italiques. Cf. N. I. HERESCU: *Catulle* 3. un écho des nées dans la littérature. *REL* XXV (1947) p. 74 et sq. Mais il est question de bien davantage: à savoir que dans la symbolique populaire du folklore italique l'identification entre *passer* et *mentula* allait de soi. Dans un poème priapéen, le rapprochement de femmes habitées par la concupiscence, et du moineau repose sur cette

doute possible ce sens-là, grossier et populaire qu'il faut prêter à l'épigramme de Martial où il compare sa bien-aimée qui a perdu l'objet préféré de ses délices et de ses jeux (*lusus deliciasque*) à la Lesbie de Catulle qui a elle aussi perdu les délices de sa vie (*deliciae*) avec la mort de son moineau. Pourtant, écrit Martial — la perte la plus grande est pour sa bien-aimée, car le jeune homme, lorsqu'il a disparu des rangs des vivants, n'avait pas même vingt ans, et n'avait pu ainsi répondre aux espoirs pleins de promesses qui s'attachaient à sa virilité: *mentula cui nondum sesquipedalis erat*.⁵² En s'appuyant sur cette identification entre *passer* et *mentula* il est ensuite facile d'expliquer cet autre poème dans lequel il est fait mention d'un *passer*. Le poète, lors des fêtes du «vieux portant sa faucille», demande à Rome de distraire sa bien-aimée, non pas avec des poèmes sérieux (*laboriosus*) mais avec des plaisanteries égrillardes; puis il prie le bel esclave Dindymus de remplir plus souvent son verre, relevant cet encouragement d'une remarque ici aussi à double sens *possum nil ego sobrius*. Puis se livrant sans retenue à la bonne humeur joyeuse des Saturnales, il donne l'ultime conseil:

Da nunc basia, sed Catulliana :
quae si tot fuerint, quot ille dixit,
*donabo tibi passerem Catulli.*⁵³

Il ressort clairement de ce que nous venons de dire que cette citation de Martial ne fournit aucune base réelle pouvant prouver l'existence à cette époque d'un volume de Catullus ayant pour titre «Passer»,⁵⁴ leur contenu grivois montrant bien que ces vers relèvent d'un tout autre sujet.

identification: *vicinae . . . vernis passeribus salaciores* (FR. BUECHELER: *Petroni saturae et liber priapeorum*. Berolini, MDCCCIV. c. XXVI). La relation entre la glotonnerie et la luxure est bien connue dans la symbolique populaire; par ailleurs le moineau, en tant qu'animal qui «saute» pouvait être en raison même de cette faculté, dans un contexte érotique. Dans l'Écclésiaste XII, 5, la vieillesse étant décrite dans la langue pleine de la Bible, il est dit qu'alors «la sauterelle ne saute plus». La signification érotique du moineau est si généralement connue qu'il n'est pas même besoin de mentionner le rapide attelage de moineaux de l'Aphrodite de Sappho. Chacun connaît l'usage dans ce sens qui est fait du mot allemand «Vogel». Cf. FR. S. KRAUSS: *Anthropophyteia*. Leipzig, 1907. IVb. 5. 1. — comme aussi l'histoire du rossignol qui figure dans la nouvelle de Boccace. Quant aux représentations de phallus ailés dans l'antiquité, elles ne laissent place à aucune équivoque, comme par exemple le phallus de bronze ailé qui fut trouvé à Pompei. Cf. K. LICHT: *Sittengeschichte Griechenlands. II Ergänzungsband: Die Erotik der griechischen Kunst*, p. 153. — Le passage de Festus va lui aussi dans le même sens, il fait très clairement allusion à la symbolique *passer-mentula*: «*Strutheum in nimis praecipue vocant obscenam partem virilem ; salacitate videlicet passeris, qui graece struthos dicitur.*» Cf. AE. THEWREWK DE PONOR: *Sexti Pompei Festi de verborum significatu . . . epitome*. Budapest 1889. p. 452. — Nous n'ajouterons pour finir qu'une remarque curieuse, c'est qu'en provençal aussi «*lou passeroun*» désigne le phallus. Cf. *Glossarium eroticum*. Berlin, 1908. — au mot *passer*.

⁵² *Martialis Epigr.* VII, 14.

⁵³ *Martialis Epigr.* XI, 6.

⁵⁴ Sur les trois épigrammes de Martial mentionnant le *passer*, il n'en reste qu'une dont le sens prête à difficulté. C'est la IV, 14 où il est dit que Catulle «a osé envoyer» son *passer* au grand Virgile, et que dans ces conditions, lui aussi (Martial), n'a pas honte d'adresser ses épigrammes au grand poète épique de l'époque, Silius Italicus:

Cet exposé sommaire, n'était peut-être pas inutile, en raison du caractère enchevêtré de la question, pour montrer le peu de fondement réel de chacune de ces hypothèses — les plus importantes, — et l'instabilité des preuves et des arguments. Ainsi nous nous considérons comme dispensés d'engager une discussion, au cours de la suite de cette étude, à propos de n'importe quelle idée, de même que nous ne nous appuyons sur aucune hypothèse, et tenterons de faire table rase dans l'examen du problème. Nous avons d'ailleurs un point de départ sûr.

Nous savons que l'actuel recueil de Catulle, s'il ne porte aucune trace de système, du point de vue de la chronologie, ou des sujets,⁵⁵ présente néanmoins l'esquisse d'un ordre intérieur et cela par le fait même qu'il se sépare systématiquement des règles connues, ainsi que Westphal l'avait déjà remarqué vers le milieu du siècle dernier.⁵⁶ Fermer les yeux sur cette évidence, comme on le fait généralement (ainsi dans la mise au point de Schanz—Hosius par exemple⁵⁷), revient à se priver de la seule béquille sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour trouver une solution à la question. La règle serait en effet que les poésies qui ont été composées à peu près à la même date, sur le même sujet et reflétant la même atmosphère, figurent ensemble dans le volume. Or c'est exactement le contraire que nous constatons. Dans un certain nombre de cas absolument évidents nous nous trouvons en face de poésies qui par le sujet, le caractère du style, l'atmosphère peuvent être considérées comme étant dans un rapport étroit, et qui pourtant figurent dans le recueil séparées les uns des autres par un ou même plusieurs poèmes de caractère totalement différents. Les exemples les plus frappants se trouvent dans la première partie du volume, dans le groupe de poésies numérotées de I à LX. Ainsi les deux poésies, II et III, sur le thème du moineau (dans la mesure où nous pouvons considérer le poème IIa, comme un fragment à part⁵⁸), les poésies

*Sic forsân tener ausus est Catullus
Magno mittere passerem Catulli.*

Or peut-on imaginer que Catulle qui alors était déjà un poète à la mode, ait envoyé un exemplaire de son recueil de poésies à Virgile qui à la mort du poète avait tout au plus quinze ans, et qui, l'année trouvée par déduction de la parution du recueil supposé du « Passer » aurait été un enfant de dix ans? Et même si ce fait pouvait être tant bien que mal admis, ne faudrait-il pas considérer comme absolument impossible l'expression *ausus est* : « a osé », formule fictive de poète, et donc mettre en doute la crédibilité historique de l'envoi de tout le volume des poésies? Ce qui se cache derrière la mention en question, c'est là une autre question, et qui demande à être examinée à part.

⁵⁵ Les tentatives pour élucider de tels problèmes sont d'emblée vouées à l'échec, comme celles d'Ellis par exemple qui flaire les traces d'une espèce de composition chronologique. Cf. R. ELLIS: op. cit. Proleg. XLIX—L.

⁵⁶ R. WESTPHAL: op. cit. p. 1 et sq.

⁵⁷ « Innerhalb der drei Teile hebt sich kein deutliches Prinzip der Anordnung ab. » Cf. SCHANZ—HOSIUS: GRG VIII, 1 p. 294 — Il ajoute aussi par contre qu'on trouve souvent des pièces semblables par le contenu, séparées par une troisième pièce hétérogène.

⁵⁸ T. FRANK fonde son explication des fragments sur une théorie du genre de celle de WESTPHAL où il est supposé que deux pièces en rapport l'une avec l'autre sont séparées par une troisième, hétérogène celle-là. Dans ces conditions, on peut expliquer les pièces XIVa et LXXVIIIa de la même façon qu'on a expliqué la pièce IIa: la première, est le

V et VII sur le thème du baiser, VIII et XI sur celui de l'adieu à l'infidèle Lesbie, XV et XVIII, qui ont pour sujet les menaces du poète à l'adresse d'Aurelius, sous le coup de sa jalousie pour Iuventius, XXIII et XXVI, poésies où Catulle cloue Furius au pilori pour son indigence de ladre, XXXVII et XXXIX où Catulle jaloux de Lesbie se moque d'Egnatius le fils chevelu de la Celtibérie, XLI et XLIII où il met en scène pour s'en gausser, Ameana, la maîtresse ruinée du banqueroutier de Formies, LIV et LVII, caricature des «nobles» compagnons de César, et enfin LVIII et LIX où il s'étonne douloureusement de l'avilissement dans lequel sont tombées Lesbie et Rufa de Bologne (si nous considérons, en nous appuyant sur ce qui a été dit, la pièce LVIIIa comme une pièce à part).

Il en va en gros de même du recueil d'épigrammes qui constitue la troisième partie — avec cette différence non négligeable, que nous rencontrons ici beaucoup moins de pièces solidaires l'une de l'autre, séparées par une troisième pièce hétérogène, ou par plusieurs. A dire vrai, nous ne trouvons ici que trois exemples de cet ordre; ce sont les pièces LXIX et LXXI dans lesquelles le poète raille l'odeur de bouc et la goutte de Rufus, LXXII et LXXX où s'exprime la peine que cause au poète la ruine de son amour pour Lesbie, et CVII et CIX tout imprégnés de la beauté de cet amour fatal qui venait de commencer, et de son bonheur. Il est frappant aussi, que dans cette partie, nous trouvons des séries de pièces qui rapprochées les unes des autres, révèlent le même sujet et la même atmosphère, ainsi le groupe de Gellius (LXXXVIII—XCI), les deux pièces à Aufilena (CX et CXI), les deux pièces à Mentula (CXIV et CXV) etc. Un examen plus détaillé de la question nous amène nécessairement à penser que l'essentiel ici n'est pas tant de séparer les deux pièces qui sont en connexion que de déceler une tendance à enclaver la ou les pièces où le poète se raille, attaque, injurie, entre des pièces de tonalité sentimentale et qui ont l'amour pour sujet. Voici le dessin que formeraient les pièces suivantes:

- LXXIV railleries à l'adresse de Gellius
- LXXVIII railleries à l'adresse de Gallus
- LXXX railleries à l'adresse de Gellius
- LXXXIV railleries à l'adresse d'Arrius
- LXXXVIII--XCI railleries à l'adresse de Gellius
- XCIII—XCIV railleries à l'adresse de César et de Mentula
- XCVII—XCVIII railleries à l'adresse d'Emilius et de Vectius
- CII—CVI railleries à l'adresse de Cornelius, Silo, Tappo et Mentula
- CVIII railleries à l'adresse de Cominius
- CXII—CXV railleries à l'adresse de Naso, Pompée et Mentula

pendant de la pièce XVI dont elle était originellement séparée par la pièce XV, quant à la deuxième elle est le débris d'un poème qui se moquait de Rufus et qui correspond à la pièce LXXXVII. Cf. T. FRANK: *On some fragments of Catullus*. CPh (1927) pp. 413—414.

Si nous appliquons le même procédé à la première partie, nous obtenons le même résultat. Ce dont il ressort clairement, que l'essentiel du système est très exactement l'inverse de ce que Westphal supposait, et que d'autres à sa suite considéraient comme fondamental. Il ne faut pas aborder le problème sous l'angle des pièces qui sont en connexion les unes avec les autres, car leur disjonction est accidentelle, dérivant uniquement de l'essence du système, et cela même si dans la première partie, cette disjonction apparaît comme la chose primordiale, ce qu'il faut voir c'est comment Catulle insère consciemment, avec un soin extrême, une ou plusieurs pièces railleuses voire grossières par le ton, entre des pièces d'une tonalité tendre et amoureuse. Une autre question découlera ensuite du remplacement fréquent des pièces railleuses, goguenardes, -- surtout dans la première partie du volume -- par une pièce au ton tout simplement différent; il peut même arriver que le système se contredise lorsqu'entre deux pièces satiriques, en connexion l'une avec l'autre, vient s'insérer une troisième, plus tendre et sentimentale par le ton.

La poésie de type alexandrin, dont un genre caractéristique était l'épigramme érotique, jouissant d'une grande popularité à Rome dès le tournant du II^e siècle avant notre ère.⁵⁹ Cette poésie était loin d'être lyrique au sens étroit du mot, à l'exception peut-être de celle de Catulle. Si nous nous en tenons à la définition de E. Staiger, selon laquelle «le mode de création lyrique» réside précisément dans l'unité relative du monde subjectif et du monde objectif, («... ein Ich und ein Gegenstand einander noch kaum gegenüber stehen»)⁶⁰, Catulle est un poète lyrique au sens même du mot. Dans sa poésie et en premier lieu dans les pièces qui font partie des *nugae*, chaque événement objectif, chaque instant du monde objectif se résorbe dans l'univers intérieur et émotif du moi, et devient comme l'écho d'une vibration intérieure. Pour traduire dans un langage plus simple l'essentiel, ce que I. Peek Schnelle a dit d'une manière abstraite et inutilement compliquée parfois, le poète, lorsqu'il écrit un poème revit à chaque fois l'expérience sentimentale qui a présidé à la naissance du poème, et comme un acteur son rôle, il rejoue en lui-même l'histoire qui sert de base objective au sentiment; ainsi toute poésie de Catulle, et surtout les *nugae* doivent leur fraîcheur et leur véracité à la poussée directe du sentiment.⁶¹ Cependant, ni dans les épigrammes hellénistiques, ni dans

⁵⁹ A. Gellius: *Noct. Att.* XIX, 9. — Voir encore H. BARDON: *La littérature latine inconnue*. Tome I. Paris, 1952. p. 115 et sq.

⁶⁰ E. STAIGER: *Grundbegriffe der Poetik*. Zürich, 1946, p. 40.

⁶¹ I. PEEK SCHNELLE: *Untersuchungen zu Catulls dichterischen Form*. Ph Suppl. XXV (1933) p. 35 et sq. *passim*. Les pages les plus claires sont peut-être les pages 38—39: «Der Römer hat eine starke mimische Begehung, d. h. er hat die Fähigkeit seine vitalen Regungen zu einer Rolle zu objektivieren, die wie zweite Haut, in der ihm nicht wohler ist, sozusagen neben ihm existiert, und in die er mit Freude schlüpft und in ihr agiert... Bei dieser Art der Selbstdarstellung ist selbstverständlich, dass Catull in eigener Person agiert, also Ich-Form; noch unentbehrlicher für dieses Agieren ist der andere Pol der Beziehung, das Du, mit dessen Nennung das Ich sich bereits implizite selbst setzt.» Cf. encore Catulle et la tradition... oeuvre citée p. 181 et sq.

les oeuvres des disciples de Catulle, dans les épigrammes, les nugae de Martial par exemple, on ne trouve cette relation directe (lyrique) entre le moi individuel et le monde objectif: l'objet se sépare et s'oppose rapidement à l'individu: le poète «lyrique» lui aussi voit les choses de l'extérieur et c'est pour cela précisément qu'il se contente de les décrire de préférence. C'est peut-être de là que tire son origine cette «plasticité» particulière, si souvent mentionnée de l'art antique,⁶² qui de beaucoup de points de vue a fait obstacle — sauf dans le cas de personnalités exceptionnelles — à l'apparition du lyrisme pris dans l'acception moderne du mot.

Il arrive parfois de rencontrer pourtant, ici ou là, certaines définitions antiques que nous pourrions presque accepter comme des définitions de la poésie lyrique au sens étroit du mot. Ce n'est pas un hasard si Pline qui imite si fort la poésie des nugae de Catulle dans ses propres hendécasyllabes, écrit les lignes suivantes: «*Accipies cum hac epistula hendecasyllabos nostros, quibus nos in vehiculo, in balineo, inter cenam oblectamus otium temporis. His iocamur, ludimus, amamus, dolemus, querimus, irascimur, describimus aliquid modo pressius, modo elatius, atque ipsa varietate temptamus efficere, ut alia aliis, quaedam fortasse omnibus placeant.*»⁶³ Ce qui par contre dans cette citation nous paraît le plus intéressant, c'est qu'il en ressort que l'élément fondamental de cette poésie est la *varietas*, une variété aussi grande que possible dans les sentiments et les sujets, dans les couleurs et dans le ton. Ne tenons pas compte ici du fait que Martial se sert du principe de la *varietas* comme d'un prétexte pour pouvoir introduire dans sa poésie le «sel italique» de la satire,⁶⁴ et notons seulement que ce brave homme de Pline, loyal et naïf, a lui-même recours à ce principe qui est pour lui une règle, lorsqu'il entreprend de porter un jugement esthétique sur les hendécasyllabes de ses contemporains. Par ailleurs, il écrit dans une de ses lettres, quelque chose qui de notre point de vue est d'une importance décisive. Il parle avec enthousiasme à un de ses amis, d'une de leurs connaissances communes, Pompeius Saturninus dont il a eu l'occasion récemment de découvrir la personnalité étonnamment riche (*multiplex*) et variée (*varius*). Saturninus s'est révélé un orateur si brillant qu'il peut hardiment soutenir la comparaison avec ses modèles, les grands orateurs du passé, mais il est aussi un historien non moins brillant, et Plinius continue de la façon suivante: «*Praeterea facit versus, qualis Catullus aut Calvus. Quantam illis leporis, dulcedinis, amaritudinis, amoris! Inserit sane, sed data opera, mollibus levibusque duriusculos quosdam, et hoc quasi Catullus aut Calvus.*»⁶⁵

⁶² O. SPENGLER Gedanken zur lyrischen Dichtung. Voir Reden und Aufsätze. München, 1951.

⁶³ Plinius Epist. IV, 14, 2—3.

⁶⁴ Dans la dédicace en prose, adressée à Domitien, du livre VIII des épigrammes, nous pouvons lire «. . . *quam quidem (sc. materiam) subinde aliqua iocorum mixtura variare temptavimus, ne caelesti verecundiae tuae laudes suas, quae facilius fatigare possint, quam nos satiare, omnis versus ingereret.*»

⁶⁵ Plinius Epist. 1, 16, 5.

Le sens du passage a tourmenté plus d'un philologue, dans la mesure bien entendu où ils l'ont jugé digne de retenir leur attention. La première partie, elle, est claire. Saturninus a écrit des hendécasyllabes comme Pline lui-même et bien d'autres membres appartenant au cercle de ses amis, des poèmes de circonstances, faciles, à la mode de l'époque, genre dont Catulle et Calvus étaient unanimement reconnus comme les maîtres. Le mélange du «charme» et de l'«amour», de la «douceur» et de l'«amertume» (cf. Catulle LXVIII, 18: *quae dulcem curis miscet amaritiam*) caractérise précisément ce genre. Le sens de la phrase suivante par contre, fait difficulté, si nous ne voulons pas nous contenter d'une traduction littérale anodine, ou d'une solution selon laquelle Saturninus, sur le modèle de Catulle et de Calvus, aurait écrit des poèmes inspirés tantôt de l'un, tantôt de l'autre. Les premières difficultés surgissent avec le mot *duriusculus* qui en dehors du passage de Pline que nous citons, ne se rencontre qu'une fois dans les textes latins qui nous sont parvenus, chez Pline l'Ancien, dans la préface de la «Naturalis Historia» où citant, l'ordre des mots étant changé, le 4^e vers de la préface à Cornelius Nepos, il note: *ut obiter emolliam Catullum . . . (ille enim, ut scis, permutatis prioribus syllabis duriusculum se fecit, quam volebat existimari a Veraniolis suis et Fabullis) . . .* Dans ce passage le mot est employé, sans aucun doute possible au sens de «lourd», «boîteux» du point de vue du rythme, en face de «*mollire*» qui évoque le rétablissement de l'harmonie. Le mot a donc un sens franchement péjoratif comme est péjoratif aussi le mot dont il dérive (*durus*) quand il est employé à propos de poètes et de poésie: *Atilius, poeta durissimus* (Cic. ad Att. XIV. 20, 3), *durus* (sc. Lucilius) *componere versus* (Hor. Sat. I, 4, 8), *Ovidius utroque lascivior* (sc. Tibullo ac Propertio), *sicut durior Gallus* (Quint. Inst. X, 1, 93) etc. Il figure de la même façon, dans un fragment de Sénèque le rhéteur cité par Gellius et qui par surcroît ressemble étrangement au passage du texte de Pline qui nous occupe: «*Virgilius quoque noster non ex alia causa duros quosdam versus et enormes . . . interposuit, quam ut Ennianus populus agnosceret in novo carmine aliquid antiquitatis.*»⁶⁶ Cependant à propos de Catulle il ne peut être question de cela, pas plus qu'on ne peut supposer une nuance péjorative de ce genre dans le passage où l'auteur se répand en éloges sur les dons de Pompeius Saturninus. Par contre nous approcherons peut-être davantage de la solution, si nous nous arrêtons au fait que dans la période qui s'écoule entre Catulle et Pline, le mot est opposé, surtout dans la poésie élégiaque, à *mollis*, pour caractériser généralement un autre genre entièrement différent de la poésie élégiaque, l'épopée d'abord (Prop. II, 1, 41; II, 34, 44; III, 1, 19, etc.) mais aussi la tragédie par exemple (Ovid. Am. III, 1, 45). Dans cette opposition entre *mollis* et *durus*, «mollet» sert en effet sans aucun doute possible, à caractériser la poésie

⁶⁶ Gellius Noct. Att. XII, 2, 10.

érotique, il oppose l'élegie en tant que telle aux autres genres, et en premier lieu à l'épopée et à la tragédie au ton grave, l'épithète (*μαλακός*) étant déjà employé chez Hermésianax à propos des distiques d'inspiration amoureuse de Mimnerme. C'est dans le même ordre d'idées qu'il faut entendre l'équivalent du mot *mollis, lēvis* qu'on lit généralement *lēvis* en lui donnant sans aucune raison et selon moi d'une façon parfaitement erronée, le sens de «léger», «facile». ⁶⁷ En effet *lēvis* est connu en tant que terme technique, du vocabulaire esthétique, et il désigne une oeuvre artistique bien ciselée, lisse (cf. Horace Ep. II, 3, 26, 27; *sectantem lēvia nervi deficiunt animique*), et sous cet aspect il s'oppose à *asper*. Ainsi chez Cicéron, l'éloquence âpre, grandiloquente, rugueuse (*aspera, tristis, horrida oratio*) se change en son contraire et devient une éloquence finement ciselée, bien construite, mesurée (*lēvis et structa et terminata*), dont la caractéristique serait de remplacer une force qui fait défaut par l'agrément du charme (*in hoc genere nervorum vel minimum, suavitatis autem est vel plurimum*). ⁶⁸ Ainsi, à côté du couple *mollis-durus*, nous avons un autre couple, de signification semblable *lēvis-asper*; nous pouvons même aller plus loin dans cette parenté de sens qui existe entre les deux couples. En effet nous savons que *mollis* peut avoir le sens d'«amolli», «lascif», «enclin à l'amour», etc., or la même signification se retrouve dans le cas de *lēvis* «amolli comme une femme» (Ovidius Ars. Am. III, 473) ou bien tout simplement avec le sens de «joli coeur amolli» (*trossulus levis* — Persius Sat. I, 82).

Quant aux poésies désignées par l'expression «*quosdam duriusculos*» nous ne pouvons les comprendre, après ce que nous venons de dire que comme ce qui s'oppose aux brèves poésies amoureuses, nourries de sentiments d'une élégance discrète, telles que nous en rencontrons si souvent chez Catulle. Ce que Pline entendait concrètement sous cette expression, rien dans l'enchaînement du texte ne nous permet de l'affirmer. Il ne fait par contre aucun doute que dans le cas de Catulle, nous ne pouvons songer à des oeuvres de caractère épique ou dramatique et par conséquent seules peuvent entrer en ligne de compte les pièces dans lesquelles il a dépassé les limites pourtant assez souples du «bon goût» alexandrin, où il use des moyens poétiques et stylistiques des joutes amoureuses et des injures infamantes, et recourt aux grosses plaisanteries paysannes fréquentes dans la poésie populaire italique. Dans quelle mesure ce procédé est-il caractéristique de toute la poésie de Catulle, c'est ce que nous avons tenté de prouver ailleurs, d'une façon détaillée. ⁶⁹ C'est peut-être dans ce contexte que doit s'inscrire l'expression *hirsutum et dura rusticitate trucem* (Martial Epigr. VII, 58, 8) qui en face des débauchés

⁶⁷ Cf. Pline le Jeune. Lettres. Tome I. Paris, 1927. p. 34. «il glisse, çà et là, mais tout exprès, au milieu des vers doux et légers quelques vers un peu heurtés, et cela encore à la manière de Catulle et Calvus.»

⁶⁸ Cicero Orat. V, 20 et XXVI, 31.

⁶⁹ Cf. Catulle et la tradition... op. cit. 187 et sq.

efféminés souligne précisément les vertus paysannes des anciens Romains, à peu près introuvables à l'époque de Martial (cf. Catulle XXXVI, 5; *truces vibrare iambos*). Quoiqu'il en soit, la conclusion qu'il faut tirer de ce raisonnement, c'est que l'expression *quosdam duriusculos* désigne les petites pièces de Catulle qui ne correspondaient pas de tous les points de vue au goût élégant, à la mode à cette époque, et qui par leur ton grossier, ouvertement ordurier, blessaient autant les oreilles raffinées du lecteur que ne le faisait une métrique mal choisie. Mais le choix était toujours l'affaire du poète comme le grammairien Mallius Theodorus l'écrivit: «... *quid in poemate quasi mollius ac blandius, quid asperius ac durius esset, ipsi aures consulebant, hisque ita obtemperant, ut in conformandis suis carminibus artem cum delectatione coniungerent.*»⁷⁰

Ceci étant, il ne nous reste plus qu'à déterminer la signification de *inserit*, puisque celle de *data opera* «assez un travail sérieux», «en y apportant un grand soin», etc. ne fait aucun doute.

Le verbe *inserere* ayant comme sens premier «planter», «greffer», «introduire», on en déduit aisément le sens d'*intercaler*, et un grand nombre de textes de l'antiquité atteste l'emploi de ce verbe avec cette acception, dans la littérature latine.⁷¹ Parmi les nombreux exemples possibles nous ne voudrions en choisir que deux, susceptibles d'illustrer ce sens plus concrètement. L'un, est emprunté à une lettre de Pline adressée à son ami Geminus, dans laquelle il le remercie pour la demande que lui a adressée Geminus à propos d'un poème au sujet délicat. Il ressort de cette lettre que Geminus désirait insérer la pièce demandée dans une oeuvre qu'il était en train de composer, tout comme Pline l'avait fait plusieurs fois avec de petites pièces ayant ses amis pour auteurs. Le sens de *inserere* «intercaler, insérer dans un livre» est tout à fait clair: «*Epistulam tuam iucundissimam recepi, eo maxime, quod aliquid ad te scribi volebas, quod libris inseri posset.*»⁷² De même dans cet autre passage, une phrase de la préface au IV^e livre des «*Silves*» de Stace: «... *sed interim Hendecasyllabos, quos Saturnalibus una risimus, huic volumini inserui.*» Et si nous jetons un coup d'oeil sur ce petit livre, nous trouvons en effet à la fin, le poème facétieux écrit en hendécasyllabes, avec le titre de «*Risus Saturnalitiis*» et dédié à Plotius Gryphus. Mais à examiner de plus près l'ordonnance des pièces contenues dans le volume, nous découvrirons autre chose; à savoir que les pièces I, II, IV, VI, VIII sont écrites en hexamètres, tandis que les pièces III, V, VII et la pièce IX servant de conclusion au volume, sont écrites dans des mètres différents (deux en hendécasyllabes comme chez Catulle, une en strophes alcaïques et une en strophes sapphiques). Il ne fait aucun doute qu'en employant le mot «*inserui*» Stace pensait au principe de composition du *libellus* tout entier, c'est-à-dire qu'il employait

⁷⁰ H. KEIL: *Grammatici Latini*. Hildesheim, 1961. Tome VI. p. 585.

⁷¹ Cf. le détail de cette énumération: *Thesaurus* Vol. VII, 1 Fasc. XII. 1873.

⁷² *Plinius Epist.* IX, 11, 1.

le mot dans le même sens que Pline à propos du volume de poésies de Catulle et de Calvus; nous pourrions donc traduire de la manière suivante cette phrase de Pline qui nous paraît d'une importance décisive dans la question relative au principe de composition du recueil de Catulle et à l'auteur de cette composition: «Il a écrit en outre des poésies comme Catulle ou Calvus, que de charme, de douceur, d'amertume, d'amour il y a dans ces poésies! Par ailleurs il insère au milieu des poésies sentimentales et soignées de son recueil et avec un grand soin, des poésies grossières, cela aussi à la façon de Catulle ou de Calvus.»

Nous n'avons aucune raison de supposer que cette référence à Catulle et à Calvus leur impute simplement une conception esthétique, à propos de la poésie des *nugae*, qui aurait été celle de l'époque de Pline. Les poètes de vers légers de cette génération s'efforçaient d'imiter Catulle, Calvus, les maîtres classiques, d'une façon presque servile tant ils y mettaient d'application, au point de n'avouer qu'avec le rouge de la honte au front qu'ils s'étaient écartés de l'exemple des maîtres, pour une raison quelconque, par exemple politique.⁷³ Mais ce qui est le plus important, c'est que le mélange du charme, de la douceur et de l'amertume, et les épanchements amoureux sont bien effectivement caractéristiques des poésies de Catulle, comme R. Westphal — indépendamment du texte de Pline — avait bien pressenti à quel principe de composition répondait le livre de Catulle de Vérone, principe que Pline avec un recul d'un siècle et demi, attribuait, à Catulle et à Calvus. Ce fait indéniable ne nous laisse aucun doute: l'ordonnance intérieure du Corpus de Catulle est due pour l'essentiel, au poète lui-même. C'est en suite une autre question que de savoir si chacune des trois parties, telles qu'elles se présentent actuellement est bien du dessin de Catulle lui-même, si chaque pièce se trouve bien à la place que lui avait désignée le poète, et enfin si chacune des parties avait bien originellement, la longueur que nous leur connaissons aujourd'hui.⁷⁴ L'important c'est que ce n'est certainement pas par hasard que l'ensemble des épigrammes n'a pas fait partie du recueil de *nugae* qui groupe les 60 pièces que nous savons, pas plus que ce n'est par hasard que

⁷³ Plinius Epist. IV, 14, 4—5.

⁷⁴ Nous avons la conviction que deux recueils de poésies de Catulle parurent de son vivant même: les *nugae* (contenant en gros les poésies de I à LX, telles que nous les connaissons aujourd'hui) et les *epigrammata* (comprenant les pièces de LXIX à CXVI) qui constituaient deux recueils absolument indépendants l'un de l'autre. Par la suite, ces deux recueils furent en partie complétés, en partie précédemment réunis aux pièces de la partie dite médiane — tout porte à croire que ces pièces avaient déjà été publiées précédemment, une par une — par un ami ou un admirateur du poète après la mort de ce dernier, de façon que la partie médiane constitue une transition, du point de vue métrique, entre les deux petits recueils. Voir la note 34. — Nous nous rallions donc en fin de compte à la conclusion de Friedrich qui, malgré des arguments attaquables sur bien des points, établit d'une façon très juste que: «... die Anordnung der Gedichte (Hendecasyllaben, grosse Dichtungen, Epigramme) auf Catullus zurückgeht. Die Freunde, die den Nachlass herausgaben, brauchten das Vorgefundene nur an der gehörigen Stelle anzufügen.» Cf. G. FRIEDRICH: op. cit. p. 76.

les pièces écrites en distiques ont été réunies en un volume, groupées selon un principe de composition dont témoigne aussi la première partie. Et si nous pouvons considérer, que c'est le poète lui-même qui a classé les pièces des deux parties, ou tout au moins de l'une des deux, il nous faut bien supposer aussi que c'est lui qui a fait deux parties distinctes de ses pièces lyriques, les *nugae* et les épigrammes.

Le poète ne considérait pas la forme métrique comme suffisante pour décider d'un genre.⁷⁵ Il n'y en a que plus de raisons de penser que Pline et ses contemporains, même s'ils n'avaient pas élaboré des catégories esthétiques précises, conformes aux exigences actuelles, considéraient la poésie des *nugae* de Catulle comme un genre en soi⁷⁶. Le fait que Pline parle systématiquement d'hendécasyllabes ne doit pas non plus nous induire en erreur. Le «nouveau» genre représenté par Catulle n'avait pas de nom à lui (le mot «chanson» pris dans son sens actuel pour désigner un genre était inconnu des Romains, quant à l'*ᾠδή* grecque, elle avait une acception beaucoup plus large). Aussi la désignation quasi officielle, reconnue par Pline et par ses contemporains était-elle *hendecasyllabus* (plus exactement le pluriel *hendecasyllabi*), l'hendécasyllabe étant un des mètres les plus fréquents dans les *nugae* de Catulle.⁷⁷

A deux reprises d'ailleurs, Pline se sert du mot *genus* : «genre» à propos des hendécasyllabes. Un des passages où il figure très important pour notre propos, se trouve dans une lettre dans laquelle il réfléchit aux poèmes d'un jeune poète de ses amis, Sentius Augurinus. Le jeune poète avait donné lui-même le titre de *Poemata* : «Petits poèmes» à son volume dont Pline déclare qu'on y trouve beaucoup de pièces d'un ton aimable exprimant des sentiments raffinés, élevés, charmants, tendres, mais qu'il y en a un grand nombre d'autres aussi qui se distinguent par leur fiel (*cum bile*) et leur ton agressif. L'auteur des lettres constate que dans ce genre, aucune oeuvre n'a été écrite depuis plusieurs années, qui soit supérieure à celle-là : *«aliquot annis*

⁷⁵ Cf. la tentative de METTE qui s'est récemment soldée par un échec: *Gnomon XXVIII* (1956) p. 34, et sq.

⁷⁶ J. SVENNUNG: op. cit. p. 34.

⁷⁷ Dans la première partie du recueil de poésies de Catulle, si nous considérons également les fragments comme des pièces indépendantes, nous trouvons 43 poésies écrites en hendécasyllabes, soit plus des deux-tiers du recueil. Dans Catulle, le mot d'*hendecasyllabus* ne figure qu'une fois, pour désigner en quelque sorte un genre: dans la pièce XLII où le poète lance les hendécasyllabes de sa satire contre une «infecte catin». Chez Pline, la situation est déjà plus claire. Dans une de ses lettres — voir Plinius Epist. IV, 14, 8, — il dit expressément qu'il appelle hendécasyllabes, ses *nugae*, en raison de la métrique qui y est généralement employée: «*Unum illud praedicendum videtur, cogitare me has meas nugas ita inscribere 'hendecasyllabi', qui titulus sola metri lege constringitur*». Cela évidemment ne signifie pas qu'il n'y ait pas eu dans l'opinion publique, le chaos le plus complet du point de vue esthétique, concernant le jugement à porter sur les *nugae* et les épigrammes; Reitzenstein en montrait déjà les raisons: Cf. R. REITZENSTEIN : «Epigramm» RE XI, 107—111. — HOWALD formule parfaitement l'essentiel de la chose: «Die grosse Schwierigkeit liegt vor allem darin, dass die Römer uns gar nicht mit theoretischen Handhaben zu Hilfe kommen, d. h. dass sie sich des eigentlichen Zieles ihres dichterischen Schaffens nicht bewusst waren.» Voir: E. HOWALD: *Das Wesen der lateinischen Dichtung*. Zürich, 1948. p. 11.

puto nihil generis eiusdem absolutius scriptum . . .»⁷⁸ Or dans le cas du «Poematia» de Sentius Augurinus, il s'agit bien d'un «genre», celui des nugas de Catulle et des hendécasyllabes de Pline qui lui correspondent: outre cette allusion au mélange de pièces aimables et amères, la lettre mentionne la chose d'une façon absolument claire. En effet, Pline cite un poème de Sentius Augurinus écrit en hendécasyllabes, où Catulle et Calvus sont désignés comme les précurseurs du poète, son modèle direct étant Pline lui-même.⁷⁹

Du point de vue de l'histoire littéraire et de l'esthétique une autre lettre de Pline contient des renseignements peut-être plus précieux encore — il s'agit d'une lettre qu'il joint à son nouveau volume d'hendécasyllabes et dans laquelle il cherche à s'excuser auprès de son ami Paternus de s'occuper de telles futilités, lui, un homme mûr et chevronné. Sa principale excuse, c'est qu'autrefois aussi on écrivait de ces «espiègleries», et bien mieux beaucoup d'hommes les plus célèbres et les plus considérés et d'ailleurs le caractère lascif du sujet et du ton est «la règle fondamentale» du genre d'oeuvre (*huius opusculi illam verissimam legem*), ainsi que Catulle le disait déjà.⁸⁰ L'autre argument peut-être moins décisif, mais extrêmement important du point de vue esthétique, c'est qu'il ne faut pas condamner ces poésies espiègles en les comparant aux poèmes de proportions plus vastes et d'un ton sérieux, mais les juger à l'intérieur des limites du genre dont elles relèvent: «. . . *sapiens subtilisque lector debet non diversis conferre diversa, sed singula expendere nec deterius alio putare, quod est in suo genere perfectum.*»⁸¹ Et dans la suite de sa lettre, Pline écrit sans ambages que pour sa part, il continue à donner la prépondérance aux *hendécasyllabes* sur tous les genres «lyriques» alors à la mode. Il cite les suivants par leur nom:

epigrammata
idyllia
eclogae
*poematia*⁸²

⁷⁸ Plinius Epist. IV, 27, 2.

⁷⁹ Plinius Epist. IV, 27, 4:

*Canto carmina versibus minutis,
his olim quibus et meus Catullus
et Calvus veteresque. Sed quid ad me?
Unus Plinius est mihi priores . . .*

⁸⁰ Plinius Epist. IV, 14, 4: «. . . *erit eruditionis tuae cogitare summos illos et gravissimos viros, qui talia scripserunt, non modo lascivia rerum, sed ne verbis quidem nudis abstinuisse, quae nos refugimus . . .*» Suit la référence aux vers 5—6 de la pièce XVI de Catulle.

⁸¹ Plinius Epist. IV, 14, 7.

⁸² Plinius Epist. IV, 14, 9: «*Proinde sive epigrammata, sive idyllia, sive eclogas, sive, ut multi, poematia, seu quod aliud vocare malueris, licebit voces, ego tantum hendecasyllabos praesto.*» Nous pouvons lire une interprétation possible de ce passage dans l'excellente monographie de LAFAYE: «Vous pouvez, si bon vous semble, les appeler épigrammes, petits tableaux, morceaux détachés, ou comme beaucoup d'autres l'ont fait jusqu'ici, poésies légères, je ne vous offre, moi, que des hendécasyllabes.» Cf.: G. LAFAYE: Catulle

Les historiens de la littérature qui s'occupent de l'antiquité, ont négligé jusqu'à ce jour, ce passage extrêmement important. Si nous savons parfaitement ce que signifie «*eclogae*» pour désigner un genre, dans le dictionnaire littéraire et esthétique de l'époque de Pline, nous ignorons par contre ce qu'il faut entendre par le mot *idyllia* pas plus que nous sommes en mesure de comprendre ce que signifie *poematia* s'il ne peut être identifié ni avec les *nugae* de Catulle ni avec l'*epigramma*.⁸³ Mais ce qui nous apparaît comme primordial c'est que l'*epigramma* est classé à part de l'un et de l'autre, et figure dans l'énumération comme un *genre en soi*, exactement comme dans le recueil de Catulle.

Svennung qui a des mérites infaillibles dans l'appréciation des différences de style existant entre les deux types de poésie lyrique, a attiré notre attention sur bien des faits qui sont en relation avec les poèmes qui nous occupent. Il signale l'utilisation du tour rhétorique de l'*antithèse* dans la «pointe» finale et montre que les habitudes de la langue quotidienne (diminutifs, adjectifs composés, mots rares, répétitions) sont moins en usage dans les épigrammes; il tire de ces observations une conséquence justifiée, à savoir que «aus den obigen Ausführungen dürfte herausgegangen sein, dass Catulls Epigramme nicht nur durch Metrum . . . von den Polymetra und grösseren Gedichten des Dichters geschieden worden sind.»⁸⁴ Ce que I. Peek Schnelle exprime plus clairement encore, lorsqu'il montre qu'au lieu de revivre, comme cela est sensible dans les *nugae*, les événements contés, d'une façon en quelque sorte mimétique, Catulle obéit dans ses épigrammes à un style qui consiste à évoquer le passé avec un certain recul, celui de la réflexion.⁸⁵

Pour mieux faire sentir cette différence de tendances, nous rapprocherons deux pièces dans lesquelles le poète traite visiblement le même sujet, l'une étant empruntée aux *nugae*, l'autre aux épigrammes.

et ses modèles. Paris, 1894. p. 98. — Selon cette interprétation, les expressions employées par Pline dans cette énumération désigneraient un seul et même genre, ce que Lafaye fonde sur le sens d'appeler, donner un nom à quelque chose, qu'il attribue au verbe *vocare* — or dans le contexte ce sens est proprement absurde. D'ailleurs, du point de vue de l'histoire littéraire elle-même il est non moins absurde de penser qu'au début du II^e siècle avant notre ère on ait considéré les idylles, les églogues, les épigrammes et les hendécasyllabes comme des expressions désignant un seul et même genre. Pour notre part, nous nous rallions entièrement à la conception d'A. M. GUILLEMIN qui donne du texte, la traduction suivante: «En conséquence: préférez-vous épigrammes? idylles? églogues? petits poèmes (celui-là est courant)? ou tout autre, à votre choix, libre à vous, moi je cautionne seulement 'hendécasyllabe'». Pline le Jeune. Lettres, p. 30.

⁸³ P. HOWALD: loc. cit.

⁸⁴ J. SVENNUNG: op. cit. p. 34 et passim.

⁸⁵ I. PECK SCHNELLE: op. cit. pp. 72—73: «Die Epigramme unterscheiden sich grundlegend von den Polymetren dadurch, dass ihnen objektive, bleibende Sachverhalte zugrunde liegen, die unabhängig vom Dichter und vom Zeitpunkt bestehen, und dass Catull Objektives über sie aussagen will; er äussert über sie Gedanken, Urteile — seltener Empfindungen — stellt Beziehungen zwischen ihnen her: er denkt, reflektiert über sie.»

XLIII

*Salve nec minimo puella naso
nec bello pede nec nigris ocellis
nec longis digitis nec ore sicco
nec sane nimis elegante lingua,
decoctoris amica Formiani.*

*Ten provincia narrat esse bellam?
Tecum Lesbia nostra comparatur?
O saeculum insipiens et infacetum!*

LXXXVI

*Quintia formosa est multis, mihi candida, longa,
recta est. Haec ego sic singula confiteor,
totum illud formosa nego : nam nulla vetustas,
nulla in tam magno est corpore mica salis.
Lesbia formosa est, quae cum pulcherrima tota est,
tum omnibus una omnis subripuit Veneres.*

La première partie donne le point de vue du poète dans un débat qui aurait pu se produire dans la réalité entre le poète et les provinciales de sa connaissance⁸⁶. Ce que dissimule la poésie, n'est pas clair; la poésie elle-même ne le dit pas, il énumère en les prenant à l'envers, avec une bonne humeur goguenarde les «charmes» non existants de la «belle dame», tout simplement pour rendre par ce moyen-là, hommage à Lesbie. La reprise à chaque vers, ou à chaque demi-vers, des charmes non existants de la jeune personne en question, qui serait en soi suffisante pour réduire à néant cette «beauté» provinciale, se termine par une exclamation qui sert de conclusion: «o saeculum insipiens et infacetum!»⁸⁷. L'épigramme reprend un thème extrêmement proche du précédent: Quintia elle aussi est considérée par les provinciaux comme une «beauté» et par la même démarche que précédemment, on la compare à Lesbie. Cependant pour traiter ce sujet, le poète a recours à des procédés foncièrement différents: la manière dans le ton grossier de la moquerie populaire fait place ici à un style essentiellement intellectuel, dominé par les contrastes logiques.⁸⁸ Aux yeux de beaucoup, Quintia est

⁸⁶ Cf. Catulle et la tradition . . . , p. 187 et sq.

⁸⁷ Nous ne pensons pas qu'il faille absolument parler de la sympathie intuitive du poète à propos de la poésie de Heine, commençant par: «Die Welt ist dumm . . .» (Lyrisches Intermezzo XV.), et qui est construite sur le motif de Catulle «o saeculum insipiens», mais cette ressemblance ne fait que montrer davantage la parenté qui existe entre la poésie des nugae de Catulle et la «chanson» moderne — si éloignée dans le temps, et si proche par son esprit.

⁸⁸ I. PEEK SCHNELLE: op. cit. à la page 24 elle montre que les cinq premiers vers, l'énumération qui commence par «nec», des charmes inexistantes, puis après les questions parodiques et solennelles à la fois du 5^e vers, l'élément de trois vers, déforment toute la poésie du point de vue de la composition, les derniers vers sont en somme comme un torse malin supportant cette tête de géant que constituent les cinq premiers vers: «Eine Kompositionsart, die eine wesentliche künstlerische Eigentümlichkeit Catulls ist.»

belle, et le poète lui-même, à *considérer certains de ses charmes*, l'admet volontiers: mais *dans l'ensemble*, cette grande et forte Celte n'éveille pas l'impression de la beauté, de la plénitude des formes de Vénus, mais bien plutôt celle de la lourdeur; Lesbie par contre, qui est belle elle aussi *dans l'ensemble*, a dérobé *toutes les grâces* à toutes les femmes.

Nous comprendrons mieux encore les différences internes, dans la composition et dans le ton, qui existent entre les *nugae* et les *épigrammes*, en examinant des pièces qui se ressemblent étonnamment non seulement par le sujet mais aussi par l'expression:

IX

*Verani, omnibus e meis amicis
antistans mihi milibus trecentis,
venistine domum ad tuos penates
fratresque unanimos anumque matrem?
Venisti. O mihi nuntii beati!
Visam te incolumem audiamque Hiberum
narrantem loca, facta nationes,
ut mos est tuus applicansque collum
iocondum os oculosque suaviabor.
O quantum est hominum beatiorum,
quid me laetius est beatiusve?*

CVII

*Si quoi quid cupido optantique optigit umquam
insperanti, hoc est gratum animo proprie.
Quare hoc est gratum nobis quoque, carius auro,
quod te restituis, Lesbia, mi cupido.
Restituis cupido atque insperanti, ipsa refers te
nobis : o lucem candidiore nota!
Qui me uno vivit felicior aut magis hac res
optandas vita dicere quis poterit?*

Deux événements heureux: le retour d'un ami parti pour un lointain voyage, et le retour au poète de la bien-aimée qu'on n'attendait plus. Jusqu'à la conclusion des deux poésies qui est identique: dans l'une et dans l'autre une exclamation («*O mihi nuntii beati!*» et «*O lucem candidiore nota!*») par laquelle Catulle proclame que personne ne peut être plus heureux que lui. Et pourtant, si nous examinons de plus près la manière dont le thème est traité, nous pourrions déceler d'importantes différences. La pièce IX décrit l'heureux retour longtemps rêvé; nous avons devant les yeux, les deux amis,

le poète qui attire Veranius par le cou et Veranius qui commence son récit, et le vers lui-même d'adopter le ton du récit, si bien que nous participons directement à leur conversation projetée du passé dans un présent poétique (subjectif-sentimental) et ressuscitée dans un *présent perpétuel*, à la lecture, de la poésie. Dans l'épigramme, la représentation sensible manque, et quoique nos sentiments fassent écho aux sentiments du poète, nous sommes bien obligés d'éprouver la distance qui existe entre l'évènement raconté dans la poésie et le «présent du lecteur» que nous sommes. Le poète lui-même évoque l'heureux évènement avec un certain recul dans le temps et dans les sentiments. Il commence par un jugement général abstrait: «*Celui dont les désirs sont comblés contre ses espérances, en éprouve une joie particulière*». C'est là l'expression, d'une sorte d'aphorisme à valeur générale et, du point de vue de la composition, comme une explication anticipée de la raison pour laquelle le poète éprouve, dans le cas présent, une joie particulière. «*J'éprouve moi aussi une grande joie . . . Lesbie, parce qu'au gré de mes désirs et contre mon espérance, tu es revenue à moi.*» Les deux expressions qui s'opposent par le sens et forment un contraste logique *cupidus* qui désire et *insperans* qui n'espère point, et la répétition de ces deux expressions après les deux vers qui contiennent un jugement d'une portée générale, au cinquième vers qui dépeint la situation concrète du poète, ne laisse aucun doute sur le fait que nous nous trouvons ici en présence d'une composition logique, d'une construction consciente. Les mêmes différences peuvent être relevées dans la partie suivante. Avec le cinquième vers un nouveau motif est introduit dans la poésie, qui ajoute quelque chose à la généralité de l'aphorisme: *ipsa refers te nobis*, «tu es revenue de toi-même»; ici encore, le poète explique d'avance pourquoi il considère qu'il n'y a rien de plus souhaitable que sa vie, et c'est ainsi qu'il termine sa poésie.

Il serait inutile de multiplier les exemples. Ce que nous venons de dire, nous semble prouver assez clairement que la distinction dans l'oeuvre de Catulle, entre les *nugae* et les épigrammes n'est pas exclusivement formelle. Les pièces des deux genres trahissent des particularités quant à la composition interne et à la façon de traiter le sujet, qui sont en passe d'être des lois constitutives de deux «genre» distincts à l'intérieur de la «poésie légère». Bien entendu, ne pas tomber dans les excès des spécialistes de Catulle occupés des mêmes problèmes, il faut ici souligner deux faits. C'est d'abord que Catulle n'a pas écrit ses poésies selon des règles du genre d'avance élaborées, et que par ailleurs ces particularités pour cette raison même — n'apparaissent pas d'une façon systématique dans les deux types de poésies. Par contre il ne fait aucun doute que même si le poète n'avait pas réparti lui-même ses poèmes comme il l'a fait, nous pourrions grouper la plupart des poésies lyriques de Catulle, selon les deux genres que nous avons précisés plus tôt, sur la seule base d'indices internes.

Les épigrammes ne posent aucun problème: l'expression réflexive des sentiments, le mouvement de la pensée qui progresse par doubles contrastes logiques, avec très souvent, une pointe spirituelle à la fin de la poésie, ce sont là des traits caractéristiques qui après Catulle, Martial et Auson⁸⁹, sont devenus les *règles normatives* de l'épigramme moderne en tant que genre. Il ne s'agit donc plus que genre. Il ne s'agit donc plus que de savoir ce qu'il advient de l'autre «genre», le genre des *nugae* de Catulle, où pour la première fois apparaissent les contours distincts de *la chanson en tant que genre moderne européen*.

Nous trouvons dans un «Dialogue» de Tacite un intéressant passage relatif au classement des genres, dans lequel à côté des deux genres «sérieux» de la poésie, l'*heroicum carmen*, c'est-à-dire l'épopée, et la tragédie, est mentionnée, comme par hasard, la poésie lyrique également. Aux genres sérieux est appliqué le mot *carmen*, quant aux genres lyriques d'un rang inférieur et qui relèvent de la *Musa ludens*, c'est par le mot *versus* que Tacite les désigne. Selon le rétheur Marcus Aper, un des participants du dialogue, et qui réfléchit à la question, les *versus* se divisent en quatre sous-genres:

1. *lyricorum iocunditas*
2. *elegorum lasciviae*
3. *iamborum amaritudo*
4. *epigrammatum lusus*.⁹⁰

Si nous examinons de plus près les expressions employées pour désigner ces sous-genres, nous arrivons à de curieuses conséquences. Le genre *elegorum lasciviae* ne se rencontre pas encore chez Catulle dans sa forme accomplie, mais il s'épanouira dans la poésie de Gallus — Tibulle — Propertius — Ovide qui, même lorsqu'ils se réclament de Catulle, selon eux le représentant conscient de la *lascivia*, ont fixé les règles classiques du genre. Le classement des *iambes* en tant que genre «lyrique» autonome, n'est pas une nouveauté dans la littérature ancienne depuis Archiloque. Par contre, il est intéressant à remarquer que le mot *amaritudo* se rencontre souvent — cela ressort aussi de ce que nous avons dit — pour caractériser les poésies lyriques de Catulle ou de ses disciples; et, point de vue qui n'est pas à négliger, Catulle, lui-même, à deux

⁸⁹ En ce qui concerne l'histoire dans l'antiquité du genre de l'épigramme, nous nous rangeons entièrement à l'avis de REITZENSTEIN, selon lequel Catulle aurait consciemment séparé les épigrammes de *nugae* et aurait ainsi exercé une influence considérable sur le développement ultérieur de l'épigramme. Cf. R. REITZENSTEIN: *Epigramm und Skolion*. Giessen, 1893. p. 102 et sq. et RE XI, 107—111. A propos des autres problèmes qu'on nous permette de citer ici le point de vue de Kroll, avec lequel nous sommes entièrement d'accord: «Was er im übrigen über die Frage sagt . . . mache ich mir ganz zu eigen und widerlege nicht nochmals Annahmen, die er schon widerlegt hat . . . » Cf.: W. KROLL: op. cit. Einleitung X/1. — L'histoire de l'épigramme dans l'antiquité, son développement ultérieur après Martial, dans la ligne d'Ausonius et de Luxorius, sont une autre question et qui demandent de nouvelles recherches.

⁹⁰ Tacitus Dial. IX—X.

reprises, désigne par le mot *iambes* ses poésies satiriques.⁹¹ Pour le quatrième sous-genre, si nous cherchons le secret et la signification de ce rapprochement des deux mots *epigrammata* et *lusus*, nous serons amenés à examiner de plus près les épigrammes de Martial, grand spécialiste du genre dont les représentants de l'époque aimaient à se réclamer de Catulle. Or l'expression *lusus* figure généralement, dans l'oeuvre de Martial, de Pline et de ses contemporains, à propos de la poésie des *nugae* de Catulle; ajoutons d'ailleurs que Catulle lui-même, emploie le verbe *ludere* à propos de ces mêmes poésies, avec la même signification.⁹² Le problème le plus difficile à résoudre reste donc celui que pose l'expression *lyricorum iocunditas*. Il est vraisemblable qu'à cette époque on ait généralement entendu par *lyricum* les poètes pratiquant la «lyre de Lesbos» comme l'entend Quintilien lui-même lorsqu'il fait l'éloge d'Horace.⁹³ Toute la difficulté vient du fait qu'il n'était pas dans les usages d'employer le mot «*iocunditas*» pour caractériser la lyre d'Horace, mais nous rencontrons souvent les synonymes de ce mot (*lepor*, *dulcedo*, ou sous la forme d'adjectifs: *venustus*, *tener*, *mollis*, etc.) à propos de la lyre de Catulle et surtout à propos de la poésie des *nugae*.⁹⁴

La poésie légère de Catulle ne figure dans l'énumération des genres lyriques, qu'en fait Tacite, ni sous l'expression *nugae*, ni sous celle d'*hendecasyllabi*, ou de *poematia*. Mais par ailleurs Tacite emploie pour désigner les genres lyriques, des expressions qui sont caractéristiques de la poésie des *nugae* de Catulle:

1. *iocunditas*
2. *lasciviae*
3. *iambi*, 3. *amaritudo*
4. *lusus*

⁹¹ Catullus XL:

*Quaenam te mala mens, miselle Ravide,
agit praecipitem in meos iambo?*

De même dans la remarque de Porphyrio: «*Iambi autem versus aptissimi habentur ad maledicendum: denique et Catullus, cum maledicta minaretur, sic ait: At non effugies meos iambo.*» Cf. G. MEYER: Pomponii Porphyrii Commentarii. Lipsiae, MDCCCLX XIV p. 22 (Horatius I. 16, 22 sq.).

⁹² Catullus L.:

*Hesterno, Licini, die otiosi
multum lusimus in meis tabellis...*

De même dans la pièce LXVIII, *multa satis lusi*, qui d'un côté est une allusion à la badinerie amoureuse, de l'autre à la pratique de la poésie amoureuse, ainsi que BAEHRENS l'avait déjà montré. Cf.: AE. BAEHRENS: op. cit. p. 496 et *Musa severa* — *Musa ludens*. Bibliotheca Classica Orientalis 1958/6 p. 361 et sq.

⁹³ Quintilianus Inst. X, 1, 96: «*At lyricorum idem Horatius solus legi dignus.*»

⁹⁴ Selon REITZENSTEIN, Martial voyait dans les pièces des *nugae* de Catulle (I—LX) les modèles de ses propres épigrammes: «*Wenn nun Martial, wo er als Vorbild seiner Epigramme Catull nennt . . ., sich gerade auf die πολύμετρα bezieht und sie nachahmt . . .*» Cf.: R. REITZENSTEIN: RE XI. 111 — Nous sommes d'accord avec cette opinion dans la

La poésie légère de Catulle, tout en ayant exercé une influence décisive sur le développement de *tous les genres lyriques*, n'a pu cependant se développer en un genre autonome. Pour l'antiquité, la poésie des *nugae* de Catulle, en tant que telle, ne devait pas exister, car dans les iambes aigres-doux, l'élegie lascive, la lyre tendre, et l'épigramme joueuse, on ne voyait qu'une indistincte confusion. Il n'y avait guère que le *lascivus Catullus* pour exister en tant qu'auteur d'un genre à part, lui dont le tempérament lyrique et l'intensité poétique de toute son oeuvre débordaient les cadres de tous les genres courants. Pour le lecteur de l'antiquité, Catulle avait des audaces effarantes: il ne tenait aucun compte des lois des genres connus jusqu'alors, il utilisait certaines formes métriques avec les exigences de fond qu'elles supposaient, pour traiter des sujets précisément opposés. Il écrivit par exemple la pièce VIII, cet admirable poème d'amour qui par son sujet relevait du genre des *lyrici versus*, dans les choliambes d'Hipponax,⁹⁵ le rangeant ainsi dans la catégorie des *iambi*; mais lorsqu'il met au pilori Lesbie la dépravée et ses autres compagnes de débauche, il choisit au lieu des iambes que l'on attendrait, la strophe sapphique qui est une des formes métriques préférées des *lyrici versus*. Ses contemporains et ses admirateurs des générations suivantes, se rendent parfaitement compte que ce genre-là est proche d'une part, des *lyrici versus*, du lyrique, prise dans le sens qu'elle avait dans l'antiquité, mais aussi des *sotadicae*, satires acerbes, et du *mime* bouffon et populaire.⁹⁶ Quintilien, lorsqu'il énumère les genres qui sont à bannir de l'éducation de la jeunesse, range précisément les *hendecasyllabi* à côté des poèmes élégiaques et sotadéens.⁹⁷ Mais les Grecs, eux, avaient le goût meilleur: dans toute la littérature latine ce sont Catulle et Calvus qu'ils considèrent comme les vrais représentants de la poésie lyrique, comparables à Anacréon lui-même.⁹⁸

mesure où Martial a en effet considéré ensemble tous les «petits vers» de Catulle. Mais les déclarations de Pline trahissent justement le contraire. A savoir que les «petits vers» de Catulle (hendécasyllabes) ont continué à exister en tant que genre autonome au tournant du II^e et du I^{er} siècle av. n. è.

⁹⁵ T. FRANK: *Catullus and Horace*. Oxford, 1928. p. 269. «One can imagine that many readers were mystified by the most poignant of his songs written in seasons:

Miser Catulle, desinas ineptire.

⁹⁶ Plinius Epist. V, 3, 2: «*Facio non nunquam versiculos severos parum, facio nam et comoedias audio et specto mimos, et lyricos lego et sotadicas intellego, aliquando praeterea rideo, iocor, ludo, utque omnia innoxiae remissionis genera breviter amplectar, homo sum.*»

⁹⁷ Quintilianus Inst. I, 8, 6: «*Elegia vero, utique qua amat, et hendecasyllabi, qui sunt commata Sotadeorum... amoveantur, si fieri potest.*»

⁹⁸ A. Gellius: Noct. Att. XIX, 9.

G. KOSHELENKO

THE BEGINNING OF BUDDHISM IN MARGIANA

The problem of the appearance and spread of Buddhism in Central Asia has already a wide-spread literature,¹ but the question connected with the western limit of the spreading of Buddhism has so far been dealt with very unilaterally. As a rule, only the data on the beginning of Buddhism in Bactria, Sogdiana and territories situated farther to the east were investigated and the quite significant reports of the written sources testifying the spread of Buddhism also in the territory of Parthia were interpreted as follows: since science does not know about Parthian monuments of Buddhism, thus also the Parthian Buddhists known from written sources must have got acquainted with this religious doctrine in the Buddhist centres of Tokharistan.² The recent discovery of a Buddhist sanctuary in the territory of ancient Merv (gorodische Gyaurkala),³ however, induces us to approach this problem from a new angle and to examine the data of the whole circle of sources again.

The investigation of the large complex of sanctuary is still far from being completed, but already the fact that it is now discovered, permits us to make many conclusions. Definitely, the sanctuary had a long and complicated history comprising a series of centuries, but it could be constructed not later, than the end of the Parthian period, or even considerably earlier. A basis for this dating is rendered by the numerous finds of coins (the definition of all coins was made by M. E. Masson).

During the Parthian period the centre of the sanctuary was a stupa, built on the remains of a building from an earlier time. In the foundation of the stupa is a bulky platform, constructed of sun-dried bricks 45 by 45 by 12 centimetres in size. The platform is nearly square, its sides are orientated almost strictly according to the cardinal points. Its dimensions are 13.3 metres in N--S direction and 13 metres in W--E direction. The whole central part

¹ The latest and full survey of literature on the given problem see in the article by B. YA. STAVISKI in the collection «Кара-тепе — буддийский пещерный монастырь». Moscow 1964.

² See P. C. BAGCHI: *India and Central Asia*. Calcutta 1955. p. 37; B. YA. STAVISKI: in «История таджикского народа», Vol. I. Moscow 1963. p. 397.

³ Preliminary publication see M. E. MASSON: Из работ Южно-Туркменистанской археологической комплексной экспедиции АН ТССР in 1962, Изв. АН ТССР, series of general sciences 3 (1963) p. 51 foll.

of the platform is occupied by a bulky round tower, constructed also of sun-dried bricks with the same dimensions. From the structural point of view the platform and the tower form an independent whole. The outer surface of the tower was covered with a coat of clay plaster and then it was painted red.⁴

In the N—W and N—E corners of the platform there are remains of two symmetrically arranged columns, constructed of pieces of sun-dried bricks and covered with a coat of clay plaster.⁵ The diameters of the columns are 160 centimetres and 180 centimetres. From the north stairs are leading on the platform, flanked by two small protrusions 105 centimetres in breadth, rising to 1.55 centimetres from the front surface of the wall. At the front and side borders of these protrusions thin remainders of red and black painting were preserved. The stairs above are 4.10 metres wide, decreasing downwards to 2.90 metres. The staircase is not yet cleaned completely, but 24 steps have already been dug up so far and as a result of the excavations it can be said that the steps are continued downwards. The total height of the 24 steps is 3.3 metres, and the length of the excavated part of the staircase is 6.3 metres. The height of the certain steps is 10 to 15 centimetres, and the breadth of their upper surface 20 to 30 centimetres. The steps are covered with a thick layer of clay coating, on which traces of white and red painting can be observed. The general comparative simplicity of the ground plan of the monument and certain features of the structure (the square platform) make us to hold this monument a stupa of the «transitional» type according to the classification of A. Foucher.⁶ In the beginning of our era this form replaced the «ancient» type, for which the circular platform was characteristic.⁷ A large number of stupas of this type were constructed in the first centuries of our era and later in the whole territory of the North-East, but as the nearest parallels there can be mentioned the stupas built in the Sako-Parthian time of the existence of Taxila (Sirkap),⁸ the stupa from the district of Kabul (Koh-i-pahlavan),⁹ to be dated to the 2nd century A. D., *etc.* Thus the comparative analysis of the constructive characteristics of the building does not contradict to our opinion about the

⁴ The colours recommended in the Vinayapitaka for the painting of a stupa are: red, black and white, see A. BAREAU: *La construction et le culte des stupa d'après les Vinayapitaka*. BEFEO, t. 50, fasc. 2 (1962).

⁵ The position of the columns is not at all usual, although it is possible (for example on the reliefs of Mathura. See M. BENISTI: *Étude sur le stupa dans l'Inde ancienne*. BEFEO t. 50, fasc. 1 (1960) Pl. XIII). More frequently the columns are placed at the entrance and on them there are representations of sacred animals, mostly elephants and lions. See A. BAREAU: *op. cit.* p. 239; M. BENISTI: *op. cit.* p. 41; G. COMBAZ: *L'Évolution du stupa en Asie*, Vol. II. Bruxelles 1933. p. 212.

⁶ A. FOUCHER: *L'art greco-bouddhique de Gandhara*, Vol. I. Paris 1905. p. 72 foll.

⁷ A. FOUCHER: *La vieille route de l'Inde de Bactres à Taxila*, Vol. II. Paris 1947. p. 272.

⁸ J. MARSHALL: *Taxila*, Vol. III. Cambridge 1951. Pls. 10, 23, 24, 27, 28, 29, 30.

⁹ J. MEUNIE: *Qol-i-Näder. Une petite fondation bouddhique ou Kapica*. In the book of HACKIN—J. CARL—J. MEUNIE: *Diverses recherches archéologiques en Afghanistan*. Paris 1959. pp. 120—121.



Fig. 1

date of construction of this monument, made on the basis of stratigraphic studies.

In front of the northern façade of the building stood a gigantic statue of the Buddha. In the course of the excavations so far only its head has been dug out, resting in a stone structure following the Parthian period of construction, when the staircase was covered above by a sick stone pavement. Consequently, the statue was most likely erected in the Parthian period.

The head was lying at a distance of 50 to 55 centimetres to the west from the staircase. Its dimensions are: height 75 centimetres, breadth at the middle

45 centimetres. The head is damaged considerably, *viz.*: the Mignon is missing, and in its place only a cavity has remained, as well as the nose and the left part of the forehead, the layer of paint is knocked off from the chin, the lips are damaged, the painting is almost completely missing from the right eye, and on the left eye the layer of painting has come off from the clay base and flew on the face, a considerable part of the hair is missing. Besides this the surface of the head is intersected by deep fissures at several places.

The head was made of greyish-brown clay with a very high content of straw. We can clearly discern three layers of clay, on one another. There is no trace of a wooden skeleton, we can find remains of reed with a thickness of 0.7 to 0.9 centimetres only in the lowest layer. All the basic parts of the head were made of clay with a sculptural method, and the clay was covered with a thin coating of alabaster on a base of fabric. The hair was not pasted up in one but in small locks pressed in a mould. They were fixed to the mass of the head and to each other with liquid clay. The size of the locks is 3 to 3.5 centimetres. The locks are painted blue, and in the lowest part of the hair also traces of pink colour were preserved. The surface of the face was covered with three successive layers of colour, *viz.* pink, yellow and red. This is obviously connected with the two repairs of the statue. The brows were painted black, the eyes blue and the lips bright red.

Although the proportions of the head are considerably lengthened, its round character and a certain cumbersome of the lower part are still maintained. This is achieved through the light and smooth features of the head. But beside the smoothness of the features, the most important parts of the face, the high swellings above the brows, marking the beginning of the forehead with a clear-cut line, the high boss of the upper eyelids, the round and full upper lip are underlined with carved, energetic modelling. Considering that these points were stressed also with the method of colouring, with colours sharply differing from the basic tint of the face, it can be said that with considerably scanty means of expression a high effect of representation is achieved. An especially sharp line is drawn above the eyes, setting off the beginning of the rather low forehead (15 centimetres). The eyes are long and narrow (length 21 centimetres, width 5 centimetres), and the upper and lower borders of the eyes were marked by projection. The peculiar design of the eyes is somewhat «squint» on account of the fact that the outer ends of the eyes are higher than the inner ones. The mouth is small, the lips are soft as regards their contours, but sharply stressed by elevation, the small wrinkles on both sides of the mouth create the effect of a light smile. The hair is wavy, made in the form of small curls with a light curve at the end of the locks.

The first characteristic of this sculpture, attracting attention, is its size. Statues of the Buddha with gigantic dimensions are no unusual phenomena in Buddhist art. It is sufficient to mention the gigantic statues of Bamian (Af-

ghanistan) with a height of 35 and 53 metres, standing near to the statue discussed here with regard to time.¹⁰ The head of the gigantic Buddha statue discovered in Taxila¹¹ is very near as regards its dimensions. A. Foucher noted the endeavour to create gigantic statues as a general tendency in the development of Buddhist art in the Kuṣāna period.¹²

The outward appearance of the head of the Merv statue with its slightly heavy lower part and somewhat «squint» eyes has near analogies in a series of Buddha representations on the reliefs of the Amaravati stupa¹³ and some monuments of other districts of Gandhāra,¹⁴ and the sharp line of the boss above the eyebrows is found very frequently on the Buddha statues kept in the Peshawar museum.¹⁵

All these monuments remain within the limits of the first centuries A. D., serving at the same time as an indirect evidence for the correctness of the conclusion regarding the time of construction of the stupa discussed here.

The finishing of the hair is usually most characteristic from the viewpoint of dating. But the hair on the head of the Merv statue with its short curls and small curves cannot be ranged into any of the four canonical types defined by A. Coomaraswamy.¹⁶

Most points of contact exist with the second, early-Gandhāran, type, for which the long «flowing» locks are characteristic, and with the third, to which the transition from the second type takes place about the middle of the 2nd century A. D. This third type of the hair is characterized by the small short curls of spiral form.¹⁷ It is quite possible that the transition to this type is connected with the influence of the Central Indian school of Mathurā,¹⁸ although Coomaraswamy says that it was elaborated simultaneously in Gandhāra and in Mathurā.¹⁹ The finishing of the hair of the Merv Buddha statue occupies an intermediate position between these two types, standing nearer to the first of them on account of the circumstance that the basis of the curls is composed of long locks. But at the same time there can already be observed such features, which are characteristic for the transition to the third type with its short locks and spirals. Here there are no spirals so far, but its beginnings can already be observed in the form of the curving out at the end of the locks. On the other hand, an analysis of the handling of the hair also convinces us

¹⁰ A. GODARD — Y. GODARD — J. HACKIN: *Les antiquités Bouddhiques de Bamiyan*. Paris — Bruxelles 1928.

¹¹ J. MARSHALL: *Taxila*, Vol. III, Pl. 1056.

¹² A. FOUCHER: *La vieille route . . .*, Vol. II, p. 342.

¹³ W. COHN: *Buddha in der Kunst des Ostens*. Leipzig 1925. p. 15.

¹⁴ H. INGHOLT: *Gandharan Art in Pakistan*. New York 1957. Pl. 261.

¹⁵ *Loc. cit.* Pls. 87, 102, 131, 198, 206.

¹⁶ A. K. COOMARASWAMY: *The Buddha's cūda, hair, usnisa and crown*. *JRAS* 4 (1928) p. 815 foll.

¹⁷ *Loc. cit.* pp. 817 — 818.

¹⁸ J. E. VAN LOHUIZEN DE LEEUW: *The «Scythian» Period*. Leiden 1949. p. 126.

¹⁹ A. K. COOMARASWAMY: *op. cit.* p. 818.

about the fact that the time of construction of the statue can be only the 2nd century A. D., most probably its first half.

The last point to be examined at the analysis of this statue is its colouring. The characteristic feature of Buddhism -- according to which the iconographic forms are put in plastic only after one or the other representation receives its projection in the literary tradition -- brought about that the canonization of the system of colouring of Buddha in his various manifestations occurs strictly speaking only from 300 A. D.,²⁰ that is from the time of the adoption of tantrism. At the same time a further argument in favour of an earlier erection of the Merv Buddha statue is the repeated change of its colouring, a circumstance hardly possible in a later period.

Thus the results of the investigation of the discussed object rendered it for the first time possible to solve positively the question about the appearance of Buddhism in Margiana in the Parthian period. This conclusion contradicts to a certain extent to the views developed by A. Foucher, according to whom the appearance of Buddhism in Bactria could only occur at the end of the 1st century or the beginning of the 2nd century A. D.,²¹ which naturally presumes a respectively later time for the appearance of Buddhism also in Margiana, in as much as Bactria was an intermediate phase between Gandhāra and Margiana. Without entering into a more detailed description of the question of Buddhism in Bactria, we only note that there exists also a definitely contradictory viewpoint, according to which the appearance of Buddhism in northern Bactria occurred long before Kaniška.²²

We must consider also the circumstance that the first acquaintance of the Parthians with Buddhism took place not later than the beginning of our era, when there were Indo-Parthian possessions. At the same time we can say with full certainty that Buddhism appeared in Margiana already in the 1st century A. D., and the strengthening of the position of the Buddhist community in the 2nd century A. D. resulted in the construction of the stupa in the outskirts of the city.

This conclusion can be supported by data taken from an entirely different field, *viz.* from the Chinese sources, speaking about the appearance and spread of Buddhism in China. The spreading of Buddhism in China, beginning sometime between the middle of the 1st century B. C. and the middle of the 1st century A. D.,²³ proceeded in the first place from the northwest,²⁴ where its

²⁰ B. BHATTACHARYYA: *The Indian Buddhist Iconography*. Calcutta 1948. p. 32 foll.

²¹ A. FOUCHER: *La vieille route . . .*, Vol. II. pp. 280-281.

²² R. CHIRSHMAN: *Begram*. Cairo 1946. p. 146. R. CHIRSHMAN reckons the district Termez only erroneously to Sogdiana. Now it is absolutely clear that the area in question belongs to Bactria.

²³ E. ZÜRCHER: *The Buddhist conquest of China*. Leiden 1956. pp. 22-23; V. M. STEIN: *Экономические и культурные связи между Китаем и Индией в древности*. Moscow 1960. p. 150; cp. J. HARMATTA: *Sino-Indica*. *Acta Ant. Hung.* XII, 1-2 (1964). p. 3 foll.

²⁴ ZÜRCHER: *op. cit.* p. 26.

first propagators were the merchants and missionaries arriving in China by way of the «Silk Route».²⁵ Symptomatic is already the fact itself of the appearance of Buddhism in China through the «Silk Route», along which the Parthians played an important role in commerce between the East and the West.²⁶ This role of the Parthians both in commerce and in the spreading of Buddhism is supported by the reports of the Chinese chronicles on the fate of the Parthian merchant An-Siian, who settled in China and became one of the most active missionaries.²⁷ The case of the Parthian prince An-shī-kaō is even more characteristic.²⁸ Arriving in the year 148 A. D. in Lo-yang, he came to the fore of the community of missionaries already existing here. He contributed to the wide penetration of Buddhist religious literature into China by organizing a «school of translators».²⁹ His translations were held later on classical by some of the leading personalities of the Buddhist Church. Consequently the Parthians took a very active part in the spreading of Buddhism in China, and this, on the other hand, presumes a significant influence of Buddhism in the Parthian territories themselves. H. Maspero quite acceptably presumed that An-shī-kaō belonged to some of the branches of the Arsacids, ruling in the eastern part of the Parthian empire.³⁰ In the light of the above said it is quite possible to presume that the rulers of Margiana belonged to this local branch of the Arsacids, since it is known that among the Parthian possessions only in Margiana existed at this time a Buddhist community, because the Indo-Parthian possessions were lost by Parthia already in the middle of the 1st century A. D.³¹ In addition to this Margiana had at this time a considerable degree of autonomy, and was under the rule of her own dynasty.³²

One of the already discovered intermediate points on the route leading from Margiana to China is the Buddhist sanctuary discovered by A. Stein in Mirān.³³ Among the finds we can mention the head of a gigantic Buddha statue, which shows a striking likeness with the head from Merv regarding its dimensions, as well as its general appearance.³⁴ At the same place was found

²⁵ ZÜRCHER: *op. cit.* pp. 22—23.

²⁶ M. E. MASSON: Народы и области Южного Туркменистана в составе парфянского государства, ТЮТАКЭ,5, Ашх. 1955. p. 24.

²⁷ ZÜRCHER: *op. cit.* p. 23; H. MASPERO: Les origines de la communauté bouddhiste de Lo-yang. JA t. 225, 1 (1934) p. 93.

²⁸ J. HARMATTA says that in the Chinese language they rendered thus the Iranian terms *Arša(γ) Kav*, where *Arša(γ)* is the family name of all representatives of the Arsacid ruling dynasty and *Kav* is the term for the denoting of the rulers, well known from Persian and Sogdian (J. HARMATTA: *op. cit.* p. 21).

²⁹ H. MASPERO: *op. cit.* p. 93; ZÜRCHER: *op. cit.* p. 32.

³⁰ H. MASPERO: Taoïsme. Mélanges posthumes, Vol. II. Paris 1950, p. 189.

³¹ N. C. DEBEVOISE: A political history of Parthia. Chicago 1938. p. 68; L. DE LA VALLES-POUSSIN: L'Inde aux temps des Mauryas et des barbares. Paris 1930. p. 302.

³² V. M. MASSON: Восточно-парфянский правитель Санабар. Нумизматический сборник, II. Moscow 1957, p. 40 foll.

³³ M. A. SEIN: Ruins of desert Cathay, Vol. I. London 1912. p. 454 foll.

³⁴ *Loc. cit.* fig. 141.

a Sanskrit text in Brāhmi, which on the basis of the palaeographic data can be dated to the 4th century A. D. at the latest, or perhaps to an even earlier time. The style of the frescos discovered there, dated to the 3rd century A. D., shows a strong Iranian influence.³⁵ The great number of Iranian names in one of the inscriptions found here point also to this influence.³⁶ Also this shows very likely the importance of the Parthians in the spreading of Buddhism in China.

Thus also this circle of sources points to a time about the middle of the 2nd century A. D., as a period of the wide spreading of Buddhism in Margiana, having an influence on the middle layers of the community of Margiana, as well as on the local aristocracy.

Another evidence supporting this conclusion is the scanty series of coins of the first Sassanids, minted in Merv. These coins belong to the minting of the rulers of the eastern half of the Sassanian empire, who at this time were the heirs to the crown, bearing the title Kušānšāh.

Our attention is attracted by the silver drachma of Pērōz, son of Ardašir I, governor in the East in the years 242 to 252 A. D. and Hormizd (256 to 264 A. D.).³⁷ An unusual feature of these coins is in the type of the reverse, where the ruler is represented with a gesture of adoration to the Buddha. The given sign of veneration towards this deity appears to be extraordinary, considering the religious policy of the Sassanian dynasty, which saw in official Zoroastrianism one of the main supports of the ruling power, its ideological basis, inventing the formula: «The altar is the support of the throne, and the throne is the support of the altar»,³⁸ and striving to eradicate all other religions.

The only explanation of this representation is the recognition of the fact that this was a forced measure aiming at the acquisition of popularity among the population, following Buddhism. These coins were issued at the very beginning of the existence of the Sassanian regime, almost immediately after the annexation of Merv, where they were minted, when the power of the new dynasty in the East was still ephemeral, when the memory of the Arsacids was still strong. Under such circumstances the appearance of the given series of coins can easily be explained, if we recognize the fact of the wide spreading of Buddhism in the preceding period in Margiana.

Thus the sources of the most different character unanimously point to the important role of the influence of Buddhism in Margiana in the 2nd century A. D., that is in the Parthian period.

³⁵ G. COMBAZ: *op. cit.* p. 255; M. A. STEIN: *op. cit.* pp. 458–459.

³⁶ M. A. STEIN: *op. cit.* p. 459.

³⁷ E. HERZFELD: Kushano-Sasanian coins. Calcutta 1930. Pl. IV, pp. 30–31; fig. 22; see also G. BATAILLE: Notes sur la numismatique des Koushans et des Koushan-shahs sassanides. Arethuse 1928, Nr. 1, p. 28.

³⁸ This doctrine developed obviously already by Ardašir, founder of the dynasty; R. C. ZAEHNER: *The Dawn and Twilight of Zoroastrianism*. New York 1961. p. 284.

The wide spreading of Buddhism at this time in (Southern and Northern)³⁹ Bactria and its penetration as far as Xwārizm⁴⁰ is doubtless. But can we say that the main stimulation for the spreading of Buddhism in Margiana was given by her close relations with Bactria? We find this onesided. Not denying a certain influence of Bactria, we can suppose that the first impulsion for the penetration of Buddhism in Margiana was given by the occupation of certain territories of India by the Parthians and the existence of Indo-Parthian possessions. The travelogue of Isidorus Characenensis written in the beginning of our era says that the Parthian royal route went to the south, reaching to the borders of contemporary Sistān. Since Sacastene (Sistān) at this time belonged in the Eastern Parthian state administration, including also part of India, we can presume the penetration of Buddhism into Margiana also through Sistān, avoiding Bactria.

In conclusion we must raise, as an assumption, the question, where took place that decisive transformation of the Buddhist views under the influence of Mazdaist conceptions, which was stated by A. Foucher.⁴¹ Since the dominating position of Mazdaism and the comparatively wide spread of Buddhism at this time in Margiana is doubtless, exactly Margiana could be one of the places, where this contact could take place, having a very strong influence on the development of Mahayanist conceptions.

³⁹ A. FOUCHER: *La vieille route . . .* Vol. II, pp. 280—281; M. E. MASSON: *Находка фрагмента скульптурного карниза первых веков н. э.* Tashkent 1933; M. E. MASSON: *Скульптура Айрытама.* Искусство 2 (1935) p. 129; M. E. MASSON: *Городища Старого Термеза и их изучение.* Термезская археологическая экспедиция 1937—1938 гг. Tashkent 1945. p. 77 foll.; L. I. ALBAUM: *Буддийский храм в долине Саназара.* Доклады А. Н. Узбекской ССР 8 (1955) p. 57 foll.

⁴⁰ S. P. ТОЛСТОВ: *Древний Хорезм.* Moscow 1948. p. 199, to Pl. 76, 6; S. P. ТОЛСТОВ: *По следам древнехорезмийской цивилизации.* Moscow 1948, pp. 156 and 160 (fig. 36 b)

⁴¹ A. FOUCHER: *La vieille route . . .*, II, p. 286 foll.

DER GOTT BES IN EINER KOPTISCHEN LEGENDE

Die alte heidnische Religion verschwand in Ägypten unter heftigen ideologischen und politischen Kämpfen. Auch zur Zeit der römischen Kaiser besass noch grosses Ansehen jener Priesterstand, der in den grossen Tempeln tätig war und die ältesten Traditionen pflegte: diese Priesterschaft beschäftigte sich nicht nur mit der schriftlichen Abfassung und Kommentierung der Erbschaft der Vergangenheit, sondern sie entwickelte auch noch die alten theologischen Systeme weiter, besonders auf dem Gebiete der Schöpfungsmythen, wie dies durch jene Texte des Tempels von Esna bewiesen wird, die vor kurzem veröffentlicht wurden.¹ Aber den grössten Widerstand dem Christentum leistete doch nicht diese Gruppe, die kaum noch einen Kontakt mit der zeitgenössischen Wirklichkeit hatte, sondern eher jene seltsame Mischung der griechischen und der ägyptischen Religiosität, die auf dem Wege des Verschmelzens der grossen ägyptischen und griechischen Götter eine annehmbare Mythologie für die breiten Schichten der Bevölkerung schuf, und die infolge ihrer synkretistischen Züge in den verschiedensten Provinzen des Römischen Imperiums schnell eine grosse Volkstümlichkeit erlangte. Es bildete einen wichtigen Faktor neben dem Volksglauben auch die neuplatonische Philosophie, deren Vertreter in Alexandrien lange Zeit hindurch an einer solchen Form des alten Glaubens festhielten, die sich schrittweise den ägyptischen Kulturen näherte. Die mystisch eingestellte spätantike Philosophie erblickte in der ägyptischen Religion die Rechtfertigung ihrer Lehren, und die Vertreter dieser Philosophie begeisterten sich auch ausserhalb von Ägypten (wie Jamblichos und Proklos)² für Religion und Philosophie des Niltales. Aber in Ägypten selbst vermochten, abgesehen von Alexandrien, weder diese Lehren, die sich an eine äusserst schmale Schicht der am meisten gebildeten Heiden wendeten, noch jene hoctönigen Abhandlungen der Hermetiker, die von ekstatischer Schwärmerei und Ägypten-An-

¹ Zu den Texten von Esna siehe: S. SAUNERON – J. YOYOTTE: *La naissance du monde selon l'Égypte ancienne* (Sources Orientales I.) Paris, 1959. 71 ff. SAUNERON: *Esna II.*, Le Caire 1963. und *Esna V.* Le Caire 1962.

² Proklos hat auch zu Ehren der Isis von Philae Hymnen verfasst. (Marinos: *Vita Procli*, ed. Boissonade 19. TH. HOPFNER: *Fontes historiae religionis Aegyptiacae*. Bonn, 1922. 685.) Über das Zeitalter des Untergehens des Heidentums siehe z. B. DE LACY O'LEARY: *The Destruction of Temples in Egypt*. BSAC IV. 1938 51 ff., R. RÉMONDON: *L'Égypte et la suprême résistance au christianisme. (V – VII siècles)* BIFAO LI 1952. 63 ff. u. a. m.

betung zeugen, eine grössere Massenwirkung auszuüben; aber zweifellos trugen auch diese letzteren, infolge jenes Einflusses, den sie auf die Intelligenz ausgeübt hatten, dem Erhaltenbleiben des heidnischen Volksglaubens bei. Eine Kraft, die besonders im Laufe des 5. Jahrhunderts bedeutend wurde, und die den Kampf des ägyptischen Heidentums unterstützte, vertraten jene nubischen Stämme, die zäh an dem alten Glauben festhielten. Die bedeutende militärische Macht der Blemmyer machte viel Sorgen den Byzantinern, und Maximinus, der Feldherr des Kaisers musste im Jahre 452 im Friedensvertrag, den er mit diesen abgeschlossen hatte, das freie Ausüben des Isis-Kultes in Philae erlauben. Die nubischen Stämme durften das Heiligtum der Göttin besuchen, ja sie durften auch ihr Standbild jährlich ausleihen. Erst um das Jahr 535 herum hob Justinianus auch dieses Überbleibsel des Heidentums auf, und er liess die betreffenden Standbilder nach Konstantinopel überführen.³

Die nichtgriechische Bevölkerung von urägyptischer Abstammung trat zu dem christlichen Glauben früher hinüber als die Griechen. Es ist nicht leicht, sich ein klares Bild von den letzten Jahrhunderten des ägyptischen Heidentums zu machen, auch trotz des verhältnismässigen Reichthums des schriftlichen und archäologischen Quellenmaterials. Obwohl die mythologische Rolle der volkstümlichsten Gottheiten in den späteren koptischen Zaubertexten grundlegend nicht verändert wurde,⁴ trotzdem mutet einen das Bild, das man auf Grund der koptischen und spätkaiserzeitlichen griechischen magischen Texte bekommt, im ganzen etwas fremdartig an. Wahrscheinlich veränderten sich in schnellem Tempo die heidnischen Kulte zu jener Zeit, in der sich das Christentum verbreitete, aber die Einzelheiten dieses Verlaufes sind durch die Forschung bisher noch nicht geklärt worden. In dem folgenden versuchen wir anhand eines konkreten Beispiels, d. h. auf Grund der Analyse eines koptischen Textes, das Problem der spätägyptischen Religiosität und ihres Fortlebens im koptischen Zeitalter zu beleuchten.

Man liest in der legendenhaften Lebensbeschreibung von *Apa Moses* (Mōysēs die folgende Textpartie:⁵

*Mīnīnsa nai aui īnkjī naptīme snau etīmmau aupāhtu haratīf īmpenjōt
apa Mōusēs ausīpsopjī — epidē īntaudaimonion īmponēron bōk ehun epīrpe*

³ M. KEES: Philae. PW 38. Halbband (1938) 2112; MILNE: History of Egypt under Roman Rule. (A History of Egypt V.) London 1924. 111 setzt dieses Ereignis auf das Jahr 543. Siehe noch A. ERMAN: Die Religion der Ägypter. Berlin 1934. 357. Procopios: De bello Persico (ed. HAURY) I. 19 (37) HOPFNER: a. W. 708.

⁴ A. M. KROPP: Ausgewählte koptische Zaubertexte. III. Bruxelles 1930, 5 ff.

⁵ Zu Grunde liegt die Ausgabe von W. TILL (Koptische Heiligen- und Märtyreren. Orientalia Christiana Analecta 108. 1936. 52 ff. Vgl. ZOEGA: Catalogus Codicum Copticorum . . . qui in Museo Borgiano Velitris adservantur. Roma 1810. 533 ff. No. 214. É. AMÉLINEAU: Monuments pour servir à l'histoire de l'Égypte chrétienne. . . (Mémoires. . . de la Mission Arch. Française IV.) Paris 1886—88. 689 f. Zu dem Text und zu der Person von *Apa Moses* siehe noch: A. PIANKOFF: The Osireion of Seti I. at Abydos during the Greco-Roman period and the christian Occupation. BSAC XV. 1960. 128 ff. Das ursprüngliche Kloster lag in der Nähe von El-Araba el Madfuna. Das heutige Kloster Amba Musa liegt ferner in nordwestlicher Richtung.

etumute erof če Bēs pa etimpemhīt impmonastērion. Awō nešafi ebol nifrōhīt ininetparage. Hoine men hin netešafrahtu šauir bille epeubal inwōt henkowe šare neu kjič šowe. Hoine šafaaū inkjale eneurēte henkowe ešaftreneuho kjōukj, hoine ešafuau inal awō inimpō. Nešare hah gar nau erof effōkje epesēt hīmpirpe eššibe immof inhah insmot. Awō tai te the intapdaimanōnion etimmau ir hah impethou. Eapnute anikhe šaftefuōnīh (sic!) ebol inneššpēre.

Ppetwaab de Apa Mōusēs afči nīmmaf inkesašif inson incōōre hīn tpistis. Ete nai ne Apa Paule mīn Apa Andreas mīn Apa Ēlias mīn Apa Josēph mīn Apa Psate mīn Apa Phoibamōn nei immau. Hō anok peirifirnobe. Afčitīn afbōk ehun epnau inruhe. Peče ppetwaab nan če šlēl hīn učōlik ebol intetīnsopis impnute. — Īnterenarkhi de inšlēl apma kim haron. Ahennokj inhrou šōpe hīthē immon inthe inhenbrekje mīn henhrubbai. — Peče penjōt če impīrīr hote henphantacia indaimōnion ne. Ennau de etefnokj immīntčarhēt anon de anhūpomīne awō nenmēn ebol hīm pešlēl. Hīn tpaše de intheušē apdaimōnion oš ebol če ša tnau ekti hise nan o Mōusēs? Alla ime nak če intinaīr hote hētīk an awō innekšlēl naešir laaw nai an eko inušē inrois tenu epčīnčē. Pōt nak impermu ingmeut netnīmmak. Aimeut hah gar inčasihēt intekhē. Awō nešafōš ebol inthe inumase, hensop de on ešti hrou inthe inhenhtōōr. Hensop de on ešansōtīm ephrou inhenmēēše eupēt ehrai ečōn awō insehōn eron an eptērīf. — Hensop de on nešairkim epma etīnaheratīn inhētīf hōste efnāhe epesēt ečōn awō enešarewon inhētīn he ečīm pefho hūlīn the etefnoin impkah haron. Penjōt de nešafamahte immon nīftounosīn efčō immos če impīrīr hote alla tōk inhēt tetnanau epecu impnute- . . .

Der Transkription haben wir das System von Till zugrunde gelegt. (Koptische Grammatik.² Leipzig 1961. 40.) Die Umschreibung der Vokale wurde aus typographischen Gründen vereinfacht. Kürze wurde nicht besonders kenntlich gemacht. Bei der Wiedergabe der griechischen Wörter berücksichtigten wir die Orthographie des koptischen Originals. (Auf die Probleme der Herstellung des Textes vgl. Till: *Analecta Orientalia Christiana* 108 52 ff. Unsere Transkription gibt nur die Resultate dieser Arbeit.)

«Danach kamen die Bewohner der beiden dortigen Dörfer, und sie warfen sich zu den Füßen unseres Vaters *Apa* Moses, und sie flehten ihn an, nachdem ein böser Dämon, der Bes heisst, in den Tempel,⁶ der von dem Kloster nördlich liegt, eingezogen war.⁷ Er kam manchmal auch heraus, und er schlug diejenigen, die dort vorbeigingen. Einige von denjenigen, die er niederschlug, erblindeten auf einem Auge, bei anderen vertrockneten ihre Hände, wieder andere machte er an ihren Füßen lahm, bei einigen machte er das Gesicht verunstaltet,⁸ andere machte er taub und stumm. Sehr viele pflegten ihn zu sehen, wie er von dem Tempel herunterspringt und sich in vielerlei Gestalten verwandelt.

⁶ Das Wort ΠΠΕ bezeichnet häufig die heidnischen Tempel. W. E. CRUM: *A Coptic Dictionary*. Oxford 1939. 298.

⁷ Wörtlich: «er ging hinein».

⁸ Man kann den Text auch in dem Sinne auffassen, dass der Dämon das Gesicht von einigen *verdrehte*.

Und auf diese Weise verübte also dieser Dämon viel böses. Gott erlaubte es (ihm) um seine (d. h. Gottes) Wunder zu offenbaren.

Der heilige *Apa* Moses nahm mit sich auch sieben starkgläubige Brüder. Und zwar: *Apa* Paulos und *Apa* Andreas und *Apa* Elias und *Apa* Joseph und *Apa* Psate und *Apa* Phoibamon. Auch ich Sünder war dabei.⁹ (Mit sich) nahm er uns und er ging in (den Tempel) hinein zur Zeit des Abends. Der Heilige sprach zu uns: Betet inbrünstig und flehet zu Gott. Als wir zu beten anfangen, der Ort bewegte sich unter uns, es entstand ein grosses Geräusch vor uns, wie Blitze und Donner. Unser Vater sprach: «Habet keine Angst, dies sind die Blendwerke des Dämons.» Als wir seine grosse Standhaftigkeit sahen, hielten auch wir fest, und harrten im Gebet aus. Es rief um Mitternacht der Dämon: Wie lange bereitest uns noch Qualen, o Moses? Aber wisse doch, dass ich keine Angst vor dir habe, und deine Gebete nichts an mir haben können. Umsonst bist du jetzt wach über die Nacht hindurch. Stirb nicht und töte nicht diejenigen, die mit dir sind. Denn ich habe schon viele solche Übermütigen getötet, wie du einer bist. Er brüllte wie ein Stier, und manchmal gab er von sich einen Laut, wie die Pferde, und manchmal hörten wir die Stimmen von Massen, die auf uns zuliefen, aber sich zu uns gar nicht näherten. Und manchmal schüttelte er so sehr den Ort, wo wir standen, dass es schien, als wollte es auf uns herunterfallen. Mancher von uns fiel auf sein Gesicht, nachdem er so sehr den Boden unter uns erschüttete. Aber unser Vater ergriff uns, und er hob uns auf, indem er sagte: «habet keine Angst, sondern kräftiget euer Herz, und ihr werdet Gottes Ruhm sehen . . .»!

Leider hört unser Text gerade hier, bei dem interessantesten Teil auf. Aber man darf — sowohl auf Grund der Intonation der ganzen Geschichte wie auch der übrigen Teile der Lebensbeschreibung sowie auch mit Rücksicht auf die verwandten Texte der hagiographischen Literatur — mit Sicherheit vermuten, dass in dem folgenden das Besiegen des Dämons erzählt wurde.

Der Schauplatz ist also ein alter heidnischer Tempel in der Nähe von Abydos (Till, a. W. 47, 67) — vielleicht eben die berühmte Orakelstätte des Gottes Bes —, wo zeitweise eine Gottheit erscheint und Schäden den Vorbeigehenden zufügt. *Apa* Moses lebte im 5. (und 6.?) Jahrh., in einer Zeit also, in der der Kampf der alten und der neuen Religion im Römischen Imperium, und so auch in Ägypten, schon längst entschieden war. Aber das besiegte Heidentum war immer noch eine Macht, gegen die man ernstlich zu kämpfen hatte. Man findet reichlich Angaben für diesen Kampf in der koptischen Literatur. Eine Erzählung begründet z. B. das Verwüsten eines heidnischen Tempels damit, dass man hier angeblich christliche Kinder dem Gott Kothos geopfert hätte.¹⁰ Schenute hat die Tempel von Atripe und Plevit verwüstet,

⁹ Nämlich der Verfasser der Legende.

¹⁰ Die neue Publikation des Textes: A. MALLON: Grammaire Copte. Beyrouth 1956, 88 ff.

und er beraubte den Heiden Gesios seiner Bücher.¹¹ Ein anderer Teil in der Lebensbeschreibung von Moses¹² berichtet über die Vernichtung der heidnischen Tempel in Abydos. Der Kampf gegen die Heiden spielte eine grosse Rolle im Leben der koptischen Mönche des 4. und 5. Jahrhunderts.

In unserer Legende hat der christliche Heilige nicht gegen heidnische Priester, sondern gegen die Boshaftigkeit einer alten Gottheit zu kämpfen. Nachdem man es hier mit dem Werk eines christlichen Verfassers zu tun hat, ist es nur allzu natürlich, dass ein bedeutender Teil der benützten Motive – wenn auch nicht völlig in der gleichen Form – auch aus den kanonischen Schriften und der hagiographischen Literatur bekannt ist. Dem Gott, der hier mit griechischem Lehnwort als *δαμόνιον* bezeichnet wird, schreibt der Schöpfer der Legende die bezeichnenden Eigenschaften und Züge der bösen Geister und der Teufel zu.

Der Dämon erscheint in einem alten und offenbar schon verlassenen Heiligtum. Nach der zeitgenössischen Religiosität sind die von Menschen verlassenen Plätze beliebte Aufenthaltsorte für böse Geister. Die Propheten des Alten Testaments bevölkerten die Ruinen von Babylon und die ähnlichen verlassenen Gegenden mit gespenstischen Wesen.¹³ Auch nach den Schriftstellern des Neuen Testaments wohnen die Dämonen auf öden Gegenden oder in der Tiefe der Erde;¹⁴ auch die Versuchung Christi wird als ein Ereignis, das sich in der Wüste zugetragen hatte, geschildert.¹⁵

Auch jene christliche Literatur, die sich unmittelbar an Ägypten anknüpft, liefert viele Belege für denselben Gegenstand. Nach der Antonius-Vita des Athanasios – die an mehreren Stellen auffallende Ähnlichkeit mit der Moses-Legende verrät – hatte der Einsiedler, der heilige Antonius seine schwersten Kämpfe gegen das Heer des Satans in einem alten Grab ausgefochten.¹⁶ Man bekommt in der *Historia Lausiaca* des Palladius¹⁷ eine lebhaft und farbige Schilderung von dem Besuch des Heiligen Makarios bei dem Grab zweier berühmter ägyptischer Zauberer, die hier Jannes und Mambres heissen. Verschiedenartige Dämonen und der Teufel selbst beschützten dieses alte Denkmal, aber sie versuchten umsonst das Herannahen des Heiligen zu verhindern. Hier wird die Anwesenheit der Dämonen nicht nur durch die Verlassenheit der Gegend, sondern auch durch ihre Verbindung mit den Zauberern begründet.

¹¹ J. LEIPOLDT: *Schenute von Atripe. (Texte und Untersuchungen zur Gesch. der altchristlichen Literatur NF. X)* Leipzig 1904, 178 ff.

¹² TILL: a. W. 47 f., 67 f.

¹³ Jesaja 13, 21 (Babylon), 34, 14 (Edom), Jeremias 50, 39 (Babylon), Tobit VIII. 3 u. a. m. Auch nach der babylonischen Religion sind die Aufenthaltsorte der Dämonen die verlassenen Gegenden. A. ÜNGNAD: *Die Religion der Babylonier und Assyrer.* 1921. 290.

¹⁴ Mt. XII. 43, Lk. XI. 24. Apoc. XX. 3.

¹⁵ Mt. IV. 1 ff., Mk. I. 12 f., Lk. IV. 1 ff.

¹⁶ MIGNE: PG. XXVI. 853 ff. Siehe noch SCOTT-MONCRIEFF: *Paganism and Christianity in Egypt.* Cambridge 1913 204 f.

¹⁷ MIGNE: PG. XXXIV. 1051 ff. Vgl. Paulus Tim. II. 3, 8. J. DORESSE: *Des hiéroglyphes à la croix.* Istanbul 1960. 14.

An einer Stelle der *Vitae Patrum*¹⁸ erzählt der bekehrte Sohn eines heidnischen Priesters, dass er als Kind den Satan und sein Gefolge in dem Tempel des Götzen gesehen habe.

Nach der Moseslegende erschien der Dämon in verschiedenen Gestalten. Auch dieses «Proteus-Motiv» ist aus der christlichen Literatur im Zusammenhang mit dem bösen Geist wohlbekannt. Von den kanonischen Schriften spricht die Apokalypse häufig von den verschiedenen Formen des Teufels, aber das reichhaltigste Material bekommt man in dieser Hinsicht in der hagiographischen Literatur. Es sei hier aus der Fülle des Materials nur einiges, was sich unmittelbar auf Ägypten bezieht, erwähnt. Nach der schon erwähnten Antonius-Vita erscheint der Teufel einmal in der Gestalt einer Frau,¹⁹ und ein anderes Mal in derjenigen eines Negerjungen vor dem Einsiedler.²⁰ Anlässlich des zweiten Kampfes im alten heidnischen Grab nahmen die Dämonen die Gestalten von Löwen, Bären, Leoparden, Schlangen und Skorpionen an.²¹ In den koptischen Akten des Apa Jacaron wird ein hundsköpfiger Dämon erwähnt;²² auch in der Geschichte des Makarios werden die Gräber der Zauberer von Dämonen beschützt, die verschiedene Gestalten anhaben. In dem koptischen Zauber erscheint der böse Geist auch als Einhorn.²³

Das Motiv des Erdbebens, das durch den bösen Geist hervorgerufen wird, kommt auch zweimal in unserem Text vor. Auch dazu gibt es eine Parallele in der Antonius-Vita,²⁴ wonach anlässlich des zweiten Kampfes im Grab beim Beginn des Angriffes der Dämonen der Saal erschüttert wurde, und der Einsiedler den Eindruck hatte, als strömten die Dämonen durch die vier eingerissenen Wände auf ihn hinein.²⁵ Es ist ebenso ein gemeinsames Motiv in beiden Legenden, dass der Heilige die Anstrengungen der Dämonen verspottet.²⁶

Die Legende verrät also im ganzen die Einwirkung der christlichen Literatur. Aber es darf hier doch nicht unerwähnt bleiben, dass ein Teil der aufgezählten Motive auf heidnische Antezedenzen zurückgeht. Man fin-

¹⁸ *Vitae Patrum* Pelag. IV. 39. HOPFNER: a. W. 666. Wenn irgendein heidnischer Tempel zu christlicher Kirche umgestaltet wurde, musste es erst exorzisiert werden. Vgl. F. W. DEICHMANN — P. DE LABRIOLLE: «Christianisierung» im Reallexikon für Antike und Christentum Bd. II. 1230. Das Allerheiligste des heidnischen Tempels wurde im allgemeinen nicht in die neue Kirche übernommen, ja es wurde in Medinet Habu auch zerstört. Ibid. 1231. Siehe noch daselbst auch den Artikel «Ägypten» von A. BÖHLIG, 136 f.

¹⁹ MIGNE: PG. XXVI. 848.

²⁰ Ibidem 849. Es ist erwähnenswert, dass das Motiv des Negerjungen auch im griechisch-ägyptischen Zauber vorkommt. PGM. II. 16 (Brit. Mus. CXXI. 3.).

²¹ MIGNE: PG. XXVI. 857.

²² JACOBY: Der hundsköpfige Dämon der Unterwelt. AfRW 1929. 219 ff.

²³ KROPP: a. W. I. 47, III. 62.

²⁴ MIGNE: PG. XXVI. 857. Auch die *Historia Lausiaca* erwähnt das Erdbeben, das durch den Teufel hervorgerufen wird. MIGNE: PG. XXXIV. 1180.

²⁵ Herbeigeführt wurde eine solche Vision wohl auch durch jene Darstellungen, die der Einsiedler auf den Wänden des Grabes sah, und die für ihn nicht mehr verständlich waren.

²⁶ MIGNE: PG. XXVI. 857.

det z. B. eine unserer Geschichte sehr ähnliche Erzählung bei Lukianos,²⁷ bei dem jemand mit ägyptischen Büchern ausgerüstet in ein Haus eindringt, in dem es spukt. Auch hier versucht der Dämon den Eindringling in mancherlei Tiergestalt zu verscheuchen. Entscheidend ist jetzt von dem Gesichtspunkt unserer Untersuchungen aus betrachtet, dass der Text der vorliegenden Legende im Vergleich zu den ähnlichen Schöpfungen der zeitgenössischen christlichen Literatur keine wesentlichen Abweichungen aufweist. Es handelt sich also in diesem Fall nicht um das späte Auftauchen eines heidnischen Mythos. Aber der Dämon heisst doch Bes, und darum versuchen wir in dem folgenden seine in der Legende gespielte Rolle zu erklären. Bes erscheint hier mit solchen Zügen ausgestattet, die in anderen Schöpfungen der christlichen Hagiographie dem Teufel zugeschrieben werden. Man dürfte also wohl mit Recht fragen, ob nicht jene Rolle, die dieser Gott in der altägyptischen Religion gespielt hatte, den Anlass zu einer solchen Einstellung seiner Gestalt bot.

Im 5. Jahrhundert u. Z. war die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung des Niltales schon christlich, aber zweifellos lebte die abergläubische Furcht vor den alten besiegtten Göttern in breiten Schichten noch fort. Mittelalterliche Schilderungen und Aufzeichnungen²⁸ sowie auch die moderne arabische Folklore²⁹ liefern zahlreiche Beispiele dafür, welche eine furchterregende Wirkung die alten ägyptischen Standbilder und Götterdarstellungen ausgeübt hatten. Es mag zur Blütezeit des ägyptischen Einsiedlertums besonders viele ähnliche Geschichten in der mündlichen Überlieferung gegeben haben. Es bevölkerte sich die Wüste und die tote Welt der Ruinen in der aufgeregten Phantasie jener Einsiedler, die von der Welt zurückgezogen ihre Körper in unaufhörlicher Selbstpeinigung marterten, mit einem ganzen Heer der bösen Geister; und gegen diese bösen Geister hatten die Einsiedler und die Mönche Tag und Nacht zu kämpfen. Es wird durch diese Atmosphäre verständlich, dass später auch die furchterregenden Bes-Darstellungen in den Tempeln³⁰ zur Erfindung mancher Greuelgeschichten unter den Bauern Anlass gaben; manche bildeten sich ein, die fürchterliche Gottesgestalt auch ausserhalb des Tempels zu sehen, und diesen Gott hielten sie für die Ursache ihrer Krankheit. Das Fratzensgesicht des Bes und seine furchterregende Gestalt mögen auf alle Fälle den Ausgangspunkt zu seiner Umwandlung zu einem bösen Geist gebildet haben.

²⁷ Philopseudes 31.

²⁸ E. GRAEFE; Das Pyramidenkapitel in Al-Makrīzī's *Hiṭaṭ*. Leipzig, 1911 passim.

²⁹ G. LEGRAIN: *Louqsor sans les pharaons*. Bruxelles—Paris 1914 102 f. (Bes als Gespenst Aitallah.) Die Bes-Statuen gelten auch im heutigen Aegypten häufig als Darstellungen von bösen Geistern. H. A. WINKLER: *Die reitenden Geister der Toten*. Stuttgart 1936 10.

³⁰ J. KRALL: Über den ägyptischen Gott Bes. *Jahrb. der Kunsthistorischen Sammlungen des . . . Kaiserhauses IX.* (1889) 72 ff. Abb. 62, 64, 66. S. MORENZ—J. SCHUBERT: *Der Gott auf der Blume*. Ascona 1954. 57.

Aber es mag einen dennoch überraschen, wie gerade diese unbedeutende Gottheit des ägyptischen Pantheons den Untergang des Heidentums überlebt hatte. Bes gehörte trotz seines hässlichen Äusseren nicht zu den böswilligen ägyptischen Gottheiten,³¹ ja man erwartete von ihm Schutz und Hilfe. Man begegnet in den ägyptischen Texten vielen solchen böartigen und lange Zeit hindurch gefürchteten Gottheiten und Dämonen, die viel bedeutender waren als Bes. (Solche waren z. B. Seth, bis zu einem gewissen Grade Šehmet, der «Totenfresser», die «Boten der Götter» u. a. m.)

Man kann die zunehmende Volkstümlichkeit des Gottes Bes auch schon im Zeitalter des Neuen Reiches beobachten.³² Er erscheint z. B. in einem Grab der Ramessiden-Zeit als die Gottheit des Nils;³³ auf einem späten Sarg aus Hawara stützt er — in der Rolle des Gottes Schu — die Himmelsgöttin Nut,³⁴ und so scheint er hier die Rolle des Welterhalters übernommen zu haben.

Was die Spätentwicklung des Gottes Bes betrifft, bilden ein interessantes Kapitel die sog. «Pantheos»-Göttergestalten mit phantastischem Äusseren, die häufig mit Bes-Kopf erscheinen. An einer Darstellung, die durch B. H. Stricker analysiert wurde,³⁵ hat dieser Gott vier Flügel, vier Arme und zu seinem Leib ist noch ein Vogel-Körper angeknüpft. Das Gesicht ist dasjenige von Bes, aber daneben gibt es noch mehrere Tierköpfe. Die Knie sind diejenigen eines Löwen, während die Füße schakalkopf-förmig sind. Der Gott steht auf einer in den eigenen Schwanz beissenden Schlange (Uroboros), die verschiedene, den Ägyptern verhasste Tiere umschlingt. Man hat es hier wahrscheinlich mit einer Hormerti-Darstellung zu tun, aber der oberste Kopf erinnert doch an Bes. Der Name Bes (Bś) klang ägyptisch ähnlich wie bs «geheime Gestalt»,³⁶ darum ist es verständlich, dass gerade durch diesen Gott das Äussere der alle Macht zusammenfassenden, pantheistischen Gottheiten bestimmt wird. Die phantastische Art dieser Gottheiten lässt sich leicht mit jenem Bericht

³¹ Für Bes siehe J. KRALL: a. W., F. BALLOD: Prolegomena zur Geschichte der zwerghaften Götter in Ägypten. München 1912., A. ERMAN: Die Religion der Ägypter.² Berlin — Leipzig 1934 147 und sonst. H. BONNET: Reallexikon der ägyptischen Religionsgeschichte. Berlin, 1952. 101 ff. s. noch KL. PARLASCA: Zwei ägyptische Bronzen aus dem Heraion von Samos. Mitt. des Deutschen Arch. Inst. Athenische Abt. 68 (1953) 128 ff. B. H. STRICKER: Bes de danser OMRO NR. 37. (1956) F. JESI: Bes initiateur. Aegyptus 38 (1958) 171 ff. Ders.: Bes bifronte e Bes ermafrodito. Aegyptus 43 (1963) 237 ff. u. a. m.

³² In Deir el Médineh erscheint er auf einem Bild, im Schlafzimmer stehend. P. BRUYÈRE: Deir el Médineh (1934 — 35) III. FIFAO 16. Le Caire 1939. Fig. 39.

³³ N. DE G. DAVIES: Two Ramesside Tombs. New York 1927 37, BONNET: Reallexikon 108.

³⁴ BONNET: Reallexikon ibidem.

³⁵ De grote zeeslang. Leiden 1953 5 f. Fig. 1. (Mededelingen en Verhandelingen van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap «Ex Oriente Lux» No. 10.) Zu den pantheistischen Göttern siehe noch R. PETTAZZONI: L'Antiquité Classique 18 (1949) 274 ff. CAMPBELL BONNER: Studies in Magical Amulets chiefly Graeco-Egyptian. London 1950. 8, 15, 156. Pl. XII. W. FR. BISSING: Zur Deutung der «pantheistischen» Besfiguren. ZÄS 75 (1939) 130 ff. Zu einer vierarmigen geflügelten Bes-Darstellung auf einem bronzenen Siegelring aus einem Gräberfeld des Meroe-Zeitalters siehe E. WINTER: AfO 20. (1963) 289.

³⁶ Wb. I. 474.

der Legende verbinden, wonach der böse Geist Bes hintereinander mehrere, verschiedenartige Gestalten annahm. Verwandte Züge wie diese Gottheiten hatte auch der Löwengott Tutu, der besonders im römischen Zeitalter eine wichtige Rolle gespielt hatte, und wie Bes pantheistischer Natur war. Sauneron hat in seiner grundlegenden Studie darauf hingewiesen, dass die Tierköpfe an der Gottheit jene Dämonen veranschaulichen, die ihr im Dienste stehen,³⁷ und dass diese manchmal auch als besondere Gestalten neben ihr erscheinen. Dasselbe gilt wahrscheinlich auch für die Pantheos-Gestalten mit Bes-Köpfen, die auf diese Weise die Rolle des Anführers der Dämonen zu erfüllen scheinen. Wohl hatten auch diese Darstellungen dazu beigetragen, dass die dämonischen Züge des Bes in den Vordergrund gestellt werden konnten.

Vorherrschend war unter den charakteristischen Zügen des Bes auch in der alten und späteren Religion zweifellos seine *apotropäische* Art; der Gott beschützte seine Gläubigen vor jeglichem Übel und schädlichem Einwirken. Aber derartige Gottheiten sind häufig gleichzeitig auch Schadengeister, nur so vermögen sie die drohenden Gefahren abzuwehren.

Die kampfhafte Natur der Bes-artigen Gottheiten offenbart sich schon ziemlich früh. Auskunft erteilen in bezug auf diese anfängliche Periode die Darstellungen der Zauberstäbe aus dem Zeitalter des Mittleren Reiches.³⁸ Später wird derselbe Zug, besonders zu griechisch-römischen Zeiten, immer mehr vorherrschend; unter den Terrakotten findet man zahlreiche mit Schwert, Schild und Panzer bewaffnete³⁹ Bes-Gestalten, die manchmal beinahe schon an Zenturionen erinnern. Ihre Aufgabe war gewiss für ihre Besitzer Schutz zu gewähren und alle Feinde zu vernichten. Es sei hier auch daran erinnert, dass Bes in der Kaiserzeit manchmal auch als Reiter dargestellt wird.⁴⁰ Es ist zwar sehr zweifelhaft, ob sich diese Darstellungsart mit jenem Bericht der Legende verbinden lässt, wonach der Dämon den Laut der Pferde nachmachte, doch ist auch dieser Zug bemerkenswert von dem Gesichtspunkt unserer Untersuchungen aus betrachtet, wegen jener Verbindung, die zwischen dem Pferd und dem Totenglauben besteht.⁴¹

Damit sind wir bei jenem Charakterzug des Gottes Bes und der verwandten Gottheiten angelangt, der ihre Gleichsetzung den bösen Dämonen des Christentums ermöglicht haben mag: das ist nämlich jene Rolle, die diesen Wesen in den Unterwelts- und Jenseitsvorstellungen zufiel. Bes erscheint in

³⁷ S. SAUNERON: La nouveau sphinx composite du Brooklyn Museum . . . JNES 19 (1960) 278 ff. Auf Tutu vgl. noch KÁKOSY: Bulletin du Musée Hongrois des Beaux Arts n^o 24 (1964) 9 ff.

³⁸ BONNET: Reallexikon 103.

³⁹ P. PERDRIZET: Les terres cuites grecques d'Égypte de la Collection Fouquet. Nancy — Paris — Strasbourg 1921 II. pl. XLI. ERMAN: Religion 392 f. Abb. 170.

⁴⁰ W. WEBER: Die ägyptisch-griechischen Terracotten. Textband. Berlin 1914 Abb. 38.

⁴¹ Über die Frage zusammenfassend: L. MALTEN: Das Pferd im Totenglauben. JDAI 29 (1914) 179 ff.

den Gräbern des Neuen Reiches noch als Beschützer des Toten, und derjenige, der ihn belustigt;⁴² aber in dem Totenbuch kommt auch sein furchterregender, dämonischer Aspekt zur Geltung.⁴³ Als Illustration des 28. Kapitels droht dem Toten ein mit Messer bewaffneter Bes-artiger Dämon, der ḥꜣw heisst.⁴⁴ Nach dem Text pflegt dieser denjenigen, die in das Jenseits kommen, das Herz zu rauben. Auch im Kapitel 145 taucht ein dem Bes ähnliches Schreckenwesen, namens Segeb, auf.⁴⁵ Für uns sind jetzt hauptsächlich jene Angaben bedeutend, die Bes als einen *Unterweltsgott* in der Kaiserzeit beleuchten. Wertvolle Belege findet man dafür besonders in den griechisch-ägyptischen magischen Papyri. Es wird in diesen an zwei Stellen geschildert,⁴⁶ wie man von Bes Traumorakel bekommen, oder wie man ihn zum persönlichen Erscheinen zwingen kann. Ein zentrales Thema der neuplatonischen und hermetischen Philosophie bildete die Frage des Eins-Werdens mit der Gottheit; man kann jene Praktiken der Zauberpapyri, die das Erscheinen der Gottheit zu erzwingen versuchen, auch als ein Vulgarisieren und Anpassen dieser Lehren an den Volksglauben ansehen.

Der eine Text schreibt ein Gebet an die *untergehende Sonne* vor; sie soll darum gebeten werden, dass sie die weissagende Gottheit vorführe.⁴⁷ Diese Tatsache spricht dafür, dass zu dieser Zeit als Aufenthaltsort des Bes die Unterwelt galt.⁴⁸ Ähnlich wie andere Unterweltsgötter, z. B. Anubis⁴⁹ und Thoth-Hermes,⁵⁰ so erscheint manchmal auch Bes mit dem Schlüssel der Unterwelt in der Hand.⁵¹ Interessant beleuchtet wird seine sepulchrale und mit dem Jenseits verbundene Rolle sowie auch seine Verbindung mit dem frühen Christentum durch einen Fund: an einem mit Kreuz versehenen Halsband, das aus einem Grab zum Vorschein kam, hing eine kleine Bes-Statue.⁵²

⁴² Siehe z. B. N. DE GARIS DAVIES: a. W. pl. XXXI. TH. M. DAVIS: The Tomb of Jouiia and Touyou. London, 1907 33 ff., Fig. 2–3 u. a. m.

⁴³ Über die Rolle des Gottes Bes und der verwandten Gottheiten im Jenseits vgl. zusammenfassend: KRALL: a. W. 86 f., Bonnet: Reallexikon 109.

⁴⁴ E. NAVILLE: Das ägyptische Totenbuch. Berlin. 1886 Taf. XXXIX.

⁴⁵ E. NAVILLE: Taf. XLVII. Die furchterregende und dabei doch humoristische Eigenart des Bes wird durch die Tatsache am besten beleuchtet, dass unter den Kindern er der Popanz gewesen zu sein scheint. Nach einer Darstellung verkleidete sich ein Junge im Spiel mit seinen Kamaraden als ein Bes-artiger Dämon. (WRESZINSKI: Atlas III. 27. BONNET: Reallexikon 109.)

⁴⁶ PGM. II. 10 f. (Pap. Gr. Brit. Mus. CXXI), PGM. II. 48 f. (Pap. CXXII. Brit. Mus.) Siehe noch TH. HOPFNER: Oriental-Religionsgeschichtliches aus den griechischen Zauberpapyri Ägyptens. AO 3 (1931) 328 f.; ders.: Griechisch-ägyptischer Offenbarungszauber II. Leipzig 1924 §. 185 ff.

⁴⁷ PGM. II. 49. Nach der feierlichen Anrede betet der Zauberer mit den folgenden Worten an den Sonnengott: ἦν γαίης κενθμῶνα μόλης, νεκῶν ἐν χώρῳ, πέμψον μάντιν ἐξ ἀδύτων τὸν ἀληθέα, λίτομαι σε . . . κύριε ἔκτεμψον τὸν ἱερὸν δαίμονα . . .

⁴⁸ K. PREISENDANZ: Akephalos der kopflose Gott. (Beihefte zum «Alten Orient» Heft 8). Leipzig 1926, 45. Es ist nicht zu verstehen, warum es PGM. II. 48 Anm. 3 heisst: Bes sollte aus seiner himmlischen Wohnung gerufen werden.

⁴⁹ S. MORENZ: Anubis mit dem Schlüssel. Wiss. Zeitschrift der Karl Marx Universität Leipzig III. 1953–54. 79 ff.

⁵⁰ ERMAN: Religion 409.

⁵¹ MORENZ: a. W. 82.

⁵² R. ENGELBACH: Introduction to Egyptian Archaeology.² Cairo 1961. 282. Zu der Anwesenheit des Bes in christlichen Gräbern von Naga-ed Der siehe noch J. E. QUI-

Man ersieht also aus dem Vorangehenden, dass zu römischer Zeit die unterweltliche, dämonische Art dieser gutmütigen und zugleich fürchterlichen Gottheit in den Vordergrund gerückt wurde. Damit hängt wohl auch seine Rolle als Orakelgott zusammen, denn zu dieser Zeit hatten ja die Unterweltsgeister und die Toten eine grosse Bedeutung in dem Weissagen.

Im 4. Jahrhundert u. Z. war in Abydos, in der einst dem Osiris heiligen Stadt, schon Bes die mächtigste Gottheit. Ammianus Marcellinus berichtet folgendermassen über die Tätigkeit des Bes-Orakels:⁵³ *XIX. 12, 3—5: materiam autem in infinitum quaestionibus extendendis dedit occasio vilis et parva: oppidum est Abydum in Thebaidis partis situm extremo. Hic Besae dei localiter appellati oraculum quondam futura pandebat priscis circumiacentium regionum caerimoniis solitum coli. Et quoniam quidam praesentes, pars per alios desiderium indice missa scriptura supplicationibus espressa conceptis, consultata nominum scitabantur, chartulae sive membranae, continentes quae petebantur, post data quoque responsa interdum remanebant in fano. Ex his aliqua ad imperatorem maligne sunt missa . . .* Man erbat auch schriftlich das Orakel von der Gottheit. Von den eingereichten Zetteln wurden einige zu dem Herrscher geschickt, und da es aus diesen hervorging, dass es Leute gegeben hat, die auch in bezug auf die kaiserliche Macht Fragen an die Gottheit gestellt hatten, wurde eine Kommission nach Abydos geschickt, um die Untersuchung einzuleiten. Es wurden dabei vornehme Persönlichkeiten, unter anderen auch ein ehemaliger Präfekt von Ägypten in die Angelegenheit verwickelt.

Auch anlässlich der Ausgrabungen des Sarapieions in Memphis kam eine Bes-Statue zum Vorschein, die heute im Louvre aufbewahrt wird,⁵⁴ möglicherweise hatte er auch hier, ebenso wie Apis, Orakel; dabei mag er auch als Fruchtbarkeitsdämon gegolten haben.

Der früher unbedeutende Bes scheint also am Ende der Kaiserzeit auch schon die grössten Gottheiten Ägyptens in den Hintergrund verdrängt zu haben. Die in der Spätzeit charakteristischen Züge der Gottheit Bes mögen also

BELL: Excavations at Saqqara (1905—6) 14. In der allerspätsten Epoche des Synkretismus wurde Bes auch Christus gleichgesetzt. KROPP: a. W. III. 10. Taf. 3. Die nahe Verbindung des Bes und des Horuskindes mag zu dieser sonst nicht leicht verständlichen Gleichsetzung beigetragen haben. Auf den Horus-Tafeln erscheint z. B. über dem Harpokrates, der die wilden Tiere unschädlich macht, meistens ein Bes-Kopf. Dagegen erhebt sich an einigen Gemmen Harpokrates aus dem Kopf des Bes, oder aus seinem kopflosen Rumpf. A. A. BARB: Diva Matrix. Journal of the Warburg and Courtauld Institutes XVI. 1953. Pl. 31 d. und 33 d. Zu ihrer Verbindung siehe noch CAMPBELL BONNER: a. W. 24 f. Pl. II. fig. 30—32. Einige Terrakotten zeigen Horus-Kind-ähnliche Bes-Säuglinge. PERDRIZET: a. W. II. pl. XLII, XLIV. Vgl. noch vol. I. 15.

⁵³ Zu der Rolle des Bes in Abydos siehe noch: P. PERDRIZET—G. LEFEBVRE: Les graffites grecs du Memnonion d'Abydos. Nancy 1919 passim.

⁵⁴ J. PH. LAUER—CH. PICARD: Les statues Ptolémaïques du Sarapieion de Memphis. Paris 1955. 9. fig. 5. Über die Bes-Kammern in Saqqara, die offenbar mit Fruchtbarkeitsriten zusammenhängen, siehe noch J. E. Quibell: Saqqara (1905—1906) pp. 12—14 pls. I. XXVI. XXXIII und Porter-Moss: III. 129. Auch Privatkult des Bes ist im römischzeitlichen Ägypten belegt. L. CASTIGLIONE: Acta Ant. Hung. 5 (1957) 220 ff.

dazu beigetragen haben, dass er als ein böser Geist aufgefasst wurde. Aber dieselben Züge wurden in unserer Legende auch noch in christlichem Sinne umgedeutet. Beachtet man die koptischen Zaubertexte, so springt der Unterschied ins Auge. Die magische Literatur folgte im grossen und ganzen der heidnischen Tradition; es kamen in ihr Isis und Horus, ja auch noch die übrigen Götter im Sinne ihrer alten Mythen vor.⁵⁵ Aber die ägyptische Religion hatte keinen Bes-Mythos. Darum war er mehr Umwandlungen und Umdeutungen ausgesetzt als die grossen Götter. Der grösste Teil dieser Umwandlungen fiel natürlich noch auf das heidnische Zeitalter. Der Verfasser unserer koptischen Legende hat nicht ohne Grund jenen schützenden Gott Bes, der in dem Volksglauben sowieso dämonische und unterweltliche Züge besass, zu einem bösen Geist gemacht.

⁵⁵ Z. B. Amon und Thoth. W. H. WORRELL: *Coptic Magical and Medical Texts Orientalia IV.* 1935 1 ff.

ZWEI PANNONISCHE ORTSNAMEN

1. *SOPIANA*

Die Deutung des antiken Namens des heutigen Pécs — *Sopiana* wurde bisher dreimal versucht.

1. Dem hinterlassenen Werk¹ A. Mayers nach gehört er zu den illyrischen Ortsnamen. Aber er gibt kein Beweismaterial an, und er vermag keinen gleichnamigen illyrischen Ort zu benennen, daher sind seine Ausführungen als unbewiesen zu betrachten.

2. A. Radnóti beruft sich auf andere pannonische Analogien, und weist auf die Möglichkeit hin, dass der Name *Sopiana* ebenso wie *Antiana*, *Tricciana*, *Floriana* usw. aus einem römischen oder romanisierten Personennamen stammen kann, und als Grossgrundbesitzzentrum den Namen seines ehemaligen Eigentümers bewahrte.² T. Nagy hält diese Hypothese für stichhaltig, und zum Beweis beruft er sich auf die Feststellung mehrerer hervorragender Sprachforscher,³ deren Auffassung von A. Holder am bündigsten zusammengefasst wurde, als er über das in dem Ortsnamen befindliche Adjektivsuffix feststellt, dass «es sich in den meisten Fällen an einen Personennamen anschliesst, und der Ortsname bezeichnet eine nach dem Begründer oder dem Eigentümer benannte Niederlassung».⁴ In die Kategorie Holders («in den meisten Fällen») würde sich der Ortsname in dem Falle einreihen lassen, wenn der angeblich in dem Stamme *sop-* steckende Personennamen irgendwo aufzufinden oder irgendwie zu erklären wäre. Das Suffix *-an-* diente ursprünglich zur Bildung der Adjektive aus Ortsnamen (*Neopolitanus*, *Abellanus*; *Antium* — *Antianus*, *Cardia* — *Cardianus* usw.), während die Bildung aus Personennamen nur später eine Verbreitung fand.⁵ So ist der Rückschluss aus dem Suffix wohl als unbewiesen zu betrachten. Es ist besonders schwer diese Ansicht anzunehmen, wenn wir den Ortsnamen *Sopia*, *Supia* in Gallien in Betracht ziehen, der seinen Namen zweifelsohne dem an ihm vorüberfliessenden Flüsschen *Sopia*, heute *Suippe* zu verdanken hat.

¹ A. MAYER: Die Sprache der alten Illyrier. Wien 1959. I. 318.

² A. RADNÓTI: MTA Társ. Tört. Oszt. Közl. 1954. 492.

³ T. NAGY: a. a. O. 511.

⁴ A. HOLDER: Alt-Celtischer Sprachschatz. Leipzig 1891. I. 21.

⁵ STOLZ — SCHMALZ — LEUMANN — HOFMANN: Lateinische Grammatik. München 1928. 223.

3. Auch unter den Anhängern der dritten Auffassung, die diesen Ortsnamen aus dem keltischen abzuleiten trachten, gibt es welche, die in dem Stamm *sop-* einen Personennamen suchen. Laut L. Juhász wurde die Stadt nach einem keltischen Heeresführer *Sopianus* benannt, der über die hiesigen Kolonien herrschte.⁶ Mit unverhohlenem Bedenken nimmt O. Szónyi diese Hypothese mangels einer besseren an.⁷ L. Juhász bezeichnet seine Quelle nicht, und seine Erklärung kann nur als eine willkürliche Annahme gelten.

A. Holder gliedert den Ortsnamen *Sopianae* samt seinen literarischen Vorkommen ohne jede Begründung in sein Werk ein.⁸

Der keltischen Herkunft bekannte sich E. Mészáros,⁹ der das Problem in einem ganz anderen Lichte sah. Auf Grund der Werke von A. Holder und in PWRE¹⁰ fand er den Fluss *Suippe* in Frankreich, dessen lateinischer Name *Sopia* — mit den Varianten *Supia*, *Suppia*, *Subnis* — war. Wie es aber erwähnt wurde, besass auch eine in der Nähe des Flusses liegende Niederlassung diesen Namen. Auf Grund dessen hält es E. Mészáros für eine unbestreitbare Tatsache, dass eine keltische Gruppe, die irgendeinmal am Flusse *Suippe* in dem ehemaligen Gallien sesshaft gewesen war, in das Gebiet von Pécs ankam. In der Geschichte der Völker gilt es als eine sich unzähligemal wiederholende Tatsache, dass sie im Laufe ihrer Wanderungen den Namen der alten Heimat oder Landschaft in ihr neues Vaterland mitnehmen. Im Falle von *Sopianae* geschah es, «dass eine des näheren unbekannte Volksgruppe, die sich am Ende ihrer Wanderung auf dem Gebiete des heutigen Pécs oder wenigstens in seiner nächsten Nähe niederliess, dem Ort den Namen *Suppia* bzw. *Sopia* gab».¹¹ Diese Auffassung ist auch heute verbreitet. J. Kolta betrachtet sie als eine der meist annehmbaren Erklärungen.¹²

E. Mészáros, um die Glaubwürdigkeit seiner Feststellung zu bekräftigen, ergänzt noch seine Hypothese mit der Behauptung, dass ein Teil der sich in der Umgebung von Pécs niedergelassenen Kelten später auf Gebiete jenseits der Drau weiterzog, und sich dort in der Gegend des heutigen Dorfes *Sopje* ansiedelte, dessen vermutlichen Namen im Altertum er auch als *Sopia* angibt. In Bezug auf diese Annahme sind die Zweifel von J. Fludorovits, der Rezensentin von E. Mészáros' Buch berechtigt; sie betont, dass man — um seine Hypothesen annehmbar zu machen — historischer Beweise bedarf.¹³

E. Mészáros' Forschungen haben es bewiesen, dass dieser Ortsname auch in anderen keltischen Sprachgebieten vorkommt. Leider brach er seine Erwägungen bei dieser Feststellung ab, und befasste sich im weiteren nicht mit

⁶ L. JUHÁSZ: Baranya vm. és Pécs város régészete. Pécs 1894. 30.

⁷ O. SZÓNYI: A pécsi ősker. sírkamra. Bp. 1907. 51.

⁸ A. HOLDER: a. a. O. II. 1616.

⁹ E. MÉSZÁROS: Sopianae. Pécs 1936.

¹⁰ PWRE, Stuttgart, 1929. II. III. 1942. 1107.

¹¹ E. MÉSZÁROS: a. a. O. 6.

¹² J. KOLTA: Pécsi kalauz. Pécs 1957. 17.

¹³ J. FLUDOROVITS: EPhK 1936. 388.

der Bemerkung von A. Holders Werk, seiner wichtigsten Quelle, dass nämlich der Stamm **sop-*, **sup-* auch im Namen des irischen Flusses *Succae* nachweisbar ist. Nimmt man diese Tatsache in Betracht, so kann man die Behauptung, dass die keltischen Bewohner von *Sopianae* vom Flusse *Suippe* ins Mecsek-Gebiet wanderten, und den Namen ihres früheren Wohnortes mit sich dorthin übertrugen, kaum wagen.

Aber es ist auch gar nicht nötig, bei der Erklärung des Ortsnamens solche gezwungenen Annahmen zu wagen. Den Regeln der keltischen Namensgebung entspricht es viel eher, wenn man im Falle der Identität oder Ähnlichkeit mehrerer Ortsnamen die Ähnlichkeit der Umgebungen voraussetzt.

Die im Namen *Sopianae* befindliche Wurzel **sop-* kommt in den europäischen keltischen Siedlungsgebieten oft vor. Neben dem von A. Holder erwähnten Flusse *Succae* gab es laut C. Marstrander auch einen *Soppr* genannten Fluss in Irland.¹⁴

Der Stamm war besonders auf dem rechten Rheinufer, im heutigen Württemberg, auf dem Gebiete der einstigen *decumates agri* verbreitet. Das ist das uralte Siedlungsgebiet der Kelten. Von hier brachen die Helvetii und die Boii auf, und das Gebiet verblieb noch keltisch bevölkert, als das Rheintal schon längst germanisiert wurde, und die germanischen Stämme bereits zur Donau vorstießen.¹⁵

Die Ortsnamen dieses Gebietes sind meist keltischen Ursprunges. Auch der Stamm **sop-* findet sich in vielen heutigen Ortsnamen vor: *Soppach*, *Soppede*, *Riedsoppen*, *Mädlesoppen*, *Schluchtsoppen*, *Langersoppen*, *Dürrsoppen*, *Soppenbach*¹⁶ usw. Teils weil die Namen heute kleinere Niederlassungen bzw. Fluren bezeichnen, teils weil die Zeichen der Romanisierung bei den fast rein keltischen Bewohnern kaum bemerkenswert waren, liegt nur eine Angabe aus der römischen Zeit vor: *Suppius*.¹⁷ Die Ortsangabe 'zuo der durren Suppen' stammt aus dem XVI. Jh., und aus der gleichen Zeit kennen wir zwei Ortsnamen vom französischen Grenzgebiet: *Saupin* und *Seippe*.¹⁸

Aus Frankreich haben wir mehrere Angaben aus dem VII. Jh. und aus etwas späteren Zeiten betreffs des lateinischen Namens des Flusses *Suippe* bzw. *Suippes*: *Sopia*, *Supia*, *Suppia*, *Subnis*.¹⁹

Der Umstand, dass dieses Wort im ältesten keltischen Siedlungsgebiet am meisten verbreitet ist, beweist, dass es dem ältesten Wortschatz angehört;

¹⁴ C. MARSTRANDER: Bidrag til det norske Sprogs Historie i Irland. Oslo 1942. 75., 126.

¹⁵ U. KAHRSTEDT: Die Kelten in den *decumates agri*. Nachrichten v. d. Gesellschaft der Wiss. Göttingen, 1933. 270. W. RADIG: Die Siedlungstypen in Deutschland. Berlin 1955. 52., 116. W. PFLUG: Media in Germania. Giessen 1956. 94. E. NORDEN: Alt-Germanien. Leipzig 1934. 212.

¹⁶ M. R. BUCK: Oberdeutsches Flurnamenbuch, Bayreuth 1931. 261.

¹⁷ M. GOTTSCHALD: Deutsche Namenkunde. München 1932. 381.

¹⁸ BUCK: a. a. O. 261.

¹⁹ PWRE a. a. O. 1107.

während der Umstand, dass es als Ortsname beinahe in allen keltischen Sprachgebieten auffindbar ist, darauf hinweist, dass es zum gemeinkeltischen Wortschatz gehört.

Herkunft und Geschichte des Wortes **sop*- sind noch unklar. Lautform und Bedeutung geben Grund zu vielerlei Annahmen.²⁰

Die Bedeutung des Wortes **sop*- in den württembergischen Ortsnamen ist 'Sumpf, Morast, sumpfiges Gebiet', in mehreren keltischen Gebieten bedeutet es 'Gras-, Binsen-, Rohrbüschel'.

Der Prozess der Bedeutungswandel dieses Wortes wird durch die irische Sprache anschaulich illustriert, in der das Wort sowohl in der ältesten bekannten Epoche als auch heute in unveränderter Form vorliegt.

Im grossen Epos der Iren, dem *Táin Bó Cualnge* kommt das Wort zweimal in der Form *suipp* vor.²¹ In beiden Fällen bedeutet es 'Grasbüschel', und steht im Nominativ Pluralis. Die älteste Handschrift des Werkes stammt aus dem XI. Jh., aber seine Sprache widerspiegelt um mehrere Jahrhunderte ältere Umstände. Die ursprüngliche Form des Wortes lautete **sop*, **sopu*. Im Plural ging unter dem Einfluss des ursprünglichen -*u*- im Stamm eine regressive Assimilation vor sich.

Das Wort kommt auch in anderen, aus der mittellirischen Epoche stammenden Werken vor, z. B. im *Leabchar Branach*, im *Leabchar Gabhala*, in der *Lebensgeschichte des Hl. Patrik* usw.²² und existiert auch im heutigen Irischen in der unveränderten Form *sop*, hier aber bezeichnet es neben der ursprünglichen Bedeutung auch 'Haarbüschel, Nebelstreifen'.²³

Nach alledem stellt sich die Frage von selbst, warum wohl die Kelten ihrer Niederlassung am Mecsek diesen Namen gegeben hatten. Bei der Beschreibung der ursprünglichen Landschaft der Stadt Pécs erwähnt L. Juhász, dass es einen grossen See auf der Ebene unter dem Mecsek Gebirge gegeben hatte, und «selbst die Berghänge waren wegen der unzähligen reichen Quellen allzu nass und sumpfig gewesen».²⁴ O. Szőnyi bestätigt dasselbe: «Zu Füssen des Mecsek Gebirges gab es eine nach Osten und Westen hin offene Ebene, die einst einen Wasserbecken gebildet hatte.»²⁵ Laut Z. Tóth Szabó «war die Ebene von Pécs in der präkeltischen Periode ein undurchdringliches Sumpfgebiet».²⁶

²⁰ Reiches Material bei: J. POKORNY: Indg. Etymol. Wörterbuch. Bern 1959. 956., 1052. E. G. QUIN: Contributions to a Dictionary of the Irish Language. Dublin 1953. 346. M. VASMER: Russisches Etym. Wörterbuch. Heidelberg 1955. III. 356. JOHANNENSON: Isländisches etym. Wörterbuch. Bern 1958. 101. A. NOREEN: Geschichte der nordischen Sprachen. Strassburg 1913. 100. The Oxford Dictionary. X. 434.

²¹ E. WINDISCH: Die altirische Heldensage, *Táin Bó Cualnge*. Leipzig 1905. 671/4709., 876/6039.

²² E. G. QUIN: a. a. O. 346.

²³ Learner's Irish - English Dictionary. Dublin 1958. 133. T. DE BHALDRAITHE: English - Irish Dictionary. Baile Átha Cliath 1959. 851.

²⁴ L. JUHÁSZ: a. a. O. 12.

²⁵ O. SZŐNYI: a. a. O. 3.

²⁶ Z. TÓTH SZABÓ: Pannonia. 1940. 303.

Wie bereits erwähnt, berücksichtigten die Kelten bei der Benennung der Ortschaften die charakteristischen Eigenschaften der Landschaft. Es versteht sich von selbst, dass auch die keltische Bevölkerung, die sich auf den aus den Sümpfen hervorragenden Bergrücken niederliess, ebenso verfuhr.

In Bezug auf die adjektivischen und pluralen Formen des Wortes gaben L. Juhász²⁷ und E. Mészáros²⁸ ausreichende Erklärungen. Im Gegensatz zu den Namen anderer ähnlichen Niederlassungen ist das Wort in diesem Falle mit dem Adjektivsuffix *-an-* weitergebildet und steht in der Mehrzahl, da es als Attributiv eines später endgültig weggefallenen Wortes wie *coloniae, civitates, terrae* usw. diente. So weist der Ortsname auf die verstreute Lage der Niederlassung hin.

Aus dem Plural und dem Fakt, dass uns keine anderen Ortsnamen aus der Umgebung bekannt sind, zog L. Juhász die Schlussfolgerung, dass *Sopiunae* eine zusammenfassende Benennung der Niederlassungen zwischen den heutigen Orten Pécs und Boda war.²⁹ E. Mészáros geht mit grösserer Umsicht vor. Er weist darauf hin, dass «die Kelten auch im Gebiet unseres Landes in Gehöft-ähnlichen Niederlassungen wohnten, so wurde die Gesamtheit der Gehöfte um *Sopia* so benannt».³⁰ Falls das der wahre Grund wäre, so hätten sämtliche pannonischen Niederlassungen keltischen Ursprunges plurale Formen in ihren Namen. Dessen Gegenteil kann aber fast in jedem Falle bewiesen werden.

Eher ist es wahrscheinlich, dass die Kelten ihre Hütten auf die aus den Sümpfen hervorragenden Berghänge bauten. Archäologische Funde weisen darauf hin, dass es auf den Makár- und Jakab-Bergen keltische Niederlassungen gab; diese Funde geben uns sogar einen gewissen Grund zu der Annahme, dass es -- den in Irland in den Sümpfen gebauten künstlichen Inseln gleich -- auch hier sogenannte *crannogs* gab. Die endgültige Antwort auf diese Frage kann nur mittels weiterer Forschungen gegeben werden.

Die römische Bewohnerschaft siedelte sich zum Teil -- wie in so manchen anderen Orten -- in den keltischen Niederlassungen an, teils bebaute sie die übrigen milden Abhänge, und benannte diese, derzeit noch nicht zusammenhängenden Niederlassungen mit der romanisierten Form *Sopianae* des ursprünglichen keltischen Namens **sop(u)*.

Das Wort **sop-* also bedeutete das gleiche wie im Gebiet der *decumates agri*: 'Moor, Sumpf'.

Das Wort 'Moor' kommt auch im Namen anderer pannonischer Städte vor. Laut A. Mayer hat der Stamm der pannonischen Ortsnamen *Mursa* und *Mursella* die gleiche Bedeutung, und beide können auf die i.-e. Wurzel **merg-* 'verfaulen' zurückgeführt werden.

²⁷ L. JUHÁSZ: a. a. O. 29.

²⁸ E. MÉSZÁROS: a. a. O. 12.

²⁹ L. JUHÁSZ: a. a. O. 29.

³⁰ E. MÉSZÁROS: a. a. O. 12.

2. SCARABANTIA

Von den Ortsnamen Pannoniens ist der antike Name von Sopron, *Scarabantia* einer der strittigsten und bis heute mit einer annehmbaren Erklärung nicht klargestellten Stadtnamen. Die Frage ist nicht nur an sich selbst interessant, sondern von ihrer Lösung sind auch wichtige Ergebnisse in Bezug auf die illyrisch—keltisch—römischen Siedlungsverhältnisse zu erwarten.

Dieser Ortsname ist sowohl aus literarischen Quellen als auch aus Inschriften bekannt. In den literarischen Quellen lässt sich die erste Erwähnung um die Mitte des ersten Jahrhunderts bei Plinius finden: *Noricis iunguntur lacus Pelso deserta Boiorum, iam tamen colonia Divi Claudia Savaria et oppido Scarabantia Iulia habitantur.*³¹ Die Form *Scarabuntia* in den Kodizes von Leyden und Paris kann nur als ein Abschreibungsfehler gelten.

Bei Ptolemaios kommen neben der Form *Σκαραβαντία* auch *Σαοραβαντία* und *Σαχαβαντία* vor.³² Diese Varianten, die zu so vielen Missverständnissen Anlass gaben, sind zweifelsohne auf eine Verlesung zurückzuführen.

Im *It. Ant.* sind neben der Form *Scarabantia* eine grosse Anzahl von Varianten (*Scarabancia*, *Searabantia*, *Sarabantia*, *Scauarantia* usw.) vorzufinden.³³ Es unterliegt keinem Zweifel, dass diese als Schreibfehler zu betrachten sind.

Auf der Tabula Peutingeriana ist *Scarabantio* zu lesen.³⁴ Es ist wahrscheinlich, dass auch diese Form zu jenen zahlreichen Abweichungen gehört, bei denen der Verfasser der Tabula die klassischen Traditionen nicht in Betracht zog.³⁵

In der *Notitia Dignitatum occ.* wird *Scarabantia* angegeben.³⁶

In der Passio St. Quirini findet man den Ortsnamen in folgenden adjektivischen Formen: *Scarabatensis, in basilica ad Scarabelensem portam.*³⁷

In den Inschriften kommen in den meisten Fällen die Verkürzungen *Scarb.* oder *Scarant.* vor, aber auch die Form *Scarabantia* ist vorzufinden.³⁸ Die literarischen Quellen bedienen sich grösstenteils der Form *Scarabantia*, während der Name der Siedlung in den Inschriften in der Form *Scarabantia* geschrieben wurde. Dieselbe Erscheinung ist auch in den Frauennamen zu erfahren, die mit diesen Ortsnamen in Verbindung stehen. Auf der einen Inschrift findet man *L. F. Scarantina*,³⁹ auf der anderen *Scarantilla*.⁴⁰

³¹ C. Plinius Secundus: *Naturalis Historia*. III. 24. Lipsiae 1906. 292.

³² Claudius Ptolemaios: *Geographia*. Ed. C. MÜLLER. Paris 1883. 294.

³³ Antonini Augusti *Itineraria provinciarum et maritimum*. O. CUNTZ: *Itineraria Romana*. Lipsiae 1929. I. 233/6., 261/6., 262/7., 266/5.

³⁴ Tabula Peutingeriana. V. 2. K. MILLER: *Itineraria Romana*. Stuttgart 1916. 456.

³⁵ K. MILLER: *Die Weltkarte des Castorius*. Ravensburg 1882. 62.

³⁶ *Notitia Dignitatum occ.* 34. A. HOLDER: *Alt-Celtischer Sprachschatz*. Leipzig 1896—1913. II. 1393.

³⁷ Passio St. Quirini, RUINART: *Acta Martyrum*. Ratisbonae 1859. 521—524.

³⁸ CIL III. 4192., 4243., 4249., 14366. VI. 32. 629—2398.

³⁹ CIL III. 4201.

⁴⁰ CIL III. 10 946.

Ehe wir die Deutungsversuche besprechen, die bisher die Erschliessung der Etymologie dieses Ortsnamens erstrebten, haben wir vorerst die folgenden Fragen zu behandeln: 1. Ist Scarabantia mit dem heutigen Sopron identisch? 2. Warum bezeichnet Plinius die Stadt mit dem Beinamen *Iulia*, während diese überall das Attribut *Flavia* bekommt?

Auf beide Fragen gibt K. Mollay eine befriedigende Antwort. Bei der ersten weist er auf die mutmassliche Quelle von Plinius hin, auf die von Agrippa, dem Stiefsohn von Augustus begonnene und von dessen Schwester Polla beendete Weltkarte, auf welcher der Beiname *Iulia* naturgemäss vorkam. Diesem folgte das Attribut *Flavia* im Zeitalter der Flavier als *Scarabantia* zum Munizipium geworden war.⁴¹

Hinsichtlich der anderen Frage weist K. Mollay nach, dass der Stadtname als eine an einem bestimmten Ort haftende Benennung seit dem IX. Jh. aus dem allgemeinen Bewusstsein verschwand, und nur von den literarischen Werken bewahrt wurde.

Die Frage der Identifizierung tauchte zuerst im XVI. Jh. auf, als dieser Ortsname von den Humanisten in den verschiedenen Kodizes in verschiedener Form wiedergefunden wurde. Mit diesem Problem befasste sich vor allem der österreichische Humanist Wolfgangus Lazius, nach dessen Meinung der Name *Scarabantia* Sopron und die Form *Σαξαβαντία* bei Ptolemaios Csepreg bezeichneten.⁴² Später bezieht er in einem anderen Werk den Ortsnamen *Scarabantia* auf Körmend.⁴³

Vom grossen Ansehen Lazius' werden auch andere Schriftsteller wie M. Istvánffy und V. Zeiler dazu bewogen, diese Auffassung anzunehmen. Noch im XVII. Jh. wird auch Csepreg von Ch. Cellarius mit *Σαξαβαντία* identifiziert.⁴⁴

Die Entfernungsdaten, die im *It. Ant.* zu finden sind, ferner die zum Vorschein kommenden Inschriften, vor allem aber die Ausgrabungen in der Umgebung Soprons bewiesen die Unbestreitbarkeit der Tatsache, dass *Scarabantia* und Sopron identisch sind.

Die Versuche, eine Etymologie dieses Ortsnamens zu geben, nahmen ihren Anfang in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. Infolge der Ausgrabungen in Sopron nahmen sie in den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts zu, ohne aber zu einem annehmbaren Ergebnis zu führen.

In unserem Jahrhundert lenkte der Aufschwung des Studiums der illyrischen Sprache auch die Aufmerksamkeit ausländischer Forscher auf diesen interessanten Ortsnamen, aber auch ihre Deutungsversuche führten nur zu Teilerfolgen.

⁴¹ K. MOLLAY: AECO 1943–44. 196.

⁴² W. LAZIUS: Vienna Austriae. Basileae 1546. 11., 46.

⁴³ W. LAZIUS: Regni Francorum orientalis sive Austriae ad Danubium alterius Descriptio. E. OBERHUMMER—R. F. WISNER. Innsbruck 1906. 3. Tafel.

⁴⁴ K. MOLLAY: a. a. O. 206.

Der erste Versuch, diesen Ortsnamen zu deuten, erschien in einem Zeitungsartikel. Nach dem anonymen Verfasser wäre *Scarabantia* ein deutsches Wort und liesse sich in drei Teile zergliedern: *Scara-bant-ia*. Lässt man davon die lateinische Endung *-ia* weg, so bleibt das deutsche Wort *Scharenbant*. Das erste Glied des zusammengesetzten Wortes ist allgemein bekannt, der zweite Teil *-bant* bedeutet 'Grenze'. Der ganze Name bedeutet also 'Militär-grenze'. Aus diesem deutschen Wort stammt auch der Name Sopron: *Scharabant* > *Scharban* > *Schabran* > *Schapran* > *Sopron*.⁴⁵

Die groben Fehler, die vom Verfasser des Artikels begangen wurden, erwies K. Mollay. Er erklärte, dass die Lautentwicklung ahd. *sk-* > mhd. *sch-* erst im XIII. Jh. abgeschlossen wurde, der Ortsname Sopron ist dagegen schon aus der Mitte des XII. Jahrhunderts bekannt. Das Wort *bant* besass nie die Bedeutung 'Grenze'.⁴⁶

Auf die Möglichkeit des keltischen Ursprungs wurde die Aufmerksamkeit der Forscher durch die zur Latènekultur gehörenden Gräber auf dem Bécsidomb gelenkt.⁴⁷ Die etymologische Deutung in solcher Richtung wurde von F. Salamon in seinem Werk «Die Geschichte von Budapest» versucht.⁴⁸ Um den keltischen Ursprung des Ortsnamens Aquincum beweisen zu können, studierte er eingehend die ersten grundlegenden Werke der eben damals aufblühenden keltischen Philologie. Auf Grund dieser Quellen versuchte er mehrere Ortsnamen angeblich keltischen Ursprungs, unter anderen auch *Scarabantia* zu deuten: «Wollten wir diesen Ortsnamen mit der Hilfe der heutigen irischen Sprache erklären, bedeutet *Sgarbh* 'Furt, seichter Ort'. Das Wort *an* kommt in mehreren Flussnamen, z. B. auch in dem von *Anio* vor. *Sgarbhan* bedeutet also 'seichtes Wasser', was den damaligen Verhältnissen Soprons insbesondere entspricht. Zwischen Milano und Torino bestand in den römischen Zeiten eine Station *Carabantia*. Also sie lag in Gallia Cisalpina. Hier wurde der Anfangsbuchstabe von den Römern zwecks des Wohlklanges weggelassen.»⁴⁹

F. Salamons Deutung wurde lange Zeit für die meisten Forscher massgebend. Die Erklärung ist geistreich, und gründet sich bis zu einem gewissen Grade auf reale sprachliche Tatsachen. In der irischen Sprache ist in der Tat ein Wort *scairb* vorhanden. In dem uns zur Verfügung stehenden Material kommt es zuerst in dem Werk *Acallam na Senóireh*⁵⁰ vor. Dieses Wort geht allerdings auf eine Form *scarb* zurück. Das wurde im Alt- und Mittelirischen im Sinn von 'Furt' gebraucht.⁵¹ Das Wort *scairb* im Neuirischen hat die

⁴⁵ Harmonia. 1863. XI. 15.

⁴⁶ K. MOLLAY: a. a. O. 209–10.

⁴⁷ F. PULSZKY: AÉ 1880. 153–155.; I. PAUR: AÉ 1886. 92–114.

⁴⁸ Budapest, 1878. 118.

⁴⁹ A. a. O. 118.

⁵⁰ STOKES: Irische Texte. Leipzig 1880–1909. IV. 2655.

⁵¹ E. G. QUIN: Contributions to a Dictionary of the Irish Language. Dublin 1953. 71.

Bedeutung 'Fels, felsige Erdzunge, felsiger Furt' eines Flusses. Auch in einigen Ortsnamen ist es vorhanden, wie z. B. *Scariff*, *Scerry* usw.⁵²

Auf dieses Wort sind auch einige Stadtnamen zurückzuführen, die Holder in seiner Wörtersammlung mitteilt und die die Aufmerksamkeit der Forscher von der richtigen Lösung so oft abgelenkt haben. Solche sind: *Scarbia*, *Scarpona* usw.⁵³

Auch darin muss man F. Salamon recht geben, dass das irische Wort *an* die Bedeutung 'Wasser' hat, und wahrscheinlich auf einen Stamm *(p)an-zurückzuführen ist. Aber aus all dem ist die von F. Salamon festgestellte Bedeutung 'seichtes Wasser' noch immer nicht zu erschliessen. Ausser der Bedeutung gilt als ein schweres Hindernis die doppelte Form des ersten Gliedes des Wortes: *Scara-* und *Scar-*. Dieser lässt sich mit der von Salamon vorgeschlagenen Etymologie nicht erklären.

F. Salamons Deutung nahm der Forscher des antiken Sopron, L. Bella⁵⁴ zuerst an. Aber als er sich davon überzeugte, dass die literarischen Zitate F. Salamons nicht immer zuverlässig sind, suchte er nach einer anderen Lösung. Er fand das Wort *sarbant*, «dessen letzte Silbe nach Zeuss und Diefenbach als abstraktes Substantivsuffix zu betrachten ist» vor. Die Wurzel *scarb-* oder *sgarb-* bedeutet nach ihm im Irischen, Englischen, Bretonischen und Französischen 'Abhang'.⁵⁵ Abgesehen von der falschen Analyse des Namens kann eine solche Verengung von verschiedenen indoeuropäischen Sprachen vor der Kritik kaum standhalten.

In der gleichen Zeit befasste sich V. Récssei⁵⁶ mit dem Ortsnamen. Er wandelte in allem in F. Salamons Spuren, und zergliederte den Namen in drei Teile: *Scarb-an-tia*. Récssei berief sich gleichfalls auf die Stelle des Werkes von Zeuss, die unserer Meinung nach die richtige Lösung enthält, aber er glitt darüber hinweg.

Auch der Wiener Universitätsprofessor Soproner Abstammung, O. Müller befasste sich mit der Deutung des Ortsnamens.⁵⁷ Er hielt ihn für ein Wort keltischer Herkunft, und war geneigt, darin das Gegenstück des englischen *scarp-* und des französischen Wortes *escarpé* 'steiler Abhang' bzw. 'steil' zu sehen. Diese Erklärung des Namens passt jedoch keineswegs auf die keltischen Siedlungen von Scarabantia, so dass es sich hier offenbar nur um eine zufällige lautliche Übereinstimmung handelt.

A. Holder reihte diesen Ortsnamen in seinem Werk in den keltischen Wortschatz ein.⁵⁸ Er deutet ihn gar nicht, aber er brachte zwei neuere Momente

⁵² AN SEABAC: Learner's Irish - English Dictionary. Dublin 1959. 117.

⁵³ A. HOLDER: a. a. o. 1395., 1396.

⁵⁴ L. BELLA: Sopron város városlajza fekvése és neve. Sopron 1894. 17.

⁵⁵ L. BELLA: a. a. O. 17.

⁵⁶ V. RÉCSEI: Sopron ókori neve és a Sopron-megyei római feliratok. Sopron 1887. 12.

⁵⁷ O. MÜLLER: MAGW 1887. 79.

⁵⁸ A. HOLDER: a. a. O. 1395.

in die bisherigen Forschungen. Einerseits nahm er die Analyse des Wortes auf eine neue Weise vor: *Scarab-antia*. An einer anderen Stelle seines Werkes erörterte er den zweiten Teil des Wortes als «ein Suffix». Er hält das letztere für ein Wort für Fluss oder für ein mit diesem zusammenhängendes Suffix. Ob dieses seinem Wesen nach in der Tat ein Suffix sei, dazu wären eingehende Forschungen nötig. In den von A. Holder aufgezählten Beispielen gibt es Momente, die entschieden gegen seine Meinung sprechen. Hier genügt nur soviel festzustellen, dass dieses «Suffix» in der uns zur Verfügung stehenden Fachliteratur nicht vorkommt. Holder gerät mit sich selbst in Widerspruch, als er aus dem Werk *Egilberti vita Ermenfredi* den folgenden Satz anführt: «*Fontes duo, quorum unus dicitur Cusa, alter vero Antia, atque nomen duabus integris compositionibus unum efficitur Cusantia.*»

Inzwischen wurden die Siedlungsverhältnisse von *Scarabantia* einigermaßen klargestellt. Von den Archäologen wurde es festgelegt, dass auf dem Várhely und Károlymagaslat ein Volk mit Hallstattkultur, auf dem Bécsi domb dagegen eine Bevölkerung mit Latènekultur sesshaft war. Die Spuren der letzteren Kultur sind auch auf dem Várhely vorzufinden. Die römische Stadt lag im Gebiet des heutigen Sopron. Das erste Volk identifizierte der grösste Teil der Archäologen mit den Illyriern, das zweite mit den Kelten.

Seitdem ist die Meinung der Forscher nicht so einstimmig, wie sie früher war. R. Vulpe behauptet, dass dieser Ortsname «vielleicht illyrisch sei», und als Beweis werden von ihm die Stadt *Scarbia* in Rätien und *Scardona* in Dalmatien erwähnt. Seiner Meinung nach ist *Scar-* bzw. *Scarp-* als Wurzel zu betrachten. Er fügt aber hinzu, indem er sich auf A. Holder bezieht, dass die Wurzel auch in der keltischen Toponymik vorkommt.⁵⁹

Was von Vulpe als Möglichkeit erwähnt wurde, namentlich dass die Wurzel von *Scarabantia* illyrisch sei, wird von H. Krahe, der sich mehrmals mit diesem Ortsnamen befasste, als Gewissheit behauptet. Auch er hält ihn für eine Wortzusammensetzung, und analysiert ihn ganz neuartig: *Scara-bantia*.⁶⁰ Im Zusammenhang mit dem zweiten Glied erwähnt er den Ortsnamen *Bantia* in Italien und Illyrien, fernerhin die in Dardanien sich befindlichen *Ἀγοι-βαντία*. Er ist der Ansicht, was auch Mollay betont, dass die Bildungsweise dieses Wortes der der illyrischen Sprache vollkommen entspricht. Leider versuchte H. Krahe nicht das Wort zu deuten.

Am ausführlichsten beschäftigt sich mit diesem Ortsnamen K. Mollay, der überzeugend auf die Übertreibungen hingewiesen hat, die bis zur Abfassung seiner Abhandlung von den Forschern in Bezug auf den angenommenen keltischen Charakter von *Scarabantia* begangen wurden. Er betont das kleine Aus-

⁵⁹ Ephemeris Dacoromana. 1925. 155.

⁶⁰ H. KRAHE: Die alten balkanillyrischen geographischen Namen. Heidelberg 1925. 17., 82., 111. und Lexikon altillyrischer Personennamen. Heidelberg 1929. 153, sowie Glotta. 1928. 286 und ZfO 1929. 3., 144, ferner IF 1942. 216, und Die Sprache. 1949. 41.

mass der bis damals bekannten keltischen Siedlung im Vergleich zu den ausgegrabenen illyrischen Niederlassungen. Seiner Meinung nach ist *Scarabantia* die ursprüngliche Form, die sich in der Zeit der Keltenherrschaft in *Scarabantia* verwandelte.⁶¹ Und als Beweis gibt er zwei Wortpaare an, die von E. Weisgerber in seiner Abhandlung über die kontinentalen Kelten angeführt wurden: *Gabarus* > *Gabrus*, *Gabarascus* > *Gabrascus*.⁶²

Nach K. Mollay übernahmen die Kelten im IV. Jh. von den Illyriern den Namen *Scarabantia* auch für ihre Siedlung, obwohl diese mit der der Illyrier nicht zusammenfiel.

Wie logisch auch immer die Analyse des Wortes von H. Krahe erscheinen mag, konnte sie ohne eine etymologische Deutung in der wissenschaftlichen Literatur keine Wurzel fassen. A. Graf kehrte in seinem Werk über die Geographie Pannoniens zur Auffassung der Anhänger der keltischen Herkunft zurück, und belebte F. Salamons Theorie wieder, da angeblich nur diese eine annehmbare etymologische Erklärung enthielt.⁶³

Diese Lage der Forschung spiegelt auch die Bestrebung E. Hörings, eines Schülers von H. Krahe wider. Er hat in seiner Doktorarbeit die alten Theorien, unter anderen auch die Analyse seines Lehrers verworfen, und suchte nach neuer Erklärung. Hörings neue Deutung stützte sich auf zwei Momente: 1. Er konnte den Gedanken nicht loswerden, dass *Scarabantia* zu der Wortgruppe von *Scarbia* und *Scarbona* gehört. Darum wurde von ihm die alte Analyse wieder aufgenommen, wonach das Wort folgendermassen zu zerlegen ist: *Scarb-antia*. Nach seiner Meinung wäre das in der Form *Scarb-* bezeugte *-a-* als ein anaptyktischer Vokal zu betrachten. 2. Er möchte den Namen *Scarabantia* mit dem jetzigen deutschen Namen von Sopron *Ödenburg* und der römischen Benennung dieser Gegend -- *deserta Boiorum* — in Verbindung bringen.⁶⁴ Ausser diesen unbewiesenen Voraussetzungen erwuchs der Deutung Hörings ein erheblicher Nachteil dadurch, dass ihm nicht nur die Quellen ungarischer Sprache unbekannt waren, er verfügte nicht einmal über die Kenntnis der in deutscher Sprache veröffentlichten ausführlichen Behandlung des Problems durch K. Mollay. Er kümmerte sich nicht um die Lokalverhältnisse, sondern suchte zu seinen Ideen die nötigen Beweise.

Im Wörterbuch von Walde—Pokorny fand er die Lösung.⁶⁵ Er brachte diesen Ortsnamen mit dem lettischen Wort *carbs-* 'scharf, streng, rauh' in Verbindung. Seiner Meinung nach bedeutete die Form **scarb-anta-* 'rauh, unfruchtbaren Boden', und das Suffix *-ia* betonte die Zugehörigkeit zu irgend-

⁶¹ K. MOLLAY: a. a. O. 214.

⁶² E. WEISGERBER: Die Sprache der Festlandkelten. XX. BRGK 1931. 206.

⁶³ A. GRAF: Übersicht der antiken Geographie v. Pannonien. Budapest 1936. 72.

⁶⁴ E. HÖRING: Die geographischen Namen des antiken Pannonien. Diss. Heidelberg 1950. 164.

⁶⁵ A. WALDE—J. POKORNY: Vergleichendes Wörterbuch der indg. Sprachen. Berlin 1927. II. 582.

einem Ding. Mit dieser Etymologie wäre es leicht die dem Anschein nach hierher gehörenden Ortsnamen zu deuten, weil alle diese auf eine ie. Wurzel **quer-* (*e*)*bh-* zurückzuführen sind. Höring weist noch auf eine illyrische Wurzel **scord-*, **scerd-* hin, neben der auch die Möglichkeit einer Wurzel **scard-* besteht. So bekennt er sich zur illyrischen Herkunft dieses Ortsnamens.

Auch der Gedanke der keltischen Herkunft wird von ihm erwähnt, weil das Grundelement des Wortes *scarb-* auch auf alten keltischen Gebieten vorkommt, aber er schliesst später diese Möglichkeit ebenso aus, wie auch die der thrakische Herkunft.

Wie unsicher Höring selbst seiner Deutung war, erhellt sich am besten daraus, dass er noch auf eine dritte Möglichkeit zur Lösung dieses Problems hingewiesen hat: *scara-* sollte eigentlich 'Fels' bedeuten, während das zweite Glied des Part. Präs. des Zeitwortes **bha-* 'glänzen' wäre.⁶⁶ Die Bedeutung der Zusammensetzung ist also 'glänzender, kahler Fels'. Diese Hypothese ist eigentlich eine Rückkehr zur Theorie Salamons, weil das von Höring erwähnte lettische Wort mit dem irischen Wort *scairbid* zusammenhängt, und letzteres wahrscheinlich auf die Form *scairb* zurückgeht.⁶⁷

Bevor wir die neuesten Forschungen in Betracht ziehen, um eine befriedigende Etymologie des Ortsnamens finden zu können, werfen wir einen Blick auf die Siedlungsverhältnisse von *Scarabantia*. Wie es schon oben erwähnt wurde, bildete sie keine alleinstehende Siedlung,⁶⁸ sondern bestand wenigstens aus sieben Niederlassungen. Leider sind die meisten von diesen archäologisch noch unerforscht. Gegenwärtig ist nur die Erschliessung der römischen Stadt im Gange, insofern es die Lokalverhältnisse ermöglichen.

Ob die Archäologen recht haben, als sie die Gründung der Hallstattniederlassung den Illyriern, die der Latènesiedlung dagegen den Kelten zuschreiben, vermag nur die Sprachwissenschaft mit der Hilfe der Erklärung des Ortsnamens zu entscheiden. Auf dem Gebiet der Hallstattkultur lebten nämlich sowohl Illyrier als auch Kelten.

Eine der entscheidendsten Fragen der Ortsnamensforschung ist die richtige Analyse des Namens. Wie wir schon oben beobachten konnten, führte die Analyse *Scarab-antia* zu keinem befriedigenden Ergebnis, weil ihr keine annehmbare Etymologie folgte. Die Feststellung Krahes ist deshalb von grosser Bedeutung, weil das zweite Glied des Ortsnamens nach seiner Analyse im illyrischen Gebiet dreimal vorkommt.⁶⁹ Leider erteilen unsere antiken Quellen über diese Ortsnamen nur dürftige Auskünfte.

Bei Stephanos Byzantios sind über Bantia die Folgenden zu lesen: *Βαντία: Πόλις Ἰταλίας, τὸ ἐθνικὸν Βαντιανοὶ καὶ Βαντιᾶται*. Eine andere Angabe:

⁶⁶ A. WALDE—J. POKORNY: a. a. O. II. 122.

⁶⁷ F. G. QUIN: a. a. O. 71.

⁶⁸ K. MOLLAY: a. a. O. 226—293.

⁶⁹ H. KRAHE: Lexikon. 153.

Βάντιοι, ἔθνος Θοράκης⁷⁰ gibt neue Möglichkeiten. D. Dečev bemerkt, dass der von Stephanos erwähnte thrakische Stamm in Illyrien wohnte, und von da nach Italien wanderte. Es ist gewiss, dass die Sprachgrenze zwischen den Illyriern und den Thrakern schwer bestimmbar war. Wir kennen mehrere Mischstämme, deren Volkszugehörigkeit festzustellen fast unmöglich ist. Wahrscheinlich handelte es sich auch hier um eine gleiche Erscheinung.

Auch von Polybios wird dieser Ortsname erwähnt: κατελάβετο (sc. Φιλίππος) ... τῆς δὲ Καλικοίνων χώρας Βαντίαν. ...⁷¹ Nach A. Mayer lag diese Ortschaft am Lychnitis See, und war der Hauptort der illyrischen *Βανθιάται* ($\theta < \tau$).⁷²

Der Name *Bantia* blieb nach A. Mayer in *Abbazia S. Maria di Banzi* erhalten. In der Nähe dieses Ortes befand sich dieses Oppidum, wo die *Tabula Bantina* gefunden wurde.⁷³ Nach Mayer ist das Wort *bantia* auf die ie. Wurzel **bhey-*/**bhoy-* 'sein' zurückzuführen. Das steckt auch im albanesischen Wort *ban(ë)*- 'Wohnung, Aufenthaltsort', das auf eine ursprüngliche Form **bhou-na* (vgl. ai. *bhav-ana-* 'Haus') zurückgeführt werden kann.⁷⁴

Der Meinung Mayers nach gehören *Βάνες*, gleichwie *Φανώγη* aus Epirus hierher. Dieses Land gilt als das alte Mischungsgebiet der Griechen und Illyrier. Nach E. Schwyzer ist dieser Name illyrischer Herkunft.⁷⁵

Da Mayers Annahme sehr einleuchtend ist, so liegt es nahe anzunehmen, dass das zweite Glied des Ortsnamens *Bantia* illyrischer Herkunft ist und eine Bedeutung 'Ort, Niederlassung', allenfalls 'Festung' hat.

Die Hypothese der Archäologen, dass das erste Volk, das die Hügel der Umgebung von Sopron mit seiner Hallstattkultur besetzte, illyrischer Herkunft war, gewinnt dadurch eine starke Stütze.

Noch harren das erste Glied der Zusammensetzung *Scara-* bzw. *Scar-* und das Verhältnis dieser zueinander einer Erklärung. Das Wort **scara-* gehört zum gemeinkeltischen Grundwortschatz, und eine Fortsetzung davon ist im Wortvorrat nicht nur der älteren, sondern auch der heutigen keltischen Sprachen vorhanden: air. *scarā-* und *scar-*, kym. *ysgar*, bret. *di-scar*, gael. *sgaoil* usw. Die ältesten Zeugnisse sind in der irischen Sprache erhalten geblieben. In dieser ist *scarā-* auf eine Form **sk_rrā-* zurückzuführen, die als Verb 'abschneidet, separiert, zerteilt', und als Substantiv 'Teil, Glied, Verteilung' bedeutet. Form- und Bedeutung des Wortes blieb seit den ältesten Zeiten von einer kleinen Bedeutungsfärbung abgesehen fast unverändert.⁷⁶

⁷⁰ Stephani Byzantii Ethnicorum quae supersunt. Ed. A. MEINECKE. Berlin 1849. I. 157.

⁷¹ F. WALBANK: A Historical Commentary on Polybius. Oxford 1957. I. V. 108, 8.

⁷² A. MAYER: Die Sprache der Illyrier. Wien 1957. I. 75.

⁷³ A. MAYER: a. a. O. I. 75.

⁷⁴ A. MAYER: a. a. O. I. 75., II. 18.

⁷⁵ E. SCHWYZER: Griechische Grammatik. München 1950. I. 66.

⁷⁶ A. HOLDER: a. a. O. 1395. H. LEWIS—H. PEDERSEN: A Concise Comparative Celtic Grammar. Göttingen 1961. 5., 246., 292., 393. E. G. QUIN: a. a. O. 74—76. T. D. BHALDRAITH: English—Irish Dictionary. Bāile Átha Cliath 1953. 645. SAEBAC: a. a. O. 118.

Die Wurzel **sk_era-* ist auf eine ie. Form *(*s*)*ker-*, *(*s*)*kerə-* und *(*s*)*kre-* 'schneiden' zurückzuführen, deren Ableitungen in fast allen indoeuropäischen Sprachen zu finden sind: ai. *utkīrna-*, 'ausgeschnitten', gr. *κείρω* 'abschneiden', alb. *sh-kjer* 'zerreißen', lat. *curtus* (**k_r-to-*) 'verstümmelt', umb. *karu* 'Teil', aisl. *skere* 'schneiden', ahd. *sceran* 'verteilen' usw.⁷⁷ Die Grundbedeutung der aufgezählten Wörter ist 'abschneidet, separiert, zerstreut'. Dieser Grundbegriff zerfällt in ausserordentlich reiche Synonymenvarianten. In der archaischen irischen Sprache kommt der Ausdruck *scarā- ʒ fri Y 'X* ist von Y abgesondert'.⁷⁸ Dieses Wort *scar(ā)-* steckt in dem ersten Glied des Ortsnamens *Scar(a)bantia*.

Nimmt man die Etymologie der einzelnen Glieder dieses Ortsnamens an, so lässt er sich auf zwei verschiedene Weisen deuten. Das Volk mit Hallstattkultur, die Illyrier benannten ihren Wohnsitz *Bantia* ('Ort, Niederlassung, Festung'). Das Volk mit Latènekultur übernahm diesen und ergänzte ihn mit dem Wort *scara-*. Dieser zusammengesetzte Ortsname bezog sich entweder auf alle Niederlassungen, die auf den Hügeln der Umgebung von Sopron zerstreut lagen, und bedeutete in diesem Falle 'zerstreute Siedlung', oder aber er bezog sich auf die keltische Niederlassung von Bécsi domb, und hat in diesem Falle die Bedeutung 'abgesonderte, separierte Siedlung'. Sprachwissenschaftliche Erwägungen und die Tatsache, dass von den Römern dieser Name übernommen wurde, sprechen für die letztere Hypothese.

Diese Erklärung des Wortes beleuchtet auch das Nebeneinander der Formen *Scarā- Scar-*. Die erstere war ursprünglich ein Verbaladjektiv auf *-ā-*. Der Stammvokal dieses Wortes war im Laufe der Zeit verschwunden. Diese Erscheinung ist auch in der irischen Sprache wohlbekannt.⁷⁹ Die Namensform *Scarabantia* wurde natürlich in den Literaturwerken auch dann gebraucht, als der Stammvokal *-ā-* in der gesprochenen Sprache schon lange verschwunden war. Die älteste Quelle des Ortsnamens, das Werk von Plinius vertritt diesen Zustand, und deshalb wird er auch von den übrigen Autoren so erwähnt. In den die lebende Sprache widerspiegelnden Inschriften wird die längere Form nicht mehr gebraucht.

Ist diese Etymologie richtig, so hat man die Grenze des Siedlungsgebiets der Illyrier weit nördlicher anzusetzen, als es einige Forscher heute tun. Andererseits ist die illyrisch — keltisch — römische Kontinuität dadurch als bewiesen zu betrachten.

⁷⁷ J. POKORNY: Indogerm. etym. Wörterbuch. Bern 1959. 938.

⁷⁸ E. G. QUIN: a. a. O. 74.

⁷⁹ R. THURNEISEN: A Grammar of Old Irish. Dublin 1947. 114. 404. H. LEWÝS — H. PEDERSEN: a. a. O. 392.

A HIPPOLYTUS RELIEF FROM SZÓNY

In the autumn of 1957, L. Barkóczi unearthed a small, Late Roman cemetery in Szóny, 700 meters from the southwestern corner of the legionary camp of Brigetio. The eastern side of tomb No. 5 (composed of stone slabs) was the fragmentary right side of a relief tablet representing a mythological scene (Fig. 1, Tata, Kuny Domokos Museum).¹

The tablet is composed of a yellowish-white limestone. It is 1 meter high, 57 cm. wide at the top and 87 cm. on the bottom. At the edges it is 23 cm. thick and towards the centre 27 cm. It is framed by a broad, smooth band on its remaining right side. The top edge was composed of a narrow rim originally 2 cm. wide but this is mostly chipped off. The lower edge is damaged and in one section a low triangle is broken off. On the left side there is a somewhat uneven, slanting break which widens towards the bottom. Eight centimetres of the width of the top and right side of the tablet have been worked off with an indentation chisel and the rest as well as the reverse side is unworked. On the front side of the tablet, close to the edges, the background is slightly curved and then steeply rises as it reaches the edges. The stone was removed from these sections with an indented chisel whose marks are clearly visible. The surface of the stone is porous and worn in several places.

The fragment portrays the figure of a naked youth in high relief. His body is turned towards us, though slightly towards the left. He puts his weight on his left foot and slightly pulls his right foot after him. The position of the feet (the left foot seen in profile) and the position of the head indicate that he is in the process of turning towards the left. His face is very damaged and his nose is broken off. The pupils are slightly hollowed out. His thick hair falls to his shoulders and his broad face is framed by small curls with deeply hollowed-out centres. His figure is proportional, strong but not too muscular. His cape, fastened with a small button-like buckle on his right shoulder, covers the left side of his chest and arm; at the back it reaches midcalf. The rounded folds spreading out like a fan are outlined by curved lines. The folds behind the legs are rather flat and here the curved lines are broader. The youth grabs

¹ L. BARKÓCZI: *Acta Ant. Hung.* 13 (1965) 233 and 248. Pl. XXIV, 2.

the edge of the cloak with his left hand. His right arm, extended sideways, is broken off above the wrist. He wears soft boots reaching the middle of his calves; the boots have a broad cuff at the top. On the ground, at his right foot, there is an open tablet.

The tablet on the ground explains the theme of the relief. The fragment depicts Hippolytus who, turning away from the nurse bringing Phaedra's message, rejects the amorous proposal by dropping the letter on the ground.²

For quite some time we have known of the left-hand fragment of a relief from Szóny with a mythological theme.³ It was in the possession of M. Milch in 1877 and later it got into the Jókai Museum of Komárom.⁴ The determination of the theme (Hippolytus and Phaedra) is due to A. Schober.⁵ On the left side we see Phaedra, standing with her feet crossed; she rests against a column. Her upper body is bare and below the hips she is encircled by a large cloak. Her left arm is held by Amor who holds a torch in his other hand and tries to pull her along. In the middle we see the kneeling nurse who raises her hands toward Hippolytus in supplication. Here only Hippolytus' right hand with the palm turned downwards is left.

This fragment is completed by the figure of Hippolytus on the stone relief found in 1957 during the excavations of Szóny. The relation between the two fragments is convincing and striking not only in light of the identical theme but also in regard to composition, matching sizes, identical techniques of execution and the similarity of the material (Fig. 2).⁶ The uncovered body

² For the history and depiction of Hippolytus and Phaedra cf. W. H. ROSCHER: *Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie*, I. 2681 (Hippolytus), III, 2220 (Phaedra). PWRE, VIII 1865 (Hippolytus), XXXVIII 1543 (Phaedra). A. KALKMANN: *Über Darstellungen der Hippolytossage*, Arch. Ztg. 1883, 37, 105. S. REINACH: *Répertoire de peintures grecques et romaines*. Paris 1922, 210–211 (Pompeii, Herculaneum, Rome). C. ROBERT: *Die antiken Sarkophagreliefs*, III, 2, 144–179. FR. GERKE: *Die christlichen Sarkophage der vorkonstantinischen Zeit*. Berlin 1940, p. 6, *passim* and 332. G. RODENWALDT: *Der Hippolytossarkophag in der Kathedrale von Agrigento*, Arch. Anz. 1940, 599. E. BIELEFELD: *Ein römisches Relief in Weimar*, JDAI 69 (1954) 118.

³ E. MAIONICA—R. SCHNEIDER: *AEM* 1 (1877) 158.

⁴ It is still there. Cf. M. DUŠEK: *Arch. Rozhl.* 9 (1957), 852, Fig. 347. Here I would like to express my thanks to M. DUŠEK (Nitra) and to S. SOPRONI who were so kind to examine the relic at my request.

⁵ A. SCHÖBER: *Wiener Studien* 47 (1929) 163, Pl. 2.

⁶ The method of hollowing out the background is the same on both fragments as well as the treatment of the surface with well-discernible marks of the indentation chisel at places. On an edge the upper ends also have the same execution. This end bar is for the most part broken off of the piece from Komárom but on the photograph published by A. SCHÖBER (*loc. cit.*) it is still clearly visible. On the older fragment, similarly to the recently found piece, the front band of the upper narrow side of the stone is smoothly worked off in a 10 cm. width and behind the stone was left in a crude form. The reverse side of the stone tablet is also left unworked. The left edge of the tablet by the standing figure of Phaedra is missing. The technical peculiarities observable on the figure of Hippolytus: the head, shoulder and upper arm are plastically worked only in front, while on the side they are only smoothened. This is also seen on the older fragment, especially on the raised arm and hand of Phaedra. According to A. SCHÖBER (*loc. cit.*) the material of the fragment from Komárom is a whitish-grey limestone and according to S. Soproni's communication the relief is made of white limestone with



1. Hippolytus. Fragment of a relief from Szóny. Tata, Kuny Domgokos Museum

forms are essentially handled in a similar way. This figure of Hippolytus is especially well done, but the stiffer and more rigid Phaedra shows that the stone cutter found the execution of the abdomen and hips in this particular posture difficult. The form of Amor is somewhat awkward, ponderous; rather

yellow spots at places. The measurements of the older fragment: MAIONICA—SCHNEIDER (*loc. cit.*): height: 1 m.; width: 1.17 m. A. SCHÖBER (*loc. cit.*): height: 1 m., length: 1.26 m., thickness: 0.29 m.

than hanging in mid-air he rests with leg spread apart on the bended knee of the nurse and on the right heel of Phaedra's crossed foot. The different handling of the folds is an attempt to bring across the different quality of the textile. The folds of Hippolytus cloak are close together and the loose pleats on the clothes of the nurse follow the motion of her raised arms. Between the two connected sections an irregular band is missing; its width is determined by the area to be completed between Hippolytus' arm broken above the wrist and the remaining hand of the older relief.

In his study of the Hippolytus reliefs of the Danube area, A. Schober mentions that the picture type of the reliefs of Flavia-Solva and Brigetio differs from the traditional arrangement and represents a previously unknown variation.⁷ He writes that the mutual feature of both pieces is the nurse who implores Hippolytus on her knees, while in similar scenes from sarcophagi and wall paintings she is trying to approach the youth from an upright position or probably while bowing. On the relief from Flavia-Solva Phaedra, who stands on the left edge of the picture, is writing the letter, but we do not find this form in other places. According to a communication from Schober the origin of the motif cannot be traced. In his view the simultaneous occurrence of two successive events (writing the letter and receiving the amorous proposition) represent the fusion of two different types. In his view the figure of Phaedra on the Brigetio relief is even more unusual: this female figure resting with one arm on the column is a commonly known Aphrodite type with bare upper body and lower body wrapped in a cloak. While on representations with similar themes (on that of Flavia Solva) Phaedra always appears fully dressed in a sitting position.⁸ Schober regards this to be the independent invention of local masters who made up new compositions by selecting different elements from traditional picture types.

But the content and form of the Brigetio relief are so uniform and close that these cannot be wholly attributed to one provincial master, even if we consider one with exceptional ability. The relation between the two outer figures, Phaedra and Hippolytus, is established by the kneeling nurse and is completed by the figure of Amor who is given an active role here.⁹ Phaedra with a life-like motion, her face slightly turned toward the right, observes the

⁷ A. SCHOBER: *loc. cit.* 161, Pl. 1. E. DIEZ: Flavia Solva², Wien 1959, 28, Nr. 15. Pl. III, 15, E. BIELEFELD: JDAI 69 (1954) 123, Fig. 4.

⁸ Here I would like to note that Phaedra obviously does not sit but stands on the piece from Flavia Solva. This is also shown by the proportions of the body if we compare them to the figure of Hippolytus. Her upper body is apparently uncovered with a perpendicularly dropping, schematically pleated cloak behind which angularly breaks at the calf. It covers the lower body. It is rather difficult to interpret the turning away motion while writing on the double tablet, which rather seems to be a cylinder.

⁹ The figures of Eros are around Phaedra even on the sarcophagi but rather as attendants expressing her amorous desires; a few of them hold torches, as for instance in ROBERT: *op. cit.* III, 2, 159 (Rome, Villa Albani), 165 (Capua), 171 (Firenze).



2. Hippolytus and Phaedra. Relief from Szóny. Komarno, Museum and Tata, Museum



3. Hippolytus and Phaedra. Mosaic from Daphne. Antiochia, Museum. After Downey, *Ancient Antioch*

fate of her amorous proposition. The kneeling nurse raises her hands to Hippolytus beseechingly, but the youth is already turning away. The letter has probably just dropped to the ground from between the opened fingers of his thrusting hands. Phaedra's raised right hand represents a recoiling from or indignation about his negative gesture. The vertical arrangement of the two figures is accompanied and emphasized by the column on the left and on the right by the handing arm of the youth and the end of his grasped cloak. The connecting line drawn from Phaedra's arm, over the figures of Amor and the old nurse, to Hippolytus' arm forms a deep wave.

The good psychological understanding of the turning point of the action of the Brigetio relief indicates that the composition had to evolve in classical territories. It is possible that the reliefs of Flavia Solva and Brigetio were based on less common picture types or on one which was not used for sarcophagi. The variations of the picture type is proved by the Hippolytus mosaic — among others — dated to the first half of the 2nd century which was found in one of the houses of Daphne nearby Antiochia (Fig. 3).¹⁰ Phaedra is represented standing. However, Schober could not yet know of this piece. Hippolytus' gesture on the mosaic corresponds to that of the Szőny relief: his extended hand has dropped the letter to the ground while he turns towards

¹⁰ DORO LEVI: *Antioch mosaic pavements*. Princeton, 1947. I, p. 71. II. Pl. XIb. G. DOWNEY: *Ancient Antioch*. Princeton 1963. 107, Fig. 26.



4. Hippolytus and Phaedra. Ivory relief. Brescia, Museum. After Volbach, *Elfenbeinarbeiten*

Phaedra as if trying to determine the affect of the deed. Contrary to the similar situation we cannot assume a direct relation between the mosaic and the pattern of the relief. Namely, on the mosaic the nurse turns towards

Phaedra (who almost breaks down because of embarrassment) and seems to apologize to her because of the unsuccessful attempt. On an ivory relief dated to the 5th century (Fig. 4, Museum of Brescia)¹¹ Phaedra and Hippolytus were portrayed in an erect position. Eros hovers between them holding a torch. The dramatic action of the proposition has a different mood and content in this picture: it was toned down to an idyllic meeting of the two. Here the letter held by Hippolytus can only be regarded as a symbol. Although the tall narrow picture form necessitates the introduction of standing figures, it is likely that the model for the ivory relief was the same as or similar to that of the mosaic from Antiochia and of the reliefs from Brigetio and Flavia Solva. Namely, the mirror image of the Phaedra of the ivory panel resembles not only the Phaedra of Daphne, but also that of Brigetio while a small Eros hovering in the background returns on the relief of Noricum.¹²

The motif of the kneeling nurse remains unknown from the sepulchres or from other finds henceforward, too. Thus it seems that the pieces of Brigetio and Flavia Solva preserved an independent version of the picture type. Evidently the balanced arrangement sets the Brigetio relief closer to the original composition. Its master may be characterized by having a good composition of figures, a relatively correct sense of form and by attempting to achieve plasticity. The figure of the nurse is especially successful. Its presentation creates an almost monumental effect. Alongside of the tablet of Szőny the relief of Flavia Solva seems feeble with its languid, almost boneless forms (Fig. 5). In the relief of Flavia Solva Hippolytus is a rather childlike youth who impresses the viewer with his shyness and awkward charm. In the relief of Brigetio he is an adult male with a determined gesture. As it was mentioned this gesture may be seen on the mosaic of Daphne, but there the palm is turned downwards. On the corresponding scenes from wall paintings or sarcophagi he generally rejects the offer with raised hand, airily protesting or with alarmed motions.¹³ On a Roman wall painting portraying four figures (Fig. 6)¹⁴ the letter lies on the ground. Here as a mirror image the figure of the youth, the arrangement of the great cloak on his chest and one arm and even the position of his head could almost be the antecedent and model of the Hippolytus of Brigetio. The letter also lies on the ground in the relief

¹¹ W. F. VOLBACH: *Elfenbeinarbeiten der Spätantike und des frühen Mittelalters*.² Mainz 1962, 43 Nr. 66. Pl. 21.

¹² In the upper middle we can see a small, flying Amor drawing his bow on one of the late antique representations of Hippolytus and Phaedra from an inscribed mosaic found in Sheik Sueda on the border between Egypt and Palestine. Here Phaedra sits apart in a curtained alcove with columns; she is evidently within the palace. The nurse delivers the letter to Hippolytus. DORO LEVI: *op. cit.* 73, Fig. 29. A. RUMPF: *Malerei und Zeichnung. Handbuch der Archäologie, Sechste Lief.* München 1953. 199. Pl. 72, 2.

¹³ The motion of the left hand with palm turned outward also has a different character on the picture with many figures from Maison dorée. JDAI (1913) 169. 175, Pl. 7. REINACH: *Rép. de Peintures* 209, 4.

¹⁴ S. REINACH: *Rép. de Peintures* 209, 3. (Rome, Maison Dorée, Bellori, 6.)



5. Hippolytus and Phaedra. Relief from Flavia Solva. Schloss Seckau

of Gross-Pechlarn which shows two figures¹⁵: the nurse is already prepared to leave Hippolytus who stands turned away. Otherwise if the letter is represented at all it is, in most instances, still with the nurse, while on the late sarcophagus of Salona and on that of the Museo Nazionale of Rome Hippolytus holds the letter before him, pressing it to his chest.¹⁶ The concise simplicity of the relief of Szöny deserves attention. Even the spear, which is his almost permanent attribute in other places, is missing. Its carving could have hardly provided any technical difficulty for the master.¹⁷ His boots are the only sign of his being a hunter. The stone cutter did not even include the accompanying animals: the horse and the dog are found on the work from Flavia Solva and the dog on that from Brescia. Therefore here the motif of the nurse

¹⁵ F. LADEK: AEM 18 (1895) 33, Fig. 8. A. SCHÖBER: *op. cit.* 163.

¹⁶ Salona: ROBERT: *op. cit.*, III, 2, 163. — Roma, Museo Nazionale: G. RODENWALDT: JDAI 55 (1940) 52. S. AURIGEMMA: Le terme di Diocleziano e il Museo Nazionale Romano, 3. ed. Roma 1954, 16 Nr. 5, Pl. VII b.

¹⁷ The Hippolytus on the sarcophagus of Pisa doesn't possess a spear either, ROBERT: *op. cit.* III, 2, 164.



6. Hippolytus and Phaedra. Wall painting. Rome, Maison Dorée. After Reinach, *Rép. de Peintures*

handing over Phaedra's message to Hippolytus who is on his way to hunt is unclear and made insignificant.

The more exact dating of the mythological reliefs of Pannonia from the middle of the 2nd and the first few decades of the 3rd centuries is rather difficult. Contrary to the tombstones or altars, in case of the reliefs there is no way of finding support for a dating in inscriptions and merely stylistic observations usually lead to uncertain and inadequately founded results. In the Roman art of Italy as well as in other great art centres the technical features changing according to ages plus other components can fairly exactly date the historical reliefs and the mythological representations, too, including the sarcophagi. Such features are, for instance, the use of the running drill for the looseness of the hair and beard, the outlines of the pupils which change by periods or the execution of the pleats. In Pannonia as in certain other provinces the stylistic changes in imperial art were broadly followed and the



7. Aktaion. Relief. Esztergom, Balassa Museum

mentioned techniques can be found in slight traces and only rarely. Stone cutters essentially always adhere to pure chiselling techniques which better suit the basic laws of their art than the use of the running drill illusion-creating. For the most part inadequate professional skill and preparation give a less dependable chance for comparing the stylistic features. The stone cutters were very likely influenced by the attributes of style of the models; this might account for the delayed phenomena in provincial art. Therefore the dating of the relief from Szőny can only be approximated. The observation that Hippolytus' head with thick, curly, shoulder-length hair framing the

face resembles later Antinous-like heads¹⁸ is a similarity which, with some lateness, can be used for dating the relief. Evidently the Roman plastic art of the sarcophagi also influenced the relief tablets or rather the models for them. Here it is enough to mention the Hippolytus sarcophagus of Pisa. According to F. Matz the sarcophagus is from the 90s of the 2nd century; this he determines with an emphasis on the relative size of the figures, their organic structure and natural motions.¹⁹ These figures may be essentially found on the relief from Szóny. Taking all these into consideration, the relief may be dated to the last decades of the 2nd century, the period of prosperity following the large caesure of the Wars of Marcus.

Maionica and Schneider who first published the older relief fragment from Brigetio and later even A. Schober, regard it as a fragment of the front of a sarcophagus.²⁰ The reverse of the tablet is, however, crude, lumpy, left in its natural state, while those of the sarcophagi are smooth on the reverse sides, too. On the basis of the uninjured edge of the newer fragment it becomes clear that the relic was a large relief tablet planned to be built in somewhere. Its designated use in a sepulchre is proved by the fact that its theme was frequently represented on sarcophagi, too. We may look to the monuments found in the cemetery of Šempeter near Celje—Celeia for aid on the method of its employment and its original placement; these monuments can be reconstructed because of favourable circumstances at the site.²¹ Several mythological reliefs were also found there which complete and add new features to the already known material from Noricum. Their themes occasionally correspond to those of the Pannonian reliefs.²²

It is striking that the mythological relief tablets from sepulchres seem to be missing from the material of Northern Italy which is so important for Pannonian sculpture and stone cutting. This conclusion which may be derived from the publications is supported by Prof. Giancarlo Susini's oral communication based on local knowledge. But if the so-called independent mythological reliefs related to the sepulchral cult did not occur according to our present knowledge in Northern Italy, we must assume that the models or outlines of the relief tablets were handed down directly from Rome to the provincial workshops. This supposition is made likely by the recently recurring view that with some semantic change and in contrast to their original purpose the known Roman copies of the mythological Attic reliefs

¹⁸ A. HEKLER: *La Critica d'Arte* 3 (1938) 92 Figs. 3—4. H. WEBER: *Eine spätgriechische Jünglingsstatue*. V. Bericht über die Ausgrabungen in Olympia, Berlin 1956 134 foll., 148, Fig. 55. See also *loc. cit.*, 132, note 19.

¹⁹ F. MATZ: *Ein römisches Meisterwerk. Der Jahreszeitensarkophag Badminton* — New York. Berlin 1958 159, Pl. 32 a—c. ROBERT: *op. cit.* III, 2, 164.

²⁰ Cf. footnotes 3 and 5.

²¹ J. KLEMENC: *Rimske izkopenine v Šempetru*, Ljubljana 1961, Fig. 4, 11, 33, 34.

²² See for example J. KLEMENC: *op. cit.* Fig. 11 (Heracles and Alcestis), Fig. 22 (the rescue of Iphigenia), Fig. 37 (the rape of Ganymedes).

portraying three figures (Orpheus and Eurydice, Theseus and Peirithoos, Heracles and the Hesperides, the daughters of Pelias) — several copies of which are known — could have been the ornamentation of tombs.²³ Such picture reliefs for ornamenting the tombs were evidently made in greater numbers at the central workshop. The custom probably spread from there to the northern provinces where the different workshops could even exchange models and used them with more or less changes and deviations — so far as they were able.

Among the reliefs known from Brigetio or its vicinity the structure of the figure and the motif of the position of the Aktaion relief found in Szöny are likely the closest to Hippolytus (Fig. 7, Esztergom, Bálint Balassa Museum).²⁴ Its curves are, however, less fluid and the handling of the forms are also more bulky and awkward. Similarity of technique can be found on the worked front surface of the high relief only; it is especially striking on the figures of the aggressive hunting dogs. It is possible that here this is only the independent employment of two widespread figure motives and we might not be incorrect in stating that the two reliefs are the products of the same workshop. The Aktaion relief seems somewhat older than the relief of Hippolytus but this might throw light on the treatment adopted the workshop traditions. The already developed figure is used with slight changes several times in similar or probably not even fully corresponding interpretations and settings. After a time the treatment itself might show signs of decline. Namely, while in this case Hippolytus' motion is convincing and psychologically justified, on the Aktaion relief — as L. Nagy pointed out — the figure, instead of having a violent defensive motion demanded by the theme, almost stands still between the attacking dogs and thus the artistic effect loses force and vigour.²⁵

²³ H. GÖTZE: Die attischen Dreifigurenreliefs. Röm. Mitt. 53 (1938) 251. W. FUCHS: Die Vorbilder der neuattischen Reliefs. Berlin 1959, 133.

²⁴ L. NAGY: Arch. Ért. 50 (1937) 98 and 100, Fig. 58. L. BARKÓCZI: Brigetio. Bp. 1944 and 1951, 40, Pl. LIX, 1. From Komárom (a periodical) L. NAGY gives Brigetio as the place of finding. BARKÓCZI dates the piece to the beginning of the 3rd century, the age of the Felicio tombstone (L. NAGY: Arch. Ért. 50 (1937) 94, and 102, Fig. 54).

²⁵ For the Aktaion representations of defending against dogs, see most recently F. WILLEMSEN: Aktaionbilder, JDAI 71 (1956) 29. For earlier literature on the imperial age see: p. 43, on the sarcophagus in the Louvre (ROBERT: *op. cit.* III, 1, Nr. 1): 46, Fig. 8.

NEUE BEMERKUNGEN ZU DEN ANTIKEN ZUSAMMENHÄNGEN DER AGGADA

I. DIE TIERE DER FROMMEN*

In der klassischen Literatur und in der jüdischen Legende finden sich zahlreiche Beispiele dafür, dass die Tiere — auch gegen ihre Natur — das Gesetz und die Vorschrift respektieren.¹

Aus der Aggada wollen wir einige Beispiele herausgreifen. Die Kamele Abrahams betreten kein Haus, wo man Götzen anbetet.² Ein verarmter Jude verkauft seine Kuh, aber diese will am Felde ihres neuen Herrn am Sonnabend nicht pflügen. Dieser beklagt sich; der Jude raunt der Kuh ins Ohr, sie solle pflügen. Sie gehorcht. Als der Wirt dies sieht, bekehrt er sich zum Judentum und nimmt den Namen Jochanan b. Toreta (Anfang des II. Jahrhunderts) an.³ Vom Esel des Chanina b. Dosa (I. Jahrhundert) wird erzählt: er wurde von Räubern gestohlen und in ihrem Hofe angebunden. Man gab ihm Stroh, Gerste und Wasser, doch weder frass noch trank er. Man liess ihn frei und er fand nach Hause. Hier nun, ausgehungert und ermattet, frass und trank er.⁴

Hinsichtlich unseres Gegenstandes ist Pinchas b. Jair besonders beachtenswert. Er war der Schwiegersohn des Schimon b. Jochaj. Er lebte im II. Jahrhundert, wahrscheinlich in Lydda. Er zeichnete sich durch Frömmigkeit und sittlichen Lebenswandel aus. Auf das Brot eines Fremden sprach er keinen Segen, und nachdem er grossjährig geworden war, ass er selbst am Tische seines Vaters nicht (Chullin 7b). Den Zehent der Ernte nahm er sehr streng. In einer Stadt wurde die Ernte von den Mäusen angefressen. Pinchas b. Jair, an den sich die Einwohner wandten, erklärte die Sache so, dass kein Zehent von der Ernte gegeben wurde. Sie gaben ihn, worauf die Mäuse vom

* Die früheren Teile dieser Bemerkungen siehe in *Acta Antiqua*. IX. 1961. pp. 305—306; X. 1962. pp. 233—235; XI. 1963. pp. 149—154; XIII. 1965. pp. 267—272.

¹ S. RAPPAPORT: *Antikes zur Bibel und Agada*. Kaminka-Festschrift. Wien, 1937. pp. 82—84.

² *Aboth de Rabbi Nathan*. VIII. Ed. S. SCHECHTER. London—Wien—Frankfurt, 1887. p. 38; *Nachmanides ad Gen.* XXIV. 32. Ed. C. B. CHAVEL. I. Jerusalem, 1959. pp. 138—139; I. HEINEMANN: *תורה ומצוות*. Jerusalem, 1954. p. 98.

³ *Pesikta Rabbati*. XIV. Ed. M. FRIEDMANN. Wien, 1880. 56b—57a; *Bet ha-Midrash*. Ed. A. JELLINEK. I. Jerusalem, 1938. p. 74.

⁴ *Aboth de Rabbi Nathan*. VIII. p. 38; W. BACHER: *Die Agada der Tannaiten*. II. Strassburg, 1890. p. 496.

Anfressen des Getreides abliessen (Jer. Demaj. I. 3.). Die Aggada erzählt, dass auch sein Esel seiner Frömmigkeit folgte. Räuber stahlen ihn aus seinem Hause, liessen ihn drei Tage lang arbeiten, aber er war nicht geneigt zu fressen. Sie liessen ihn nach Hause, setzten ihm hier Gerste vor, er rührte sie jedoch nicht an. Es stellte sich heraus, dass sie nicht den Teil daraus entfernt hatten, von dem kein Zehent gegeben wurde.⁵

Diese Legenden hat die Literatur als jüdische Kuriositäten verbucht,⁶ aber sie sind es nicht. Es finden sich Parallelen zu ihnen. M. Guttman hat bereits auf eine hingewiesen.⁷ Hieronymus schreibt von Hilarius, seine Ochsen hätten die von einem Mönch geschenkt bekommenen Erstlinge von grünen Erbsen nicht gefressen, die — ohne den Zehent abzugeben — direkt vom Felde dahin gebracht wurden:⁸

Denique unum de fratribus in quinto fere a se milliario manentem, quia comperiebat hortuli sui nimis cautem timidumque custodem, et paucillum habere nummorum, ab oculis abegerat. Qui volens sibi reconciliari senem, frequenter veniebat ad fratres, et maxime ad Hesychium, quo ille vehementissime delectabatur. Quadam igitur die ciceris fascem virentis, sicut in herbis erat detulit. Quem cum Hesychius posuisset in mensa ad vesperum, exclamavit senex, se putorem ejus ferre non posse, simulque unde esset rogavit. Respondente autem Hesychio, quod frater quidam primitias agelli sui fratribus detulisset, non sentis, inquit, putorem terrimum, et in cicere foetere avaritiam? Mitte hubus, mitte brutis animalibus, et vide an comedant. Quod cum ille juxta praeceptum in praesepe posuisset, exterriti boves et plus solito mugientes, ruptis vinculis in diversa fugerunt. Habebat enim senex hanc gratiam, ut ex odore corporum vestiumque, et earum rerum quas quis tetigerat, sciret cui daemone, vel cui vitia subjaceret.

M. Guttman folgert hieraus: «An eine unmittelbare Entlehnung ist hier kaum zu denken, wohl aber an eine gewisse Gemeinsamkeit der Denkrichtung.»

Wir haben eine fernere Parallele gefunden. Das Etienne de Besançon zugeschriebene Alphabetum Narrationum erzählt eine Legende über die Schweine des Spitals des Heiligen Antonius. Diese durften mit einer Klingel am Halse auch in Gassen laufen, wo es anderen Schweinen versagt war:⁹

«Wie uns Jacobus von Vitry erzählt, lebte im Bistum von Lincoln ein Schmied, der die Anordnungen der Kirche verachtete. Er wurde deshalb in Bann getan. Eines Tages sass dieser Mann mit anderen beisammen und ass. Da lief ein Schwein des Heiligen Antonius zu ihnen ins Haus hinein. Der

⁵ Chullin 7a/b; Gen. R. LX. 8. Ed. CH. ALBECK. Berlin, 1927. pp. 648—649.

⁶ J. A. EISENMENGER: Entdecktes Judenthum. I. Frankfurt a/M., 1700. pp. 421—422.

⁷ M. GUTTMANN: Berührungspunkte zwischen talmudischem und umweltlichem Denken. Festschrift Immanuel Löw zum 80. Geburtstage. Breslau, 1934. pp. 180—181.

⁸ Vita S. Hilarionis. 28. Frater nimis cautus. PL. XXIII. col. 42.

⁹ D. P. ROTUNDA: Motif-Index of the Italian Novella in Prose. Bloomington, 1942. p. 3. B. 256. 2; S. THOMPSON: Motif-Index of Folk-Literature. I. Copenhagen, 1955. p. 410. B. 256. 2.

Schmied warf ihm ein Stück Brod hin, und sagte: Jetzt wird es sich zeigen, ob das Schwein des Heiligen Antonius mein Brod frisst, obgleich ich in Bann getan bin, oder nicht. Das Tier aber beschnüffelte das Brod, frass es jedoch nicht. Da bat der Schmied einen seiner Kameraden, dasselbe Brod in die Hand zu nehmen und es dem Tiere vorzuwerfen; er tat so, doch das Schwein wollte das Brod nicht berühren. Andere, die nicht mit dem Schmied beisammen sassen, gaben dem Schwein von ihrem Brod, und siehe, es ass es.»¹⁰

Auch hier ist von keiner literarischen Entlehnung die Rede. In den Legenden spiegelt sich die gemeinsame Überzeugung, dass die Tiere der Frommen dieselbe Auffassung haben wie ihre Besitzer.

II. PLÖTZLICHES ERGRAUEN

Als Eleasar b. Asarja (I—II. Jahrhundert) anstatt Gamliels II. zum Haupte des Lehrhauses in Jabne gewählt wurde, war er 18 Jahre alt. Sein Weib wollte ihn abreden und sagte: er habe doch keine grauen Haare. Am selben Tag geschah ein Wunder: 18 Haarreihen ergrauten (וַאֲהַדְרֵי לֵיהּ תִּמְנִי) (סְרִי דְרֵי הַחֲרִיתָא). Deshalb sagte er: «Ich bin wie ein Siebzigjähriger», und nicht: «Ich bin siebzig Jahre alt».¹¹ Nach einer Variante der Legende war damals Eleasar 16 Jahre alt und sein ganzes Haar war ergraut (בֶּן שֵׁשׁ עָשָׂרָה שָׁנָה הָיָה) (וְנִתְמַלָּא בְּלֵ רֵאשִׁי יְשִׁיבִית).¹²

In der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts erwähnt Suetonius ein ähnliches Wunder. Als Galba in Hispania Terraconensis ankam und in einem Tempel ein Opfer darbrachte, da geschah es, dass eines der diensttuenden Kinder, das ein Rauchfass in der Hand hielt, plötzlich ganz ergraute. Dies wurde als ein Vorzeichen angesehen, dass er zum Kaiser erwählt werden würde:¹³

«Acciditque, ut cum provinciam ingressus sacrificaret intra aedem publicam, puero e ministris acerram tenenti capillus repente toto capite canesceret, nec defuerunt qui interpretarentur, significari rerum mutationem successurumque iuveni senem, hoc est ipsum Neroni.»

Auch ein späteres Sagenmaterial weiss vom plötzlichen Ergrauen eines Kindes.¹⁴ Aber die jüdische Legende erzählt ausser dem obigen keinen anderen Fall, sondern nur den gegenteiligen: Das Haar des alten Abraham wurde — als ihm sein Sohn Isaak geboren war — schwarz.¹⁵

¹⁰ An Alphabet of Tales. Ed. M. M. BANKS. I. London, 1904. p. 215. No. CCCXII. (Early English Text Society. 126.)

¹¹ Ber. 28a; W. BACHER: Die Agada der Tannaiten. I³ Berlin, 1965. p. 212; W. BACHER: Tradition und Tradenten in den Schulen Palästinas und Babyloniens. Leipzig, 1914. p. 19; L. FINKELSTEIN: Akiba. Scholar, Saint and Martyr. New York, 1936. p. 127.

¹² Jer. Taanit 67d.

¹³ C. Suetoni Tranquilli quae supersunt omnia. Ed. C. L. ROTH. Lipsiae, 1865. p. 203.

¹⁴ V. CHAUVIN: Bibliographie des Ouvrages Arabes ou Relatifs aux Arabes. VII. Liège—Leipzig, 1903. pp. 112—113. No. 379 bis, Note 1.

¹⁵ L. GINZBERG: The Legends of the Jews. I. Philadelphia, 1947. p. 206.

Die Legende nährte sich diesmal von Lebenserfahrungen. Man hat in Vergangenheit und Gegenwart viele Fälle aufgezeichnet über plötzliches Ergrauen vor Schreck und Kummer.¹⁶

III. EHRENBEZEIGUNG DES VATERS VOR DEM SOHN

In der Aggada und in dem jüdischen Schrifttum ist es ein häufiges Motiv, dass der Vater vor dem Sohn oder Enkel aufsteht, weil dieser ihn in der Wissenschaft oder Würde überflügelt hat.

«Da ward's Jakob angesagt: Siehe, dein Sohn Joseph kommt zu dir. Und Israel machte sich stark, und setzte sich im Bette» (Gen. XLVIII. 2.). Dazu bemerkt ein alter, palästinischer Midrasch: «Damit wollte er der Macht Ehre erweisen. Mejascha, der Enkel des Josua b. Levi erhielt eine Würde (אֲבִי־וֹמָה = *áxiwōma*) von der Regierung, und wenn er nach Hause kam, stand sein Grossvater vor ihm auf, um der Macht Ehre zu erweisen.»¹⁷ Josua b. Levi (erste Hälfte des III. Jahrhunderts) erzählte selber, dass er vor seinem Sohn (R. Joseph) aufzustehen pflegt, um das Haus des Nasi zu beehren.¹⁸ Sein Sohn nämlich heiratete aus der Familie des Patriarchen.

Auch aus dem Mittelalter kennen wir dafür Beispiele. Ascher b. Jechiel zeichnete auf, dass R. Meir von Rothenburg (XIII. Jahrhundert) vom Tage an, als er berühmt wurde, seinen Vater nicht besuchte und nicht wollte, dass dieser zu ihm käme.¹⁹ Das Verhalten des hochgelehrten, aber auch in seiner Bescheidenheit bekannten Meisters kann nur so erklärt werden: er wollte nicht, dass sein Vater — der jüdischen Etikette des Zeitalters gemäss — vor ihm aufstehe.²⁰ Der Aufzeichner selber, Ascher b. Jechiel — ein Schüler des R. Meir von Rothenburg — pflegte in Toledo vor seinem Sohn Jechiel, wenn dieser die Synagoge betrat, aufzustehen, weil der Sohn gelehrter war als er.²¹ Das Gesetzbuch Schulchan Aruch des Joseph Karo im XVI. Jahrhundert registrierte dies auch mit einiger Milderung: «Ist der Vater der Schüler seines Sohnes, so sollen beide aufstehen.»²²

Aulus Gellius (erste Hälfte des II. Jahrhunderts) erzählt vom Konsul Q. Fabius Maximus, dass sein Vater Fabius gezwungen war, wenn er seinem Sohne begegnete, vom Pferde zu steigen, denn es handelte sich um die Würde des römischen Volkes:²³

¹⁶ TH. LOCHTE: Atlas der menschlichen und tierischen Haare. Leipzig, 1938. pp. 32—34. (Den Hinweis auf dieses Buch verdanke ich Herrn Prof. L. HARANGHY).

¹⁷ Gen. R. XCVII. 2. Ed. CH. ALBECK. p. 1242; Midrash Haggadol. Genesis. II. Ed. M. MARGULIES. Jerusalem, 1947. p. 817.

¹⁸ Kidduschin 33b.

¹⁹ Kidduschin I. 57.

²⁰ J. WELLESZ, REJ. LVIII. 1909. p. 230.

²¹ D. KAUFMANN, MGWJ. XL. 1896. p. 186.

²² Jore Dea § 240, 7.

²³ A. Gelli Noctium Atticarum libri XX. Ed. C. HOSIUS. I. Stuttgart, 1959. p. 93. (II. 2.)

«*Deinde facti consules Sempronius Graccus iterum Q. Fabius Maximus, filius eius, qui priore anno erat consul. Ei consuli pater proconsul obviam in equo vehens venit neque descendere voluit, quod pater erat, et, quod inter eos sciebant maxima concordia convenire, lictores non ausi sunt descendere iubere. Ubi iuxta venit, tum consul ait 'quid postea?'; lictor ille, qui apparebat, cito intellexit, Maximum proconsulem descendere iussit. Fabius imperio paret et filium collaudavit, cum imperium, quod populi esset, retineret.*»

Zwischen den aggadischen Texten und der klassischen Quelle besteht nur in der Tongebung ein Unterschied zugunsten der ersteren. Geist und Auffassung ist jedoch beiden gemein.

IV. BITTERES IM SÜSSEN

Indem ich den Weg dieses Bildes verfolgte, habe ich das fehlende Kettenglied seitdem im jüdischen Schrifttum des Mittelalters gefunden.

In der in Versen verfassten Streitschrift des Saadja gegen Chiwi kommt die Strophe vor, deren vergleichenden-literaturgeschichtlichen Hintergrund die Forscher bisher ausser acht gelassen haben.

הלא כאשר יסר איש את בנו · בשבמו ושיקפו יבאבו וירב עצמו · להחדילו
מרעתו ומחלו ולעשות רצונו · בן י"י אלהינו מיסר את עם המינו :

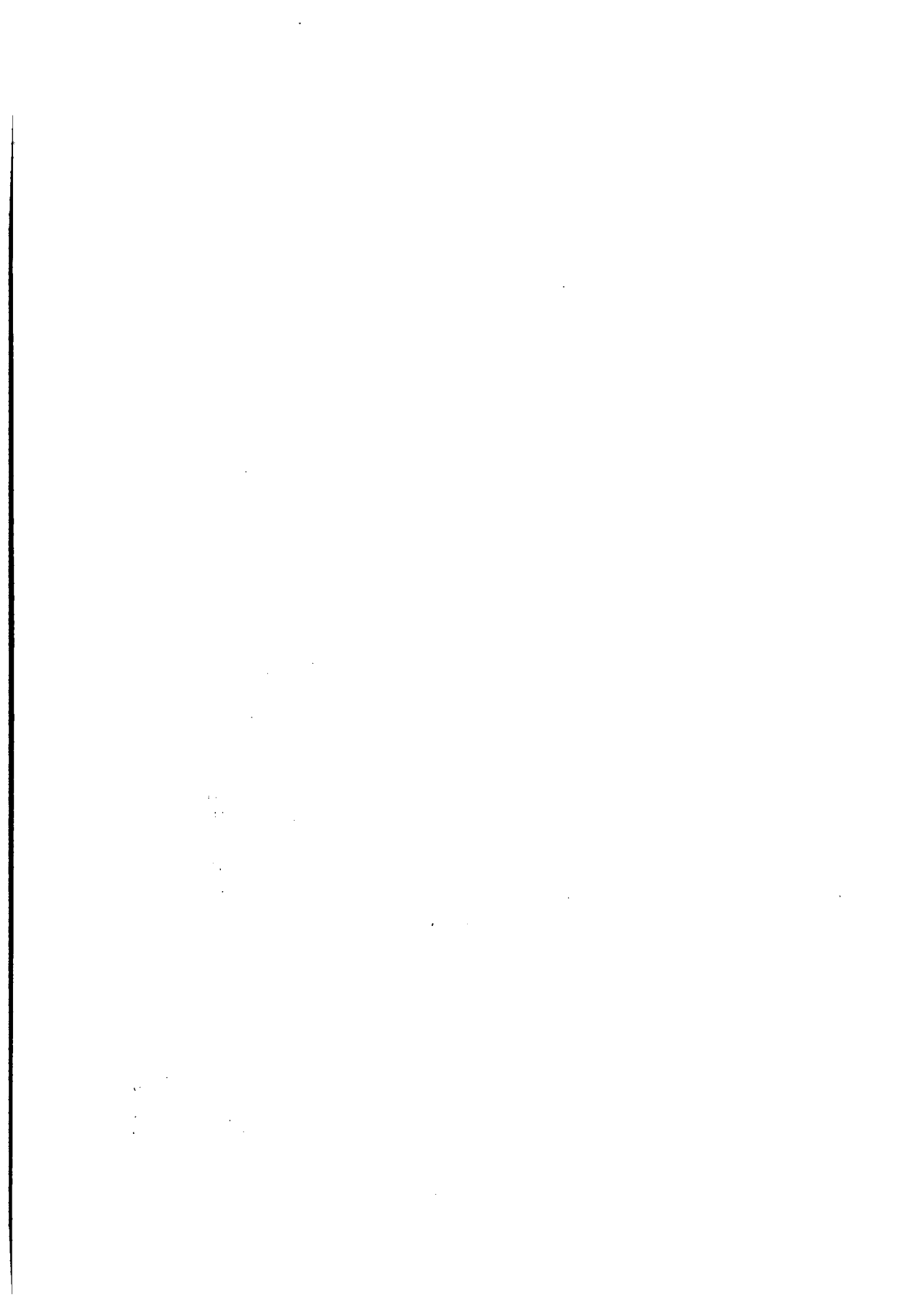
Davidson²⁴ und Poznanski²⁵ neigen zu einer Textverbesserung, obgleich der Text ganz klar ist: «Nicht wahr, wie der Mensch seinen Sohn züchtigt, mit seinem Stab und seinem Trank ihm Schmerz verursacht und sein Leiden vergrössert, damit er ablasse von seiner Schlechtigkeit und seiner Krankheit und seinem Willen willfahre, so züchtigt auch der Ewige, unser Gott sein murrendes Volk.» Der Sinn des Textes ist folgender: mit seinem Stabe will er ihm die schlechte Neigung und mit seiner bitteren Arznei die Krankheit austreiben. S. A. Wertheimer weist richtig auf eine Parallele in Saadjas philosophischem Werke hin:²⁶ «Die Leiden, die ihnen der Schöpfer auferlegt, sind dazu da, damit sie sich bessern, gleich der Rüge ihres Vaters, mit der er sie züchtigt und vermahnt, damit sie keinen Schaden erleiden, oder wie er sie bittere, unangenehme Arzneien trinken lässt, um ihre Krankheit zu heilen.»²⁷

²⁴ I. DAVIDSON: Saadia's Polemic against Hiwi al-Balkhi. New York, 1915. p. 66.

²⁵ S. POZNANSKI: Ein Fragment der polemischen Schrift Saadja Gaons gegen Chiwi al-Balkhi. (Hebräisch.) Warschau, 1916. p. 33; ZfHB. XX. 1917. p. 52.

²⁶ S. A. WERTHEIMER: נאמן הנאמין Jerusalem, 1925. p. 50; M. GIL: Khivi Ha-Balkhi, the Khurasani Atheist. (Hebräisch.) Merhavya, 1965. p. 92.

²⁷ אגדת ורצונו V. 3; ähnlicherweise lesen wir in einem anonymen hebräischen Gedicht: „Darum isst der mit weisem Herzen Begabte das Bittere, das nützt“ (יעיל הרי) (בנת). Siehe M. STEINSCHNEIDER, ZfHB. IX. 1905. p. 26. No. 7.



L. VARGA

DE OPERIBUS PHILOLOGICIS ET POETICIS
IOANNIS SAMBUCI

Ioannes *Sambucus* (Hungarico idiomate *Sámboky*, *Zsámboki*), unus e viris doctissimis saeculi XVI. erat, non solum per Hungariam, verum etiam per totam Europam celebratus, natus est Tirnaviae, anno 1531. Singulari ingenio praeditus, scholas inferiores mediasque perbrevis cursu confecit annoque aetatis suae 12-o Viennam missus Graecas litteras discere coepit. Inde Lipsiam in domum Ioachimi *Camerarii*, viri doctissimi delatus est, a quo Sambucus noster operibus scriptorum poetarumque Graecorum atque Romanorum imbutus, 14. annum aetatis agens ad studia superiora peragenda nomen in tabulis Universitatis Vitebergensis inscripsit. Sambucus auditor fit Philippi *Melanchtonis*, linguam Graecam profitentis.

Anno 1549. in Academia Ingolstadiensi eum invenimus. Interim, magnos progressus in lingua Graeca faciens, demegorias, id est orationes selectas ex operibus Xenophontis in linguam Latinam transtulit, ad usum iuvenum Graecae linguae studiosorum. Translationes suas Sambucus Vito *Amerpachio*, professori Ingolstadiensi perlegendas et corrigendas tradidit. Amerpachius, perlectis his rudimentis, summa admiratione erga iuvenem affectus, laudabat ingenium eius, mox hortabatur, ut has translationes prospere confectas in lucem ederet, una cum illis poematibus Latinis Graecisque, quae postremis annis exaravit.

Ibidem Ingolstadii Sambucus amicitiam coniunctissimam iniiit cum Petro *Lotichio* Secundo, poeta Latino Germanorum in elegiaco poeseos genere maxime praestantissimo.

Anno insequenti 1550. Sambucus Argentoratum se contulit ad magistrum eloquentiae longe celeberrimum, Ioannem *Sturmium* audiendum. Sturmio praeceptore atque instructe Sambucus plurimum studii operibus Ciceronis navavit. Vix 19 annos natus, eodem anno 1550. Argentorati primum suum opus edidit, dialogos Luciani selectos cum textu bilingui Graeco-Latino. Versiones Latinas a Iacobo Mycillo, Erasmo atque Thoma Moro est mutuatus. Quod in hac editione genuine Sambuci est, id in illis versibus tetrastichis nobis occurrit, quos Sambucus unieuique dialogorum praefixit et in quibus argumenta, relationes mythologicas sententiasque morales dialogorum con-

cinnavit. — Editionem supra memoratam quattuor — de quibus scimus — editiones sunt secutae (1554, 1556, 1572, 1576).

Praecipue notabilis est illa editio Luciani, quae anno 1563. Basileae prodiit. Haec enim editio non selecta, sed *omnia* opera Luciani continet, praeterea cum animadversionibus criticis commentariisque uberrimis *Sambuci* instructa est. Praeter notas Sambuci etiam observationes Gilberti *Cognati* (Cousin) Nozereni, philologi Francogallici in hac editione invenias. Praestantissima haec editio annis 1602. et 1619. Basileae denuo recusa est. Omnes haec tres editiones per duo saecula in optimis Luciani editionibus habebantur. Etiam in his tribus editionibus maxima pars illorum versuum tetrastichorum legi possunt, quos Sambucus iam ad primam suam Luciani editionem (1550) conscripsit.

Anno 1551. Parisios Sambucus proficiscitur, ut praelectiones Collegii Regii (Collège Royal) frequentaret. Statim suo adventu Parisiis orationem habuit, cuius argumentum erat oratores ante poetas cognoscendos esse. In Collegio Regio operam imprimis historiae litterarum Graecarum dedit, in quibus studiis maximus eius inspirator Adrianus *Turnebus*, philologus excellentissimus Gallorum erat. Artem logicam dialecticaeque disciplinam a Petro *Ramo*, scientiam autem matheseos a Paschasio *Hamelio* audiebat. Familiariter utebatur Ioanne *Aurato* (Dorat), poeta eximio Latino, qui aliquot annis post in eodem Collegio fungebatur, ut professor litterarum antiquarum.

Parisiis coeperat Sambucus versari in arte medicinae, ibidemque anno 1552. magister philosophiae factus est. Litterarum imprimis Graecarum studiosus, duos Platonis dialogos (Alcibiaden secundum, Axiochum) in Latinum vertit codicesque Graecos Platonis atque Aristotelis sibi comparavit. Hic, Parisiis exigit opus intitulatum «Epistolarum conscribendarum methodus», ad quod perficiendum compluribus epistolis Graecis e Libanii operibus sumptis usus est, quas in Latinum transtulit.

Parisiis discedens anno 1552. Basileae prelo subiicit opusculum suum, quod *Demegoriai* inscribitur, duabus partibus constans. Pars prima orationes illas selectas e Xenophonte — una cum translationibus Latinis a Sambuco factis — continet, ad quas edendas Amerpachius professor Ingolstadiensis supra memoratus Sambucum hortabatur. Huic primae parti adiecta est illa Oratio, quam Parisiis primo suo adventu habuit, quaeque oratores ante poetas a pueris cognoscendos esse tractat. Pars altera opusculi poemata Latina atque Graeca iuvenilia («primitias») Sambuci nobis praesentat. Excellentissimum est horum primum carmen, *Pannonia ad Germaniam*, in quo poeta auxilium Germaniae rogat ad impetum Turcarum repellendos. Praestantiora sunt porro ea carmina, quae Vito *Amerpachio*, Ioanni *Sturmio*, Ioanni *Aurato*, P. *Lotichio* Secundo, Georgio *Sabino* sunt dedicata.

Sambucus in breve tempus Viennam redux, iussu imperatoris Ferdinandi I. metaphrasin Latinam fecit e carmine epico Sebastiani *Tinódi*, poetae

Hungarici, quod poema oppugnationem arcis Agriae a Turcis factam describit. In hac obsidione milites Hungarici, arcis defensores, duce Stephano *Dobó* victoriam gloriosam de Turcis consecuti sunt.

Anno 1553. ad studia sua superiora continuanda ex urbe Vienna in Italiam, Patavium proficiscitur. Hic, studiis medicinae deditus, anno 1555. licentiatum ad hanc artem exercendam assequitur. Magis magisque litteraturae Graecae atque Latinae haerens, maximam diligentiam impendit ad studium antiquitatis, codices manuscriptos quam plurimos conquirat, libros ex omnibus generibus scientiarum colligit, nummos antiquos rari pretii perscrutatur atque coemit. Amicitias coniungit cum cultoribus litterarum humaniorum, cum viris doctissimis Italiae sui temporis. Ex his nominandi sunt Paulus *Manutius*, Franciscus *Robortellus*, Marcus Antonius *Muretus*, Petrus *Victorius*. Discipulos quoque duos ex Hungaria habebat Sambucus Patavii, nomine Georgium *Bona* atque Nicolaum *Istvánffy*. Ille nepos Nicolai *Oláh* archiepiscopi Strigoniensis erat, hic post aliquot decennia historicus eximius. Ambos iuvenes curandos atque instruendos Nicolaus *Oláh* commisit Sambuco.

Quamquam Sambucus variis occupationibus erat distentus, tamen carmina quoque complura composuit, eaque Patavii anno 1555. edidit. Titulus editionis: *Poemata quaedam*. Editio maxima ex parte carmina didactica continet, quae sententias morales, vulgo aureas dictas, ad vitam quotidianam utilissimas praebent discipulis. Librum hunc aureum Sambucus discipulis suis duobus dicavit. Praeter autem epigrammata didactica inveniuntur in hoc libello quaedam carmina longiora, quae Sambucus professoribus suis aliisque doctissimis viris (Camerario, Amerpachio, Sturmio, Manutio, Robortello, Lotichio) inscripsit. Quaedam etiam familiaria inter alia legi possunt, per exemplum ad *Petrum Sambuky* (sic!) parentem suum, ad *Nicolaum Oláh* archiepiscopum scriptum carmen. Quaedam poemata amorem patriae spirant, in quibus poeta Hungariam a Turcis vexatam discordiisque intestinis laceratam deplorat. — Omnia haec permulta nobis additamenta praebent ad curriculum vitae Sambuci componendum. Invenias demum etiam aliquot satiras in hac editione, in quibus Sambucus doctum se imitatore[m] Horatii ostendit.

In carminibus huius editionis Sambucus metris versuum maxime variis usus est, ut exempla imitatione digna suis duobus aliisque discipulis — artem poeticam exercentibus — suppeditaret.

Postquam Sambucus quattuor annos Patavii commoratus est, anno 1557. Viennam rediit, ubi iussu Ferdinandi imperatoris codices Bibliothecae Universitatis in ordinem redegit multosque eorum ab interitu vindicavit. Anno insequenti (1558) Viennae opus historicum *Ranzani* publicavit, quae huius auctoris princeps editio est. Sambucus etiam Appendicem Ranzano suo adiunxit, res recentissime gestas continentem. — Ibidem eodemque anno prelo subiecit duos illos dialogos Platonis, quos Parisiis in Latinum transtulit.

Exeunte anno 1558. Patavium reversus Kalendis Ianuariis anni 1559. selecta epigrammata aliaque carmina minora *Iani Pannonii*, poetae illius celeberrimi «nunc primum inventa» in lucem protulit.

Anno 1559. Georgius *Bona*, discipulus dilectissimus Sambuci, Patavio in Hungariam reversus, mortuus est. Memoriae iuvenis Sambucus Orationem funebrem dicavit, compluresque ex amicis Sambuci in mortem Bonae epitaphia scripserunt, Sambucoque nostro, magnum dolorem aegerrime ferenti, epistulas consolatorias miserunt. Orationem funebrem una cum epitaphiis atque epistulis Sambucus anno 1560. Patavii in lucem prodidit. Eodem anno 1560. etiam *Lotichius* poeta, amicus vetus Sambuci obiit.

Anno 1560. Sambucus iterum Parisios proficiscitur. Instaurat amicitias suas veteres cum Turnebo, Aurato, Hamelio, Ramo aliisque, novasque iungit cum Carolo *Clusio* botanico, Dionysio *Lambino* philologo, Ioanne *Groliero* nummothecario, cum Iacobo *Graevino* (Grévin) poeta, Henrico *Stephano* philologo et typographo. Clusius, botanicus clarissimus suae aetatis, aliquot annis post Viennam profectus, in aula Caesaris una cum Sambuco studia sua colebant; cum Lambino quaestiones philologiae artisque poeticae inter se disceptabant; a Groliero maximam partem nummorum antiquorum Sambucus sibi comparavit; Graevinus fuit ille, qui post aliquot annos emblemata Sambuci in linguam Francogallicam convertit; Stephanus, unus ex optimis amicis, temporibus posteris collaborator Sambuci erat.

Illius libelli, qui Orationem funebrem in obitum Georgii Bonae conscriptam continebat, quique anno 1560. Patavii prodit, anno 1561. Parisiis Sambucus novam auctamque editionem imprimendam curavit. Haec enim editio etiam recentiores epistulas consolatorias communicat, praeterea carmen funebre, quod *Turnebus* memoriae Georgii Bonae 95 hexametris composuit. Georgius Bona non erat auditor Turnebi, carmen igitur admodum longius testatur solidam intimamque illam amicitiam, quae inter Sambucum Turnebumque vigeat.

Aliud etiam opus Sambuci anno 1561. Parisiis in lucem prodit: *De imitatione Ciceroniana*. Dialogus hoc est inter Sambucum atque Georgium Bona, magister igitur eiusque discipulus tractant inter se quaestionem, utrum Cicero solus in stylo Latino imitandus sit, an minus? Opus suavissimum, in quo Sambucus etiam historiam litterariam huius quaestionis pertractat, monumentum pulcherrimum est, quod magister discipulo suo consecrare potest. Ad posteriores huius operis editiones (1563, 1568) Ciceronis *Somnium Scipionis* adiunxit Sambucus, paraphrasi atque commentariis animadversio-nibusque criticis instructum.

Galliam relinquens, iterum ac iam tertium Italiam petit noster. Aliquot hebdomadas Genuae commorans, commentaria ad *Horatii* Artem poeticam componit. Editio Horatiana Sambuci anno 1564. Antverpiae apud Christophorum Plantinum lucem vidit. Commentariis suis subtilissimis Sambucus

magnam laudem apud doctos viros adeptus est. — Genua discedens, iterum ad fixam suam sedem, Patavium revertitur. Hinc et deinde per totam Italiam longiora itinera facit eo certo consilio, ut quam plurimis codicibus coemendis augeat thesauros suos iam prius coacervatos. Codicum igitur conquirendorum causa complures Italiae urbes adit, quibus itineribus ubivis occasiones ei offeruntur ad novas amicitias cum viris doctissimis iungendas. Venetiae cum Ioanne Michaele *Bruto*, rerum scriptore init amicitiam, Florentiae Petrum *Victorium*, Romae Paulum *Manutium* convenit. Postquam Neapoli multos pretiosos codices comparat, rediens denuo Romam frequentat, ubi in amicitiam et familiaritatem Fulvii *Ursini* recipitur. Coniunctio cum his viris Sambuco valde fructuosa erat, praesertim cum Victorio atque Ursino, qui Sambucum in disciplinam et methodum — quomodo codices legendi sint — introduxerunt.

Anno 1563. Sambucus complura centena codicum, complura milia librorum magnamque vim nummorum antiquorum ceterorumque artificiorum Patavio Viennam transportat, ut statim in Bataviam proficiscatur, ubi in urbe Gandavo (Gent) emblematis scribendis finem faciat eaque prelo subiiciat. Antverpiam veniens amicitiam init cum Christophoro *Plantino* typographo doctissimo. Amicitia duorum virorum brevi exemplar sinceræ atque coniunctissimæ familiaritatis evasit. Plantinus non solum admirabatur doctrinam, eruditionem singularemque peritiam Sambuci in compluribus scientiis, verum etiam omnia effecit, ut amico suo dilectissimo in omnibus auxilio esset. Animo promptissimo cum adiuvabat in quaestionibus studiorum, plurimaeque editiones Sambuci abhinc ex officina Plantini prodierunt. Nomina duorum virorum in omnibus suis studiis eventibusque litterariis artissime coaluerunt.

Kalendis Ianuariis anni 1564. Sambucus emblemata sua ad edendum parata apud Plantinum collocavit. Editio, quae eodem anno illustrationibus pulcherrimis instructa prodiit, testibus contemporaneis omnium huius generis editionum perfectissima fuit.

Apud Batavos alter vir excellentissimus Sambuco collega fit: Hadrianus *Iunius*, a multis «alter Erasmus» dictus ob insignem eruditionem. Iunius multis in rebus Sambuci par erat: artem medicinae exercebat, sicut Sambucus; praeter medicinam maximam partem studiorum suorum litteris antiquis conferebat atque emblemata componebat, sicut amicus Hungarus. Iunius annis insequentibus collaborator maxime strenuus et fidelissimus fit Sambuci; in auctoribus ad edendum praeparandis, Graecisque scriptoribus in Latinum vertendis erat socius laborum.

Aestate anni 1564. — post viginti duos annos apud exteros exactos — Sambucus iter domum revertendi ingressus est. Priusquam autem ex Batavia discederet, Artem poeticam *Horatii*, commentariis instructam apud Plantinum excudendam curavit.

Sed redeamus ad *emblemata* Sambuci, quae tractationem paulo exquisi-

tiorem merentur. Emblematis, quod genus poeseos saeculi XVI. plane novum erat, inventor cultorque primus Andreas *Alciatus* (Alciati) — natione Italus — fuit. Emblematis praecipuum indicium imago quaedam aut figura est — ideo «emblemata» dictum — carmini praefixa; ipsum carmen — sicut fabula — plerumque sententiam quandam moralem explicat, sed non solum per exempla animalium, verum etiam ex quibuslibet thematibus argumentum hauriens; quam ob rem carmen ipsum non solum didacticum, sed etiam philosophicum est. Ipsa autem imago idem argumentum illustrat, quod carmen explicat, id est imago atque carmen stricte inter se cohaerent.

Quod fons usitatissimus emblematum hieroglyphica Aegyptiorum erant, quae modo difficulter solvi poterant, eadem obscuritas est proprium etiam imaginibus emblematum, in quibus, sicut in aenigmatibus, omnia argumenta in ambages sunt recondita. Hae ambages igitur lectoribus emblematum solvendae sunt, quae ingenii exercitationes valde oblectabant eos, qui in litteratura, historia atque mythologia antiquorum periti erant.

Alciatus emblematis suis famam incomparabilem nactus est. Emblemata eius — una cum traductionibus in linguas diversarum nationum factis — ab initio saeculi XVI. usque ad postrema tempora plus quam 150 editionibus erant divulgata, complures harum notis atque explicationibus copiosissimis instructae. Auctorem celeberrimum multi viri docti sunt imitati, inter quos Sambucus noster locum praestantissimum obtinet, quia is non solum imitabatur Alciatum in novo hoc genere poetico, verum etiam ad summum artificium illud perduxit. Claudius *Minos* (Claude *Mignault*), clarissimus commentator Alciati, emblemata absolutissima et perfectissima — post Alciatum — Sambucum Pannonium scripsisse confirmat (Embl. Alciati, Parisiis, 1618).

Etiam Sambuci emblemata, quae apud homines doctiores maximum sibi favorem conciliaverunt, complures editiones (1564, 1566, 1569, 1576, 1584, 1599) sunt consecuta. Omnes hae editiones apud Plantinum prodierunt. Plantinus, ut haec emblemata etiam linguis vernaculis legi possent, statim ut prima editio apparuit, transvertenda ea curavit. Ita evenit, ut emblemata Sambuci iam anno 1566. in lingua Batavorum, translatione Marci Antonii van *Diest*, anno autem 1567. in versione Francogallica, quam *Graevinus* poeta fecit, in lucem prodierint. Anno 1586. Geffrey *Whitney* plus quam 50 ex emblematis Sambuci, variis abbreviationibus aut amplificationibus adhibitis, in linguam Anglicam transformavit eaque suis ipsius emblematis adserta publicavit. *Shakespeare*, poeta celeberrimus Anglorum, emblemata haec diligenter lectitabat. Henricus *Green* (*Shakespeare and the Emblem writers*. London, 1870) exemplis copiose prolatis demonstravit poetam Anglorum multas sententias descriptionesque emblematicas e poematibus Sambuci hausisse, iisque in operibus suis dramaticis passim usum fuisse.

Emblemata Sambuci, quod vulgo proprium est huius poetici generis, plerumque moralis argumenti sunt, id est auctor mores pravos hominum

carpit. Laudibus effert autem omnia praeclara facta studiaque virorum bonorum, omnesque conatus nobiles, qui ad artes scientiasque promovendas tendunt. Protector est pauperum, propugnator iustitiae, nuntius humanitatis, qui omnibus hominibus aequitatem panemque quotidianum postulat. Magna pars emblematum ad historiam Hungariae a Turcis hostibus oppugnatae spectat. Sambucus etiam ut patriae amans vir documenta splendidissima in suis carminibus nobis reliquit.

Si quaeras, quibus de fontibus Sambucus themata ad emblemata sua conscribenda sumpserit, investigationibus penitus perductis certe constat opera *Aeliani* (De natura animalium, Varia historia) maxima ex parte a Sambuco eruta esse, praesertim exemplis animalium productis; praeter Aelianum frequenter usus est Sambucus Naturali illa Historia *Plinii* maioris, illisque operibus *Plutarchi*, quae naturales quaestiones tractant (praesertim De sollertia animalium). Persaepe porro invenias apud Sambucum sententias varias ex operibus *Horatii* sumptas, item praecepta philosophiae Stoicae, quae ad *Senecam* referuntur. Ad narrationes mythologicas *Ovidii* Metamorphoses praebebant ei materiam uberrimam. Quod autem ad perfectissimam pulcherrimamque linguam poeticam pertinet, multis in locis stylum *Vergilii* est imitatus Sambucus. Multa quoque ex *Homero* sumpsit, quaedam autem ex aliis scriptoribus — praesertim historicis — poetisque antiquitatis. Sed maximi momenti planeque peculiaris dulcedinis sunt in emblematibus Sambuci illa vestigia, quae ad Hieroglyphica *Horapollinis* (Horus Apollo) referri possunt.

Emblemata Sambuci magnam vim exercebant in aequales, praestantiores emblematum scriptores saeculi XVI. In his nominandi sunt Hadrianus *Iunius*, Ioachimus *Camerarius* minor atque Nicolaus *Reusner*, qui non solum argumentis assumptis, sed etiam illustrationibus a Sambuco mutuatis imitabantur poetam Hungaricum.

*

Sambucus ex Batavia reversus mense Septembri anni 1564. Viennam pervenit. Antequam pervenisset, Ferdinandus imperator mortuus est. Sambucus in memoriam imperatoris longiorem Orationem funebrem composuit, quae totum vitae cursum Ferdinandi, insertis omnibus rebus ab eo gestis, complectitur. Orationem hanc, aliquot epitaphiis — quae ipse fecit — auctam, anno 1565. Viennae edidit.

Sambucus Viennae considens, auleae Caesareae historicus medicusque est adscitus. Anno 1565. moritur pater, qui — quamquam dives non erat — filium opibus adiuvare nunquam desiit. Sambucus de obitu patris longiore epistula Plantinum certiore fecit, quam epistolam Plantinus ut documentum singulare pietatis filii erga parentem, editioni Plautinae Sambuci anno 1566. publicatae inseruit. — Anno 1567. Sambucus uxorem sibi duxit.

In aula Caesarea, Maximiliano regnante, permulti viri doctissimi fungebantur, qui ex tota Europa ab imperatore invitati huc convenerant. In corona

virorum illustrium Sambucus ipse locum longe eminentissimum obtinebat. Viri praeclarissimi non solum in aula degentes, verum etiam ex omnibus partibus Europae Viennam frequentantes Sambucum concelebrabant, imprimis propter eius singularem eruditionem propterque illos prosperrimos eventus, quos in litteris colendis consecutus est, deinde propter illius ditissimam codicum congeriem, bibliothecamque libris pretiosis confertam.

Sambucus etiam hinc, ex urbe Vienna sustentabat cum viris extraneis illa commercia litteraria, quorum fundamenta ipse iam prius, temporibus itinerum suorum ad externos factorum iecerat. Epistulis invicem missis pertractat Sambucus varias quaestiones litterarias atque philologicas cum Petro Victorio, Guilielmo Sirleto, Paulo Manutio, Fulvio Ursino.

Statim, cum Sambucus confectis suis itineribus extraneis locum sibi Viennae assiduam cepit, magnificum programma sibi proscripsit: Velle enim se e codicibus collectis novos auctores (editiones principes) in publicum emittere, textus auctorum iam ab aliis editorum meliores reddere, id est eorum novas emendatasque editiones praeparare, auctores cum animadversionibus criticis coniecturisque instruere iisque notas commentariaque rerum addere. Praeter haec communicavit Sambucus codicibus suis non solum se ipsum usurum, sed etiam, ut auctores Graeci atque Latini quam primum brevissimoque tempore in lucem prodirent, eos aliis quoque viris doctis typographisque se permissurum esse.

Quod Sambucus, vir studiosissimus atque indefessus, orbi litterario verbis promisit, id summo labore summaque diligentia re vera executus est. Quam multos magnosque labores Viennae exegerit, haec eius opera testantur:

Anno 1565. Antverpiae apud Plantinum *Petronium* edidit, qua editione textum Petronii hucusque mendosum, corruptum fragmentisque constantem ex antiquo quodam codice plurimis in locis restituit atque complevit, coniecturis sagacissimis notisque utilissimis locupletavit. Teste Oberto *Gifanio*, philologo Batavorum, Sambucus textum Petronii adeo meliorem reddidit, ut quasi iam nihil amplius ad textum integrum desideres. (Noli autem Cenam Trimalchionis in editionibus saeculi XVI. requirere, quod vulgo constat huius textum modo anno 1664. primum Patavii prodiisse!). *Plantinus* autem typographus praestantiam editionis Sambuci adhuc eo amplificavit, quod notas observationesque criticas etiam aliorum doctorum virorum (Ob. Gifanii, Hadr. Iunii etc.) textui adiunxit. Etiam Petrus *Burmamnus*, paene ducentis annis post, in suis editionibus Petronianis (Traiecti ad Rhenum 1719., Amstelodami 1743.) Sambucum *primum* fuisse confirmat, qui textum Petronii adhuc valde lacerum magna ex parte restituit ideoque a toto orbe litterato maximam ei gratiam deberi contendit. Sed verbis amplissimis est efferendum, quod etiam editio Lipsiensis Conr. Gottlob *Antonii* anno 1781. evulgata non solum quod ad textum attinet, editione Sambuci nititur, verum etiam notas prope integras inde sumpsit. Immo P. *Nisardus* in editione sua bilingui Parisiensi

anni 1875. (Notice sur Pétrone, pag. V.) praestantissimam dicit Antonii illam Petronii (anni 1781.) editionem, de qua nobis haud ignotum est textum illius ad editionem Sambuci anni 1565. referendum esse.

Anno 1566. editionem principem epistularum eroticarum *Aristaeneti* Antverpiae emisit Sambucus. Omnes editiones posteriores per tria saecula — variis quidem lectionibus et coniecturis — hanc Sambuci editionem sunt secutae. Rudolphus *Hercher*, editor Epistolographorum Graecorum (Parisiis 1873.) tradit etiam nostris temporibus modo unicum illum Codicem Vindobonensem ad Aristaenetum cognoscendum exstare, quem Sambucus olim sibi comparavit. Sambuco igitur debemus gratiam, quod Aristaenetum nobis ab interitu vindicavit.

Anno 1566. grande opus philologicum Sambuci Antverpiae apparuit, in quo doctissimus noster compluribus vetustis suis codicibus collatis plus quam mille in locis animadversiones criticas observationesque varias ad textum *Diogenis Laertii* restituendum complendumque dedit, opus iis philologis conscriptum, qui consilium sibi proposuerint temporibus posteris meliorem textum auctoris divulgare. Usque ad tempora enim Sambuci editiones etiam Diogenis Laertii cum textibus valde corruptis in lucem prodibant.

In clarissimis porro editionibus Sambuci est illa numeranda, quae anno 1566. publicata novos textus *Plauti* in manus lectorum dedit. Quae editio superavit etiam illam hucusque optimam editionem Plauti, quam Ioach. *Camerarius*, professor Lipsiensis, adhibitis illis fundamentalibus codicibus Palatinis anno 1552. Basileae publicavit. Sambucus textum Camerarii plus quam trecentis versibus e suis codicibus auxit, apparatuque critico locupletavit. Teste Plantino typographo, qui etiam aliorum virorum doctorum lectiones editioni adiecit, omnium Plauti editionum exactissimam illam esse iudicavit, quam Sambucus in publicum dedit. Haec editio autem eo maioris momenti erat, quod imitatione digno suo exemplo etiam alios viros doctos ad novos Plauti codices perscrutandos incitavit. Sic evenit, ut anno 1568. compluribus collaborantibus, curante Caelio Secundo Curione ipsoque Sambuco adiuvante, Basileae nova Plauti editio apparuerit, quae etiam dissertationes Greg. *Gyraldi*, Jul. Caes. *Scaligeri*, Andr. *Alciati*, Ioach. *Camerarii* sen. aliorumque ad Plautum spectantes in se continet. Editio longe celeberrima suae aetatis.

Anno 1568. Sambucus Antverpiae editionem *Eunapii* principem vulgandam curavit, una cum versione Latina. In Graeco textu edendo collaborator fuit Hadrianus *Iunius*, qui versionem Latinam fecit, textuique Graeco animadversiones suas adiecit. Eodem anno opus historicum Bonfinii edidit, de quo infra uberius.

Sententias selectas *Gregorii Nazianzeni* anno 1568. Antverpiae publicavit. Editio haec princeps Greg. Nazianzeni fuit. Post decem annos (1578) Cracoviae altera eius editio apparuit. Celebratissima Sambuci editio princeps

fuit etiam *Nonni* Dionysiaca, anno 1569. Antverpiae in lucem emissa. Respublica litteraria hanc editionem maximo cum applausu accepit. In opere satis magno edendo collaborator Sambuci fuit Gerhardus *Falkenburg*, qui textum Graecum animadversionibus suis instruxit. Editio haec etiam ut opus typographicum praestantissimum fuit, nam Plantinus, cum auctorem hunc ad edendum procuraret, speciosissimis typis Graecis usus est. Complures Nonni editiones posteriorum temporum — usque ad textum *Köchlii* (Lipsiae 1857—58. Teubner) — in editione Sambuci anni 1569. nitebantur, immo omnium optima Nonni editio ab Arthuro *Ludwich* concinnata (Lipsiae 1909. Teubner) etiam Sambuci atque Falkenburgii lectiones per integros Nonni 48 libros in suo copiosissimo apparatu nobis adducit.

Optime Sambucus meritis est etiam de carminibus *Iani Pannonii*, quae anno 1569. Viennae edidit. Omnibus ex editionibus adhuc publicatis haec est, quae plurima poetae carmina in se continet. In carminibus investigandis Sambuco Ioannes *Listhius* cancellarius regius erat auxilio. Sambucus in Praefatione magnis laudibus celebrat ingenium Iani Pannonii, quem quovis antiquo poeta comparandum censet, quique praeterito saeculo etiam in poetas recentioris aetatis magnam vim exercuit. — Quae carmina Iani Pannonii Sambucus edidit, eadem invenias iterum recusa in illa *Parei* editione, quae «Delitiae Poetarum Hungaricorum» inscripta est (Francofurti, a. 1619).

Editio princeps fuit etiam illa, in qua Sambucus librum *Hesychnii* Illustrii («de his, qui eruditionis fama claruere») anno 1572. Antverpiae in publicum dedit, una cum Latina versione Hadriani *Iunii*, qui etiam in editione procuranda Sambuco praesto fuit. Iunius etiam observationibus suis criticis textum Graecum instruxit.

Vegetii Mulomedicinam, quae adhuc textu quodam valde manco corruptoque in usu erat, compluribus codicibus collatis emendatam lacunis repletis prope integre restitutam edidit anno 1574. Basileae. Ioannes Matthias *Gesner*, editor Scriptorum Rei Rusticae (Lipsiae 1735.) hanc Vegetii editionem «accuratissimo studio a Sambuco compositum exemplum» confirmat.

Maximum laborem impendit Sambucus etiam ad *Stobaei* Florilegia restituenda. Non contentus suo codice, etiam a *Sirleto* cardinali, praefecto bibliothecae Vaticanae codicem quendam petivit, ut editionem fide maxime dignam pararet. Ad editionem illustrissimam Plantinus scripsit Praefationem, multis verbis laudans Sambucum, qui ingenti atque assiduo suo labore tamquam principem Stobaei editionem protulerit. Editio textu bilingui apparuit. Versionem Latinam Gulielmus *Canterus* vir doctissimus apud Batavos fecit.

Multae eius lucubrationes post mortem, aut in aliorum operibus lucem viderunt. Per complures annos operam dedit, ut *Dioscoridem* notis instructum ederet. Ad studia sua exsequenda etiam Petrus Victorius quendam codicem ei Florentia misit. Collaboratores habuit Sambucus Henricum *Stephanum*,

Ioannem *Saracenum* (Sarrasin) atque Ioannem *Cratonem* medicum Viennensem. Antequam autem manuscriptum prelo subiectum esset, Sambucus mortuus est (1584), ita commentaria eius pretiosissima modo in illa editione apparuerunt, quam *Saracenus*, unus e sociis, Francofordiae anno 1598. publicavit. — Notas, explicationes atque interpretationes fecit Sambucus ad *C. Julium Caesarem*, ad *Q. Serenum Sammonicum*, ad *Catullum*, *Tibullum Propertiumque*. Hae omnes in aliorum editionibus sunt publicatae.

Multa demum opera philologica Sambuci in manuscriptis manserunt. Longam horum seriem habemus, hoc loco autem modo duo ex illis memoramus: diuturna magnaue eius studia maximo cum animi ardore in *Quintilianum* atque *Aristotelem* impensa.

Sambucus philologus et poeta, ut iam vidimus, opera historica quoque edidit. Primum eius rudimentum historicum erat «Romanorum principum effigies», quod opus breves comprehensiones biographicas ad principes Romanos — a Julio Caesare usque ad Ferdinandum I. — spectantes, una cum illustrationibus numismaticis in se continet. Haud genuinum opus Sambuci, modo tertia editio illius libelli, cuius priores editiones Ioannes *Huttichius* auctor, canonicus quidam Argentoratensis emiserat. Sambucus autem opus Huttichii cum in textu, tum in illustrationibus multis cum additamentis adauctum in lucem dedit.

Ex eo tempore, cum *Ranzani* opus publici iuris fecit, Sambucus se ad historiam Hungariae contulit. Imprimis gravissimum huius historiae fontem, opus iam supra memoratum *Bonfinii* edidit (Basileae, anno 1568), quae editio omnibus prioribus locupletior erat, nam priores modo tres decades communicabant, Sambucus autem quattuor decades et dimidiam, id est quindecim libris plura quam alii publicavit. Summum autem huius editionis pretium in eo consistebat, quod Sambucus textum Bonfinii adhuc plurimis in locis incertum atque vitiosum acuto argutoque oculo philologi recensuit, laboreque suo accuratissimo tam perfectum eum reddidit, ut etiam saeculis posterioribus editio eius fundamentalis esset. Altera editio Bonfinii, priore auctior, Francofurti anno 1581. prodiit. Ambae editiones non solum textum Bonfinii, verum etiam alia opera in se continent. Sambucus enim textui Bonfiniano «Appendices» copiosas adiunxit, in quibus tum aliorum, tum propria opera historica reperias. Inter aliorum opera memorandum est illud «Attila» Nicolai *Oláh*, quod in hac 1568-a editione primum apparuit, deinde *Descriptio Broderithii* de clade Mohacziana, porro «Attila» *Callimachi Experientis*, *Cortesii*que opus poeticum de Matthia rege Hungarorum.

Propria Sambuci opera in his editionibus tamquam continuationes sunt operis Bonfinii. Sambucus enim res bellicas memoria dignas suae aetatis — quae in Hungaria gerebantur — conscripsit. Obsidiones arcium Hungaricarum a Turcis factas (obsidionem Agriae a. 1552., obsidiones Szigetianas annorum 1556. et 1566., item obsidiones arcium Temes, Tokaj et Gyula) per-

tractat, in quibus operibus monumenta immortalia heroibus Hungaricis erexit. Haud minoris momenti sunt porro collectanea illa decretorum sive articulorum regum Hungariae, quae Sambucus in editione 1581-a primus edidit ad textum Bonfinii melius faciliusque intelligendum.

Ad laudem harum editionum dici potest, quod etiam extra Hungariam, per totam Europam litteratam usque ad saeculum XVIII. ex his libris historia Hungariae cognoscebatur, et quidem non solum e duabus praememoratis, sed etiam ex editionibus annorum 1606. (Hanoviae) et 1690. (Coloniae).

Post Bonfinii Decades etiam *Symposion Trimeron* Bonfinii edidit Sambucus Basileae anno 1572. In opere sub prelum mittendo Ioan. *Leunclavius* (Löwenklau) philologus et rerum scriptor fuit adiutor. Anno 1621. Francofurti altera editio Symposii prodiit.

Ad res Hungaricas penitus cognoscendas bis edidit *Tripartitum* opus iuris *Verböczi* Viennae, anno 1572. et 1581. cum Indicibus uberrimis a se factis. — Postremum autem eius molimentum historicum fuit publicatio operis Alvari *Gomecii* (Gomez) de rebus gestis Francisci Ximenii (Francofurti a. 1581.), archiepiscopi Toletani, qui Carolo V. puero gubernator Hispaniae erat. Opus grande instar Bonfinii, simili cura a Sambuco recensum.

Sambucus operibus philologicis a se editis etiam tunc, si rem e relationibus internationalibus spectes, famam singularem sibi adeptus est. Sed laudem gratiamque maximam a toto orbe litterato emeritus est etiam illa liberalitate animi, qua codices suos pretiosissimos aliis doctis viris quoque promptissime permisit. Ioachimus *Camerarius*, magister primus academicus Sambuci, Viennam frequentans complures codices a Sambuco mutuatus est. Iustus *Lipsius*, cum Viennae in aula Caesarea hospes Maximiliani erat, summum sibi gaudium id fuisse professus est, quod cum Sambuco, viro celeberrimo ei copia conveniendi erat. Postquam Lipsius in patriam rediit, ad Tacitum suum edendum codicem quendam Viennae apud Sambucum visum sibi mittendum rogavit. Lipsius in Praefatione praestantissimae suae Taciti editionis (Antverpiae 1574) maximis cum laudibus effert merita philologica Sambuci simulque Taciti Germaniam, Agricolam et Dialogum de oratoribus Sambuco dedicat. Varias etiam quaestiones philologicas epistulis invicem missis Lipsius atque Sambucus inter se pertractabant, praecipue ad Plautum atque Livium spectantes. — Laurentius *Sifanus* e codicibus a Sambuco sibi permissis primus edidit Theophylacti — archiepiscopi Bulgariae, saec. XI--XII. — explicationes in Acta Apostolorum (Coloniae a. 1567.), magnas gratias in Praefatione Sambuco agens pro manuscriptis transmissis. — Hadrianus *Iunius* multis in locis celebrat Sambucum, quod hic vir liberalissimus, qui tam magno labore impensisque haud exiguis codices comparavit, maximo cum studio intendit, ut in auctoribus edendis alii etiam docti viri summam diligentiam exhiberent; ipse Iunius quoque conversiones suas Latinas ex iis codicibus Graecis fecit, quos Sambucus e sua bibliotheca ei misit. — Ioannes *Leunclavius* historicus et

philologus complures editiones historicorum Byzantinorum (Glykas, Manasses etc.) primus emisit ex illis codicibus, quos a Sambuco accepit. — Viri litterati maximam laudem Sambuco attribuebant, quod is codicibus suis evulgatis copiam fecit, ut *Nonni* Dionysiaca nunquam antea edita in lucem prodirent aliique docti viri lectiones suas aut coniecturas editioni adiicerent.

His aliisque permultis negotiis functus, Sambucus unus e philologiae studiosissimis suae aetatis erat. Historicus, poeta medicusque fuit, sed optime de edendis operibus scriptorum Graecorum et Romanorum meritis. Obertus *Gifanius*, qui Lucretium suum e libro quodam perantiquo, quem Sambucus ei misit, edidit, veluti ex equo Troiano meros principes, sic e bibliotheca Sambuci optimos quosque scriptorum veterum cotidie prodire confirmavit. — Conradus autem *Gesner*, bibliographus polyhistorque celeberrimus saeculi XVI. in Bibliotheca sua Universali dixit Sambucum Pannonium cum ipsum multa erudite ac eleganter conscripsisse, tum etiam plurima scripta, rara et inventu difficilia maximis laboribus et sumptibus collegisse; eam autem fuisse dixit clarissimi viri diligentiam et studium in colligendis libris veteribus atque liberalitatem in iis edendis, ut maximis principibus, qui hac re laudem consecuti sunt, merito possit conferri.

Dicendum est paucis verbis etiam de illis carminibus, quae Sambucus intra annos 1564--1584. scripsit. Ex illo tempore, quo Sambucus Viennae consedit (1564), operibus philologicis historicisque intentus totusque in illis occupatus, Musis poeseos modo exiguum tempus consecrare potuit. Poemata igitur horum duorum decenniorum perpauca sunt. Praestantiora illorum ex hac eius aetate haec fuerunt:

Reges Ungariae. Versus historici anno 1567. Viennae editi. De regibus Hungariae — incipiens ab Attila, rege Hunnorum usque ad suam aetatem — protulit descriptiones, in quibus facta memorabilia eorum delineavit. Versus hos Sambucus etiam in editione anni 1568. Bonfinii atque in editione anni 1572. Verbőcii in publicum dedit.

Arcus aliquot triumphales. Don Juan d'Austria, dux Hispanus, anno 1571. victoriam gloriosissimam de Turcis — navibus eorum apud Lepanto submersis — consecutus est. Sambucus in libello sub titulo memorato, illustrationibusque pulcherrimis adaucto, quem anno 1572. Antverpiae edidit, duobus carminibus gratulatoriis ducem victorem celebravit.

Icones. Prodierunt anno 1574. Antverpiae. Propter illustrationes artificiosissimas opus celeberrimum Sambuci. Icones, sive effigies philosophorum et medicorum ab antiqua aetate usque ad XVI. saeculum inveniuntur in hoc libro, maxima ex parte autem effigies medicorum suae aetatis praebet nobis poeta. Unicuique iconum elogium tetrastichum est subiunctum, omnia a Sambuco exarata. In his elogiis quae ad vitas factaque praestantissima philosophorum et medicorum pertinent, sunt brevissime exposita. 67 icones totidemque elogia in hac editione continentur. Editionem primam annis 1603, 1612,

1615. recentiores sunt subsecutae, annoque 1901. exemplar quod dicitur facsimile Antverpiae editum est.

Liber Sambuci "Icones" intitulatus, quod auctor plerumque vitas studiaque medicorum in eo tractat, pro opere historico quoque scientiarum medicinae habetur.

Elegiae. Anno 1579. Norimbergae ultimum suum specimen carminum Sambucus edidit, elegias aliquot religiosi argumenti.

Perscrutatis operibus philologicis, poeticis aliisque Sambuci, pro certo constat virum hunc saeculo XVI. in Hungaria omnium philologorum longe praestantissimum fuisse, in Europa autem cum maximis eum certavisse. Editionibus suis principibus, item textus multorum auctorum meliores reddendo, operibusque historicorum in lucem editis famam sibi eminentissimam in historia philologiae nactus est. Etiam ut poeta — emblematis conscriptis — inter optimos saeculi sui numerabatur. Memorandum demum est maximam partem codicum Sambuci, e quibus editiones eius aliorumque prodierunt, hodie quoque Viennae in Bibliotheca Nationali exstare. Ibidem complura milia librorum, item collectio nummorum antiquorum, quos in itineribus apud exteros factis sibi comparavit, reperiri possunt.

R. LATTIMORE: STORY PATTERNS IN GREEK TRAGEDY. London 1964, The Athlone Press, 106 pp.

Recent literature has paid special attention to the interpretation of *hamartia* and *hybris* when trying to analyse the intrinsic and formal elements of the origin of Greek dramatic poetry. It seems that the revision of the formerly widespread interpretation method is gaining increasing prominence. Accordingly for nearly a century the concepts were modernized on the basis of Hegel in an «overconscious» form (on this topic see in recent literature mainly Fritz's and Else's interpretations of Aristotle). In addition to this emphasis was put on making the deeper understanding based on historical reality instead of positivism becoming bogged down in a mass of facts and data and affronted the view which underestimates the consciousness of the ancient poets and superficially evaluates the stage effects.

Naturally even today the questions have not been finally decided: in trying to illuminate the detail problems and in outlining the broader interconnections we can state for many questions that *sub judice lis est*. Moreover even the outlines of the «case» are changing and hardly anyone can claim to be a «judge». The wording of the questions or rather their answers make it clear that in general limits have been drawn, on one hand, between the Marxist and bourgeois literary conceptions and, on the other hand within the bourgeois view, between the rational methods and those of the history of ideas. Due to the great number of problems involved and the complicatedness of the debate we have to welcome all works bringing new contributions and taking new approaches to the probably never ending course of contemplation. Even the partial solutions and mistakes are conducive to further thought and to attempts to find new answers.

The volume which will now be reviewed includes R. Lattimore's lectures given in May, 1961, at the University of London. The circumstance that I cannot agree with its dramatic view and I must reject the basis of its literary observations, does not reduce the value of the original ideas, abundant sources and clever remarks contained in this work. As the title indicates, R. Lattimore takes a bold new approach to the intrinsic and formal aspects of the Greek tragedies, but he attributes too much and a one-sided importance to the role of patterns, while reducing the differences between the methods and spiritual world of the different poets. Furthermore, he seems to deprive each individual work of its general interconnections. He regards the dramatic action as a motif determining all other factors. This is untenable. (It was not without reason that Aristotle wrote that the poet, in order to both achieve a novel approach and to be effective, must be tradition-bound and an innovator in one.) I also cannot hold with his reducing traditions to patterns. It is true that the author in one of his earlier works (*The Poetry of Greek Tragedy*, Baltimore - Oxford, 1958) examined certain other components of the tragedies, but this still does not justify the one-sidedness of his present work. Although I do not agree with the fundamental approach, I shall not claim that I disagree with all its details. Especially his interpretations of words is of indisputable merit: he wittily exposes, in most instances with valuable proofs, the modernized view of crime and tragic choice interpreted as the only or most important moments of tragic conflict. In accordance with the structure of the book I will try to review it in such a way that the reader can see why and how the author goes from one extreme to another when discussing the different pattern types and this leads to missing certain qualities of Greek tragic poetry.

The first chapter, «Tragedy As Story-Telling» (pp. 1-17), correctly refers to the difficulties which follow from the scantiness of the surviving material. The author

is right in stating that contemplation must focus on the works themselves instead of trying to decide what motivated the poets. It is commonly known that in spite of its inexhaustible wealth Aristotle's *Poetics* contains many obscure details. Nevertheless Lattimore's scepticism is somewhat unwarranted («Aristotle's *Poetics* presents more problems of interpretation than most of the plays themselves.» p. 2) and this leads him to dispense with Aristotle's principles and methods. Although later, when examining the formal elements (p. 14) he virtually outlines the corresponding chapters. From the beginning he focusses on the examination of the legend material of the history of the dramas, emphasizes the obligatory validity of the myths without calling proper attention to the flow folklore and the possible independence of the poets. The essence immediately becomes clear as soon as he writes about the thematic limitations on the entire literature: «But drama is shaped also, it seems, by certain formal conditions or formal limitations as well, patterns of story as it were, less easy to define and illustrate. The story itself, as an ordered series of events, has its own rights» (p. 6). If only the force of mythical tradition and the dramatic action itself have «certain rights», I wouldn't doubt Lattimore's statements. My differences in view are over whether these rights have an over-all validity, for it is certainly true that the structure and solution of the story (as all stories) have their types and rules. Beginning with Else's interpretation of Aristotle, he writes that «Professor Else has demonstrated with I think complete and sensational success that the famous Aristotelian *hamartia* can mean neither fault, or flaw, in character, nor yet an error in judgment, but simply a mistake about the identity of a person. We add, however, that a mistake about identity in this narrower sense is not only the kind of mistake that can be made about a person. His character, which often means what he has done, can be mistaken» (p. 10). Here Lattimore touches upon an extremely important question, but his proofs are too sketchy and I believe he only makes it clear that incorrect identification may become *one* type of tale, of story. On the other hand I unreservedly accept the final thesis of the chapter which is held also by other researchers. As Lattimore writes: «It is hard, I think impossible to interpret a whole tragedy in terms of moral proposition. Look for the moral dimension. The patterns of dramatic story themselves . . . are of moral construction, and have their own moral materials» (p. 17). Everything depends on the extent to which Lattimore will later adhere to this principle during the more particular analysis of the material.

The second chapter entitled «Patterns of Tragic Narrative: Hamartia, Pride, Choice» (pp. 18–35) treats problems of basic importance. Nevertheless it begins with the reservation that among the tragic themes «most, but not all of them have moral dimensions» (p. 18), then it gradually becomes clear that the expression «most . . . of them» is merely a polite nod to those emphasizing the ideality of the tragedies. The subsection entitled «Hamartia or The Tragic Flaw» attempts to justify the interpretation of *hamartia* given by Else and Fritz (who is not mentioned). The author states that «I find of the thirty-two extant plays, fifteen in which the Tragic Fault has little or nothing to do with the main action, and ten more where one could establish it as a major theme only by straining the dramatic facts» (p. 19). («We are left with three cases where it is possible to apply the Tragic Fault all the way (viz., The Persians, Oedipus Tyrannus and Hippolytus)» (p. 21). If we really degrade the concept of *hamartia*, if we examine the essence of tragic conflict (as did Lattimore) only within the bounds of action and pay only slight attention to the antecedents, the Greek tragedies will be really reduced to interesting tales. And the only thing we cannot understand is whether they have any other function besides mere amusement. (Lattimore carefully avoids writing a word about the interpretation of the meaning of *katharsis*.) It is difficult to figure out what makes these patterns of tragic narrative of eternal value. The only thing we have to disregard in the ancient tragedies is the «minor factor» that — consciously or otherwise — the hero engages in a life and death struggle not so much for his own existence but for the defense of the moral principles he considers sacred, then our entire literary heritage becomes simplified into story patterns. The section entitled «Pride and Punishment» logically relates to the previous section and I approve of the author beginning the analysis of the tragic function with passages from Homer and Herodotus (II. XXIV, 601, or I. 34). Without knowing the most important antecedents and analogies it is really impossible to understand the ideal essence of the 5th century tragedies and their features. The other side of the question (which is not of lesser importance) is what constitutes the especially tragic continuation or negation of the tradition. Lattimore correctly senses the importance of the problem and justly warns the reader about half-truths (for the same topic see p. 38). In my view the most important section of his work is this and his thorough examination of the lexicological meanings of *hybris* truly deserves

our admiration. But here again I have to emphasize one point: I am not convinced about the statement that (p. 23) generally literature overemphasizes the role and function of *hybris* in Greek tragedy. I regard as somewhat formal his argument that in the classical age the term *hybris* was not employed to denote human pride, insulting the gods and bringing about retribution. Not this but the content of the tragic conflicts is essential: the relation between man and man, man and god and (for example in «Prometheus» or in «Eumenides») the relation of gods. Furthermore it is necessary to know how and why the problems and relations expressed in a mythological language got into the literature and on the stage. When seeking an answer to this «why» we find striking differences between the various trends (e.g., historical materialism and the method of immanent interpretation). It is hard to believe that such an eminent scholar as Lattimore neglects the entire problem by trying to deny, on the basis of the similarity of story elements, the novelty of the whole of tragic poetry and in particular the new qualities, ideas, genre form and so on in the oeuvres of great personalities.

The examination of *nemesis* belongs to this same group of questions. On the interpretation of «retribution» Lattimore writes that: «this sense is not supported in early Greek, for *nemesis* means, not an action or activity, or agency or agent, but a feeling: the feeling of shock, outrage, indignation at *hybris* or any other misbehaviour» (p. 24). As proof he uses only the interpretations of the Liddel-Scott Dictionary (p. 85. note 44) without employing the pertinent works of Heinemann, Laroche, Thomson and Kitto which include material basically contradictory to Lattimore's proofs. These contain much more material than he included (p. 25). According to Lattimore, what is left of the relation of *hybris-nemesis*? He clearly states, as before, that «It is a pattern-story, all too simple: as surely as the lost baby must be found, the proud challenger of the gods must be brought low» (p. 25). Probably Lattimore somewhat over-simplifies the question. The discussion of the content and functions of *ananke* also leaves something to be desired although at the time of writing his work the author could not have read Schreckenberg's study.

The section entitled «The Patterns of Choice» (from p. 28) is organically related to the author's previous line of thought. Here the author argues against Rivier's view in which all tragic conflicts are built on this moment of choice. Here he primarily employs the argument that in several dramas choice was made previous to the stage action, was forced on the hero from the outside, does not influence the essence of the action and was less consciously made or was just an apparent decision. He believes that this is just as unimportant for the tragedy as the formerly mentioned factors and at most we can only speak about minor choices. Here he formulates the final question which he tries to answer in the next chapter: «But, granting minor choices, we still must ask, first, whether some master choice is necessary to tragic action; and again — whether or not it is so — since it is an authentic pattern, what are its necessary shapes in the form of plot» (p. 35). Disregarding how sceptical one might be about Lattimore's expected answer, the question itself is undoubtedly correct and necessary.

«Patterns of Choice: Revenge and Discovery», the third chapter (pp. 36–55), does not introduce anything essentially or theoretically new. It is again a statement remaining within the action (from p. 37), the emphasis on the patterned character (p. 38) which is focussed on. Here he somewhat more thoroughly examines the meaning of *ananke*, although not contributing anything new to the topic (p. 40). His views seem to be too subjective: to him «Philoctetes» can be considered the most modern representation of human behaviour towards *ananke* (from p. 43) and even that Antigone «falls back on desperate reasoning to justify her choices» (p. 45). Here I do not include his classification of dramatic action according to patterns which I consider formal because it seems to reduce — on account of the story (?) — the intrinsic and ideal importance of heroic choice in all instances.

The last chapter. «Character, Imagery, Rhetoric, Ceremony» (pp. 57–72) begins with the repeated emphasis on the natural rights of the story which he regards to be the prime determinant (from 58 onwards), overemphasizing Aristotle's statement concerning action and characters. H. D. F. Kitto, for instance, expressed the same very successfully: «All the different facets of her character (Electra is being discussed, R. F.) are there because the action and the idea of the play demand them. The Electra, in fact, is an excellent illustration of Aristotle's dictum that plot, «mythos» is more important than character». (Sophocles, Dramatist and Philosopher, London 1958, p. 7. My italics, R. F.) The purpose of Lattimore's discussion is to pinpoint the dramatic roles containing irrational features as the most interesting (p. 63). It seems unnecessary to debate this point here. The author emphasizes an interesting moment concerning

the place of rhetoric in dramaturgy (from p. 64) and also in drama and ceremony (from p. 68) although without examining the circumstances surrounding the birth of drama. This latter point is bound to be incompletely treated. His final conclusion is witty and provocative. It inspires further research and the continuation of the debates against his arguments and analyses: «Tragedies are stories of order in the world disordered, and of disorder restored to order» (p. 72).

The extensive notes accompanying the text will be found useful. Nevertheless they do not always properly support the theses of the author, for instance his contention that Antigone died believing that Haemon deserted her (p. 5, cf. p. 73, note 12 and p. 75, note 34). The bibliography ending the volume includes many important and a few minor or general types of work. We respect Lattimore on the basis of his other works (*e.g.* «Themes in Greek and Latin Epitaphs» Urbana: Univ. of Illinois Pr. 1942; 2nd edition: 1962) as a very thorough philologist and it is precisely for this reason that I wonder how he could have omitted from his Consulted Works such important books as for instance those by Snell, Reinhardt, Solmsen, Ed. Fränkel, V. Fritz, Thomson, Diller or Romilly.

R. FALUS

I N D E X

<i>I. Trencsényi-Waldapfel</i> : Werden und Wesen der bukolischen Poesie	1
<i>J. Zsilka</i> : Probleme des Aorists bei Homer	33
<i>A. P. Smotrytsch</i> : Die Vorgänger des Herondas	61
<i>J. Harmatta</i> : Zu den griechischen Inschriften des Aśoka	77
<i>A. Mócsy</i> : Die Vorgeschichte Obermösziens im hellenistisch-römischen Zeitalter...	87
<i>E. Ferenczy</i> : The Rise of the Patrician-Plebeian State	113
<i>I. K. Horváth</i> : <i>Catulli Veronensis liber</i>	141
<i>G. Koshelenko</i> : The Beginning of Buddhism in Margiana	175
<i>L. Kákosy</i> : Der Gott Bes in einer koptischen Legende	185
<i>Z. Mády</i> : Zwei pannonische Ortsnamen	197
<i>G. Erdélyi</i> : A Hippolytus Relief from Szőny	211
<i>S. Schreiber</i> : Neue Bemerkungen zu den antiken Zusammenhängen der Aggada	225
<i>L. Varga</i> : De operibus philologicis et poeticis Ioannis Sambuci.....	231
<i>R. Lattimore</i> : Story Patterns in Greek Tragedy. (Rec. <i>R. Falus</i>)	245

A kiadásért felel az Akadémiai Kiadó igazgatója

Műszaki szerkesztő: Farkas Sándor

A kézirat nyomdába érkezett: 1966. III. 15. — Terjedelem: 22 (A/5) ív; 7 ábra

66.62120 Akadémiai Nyomda, Budapest — Felelős vezető: Bernát György

The *Acta Antiqua* publish papers on classical philology in English, German, French, Russian and Latin.

The *Acta Antiqua* appear in parts of varying size, making up volumes. Manuscripts should be addressed to:

Acta Antiqua, Budapest 502, Postafiók 24.

Correspondence with the editors or publishers should be sent to the same address.

The rate of subscription to the *Acta Antiqua* is 110 forints a volume. Orders may be placed with "Kultúra" Foreign Trade Company for Books and Newspapers (Budapest I., Fő utca 32. Account N° 43-790-057-181) or with representatives abroad.

Les *Acta Antiqua* paraissent en français, allemand, anglais, russe et latin et publient des travaux du domaine de la philologie classique.

Les *Acta Antiqua* sont publiés sous forme de fascicules qui seront réunis en volumes.

On est prié d'envoyer les manuscrits destinés à la rédaction à l'adresse suivante:

Acta Antiqua, Budapest 502, Postafiók 24.

Toute correspondance doit être envoyée à cette même adresse.

Le prix de l'abonnement est de 110 forints par volume.

On peut s'abonner à l'Entreprise pour le Commerce Extérieur de Livres et Journaux «Kultúra» (Budapest I., Fő utca 32. Compte-courant No 43-790-057-181) ou à l'étranger chez tous les représentants ou dépositaires.

«*Acta Antiqua*» публикуют трактаты из области классической филологии на русском, немецком, французском, английском и латинском языках.

«*Acta Antiqua*» выходят отдельными выпусками разного объема. Несколько выпусков составляют один том.

Предназначенные для публикации рукописи следует направлять по адресу:

Acta Antiqua, Budapest 502, Postafiók 24.

По этому же адресу направлять всякую корреспонденцию для редакции и администрации.

Подписная цена «*Acta Antiqua*» — 110 форинтов за том. Заказы принимает предприятие по внешней торговле книг и газет «*Kultúra*» (Budapest I., Fő utca 32. Текущий счет № 43-790-057-181), или его заграничные представительства и уполномоченны

Reviews of the Hungarian Academy of Sciences are obtainable
at the following addresses:

ALBANIA

Ndërmarja Shtetnore e Botimeve
Tirana

AUSTRALIA

A. Keesing
Box 4886, GPO
Sydney

AUSTRIA

Globus Buchvertrieb
Salzgries 16
Wien 1.

BELGIUM

Office International de Librairie
30, Avenue Marnix
Bruxelles 5
Du Monde Entier
5, Place St. Jean
Bruxelles

BULGARIA

Raznoiznos
1 Tzar Assen
Sofia

CANADA

Pannonia Books
2 Spadina Road
Toronto 4, Ont.

CHINA

Waiwen Shudian
Peking
P. O. B. 88.

CZECHOSLOVAKIA

Artia
Ve Smeckách 30
Praha 2
Postova Novinova Sluzba
Dovoz tisku
Vinohradská 46
Praha 2
Madarská Kultura
Praha 1
Václavské nám. 2.
Postova Novinova Sluzba
Dovoz tlace
Leningradská 14
Bratislava

DENMARK

Ejnar Munksgaard
Nørregade 6
Copenhagen

FINLAND

Akateeminen Kirjakauppa
Keskuskatu 2
Helsinki

FRANCE

Office International de Documentation
et Librairie
48, rue Gay Lussac
Paris 5

GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC

Deutscher Buch-Export und Import
Leninstraße 16.
Leipzig 701
Zeitungsvertriebsamt
Clara Zetkin Straße 62.
Berlin N. W.

GERMAN FEDERAL REPUBLIC

Kunst und Wissen
Erich Bieber
Postfach 46
7 Stuttgart S.

GREAT BRITAIN

Collet's Holdings Ltd.
Dennington Estate
London Rd.
Wellingborough, Northamps.
Robert Maxwell and Co. Ltd.
Waynflete Bldg. The Plain
Oxford

HOLLAND

Swetz and Zeitlinger
Keizersgracht 471—487
Amsterdam C.
Martinus Nijhof
Lange Voorhout 9
The Hague

INDIA

Current Technical Literature
Co. Private Ltd.
India House OPP.
GPO Post Box 1374
Bombay 1.

ITALY

Santo Vanasia
Via M. Macchi 71
Milano
Libreria Commissionaria Sansoni
Via La Marmora 45
Firenze

JAPAN

Nauka Ltd.
92, Ikebukuro O-Higashi 1-chome
Toshima-ku
Tokyo
Maruzen and Co. Ltd.
P. O. Box 605
Tokyo-Central
Far Eastern Booksellers
Kanda P. O. Box 72
Tokyo

KOREA

Chulpanmul
Phenjan

NORWAY

Johan Grundt Tanum
Karl Johansgatan 43
Oslo

POLAND

RUCH
ul. Wilcza 46.
Warszawa

ROUMANIA

Cartimex
Str. Aristide Briand 14—18.
Bucuresti

SOVIET UNION

Mezhdunarodnaja Kniga
Moscow G—200

SWEDEN

Almquist and Wiksell
Gamla Brogatan 26
Stockholm

USA

Stiebert Hafner Inc.
31 East 10th Street
New York, N. Y. 1003
Walter J. Johnson
111 Fifth Avenue
New York, N. Y. 1003

VIETNAM

Xunhasaba
19, Tran Quoc Toan
Hanoi

YUGOSLAVIA

Forum
Vojvode Misica broj 1.
Novi Sad
Jugoslovenska Knjiga
Terazije 27.
Beograd

ACTA ANTIQUA

ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE

ADIUVANTIBUS

A. DOBROVITS, I. HAHN, J. HARMATTA, J. HORVÁTH,
GY. MORAVCSIK

REDIGIT

I. TRENCSENYI-WALDAPFEL

TOMUS XIV

FASCICULI 3-4



AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

1966

ACTA ANT. HUNG.

ACTA ANTIQUA

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KLASSZIKA-FILOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEI

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST V., ALKOTMÁNY UTCA 21.

Az *Acta Antiqua* német, angol, francia, orosz és latin nyelven közöl értekezéseket a klasszika-filológia köréből.

Az *Acta Antiqua* változó terjedelmű füzetekben jelenik meg. Több füzet alkot egy kötetet.

A közlésre szánt kéziratok a következő címre küldendőek:

Acta Antiqua, Budapest 502, Postafiók 24.

Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadóhivatali levelezés.

Az *Acta Antiqua* előfizetési ára kötetenként belföldre 80 Ft, külföldre 110 forint. Megrendelhető a belföld számára az „Akadémiai Kiadó”-nál (Budapest V., Alkotmány utca 21. Bankszámla 05-915-111-46), a külföld számára pedig a „Kultúra” Könyv- és Hírlap-Külföldeskedelmi Vállalatnál (Budapest I., Fő utca 32. Bankszámla 43-790-057-181) vagy külföldi képviselőinél és bizományosainál.

Die *Acta Antiqua* veröffentlichen Abhandlungen aus dem Bereiche der klassischen Philologie in deutscher, englischer, französischer, russischer und lateinischer Sprache.

Die *Acta Antiqua* erscheinen in Heften wechselnden Umfangs. Mehrere Hefte bilden einen Band.

Die zur Veröffentlichung bestimmten Manuskripte sind an folgende Adresse zu senden:

Acta Antiqua, Budapest 502, Postafiók 24.

An die gleiche Anschrift ist auch jede für die Redaktion und den Verlag bestimmte Korrespondenz zu richten.

Abonnementspreis pro Band: 110 Forint. Bestellbar bei dem Buch- und Zeitungsausshandels-Unternehmen «Kultúra» (Budapest I., Fő utca 32. Bankkonto Nr. 43-790-057-181) oder bei seinen Auslandsvertretungen und Kommissionären.

DÉLÉGATION ARCHÉOLOGIQUE FRANÇAISE EN IRAN
CAMPAGNE DE L'HIVER 1965/1966

Au cours de l'hiver 1965/1966, les travaux à Suse ont été poursuivis sur trois chantiers: sur la «Ville Royale», dans le quartier des palais achéménides et sur l'acropole.

Ville Royale. Dans le chantier stratigraphique commencé il y a vingt ans, sur une superficie d'un hectare, la Délégation a dégagé, à la profondeur de près de quinze mètres, la quinzième ville (fig. 1). En rasant les murs d'une vaste demeure d'un seigneur élamite, qui avait été mise au jour l'an passé dans notre niveau XIV, nous avons découvert les archives de ce personnage, qui comprenaient plus de cent documents, tous économiques.

Le professeur L. de Meyer eut le temps de prendre connaissance de ces textes qui demanderont encore une longue étude, mais dès maintenant nous savons que le propriétaire de cette grande maison, qui comprenait pas moins de 51 chambres, s'appelait Temti-wartaš, qu'il possédait de vastes terres que cultivaient ses hommes, que ses bergers surveillaient des milliers de têtes de bétail grand et petit, et qu'il était en relations d'affaires même avec des gens de Bahrein d'où il recevait de l'argent. Un reçu mentionne la livraison de 17½ mines d'argent. Les donations royales qui font partie de ces archives sont signées et scellées par Kutir-Nahhunte I, ce qui place notre niveau XIV vers le XVIII^e—XVII^e siècle avant notre ère.

Une observation d'ordre social et économique, concernant la société élamite de Suse de cette époque, vient d'être faite dans notre ville du niveau XV. Sous la grande maison de Temti-wartaš du niveau XIV, nous avons mis au jour une série de maisons sensiblement plus petites. Or, cette observation s'accorde parfaitement avec les indications qu'offraient les textes élamites trouvés depuis des décades à Suse, et qui font savoir qu'au début du III^e millénaire avant notre ère, en Élam, la petite propriété avait tendance à disparaître en faveur de la grande.¹ Temti-wartaš racheta plusieurs maisons du quartier pour élever sur leur emplacement sa grande résidence.

¹Voir J. B. Youssifov, *Elam. Histoire sociale et économique*. Thèse de doctorat Bacou 1965. p. 59 (en russe). Distribution privée

Mais il ne put le faire d'emblée: la difficulté qu'il rencontra provenait du fait de la présence parmi les maisons de ce quartier, d'un petit sanctuaire, d'une «maison du culte», qui finit à la longue par disparaître sous la grande maison de Temti-wartaš (fig. 2).

Ce sanctuaire du niveau XV est le premier de cette époque trouvé à Suse, ainsi que le premier qui ait été mis au jour sur la «Ville Royale». D'un plan très



Fig. 1. Suse. Niveau XV. Début du II^e millénaire avant notre ère
Cliché R. Ghirshman

simple, il présente une antecella et une cella en enfilade et en longueur. Ce plan n'est pas de la Mésopotamie du Sud voisine; il s'apparente aux plans des temples découverts à Gawra, et plus tard à Assur, et laisse à penser qu'on se trouve probablement devant des traditions de l'architecture religieuse élamite qui remonte au III^e millénaire. Si la supposition est exacte, elle induit à penser que des rapports liaient les habitants élamites, probablement autochtones du sud-ouest de l'Iran, à ceux qui étaient fixés dans la partie du nord-ouest de l'Iran, sur les contreforts et même dans les chaînes des Zagros.

L'entrée de la cella en longueur se faisait par le côté étroit lors de la première phase de l'existence du sanctuaire, et par le côté long lors de la seconde.



Fig. 2. Suse. Niveau XV. Quartier du sanctuaire. Cliché R. Ghirshman



Fig. 3. Suse. Sanctuaire. Cella. Cliché R. Ghirshman

Dans le fond de la cella et collé contre le mur (fig. 3) étroit, s'élevait un podium portant un décor en terre crue en relief sur un fond noirci avec du bitume, qui représentait une porte fermée de temple, flanquée sur les angles du podium de

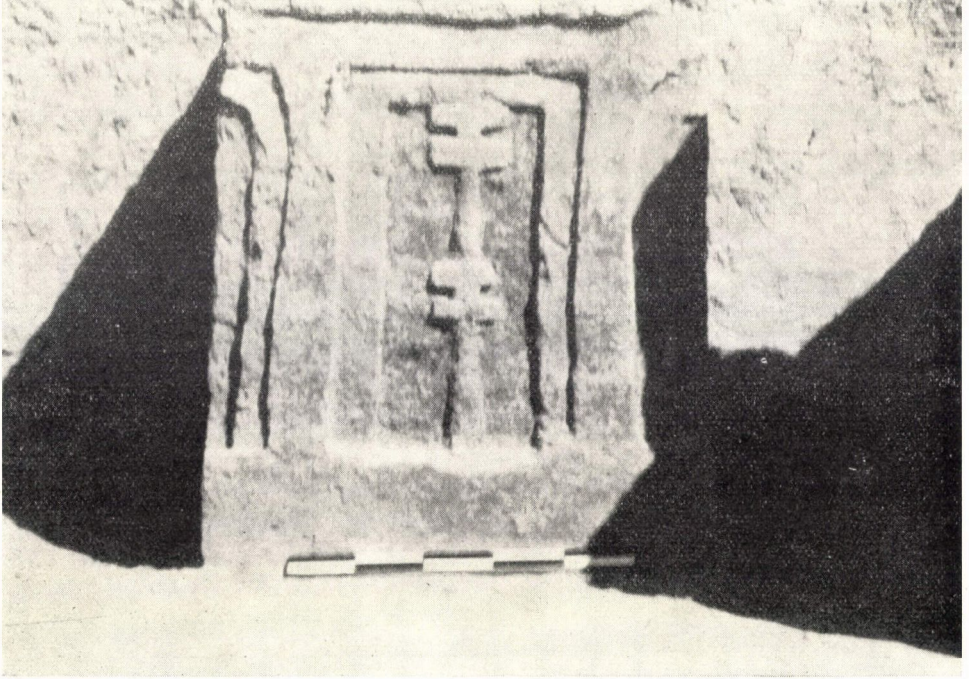


Fig. 4. Suse. Sanctuaire. Podium. Cliché R. Ghirshman.

deux départs de voûtes qui évoquaient les niches voûtées de la façade d'un temple (fig. 4).

Près du podium et pratiquée dans l'épaisseur du mur long intérieur, se trouvait une grande cheminée.

On saisit l'importance de cette découverte qui est susceptible de projeter une lumière nouvelle sur l'origine du temple dans cette partie du Moyen Orient ancien des bords du Golfe Persique.

Le professeur E. Heinrich exprima, il y a déjà quelque temps, une hypothèse comme quoi le temple de Mésopotamie dérivait d'une habitation. Le podium prenait la place du chef de la maison et l'autel celui du foyer. Notre découverte appuie et étaye cette thèse puisque nous savons maintenant que le podium du petit sanctuaire se trouvait à l'emplacement réservé au maître de la maison. Les preuves sont nombreuses qui ont été mises au jour par nous: plusieurs maisons élamites des différents niveaux de notre fouille stratigraphi-

que ont fait connaître des salles oblongues dont le fond était décoré d'une niche peinte en vert, bleu ou rouge. Le sol devant cette niche était dallé de belles briques cuites dont une était percée d'une ouverture dans laquelle pouvait passer une main. Sous cette brique percée était toujours enfouie une jarre qui, remplie d'eau, conservait celle-ci fraîche même pendant les grandes chaleurs. Ce fond décoré des salles était la place du chef de la maison; cette place fut choisie dans le petit sanctuaire de Suse pour y élever le podium qui supportait, probablement, l'image sacrée.

La découverte d'une «maison du culte» encadrée parmi les maisons habitées, apporte une autre preuve comme quoi la grande métropole élamite qu'était Suse ne possédait pas seulement un *temenos* (certainement sur l'acropole) avec de grands temples «impériaux». Il faut croire que chaque quartier de cette ville devait avoir son sanctuaire dédié à une divinité particulièrement vénérée. A notre très vif regret, aucune brique inscrite n'est venue nous dévoiler le nom du dédicataire de notre «maison du culte».

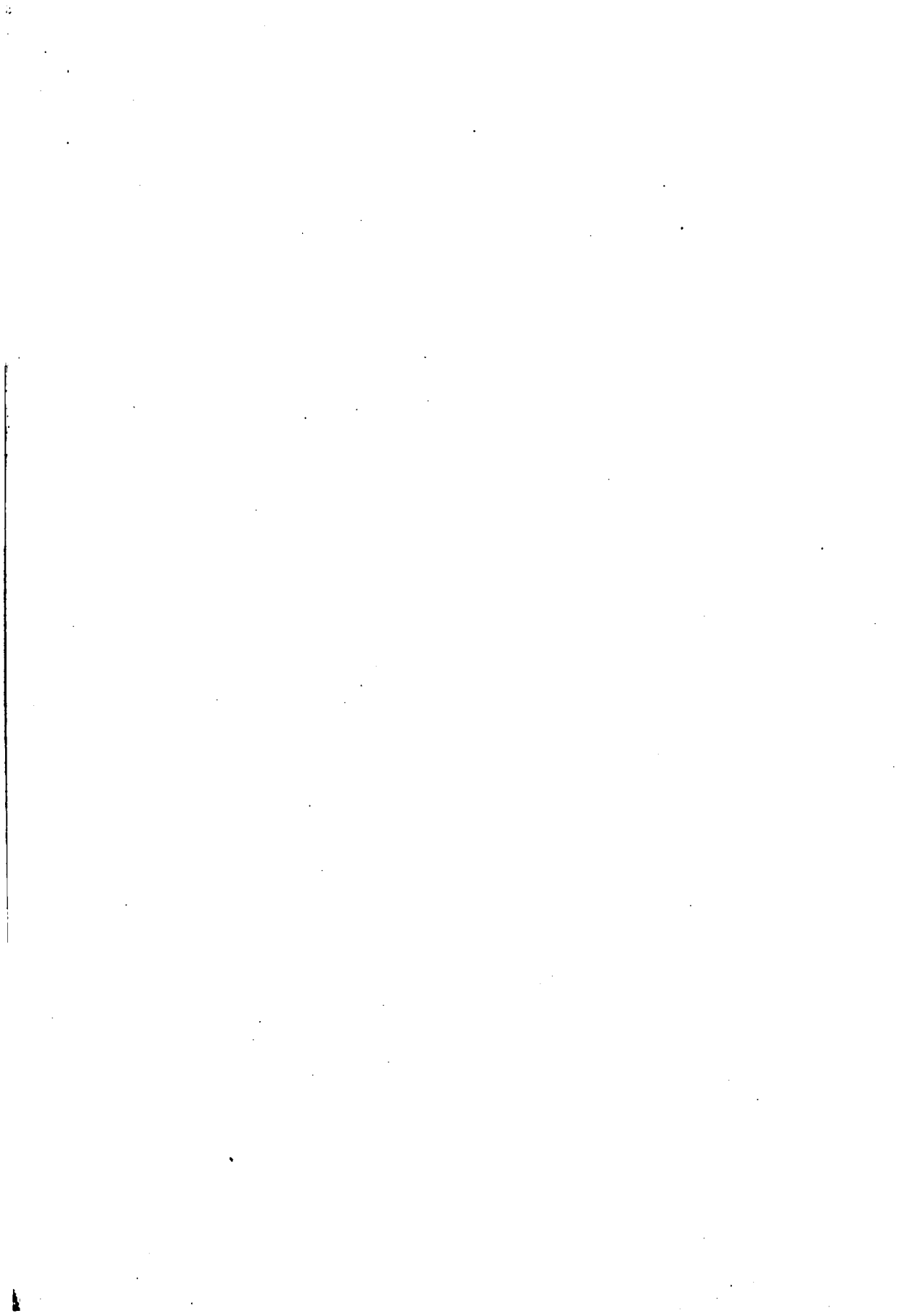
Le second chantier à Suse fut ouvert sur le mur d'enceinte des palais de Darius. Nous cherchons à y reconnaître la grande porte d'entrée qui donnait aussi bien vers le palais que vers l'*apadana* et les jardins royaux dont parle le livre d'Esther. Au cours de travaux préliminaires, deux forts murs en briques cuites liés avec du bitume, contre lesquels s'appuyait un mur en briques crues, de près de 17 mètres d'épaisseur, viennent d'y être reconnus.

Le troisième chantier a été poursuivi sur la surface de l'acropole, derrière le château de la Délégation. Là, nous avons touché les restes des écuries des «lanciers du Bengale» dont une brigade avait occupé Suse pendant la guerre de 1914-1918 et dont l'état-major avec le général en tête occupèrent le château pendant presque cinq ans.

Sous les ruines des murs en briques crues, montés il y a un demi-siècle, furent mis au jour des fers à cheval, des boutons d'uniformes et même le papier d'emballage d'un paquet de cigarettes indoues; puis nous avons touché quelques îlots du niveau des débuts du protodynastique. Tout ce qui existait sur ce tell postérieurement à cette date, a disparu au cours de près d'un demi-siècle de travaux. Mais les installations de l'époque de Djemdet Nasr restent intactes sur une bonne superficie.

Cette fouille préhistorique, qui paraît prometteuse par les bâtiments à peine touchés, est inscrite dans le programme de la prochaine campagne.

Suse. Février 1966.



THE BISITUN INSCRIPTION AND THE INTRODUCTION
OF THE OLD PERSIAN CUNEIFORM SCRIPT

I

The end (§ 70) of column IV of the great Old Persian Bisitun inscription can undoubtedly be regarded as the most difficult and most disputed Old Persian text. The solution and explanation of this passage have been puzzling already the fourth or fifth generation of scholars and the number of papers dealing with it or touching one or the other detail problem of it has already grown to several dozens. This great interest and these efforts are not due merely to the difficulties of the passage. It is a general opinion that Dareios I in this passage of the inscription expresses his views about the introduction of the Old Persian cuneiform script or about some innovation in the field of the chancellery system. The central question of the dispute about § 70 of the Bisitun inscription is, whether this passage proves the origin and introduction of the Old Persian cuneiform script under the reign of Dareios I, or it only renders evidence of a minor innovation in the field of the chancellery practice.

The question is rendered even more complicated by the circumstance that, partly from the very beginning and partly in the course of time, it has got closely interconnected with several other important problems of the Old Persian script and inscriptions. Thus it is also a long disputed question, whether the Old Persian cuneiform script is the production of a given historic moment, eventually just in the beginning of the reign of Dareios I, or it goes back to a longer past and has a certain development. The problem of the Old Persian inscriptions of Pasargadae arose in the last few decades. Some of them contain the name of Kyros and thus, if they really originate from Kyros, then they prove that the Old Persian cuneiform script already existed at the time of Kyros. The problem of the origin of the Old Persian cuneiform script has been even more stirred up by the Ariyāramna and Aršāma inscriptions, which — inasmuch as they can be regarded as genuine — would trace back the development of the Old Persian script far into the times preceding Kyros.

All these questions are closely connected with each other as well as with the interpretation of § 70 of the Bisitun inscription. In spite of this from the methodological point of view we are acting correctly if we examine the different problems separately one by one and do not subordinate either of the solutions

to the other, but we try to coordinate the results only at the end. Therefore separating the described problems from each other, I have prepared the following four studies: 1. «The Bisitun inscription and the introduction of the Old Persian cuneiform script», 2. «The Old Persian inscriptions of Pasargadae», 3. «The inscriptions of Ariyāramna and Aršāma» and 4. «Origin of the Old Persian Cuneiform Script». The results achieved separately will be compared in the latter study.

The interpretation of § 70 of the Bisitun inscription was rendered difficult for a long time by the circumstance that the Old Persian text has been preserved in such a fragmentary state which prevented the complete restoration of the text. Fortunately, the corresponding passage of the Elamite version has been preserved completely, so that on the basis of this we can still form a certain idea about the contents of this passage. At the interpretation of the Elamite version the main difficulty was caused by the fact that there occur several *hapax legomena* in the text and the meaning of these could only be guessed. At any rate there were no other possibilities in this phase of the investigation, than to reconstruct the content of the Old Persian passage on the basis of the fully preserved Elamite version which, however, could only be interpreted roughly, «every restoration must be a retranslation of the Elamite text» — as E. Herzfeld properly remarked.¹ The results of the efforts of this period were critically screened by W. Hinz and were summed up by conclusions based on his own investigations in 1942.² His work reflects well those possibilities of the interpretation of the Elamite text, which could be achieved at all at the time without the knowledge of the Old Persian version and the Elamite documents of Persepolis.

The difficulties of the interpretation of the Elamite version, of course, confined also the possibilities of restoration of the Old Persian original within narrow limits. It became clear that a further progress in the interpretation of the passage in question can only be hoped, if we shall succeed to read the original text of the Old Persian version or at least a considerable part of it, and to reconstruct it thus without the help of the Elamite version. It is a great merit of G. G. Cameron that he recognized this actual task of investigation and also solved it with tiresome work. The latex impressions and photographs prepared by him in 1948 and in 1957, and the elaborations of the same have undoubtedly opened a new epoch in the study of the Bisitun inscription.³ Cameron succeeded to read the Old Persian text of § 70 more completely and more accurately than any of the earlier investigators. As a result of his new readings the gaps in the text have been reduced to such an extent that now one

¹ E. HERZFELD: *Zoroaster and his World*. I. Princeton 1947. 34.

² W. HINZ: *Zur Behistun-Inschrift des Dareios*. ZDMG 96 (1942) 343—349.

³ G. G. CAMERON: *The Monument of King Darius at Bisitun*. *Archaeology* 13 (1960) 162—171, *The Old Persian Text of the Bisitun Inscription*. *JCS* 5 (1951) 47—54, *The Elamite Version of the Bisitun Inscription*. *JCS* 14 (1960) 59—68.

could attempt the complete restoration of the Old Persian version with the hope of success.

This was accomplished soon. Joining immediately to the article of Cameron, in which he published the new readings of the Old Persian version of the Bisitun inscription, R. Kent attempted among other things also the restoration of the text of § 70.⁴ Soon after this, in 1952, on the basis of the new readings of Cameron, W. Hinz published his ideas about the restoration of the text of § 70.⁵ In the same year R. Kent dealt again with this passage and changed his opinion in several points or discussed it in a more detailed form.⁶ Finally in 1953, in the 2nd edition of his monograph, Kent — considering the results of Hinz — modified again the interpretation of the passage to some extent.⁷

The text restorations and interpretations of W. Hinz and R. Kent reflect a certain contrast as regards the whole sense of § 70. In the text restored on the basis of the new readings, Hinz sees the verification of his own earlier opinion, according to which the Old Persian cuneiform script was initiated by Dareios I. The interpretation of Kent, on the other hand, enables us to look for the innovation of Dareios I not in the initiation of a new script but rather in new methods of writing technics. Thus the dispute has been carried on also since then and in the remarks of J. Lewy,⁸ H. H. Paper,⁹ R. Borger—W. Hinz,¹⁰ M. A. Dandamaev,¹¹ W. Brandenstein—M. Mayrhofer,¹² I. M. D'yakonov,¹³ R. Ghirshman,¹⁴ and I. M. Oranskiy¹⁵ always new arguments were raised in protection of both standpoints.

My own investigations regarding § 70 of the Bisitun inscription date back to the beginning of the fifties, when I published the Old Persian inscription of Szamosújvár (Gherla).¹⁶ In the course of the last decade I have described the

⁴ R. G. KENT: Cameron's Old Persian Readings at Bisitun. JCS 5 (1951) 55—57.

⁵ W. HINZ: Die Einführung der altpersischen Schrift. ZDMG 102 (1952) 28—38.

⁶ R. G. KENT: Cameron's New Readings of the Old Persian at Behistan. JAOS 72 (1952) 9—20, especially 13—15.

⁷ R. G. KENT: Old Persian. Grammar. Texts. Lexicon.² New Haven 1953. 130, 132, 219.

⁸ J. LEWY: The Problems Inherent in Section 70 of the Bisitun Inscription. HUCA 25 (1954) 169 ff.

⁹ H. H. PAPER: The Old Persian /L/ Phoneme. JAOS 76 (1956) 24—26.

¹⁰ R. BORGER—W. HINZ: Eine Dareios-Inschrift aus Pasargadae. ZDMG 109 (1959) 117—127.

¹¹ M. A. DANDAMAEV: Проблема древнеперсидской письменности. ЭВ 15 (1963) 24—35 and Иран при первых Ахеменидах (VI. в. до н. э.). Moscow 1963. 32—60.

¹² W. BRANDENSTEIN—M. MAURHOFFER: Handbuch des Altpersischen. Wiesbaden 1964. 17, 87 foll.

¹³ I. M. D'YAKONOV: История Мидии. Moscow-Leningrad 1956. 366—371 and ВДИ 89 (1964) 177 ff.

¹⁴ R. GHIRSHMAN: A propos de l'écriture cunéiforme vieux-perse. JNES 24 (1965) 244—250.

¹⁵ I. M. ORANSKIY: Несколько замечаний к вопросу о времени введения древнеперсидской клинописи. ВДИ 96 (1966) 107—116.

¹⁶ J. HARMATA: A Recently Discovered Old Persian Inscription. Acta Ant. Hung. 2 (1954) 1—16, ep. 11—13.

new interpretation of this passage also several times in my university lectures, and then in 1960 I published the new restoration and interpretation of a few details of it at the XXVth International Congress of Orientalists and I summed up my conception regarding the interpretation of the whole as follows: «The first four columns (according to the scheme of Hinz) of this passage (§ 70) deal very likely with the initiation of the Old Persian script, after this, however, already another subject is discussed, viz.: the further part of the text deals with the chancellery authentication and dispatch of the inscription as a document. How shall we imagine this whole procedure? In this part of § 70 we have to do obviously not with the great rock inscription itself but rather with the «draft» of it or the specimen text of it. We have pointed out already earlier, in connection with the Old Persian fragmentary inscription of Szamosújvár that on the basis of the Assyro-Babylonian practice we must presume a «draft» or specimen text written on clay tablets also in the case of the Old Persian inscriptions. Thus it is obvious to think that also the draft of the great inscription of Bisitun was written first on a clay tablet. The clay tablet inscribed in Old Persian cuneiform script was placed in a case-tablet and thereafter the Babylonian and Elamite versions of the inscription were written on this. The trilingual cuneiform text prepared this way was then wrapped up in parchment. This contained the Aramaic translation of the Old Persian inscription. After this the text was read to the Great King and after his approval it was sealed with his cylinder seal. Very likely only after this protocol procedure they carved the text of the inscription on the one hand in the rock walls, and on the other hand they copied it in Babylonian and Elamite languages on clay tablets, and in Aramaic language on parchment and dispatched the copies to the provinces of the Old Persian Empire.»¹⁷ Later on I published the complete restoration and translation of the text of § 70 without a detailed argumentation in the «Ókori Keleti Történeti Chrestomathia» (Ancient Oriental Historical Chrestomathy) edited by me.¹⁸ Now I should like to give a detailed explanation in the following.

II

Although it is a generally accepted fact that the basic text of the Bisitun inscription was written in Old Persian language and that this way the Elamite and Babylonian versions are translations of the Old Persian text, in the investigation of § 70 it is still reasonable to start out from the Elamite translation, because the text of this has been preserved fully, and besides this its interpreta-

¹⁷ J. HARMATTA: *Ant. Tan.* 11 (1964) 189–190, and *Acta Ant. Hung.* 12 (1964) 218.

¹⁸ *Ókori Keleti Történeti Chrestomathia* (Ancient Oriental Historical Chrestomathy). Budapest 1964. 320.

tion can be traced back to an old past, so much so that now already only the interpretation of a few phrases can be disputed in it. The Elamite text of § 70 runs as follows:

- line 1 ^vda-ri-ia-ma-u-iš ^vLUGĀL na-an-ri
 2 ṣa-u-mi-in ^du-ra-maš-da-na
 3 ^vú ^htup-pi-me da-a-e-ik-ki ḥu-ud-da
 4 ḥar-ri-ia-ma ap-pa šá-iš-šá in-ni šà-ri
 5 ku-ud-da ḥa-la-at-uk-ku ku-ud-da KUŠ^{lk}-uk-ku
 6 ku-ud-da ^hhi-iš ku-ud-da e-ip-pi ḥu-ud-da
 7 ku-ud-da tal-li-ik ku-ud-da ^hú ti-íb-ba be-íb-ra-ka₄
 8 me-ni ^htup-pi-me am-mín-nu ^vda-a-ia-ú-iš mar-ri-da-ḥa-ti-ma ^vú
 tin-gi-ia
 9 ^vtaš-šu-íb-be sa-pi-iš

1. In connection with the interpretation of the Elamite text the first problem is the meaning of the word *tup-pi-me*. In Elamite the word *tup-pi* 'clay tablet, document, inscription' is well known and the function of the formative syllable *-me* is also quite clear, viz. it is a suffix of abstract or eventually of collective.¹⁹ Thus the meaning of the word *tup-pi-me* could be either 'writing' in the abstract sense or 'document' in the collective sense. W. Foy²⁰ thought for the first time of the possibility to interpret the word *tup-pi-me* in the abstract sense as 'writing'. This opinion was adopted also by W. Hinz, and in 1942 and 1952 he tried to support this with a detailed argumentation. His more important arguments were as follows: 1. The concept 'inscription' is expressed in the Bisitun inscription always with the word *tup-pi*. 2. The Old Persian word *dipi-* meaning 'inscription' is feminine, while in the Old Persian text the neutral *dipi-* corresponds to the Elamite form *tup-pi-me*. 3. In the text of the Persepolis Fortification Tablet No. 7903 the word *tup-pi-me* appears also with the meaning 'writing'.²¹ The interpretation of Hinz was adopted also by J. Friedrich, who translated the Old Elamite word *tu₄-up-pi-me* also as 'writing'.²²

First of all I. M. D'yakonov and I. M. Oranskiy endeavoured to deny the interpretation of W. Hinz. The main argument of them against the abstract interpretation 'writing' of the word *tup-pi-me* is that in § 70 Dareios obviously does not speak about the Old Persian cuneiform script in general, but about the text of the Bisitun inscription in particular, viz.: he dispatches this to the provinces.²³ And since Dareios in line 8, where he speaks about the dispatch of

¹⁹ See F. H. WEISSBACH: Die Achämenideninschriften zweier Art. Leipzig 1890. 54; H. H. PAPER: The Phonology and Morphology of Royal Achaemenid Elamite. Ann Arbor 1955. 84 fol.

²⁰ W. FOY: ZDMG 52 (1898) 564.

²¹ W. HINZ: ZDMG 102 (1952) 30, earlier ZDMG 96 (1942) 345 foll.

²² J. FRIEDRICH: Orientalia 18 (1949) 20.

²³ J. M. D'YAKONOV: ВДИ 89 (1964) 177 foll.; I. M. ORANSKIY: ВДИ 96 (1966) 114 foll.

the text of the inscription — we can add to their argumentation —, uses also the word *tup-pi-me*, thus it is evident that the phrase must occur in line 3 too with the concrete meaning 'inscription, text'. If the interpretation of Hinz were correct, then the word *tup-pi-me* ought to stand at the first place and the word *tup-pi* at the second place. D'yakonov also refers to the circumstance that the word *tup-pi-me* appears in the Susa documents too with the meaning 'text, document'. In final conclusion both D'yakonov and Oranskiy are of the opinion that the clause of the Elamite version, which speaks about the inscription as something «that did not exist earlier» should not be referred to the character of the script, but it must be understood so that such a monumental inscription in Iranian language was not set by anybody before Dareios.

Against the abstract interpretation 'writing' of the word *tup-pi-me* undoubtedly convincing is the argument according to which in line 8 of the inscription this phrase refers to the Bisitun inscription, consequently it has definitely the concrete meaning 'text, inscription'. Thus, of course, the abstract meaning 'writing' of the word cannot be proved also in line 3. If, however, we give up this interpretation, then the question arises, why did the drafter of the Elamite text use here the phrase *tup-pi-me*, although the word *tup-pi* also would have been sufficient.²⁴ Naturally, it would be obvious to think that this usage of the Elamite text is connected in this passage with some special use of the word *dipi-* of the Old Persian original, as this was supposed also by Hinz. Since, however, the interpretation of the form of *dipi-* in the Old Persian text means a separate problem itself, therefore it is reasonable to disregard this relationship for the time being and to attempt the interpretation of the word *tup-pi-me* on the basis of the Elamite data.

As it was pointed out by D'yakonov, the word *tup-pi-me* occurs also in the Susa documents. Its occurrence in these texts is mainly therefore important from the viewpoint of the definition of its more exact meaning, because its use here seemingly coincides with that of the word *tup-pi*. The study of the following texts is most important:

No. 184 PAP ^mbar-ri-man-na hu-ma-ka tup-pi-me hal-mi ha-ra-ka₄ ^mbar-ri-man du-iš i ^{GIŠ}ka₄-par-ma máš-te-na GIŠ hu-ut-tuk-ki kap-nu-iš-ki-
ip-be

No. 185 tup-^rpi¹ hi ti-ip-pan-na ^mbar-ri-man-ik-ki hi ^{GIŠ}ka₄-par-man-na

No. 186 tup-pi [hi] ^{GIŠ}ka₄-par-ma-na hi [ti-ip-pan-na] ^mbar-ri-man-ik-ki²⁵

²⁴ The explanation of E. HERZFELD: Zoroaster and his World. I. 34 «here tip.pi.me, which makes the meaning collective . . ., unmistakably so because the El. text says "as it had never existed before₅"», is of course not satisfactory, because the negation does not involve necessarily the collective plural and besides this at the second place of occurrence there is no negative sentence after the word *tup-pi-me*.

²⁵ Ю. В. ЮСИФОВ: Эламские хозяйственные документы из Суз. ВДИ 85 (1963) 221, 237.

Let us start with the latter ones. Yu. B. Yusifov gave recently the following interpretation of these documents:

No. 185 «This document, after it has been written for Barriman, then it must be placed in the archive.»

No. 186 «This document must be placed in the archive, after it was written for Barriman.»

However, also several considerations contradict to this interpretation. First of all in the Elamite text there is no trace of succession in time expressed in the translation. This is shown well also by the fact that the order of the two sentences according to content is just the opposite to each other. Then it is not clear, why would the text stress that the document should be written for the first time for Barriman and only thereafter it should be placed in the archive, since as long as it has not been written, it could not be placed in the archive any way. Finally it is not clear either, why should the document be written for Barriman, if it will be placed in the archive at any rate.

However, all these difficulties are solved, if we observe that the quoted passages consist actually of two co-ordinate clauses, the construction of which is identical. If we compare the two passages with each other, then it becomes immediately clear from the parallel of the contrasting parts that both in No. 185 and No. 186 we must complete the word *tup-pi* before the second *hi* and the predicate after the *hi* according to contents. Thus the two documents can be interpreted as follows:

No. 185 «This document should be written for Barriman, this (document should be left) in the archive.»

No. 186 «This document (should be left) in the archive, this (document) should be written for Barriman.»

On the basis of this interpretation we can easily clarify the role of Barriman in the documents under discussion. These documents were prepared in two copies, viz.: one of the copies was given to Barriman, with whose affairs the document dealt, while the other copy was placed in the archive for preservation. Knowing this now also the third document with different text can be interpreted, viz.:

No. 184 «The whole has been taken over from Barriman. The seal has been put on the document (coll.) Barriman received it. This should be left in the archive. The prepared objects (should be handed over) to the treasurers.»

This document throws light on the administration of the Susa Treasury. Barriman furnished the articles, which have been prepared. On this two documents were issued, which were sealed. One of them was given to Barriman, and the

second was left in the archive. The objects taken over came into the hands of the treasurers. Here the wording of the document renders it doubtless that we have to do with two documents, that is to say, with two copies of the same document, because it says on the one hand that Barriman has received the document, and on the other hand it gives instruction that this — viz. the second copy of the document — should be left in the archive. In this relationship the use of the form *tup-pi-me* also becomes clear. It is doubtless that this occurs here with a collective meaning, as the denomination of the two copies of the document.

We can also give a similar interpretation of the Old Elamite form *tu₄-up-pi-me*. The fact that this does not mean 'writing' in the abstract sense, but denotes the concrete inscription itself, is proved partly by the context (*ak-ka tu₄-up-pi-me me-el-ka-an-ra* «who changes the inscription [coll.]»), and partly by the fact that the Accadian version of the inscription translates the word *tu₄-up-pi-me* with the phrase *tup-pa-šu* «inscription» (Acc.). The explanation of the form *tu₄-up-pi-me* is obviously also here that the inscription was prepared in two specimens, viz.: in Elamite and Accadian languages and thus it was obvious to call the two versions of the inscription in the collective sense «inscription».

Thus the Elamite word *tup-pi-me* and Old Elamite *tu₄-up-pi-me*, on the basis of the data discussed, involves a characteristic possibility of expression of the Elamite language, viz. it means such an inscription or document, which has several specimens, versions or eventually parts, but forms a unity. As a matter of fact this cannot be translated accurately into Indo-European languages, the plural which can be taken into consideration for this purpose, could denote also several different inscriptions. To a certain extent we can compare with this phenomenon the use of the plural sign *HI.A* in Old Babylonian, which, in contrast to the plural sign *MEŠ* denoting the plurality of the entities, means always collective plurality.²⁶

Returning to the Elamite text of § 70 of the Bisitun inscription, it can hardly be doubted that in this the word *tup-pi-me* also occurs with a similar meaning. The Bisitun inscription with its long text divided into columns in its concrete appearance created also the impression of a unity forming a collective plurality, and thus for its designation in Elamite in the first place the phrase *tup-pi-me* could be taken into consideration. The question can, however, be raised with justification that in case this is so, why does the Bisitun inscription use the word *tup-pi* in all places of its occurrence apart from § 70. The reason of the differing usage can be that in all the other cases we have to do not with the concrete form of appearance of the inscription, but with the text or contents of the inscription and thus these passages could not create the impression of plurality. This is clearly shown by the context in each case, viz.:

²⁶ See S. SMITH: The Statue of Idri-mi. London 1949. 25.

- DB IV 41—42 *hya : aparam : imām : dipim : patiparsāh^ay*
 «you who will later read this text of inscription»
- DB IV 48 *hya : aparam : imām : dipim : patiparsātiy*
 «he who will later read this text of inscription»
- DB IV 47 *ahyāyā : dipiyā : naiy : nipištam*
 «in this text of inscription is not written»
- DB IV 70 *hya : aparam : imām : dipim : vaināh^ay*
 «you who will later see this text of inscription»
- DB IV 72—73 *yadiy : imām : dipim : vaināh^ay*
- DB IV 77 *yadiy : imām : dipim . . . vaināh^ay.*
 «if you will see this text of inscription»

In all these passages the verbal forms *patiparsāh^ay*, *patiparsātiy*, *nipištam*, *vaināh^ay* render it doubtless that the inscription is specified as a text. In a similar context appears the word *dipi-* also in the Van inscription of Xerxes, viz.:

- XV 23—25 *adam : niyaštāyam : imām : dipim : nipištanaiy*
 «I ordered this text of inscription to be written on it»

The word *dipi-* occurs similarly with the predicate *nipištām akunauš* 'caused to be inscribed' in XV 22—23. In contrast to this in DB IV 89 beside the word *dipi-* stands the predicate *akunavam* 'I caused to be made' and in DB IV 91—92 the predicate *frāstāyam* 'I sent', which clearly refer to the concrete form of appearance of the inscription. Thus it seems likely that in the Elamite version the use of the forms *tup-pi* and *tup-pi-me* reflects the use of the Old Persian word *dipi-* with different meanings. Of course, it is striking that the Elamite translation expressed also morphologically the semantic fineness of the Old Persian original not perceptible from the morphological point of view. This phenomenon would be much more comprehensible if the Old Persian original in § 70, differently from the other passages, would use the plural of the word *dipi-* and this would have been rendered by the Elamite translator with a fine interpretation with the form *tup-pi-me* having the collective suffix.

2. The interpretation of the word *da-a-e-ik-ki* is also disputed. As the word *da-a-e* corresponds to the Old Persian word *aniyā* in several passages of the Bisitun inscription (for example Elamite version I 36) and thus its meaning is 'other' and the element *-ik-ki* could be identified as a locative suffix, earlier investigation attributed to this phrase the meaning 'elsewhere' or 'in another way'.²⁷ W. Hinz adopted first the second analysis,²⁸ but later on he changed his view and, regarding the element *-ik-ki* as an adjectival suffix, ascribed to the word *da-a-e-ik-ki* the meaning 'andersartig'.²⁹ In this he was governed by two

²⁷ Cp. F. H. WEISSBACH: Die Achämenideninschriften zweier Art. 50, 94, 104, and Die Keilinschriften der Achämeniden. Leipzig 1911. 71.

²⁸ W. HINZ: ZDMG 96 (1942) 346.

²⁹ W. HINZ: ZDMG 102 (1952) 29.

considerations. One of them was that the form *da-a-ki*, obviously equivalent with *da-a-e-ik-ki*, occurs in adjectival function (for example XPh 35 *da-a-ki-da šà-ri* = Old Persian *aniyašc^a : āha* «there was also other»), and the other is that in DSj 2 in the Elamite version the form *da-a-ki-lu-ra-ka₄* and not *da-a-ki* or *da-a-e-ik-ki* correspond to the Old Persian phrase *aniyaθā* 'otherwise'. Again another interpretation of the phrase *da-a-e-ik-ki* was given by I. M. D'yakonov who, relying upon the fact that in the Old Persian version *patišam* corresponds to it, which was translated by R. Kent with the meaning 'besides',³⁰ presumed its meaning to be 'besides this'.³¹

In connection with these different opinions first of all the following facts must be taken into consideration. 1. Neither the form *da-a-e-ik-ki*, nor the form *da-a-ki* occur with the meaning 'elsewhere'. 2. Only the form *da-a-e* and the plural forms *da-a-ip*, *da-a-ib-be* are used in adjectival function, as attribute (DB I 27, 31, 36, 51; III 78, 79) and out of 6 cases in 5 cases they are linked to the noun with the relative pronoun *ap-pa*. 3. The form *da-a-ki* is used only independently, in a substantival function. 4. On the basis of the Persepolis Treasury Tablets and the Persepolis Fortification Tablets G. G. Cameron and R. T. Hallock interpreted the meaning of the word *lu-ra-ka₄* (variants: *lu-ri-ka₄*, *lu-ri-ik-ka₄*, *lu-rak(?)ka₄*) at a high probability as 'single'.³² As a result of this in DSj 2 we must regard not the phrase *da-a-ki-lu-ra-ka₄* but only the word *da-a-ki* as the equivalent of the Old Persian *aniyaθā* 'otherwise'. Thus the meaning 'otherwise' of the form *da-a-ki* can be regarded as sure. 5. The forms *da-a-e-ik-ki* and *da-a-ki* can very likely be regarded only as orthographical variants, as this possibility was considered also by W. Hinz. In fact in the form *da-a-e* we cannot attribute to the *e* the function of a possessive pronoun 3rd person, because — in contrast to the word *hi-še* 'his name' — the context does not render any basis for this. The spelling *-a-a-e* occurs also in the word *a-ia-a-e*, which is the Elamite transliteration of the Old Persian form *ahyāyā*. Taking this into consideration, the written form *da-a-e* can be interpreted as **taya*. However, the plural of the word *da-a-e* is *da-a-ip*, *da-a-ib-be*, that is **tayp*, and since in the phrases ^d*na-ap ap-pa da-a-ib-be* «the other gods» and ^e*da-a-ia-u-iš ap-pa da-a-e* «the other provinces» there is no difference between the functions of the forms *da-a-e* and *da-a-ib-be* (apart from the circumstance that the former is singular and the latter plural), it is obvious that we must not attribute a special importance to the *-e*. Thus the meaning 'otherwise' must be regarded as sure also for the form *da-a-e-ik-ki* **tayaki*. 6. The meaning 'besides' of the Old Persian word *patišam*, derived by Kent on an etymological basis, cannot be accepted, as we shall see later on. Thus the meaning 'besides this'

³⁰ R. G. KENT: Old Persian. 132.

³¹ I. M. D'YAKONOV: ВДИ 89 (1964) 177.

³² Cf. G. G. CAMERON: JNES 24 (1965) 181—182.

of the form *da-a-e-ik-ki*, which cannot be confirmed on the basis of the available data, will be discarded automatically.

On the basis of the above argumentation in § 70 we can count only with two meanings of the word *da-a-e-ik-ki*, viz.: 1. 'other (thing)' (noun) and 2. 'otherwise' (adverb). The choice between the two alternatives is easy. It is evident that in the context ³³*ú^htup-pi-me da-a-e-ik-ki hu-ud-da* the substantival interpretation 'other (thing)' would have no meaning («I caused to prepare the inscription, other thing» ??). Thus of the presumable meanings of the word *da-a-e-ik-ki* only the adverbial meaning fits into the context, and so besides the meaning 'otherwise' all other interpretations must be regarded as unlikely.³³

3. The differences of opinion in respect of the subordinate clause *ap-pa šá-iš-šá in-ni šà-ri* are similarly significant. Here not the meaning of the clause itself is disputed, in this respect a uniform opinion has been evolved for a considerably long time. It is disputed, however, whether the clause should be related to the phrase preceding it or to the one following it. F. H. Weissbach and W. Hinz correlating the clause with the phrase *har-ri-ia-ma* preceding the clause, translated it as follows: «auf arisch, was vormals nicht war»³⁴ or «auf arisch, was es vordem nicht gab».³⁵ On the other hand G. G. Cameron gave the following interpretation of this passage: «in other ways I fashioned inscriptions *in Aryan* (ways) which formerly did not exist: both on baked bricks and upon leather (parchments).»³⁶ A similar interpretation was given also by I. M. D'yakonov, viz.: «я текст, кроме того, сделал по-арийски, какого прежде не имелось, и на таблетках, и на коже».³⁷ The translation of J. M. Stève essentially agrees with these, but regarding the word *da-a-eik-ki* he accepts the interpretation of Hinz, viz.: «J'ai fait une inscription différente, ce qui auparavant n'avait pas été fait: en aryan et sur l'argile et sur la peaux . . .»³⁸ Both trends have several representatives and naturally the two contrasting interpretations derive entirely different historical conclusions from § 70. It is interesting, however, that the syntactic position of the subordinate clause was not examined by anybody thoroughly, but it was almost self-evidently referred either to the preceding or to the subsequent phrase.

It can be decided only by the examination of the relative pronoun and conjunction *ap-pa*, which of the two possible interpretations is correct. Since in such cases the usage can be also individual to a certain extent, it is reasonable

³³ We are not dealing here with the question of the element *-ik-ki* (adjectival formative syllable, suffix of adverb of place, or postposition ?), as it is not of decisive importance from the viewpoint of interpretation, see on this recently R. T. HALLOCK: JNES 17 (1958) 261 foll.

³⁴ F. H. WEISSBACH: Die Keilinschriften der Achämeniden. 71; W. HINZ: ZDMG 96 (1942) 348.

³⁵ W. HINZ: ZDMG 102 (1952) 33.

³⁶ G. G. CAMERON: Persepolis Treasury Tablets. Chicago 1948. 29.

³⁷ I. M. D'YAKONOV: ВДИ 89 (1964) 178.

³⁸ J. M. STÈVE with R. GHIRSHMAN: JNES 24 (1965) 249.

to confine the investigation to the text of the Bisitun inscription. In the Bisitun inscription the following cases of the usage of the word *ap-pa* can be distinguished:

- A/ 1. Conjunction = Old Persian *tya* 'that' I 25, 40 to introduce an object subordinate clause
 2. Conjunction = Old Persian *tya* '(so)that' III 62 to introduce a consecutive clause
 3. Conjunction = Old Persian *yaθā* 'as if' I 54 to link a comparative clause
 4. Conjunction = Old Persian *yaθā* 'as' I 47, 51/52; III 68 always in the idiomatic expression *sa-ap ap-pa*, to link adverbial clauses
 5. Conjunction = Old Persian (*pasāva*) *yaθā* 'after that' I 22 in the idiomatic expression, *ma-ni sa-ap ap-pa*, to link adverbial clauses of time
- B/ 1. Pronoun = 'which' (singular and plural) it has no equivalent in Old Persian I 18, 27, 31, 36, 51
 Old Persian *hya* I 62, 67; II 18, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 42, 46, 62, 64, 70, 81, 83; III 3, 11, 15, 26, 29
 Old Persian *tya* I 63
 Old Persian *tyam* I 77; II 18, 31, 35, 43, 47, 52, 64, 72, 76, 83; III 11, 15, 25, 29
 Old Persian *tyām* III 94
 Old Persian *tyai-*, *tyaiy* I 44; II 57; III 17, 18, 79
 In all these cases the relative pronoun *ap-pa* introduces attributive nominal clause or attributive construction, type: III 29 **taš-šu-ip ap-pa *u-ni-na* «the army, which is mine» or II 23 **taš-šu-ip ap-pa *be-ti-ip* «the army (Acc.), which is revolting». It refers in all cases to the phrase preceding it.
2. Pronoun = Old Persian *tya* I 47; III 71, 74
 Old Persian *tyā-* I 50
 Old Persian *tyaiy* III 78
 In these cases the relative pronoun *ap-pa* introduces attributive clauses with verbal predicate, type: III 74 *ap-pa *u hu-ud-da* «what I did». It refers in all cases to the phrase preceding it.
3. Pronoun = Old Persian (*imā*) . . . *tyā* or (*imām*) . . . *tyām* I 9—10, 15 21; III 47, 61, 66, 67, 77, 84

In these cases the relative pronoun *ap-pa* links attributive clauses with verbal predicate, which in the main clause are always preceded by the demonstrative pronoun *hi* 'this'. From the viewpoint of the contents the subordinate clause always refers to this, type: *hi ap-pa u hu-ud-da* «this, what I have done» (III 47) or *nu ak-ka₄ me-iš-ši-in tu₄-pi hi ši-ia-in-ti ap-pa u tal-li-ra* «thou, who later wilt see this inscribed text, which I caused to be written» (III 84—85).

4. Pronoun = Old Persian *tya* . . . (*ava*) I 16; III 67, 87, 89 and I 52 (here in Old Persian the demonstrative pronoun *ava* is missing). In these examples the relative pronoun *ap-pa* introduces attributive clauses with verbal predicate, which refer always to the phrase or sentence following them. In the latter, however, always the demonstrative pronoun *hu-uh-be*, *hu-be* refers to the word *ap-pa*, type: I 16 *ap-pa u ap ti-ri-ia ši-ut-ma-na na-a-ma-na-ma hu-uh-be hu-ud-da-iš* «what I told them day and night, they did it». The demonstrative pronoun *hu-be* is such an essential accessory of this construction that — as it is shown by I 52 — it is put out even if the Old Persian text does not use the demonstrative pronoun *ava*.
5. Pronoun = it has no equivalent in Old Persian, I 68—69 *me-ni u taš-šu-ip maš-ka-um-ma sik-ka₄-ka₄ ap-pa ANŠU.-A.AB.BA¹⁰-ma ap-pi-in be-ip-la ap-pa-pa ANŠU.-KUR.RA¹⁰-ir be-ip-li-ib-ba*. The correct interpretation of this passage involves several difficulties even after the new readings of G. G. Cameron.³⁹ First of all it is not clear, why does Cameron give the form *ap-pa* instead of the first part of the pair of pronouns *ap-pa-pa* . . . *ap-pa-pa* read earlier and since he quotes the text only up to the second pronoun *ap-pa-pa*, we do not know, whether he read the form *ap-pa* also instead of this or the first form *ap-pa* also came about only as a result of a mistake. Besides this the whole passage is full of constructions with hiatuses, which can obviously be regarded as the results of the effort to avoid repetitions.

³⁹ G. G. CAMERON: JCS 14 (1960) 64.

Considering this we can interpret this passage as follows: «Then I caused the army to be put on leather (botles), (the army), which (was mounted) on camels, I put (on camels), the (army) which (was) mounted on horses, I put (those on horses)». As we can see, the structure of the sentence unites in itself types 1 and 4, inasmuch as the attributive phrase or nominal clause beginning with the pronoun *ap-pa* refers to the word **taš-šu-íp*, but at the same time in the following main clause the personal pronoun 3rd person *ap-pi-in* refers back to the pronoun *ap-pa*. If, however, in this passage we still have to count with the reading *ap-pa-pa . . . ap-pa-pa* and we must separate it from the relative pronoun *ap-pa*, giving to it the interpretation 'certain people, one part . . . others, other part', then the evidence of the structure of the sentence will, of course, become indifferent from the viewpoint of our investigation.⁴⁰

Summing up the results of the investigation regarding the use of the relative pronoun or conjunction *ap-pa*, we can state that the subordinate clause *ap-pa šá-iš-šá in-ni šà-ri* occurring in § 70 represents undoubtedly type B/2, and thus it can only refer to the phrase preceding it. So the possibility, according to which the assertion of the subordinate clause should refer to the subsequent phrase, can be excluded with an entire surety. This result agrees also with the evidence of the Old Persian original. In this after the phrase *ariyā : āha* = Elamite *har-ri-ia-ma*, clearly enough a new sentence starts, because in the initial *ga-ra-*[following after *utā : pavastāyā : utā : carmā*, we must by all means see a predicate. The Elamite translator, however, did not translate the Old Persian verbal form of special meaning, but he linked the Elamite passage corresponding to the quoted Old Persian phrase to the subsequent predicate *hu-ud-da*. The structure *ku-ud-da . . . ku-ud-da . . . , ku-ud-da . . . ku-ud-da . . . hu-ud-da* came about this way.

We must also remark that the relative pronoun *ap-pa* does not occur anywhere in the Bisitun inscription with the meaning 'such as, as', so that we cannot attribute to it such a meaning in the sentence *ap-pa šá-iš-šá in-ni šà-ri* either.

4. In connection with the word *šà-ri* I. M. D'yakonov expressed the opinion that this is not a verbal form, but an adjective with the meaning

⁴⁰ In the investigation I disregarded the passages I 33 *vLUGAIW-me [hu-be ap]-pa . . .* = Old Persian *aita . . . tya* and II 60 [*vap-pi*] . . . *ap-pa*, because the restoration of these is not quite reassuring.

'being, existing'.⁴¹ This opinion was based very likely on the observation that the form *šà-ri* can be fitted with difficulty in the system of the Elamite verbal forms. The decision of the question is difficult. In itself, on the basis of a formal analysis the verbal character of the word *šà-ri* cannot be denied, because the forms of the substantive verb in most of the languages are outside the general system of verbal forms. It is doubtless that the form *šà-ri* in the Bisitun inscription always corresponds to the inflected forms of the Old Persian substantive verb,⁴² and it is difficult to presume an adjective with the meaning 'being, existing', which, however, would not be the derivative of the verb 'to be'. On the other hand, the form *šà-ri* does not seem to be a participle, because in DB II 69 its form *šà-ri-ir* occurs, and this can be interpreted as a participle, although in the Old Persian version its equivalent is *āha* 'was' also here, viz.: *°mi-iš-da-aš-ba °ú °ad-da-da °par-tu-maš šà-ri-ir hu-pir-ri . . .* «Vištāspa, my father being in Parθava him . . .». From the morphological point of view a good parallel is rendered to this by the form *ut-tar-ra* 'doing, acting'.⁴³ The character as a verbal form of the word *šà-ri* would be supported by the form *šà-ri-ka* (!) reconstructed by Cameron in DB III 78.⁴⁴ In the inscription, however, we can read *šà-ri-na* and even if this is very likely the mistake of the engraver of the inscription, from the epigraphic point of view it is more obvious to correct it into the form *šà-ri-ba* (!), because in the signs *na* and *ba* the number of horizontal and vertical wedges is exactly identical, and in the case of reading *ba* the clerical error would only be that the engraver incised the central horizontal wedge somewhat to the left from the other two wedges, instead of having arranged it a little to the right. In this case the form *šà-ri-ba* (!) could be the plural 3rd person «connective» form of an intransitive verb *šà-ri*.⁴⁵ Thus — although in the Elamite inscription of Mālamīr also the meaning 'being, existing' of the word *šà-ri* would fit into the context⁴⁶ — for the time being it is more likely to regard the form *šà-ri* as a verb.

5. I. M. D'yakonov attempted to give a new interpretation of the phrases *ti-ib-ba*, *am-mīn-nu* and *mar-ri-da*. In his translation the word *ti-ib-ba* appears with the interpretation 'действительно(?)', *am-mīn-nu* with the interpretation 'повсюду (?)', and *mar-ri-da* with the interpretation 'я взял'.⁴⁷ But these phrases occur also elsewhere in the Elamite inscriptions of the Achaemenian period and we also know their exact Old Persian equivalents. The

⁴¹ I. M. D'YAKONOV: ВДИ 89 (1964) 177.

⁴² See G. G. CAMERON: JCS 14 (1960) 63.

⁴³ G. G. CAMERON: *loc. cit.*

⁴⁴ G. G. CAMERON: *loc. cit.*

⁴⁵ On the concept of the «connective» verbal forms see R. T. HALLOCK: JNES 18 (1959) 5.

⁴⁶ See the publication and interpretation of the inscription in W. HINZ: Die elamische Inschriften des Hanne. A Locust's Leg. Studies in Honour of S. H. Taqizadeh. London 1962. 105 ff.

⁴⁷ I. M. D'YAKONOV: ВДИ 89 (1964) 178.

Old Persian equivalents of the word *ti-ib-ba* are *fra-* and *upariy*, and its meaning is 'before, ahead, earlier'.⁴⁸ The word *am-mín-nu* occurs in DB I 34 in the phrase *°LUGAL-me am-mín-nu* = Old Persian *aíta : xsaçam*, thus its meaning is 'this, (the) same'.⁴⁹ The form *mar-ri-da* is in DB I 62 the translation of the Old Persian *haruva* and in DNa 39—40 the translation of the Old Persian form *visam*, its meaning is 'all, every'.⁵⁰ In the phrase *°da-a-ia-ú-iš mar-ri-da-ḥa-ti-ma* from the syntactic point of view the form *mar-ri-da* could not be interpreted as a verb even otherwise.

6. The interpretation of the last word of § 70 meant a difficult problem from the very beginning. After earlier guessings, W. Hinz ascribed to the word *sa-pi-iš* the meaning 'sie erlernten'.⁵¹ I. M. D'yakonov recently proposed the translation 'постиг (?)'.⁵² Since the verb *sa-pi-* occurs in the Bisitun inscription only here, and the context does not render any foothold for the determination of its meaning, its interpretation is possible only with the help of the Old Persian original and its other occurrences. The Old Persian original is already known to us as a result of the efforts made by G. G. Cameron in 1951, but the opinions considerably differ also regarding the interpretation of this word. Thus in practice we can rely only upon those data of the Persepolis Fortification Tablets, which were published by R. T. Hallock.⁵³ These two data are as follows: Persepolis Fortification Tablet No. 7903, 3—5 *pu-ḥu bar-šib-be tup-pi-me sa-pi-man-ba*. The interpretation of the text according to Hallock is as follows: «Persian youths (who) are copying (?) inscription(s)», while Hinz proposed the translation «Persische Knaben, die die Schrift lernen». Hallock, besides the interpretation 'to copy', thinks possible also the interpretations 'to translate, to read'. The second passage is as follows:

Persepolis Fortification Tablet No. 2934, 4—10 *ḥal-mi ba-ka₄-gi-ia-na-ma saap-KI.MIN ḥu-be-ma ap-pa man-ša-na-na-ši ku-iš*.

According to Hallock's interpretation:

«According to the sealed document of Bakagiya, according to that copy (?) which Manšananāši carried.»

If we examine these two contexts of the verb *sa-pi-*, we can state that these do not render possible either the definition of the exact local meaning of the form *sa-pi-iš* occurring in § 70. First of all we have to point out that the context does not prove either of the recommended meanings 'learn, copy, translate, read' of the verb *sa-pi-*. The presumed meaning 'copy' of the word *sa-ap-KI.-MIN* from the quoted passage cannot be proved either. As regards document

⁴⁸ See W. HINZ: ZDMG 96 (1942) 347, and ZDMG 102 (1952) 31; G. G. CAMERON: Persepolis Treasury Tablets. 126, Die Welt des Orients 2 (1959) 475; R. T. HALLOCK: JNES 24 (1965) 272.

⁴⁹ W. HINZ: ZDMG 102 (1952) 31 foll.

⁵⁰ See already F. H. WEISSBACH: Die Achämenideninschriften zweier Art. 107.

⁵¹ W. HEINZ: ZDMG 96 (1942) 348, ZDMG 102 (1952) 32.

⁵² I. M. D'YAKONOV: ВДИ 89 (1964) 178.

⁵³ R. T. HALLOCK: JNES 9 (1950) 244.

No. 7903 of the Persepolis Fortification Tablets, this can at any rate be paralleled with the Persepolis Treasury Tablet No. 9, which partly on the basis of the suggestions of E. Benveniste and R. T. Hallock⁵⁴ can be restored as follows:

line 4 . . . ^{hh}kur-taš ap-[pa ^{hh}at-ti-ip]
 5 a-ak ^{hh}mu-šir-ri-^ria^r-[ip ^{GIŠ}GIŠ^{lg}]
 6 ^{hh}še-iš-ki-ip ^{hh}ak^r-[ka₄-be ^hšu-šá-]
 7 an-mar ^hba-ir-šá-^riš^r[šⁱ-nu-ip]
 8 ^hĪAR ^{hh}u-ut-ti-[ip ^{hh}ak-ka₄-be]
 9 ^hi-ia-an ^hnu-pi-^riš^r[da-ma sa-pi-]
 10 man-ba . . .

« . . . workers, who are Syrians
 and Egyptians, wood-
 workers, who came
 from Susa to Persepolis
 stone-workers,
 who are working
 inscription in the palace . . . »

Cameron recommended here in line 9 originally the restoration [*hu-ud-da-*],⁵⁵ but on the basis of Persepolis Fortification Tablet No. 7903 it is obvious to think about the restoration [*sa-pi*]-*man-ba* also here. Whichever of the restorations we accept, it seems to be likely that in both cases we have to do with the workers employed in the preparation of the inscription. Thus the general meaning of the verb *sa-pi-* is very likely 'works, acts on something, makes something'.⁵⁶ In the Bisitun inscription, however, the meaning 'they worked, they acted' of the verbal form *sa-pi-iš* would be so meaningless that we must by all means think about some more specialized local meaning. This, however, can be defined at the most with the help of the Old Persian version. On the basis of the Elamite data we could suppose at the most that the verb *sa-pi-* occurs at this place with some intellectual stress with the meaning 'to work diligently, to work actively, to act well'.

On the basis of all these the Elamite version of § 70 can be translated as follows:

line 1 «King Dārayavauš declares:
 2 by Auramazda's will

⁵⁴ E. BENVENISTE: JA 246 (1958) 59; R. T. HALLOCK: JNES 19 (1960) 97.

⁵⁵ G. G. CAMERON: Persepolis Treasury Tablets. 95.

⁵⁶ Since the relationship of the word *sa-ap-KI.MIN* (= **sapsap*?) with the verb *sa-pi-* is not at all clear and its meaning cannot be defined precisely either, it is reasonable to disregard it in this connection.

- line 3 I made the inscription (coll.) otherwise,
 4 in Āryan (language), which earlier did not exist.
 5 Both on clay tablet and on parchment,
 6 both my name and my origin I caused to be written on it.
 7 Both it was written and read before me.
 8 Thereafter I sent this inscription to all provinces.
 9 The army acted well (performed its duty well).»

Considering this interpretation of the Elamite version, from the viewpoint of the content § 70 can be divided into four units, viz.:

1. The novelty of the inscription; it was prepared in Āryan language (lines 2–4).
2. The protocol-like procedure of the authentication of the inscription (lines 5–7).
3. The dispatch of the inscription.
4. The effect of the inscription.

According to the evidence of this passage Dareios I really stated in the Bisitun inscription that he had this inscription prepared in Old Persian language, what had been unknown earlier. Of course, the Elamite version in itself does not decide the question whether it was really Dareios I who introduced the use of the Old Persian cuneiform script. Theoretically it is possible that the Elamite translation, to a certain extent, misunderstood the Old Persian or laid emphasis on another motive. Thus it is essential to control the results received on the basis of the interpretation of the Elamite version by the restoration of the Old Persian original.

III

Every attempt, which wants to restore the Old Persian text of § 70 of the Bisitun inscription, must start out from the new readings of G. G. Cameron. Later, on the basis of the suggestions of W. Hinz, the readings published in 1951 were revised and corrected by Cameron in several points.⁵⁷ This corrected text is as follows:

- line 88 . . . 0a-a-ta-i-ya : da-a-ra-ya-va-u-ša : xa-ša-a-ya-[0a-i]ya :
 va-ša-na-a : a-u-
 89 ra-[ma]-za-da-a-ha : i-ma : di-i-pa-i-^rma[?]i-^r [+ — + — + — + :] a-da-
 ma : a-ku-u-na-va-ma : pa-ta-i-ša-ma : a-ra-i-ya-a : a-ha : u-ta-a : ^rpa^r-
 va-sa-ta-

⁵⁷ G. G. CAMERON: JCS 5 (1951) 52; W. HINZ: ZDMG 102 (1952) 36–37; R. G. KENT: JAOS (1952) 15.

- line 90 a-y[a-a :] u-ta-a : ca-ra-ma-a : ga-ra-[+ - + - + - + - + -] :
 [+ - +]-i-ša-ma-i-[+]-ya : [+ - + - + - +]-fa[?]-ma : a-ku-u-na-va-
 ma : 'pa-ta]-i-ša-[ma : +]-va-a-da-a-
- 91 [+ - + - + - + - + - + - +] : u-ta-a : 'na-i-ya¹-pa-i-[+]-'i¹-
 [+ - +]-ma/ta-a^r : pa-ta¹-i-ya-fa-'ra-ša-i¹-ya : pa-i-[ša[?]-i-ya-a : ma-
 a-[ma] : pa-sa-a-[va] : i-ma : di-
- 92 i-pa-i-[+ : a]-da-ma : 'fa¹-[+ - +]-sa/va-ta-a-ya-ma : 'vi-i¹-[sa]-'pa¹-
 da-a : a-ta-ra : da-ha-ya-a-[va] o : ka-a-ra : ha-ma-a-[ta]-xa-'ša]-ta-a

1. The difficulties in the Old Persian version start in line 89 with the phrase *i-ma : di-i-pa-i-ma[?]-i*-. Actually the nominative singular of the word *dipī-* 'inscription' ought to stand here, but the form of the demonstrative pronoun does not comply with this requirement. The word *dipī-* is feminine in all other passages where it occurs and thus the form of the demonstrative pronoun ought to be here *iyam*. R. G. Kent really presumes this form here and believes that the sign *ya* has been left out or we are having here a contracted form *im* of the pronoun *iyam*.⁵⁸ The difficulty of this conception is that later on in lines 91 and 92 the phrase *i-ma : di-i-pa-i*[-] occurs again and this ought to be here accusative singular. The form of the demonstrative pronoun, however, even now does not correspond to the expectations, because instead of *imām* the form *ima* can be read. Thus Kent was obliged to presume also here that either the signs *a-ma* have been left out or the form *im* derives from the basic root *i-* of the demonstrative pronoun, the latter assumption, however, is not held likely by himself either.

W. Hinz attempted to solve these difficulties by the supposition that the word *dipī-* occurs here in neuter with the abstract meaning 'writing'.⁵⁹ The difficulties of this ingenious assumption has already been pointed out above.⁶⁰ This explanation is denied also by the circumstance that in Old Persian neither neutral *-i* stems are known nor the use of the neuter is attested in an abstract sense parallel with a feminine of concrete meaning. These semantic and lexicological difficulties render the assumption of a neutral word *dipī-* unlikely.⁶¹

If we do not want to presume grave engraver's errors in the inscription and want to bring the word *dipī-* into harmony with the occurring form of the demonstrative pronoun, then the only possibility will be to restore in line 89 the form *di-i-pa-i-ma-i*[-] to *di-i-pa-i-ma-i*-[*ya*] and in lines 91—92 the form *di-i-pa-i*[-] to *di-i-pa-i-ya*, to interpret these as *dipīmai* and

⁵⁸ R. G. KENT: JCS 5 (1951) 56, JAOS 72 (1952) 14, 15.

⁵⁹ W. HINZ: ZDMG 102 (1952) 34.

⁶⁰ See also I. M. D'YAKONOV: B 89 (1964) 177—178; I. M. ORANSKIY: ВДИ 96 (1966) 112 ff.

⁶¹ Therefore the supposition of HINZ was in general not accepted, except by W. BRANDENSTEIN—M. MAYRHOFER: Handbuch des Altpersischen. 116.

dipiya, respectively, and to regard them as nominative plural and accusative plural. In Old Persian, on the basis of the Old Indian and Old Iranian data, we can presume **dipiya* as nominative plural of the word *dipī-* and **dipiya* or eventually **dipiš* as its accusative plural. The presumed form of the nominative plural is supported by the similarly plural feminine nominative form *athan-gainiya* (DSf 45), while the accusative plural form has not yet been discovered in the Old Persian inscriptions. In the form *dipīmaiy*, which stands instead of the form **dipiyamaiy* to be expected, we have to do with the frequently occurring written form *-ī-* of *-iya* standing inside the word.⁶² In the second passage the form *dipiya* exactly corresponds to the expected accusative plural, since however instead of *di-i-pa-i-[ya]* we can think eventually also of the restoration *di-i-pa-i-[ša]*, we cannot exclude the possibility of this accusative form either. The writing *i-ma* can be interpreted in both cases as *imā* with the repeatedly occurring defective writing of the final *-ā*.⁶³

The interpretation of the phrases *ima : dipīmaiy* and *ima : dipiya* as nominative plural and accusative plural, respectively, renders at once comprehensible the use of the word *tup-pi-me* in the Elamite version instead of *tup-pi* used for the rendering of the singular forms of *dipi-*.

The gap following after the word *dipīmaiy*, in conformity with this interpretation, can be restored to *di-i-pa-i-ma-i-[ya : ta-ya-a :]* and the predicate *a-ha* can be interpreted as the 3rd person plural form *āha*⁶⁴.

2. The next problem is the interpretation of the word *pa-ta-i-ša-ma = patišam*. On basis of Greek and Latin analogies, R. G. Kent ascribed to the word the meaning 'in addition, besides'.⁶⁴ Essentially this interpretation is followed also by the translation 'überdies' of W. Hinz. The explanation of Kent has been generally accepted,⁶⁶ only M. A. Dandamaev differed from it to a certain extent, inasmuch as, using Kent's Greek and Latin semantic parallels, he tried to ascribe to the word the meaning 'to it, still, also'.⁶⁷

Although this way an almost uniform opinion was formed regarding the interpretation of the word *patišam*, its meaning presumed by Kent still cannot be accepted. In fact from the methodological point of view it is obviously incorrect to define the meaning of an Old Persian word on the basis of Greek and Latin parallels, when the equivalent of the word is known to us also from another Old Iranian language. Curiously enough the circumstance has escaped the attention of the investigators of the past one and a half decades that the exact equivalent of *patišam* occurs also in the Avesta and with the help of this the meaning of the Old Persian word can be identified without any doubt. It is

⁶² See R. G. KENT: Old Persian 13 foll.

⁶³ See R. G. KENT: Old Persian. 22.

⁶⁴ R. G. KENT: JCS 5 (1951) 55 foll., JAOS 72 (1952) 13, Old Persian. 195.

⁶⁵ W. HINZ: ZDMG 102 (1952) 37.

⁶⁶ See W. BRANDENSTEIN—M. MAYRHOFER: Handbuch des Altpersischen. 139.

⁶⁷ M. A. DANDAMAEV: Иран при первых Ахеменидах. 56.

even more strange that the circumstance also escaped the attention of the investigators dealing with § 70 that E. Herzfeld already in 1947 referred to the Avestan equivalent of the Old Persian word *paišam* and also to the fact that the Old Persian phrase is obviously the equivalent of the Elamite word *da-a-e-ik-ki*, although at that time the reading of the text rendered by Cameron was not yet available.⁶⁸

In Avestan the word *paiša-* corresponding to Old Persian *paišam* has the following meanings: as an adverb 1. 'in der Richtung nach — hin, nach — zu', 2. 'nach vorn hin, vorn'; as an adjective 1. 'contrarius, widrig', 2. 'abweichend, ungleichartig'. As in the text after the word *paišam* the phrase *āriyā* 'in Aryan' follows as a closer definition, it is obvious that only the meaning 'abweichend, ungleichartig' fits into the context. Thus it cannot be doubted that the meaning of the word *paišam* is 'in a different way, otherwise' and that the Elamite phrase *da-a-e-ik-ki* represents the exact translation of this.

3. The next problem is rendered by the word *pa-va-sa-ta-a-ya-a = pa-vastāyā*. Before the new reading of Cameron this word was read as *a-va-sa-ta-+-ya*, which rendered its correct identification impossible for a long time. However, Herzfeld already at that time, without knowing the new reading, looked in it for the antecedent of the word *pōst* 'skin' and emended it to the form *pa-va-sa-ta*.⁶⁹ His assumption was justified by the new reading of Cameron, but the full knowledge of the Old Persian text unexpectedly resulted in a new difficulty, viz.: it turned out that the word *pavastā-* regarded as having the meaning 'skin, parchment' was rendered by the Elamite translation by the phrase *ḥa-la-at* 'clay tablet'. R. G. Kent interpreted the word *pavastā*, on the basis of Cameron's recommendation, first as 'papyrus'.⁷⁰ E. Benveniste, on the other hand, exactly on the basis of the Elamite word, attributed to the Old Persian phrase the meaning 'clay envelope of tablet'.⁷¹ This was accepted later on also by Kent who interpreted the word as the compound of the prefix *pa* and the derivative of the verb *vah-* 'to dress' with the meaning 'clay envelope of tablet'.⁷² W. Hinz endeavoured to solve the contradiction between the meaning 'skin, parchment' of the Middle Persian development of the Old Persian word *pavastā* and the Elamite word *ḥa-la-at* 'clay tablet' by the supposition that in line 90 instead of the word *gu-ra-* following after the word *carmā* it can be read *u-ta-*. Thus in the gap he restored *ut[ā : (h)i-štā]* with the meaning 'und auf Lehmziegeln'.⁷³

⁶⁸ E. HERZFELD: *Zoroaster and his World*. 34. This too shows that Herzfeld's book does not belong among the mostly read products of Iranian studies. W. B. HENNING'S remarks (*Zoroaster. Politician or Witch-Doctor*. London 1951. 4. foll.) have seemingly done their share.

⁶⁹ E. HERZFELD: *Zoroaster and his World*. 34, note 5.

⁷⁰ R. G. KENT: *JCS* 5 (1951) 56.

⁷¹ E. BENVENISTE: *Études sur le vieux-perse*. BSLP 47 (1951) 43—46.

⁷² R. G. KENT: *JAOS* 72 (1952) 14; *Old Persian*.² 219.

⁷³ W. HINZ: *ZDMG* 102 (1952) 34 foll.

The difficulty of this restoration is that the reading *ga-ra-* seems to be sure and thus it cannot be corrected to *u-ta-*, besides in this case to the concepts «clay tablet» and «parchment» appearing in Elamite, «parchment», «skin» and «clay tablet» would correspond in Old Persian, and at the same time it is not at all clear what is the difference between «parchment» and «skin» as materials used for writing. A further difficulty is that the predicate is missing from the sentence, although [*pat*]*išamaiy* in the beginning of line 6 against the conjunctions *utā . . . utā* «both . . . and» of line 5, clearly points to a new sentence, thus line 5 cannot be linked to the predicate *akunavam* standing in the following line. On account of these conspicuous difficulties the explanation of Hinz was only partly accepted.⁷⁴ However, the explanation of Kent regarding the word *pavastā-* is not quite reassuring either, because the existence of variant *pa* of the particle *apa* cannot be regarded as completely insured even in the Avesta,⁷⁵ and it can be presumed even less in Old Persian. Therefore H. W. Bailey compared the Old Persian word *pavastā-*, the Old Indian *pavusta-* 'Decke, Hülle', Middle Persian *pōst*, Sangleči *pāsk* 'covering, skin', Munjī *pūsto* 'tree bark' with the Saka words *pvīsta-* 'covered', *pvīš-* 'to cover', *pvīysaka-* 'a covering thing, wrap', *pvecā-* 'something put on to a garment', and traced back the whole group of words to a root **pav-/*pu-* 'to cover'. According to him, from this root — the further relation of which he thinks to point out in Hittite, in the words *puwatti-* 'colour', *puwaliya-* 'piece of clothing', *putalliya-* 'put on clothes' — could be derived the word *pavastā-*, with the formative syllable *-sta-* occurring in the Middle Persian words *tapast* 'carpet' etc.⁷⁶

This explanation would solve the problem of the word *pavastā-* very ingeniously, but this has also certain difficulties. As regards, in the first place, the Hittite data, of these the more exact meaning of the verb *putalliya-* is very likely '(Kleid) aufknüpfen (?), hochschürzen (?)', i.e. just the opposite of what we could expect in the case of relationship with the root **pav-*.⁷⁷ The meaning of the word *puwatti-* is uncertain, because the context of its occurrences is unknown. The presumed meaning 'Farbe, farbige Marke (als Eigentumszeichen)?' does not point at all to a relationship with the root **pav-*.⁷⁸ Finally the meaning of the word *puwaliya-* is not 'article of clothing' in general, but 'a certain article of clothing', viz. probably 'belt'.⁷⁹ Consequently, the Hittite data do not render any basis for the assumption of a root **pav-/*pu-* meaning 'to cover'.

⁷⁴ See for example W. BRANDENSTEIN—M. MAYRHOFER: *Handbuch des Altperischen*. 140.

⁷⁵ See CHR. BARTHOLOMAE: *Altiranisches Wörterbuch*. Strassburg 1904. 816.

⁷⁶ H. W. BAILEY: *The Preface to the Siddhasāra Śāstra*. A Locust's Leg. Studies in Honour of S. H. Takizadeh. London 1962. 35 foll.

⁷⁷ See J. FRIEDRICH: *Hethitisches Wörterbuch*. 2. Ergänzungsheft. Heidelberg 1961. 21.

⁷⁸ Cp. J. FRIEDRICH: *Hethitisches Wörterbuch*. Heidelberg 1952. 174.

⁷⁹ A. GÖTZE: *Corolla Linguistica*. Festschrift Ferdinand Sommer. Wiesbaden 1955. 59; J. FRIEDRICH: *Hethitisches Wörterbuch*. 1. Ergänzungsheft. Heidelberg 1957. 17.

Thus the enumerated Indo-Iranian data are isolated. But even of these not all are in relationship with each other. The Saka words phonologically can be traced back to the forms **pati-void-*, **pati-vaiṣ-* and **pati-vaič-*. The eventually presumable other Iranian equivalents of the word *pavastā-* could all be also adoptions from Old Persian, so that in conclusion only the Old Persian and Old Indian words can be invariably regarded as fully acceptable data. The isolation of these words in the Old Iranian and Old Indian vocabularies renders the assumption of a separate root **pav-/pu-* for their derivation rather unlikely. Thus we can think more of the possibility that these words are still compounds or internally formed elements of the Old Iranian and Old Indian vocabularies, developed in another way. The Old Iranian word could be divided into the elements *pa-* and *vasta-* and in its first part we could see the shortened form of the root *pāy-* (cp. Avestan *pa-vant-*, Old Indian *-pa-*), and in its second part the passive perfect participle of the verb *vah-* 'to dress'. The meaning of the compound could be 'protecting the dressed' or 'the protecting (cloth) put on' → 'protecting wrapper', 'protecting cloth', according to the presumed type of compound. Another possible interpretation could be to presume the word *pavastā-* to be such a derivation from the word *pavant-* 'protecting' as the Avestan word *ašavasta-* from the word *ašavant-*. Its meaning in this case could be 'protecting wrapper'. We may choose either of these solutions, the Old Indian form will still remain rather problematic at all events, in the first case because *pavastā-* does not seem to be a common Iranian word, and in the second case also because in Old Indian we could expect another phonemic form. It is possible that we still must regard the Old Indian word only as an old adoption from Old or Proto-Iranian, similar to the word *atharvan-*.

At any rate we can have no doubt about the relationship of the Old Persian and Old Indian words and thus it seems to be sure that the original meaning of the word *pavastā-* was not 'skin', but the more general 'protecting wrapper'. We can still raise the question, what is the explanation for the feminine gender of the Old Persian word. We could think that in accordance with the explanation given above the word was originally an adjective and thus it could stand beside the word *dipī-* 'clay tablet' also as an attribute. The word *pavastā-* 'clay envelop tablet' became independent later on from the phrase **pavastā dipī* 'clay envelop tablet', while in a general meaning 'protecting wrapper' → 'skin' the form **pavasta-* agreeing with Old Indian could be used.

4. The verbal form following after *utā : pavastāyā : utā : carmā* was restored by R. G. Kent as *gra[ōitā]* and on the basis of the Old Indian verb *grath-/granth-* 'to bind, to bind together, to compile, to write (a literary work)' he presumed its meaning to be 'written, composed'.⁸⁰ The form restored by

⁸⁰ R. G. KENT: JCS 5 (1951) 56, JAOS 72 (1952) 14.

Kent was already earlier corrected by me implicitly to *gra[stā]*⁸¹ and independently from me, M. Mayrhofer proved the untenability of the form *gra[θitā]* in a broader relationship also in detail.⁸² However, not only the form restored by Kent was incorrect, but also the meaning attributed to it. In fact the meaning 'to write, to compile' is only a specialized meaning of the Old Indian verb, for the assumption of which in Old Persian we have no basis. Therefore, returning to the basic meaning of the root *grath-*, I presumed the meaning 'bind, bind together, wrap' also in Old Persian.⁸³ Thus the interpretation of the whole passage will be as follows: «It was bound both in clay tablet and parchment.» Thus this sentence clearly refers to the operation, in the course of which the ready clay tablets were put, on the one hand, into clay envelope tablets and they wrote on these the Babylonian or Elamite translation of the Old Persian text, other specimens were, on the other hand, wrapped in the parchment rolls containing the Aramaic translation. In accordance with the nominative plural *ima : dipīmaiy* after the word *gra[stā]* we must, of course, restore the plural form *āha*ⁿ also here.

Since the existence of the root **graθ-* in Iranian is not quite doubtless,⁸⁴ restoring the passage we must take into consideration also other possibilities. We can think first of all still of two verbs. One of these is the root *grat-*, the meaning of which is 'twist, spin', but it has also the specialized meaning 'roll up, wrap'.⁸⁵ We can presume the passive perfect participle *grsta-* of this, the written form of which, however, would be in Old Persian the same as that of the form *grasta-*. The other verb to be taken into consideration is *graš-* 'bind, link, connect', which in recent time is linked to the root *graθ-*,⁸⁶ but which according to the evidence of its imperfect — as this has been pointed out by me⁸⁷ — must undoubtedly be separated from it. The passive perfect participle of this root is **gršta-*, which in the Old Persian script would be **gra[šta-*. If we restore any of these forms in the discussed passage of the inscription, the resulting meaning will be the same at any rate.

5. After the predicate *gra[šta : āha]* a new sentence starts, which in all probability is introduced by the phrase [*pat*]išamaiy and is closed down by the word *akunavam*. After this again very likely the word 'pat]iša[m must be restored and at the end of the sentence starting with this and on the basis of the parallel structure shown with the preceding sentence, cf.

⁸¹ Cp. J. HARMATTA: Acta Ant. Hung. 12 (1964) 217.

⁸² M. MAYRHOFER: Orientalia 33 (1964) 72 ff.

⁸³ J. HARMATTA: Acta Ant. Hung. 12 (1964) 217.

⁸⁴ See on this question. G. MORGENSTIERNE: An Etymological Vocabulary of Pashto. Oslo 1927. 27 foll.

⁸⁵ The data see G. MORGENSTIERNE: loc. cit.

⁸⁶ Thus for example M. MAYRHOFER: Orientalia 33 (1964) 75.

⁸⁷ J. HARMATTA: The Oldest Brāhmī Inscription in Inner Asia. Acta Orient. Hung. 19 (1966).

[pat]išamaïy : [. . .] fam : akunavam
 †pat]iša[m : .]vādā[.]

we must presume obviously also the predicate *akunavam*.⁸⁸ Thus the question is raised at once, how the word *paišam* can be interpreted in this context. The meaning 'otherwise', of course, cannot be taken into consideration here and thus we can think only of the interpretation 'nach — zu' or 'nach vorn hin, vorn'. Thus the first sentence, restored with regard to its contents on the basis of the Elamite version, will have the following interpretation: «to it I had my name put on it» or «in front I had my name put on it». Since the inscription really starts with the name and titles of Dareios, the latter interpretation seems to be more likely.⁸⁹

6. To the fragment [+—+--+—+—+]-fa?-ma to be read between the words *paišamaïy* and *akunavam* in the Elamite translation the word *hi-iš* 'name' corresponds. R. G. Kent, finding no such word in Old Persian, which would end in *-fam* and would have the meaning 'name', instead of *fa?* suggested the reading *ra* and restored the whole word in the form *patikaram*.⁹⁰ Thus, however, he got into sharp contradiction with the evidence of the Elamite translation which can by no means be approved from the methodological point of view. Obviously W. Hinz was lead also by this consideration, when, finding no suitable word from the viewpoints of meaning and form, he left the passage unrestored.⁹¹ Considering that of the Old Iranian words ending in *-fa-* the word *nāfa-* 'family, clan, kinship' as regards its meaning fits fairly well into the context, in 1960 I raised the possibility of the restoration [*uvānā*]-*fam*.⁹² Independently from me, later on M. Mayrhofer thought about the same restoration.⁹³ At the same time, however, I counted also with the restoration [*nāmanā*]*fam* as an alternative possibility. The latter form could be understood as *dvandva* type compound in the meaning 'name and clan'. Thus the sentence would have the following interpretation: «in front I had my clan put on it» or «in front I had my name and my clan put on it». From the viewpoint of the meaning, however, even these restorations do not correspond exactly to the Elamite word *hi-iš* 'name' and at the same time to a certain extent they even pass over to the circle of meanings of the Elamite phrase *e-īp-pi* 'descent'. Further examining the possibilities of restoration of the word [+—+—+—+—+—+]-*fa-ma*, my attention was drawn to the Avestan verb *saēf-* 'über — hin (acc.) streichen'. To this the form **θaiif-* would correspond in Old Persian and the noun derived from it is **θaiifa-* 'touching, smoothing, drawing, striking'.

⁸⁸ Thus correctly W. HINZ: ZDMG 102 (1952) 35, 37.

⁸⁹ See J. HARMATTA: Acta Ant. Hung. 12 (1964) 217.

⁹⁰ R. G. KENT: JCS 5 (1951) 55—56, JAOS 72 (1952) 15.

⁹¹ W. HINZ: ZDMG 102 (1952) 35, 37.

⁹² J. HARMATTA: Acta Ant. Hung. 12 (1964) 217.

⁹³ M. MAYRHOFFER: Orientalia 33 (1964) 82 ff.

This word combined with the word *nāman-* 'name' would give the restoration [*na-a-ma-θa-i*]-*fa-ma* and its meaning would be approximately the same as that of the German word *Namenszug*, by which W. Hinz translated the Elamite word *ḫi-iš*. Among the various possibilities at any rate this would correspond best to the Elamite translation from the viewpoint of the meaning.

7. The restoration of the word [+]-*va-a-da-a*-[+ - + : *a-ku-u-na-va-ma*] following after the second *patišam* is also a problem. R. G. Kent originally gave here the restoration [*a*]*vādā*[*tā*] 'it was sent down',⁹⁴ however, he gave this up soon in favour of the restoration [*u*]*vādā*[*m*] proposed by W. Hinz.⁹⁵ Hinz saw in this word the Old Persian equivalent of the Old Indian word *svadhā-* 'residence, home' and he thought that the Elamite word *e-ip-pi* 'pedigree, descent' can be the translation of this.⁹⁶ This interpretation brings the Old Persian text undoubtedly much nearer to the Elamite translation than the restoration of Kent, but the difficulty is also here that the meaning of the presumed Old Persian word **vādā-* is not 'pedigree, descent' but 'home' and this from the viewpoint of the subject does not correspond to the initial formulae of the Bisitun inscription which contain partly the name of Dareios and his titles (= *ḫi-iš*) and in fact also his pedigree (= *e-ip-pi*). Since concluding on the basis of the Old Indian word *jāta-* 'birth, descent, clan', in Old Iranian the word meaning 'descent' was **zāta-*,⁹⁷ and as the Old Persian form of this the word **dāta-* can be presumed, thus the word meaning 'own descent, pedigree' would be in Old Persian **vādāta-*. This can be inserted in the discussed passage, viz. [*u*]-*va-a-da-a*-[*ta-ma*] without any difficulty and thus the meaning of the Old Persian text corresponds exactly to the Elamite translation, viz.: «in front I had my pedigree put on it.»⁹⁸

8. In line 91 the interpretation of the word *paišiyā* is not reassuring. R. G. Kent held this word first the derivative of the verb *pais-* and translated it with the meaning 'writings'.⁹⁹ Later on, however, he accepted the interpretation of W. Hinz,¹⁰⁰ according to which the meaning of this word is 'before' and the word itself derives with epenthesis from the form **pašyā* < **patyā*.¹⁰¹ Both suggestions have, however, hardly surmountable difficulties. To the word *paišiya-* we cannot ascribe the meaning 'writing', because this concept in Old Persian is expressed by the word *nipištam*, and without the verbal prefix *ni-* the meaning of the verb *pais-* is not 'to write' but 'to cut, to decorate' and thus the meaning of its nominal derivative cannot be 'writing' either. On the other

⁹⁴ R. G. KENT: JCS 5 (1951) 56.

⁹⁵ R. G. KENT: JAOS 72 (1952) 14—15, Old Persian². 130, 177.

⁹⁶ W. HINZ: ZDMG 102 (1952) 35—36.

⁹⁷ It is possible that this occurs in the name *zwhy* **Zāta-vahya-* preserved in Aramaic transcription, see W. EILERS: AfO 17 (1956) 332.

⁹⁸ See J. HARMATTA: Acta Ant. Hung. 12 (1964) 217.

⁹⁹ R. G. KENT: JCS 5 (1951) 56.

¹⁰⁰ R. G. KENT: JAOS 72 (1952) 15.

¹⁰¹ W. HINZ: ZDMG 102 (1952) 37.

hand, a serious obstacle of the interpretation 'before' of *paišiyā* is the circumstance that in Old Persian we cannot count at all with epenthesis. Earlier it seemed that at least in one word, viz. the adjective *yaumaini-*, the occurrence of the epenthesis can be traced in Old Persian. Since, however, K. Hoffman identified the element *maini-* convincingly with the Avestan word *maēni-* 'Vergeltung, Strafe',¹⁰² it has become doubtless that the presence of epenthesis cannot be presumed in Old Persian. Thus we must look for another explanation. The word *paišiyā* can be interpreted without any difficulty as the instrumental singular (ablative, locative, genitive) form of a noun *paišī-*. This is the exact equivalent of the Old Indian word *peśi-* 'piece of meat', the original meaning of which was, however, obviously 'slice', and its special meaning developed only later, very likely in the compound *māṃṣapeśī-*. Thus in Old Iranian we can presume the meaning 'slice, piece' of the word **paišī-*. In the passage of the Bisitun inscription under discussion the meaning of this word can be 'passage, section, Abschnitt', so that the whole sentence can be translated as follows: «and was read paragraph by paragraph to me». If this interpretation is correct, then the phrase *paišiyā* refers obviously to the parts of the Bisitun inscription divided by the phrase *θātiy : Dārayavauš : xšāyaθiya*.

9. The last problem is represented by the last word of § 70, viz.: *hamātaxšatā*. The explanation of this moves on a broad scale of the interpretations and it shows several variations between the meanings «they learned (the writing)» and «they copied (the inscription)».¹⁰³ In the dispute going on about the explanation of the phrase the most striking circumstance is that the verb *hamtaxš-* is well known in Old Persian and occurs several times also in the Bisitun inscription. The circumstance that up to now no reassuring interpretation could be given to the phrase *hamātaxšatā* is very likely due to the fact that we have to do here not only with a linguistic problem, but important historical questions or questions of paleographic character are also involved in connection with the interpretation of the phrase.

From the methodological point of view the only correct way of interpretation of the phrase *hamātaxšatā* is still to start out from the meaning of the verb to be ascertained on the basis of its other occurrences. From the viewpoint of the interpretation of the phrase *hamātaxšatā* in the first place three passages of the inscriptions of Darius are of decisive importance. These are as follows:

DB IV 65—66 martiya : hya : hamataxšatā : manā : v¹θiyā : avam : ubar-
tam : abaram
«the man, who collaborated with my house, I reward him well»

¹⁰² K. HOFFMANN: *Altpers. afuvāyā*. Corolla Linguistica. Festschrift Ferdinand Sommer. Wiesbaden 1955. 84 ff.

¹⁰³ See R. G. KENT JCS 5 (1951) 56, JAOS 72 (1952) 13; W. HINZ: ZDMG 102 (1952) 37 foll.

DNb 16—17 martiya : hya : hataxšataiy : anudim : hakarta° hyā : avaθā-
dim : paribāramiy
«that man, who collaborates, in accordance with his collabora-
tion, so I provide for him»

DB IV 82—83 adakaiy : imaiy : martiyā : hamataxšatā : anušiyā : manā
«then these men collaborated as my followers».

From the comparison of the three passages it becomes clear that Dareios interprets «collaboration» always as a support rendered to his «house», as «collaboration with his house». Thus there cannot be any doubt regarding the fact that from the viewpoint of the contents we must add the phrase *manā : viθiyā* in thought also to the sentence *kāra : hamātaxšatā*, just as this has to be implied also to the phrase *hya : hataxšataiy*. Thus the end of § 70 must be interpreted as follows: «the army collaborated (with my house)».

It is not difficult to realize the immense political meaning of this statement. After the killing of Gaumāta, Dareios had to gain the regime at the cost of heavy fights and he could have himself recognized as ruler in the whole empire only after initial difficulties. In this he undoubtedly assigned a great importance to the text of the Bisitun inscription, which was sent by him even to the most distant garrison of the Old Persian Empire according to the evidence of the Aramaic version of Elephantine. When Dareios with the help of his followers killed Gautāma, certain provinces of the empire revolted against him and did not recognize his rule. But very likely there were also many such territories, the «army» of which (*kāra*) adopted an expectant attitude. The purpose of the Bisitun inscription was to convince these, it justified the conduct of Dareios and placed him before the «army» as a ruler supported by Auramazdā, impersonating and carrying out the will of Auramazdā. The last sentence of § 70 does not want to say more or less than that after the dispatch of and acquaintance with the text of the inscription, the «army», the garrisons, the whole empire recognized Dareios as a ruler and collaborated with the Royal House.

On the basis of the aboves the Old Persian text of § 70 can be restored as follows:

line 88 . . . θātiy : Dārayavauš : xšāya[θi]ya : vašnā : Au-
89 ra[ma]zdāha : ima : dipi^rmaⁱ[y : tyā :] adam : akunavam : patišam :
āriyā : āha : utā : ^rpa^vast-
90 āy[ā :] utā : carmā : gar[štā : āha] : [pat]išamai[o]y : [nāmaθai]fam :
akunavam : ^rpat]iša[m : u]vādā-
91 [tam : akunavam] : utā : ^rniya^lpi[š]i[ya : u]tā ^r : pat^liyaf^rraši^lya : pai-
[š^liyā : mā[m] : pasāva : ima : di-
92 pi[ya : a]dam : f[rā]stāyam : ^rvi^l[s]pa^ldā : atar : dahyā[va]^o : kāra :
hamā[ta]x^r ša]tā

line 88 «. . . Declares king Dārayavauš: by Au-
 line 89 ramazdā's will these inscriptions, which I caused to be made, were
 otherwise, in Āryan language. Both in clay envelope
 line 90 tablets and in parchment they were wrapped. In front I had my name
 put on it, in front my pedi-
 line 91 gree I caused to be put on it. It was both written and read section by
 section to me. Then I dispatched these in-
 line 92 scriptions everywhere in the provinces. The army collaborated (with
 my house)».

As it becomes clear from this translation, the Old Persian original shows the same division of the contents as the Elamite version, but certain details are much clearer and more accurate than in the latter. The Elamite translator in the part dealing with the protocol-wise authenticity of the inscription did not understand several phrases or could not translate them and therefore he left them out.

As a whole from the Old Persian original, in agreement with the Elamite version, it becomes clear that Dareios or the Old Persian chancellery preparing the draft of the inscription regarded it as differing from the earlier practice, that the inscription was prepared in Āryan language. This points to the circumstance that in the Bisitun inscription they saw the first application of the Old Persian cuneiform script. Whether this opinion of theirs, which was clearly expressed in the text of the inscription, corresponded to reality or not, is of course a question, the solution of which exceeds the framework of this paper.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Additional notes. — 1. According to the kind information of Professor G. CAMERON (on the 3rd September 1966, Tehran) the second *pa* in the passage DB I 68—69 (quoted on p. 267 above) was in reality the beginning of *ANŠU.KUR.RA*¹⁸. Consequently, the correct text of the passage runs as follows: *ap-pa ANŠU.A.AB.-BA*¹⁸-*ma ap-pi-in be-ip-la ap-pa ANŠU.KUR.RA*¹⁸-*ir be-ip-li-ib-ba*. — 2. Professor W. HINZ kindly communicated to me (on the 4th September 1966, Tehran) that in line 91 of the Old Persian Bisitun inscription he does not restore 'niya'pi[š]iya any more as adopted above on the basis of his article in ZDMG 102 (1952) 36 foll. (cf. also W. BRANDENSTEIN — M. MAYRHOFER: Handbuch des Altpersischen. 135), but referring to the inscription DMA where the passive form [niyap]iθi[ya] occurs, he considers, as correct form 'niya'pi[θi]ya also in DB IV 91.

THE HISTORICAL BACKGROUND OF THE IONIAN REVOLT

The Greek cities and islands of Asia Minor, which came under Persian rule in the middle of the 4th century, for nearly half a century remained loyal to the Great King of Persia, who granted to them a comparatively wide-ranging political autonomy and free economic activity, and had a high respect for their legal customs, religion and culture. In the meantime there were even two favourable opportunities for «liberation», but the Greeks did not take advantage of either of them. The first was the shaking of the Persian Empire following the death of Cambyses and the revolt of Gaumata, when the conquered countries and peoples were seceding and revolting one by one, there is, however, no mentioning about the revolt of the Greeks either in the Iranian or in the Greek sources. The second possibility offered itself, when in 513 Dareios got into a critical situation with his army in Scythia. This could have been transformed into a catastrophe by the desertion of the Ionian Navy, but the Greek leaders — with the exception of the Athenian Miltiades — chose unanimously loyalty to the Persians on account of political and social reasons. The bridge built for the army of Dareios brought «glory» equally for Mandrokles of Samos and his compatriots in the whole circle of the Eastern Greeks.

The attitude of the Scythians was far from the Ionians, the latter did not regard the Persian rule as an intolerable slavery, of which one had to get rid at any price (Herod. IV. 142). The serving of the Persian King and loyalty to him brought for the Greeks not only reward but at the same time also the appreciation and respect of their compatriots.¹

In the contemporary sources there is no trace to the effect that in the first half century of the Persian rule some kind of collective consciousness would have developed in the circle of the Greeks of Asia Minor, which would have set

¹ Besides the case of Mandrokles see also the description of the battle of Salamis by Herodotus, viz.: he calls those Ionians cowards, who upon the appeal of Themistocles did not fight bravely on the side of the Persians, and speaks in terms of high appreciation about those Ionian captains of the Persian fleet, who distinguished themselves (VIII. 85). — «Nicht mehr Träger des politischen Geschehens, nicht mehr Gegner sind in dieser Zeit die Griechen Kleinasiens, sondern Untertanen» — M. POHLENZ writes properly: Herodot. Leipzig 1937. p. 14.

them as «Greeks» against the oppressing «Persians».² In the second half of the 4th century there is no sign of a political and military unity of action, or uniform and coordinated attitude towards the Persians. The attempts of Bias and Thales in this direction proved to be useless (Herod. I. 170). We know about the uniform attitude of the political and military leaders of the Greeks of Asia Minor just in the opposite case, when at the time of the Scythian War they take sides with the Persians. In this case, however, we have not to do with the manifestation of some sort of a collective «people's or national» consciousness, but with identical political and social interests of the tyrannoi, the leaders of the Greek poleis, as it was clearly expressed by Histiaios of Miletus (Herod. IV. 137—138).

Thus the attitude shown by the Greeks of Asia Minor towards the Persian rule does not become comprehensible, if we approach the events and occurrences connected with it through the modern categories of «people's or national» oppression and liberation, or freedom movement. We must look for an explanation on the one hand in the social structure of the Greek poleis of Asia Minor, in the formation of the relationship of strength of their classes, in the clash and changing assertion of the economic and political interests, and ambitions of the different social classes, and on the other hand in the changes of the economic and political structure of the whole Persian Empire, and of its power and administrative organization and methods. When one and a half decades after the Scythian War a general uprising bursts out in Ionia against the Persian rule, we can hardly see in this the flaming up of the embers of some Greek national independence ambition, or desire of freedom from Persian oppression, glowing under the ashes for half a century, nor can we see in the leaders of the revolt «national heroes of freedom» similar to the leaders of the national independence movements of modern times — like Washington or Mazzini —, as part of the modern bourgeois historians are inclined to say.³

Our only detailed source from ancient times on the Ionian revolt is the description by Herodotus in his Books V and VI. In Herodotus we can find references not only to the course and events of the revolt, but also to its causes, circumstances and even to its ideology, and this reflects, to a certain extent, the traditions living among the Greeks of Asia Minor.

² «... zur Nation fehlte den kleinasiatischen Griechen demnach so gut wie alles, noch mehr als den Hellenen des Mutterlandes... Die Gegensätzlichkeit, die alles griechische beherrscht, sei es als leidenschaftlicher Agon, sei es als Streben nach Harmonie, offenbart sich im politischen Leben am eindrucksvollsten in dem Gegenüber von kleinasiatischem und europäischem Griechentum.» H. BERVE: *Neue Jahrbücher* 3 (1927) 515. — See also F. HOWALD: *Hermes* 58 (1923) 125; V. EHRENBERG: *Ost und West*. Brunn-Prag/Leipzig/Wien 1935. 102.

³ A classical example for the latter is the article of DE SANCTIS: *Riv. di Philologia* 9 (1941) 48—72. (He compares Aristagoras to Washington and Mazzini and calls him one of the greatest «national heroes of freedom» in world history. *Op. cit.* 48)

Herodotus mentions the Naxos expedition as the direct cause of the outburst of the revolt (V. 30—35). This largest and wealthiest island of the Cyclades meant an important key position — half-way between the coasts of Greece and Anatolia — in the economic and political rule over the Aegean Sea. Thus it is evident that both the mother-country and the leading Greek poleis of Asia Minor stretched out their hands for it. The island owed its wealth in the first place to its flourishing vineyards and marble mines, and in the 8th century it participated also in the colonization of Sicily. Naxos stood on the summit of its economic and political prosperity in the second half of the 7th century. Its ceramic industry dominated the islands of the Cyclades, over which its political influence and control were also extended. The second half of the 7th century and the beginning of the 6th century are the period of the influence of Naxos in the island of Delos and especially in the sanctuaries of the same.

In the second half of the 6th century vehement social and political fights were going on also in Naxos. We do not know much about the details of these. Lygdamis of Naxos supported Peisistratos with money and soldiers in the acquisition of the regime (Herod. I. 61), and then with the help of Peisistratos he became the tyrant of the island (Herod. I. 64 Arist. Pol. 1305a; Athen. Pol. XV. 233). Thus the tyrannis of Lygdamis meant undoubtedly Athenian influence and political hegemony in Naxos and also in Delos. After the death of Peisistratos the position of Lygdamis was shaken, he was driven away by the Spartans in the course of the war fought with Polycrates (in 522 B. C.). After this followed two decades of oligarchic regime of the landowner enterprising aristocracy (*παρχεῖς*), with Spartan support.⁴

At the end of the 6th century — most probably in 501 — the demos of Naxos drove away the rich, who fled to Miletus, because they were linked by old hospitality with Histaïos, its ruler. This fact throws light at the same time on the social content of tyrannis in Miletus under the Persian rule and on its character, which differs in many respects from the tyrannis of earlier times. The tyrants of Miletus at the end of the 6th century support against the demos the landowner oligarchs of Naxos, who had overthrown the tyrannis with the help of the Spartans.

Aristagoras regards the request for help of the oligarchs of Naxos as a good opportunity to spread the economic and political domination of Miletus over Naxos and to draw by this the whole of the Cyclades under his influence. In the second half of the 7th century Naxos was still not only the largest and wealthiest island and key position of the Cyclades, but also the economic and political hegemony over these islands was in its hands. As from the middle of

⁴ On Naxos see G. GLOTZ: *Hist. gr.* Paris 1938. I. pp. 291—292; W. W. How—J. WELLS: *A commentary on Herodotus.* Oxford 1912. II. pp. 11—12. — On the influence of Naxos in Delos see GALLET DE SANTERRE: *Délos primitive et archaïque.* Paris 1958. 283—311. On Lygdamis see A. ANDREWES: *The Greek Tyrants.* 1956. 123. — MYRES: *Herodotus.* Oxford 1953. 194.

the 6th century, however, Athens and Sparta, the leading powers of continental Greece try to extend their influence over the Cyclades. But the Ionians also interfered into the fight going on for the hegemony over the Cyclades and the Aegean Sea. Polycrates of Samos, relying on his own fleet and mercenary army, in alliance with the great powers of the East, and supporting the anti-oligarchic tyrannis in the Cyclades — and thus also in Naxos —, strived to build up an independent Ionian thalassokratia. This ambition, however, evoked the resistance of the Spartans and the Persian governors of Asia Minor, and was frustrated. By the end of the 6th century Miletus could no longer think of the building up of such an independent Aegean thalassokratia, she had by all means to count with Persian hegemony, since even she herself was not independent and could initiate a major military action only with the consent of the Persian King and with the cooperation of the Persian Army. When he recommended to Artaphrenes, satrap of Sardes, the military support of the emigrants from Naxos, he clearly said that as a result of this action not only Naxos, but also the whole Aegean archipelago can come under the rule of the Persian King, and in addition they would by this take an important step also towards the occupation of the Greek mother-country (Herod. V. 30—31). This must have been clear also to the emigrants of Naxos. When they turned for help to the tyrant of Miletus, at the same time they also counted with the Persian rule. Thus the landed aristocracy of Naxos — similar to the aristocrats of the poleis of Asia Minor — tried to maintain its economic and political control over the demos with the help of the Persians and with the recognition of the Persian supremacy, because it could not expect any efficient support from Sparta, which was occupied with Peloponnesus and her own internal affairs, while Athens supported the demos.

The recognition of Persian hegemony, however, did not yet exclude the possibilities of the bringing about of a Milesian thalassokratia serving the interests of the Ionians in the Aegean Sea. As we have seen, the political structure of the Persian Empire ensured a far-reaching autonomy and free economic activity for the Greek poleis of Asia Minor. At the same time the strong military force of the empire defended them against all their rivals on the other side of the sea. The position of Miletus was especially favourable in this respect. She did not come under Persian regime as a defeated enemy, compelled by arms, but joined Kyros voluntarily still at the time of the Persian-Lyidian War, maintaining her status as an ally, which she had enjoyed under the Lyidian hegemony, also in the Persian Empire. The important role of Histiaios, tyrant of Miletus in the surroundings of Dareios during and after the Scythian War points to the privileged position occupied by Miletus in the Persian Empire. The Persian hegemony was favourable for the ruling class of Miletus not only because it ensured the rule of this class within the polis, but also because it could ensure with the help of Persian arms and under the aegis of the Persian hegemony its

own economic and political hegemony over the islands and coastal region of the Aegean Sea. And in the first half of the 6th century the Persian hegemony was still distant, nominal and loose to endanger the characteristic interests of the Eastern Greeks, especially the ruling classes of Miletus.

Under the Persian rule, in the second half of the 6th century the economic prosperity of Miletus was still unbroken, she was still holding her important economic positions in the eastern basin of the Mediterranean Sea and the coastal region of the Pontus. After the middle of the 6th century, however, in those areas, the markets of which were controlled hitherto exclusively by Miletus, Athens appears as a more and more serious rival and she had extended her control already also over the Cyclades. It becomes quite clear from the offer made by Aristagoras to Artaphrenes that by the Naxos venture he wanted to crush in the first place the Athenian economic and political expansion, which became more and more threatening (besides the Cyclades he also held out the prospect of the occupation of Euboea), and with Persian military aid, under the aegis of the Persian power, he intended to draw the islands and coasts of the Aegean Sea under the influence of Miletus.

What were the factors, which turned the original plan and conception of Aristagoras to the wrong, and how did the Naxos expedition, planned to serve the conception described above, become the starting point of an Ionian revolt directed against the Persian rule and supported by Athens?

In the interpretation of Herodotus — in accordance with his historical aspect and historical method — personal reasons stand in the foreground, but behind the individual attitude of the leaders and main figures of the revolt we can feel those major economic and political factors, of which the individual ambitions and deeds were only superficial manifestations. From the description of Herodotus it becomes clear first of all that in the sudden conversion of Aristagoras a decisive part was played by the attitude of the Persian King, the Satrap and General, shown by them towards his Aegean hegemonistic plans and which in its final conclusion lead to the fiasco of the Naxos expedition. Aristagoras planned the Naxos undertaking to be an Ionian expedition: its expenses were borne by the people of Miletus and Naxos and the Ionian fleet participated in it, he asked only for minor military aid from the satrap of Sardes. Dareios, however, — upon the proposal of Artaphrenes — sent two hundred ships instead of one hundred asked for, besides a strong army consisting of Persians and allied troops, under the command of his nephew, the Achaimenid Megabates. Thus in place of an Ionian undertaking to be carried out with Persian aid it came to a large-scale Persian military operation, in which the Ionian fleet played only a subordinate role beside the Persian fleet and army. Aristagoras did not become the absolute leader of the expedition, but was obliged to tolerate the instructions of Megabates. According to Herodotus the contrasts between the two commanders — Aristagoras and Megabates — had a decisive role in

the fiasco of the expedition, and besides this according to him Megabates also acted in collusion with the Naxians. The Naxians were prepared to meet the invasion army, which after an unsuccessful siege, becoming short of its supplies, was compelled to return to the port of Myus (Herod. V. 32—35).

The fiasco of the Naxos expedition shook the positions of Aristagoras notably, which were not too strong also as a result of the internal social and political contrasts in Miletus. His plans directed to the acquisition of Aegean thalassokratia were frustrated. The Ionian fleet alone was weak for this and in the case of such far-reaching plans he could not count for the support of the Persian power, this became clear in the course of the undertaking. The fiasco shook his authority and prestige also among the Ionian tyrants. The extremely high expenditures of the unsuccessful undertaking undermined the economic basis of his power, and as a result of his conflict with the Persian General, the nephew of Dareios, he had justified reasons to fear that he would lose also the good will of the Persian King and the satrap of Sardes, the only political support of his regime. The rule of the tyrants in the Ionian poleis against the demos was maintained only by the favour and armed force of the Persian Great King (Herod. IV. 137). In the case of losing the favour of the Achaimenids Aristagoras could fear with justification that he could lose also his rule over Miletus (Herod. V. 35). And of this he could be afraid the more, because his father-in-law, Histiaios — having enough of his office as adviser of the court in Susa — also wished to be back in Miletus.

Thus in the attitude of Aristagoras certain personal factors of power played undoubtedly an important part.⁵ In his position, which was shaken after the fiasco of the Naxos expedition, he had not much to lose. He could no longer rely upon the Persians, his only and last desperate attempt to maintain his position was to turn against the Persians.

The changes taking place in the policy of the Persians during the reign of Dareios played a decisive part in the frustration of the plans of Aristagoras and in the shaking of his position. The Persian Empire, which developed from nothing into a great power in the course of two decades, was not a consolidated and homogeneous political formation. This became clear on the occasion of the Gaumata revolt and the secessionist movements following the death of Cambyses in 522/21 B. C. These movements shook the empire of Cyrus in its foundations, and Dareios and the Persian tribal aristocracy could be masters of the

⁵ E. MEYER: *Geschichte des Altertums*. IV.³ Stuttgart 1939. 282. — EHRENBERG: *Ost und West*. p. 103. — TH. LENSCHAU: *Klio* 13 (1913) 183. — H. BERVE: *Gnomon*. 1936. 183—185 (GLOTZ: *Hist. gr.*, review). — H. BENGSTON: *Griech. Gesch.* München 1951. 142—143. — M. POHLENZ: *Griechische Freiheit*. Heidelberg 1955. 14. — DE SANC-TIS idealized the figure of Aristagoras, when he describes him as a consistent fighter of Greek freedom, who is waiting only for the favourable opportunity to hoist the flag of revolt (*op. cit.* pp. 48 and 57); — such an interpretation, however, obviously contradicts to the picture given to us by the only detailed ancient source, the description of Herodotus.

situation and hold the disintegrating empire together only with great difficulty and effort. The attitude and measures of Dareios indicate well that the new King saw it clearly: the existence of the empire depends on the circumstance how far it will be possible to increase its internal cohesion, to make its political and administrative structure firm and lasting, and to strengthen and increase the centripetal, contracting forces, the central factors securing the unity and stability of the empire against the centrifugal ambitions of the defeated and allied peoples. His political and administrative reforms aim at this. The changing of the orientation of the Persian foreign policy in the last two decades of the 6th century acted parallel with this. Cyrus, after the defeat of the Lydians attacking him, did not care much about Anatolia, the main point of his military and political activity was in the East, and his son, Cambyses, first of all set himself the aim to conquer Egypt. For them it was enough that the empire should not be threatened by serious danger from the West. However, the attention of Dareios — after the restoration of the empire, the re-conquest of the lost provinces — was directed in the first place towards the West. In his military and political plans an important part was given to West Anatolia and the Aegean islands. This was manifested already during the Scythian War of 513, and at the same time it was also shown that the conquest of the southeastern part of Europe is not an easy job, it surprised the Persian troops with many unforeseen difficulties. Thus Dareios did not satisfy himself by the fact that the Greek poleis of Asia Minor nominally recognize the supremacy of the Persian Great King and maintain relations of alliance with him, but endeavoured to master the conditions in West Anatolia much more firmly than his predecessors. In the reorganized empire of Dareios an allied city like Miletus, carrying on an independent internal and foreign policy, could not be imagined and the existence and further development of such a Greek power, respecting him but still having a comparative independence and efficiency, was by no means in his interest. This is the reason, why he removed in 512 the most influential and respected Greek tyrant, Histiaios — in spite of all his good services and loyalty — from the western border regions of the empire, and set his brother Artaphrenes in the post of the satrap of Sardes, and this explains his attitude in connection with the Naxos expedition. Dareios had his own plans and purposes in the West, the Greek poleis could participate in the carrying out of these but could not carry on independent actions.

The changes taking place in the politico-administrative organization, the regime and foreign political orientation of the Persian empire at the end of the 6th century had their influence also on the Greek poleis of the coastal region of Asia Minor. This was shown directly by the fact that their wide-ranging autonomy and independence enjoyed by them in the previous decades were curtailed to a certain extent, and indirectly in as much as there was no longer any possibility for the unlimited satisfaction of such specially Greek power ambitions

under the aegis of the Persian hegemony, about which Aristagoras was dreaming at the organization of the Naxos expedition.

Herodotus makes a sufficiently clear reference also to the internal socio-political background of the Ionian revolt. The supporters of the Persian rule in the Greek poleis of Asia Minor were the members of the ruling class consisting of big landowners, shipping, industrial and commercial contractors, the tyrants came out from their ranks and these were maintained on the regime by the force of the Persian power. Thus the demos opposed to the ruling class and the tyrants was necessarily opposed also to the Persian rule. Therefore Aristagoras, when he turned against the Persians, first of all had to change the prevailing political system of the Ionian cities. While one year before he still supported the «rich» of Naxos in regaining their rule against the demos, after the outburst of the revolt he gave up his tyrannis and introduced political equality in Miletus in order to win the support of the demos this way. With the aid of Miletus the other Ionian poleis also killed or expelled their tyrants loyal to the Persians and introduced a system of democratic character (Herod. V. 37—38).

The ancient sources say nothing about the economic background and motives of the Ionian revolt.⁶ The Persian conquest did not violate the economic interests of the Ionian poleis and the Eastern Greek merchants, navigators and industrial contractors made good profits also under the Persian rule, and the new situation was temporarily even favourable for them. From the archeological material, however, we can conclude that in the course of the first half century of the Persian rule important changes took place in the economic situation of the Ionian poleis, in the first place in the international commercial position of the commercial cities and seaports.

The second half of the 7th century and the first half of the 6th century were the golden age of the marine trade relations and industrial export of the Ionian poleis. But while in the 7th century the Ionian goods (first of all the ceramics) almost exclusively dominated the markets of the Near East, Egypt and Pontus, in the course of the 6th century a dangerous rival appeared in the arena, viz. Athens, rapidly building up her marine trade relations and export. In the second half of the 6th century Attican pottery almost entirely ousted the Ionian goods from the eastern coastal region of the Mediterranean, from Tarsus, Al Mina and the other sites.⁷ The same can be said also about the Egyptian Naukratis.⁸ Parallel with the expansion of Attican pottery appear in the eastern

⁶ The economic motives of the Ionian revolt are especially stressed by LENSCHAU: *Klio* 13 (1913) 183. — CAH IV. 217 foll. — BERVE: *Gnomon*. 1936. 185.

⁷ The expansion of Attican ceramics to the disadvantage of that of Ionia see H. SCHAAL: *Vom Tauschhandel zum Welthandel*. Leipzig 1931. 81 ff. — C. ROEBUCK: *Ionian trade and colonization*. New York 1959. 70. — M. ROBERTSON: *JHS* 66 (1946) 1. — L. WOOLLEY: *A Forgotten Kingdom*. Baltimore 1953. 175—179. — G. M. A. HANFMANN: *On Some Eastern Greek Wares Found at Tarsus. The Aegean and the Near East*. New York 1956. 184.

⁸ H. PRINZ: *Funde aus Naukratis*. Leipzig 1908. 114 ff. — WOOLLEY: *op. cit.* 178—179. — SCHAAL: *op. cit.* 93—95.

seaports the Attican coins, viz. those of higher nominal value, indicating the leading role of Athens in the long distance wholesale trade (in the local circulation Persian coins of minor face value were used). Between the years 580 and 520 B. C. the proportion of the pottery of Attican origin gradually increased in the eastern sites and by the end of the 6th century the Ionian goods have almost entirely disappeared. The expansion of Attican pottery was also vigorous in the colonies of Pontus, as well as in the Anatolian cities (Sardes, Gordion), but here up to the end of the 6th century it could not completely oust the Ionian goods, the export of which seems to be unbroken up to the time of the revolt.⁹

Thus by the end of the 6th century Athens assumed the place of Miletus and the other Ionian industrial and trade centres in the naval routes. The Ionians temporarily reimburse themselves with the land routes, which had been made useable and secure by the Lydian and later by the Persian regime. On this route leading through Anatolia the Ionian merchants and goods reached Gordion, Babylon, Uruk and other eastern cities of the Persian Empire.¹⁰

We cannot seek for an explanation of the above in some kind of Persian economic policy, which would have favoured Athens to the disadvantage of the Ionians. The Persian rule did not raise any difficulties in the way of the commercial activities of the Greeks coming under its supremacy. It did not prevent consciously the exportation of the Ionian goods and indirectly it even favoured it by the unification of large territories, by the creation of peace and public security. According to Herodotus at the turn of the 6th and 5th centuries Miletus *μάλιστα δὴ τότε ἀκμάσασα καὶ δὴ καὶ τῆς Ἴωνίης ἦν πρόσχημα* (V. 28). The imperialistic plans of Aristagoras, the financing of the Naxos expedition and the assuming of the risk of opposing to the great Persian King also indicate that at this time Miletus was not a declining and ruined city, but was in the full vigour of her economic power, which was supported also by a significant marine fleet. The Ionian shippers played an important part in the economic circulation of the Persian Empire — as it is proved by the Susa foundation inscription — and their fleet formed the basis of the Persian Navy.

The Milesians, however, found in the second half of the 6th century a strong rival in the fields of industrial export goods production as well as in marine navigation and trade. In the former field Athens and in the latter the Phoenicians proved to be such rivals, by whom the Milesians were gradually beaten.

⁹ HANFMANN: *op. cit.* The Aegean, 184. — E. V. STERN: *Klio* 9 (1909) 144—145. — ROEBUCK: *Ionian trade*, p. 48. — G. M. A. HANFMANN: *Sardes und Lydien*. *Abh. d. Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse Jhg. 1960*, No. 6, p. 526.

¹⁰ On the land route see Herod. V. 52—54. Strabon XIV. 2, p. 29, 663. — D. G. HOGARTH: *Ionia and the East*. Oxford 1909, 64—65. — E. IVÁNKA: *Wege des Verkehrs und der kulturellen Berührung mit dem Orient in der Antike*. Budapest 1938, 22—39. — LENSCHAU: *op. cit.* 175—176. — SCHAAL: *op. cit.* 96. — WILCKEN: *op. cit.* 92.

In the second half of the 8th century as a result of the Assyrian conquest the shipping and trade activity of the Phœnician cities declined and this made possible for the eastern Greek shippers and merchants to come into prominence in the eastern basin of the Mediterranean Sea. The Persian rule, however, was much more human than the Assyrian and the Babylonian, following the latter, and had a favourable effect upon the development of the Phœnician cities. Under the Persian hegemony the commercial activity of the Phœnician cities revived. Besides the Ionian fleet, the Persian Navy was formed by the Phœnician ships and in the 5th century the bulk of the fleet of the Great King consisted of the Phœnician ships. While Tyrus was continuously revolting against the Assyrian and Babylonian rule, she was a loyal and peaceful subject of the Persian King. The Phœnicians made repeated intrigues in the Persian Court against the Ionians (Herod. VIII. 90) and played a decisive part in the defeat of the Ionian revolt (Herod. VI. 6). Thus the half a century long rivalry and struggle of the two trading and shipping peoples under Persian rule for the domination of the eastern basin of the Mediterranean Sea, for the carrying on of the sea traffic of the Persian Empire was decided in the beginning of the 5th century — even if temporarily — to the advantage of the Phœnicians.

The Athenian and Phœnician rivalry ousted the Milesians from the eastern coastal region of the Mediterranean Sea. They wanted, therefore, to reimburse themselves by the drawing under Persian-Ionian hegemony of the Greek colonies, raw material resources and markets of the Pontus coastal region on the one hand, and the islands of the Aegean Sea on the other, but neither of their ambitions was successful. The fiasco of the Scythian War of Dareios and then that of the Naxos expedition meant at the same time also that Miletus and the other Ionian poleis did not succeed in consolidating their economic and commercial positions in the Pontus and the Aegean Sea, which came gradually into the hands of their rivals, they could not secure them or acquire new positions in the place of the ones they had lost.

These economic factors must by all means be taken into consideration, if we want to clarify the historical background and motives of the Ionian revolt. We believe, however, that these economic factors did not play a direct part in the outburst of the revolt, but had their presence felt only through certain transmissions, in the first place by their effect on the social and political conditions of the Ionian poleis.

In the 7th and 6th centuries B. C. sharp socio-political fights were going on in the Ionian poleis, in the course of which the demos — with the help of the tyrants — acquired for itself some limited political rights, but these — with the exception of those in the island of Chios — were not very significant and reached hardly beyond the reorganization of the ancient phyle system. In the Eastern Greek poleis the tyrannis did not pass over to the system of the developed slave holding democracy, like in Athens, but the line of development was

broken, came to a standstill and the Persian rule secured and consolidated the socio-political power of the financial aristocracy everywhere. The socio-political role and character of the Persian satellite eastern Greek tyrannis were entirely different from those of the tyrannis of the 7th century and the first half of the 6th century. The domination of the financial aristocracy had a very strong opposition in the Ionian poleis and in fact it was maintained only by the Persian arms against the demos demanding its social and political assertion, as this was clear also to the contemporary tyrannoi of Asia Minor. The ever increasing competition of Athenian export industry and Phenician shipping, the loss of important markets and commercial positions, and then the fiasco of the ambitions directed towards the acquisition of new positions have shaken the economic and social position of the ruling classes of the Ionian poleis, while the gradual change, taking place in the line of the internal and external policy of the Persian Empire during the reign of Dareios, threatened their political positions. The socio-political interests of the Ionian demos and the individual power interests of Aristagoras coincided for the moment in 500 B. C. The demos expected the assertion of its socio-political rights and ambitions from the shaking off of the Persian rule, which insured the domination of the financial aristocracy and forced the tyrants upon it by armed force, while on the other hand Aristagoras — after having lost the support and good-will of the Persians — could hope to rescue his shaken regime only from the return to the political traditions of the tyrants of old times and from alliance with the demos.

The giving up of the tyrannis by Aristagoras and the declaration of the equality of political rights were very clever and efficient, although undoubtedly demagogic tactical steps.

Herodotus also refers to it several times, saying how much differed the aims and interests of the former Persian satellites, Aristagoras and Histiaios, who started the revolt. About the measures taken by Aristagoras he repeatedly remarks that they did not serve the interests of the Ionians and misled both his compatriots and the Athenians (V. 97, 98, 124). After the first failures of the uprising, seeing that his situation is hopeless, he also let down the cause of the Ionians and settled down in Myrkinos, Thrace (Herod. V. 124—126). Histiaios, on the other hand, encouraged his son-in-law to revolt only to take advantage of the confusion and be able to return to the head of Miletus, and to restore order in Ionia upon the instructions of the Persian King (Herod. V. 35, 106—107). Arriving in Sardes, however, he saw that Artaphrenes suspected him, therefore he still escaped to the Ionians in order to take the lead of the revolt. But the Milesians did not want to accept him — after all they were glad that they could get rid of Aristagoras — and drove him off with arms from the walls of their city. Histiaios was supported only by the inhabitants of Chios and Lesbos (Herod. VI. 1—5). Thus the leaders of the revolt first of all tried to save or regain their own power, while the citizens of the Ionian poleis wanted to get

rid of the Persian vasall tyrants and the socio-political system represented by them.

The motive of the belonging together and common freedom of the Greeks appears only in those propaganda speeches which were made by Aristagoras in the mother country in order to acquire support for the revolt started by him. But he always tried to present the ideology of a Greek freedom fight against the barbarians in such an appearance that it should suit the political character, internal system and power aspirations of the state concerned. First he went to Sparta and referred to the common gods and blood relationship of the Greeks and then he lured the Lacedaemonians with the bright prospects of a light victory over the barbarians with primitive war techniques, the possibility of a rich booty and the conquest of large territories (Herod. V. 49). The Spartans, however, were not attracted by an Asian warfare which seemed to be protracted, they showed a keener interest for the local affairs, the wars with the Messenians, Argolians and Arcadians, and the gaining of hegemony over the Greek mother country, than for the treasures of Anatolia and Susa. Upon this Aristagoras stopped saying big words and instead of the ideology of the common Greek freedom he tried to succeed with bribery. He promised 50 talents to king Cleomenes, if this would help him (Herod. V. 50—51).

From Sparta Aristagoras went to Athens and there he was already given a more favourable reception. A few years before the Athenians had attempted unsuccessfully to acquire the support of the satrap of Sardes against the Spartans (Herod. V. 73) and just at the time of the European tour of Aristagoras they had definitely hostile relations with the Persians. Artaphrenes supported the Peisistratid Hippias, ruler of Sigeion under Persian supremacy, who was expelled from Athens, and demanded from the Athenians to receive him back (Herod. V. 94—96). Thus Aristagoras arrived in Athens in a favourable psychological moment. There he said the same things as in Sparta, viz. he referred to the cause of the common Greek freedom, to the hopes of an easy victory and a rich booty. He added to his reasoning another weighty argument: the Milesians are the colonists of the Athenians, therefore it is equitable that they should be supported by the Athenians (Herod. V. 97).¹¹

¹¹ M. P. NILSSON: *Cults, Myths, Oracles and Politics in Ancient Greece*. Lund 1951. 59—64. — J. A. O. LARSEN: *C. Ph.* 32 (1932) 136—150. — DE SANCTIS: *op. cit.* 65. Among the representatives were those, who gave the treacherous shield signal to the Persians in the course of the battle of Salamis. In all probability we can bring into connection with the Ionian revolt a group of Ionian coins, which can be dated to the turn of the 6th and 5th centuries. These are electron coins minted according to the standard of Miletus, bearing on their inverse the emblems of different cities and on their reverse uniformly showing a square divided into four fields. Dareios retained the right of minting gold coins for the king, while the Ionian cities could issue only silver coins. Thus the return to the electron coins meant also in itself a turning against the Persian rule. Earlier the coins minted according to the Miletos standard were used only by the southern cities — Ephesus, Rhodos, and Samos —, while now Abydos, Lampsakos, Klazomenai, Chios, Kymai, Dardanos and very likely Methymna also participated in the issue of these coins. After the Ionian revolt these coins entirely disappeared. Only Kyzikos maintained

But with the ideological arguments raised by Aristagoras, he could not achieve much success in Athens either. The Athenians, since they had got into hostile relations with the Persians on account of Hippias, supported the Ionian revolt in principle, but the 20 ships sent by them to Ionia actually did not mean much help (the Ionians themselves had over 350 ships and the Persian fleet consisted of 600 ships). Even this Athenian contingent, which meant rather a formal support, returned home after the first failure and in the further years of the revolt the Athenians denied all kinds of support (Herod. V. 103).

From the text of Herodotus it becomes quite clear that the ideological arguments raised by Aristagoras on the blood relationship of the Greeks and their common freedom fight did not inspire anybody either in Asia Minor or in the mother country. Herodotus definitely calls the propaganda speeches of Aristagoras in Sparta and Athens to be misleading (V. 97). Otherwise Aristagoras, who proclaimed a general Greek freedom fight against the barbarians, abandoned the cause of the Ionians also himself, when the Persian counter-attack was nearing. The majority of the Ionian fleet acted in the same way in the battle of Lade. Upon the appeal of the expelled Persian vassal tyrants, the ships from Samos, Lesbos and then also the other ships left the scene of the battle one by one and finally the Milesians and the ships of Chios remained alone against the Persian fleet, which had been in numerical superiority from the very beginning. The members of the fleet of Chios, returning home from the lost battle after having stood their grounds bravely, were massacred at last by their «blood relations», the Ephesians, to the greater glory of the cause of the common Greek freedom (Herod. VI. 13—16).

Thus the Ionians participated in the revolt according to poleis on account of different — sometimes even contrasting — reasons and aims, and the citizens of the mother country did not regard it as a common Greek cause, but as the particular cause of Miletus and Aristagoras, the support of which was not

also further her right of minting electron coins, very likely on account of the fact that at the time of the revolt she voluntarily surrendered to the Persians and concluded a contract with Oibares, satrap of Daskyleion (Herod. VI. 33). The coins minted at the time of the Ionian revolt were fractions of the stater and served very likely the purposes of pay to the soldiers (Xenophon: Anab. I. 3, 21, says that a mercenary received 1 dareikos or 1 kyzikos stater per month). — P. GARDNER: JHS 31 (1911) 152 ff. — BABELON: *Traité des monnaies grecques et romaines*. II/2. No. 1389—1472. According to Plutarch the Ionian attack against Sardes was the retaliation of an action against Miletus. He also mentions that in the beginning of the revolt the Ionian fleet won a victory over the Phoenicians before the coasts of Pamphylia (Plut. De Her. mal. 24). Plutarchos or his source, however, apparently confounds the order of the events of the Ionian revolt. Herodotus collected his informations still from the participants of the revolt and eyewitnesses, therefore we have no reason to doubt the authenticity and accuracy of his description for the sake of late data. The history of the events of the Ionian revolt see Herodotus V. 99—126. and VI. 1—42. — GRUNDY: *op. cit.* 79—144. — CAH IV. 222—228. — GLOTZ: *op. cit.* II. 19—26. — BELOCH: *op. cit.* II/1. 10.3 Note. — GRUNDY: *op. cit.* 101. The war between Athens and Aigina, which broke out in the meantime, also contributed to the departure of the Athenians and the withdrawal of all further support (Thuk. I. 14. 3; 41. 2). See OLMSTEAD: *op. cit.* 154.

in their interest. The Greek public opinion formed in the mother country on the Ionian revolt serving the economic and political interests of Miletus is truly expressed by the prophecy given by the Delphian sanctuary regarding the outcome of the revolt and the fate of Miletus: *καὶ τότε δὴ, Μίλητε, κακῶν ἐπιμήχανε ἔργων, πολλοῖσιν δεῖπνόν τε καὶ ἀγλαὰ δῶρα γενήσῃ, σαὶ δ' ἄλοχοι πολλοῖσι πόδας νίψουσι κομήταις, νηῶ δ' ἡμετέρον Διόδμοις ἄλλοισι μελήσει.* (Herod. VI. 19)

But the revolt, which burst out on behalf of the local or personal interests of Miletus and Aristagoras — even if it could not become a common Greek cause, and the citizens of the mother country regarded the events in Asia Minor with indifference —, in the course of time it became at least a common Ionian cause (Herod. VI. 7).

From the description given by Herodotus on the Persian military operations in West Anatolia we can conclude that in the first two years Dareios did not throw in the main force of the Persian Army against the revolting Ionians, but was satisfied with the isolation of the revolt. One of the reasons for this was apparently that the revolt in Cyprus seemed to be more dangerous from the viewpoint of the whole of the empire than the actions of the Ionians who had no significant land forces. Besides this very likely he also trusted that Histiaios, whom he sent to Ionia, could calm down the revolt even without any more significant military intervention (Herod. V. 106—107). But the distrust and suspicion of Artaphrenes induced Histiaios to escape from Sardes and to join the rebels (Herod. VI. 1—2). Histiaios, however, did not become leader of the Ionian revolt, because his compatriots did not receive him with too much enthusiasm (Herod. VI. 2—5).

By the time, when Histiaios arrived, Aristagoras had already left Ionia, together with the Ionians who joined him, he moved to Thrace and very soon after he fell in the fight against the Thracians (Herod. V. 124—126). Why did Aristagoras leave the Ionian revolt in the lurch, when it still had by no means suffered a decisive defeat? According to Herodotus he realized that it was impossible to defeat the Persians in fight. In the land operations the rebels did really not have any much success and the farther spreading of the revolt in Anatolia was already cut off. Their allies in Cyprus also suffered defeat and the cities of the island surrendered one by one to the Persian Army. The Ionian fleet, however, was still intact and so far it fought with success against the Persian-Phenician fleet. The Persians did not dare to launch as yet any direct attack against the Ionian cities either. The Ionians let down by the Greeks of the mother country, relying only upon their fleet, could not hope much success from the further fight. According to the description of Herodotus, however, the departure of Aristagoras could have also other reasons, viz.: *οἱ δὲ Μιλήσιοι . . . οὐδαμῶς πρόθυμοι ἦσαν ἄλλον τύραννον δέκεσθαι ἐς τὴν χώραν, οἷα ἐλευθερίας γενεσάμενοι.* (Herod. VI. 5)

The demos of Miletus, whom at the time of the outbreak of the revolt in interest of his own ambitions Aristagoras endeavoured to win by the abolition of the tyrannis and the introduction of equality of political rights, in the course of the revolt did by no means identify itself with the objectives of the former tyrant and contrasts arose between them.¹² The demos of Miletus carried on the fight for the maintenance and protection of a more democratic political system, and for this reason it was ready to get rid of Aristagoras and did not want to hear about the return of Histiaios.

Herodotus speaks definitely condemningly and in a negative way about the role of Aristagoras in the outburst of the Ionian revolt (V. 98, 124, VI. 3), and makes him responsible for the catastrophe which happened to the Ionians. The words of Herodotus very likely reflect the public opinion living in the circles of the Greeks of Asia Minor, viz.: Aristagoras is not a national hero of freedom, but a tyrant inspired by individual ambitions of power and running away in the moment of danger, who caused only trouble to the people. An essentially similar viewpoint is reflected by the description of Herodotus also regarding Histiaios. The role of Histiaios in the Ionian revolt is rather obscure.¹³ Presumably he himself incited Aristagoras to revolt — by the message written on the head of his slave —, but only that the King should send him out to restore the order and that thus he could return to Miletus and regain his regime over the city (Herod. V. 35). And he also achieved his objective, because upon the news of the revolt Dareios really sent him to Ionia (Herod. V. 106—107). Dareios trusted Histiaios to the last, and when Harpagos and Artaphrenes let him impaled and sent his head to Susa, the Great King rebuked them for this and caused the head of Histiaios to be buried with funeral ceremony, as the benefactor of the King and the Persians (Herod. VI. 30). It seems that Histiaios really left Susa for Ionia with the intention to calm down the revolt and in the name of the Great King to take again the regime over Miletus and the Ionians into his own hands. In the fact that contrary to his original intention finally he still joined the rebels, a decisive part was played by the attitude of the satrap of Sardes. The high officials of the Persian Empire had not regarded with sympathy the leaders of the Greek poleis having wide-ranging autonomy and did not approve of their significant influence on the Great King in political and military matters. Such a contrast arose in 513—12 exactly between Histiaios and Megabazos, viz. Dareios withdrew upon the proposal of the latter his dona-

¹² DE SANCTIS in his quoted study is also of the opinion that Aristagoras left Ionia because of the sharp contrasts with the demos of Miletus.

¹³ We believe that GRUNDY (The Great Persian War and its preliminaries. 1901. 118) characterizes essentially correctly the attitude of Histiaios in connection with the Ionian revolt, when he says that: «Probably his purpose was dishonest to both sides, and what he aimed at was the leadership of the Asiatic Greek, which should, if he could make it so, be independent of Persia. Failing that, he was prepared to serve the king as an Ionian satrap, but not as an underling of Artaphrenes, or any other Persian governor. The great Persian officials were, accordingly, his irreconcilable opponents.»

tion made to Histiaios in Thrace (Myrkinos) and ordered him as an adviser to the Court of Susa. By this the Persian generals and satraps of West Anatolia succeeded in removing their most serious and most influential rival from the field. Therefore, clearly enough, they did not receive the return of Histiaios with great enthusiasm, and even less so as a special delegate of Dareios. If Histiaios could really have calmed down the revolt in Ionia and restore order, by this his respect would have grown high in the eyes of Dareios and apparently he would have achieved his objective: he would have become the Royal Governor of the western coastal region of Asia Minor. But the interest of Artaphrenes and the Persian generals was — just on the contrary — to defeat the revolting Ionian cities by armed force, and that these, losing their autonomy and preferential status enjoyed by them up to that time, should be placed entirely under the control of the local Persian high officials. Thus it is clear that Artaphrenes received Histiaios with distrust.

The remark of Artaphrenes, which terrified Histiaios and induced him to join the rebels — viz. that the boots were sewn by him and put on by Aristagoras — is in general referred to his message written on the head of his slave and inciting to revolt. However, we do not regard it to be likely, that if the Persian high officials would have known about the message of Histiaios, his legacy would have been materialized. Apparently, Artaphrenes alluded to the circumstance that the Greek tyrannoi — first of all the lords of Miletus, the wealthiest Ionian city — under the protection and aegis of the Persian rule, strived to realize more and more independent economic and political aims of power and to draw the Aegean Sea entirely under their own control. They saw in the Ionian revolt the natural consequence of the power policy of Miletus, initiated by Histiaios and continued by Aristagoras. This is, why Megabazos regarded the Myrkinos expedition of Histiaios to be dangerous and frustrated it with the King already one and a half decades before.

Between the leaders of the Greeks of Asia Minor and the West Anatolian exponents of the Persian regime tension and contrast arose already in the decades preceding the revolt. This attained its culminating point during the satrapy of Artaphrenes in Sardis and it played undoubtedly a part in the outbreak of the Ionian revolt, which was perhaps directed not so much against the Persian supremacy, but rather against the local policy of the satraps of West Anatolia, who strived to curtail the autonomy of the Greek poleis, as it was supposed by I. Heinlein.¹⁴ This supposition seems to be supported also by three circum-

¹⁴ ST. HEINLEIN: *Klio* 9 (1909) 343—349 believes that Histiaios enjoyed exactly the protection and support of Dareios towards Artaphrenes and succeeded to convince the Great King that the problems in West Anatolia can be solved by the setting up of a self-standing Greek satrapy. This assumption is not directly supported by the ancient sources, but they do not contradict to it either. Dareios rebuked Artaphrenes because of the execution of Histiaios, whom he regarded as his friend and «benefactor» to the last, and after the defeat of the revolt we do not hear about Artaphrenes any longer. It is

stances: the first is that already mentioned difference, which can be observed in the attitude of Dareios towards Histiaios on the one hand and in that of Artaphrenes on the other; the second is the fact that also the Persians staying in Sardes made a conspiracy against Artaphrenes and collaborated with the Ionians (Herod. VI. 4); and the third circumstance is the strikingly tolerant and expectant attitude assumed by Dareios towards the Ionian revolt, viz. in the first three years he did not send strong forces against them and granted a possibility to Histiaios to settle the problems arisen peacefully.

There was a difference between the attitude of Dareios on the one hand and of his West Anatolian governors and generals on the other not only regarding Histiaios but also regarding the Ionians in general, viz.: the generals destroyed the occupied cities, killed the men and dragged away the women and children into slavery, while on the other hand Dareios «did not treat badly» the captured Milesians who were taken to Susa — as Herodotus stated it — but settled them down in Ampe as free men (Herod. VI. 20). We must see similarly the hand of Dareios also in the turn which took place in the year following the cruel defeat and retaliation of the revolt.

Dareios called back all his West Anatolian generals and sent Mardonios with a strong army and fleet to the West. Mardonios deprived all the Ionian tyrannoi of their power and introduced a democratic system in the Ionian poleis (Herod. VI. 43). Thus the demos forming the majority of the population of the Greek poleis achieved at last, for what it fought at the time of the revolt, viz. the abolition of the hated and onerous political system, the tyrannis, and received those political rights within the poleis for which it had been fighting desperately for over a century. Thus in the Persian policy followed in regard to the Greeks of Asia Minor a sudden turn set in, since one year before the Persian army — very likely upon the intention of Artaphrenes — carried out still the restoration of the former Persian vasall tyrannoi. This turn was undoubtedly in connection with the further diplomatic and military actions of Dareios, the war to be started against the Greek mother country. The change of the system was carried out by Mardonios, commander of the army marching against Greece and by this they wanted to achieve a double objective. In the first place it was directed to consolidate the Persian rule over the Ionian poleis by winning the demos, which formed the overwhelming majority of the population. By this they also succeeded in preventing all further attempts towards revolt and secession. The population of the Greek poleis of Asia Minor remained loyal to the Persians during the Greek War and even the failures of the Persians did not inspire them for secession or revolt. Secondly it wanted to exercise an effect upon the demos of the Greek poleis in the mother country and to create

likely that Dareios replaced him. Mardonios settled the Ionian affairs already quite differently from his predecessors and — upon the intentions of Dareios — in the spirit of reconciliation.

in their circles a pro-Persian atmosphere by the support of the democratic system. By this measure the Persians also succeeded to win over the Ionians, and they went over to the side of the mother country only when the Persians were defeated also on the land of Anatolia — in 479 in the battle of Mykale — and were compelled to give up Ionia. In 479 the Greeks of Asia Minor were temporarily liberated from the Persian hegemony, this, however, did not mean at all the upswing of Ionia and the solution of the problems preventing the economic and cultural development. Besides this it turned out soon that the Greeks of Asia Minor fell out of the frying-pan into the fire, the Persian hegemony was replaced by the Athenian hegemony, which was by no means milder than the Persian rule, on the contrary — at least — from the economic and financial viewpoint it put on them an even greater burden than the Persian rule.

THEAITETOS UND DAS PROBLEM DER IRRATIONALITÄT
IN DER GRIECHISCHEN MATHEMATIKGESCHICHTE

I

Die Erkenntnis der Irrationalität gilt als eine hervorragende Leistung der frühgriechischen Mathematik. Aber die historische Forschung vermochte bisher noch keineswegs beruhigend zu klären, wie man überhaupt zu dieser Erkenntnis gekommen war. Nur so viel scheint — auf Grund der bisherigen Forschungen — mehr oder weniger festzustehen, «dass irrationale Grössen (bzw. inkommensurable Verhältnisse) den griechischen Mathematikern seit der Mitte des 5. Jahrhunderts bekannt waren».¹ Überblickt man jedoch die einschlägige Fachliteratur der letzten fünfzig Jahre, so fällt einem sofort auf, dass sich bisher nicht einmal jene Frage mit Bestimmtheit entscheiden liess: welcher Fall überhaupt der erste Anlass zu der Entdeckung der Irrationalität gewesen sein mag?

Das Paradebeispiel für die Irrationalität ist in den antiken Quellen immer der Fall der Quadrat-Diagonale zur Seite.² Darum vermutete man früher, dass der Ausgangspunkt der Entdeckung «zweifellos» die Quadratdiagonale war.³ Dagegen scheint man in der letzten Zeit eher zu der Ansicht zu neigen, dass die Irrationalität zuerst durch Hippasos von Metapont (im 5. Jahrhundert v. u. Z.) *am Dodekaeder erkannt worden sei*.⁴ Diese letztere Ansicht verdankt ihr Entstehen einer sozusagen konziliatorischen Vereinigung von verschiedenen Versionen aus der antiken Überlieferung.⁵

Denn man weiss einerseits, dass das Pentagramm ein Bundeszeichen der Pythagoreer war. Andererseits wird in einer spätantiken Quelle die Beschäfti-

¹ K. GAISER, *Testimonia Platonica* (Sonderdruck aus K. G., «Platons ungeschriebene Lehre», Stuttgart 1963) S. 471 Anm.

² ARISTOTELES, *Metaph.* 983 a 19 ff.; 1053 a 14 ff. Vgl. auch TH. HEATH, *Mathematics in Aristotle*, Oxford 1949, 2: «The incommensurable is mentioned over and over again, but the only case is that of the diagonal of a square in relation to its side etc.»

³ K. v. FRITZ in REVA 1813; vgl. auch W. BURKERT, *Weisheit und Wissenschaft*, Nürnberg 1962 435 A 85.

⁴ K. v. FRITZ, «Die Entdeckung der Inkommensurabilität durch Hippasos von Metapont» (zuerst in «*Annals of Mathematics* 46, 1945»; wiederabgedruckt im Sammelband «Zur Geschichte der griechischen Mathematik», red. von O. BECKER, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1965). Ebenso auch S. HELLER, «Die Entdeckung der stetigen Teilung durch die Pythagoreer» (zuerst in «*Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wiss. zu Berlin, Klasse für Math., Physik und Technik*, 1958, Nr. 6»; wiederabgedruckt in dem eben erwähnten Sammelband «Zur Gesch. d. gr. Math.»).

⁵ W. BURKERT, o. c. 435.

gung des Hippasos von Metapont mit dem Pentagondodekaeder bezeugt: er habe als erster die aus 12 Fünfecken zusammengesetzte Kugel öffentlich beschrieben und sei deshalb als ein Gottloser im Meere umgekommen.⁶ Nun kann man aber, wie bekannt, die Irrationalität der sog. «stetigen Teilung» an den Diagonalen des regelmässigen Fünfecks in der Tat leicht erkennen. Und rechnet man dazu noch, dass in einigen antiken Berichten das öffentliche Behandeln der mathematischen Irrationalität als ein «frevelhafter Verrat an der Lehre des Pythagoras» — beinahe wie ein «Skandal» — aufgefasst wird, so hat man zunächst den Eindruck, als käme in der eben angedeuteten historischen Rekonstruktion (die erschütternde Entdeckung des Hippasos, sein «Verrat», und die Strafe dafür) die Überlieferung selber zu ihrem Recht.

Doch sind in der letzten Zeit gegen die Glaubwürdigkeit dieser antiken Überlieferung gewichtige Argumente ins Feld geführt worden. Es sei von diesen Argumenten hier zunächst an die beiden folgenden erinnert.

K. Reidemeister hat darauf aufmerksam gemacht, dass «nirgends in den mannigfachen Dokumenten über das Irrationale bei Platon und Aristoteles von einem Skandal — der damals noch fühlbar gewesen sein müsste — etwas spürbar ist.»⁷ — Ist die Geschichte von Entdeckung und Verrat der Irrationalität nicht bloss *eine späterfundene Legende*? Ist nicht vielleicht der Doppelsinn des Wortes *ἄρρητος* der Keim jener Legende, wonach die Lösung der mathematischen Irrationalität sozusagen ein «frevelhafter Bruch mit einer geheiligten Tradition» war?⁸ Denn *ἄρρητα* hiessen ja in der Sprache der mystisch-religiösen Literatur — zumal unter den Neupythagoreern — die «sorgfältig gehüteten und dem Unberufenen gefährlichen Geheimlehren». Der Nicht-Mathematiker mag also leicht daran gedacht haben, dass es sich auch im Falle des *ἄρρητος* der Mathematik um ein ebensolches Geheimnis handelt.

Eben angesichts dieser verdächtigen Züge der Überlieferung kam zuletzt W. Burkert zu der Konklusion:⁹

«Für die Entdeckung der Irrationalität bleibt als Fixpunkt, dass Theodoros von Kyrene die Irrationalität von $\sqrt{3}$ bis $\sqrt{17}$ bewies, dass die Irrationalität von $\sqrt{2}$ also schon früher bekannt war.»

Mit dieser «Konklusion» scheint die Forschung allerdings daselbst angelangt zu sein, wo sie auch schon vor einem halben Jahrhundert stand. Denn schon H. Vogt versuchte ja,¹⁰ die Frühgeschichte der Irrationalität in den folgenden *drei* Etappen zu rekonstruieren:

⁶ JAMBlichos, «Über die pythagoreische Philosophie» (ed. DEUBNER) 52, 3–5; vgl. S. HELLER, o. c. 6.

⁷ K. REIDEMEISTER, Das exakte Denken der Griechen, Hamburg 1949, 30.

⁸ W. BURKERT, o. c. 437.

⁹ Ebd. 439

¹⁰ H. VOGT, *Bibl. math.* 10, 1909/10, 97–155 und 14, 1914/15, 9–29 (*Bibliotheca mathematica*, Zeitschrift f. Gesch. d. math. Wiss., herausg. v. G. ENESTRÖM, 3. Folge Bd. 7–14, 1906/7–1913/14). Vgl. auch C. THAER, *Antike Mathematik 1906–1930* in C. BURSIANS Jahresberichte über die Fortschritte der klass. Altertumswissenschaft, Jahrg. 1943 Bd. 283.

1. Die jüngeren Pythagoreer hätten (vor 410 v. u. Z.) die Inkommensurabilität der Quadratdiagonale und -Seite als vereinzelte Tatsache erkannt und bewiesen; dabei hätten sie für das nicht genau angebbare Zahlenverhältnis Näherungswerte aufgestellt (*διάμετρος ἑτή* und *διάμετρος ἄρρητή*).

2. Theodoros von Kyrene hätte (etwa 410—390) das Umkehrproblem der Quadrierung allgemein gestellt, d. h. die allgemeine Irrationalität der Quadratwurzeln erkannt, und er hätte diese durch die Verallgemeinerung des pythagoreischen Gedankenganges bewiesen (*σύμμετρον* und *οὐ σύμμετρον, ἑτή* und *ἄρρητον*).

3. Theaitetos von Athen (etwa 390—370) hätte die Grundlagen einer allgemeinen Theorie der quadratischen Irrationalitäten geschaffen und ihre Hauptgattungen aufgestellt (*ἑτή* und *ἑτή* *δυνάμει*, bzw. *ἄλογον: μέση ἐκ δυοῖν ὀνομάτων, ἀποτομή*).

Wie man sieht, fällt also in dieser skizzenhaften Schilderung von H. Vogt über die Entfaltungsgeschichte der Irrationalität eine ganz besondere Bedeutung den beiden Namen: Theodoros und Theaitetos zu; der eine von ihnen, Theodoros, soll «die allgemeine Irrationalität der Quadratwurzeln» entdeckt, und der andere, Theaitetos, «die Grundlagen einer allgemeinen Theorie der quadratischen Irrationalitäten» geschaffen haben. — Ich möchte diese Gedanken von H. Vogt deswegen so nachdrücklich hervorheben, weil man heutzutage einer ähnlichen Auffassung eigentlich in jedem Handbuch der griechischen Mathematikgeschichte begegnet. Die Leistungen der beiden Mathematiker, Theodoros und Theaitetos, werden ja so gut wie von allen Vertretern des Faches im grossen und ganzen ähnlich wie von H. Vogt beurteilt.

Es fragt sich nun: wie entstand diese merkwürdige Auffassung? Welche antike Zeugnisse gibt es denn dafür, dass einerseits wirklich Theodoros es gewesen wäre, der zuerst «das Umkehrproblem der Quadrierung allgemein gestellt hätte», und dass andererseits «die Grundlagen einer allgemeinen Theorie der quadratischen Irrationalitäten» in der Tat von Theaitetos stammen sollten? Was ist der Ursprung dieser modernen historischen Ansichten über die mathematischen Leistungen des Theodoros und Theaitetos?

Nun hat den Anlass zu dieser historischen Rekonstruktion zweifellos Platons nach Theaitetos benannter Dialog bzw. die mathematische Stelle in diesem Dialog gegeben. Wie H. Vogt in seiner eben erwähnten Arbeit darüber schrieb:¹¹ «Die mathematische Stelle im *Theaitet* ist die Geburtsurkunde des Irrationalen, ausgestellt von einem Zeitgenossen.» — Man hat also eine Stelle in Platons Dialog in historischem Sinne — als «Geburtsurkunde des Irrationalen» — ausgelegt, und diese Auslegung hat in der späteren Forschung zu noch weitergehenden Konklusionen geführt. Inwiefern diese Auslegung überhaupt haltbar ist, wollen wir noch nicht fragen. Ich möchte einstweilen eher darauf hin-

¹¹ *Bibl. math.* 10, 1909/10, 131.

weisen, dass der grundlegende Gedanke der erwähnten Auslegung gar nicht von H. Vogt stammt. Er scheint die Inspiration dazu von P. Tannery empfangen zu haben. Denn Tannery schrieb ja noch i. J. 1884 über dieselbe Platon-Stelle («Theait.» 147 D—148 B) wörtlich das folgende:¹²

«On ne peut guère douter que dans tout ce passage Platon ne fasse allusion à deux traités, l'un déjà ancien de Théodore de Cyrène, l'autre probablement assez récent de son ami Théétète. Il raconte la naissance d'une des idées fondamentales de ce dernier traité, et s'il fait concourir à la naissance de cette idée un jeune camarade de Théétète, du nom de Socrate, il est assez probable que c'est lui même (also wohlgemerkt: Platon selber!) qu'il désigne ainsi.»

Nun glaube ich, diese Ansichten von P. Tannery unten, an Hand einer neuen Analyse des Platon-Textes, in allen ihren Einzelheiten widerlegen zu können. Aber es sei mir erlaubt, schon an dieser Stelle mindestens auf *drei* schwache Punkte in dem eben angeführten Tannery-Zitat hinzuweisen.

1. Die sogleich auffallende Schwäche des vorhin angeführten Zitates besteht darin, dass Tannery nicht nur dem Theodoros und dem Theaitetos ihren Anteil an der Lehre über die Irrationalitäten sichern möchte, sondern ausserdem auch noch Platon aus seiner Konzeption nicht fortlassen will. Er glaubt, jener «junge Sokrates», den Theaitetos im Dialog erwähnt, wäre Platon selber. Und so wird der Platon-Text nebenbei ein Zeugnis auch noch dafür, dass auch das Haupt der Akademie in seinen jungen Jahren an der mathematischen Entdeckung des Theaitetos mitbeteiligt gewesen wäre. — Nun hat man zu jener Zeit, in der Tannery die oben zitierten Worte schrieb, hie und da in der Tat noch versucht, Platon auch konkrete mathematische Entdeckungen zuzuschreiben. Aber ich glaube nicht, dass es auch heute noch irgendjemanden gäbe, der in der mathematischen Stelle des Dialogs «Theaitetos» eine «Anspielung von Platon auf sich selbst» entdecken wollte. Platon wird heutzutage nicht mehr zu den aktiven Förderern der Lehre des Theaitetos gezählt. Diesen Irrtum von Tannery scheint man inzwischen stillschweigend schon aufgegeben zu haben.

2. Es bleibe hier auch jene andere Schwäche der Auffassung von Tannery nicht unerwähnt, deren *auch er selber vollkommen bewusst war*. Denn wohl hat zwar Tannery im Sinne seiner oben angeführten Worte eine «bedeutende Entdeckung» dem Theaitetos zuschreiben wollen. Aber er musste sich dennoch fragen: war denn dasjenige, was — nach seiner Auslegung des Textes — «von Theaitetos entdeckt wurde», in der Tat etwas neues, auch dem gegenüber, was auch schon der Lehrer des jungen Mannes, Theodoros selber gewusst hatte? Ergab sich die angebliche «Entdeckung des Theaitetos» nicht sozusagen *von selber* aus der Lehre des Theodoros? — Wohl eben diese Zweifel veranlassten Tannery, in derselben Arbeit, der ich das obige Zitat entnahm, auch noch das folgende zu

¹² «Sur la langue mathématique de Platon», Annales de la Faculté des Lettres de Bordeaux 1884, I 95—105 = Mémoires Scientifiques (J. L. HEIBERG — H. G. ZEUTHEN) II 91—104.

schreiben (einige Worte unterstreiche ich in dem folgenden Text von Tannery — Á. Sz.):¹³

«...le singulier à nos yeux, est que cette généralisation (d. h. die Verallgemeinerung der Lehre des Theodoros durch Theaitetos), qui n'offrait aucune difficulté sérieuse, n'ait pas été faite par Théodore de Cyrène, que celui-ci se soit borné à montrer, sur un grand nombre de cas particuliers, comment se traitait la question de la commensurabilité ou de l'incommensurabilité d'une racine. L'histoire des mathématiques offre d'autres exemples analogues, mais celui-là est incontestablement le plus saillant etc.»

3. Die dritte auffallende Schwäche derselben Auffassung erblicke ich in der *Inkonsequenz* der beiden eben hervorgehobenen Ansichten. Denn Tannery scheint ja noch gewusst zu haben, dass man — selbst im Sinne seiner eigenen Texterklärung — die «Entdeckung des Theaitetos» nicht klar und eindeutig von der Lehre des Theodoros abgrenzen kann, ja er vermochte die mathematische Selbständigkeit des Theaitetos dem Theodoros gegenüber kaum noch mit einer Ausrede zu retten. (Ähnliches käme in der Geschichte der Mathematik auch sonst vor, auch wenn man zugeben müsste, dass der vorliegende Fall sehr auffallend ist!) Wohl hätte also Theodoros selber ohne jede ernsthafte Schwierigkeit dieselbe Verallgemeinerung vollziehen können, die dann — nach Tannery — dennoch dem Theaitetos vorbehalten blieb. Aber damit noch nicht genug! Auch das Mindestmass von Selbständigkeit wird in der Konzeption desselben Tannery dem Theaitetos *nicht allein belassen*. Auch Platon wäre noch an der kleinen Entdeckung mitbeteiligt gewesen! Ja, Platon hätte den eigenen Anteil daran für so wichtig gehalten, dass er darauf in dem Dialog mit einer «Anspielung auf sich selbst» deutlich hingewiesen haben soll.

Hätte man nun bloss die eben erwähnten drei schwachen Punkte in der Konzeption von Tannery wahrgenommen, so wäre man wohl auch schon dadurch zu einer gründlichen Revision seiner ganzen historischen Konstruktion gezwungen. Aber statt dessen blieb diese Konzeption im grossen und ganzen bis zum heutigen Tag beibehalten. Ja sie hat eine ganz unglaubliche Wirkung auf alle diejenigen ausgeübt, die sich seitdem mit derselben Platon-Stelle beschäftigt hatten. Nur durch die Auffassung von Tannery beeinflusst hat auch E. Sachs, die Schülerin des bekannten Philologen, U. v. Wilamowitz-Moellendorff, versuchen können, «den grossen Mathematiker Theaitetos der Vergessenheit zu entreissen».¹⁴

Nun muss ich in dem folgenden die entscheidende Stelle aus Platons Dialog selbstverständlich von neuem eingehend interpretieren, und es wird sich im Laufe der Interpretation zeigen, warum jene Ansichten über Theodoros und

¹³ Mém. Scient. II 96.

¹⁴ Vgl. B. L. v. d. WAERDEN, *Erwachende Wissenschaft*, Basel—Stuttgart 1956, 16. Wie bekannt, hiess die Berliner Dissertation von E. SACHS: *De Theaeteto Atheniensi mathematico*. 1914.

Theaitetos, die in der Mathematikgeschichte auch heute noch üblich sind, und die einst durch P. Tannery inauguriert wurden, ohne Zweifel unhaltbar sind. Bevor ich jedoch die wichtigste griechische Textpartie (zusammen mit meiner parallelen Übersetzung) hier abdrucken lasse, muss ich noch einiges über die allgemeine Platonische Einkleidung der mathematischen Stelle in das Ganze des Dialogs vorausschicken. Denn auch diese Einkleidung scheint dazu beigetragen zu haben, dass die mathematische Stelle selber in historischem Sinne — als «Geburtsurkunde des Irrationalen, ausgestellt von einem Zeitgenossen» — aufgefasst werde.

Was die Einkleidung in den Dialog bei Platon betrifft, sie ist die folgende: der Philosoph, Eukleides von Megara,¹⁵ erzählt seinem Freund, Terpsion, dass er gesehen habe, wie Theaitetos sterbend von dem Schlachtfeld von Korinth nach Athen gebracht wurde. Er hatte Dysenterie zu seinen Wunden hinzugekriegt. — Damit beginnt die Lobrede der beiden Freunde auf den sterbenden Theaitetos. Er ist *καλός τε καὶ ἀγαθός* in jeder Hinsicht; besonders wird seine *Tapferkeit* im Kampf hervorgehoben. Auch Sokrates hätte ihn einst als jungen Mann bewundert, und geweisst: er werde berühmt, wenn er einst das Mannesalter erreiche. — Mit dieser kurzen Einleitung sind wir auch schon bei dem Gegenstand des Dialoges angelangt: Eukleides hat jenes Gespräch, das einst Sokrates — kurz vor seinem Tode (i. J. 399 v. u. Z.) — mit Theaitetos und mit dessen Lehrer, dem Mathematiker Theodoros geführt hatte, aufgezeichnet, und er wird jetzt dieses Gespräch vorlesen lassen.

Man darf aus dieser Einleitung schliessen, dass der Prolog des Dialoges wohl i. J. 369 (nach der Schlacht bei Korinth), dem Todesjahr des Theaitetos spielt. Dagegen fand jenes andere Gespräch, das Eukleides aufzeichnete, dreissig Jahre früher, vor dem Tode des Sokrates statt. Inzwischen hat sich die einstige Weissagung des Sokrates offenbar verwirklicht.

Zur Zeit des eigentlichen Dialoges ist also Theaitetos noch sehr jung, ein *μειράκιον* — wie jener Mathematiker von Kyrene, Theodoros über ihn sagt, den Sokrates gerade gefragt hatte: ob er während seines Aufenthaltes in Athen begabte junge Leute kennengelernt hätte. Auf diese Frage hin erklärt Theodoros, dass er einem Jüngling (Theaitetos) begegnet sei, so wunderbar begabt, wie er Zeit seines Lebens noch keinen anderen gesehen habe. Schön ist er nicht — «Nimm's mir nicht übel, Sokrates, aber er gleicht dir» —, doch unglaublich schnell von Begriff, sanftmütig und doch tapfer wie kein zweiter. Eine solche Kombination von guten Eigenschaften hätte Theodoros nie für möglich gehalten. «Er geht mit solcher Leichtigkeit, so ohne Anstoss und mit derartigem

¹⁵ Wie bekannt, wurde der Mathematiker EUKLID lange Zeit hindurch — auch noch in der neuzeitlichen Wissenschaft — mit dem Philosophen von Megara verwechselt, obwohl der Mathematiker mindestens etwa 50–60 Jahre jünger gewesen sein mag, als der bekannte Vertreter der megarischen Schule. — Die richtige Transkription des Namens wäre in beiden Fällen: EUKLEIDES; nur um zu unterscheiden schreibe ich den Namen des Mathematikers konsequent in der verdeutschten Form: EUKLID.

Erfolg an die Wissenschaften und an die Forschung — dabei ganz ruhig, wie geräuschlos ausfließendes Öl —, dass man sich wundert, wie es möglich ist, dass einer so jung so viel leistet.» Durch solche Worte angeregt beginnt dann Sokrates sein Zwiegespräch mit dem jungen Theaitetos. — Aber wir wollen jetzt vor allem feststellen: welche historischen Schlüsse sich aus der Einkleidung des Dialoges ergeben?

Man hat aus diesem Prolog wohl mit Recht geschlossen, dass Theaitetos offenbar ein jüngerer Zeitgenosse von Platon war. Es ist auch wahrscheinlich, dass Platon mit dem gleichnamigen Dialog u. a. auch das Andenken dieses seines Zeitgenossen verewigen wollte. Ja, es wäre sogar möglich, die in dem Prolog erwähnte «Weissagung des Sokrates» in dem Sinne auszulegen, dass der junge Schüler des Theodoros, mit dem Sokrates das Gespräch führte, später wirklich zu einem bedeutenden *Mathematiker* wurde. Von dem «Mathematiker Theaitetos» wissen wir ja auch aus anderen Quellen des Altertums, auch wenn es einstweilen dahingestellt bleiben muss: inwiefern diese anderen Quellen von Platons Dialog unabhängig sind. — Man wird also den «Mathematiker Theaitetos» nicht ohne weiteres für eine blosse Legende erklären können. — Dies muss aus dem folgenden Grunde im voraus festgelegt werden.

K. Reidemeister schrieb in seinem Buch:¹⁶ «ich kann mich des Verdachts nicht erwehren, dass Theätet der Mathematiker nur eine Legende ist, die sich um den Theätet des Platonischen Dialogs kristallisiert hat.» — Man wird bald sehen, dass Reidemeister mit dieser Vermutung in einem gewissen Sinne allerdings *recht hatte*. Man hat in der Tat eine Legende über die wissenschaftlichen Leistungen des Theaitetos gedichtet, mit der die historische Forschung aufräumen muss. — Aber ich glaube, es wäre dennoch verkehrt, wenn man den «Mathematiker Theaitetos» samt und sonders für eine Legende erklärte. Man muss mindestens die *Möglichkeit* dessen, dass es einen Mathematiker dieses Namens zu Platons Zeit wirklich gegeben hat, offen lassen. Wie S. Heller darüber schrieb:¹⁷ «Der Mathematiker Theätet, den uns Platon in dem gleichnamigen Dialog schildert, ist keine fingierte Persönlichkeit . . ., sondern hat wirklich existiert . . .» — Es fragt sich nur: was bedeutet der Name Theaitetos für die Mathematikgeschichte? Denn aus Platons Dialog erfährt man ja in der Wirklichkeit — wie man bald sehen wird — *gar nichts* von irgendwelchen neuen mathematischen Entdeckungen des Theaitetos. Und damit sind wir bei der Revision der bisherigen Interpretation der mathematischen Stelle des Dialogs «Theaitetos» angelangt.

¹⁶ K. REIDEMEISTER, o. c. 24.

¹⁷ S. HELLER, Ein Beitrag zur Deutung der Theodoros-Stelle in Platons Dialog «Theätet», *Centaurus* 1956 vol. 5 pp. 1–58. — Allerdings kann ich der Fortsetzung des obigen Zitates von S. HELLER — «Die Früchte seiner (d. h. des THEAITETOS) wissenschaftlichen Tätigkeit sind uns in EUKLIDS Elementen, Buch X und XIII erhalten geblieben» — nicht beipflichten.

II

Wir wollen hier den fraglichen griechischen Text des Dialogs «Theaitetos» (147 C—148 B) und seine deutsche Übersetzung näher ins Auge fassen. Da jedoch sowohl meine folgende Übersetzung wie auch später die ausführlichere Interpretation des Textes, vor allem auf eine *Wörterklärung* gebaut wird, muss ich schon hier einiges über diese Wörterklärung vorausschicken. (Ich hoffe, dass die Kenntnis dessen, was hier vorausgeschickt wird, das Verständnis meiner Übersetzung von vorneherein erleichtert.)

In dem anzuführenden Platon-Text kommt mehrmals der mathematische Fachausdruck $\delta\acute{\nu}\alpha\mu\iota\varsigma$ — ja einmal auch das entsprechende Verbum der Mathematik: $\delta\acute{\nu}\alpha\sigma\theta\alpha\iota$ — vor.¹⁸ Über diesen Ausdruck konnte ich zuletzt die folgenden wichtigen Tatsachen feststellen.¹⁹

Man übersetzt den mathematischen Fachausdruck $\delta\acute{\nu}\alpha\mu\iota\varsigma$ häufig als «Potenz».²⁰ Doch ist diese Übersetzung irreführend, ja eigentlich auch *falsch*. Denn die griechische Mathematik kennt noch *nicht* unseren Begriff «Potenz» (a^k). Etwas ähnliches wie unsere «Potenz» ist die Platonische Bezeichnung: $\alpha\acute{\upsilon}\xi\eta$.²¹ Aber auch die $\alpha\acute{\upsilon}\xi\eta$ ist keine «Potenz»; denn es gibt ja im griechischen nur eine «zweite» und eine «dritte $\alpha\acute{\upsilon}\xi\eta$ » (vgl. bei Platon: $\kappa\alpha\tau\grave{\alpha}$ $\tau\acute{\rho}\iota\tau\eta\eta$ $\alpha\acute{\upsilon}\xi\eta\eta$).

Auch solche zweifellos *spätantike* Ausdrücke bei Diophantos,²² wie $\delta\upsilon\nu\alpha\mu\omicron\delta\acute{\nu}\alpha\mu\iota\varsigma$ (a^4), $\delta\upsilon\nu\alpha\mu\acute{\omicron}\kappa\upsilon\beta\omicron\varsigma$ (a^5) und $\kappa\upsilon\beta\acute{\omicron}\kappa\upsilon\beta\omicron\varsigma$ (a^6) zeigen, dass der Ausdruck $\delta\acute{\nu}\alpha\mu\iota\varsigma$ keineswegs «Potenz» sein kann. — Nachdem nun der $\kappa\acute{\upsilon}\beta\omicron\varsigma$ ohne Zweifel die «Kubik» bezeichnet, kann das Wort $\delta\acute{\nu}\alpha\mu\iota\varsigma$ als mathematischer Terminus nur «Quadrat» heissen.

Noch wichtiger als das bloße Feststellen der Wortbedeutung — $\delta\acute{\nu}\alpha\mu\iota\varsigma$ (als mathematischer Fachausdruck) = «Quadrat» — ist das *historische Ableiten* dieser Bezeichnungsart. — Wie kam nämlich jenes Wort, das in der alltäglichen Sprache in einem ganz anderen Sinne benutzt war ($\delta\acute{\nu}\alpha\mu\iota\varsigma$ = «Kraft Fähigkeit, Macht»), zu dieser merkwürdigen Bedeutung in der mathematischen Fachsprache ($\delta\acute{\nu}\alpha\mu\iota\varsigma$ = «Quadrat»)?

¹⁸ Es kommt dabei in dem anzuführenden Text das Verbum $\delta\acute{\nu}\alpha\sigma\theta\alpha\iota$ ein anderes Mal auch in seiner *nicht-terminusartigen, alltäglichen Bedeutung* vor: $\acute{\alpha}\rho\theta\iota\mu\acute{\omicron}\varsigma$ $\delta\upsilon\nu\acute{\alpha}\mu\epsilon\omicron\varsigma$ $\acute{\iota}\sigma\omicron\varsigma$ $\acute{\iota}\sigma\acute{\alpha}\kappa\iota\varsigma$ $\gamma\acute{\iota}\gamma\upsilon\sigma\theta\alpha\iota$ = «die Zahl, die *vermag* gleichmal gleich zu sein».

¹⁹ Siehe Á. SZABÓ, Der mathematische Begriff $\delta\acute{\nu}\alpha\mu\iota\varsigma$ und das sog. geometrische Mittel, *MAIA*, N. S. XV 1963 219—256. — Ich kann hier diesen meinen Aufsatz selbstverständlich nicht im ganzen wiederholen; ich fasse an dieser Stelle nur die Feststellungen über den Sinn des mathematischen Ausdruckes $\delta\acute{\nu}\alpha\mu\iota\varsigma$ kurz zusammen.

²⁰ Z. B. J. L. HEIBERG in seiner lateinischen Übersetzung der 2. Definition des Buches *Eucl. Elem. X*: «Rectae *potentia* commensurabiles etc.» (= $\epsilon\upsilon\theta\epsilon\acute{\iota}\alpha\iota$ $\delta\upsilon\nu\acute{\alpha}\mu\epsilon\iota$ $\acute{\alpha}\sigma\acute{\mu}\mu\epsilon\tau\epsilon\omicron\upsilon\gamma\omicron\iota$). Oder auch M. TIMPANARO-CARDINI, *Pitagorici II.*, Firenze 1962 p. 77 (in der Übersetzung der fraglichen PLATON-Stelle): «TEODORO qui, ci aveva costruito delle figure relative alle *potenze* ecc.»

²¹ Resp. IX 587 D.

²² Vgl. dazu TH. L. HEATH, *A History of Greek Mathematics*, II. Oxford, 1921 457—458.

In der Mathematik hat nicht nur das Hauptwort *δύναμις*, sondern auch das dazugehörige Verbum, *δύνασθαι*, eine spezielle Bedeutung; und zwar heisst das letztere: «*gelten, wert sein, ausmachen, betragen*», wobei der «*Wert*» immer in *Quadrat* gemeint ist.²³ Ja, es liess sich auch beobachten, dass der Fachausdruck *δύνασθαι* in der Mathematik ursprünglich bei der *Flächenumgestaltung* benutzt wurde; wurde nämlich ein *Rechteck* in ein flächengleiches *Quadrat* verwandelt, dann sagte man über die Seite des gefundenen Quadrats, dass diese *Strecke (εὐθεΐα) dem vorigen Rechteck (τῷ περιεχομένῳ ὑπό) in Quadrat* (d. h. also: wenn man ein Quadrat auf die betreffende Strecke erhebt!) *gleichwertig ist (ἴσον δύναται)*.²⁴

Der mathematische Fachausdruck *δύνασθαι* muss demnach aus der Finanzsprache entlehnt sein. Wie man nämlich bei der Umrechnung irgendeiner Geldart in eine andere den *Wert* mit diesem Zeitwort zum Ausdruck brachte,²⁵ so bezeichnete man mit demselben Verbum (*δύνασθαι*) bei der geometrischen Flächenumgestaltung den *Wert eines Rechtecks in Quadrat*. Und wie in der Finanzsprache das Wort *δύναμις* im allgemeinen die Bedeutung «*Wert*» hatte,²⁶ so bekam dasselbe Wort in der Geometrie den speziellen Sinn: «*Quadratwert eines Rechtecks*», dann im allgemeinen: «*Quadratwert*», und schliesslich: «*Quadrat*».

Nachdrücklich hervorheben muss ich ausserdem noch das folgende:

Man übersetzt den mathematischen Fachausdruck *δύναμις* eben an der zu behandelnden Stelle des Platonischen Dialoges «*Theaitetos*» manchmal als «*Quadratseite*», oder «*Quadratwurzel*». Ich habe in meiner oben erwähnten Arbeit²⁷ in aller Schärfe schon darauf hingewiesen, dass diese Übersetzung völlig unbegründet ist. Der mathematische Ausdruck *δύναμις* hat *nie* einen anderen Sinn als «*Quadratwert*» oder «*Quadrat*». Übersetzt man dieses Wort mit «*Quadratwurzel*» oder «*Quadratseite*», so ist dies nur ein Beweis dafür, wie oberflächlich und nachlässig die mathematische Stelle des Dialogs «*Theaitetos*» in der Fachliteratur bisher behandelt wurde.²⁸ — Soviel zunächst über das Wort

²³ Vgl. F. RUDIO, Der Bericht des Simplicius über die Quadraturen des Antiphon und Hippokrates, Leipzig 1907, 139 (Index s. v. *δύνασθαι*); ebenso auch TH. L. HEATH, Archimedes, p. CLXI.

²⁴ Vgl. bei TH. L. HEATH, Archimedes, p. CLXI: «The verb *δύνασθαι* (with or without *ἴσον*) has the sense of being *δυνάμει ἴσα*, and, when *δύνασθαι* is used alone, it is followed by the accusative; thus *the square (on a straight line) is equal to the rectangle contained by . . . is: (εὐθεΐα) ἴσον δύναται τῷ περιεχομένῳ ὑπό . . .*»

²⁵ Man vergleiche bei XENOPHON (Anab. I 5. 6): «der *σίγλος* (eine asiatische Münze, das hebräische *Seckel*) *macht aus, gilt, oder: hat den Wert (δύναται)* von siebenundeinhalb attischen Obolen»; oder DEMOSTHENES (34, 23): «der Stater von Kyzikos *hatte dort den Wert (ἔδύνατο)* von 28 Drachmen».

²⁶ Z. B. bei PLUTARCH («*Lykurgos*» 9, und «*Solon*» 15): «er liess das Geld nur *einen kleinen Wert haben: δύναμιν ὀλίγην τῷ νομίσματι ἔδωκεν*.»

²⁷ Siehe oben Anm. 19.

²⁸ Es freut mich, hier erwähnen zu dürfen, dass dieser mein Hinweis durch zuständige Stelle schon gebilligt wurde. Vgl. im Sammelband «*Zur Geschichte der griechischen Mathematik*» (red. von O. BECKER, 1965) S. 254 den Nachtrag von B. L. v. d. WAERDEN, sowie die Stellungnahme von A. FRAJESE in seinem anregenden Büchlein «*Platone e la matematica nel mondo antico*», Roma, Editrice Studium 1963, p. 164 not. 18.

δύναμις selber. Zu der hier zusammengefassten Worterklärung müssen wir ja in der ausführlicheren Interpretation noch wiederholt zurückkommen.

Und nun fasse man den Text selber («Theait.» 147 C—148 D) ins Auge.

Theaitetos

Ῥάδιον, ὦ Σώκρατες, νῦν γε οὕτω φαίνεται ἀτὰρ κινδυνεύεις ἐρωτᾶν οἷον καὶ αὐτοῖς, ἡμῶν ἔναγχος εἰσῆλθε διαλεγόμενοις, ἐμοὶ τε καὶ τῷ σὺ ὁμωνύμῳ Σωκράτει.

So scheint es leicht zu sein, Sokrates. Denn du fragst ja wohl etwas ähnliches, wie es auch uns zuletzt im Gespräch begegnete, mir und deinem Namensverwandten hier, dem anderen Sokrates.

Sokrates

Τὸ ποῖον δὴ, ὦ Θεαίτητε;

Was war es denn, Theaitetos?

Theaitetos

Περὶ δυνάμεων τι ἡμῶν Θεόδωρος ὅδε ἔγραφε, τῆς τε τρίποδος καὶ πεντέποδος (ἀποφαίνων) ὅτι μήκει οὐ σύμμετροι τῇ ποδιαίᾳ, καὶ οὕτω κατὰ μίαν ἐκάστην προαιρούμενος μέχρι τῆς ἑπτακαιδεκάποδος· ἐν δὲ ταύτῃ πως ἐνέσχετο ἡμῶν οὐκ εἰσῆλθε τι τοιοῦτον, ἐπειδὴ ἄπειροι τὸ πλήθος αἱ δυνάμεις ἐφαίνοντο· πειραθῆναι συλλαβεῖν εἰς ἓν, ὅτῳ πάσας ταύτας προσαγορεύσομεν τὰς δυνάμεις.

Über Quadrate zeichnete uns etwas dieser Theodoros, über dasjenige mit drei und mit fünf Quadratfuß-Fläche, indem er zeigte, dass diese *der Länge nach nicht messbar* (μήκει οὐ σύμμετροι) mit dem Einheitsquadrat sind; und so nahm er jedes Quadrat (ἐκάστην scil. δύναμιν) einzeln bis zu demjenigen mit siebzehn Quadratfuß-Fläche vor; bei diesem hörte er irgendwie auf. — Uns fiel nun ein solcher Gedanke ein: nachdem es unendlich viele Quadrate gibt, sollte man es versuchen, diese in eins zusammenzufassen, wonach wir alle Quadrate benennen könnten.

Sokrates

Ἢ καὶ ἡὔρετέ τι τοιοῦτον?

Und habt ihr auch etwas solches gefunden?

Theaitetos

*Ἐμοιγε δοκοῦμεν· σκόπει δὲ καὶ σύ.

Ja, ich glaube. Aber prüfe auch du selber.

Sokrates

λέγε.

Sag nun!

Theaitetos

Τὸν ἀριθμὸν πάντα δίχα διέλαβομεν· τὸν μὲν δυνάμενον ἴσον ἰσάκις γίνεσθαι, τῷ τετραγώνῳ τὸ σχῆμα ἀπεικάσαντες τετραγώνον τε καὶ ἰσόπλευρον προσείπομεν.

Wir teilten alle Zahlen in zwei Gruppen; diejenigen, die vermögen gleichmal gleich zu sein, verglichen wir — der Gestalt nach — mit dem Viereck und wir nannten sie *gleichseitige Quadratzahlen*.²⁹

Sokrates

καὶ εὖ γε.

Sehr richtig!

Theaitetos

Καὶ τοίνυν μεταξὺ τούτου, ὧν καὶ τὰ τρία καὶ τὰ πέντε καὶ πᾶς ὃς ἀδύνατος ἴσος ἰσάκις γενέσθαι, ἀλλ' ἢ πλείων ἐλαττονάκις ἢ ἐλάττων πλεονάκις γίνεται, μείζων δὲ καὶ ἐλάττων ἀεὶ πλευρὰ αὐτὸν περιλαμβάνει, τῷ προμήκει αὖ σχήματι ἀπεικάσαντες προμήκη ἀριθμὸν ἐκαλέσαμεν.

Diejenigen Zahlen dagegen, die unter den vorigen sind, wie z. B. die *drei*, die *fünf* und überhaupt jede Zahl, die nicht gleichmal gleich sein kann, sondern entweder wenigermal mehr, oder mehrmal weniger ist, d. h. also, die von einer grösseren und von einer kleineren *Seite*³⁰ umfasst wird, diese Zahlen verglichen wir mit der Rechteckfigur und wir nannten sie *Rechteckzahlen*.

²⁹ Die Bezeichnung bei PLATON «*gleichseitige Quadratzahl*» ist natürlich tautologisch. Bei EUKLID heisst die Zahl, «die sich in *gleichmal gleiche* Faktoren auflösen lässt» (*ἰσάκις ἴσος*) einfach nur «Quadratzahl» (*τετραγῶνος ἀριθμὸς*), Elem. VII def. 19.

³⁰ «Seite» (*πλευρὰ*) heisst in diesem Zusammenhang natürlich auch «*Faktor*», ebenso wie bei EUKLID, Elem. VII def. 16. Daraus ersieht man, dass ein Produkt von zwei Faktoren im allgemeinen als Rechteck aufgefasst wurde. Übrigens kommt die Bezeichnung «*Rechteckzahl*» (*προμήκης* oder *ἐτερόμηκης* in unserem PLATON-Text) bei EUKLID nicht vor. EUKLID kennt nur den Begriff «*Flächenzahl*» (*ἐπίπεδος ἀριθμὸς*), der selbstverständlich sowohl eine «*Quadratzahl*» wie auch eine «*Rechteckzahl*» sein kann. Ja, denkt man an die alte pythagoreische Arithmetik, so war ursprünglich eine «*Flächenzahl*» wohl auch die «*Dreieckzahl*», «*Fünfeckzahl*» usw.

Sokrates

Κάλλιστα. ἀλλὰ τί τὸ μετὰ τοῦτο;

Sehr schön! Aber was kommt noch?

Theaitetos

ὄσαι μὲν γραμμαὶ τὸν ἰσόπλευρον καὶ ἐπί-
πεδον ἀριθμὸν τετραγωνίζουσι, μῆκος
ᾠρισάμεθα, ὅσαι δὲ τὸν ἑτερομήκη, δυνά-
μεις, ὡς μήκει μὲν οὐ συμμέτρους ἐκεί-
ναις, τοῖς δ' ἐπιπέδοις ᾠ δύνανται.
Καὶ περὶ τὰ στερεὰ ἄλλο τοιοῦτον.

Diejenigen Strecken nun, die eine
gleichseitige Quadratzahl viereckig ma-
chen,³¹ bezeichneten wir mit dem Wort
μῆκος; diejenigen Strecken dagegen,
die eine Rechteckzahl in Quadrat ver-
wandeln,³² bezeichneten wir als
δυνάμεις, nachdem diese letzteren der
Länge nach zwar inkommensurabel zu
den anderen sind, doch sind dieselben
kommensurabel nach jenen Flächen
(ἐπιπέδοις), die sie in Quadrat aus-
machen (ᾠ δύνανται).³³ Und etwas
ähnliches versuchten wir auch mit den
Körperzahlen.

Sokrates

Ἄιστά γ' ἀνθρώπων, ᾠ παιᾶδες· ὥστερ
μοι δοκεῖ ὁ Θεόδωρος οὐκ ἔνοχος τοῖς
ψευδομαρτυρίοις ἔσσεσθαι.

Grossartig, Kinder! Ich glaube, Theo-
doros hatte doch recht (nämlich: als
er dich lobte) etc.

Wir wollen die Interpretation des eben gelesenen Textes damit beginnen, dass wir den inneren Zusammenhang der mathematischen Stelle mit dem Ganzen des Platonischen Dialoges festlegen.

Die obige Textstelle beginnt mit jener Behauptung des jungen Theaitetos, dass die Frage des Sokrates nach einem eben verklungenen Beispiel *leicht sei*, denn Sokrates fragt ja *etwas ähnliches, wie es auch uns zuletzt im Gespräch*

³¹ Die hervorgehobenen Worte der Übersetzung bilden eine zwar eindeutige aber doch etwas knappe und nachlässige Umschreibung für folgendes: «Diejenigen Strecken, die ein solches Quadrat (*δύναμις*) viereckig machen (*τετραγωνίζουσι*), das einer Quadratzahl entspricht, bezeichneten wir mit dem Wort *μῆκος* . . .» — Übrigens ist der Fachausdruck für «Quadratzahl» hier wieder tautologisch. Denn *ἰσόπλευρος καὶ ἐπίπεδος ἀριθμὸς* heisst ja wörtlich: «gleichseitige und ebene Zahl».

³² Man soll den griechischen Text dem Sinne nach hier selbstverständlich wieder mit dem Verbum *τετραγωνίζουσι* ergänzen. Der übersetzte Satz heisst also sinngemäss: «diejenigen Strecken dagegen, die eine einer Rechteckzahl entsprechende *δύναμις* in Quadrat verwandeln (*τετραγωνίζουσι*), bezeichneten wir als *δυνάμεις* . . .»

³³ Man vergesse nicht den genauen Sinn des mathematischen Ausdruckes: *δύνασθαι*: «den Wert haben in Quadrat», oder: «in Quadrat ausmachen».

begegnete». — Durch diese Worte wird die engste Verbindung der mathematischen Stelle mit dem vorangehenden Gespräch hergestellt. Man kann die mathematische Stelle auch gar nicht richtig verstehen, ohne ihre Verbindung mit dem Vorangehenden zu berücksichtigen.

Denn Sokrates fragte eingangs den Jungen: «Was ist Wissen?» (146 C), und auf diese Frage hin antwortete Theaitetos zunächst mit einer *Aufzählung* von verschiedenen Arten des Wissens. Aber Sokrates war mit der Antwort nicht zufrieden; anstatt der *Aufzählung* verlangte er eine zusammenfassende, allgemeine Definition des Wissens. Er illustrierte auch sogleich seinen Wunsch an einem Beispiel. Wenn man gefragt würde: «Was ist Lehm?», auch dann dürfte man nicht mit einer *Aufzählung* der Lehmarten der einzelnen Handwerker antworten (147 A ff.), sondern man sollte eine allgemeine, zusammenfassende Definition des Lehms versuchen. — Auf dieses Beispiel hin erwidert dann der junge Mann, ja jetzt verstünde er schon, die Frage des Sokrates wäre ganz leicht, denn etwas ähnliches wäre ihm und seinem Freund auch zuletzt begegnet.

Wie man sieht, steht also im Mittelpunkt des vorangehenden Gespräches eine Art *Gegenüberstellung*: «*Aufzählung von Einzelercheinungen*» und «*zusammenfassende Definition derselben Erscheinung*» werden einander gegenübergestellt. — Von vorneherein erwartet man etwas ähnliches — nach der einleitenden Bemerkung des Theaitetos — auch in der darauffolgenden mathematischen Stelle. In der Tat kommt auch hier zunächst eine «*Aufzählung von Einzelercheinungen*», und danach folgt die «*zusammenfassende Benennung derselben Erscheinung*».

Nun woraus besteht aber die «*Aufzählung von Einzelercheinungen*» in dem mathematischen Teil? — Der Text besagt: «Über Quadrate (*δυνάμεις*) zeichnete uns etwas Theodoros, über dasjenige mit drei und mit fünf Quadratfuß-Fläche . . ., und so nahm er ein jedes Quadrat einzeln bis zu demjenigen mit siebzehn Quadratfuß-Fläche vor . . .» — Man ersieht aus dieser wiederholten Textpartie, dass die *Aufzählung* in der Tat da ist. Es werden hier ebenso *Quadrate* (*δυνάμεις*) aufgezählt, wie vorhin Theaitetos einzelne Arten von dem Wissen, und Sokrates Lehmarten von verschiedenen Handwerkern aufgezählt hatten. — Bevor wir jedoch genauer untersuchen, was wohl Theodoros mit den aufgezählten *Quadraten* gewollt haben mag, muss ich hier noch eine weitere Betrachtung über den Terminus *δύναμις* einfügen. Denn vorhin wurde ja nur die genaue Wortbedeutung dieses mathematischen Ausdruckes (*δύναμις* = «*Quadratwert eines Rechtecks*», bzw. «*Quadrat*») festgestellt. Aber auf die Tragweite dieser rein sprachlichen Erkenntnis, von dem Gesichtspunkt der Mathematikgeschichte aus, wurde ja bisher noch gar nicht hingewiesen. Und doch könnte dies — meiner Ansicht nach — auch das bessere Verstehen des eben untersuchten Platon-Textes erleichtern.

*

Seit wann gibt es überhaupt diesen Begriff der Mathematik: *δύναμις*? — Natürlich kann man diese Frage mit einer sog. «absoluten Zeitbestimmung» nicht beantworten. Denn versuchte man die «absolute Chronologie», so liesse sich nur etwa folgendes sagen: auf alle Fälle muss dieser mathematische Begriff *vorplatonischen* Ursprungs sein. Es wäre auch nicht möglich, die Schöpfung des mathematischen Begriffes *δύναμις* irgendeinem mit Namen bekannten griechischen Mathematiker (z. B. dem Theodoros von Kyrene) zuzuschreiben. Denn nicht nur für Platon ist dieser Begriff ebenso geläufig, wie etwa *gerade* und *ungerade Zahl*, sondern bekannt ist die *δύναμις* auch schon aus der Mönchenquadratur des Hippokrates von Chios. Mit einem Versuch der «absoluten Chronologie» käme man also lediglich zu solchen Feststellungen.

Aber viel wichtiger scheint mir in diesem Fall und für unsere Zwecke die *relative* Chronologie. Denn es ist ja von vorneherein wahrscheinlich, dass der mathematische Terminus *δύναμις* = «Quadratwert eines Rechtecks» *jüngeren Ursprungs* ist, als der andere, gewöhnliche Terminus der griechischen Geometrie für *Quadrat*, nämlich: *τετράγωνον σχῆμα*. Um eine solche Bezeichnung wie *τετράγωνον σχῆμα* zu prägen, genügt es, bloss die beiden wichtigsten Parallelogramme «Rechteck» und «Quadrat» zu unterscheiden. Dagegen kann man den anderen Begriff (*δύναμις* = «Quadratwert eines Rechtecks») erst dann schöpfen, wenn man in der Tat auch schon weiss: *wie ein Rechteck in flächengleiches Quadrat verwandelt wird*. Mit anderen Worten: der mathematische Begriff *δύναμις* und die Kenntnis, wie man ein Rechteck in flächengleiches Quadrat verwandelt, müssen *gleichaltrig* sein.

Der vorige Schluss, der sich aus meiner einfachen sprachlichen Feststellung (*δύναμις* = «Quadratwert eines Rechtecks») beinahe von selbst ergibt, führt auch noch zu weiteren Beobachtungen, die — meiner Ansicht nach — sowohl für das Verständnis der untersuchten Platon-Stelle, wie auch für die ganze frühgriechische Mathematikgeschichte von ausschlaggebender Wichtigkeit sind.

Wir fragen nämlich zunächst: mit welchem Wort wurde im Griechischen das «Verwandeln eines Rechtecks in flächengleiches Quadrat» sprachlich bezeichnet? — Der regelrechte Terminus technicus war dafür: *τετραγωνίζειν* bzw. als Hauptwort: *τετραγωνισμός*. Es ist ja kein Zufall, dass — nachdem die *δύναμις*, der «Quadratwert eines Rechtecks», mit «Tetragonismos» gewonnen wird — *auch in unserem eben untersuchten Platon-Text neben der Bezeichnung δυνάμεις auch dieser andere wichtige Terminus, τετραγωνίζειν, gebraucht wird*. Die beiden Begriffe, «dynamis» und «Tetragonismos», gehören auf das engste zusammen. Und eben eine wichtige Mitteilung des Aristoteles über den «Tetragonismos» wird uns sogleich auch ermöglichen, die obige «relative Chronologie» hinsichtlich des Begriffes «dynamis» noch weiter zu präzisieren. Ich muss vorher nur noch eine kleine Bemerkung über den deutschen Sprachgebrauch vorausschieken. Man übersetzt nämlich die griechischen Worte *τετραγωνίζειν* und

τετραγωνισμός häufig als «quadrieren». Doch mag diese Übersetzung leicht irreführend sein. Denn das Wort «quadrieren» hat manchmal auch solche Bedeutungen, wie «erheben eine Zahl auf die zweite Potenz», oder: «ein Quadrat konstruieren mit einem gegebenen Segment». Dagegen verstanden die Griechen unter τετραγωνισμός — wenn nicht gerade von dem τετραγωνισμός τοῦ κύκλου die Rede war — immer das «Verwandeln eines Rechtecks in flächengleiches Quadrat», und nie etwas anderes. (Selbstverständlich führt auch der «Tetragonismus» anderer geradliniger Figuren immer über das Rechteck hindurch zu dem flächengleichen Quadrat.) Darum vermeiden wir in dieser Arbeit möglichst konsequent das leicht irreführende deutsche Wort «quadrieren».

Nun sagt einmal Aristoteles in der Metaphysik über den «Tetragonismus» wörtlich das folgende:³⁴ «Was ist τετραγωνίζειν? — Das Auffinden der mittleren Proportionale» (τί ἐστι τετραγωνίζειν . . . μέσης εὐρεσις). Der Sinn und der Textzusammenhang dieser bündigen Aristotelischen Behauptung werden in dem trefflichen Kommentar von W. D. Ross folgendermassen erklärt:³⁵ «The definition, *the squaring of a rectangle is the finding of a geometrical mean between the sides*, is an abbreviated form of the syllogism: *a rectangle can be squared because a mean can be found between its sides.*»

Denselben Gedanken erklärt auch Aristoteles selber ein anderes Mal ausführlicher:³⁶ «Gewöhnlich sind die Definitionen Schlusssätzen ähnlich, wie z. B.: *Was ist der Tetragonismus? — Die Konstruktion eines dem Rechteck (ἑτερόμηκτος) flächengleichen Quadrates.* Eine solche Definition ist ein Schlusssatz. Derjenige aber, der behauptet, dass *der Tetragonismus das Auffinden der mittleren Proportionale ist*, der macht auch den Grund der Sache namhaft» (ὁ δὲ λέγων, ὅτι ἐστὶν ὁ τετραγωνισμός μέσης εὐρεσις, τοῦ πράγματος λέγει τὸ αἴτιον).

Wichtig ist für uns diese zweimalige Behauptung des Aristoteles deswegen, weil man daraus ersieht, dass ein jeder, der in der damaligen Mathematik auch nur einigermassen bewandert war, selbstverständlich wissen musste: ohne die Konstruktion der mittleren Proportionale (vgl. Eucl. Elem. VI 13) kann man den «Tetragonismus» (= «das Verwandeln eines Rechtecks in flächengleiches Quadrat») eigentlich *nicht* lösen. Natürlich wird auch bei Euklid in dem Satz II 14 eigentlich die *mittlere Proportionale* konstruiert, obwohl hier — aus einem besonderen Grunde, der in dieser Arbeit nicht erörtert werden soll — die Proportionenlehre auf dem Wege einer interessanten *Flächengeometrie* umgangen wird. Aber eben die kategorische Behauptung des Aristoteles — «Tetragonismus» und Auffinden der mittleren Proportionale sind *äquivalent* — bildet sozusagen den Beleg dafür, dass die Griechen das Verwandeln eines Rechtecks in flächengleiches Quadrat ursprünglich wohl mit der Konstruktion der mittleren Proportionale gelöst hatten. Die *Flächengeometrie* im Satz II 14

³⁴ Met. 996 b 20—21.

³⁵ Aristotle's Metaphysics, Vol. I—II. Oxford, 1924 (I. p. 229).

³⁶ De anima II 2,413 a 19.

der Euklidischen «Elemente» mag demgegenüber eine nachträgliche Umkleidung, ja vielleicht auch Tarnung der ursprünglichen Lösung sein.

Wurde jedoch das «Verwandeln eines Rechtecks in flächengleiches Quadrat» ursprünglich in der Tat auf dem Wege der Konstruktion der mittleren Proportionale gelöst, so muss die Schöpfung des Begriffes «dynamis» (= «Quadratwert eines Rechtecks») nicht nur dem «Tetragonismos» im allgemeinen, sondern auch der Kenntnis, *wie man die mittlere Proportionale zweier Strecken konstruiert*, gleichaltrig sein. — Dieser einfache Schluss lässt uns sogleich auch verstehen: warum eigentlich der vollkommen neue Begriff — *dynamis* = «Quadratwert eines Rechtecks» — geschöpft wurde? Denn die Erkenntnis, wie man die mittlere Proportionale zweier Strecken konstruiert, war ja in der Tat ein bedeutender Vorstoss der ganzen Geometrie. Man denke nämlich an die beiden folgenden Sätze bei Euklid:

Elem. VIII 18: «Zwischen zwei ähnlichen Flächenzahlen (*δύο ὁμοίων ἐπιπέδων ἀριθμῶν*) gibt es eine mittlere proportionale Zahl» und

Elem. VIII 20: «Wenn es zwischen zwei Zahlen eine mittlere proportionale Zahl gibt, dann sind die beiden Zahlen *ähnliche Flächenzahlen*.»

Um diese beiden Sätze zu verstehen, muss man wissen, dass nach der Euklidischen Definition *Elem. VII def. 22*: «Ähnliche Flächenzahlen (*ὅμοιοι ἐπίπεδοι ἀριθμοί*) sind diejenigen, deren Seiten (= *πλευραί*, Faktoren) je nach Logos gleich sind.»³⁷ Im Sinne dieser Definition sind also «ähnliche Flächenzahlen» vor allem die Quadratzahlen (4, 9, . . .), aber auch solche Zahlenpaare, wie 2 und 8, oder 3 und 12, denn auch diese letzteren lassen sich ja in untereinander proportionelle Faktoren, $1 \cdot 2$ und $2 \cdot 4$, bzw. $1 \cdot 3$ und $2 \cdot 6$ zerlegen (also $1 : 2 = 2 : 4$ und $1 : 3 = 2 : 6$). — Nun besagt der Satz VIII 18, dass es zwischen zwei solchen «ähnlichen Flächenzahlen» eine *mittlere proportionale Zahl* gibt. In der Tat findet man leicht die mittlere proportionale Zahl nicht nur zwischen zwei Quadratzahlen — z. B. zwischen den 4 und 9 die 6 ($4 : 6 = 6 : 9$) —, sondern auch unter solchen anderen «ähnlichen Flächenzahlen», wie unsere eben genannten Beispiele, die 2 und 8, und die 3 und 12 sind ($2 : 4 = 4 : 8$, und $3 : 6 = 6 : 12$). — Der andere Satz (VIII 20) ist nur die Umkehrung des vorangehenden (VIII 18): gibt es eine mittlere proportionale Zahl zwischen zwei vorgelegten Zahlen, dann können diese beiden vorgelegten Zahlen nur *ähnliche Flächenzahlen* sein.

Es ist nun leicht einzusehen, dass in jener älteren Zeit, in der die beiden Sätze VIII 18 und 20 schon bekannt waren — *aber noch nicht auch die Konstruktion der mittleren Proportionale zwischen zwei beliebigen Strecken* (Eucl. VI 13) —, auch nicht *alle* Rechtecke in flächengleiche Quadrate verwandelt werden konnten. *Nur* wenn die Seiten der betreffenden Rechtecke «ähnliche Flächenzahlen»

³⁷ Zu der Wendung «je nach Logos gleich» vgl. man meine Arbeit: «Die frühgriechische Proportionslehre im Spiegel ihrer Terminologie» in «Archive for History of Exact Sciences» vol. 2, 1965 197—270

waren (d. h. wenn sie sich in «ähnliche Flächenzahlen» zerlegen liessen) — wie wir sagen würden: wenn die Flächenmasse der fraglichen Rechtecke «Quadrat-zahlen» waren —, dann fand man zu ihnen sogleich auch die flächengleichen Quadrate. Wurde jedoch ein solches Rechteck vorgelegt, dessen Seiten z. B. 1 und 3 Längeneinheiten (also *keine* «ähnlichen Flächenzahlen») waren, so liess sich dieses Rechteck -- ohne die Kenntnis dessen, wie man die mittlere Proportionale auf geometrischem Wege konstruiert -- auch nicht in flächengleiches Quadrat verwandeln.

Als man jedoch später mit der geometrischen Konstruktion der mittleren Proportionale auch diese andersgearteten Rechtecke (mit Seiten von *nicht*-ähnlichen Flächenzahlen) in Quadrate verwandelte, erhob sich die interessante Frage: *was sind die Seiten dieser Quadrate?* Denn diese Seiten waren ja mittlere Proportionale zwischen je zweien solchen Zahlstrecken (den beiden Seiten der betreffenden Rechtecke), die *nicht* «ähnliche Flächenzahlen» waren. Und doch besagt der Satz Eucl. Elem. VIII 20: «Gibt es zwischen zwei Zahlen eine mittlere proportionale Zahl, dann sind die beiden Zahlen *ähnliche Flächenzahlen.*» Mit diesem Satz liess sich die neuerkannte Tatsache -- nämlich die Möglichkeit der mittleren Proportionale zwischen zwei *beliebigen* Strecken — offenbar nur auf dem Wege vereinigen, dass man den Begriff der *linearen Inkommensurabilität* einfuhrte: die mittleren Proportionalen zwischen zwei *nicht*-ähnlichen Flächenzahlen sind nach griechischer Auffassung eben «keine Zahlen».

Inwiefern man nun -- und auf welchem Wege — die lineare Inkommensurabilität der mittleren Proportionale zwischen zwei solchen Strecken, die «nicht-ähnliche Flächenzahlen» sind, auch einwandfrei beweisen konnte, bleibe dahingestellt. Für uns ist die eben angestellte Betrachtung nur deswegen, wichtig weil man daraus ersieht, dass das Problem, wie man ein Rechteck in flächengleiches Quadrat verwandelt — welches Problem in seiner allgemeinen Form mit der Frage nach der mittleren Proportionale zwischen zwei *beliebigen* Strecken äquivalent ist — im Laufe der historischen Entwicklung der Geometrie zu dem Problem der *linearen Inkommensurabilität* führte.

Ja, ich vermute sogar, dass es auch gar keinen mathematischen Begriff «*dynamis*» geben kann, solange man die lineare Inkommensurabilität nicht erkannt hat. Denn überlegen wir es uns noch einmal. Der mathematische Ausdruck «*dynamis*» ist nach der sprachlichen Worterklärung eine *Flächenbezeichnung*: «Quadratwert eines Rechtecks». Aber warum mussten die den Rechtecken flächengleichen Quadrate mit diesem seltsamen, neugeprägten Ausdruck bezeichnet werden? Was war jene besondere Eigentümlichkeit dieser Quadrate, wodurch die auffallende Namengebung veranlasst wurde? — Ich kann nur an folgendes denken. Solange man *nur* solche Rechtecke in flächengleiche Quadrate verwandelte, deren Seiten «ähnliche Flächenzahlen» waren, lag noch kein Grund und Anlass vor, einen neuen Namen zu prägen. Denn die Quadrate, die man auf diese Weise erhielt, unterschied-

den sich ja in gar nichts von den gewöhnlichen *τετράγωνα σχήματα*. Aber es wurde auf einmal ganz anders, als man die neue, allgemeine Methode für das Verwandeln des Rechtecks in flächengleiches Quadrat — die Konstruktion der mittleren Proportionale auf geometrischem Wege — erfand. Nicht nur *alle* Rechtecke wurden dadurch «quadrierbar», sondern man musste auch wahrnehmen, dass auf diese Weise häufig solche Quadrate gewonnen werden, deren sich nur die Flächenmasse und nicht auch die Seitenlängen zahlenmässig bestimmen lassen. Von dieser Erkenntnis mag die sonderbare Namengebung ihren Ausgang genommen haben. Darum verwendete man also für alle solche Quadrate, die irgendwelchen vorgelegten Rechtecken flächengleich waren, den besonderen Namen: «*dynameis*» = «Quadratwerte von Rechtecken». — Mit anderen Worten heisst dies soviel: auch der Name *δύναμις* scheint allein und in sich dafür zu sprechen, dass zu jener Zeit, in der dieser Begriff geprägt wurde, wohl auch schon die Existenz von linear inkommensurablen und nur quadratisch kommensurablen Strecken erkannt wurde.

Ich musste die obige Betrachtung über den mathematischen Begriff «*dynamis*» an dieser Stelle deswegen einfügen, weil man — meiner Ansicht nach — die untersuchte Platon-Stelle ohne die Kenntnis dessen, was eben vorausgeschickt wurde, auch gar nicht richtig verstehen kann. Denn es heisst ja in unserem griechischen Text: «Über *Quadrate* (*δυνάμεις*) zeichnete uns etwas dieser Theodoros, über dasjenige mit drei und fünf Quadratfuss-Fläche, . . . und so nahm er jedes *Quadrat* (*ἐκάστην* scil. *δύναμιν*) einzeln bis zu demjenigen mit siebzehn Quadratfuss-Fläche vor; bei diesem hörte er irgendwie auf.»

Wie hat nun Theodoros jene Quadratflächen, die in den eben zitierten Worten genannt werden, bzw. jene *Quadratseiten* konstruiert, auf deren lineare Inkommensurabilität er seine Schüler aufmerksam machen wollte? — fragte man auch schon in den bisherigen Interpretationen. Und man erteilte auf diese Frage entweder jene Antwort, dass es «gar nicht so wichtig» wäre, zu wissen, wie Theodoros die fraglichen *Quadratseiten* konstruierte,³⁸ oder man ging von einem interessanten Rekonstruktionsversuch von J. H. Anderhub aus.³⁹ Anderhub konstruierte nämlich zu allererst ein rechtwinkliges Dreieck mit den Katheten 1 -- 1, dessen Hypotenuse die Zahl $\sqrt{2}$ veranschaulicht; dann zeichnete er ein anderes rechtwinkliges Dreieck mit den Katheten $\sqrt{2}$ und 1; die Hypotenuse dieses zweiten Rechtecks ist unsere Zahl $\sqrt{3}$. Und so kann man — wie die



³⁸ B. L. v. d. WAERDEN, *Erwachende Wissenschaft*, 235.

³⁹ H. J. ANDERHUB, *Joco-Seria*, Aus den Papieren eines reisenden Kaufmannes (Ausgabe der Kalle-Werke, Wiesbaden 1941).

Figur auf Seite 320 zeigt — nacheinander eben 17 solche rechtwinklige Dreiecke konstruieren, deren aufeinanderfolgende Hypotenusen die Quadratwurzeln $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, . . . $\sqrt{17}$ geometrisch veranschaulichen. Diese geistreiche Rekonstruktion schien einigen auch deswegen einleuchtend zu sein, weil man glaubte, daraus verstünde man sogleich auch, warum Theodoros gerade bei $\sqrt{17}$ aufgehört hatte.

Nun soll es hier natürlich *nicht* bestritten werden, dass es sehr viele verschiedene Möglichkeiten dafür gibt, wie man solche Quadrate bekommt, deren Flächenmasse ganze Zahlen von 3 bis 17 sind. Aber ich glaube, dass man im Interesse der Texterklärung dennoch von einer bestimmten und, wie mir scheint, sehr einfachen Vermutung ausgehen soll. Ich vermute nämlich, dass *Theodoros seine Quadrate (δυνάμεις) auf dem Wege gewonnen hatte, dass er Rechtecke — unter Benutzung der Sätze Eucl. Elem. VI 13 und 17 — in flächengleiche Quadrate verwandelte.* (Diese Möglichkeit wurde selbstverständlich auch schon in der bisherigen Forschung häufig registriert.⁴⁰) Abgesehen davon, dass meine eben hervorgehobene Vermutung die weitere Interpretation — wie man bald sehen wird — wesentlich *erleichtert*, gibt es auch in dem Platon-Text selbst mindestens *drei* Anhaltspunkte dafür, dass Theodoros in der Tat *Rechtecke in flächengleiche Quadrate verwandelte*. Diese Anhaltspunkte sind die folgenden:

Erstens: Theaitetos redet ja von «*dynameis*». Wie man schon weiss, heisst das Wort *dynamis*: «Quadratwert eines Rechtecks», und ursprünglich wurde eine *dynamis* eben auf dem Wege gewonnen, dass man ein Rechteck in flächengleiches Quadrat verwandelte.

Zweitens: Der regelrechte Terminus technicus der Geometrie für das «Verwandeln eines Rechtecks in flächengleiches Quadrat» heisst griechisch: τετραγωνίζειν. Es kann kein Zufall sein — wie darauf nebenbei auch schon oben hingewiesen wurde —, dass dieser wichtige Fachausdruck der Geometrie auch aus dem kurzen Bericht des Theaitetos *nicht* fehlt. Mir scheint auch die Benutzung dieses Wortes durch Theaitetos dafür zu sprechen, dass jenem Versuch der beiden jungen Leute (Theaitetos und der «junge Sokrates»), der unten bald näher besprochen wird, ein «Tetragonismos», den ihr Meister Theodoros vollzog, vorausging.

Drittens: Die untersuchten «*dynameis*» des Theodoros sind *ganze Zahlen von 3 bis 17*. Theodoros scheint also eigentlich von diesen ganzen Zahlen selbst ausgegangen zu sein. Zu den Zahlen konstruierte er jene «*dynameis*», deren Flächenmasse denselben Zahlen entsprachen. Wurden aber die ganzen Zahlen im Sinne der alten pythagoreischen Arithmetik nicht eben als *Rechtecke* geometrisch dargestellt? — Man denke an die folgende Definition bei Euklid:

Elem. VII def. 16: »Wenn zwei Zahlen bei gegenseitiger Vervielfältigung eine Zahl bilden, wird die entstehende eine *Flächenzahl* (ἐπιπέδος ἀριθμός), und die einander vervielfältigenden Zahlen sind ihre Seiten (= πλευραί, Faktoren).»

⁴⁰ Vgl. z. B. B. L. v. d. WAERDEN, *Erwachende Wissenschaft* 235, wo anstatt Eucl. Elem. VI 13 auf den äquivalenten Satz Elem. II 14 hingewiesen wird.

Denkt man an diese Definition, so sieht man sofort ein, dass im Sinne der frühgriechischen Mathematik jede beliebige Zahl als ein aus zwei Faktoren bestehendes Produkt aufgefasst und «geometrisch» als eine *Flächenfigur* — gewöhnlich eben als ein *Rechteck* — veranschaulicht werden konnte. Man fasste z. B. die Zahl 6 entweder als 1×6 oder als 2×3 auf, und man bekam demnach in der geometrischen Veranschaulichung eines der beiden *Rechtecke* mit den Seiten (= «pleurai») 1 und 6, bzw. 2 und 3. (Selbstverständlich kann man dabei auch die *Quadratzahlen* in Rechteckform veranschaulichen. Denn es gilt ja nicht nur $4 = 2 \times 2$, oder $9 = 3 \times 3$, sondern auch $4 = 1 \times 4$ und $9 = 1 \times 9$. Und darum durften wohl auch die Quadrate 2×2 und 3×3 als «*dynameis*», d. h. als «*Quadratwerte der Rechtecke mit den Seiten 1 und 4 bzw. mit den Seiten 1 und 9*» gelten.)

Ich glaube also, der weiteren Interpretation die Vermutung zugrundelegen zu dürfen: *Theodoros verwandelte Zahlenrechtecke in flächengleiche Quadrate* und an diesen Quadraten illustrierte er etwas vor seinen Schülern. — Natürlich mussten dabei *nicht alle* Zahlenrechtecke von 3 bis 17, das eine nach dem anderen, in Quadrate verwandelt werden. Es genügte dazu, die allgemeine Methode an einem einzigen Beispiel, etwa an dem Rechteck mit dem Flächenmass 3, zu zeigen, wie man dieses Rechteck mit der Konstruktion der mittleren Proportionale zu seinen beiden Seiten in ein flächengleiches Quadrat verwandelt. Dieselbe Methode galt für alle übrigen Fälle. Die Konstruktion *aller* «*dynameis*» zwischen 3 und 17 kann also nach der Analogie von einer einzigen aus ihnen auch *bloss gedacht werden. Einzeln vorgenommen* (κατὰ μίαν ἐκάστην προαιρούμενος) werden diese grösstenteils nur *gedachten Quadrate* nicht in ihrer Konstruktion, sondern unter einem anderen Gesichtspunkt. Aber darüber erst später. Denn ich muss ja hier vor allem noch in zwei Punkten daran erinnern, wie die angebliche «mathematische Entdeckung» des Theodoros in der modernen Forschung bisher beurteilt wurde.

(1) Theodoros soll «die Irrationalität der Quadratwurzeln $\sqrt{3}$ bis $\sqrt{17}$ neu aufgefunden und bewiesen haben».⁴¹

(2) Aber Theodoros soll dennoch nur «in den *Einzelfällen* 3, 5, 6, . . . bis 17 die Irrationalität erkannt haben»; erst nach ihm habe «der damals noch ganz junge Theaitetos den Begriff des Irrationalen in seiner ganzen Allgemeinheit erfasst und so den Grund zu einer allgemeinen Theorie der Irrationalitäten gelegt».⁴² Ja, man traute dem Theodoros bisher nicht einmal die Kenntnis einer umfassenden Definition der Irrationalität zu. Wie Th. L. Heath über ihn schrieb:⁴³ «It does not appear, however, that he reached any definition of a surd in general or proved any general proposition about all surds.»

⁴¹ Vgl. H. VOGT (s. oben Anm. 11) S. 97.

⁴² E. FRANK, Platon und die sog. Pythagoreer, Halle 1923 228—229.

⁴³ TH. L. HEATH, A History of Greek Mathematics, I 203.

Ich glaube, ein jeder unvoreingenommener Leser wird — in Kenntnis dessen, was über den Begriff «*dynamis*» oben vorausgeschickt wurde — von diesen beiden Punkten mindestens den (2) schon von vorneherein mit einer gewissen Skepsis aufnehmen. Wieso hätte Theodoros die Irrationalität *nur* «in den Einzelfällen 3, 5, 6 . . . bis 17» erkannt? Ist jene andere Vermutung nicht wahrscheinlicher, dass das bloße Vorhandensein des mathematischen Begriffes «*dynamis*» in sich auch schon die Erkenntnis mindestens von einer Art Irrationalität in ihrer *Allgemeinheit* voraussetzt? Und wenn man schon ein einziges Rechteck — mit Seiten die *nicht* «ähnliche Flächenzahlen» sind — unter Anwendung der Konstruktion der mittleren Proportionale zu den beiden Seiten in flächengleiches Quadrat verwandeln kann, warum kann man dann nicht auch *alle* derartigen Rechtecke in Quadrate verwandeln? Und weiss man von einem einzigen der auf diese Weise gewonnenen Quadrate, dass seine Seite mit der Längeneinheit inkommensurabel ist, warum verallgemeinert man dann nicht dieselbe Erkenntnis auch auf alle derartigen Quadrate?

Aber ebenso fragwürdig wird auch der Punkt (1), wenn man bedenkt, *in welchem Sinne* die Behauptung: «Theodoros hätte die Irrationalität von $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$, . . . bis $\sqrt{17}$ bewiesen», aufgestellt wurde? — Man ging nämlich von der Annahme aus: *vor* Theodoros hätte man nur die Irrationalität von $\sqrt{2}$ (die lineare Inkommensurabilität der Quadratdiagonale zur -Seite) beweisen können. Theodoros hätte sich eben dadurch verdient gemacht, dass er nicht nur die weiteren Irrationalitäten $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$, . . . bis $\sqrt{17}$ erkannte, sondern er habe für diese Irrationalitäten auch *Beweise* liefern können. — Auf Grund dieser Annahme wurden die «Beweise des Theodoros» natürlich sehr wichtig, und darum bemühte man sich, für diese Beweise «ein im Bereich der griechischen Mathematik liegendes Verfahren durch Analogie zu erschliessen». ⁴⁴

Nun will ich gar nicht bestreiten, dass Theodoros seine mathematischen Behauptungen vor den Schülern irgendwie wohl auch *bewiesen hatte*. Ja ich versuche sogleich auch zu zeigen, welcher Art die «Beweise des Theodoros» gewesen sein mögen. Aber ich muss hier dennoch mit allem Nachdruck betonen: es kommt in Platons Schilderung *nicht* auf die Beweise an. Mit Recht bemerkte ja schon H. Vogt, dass «Platon den Beweisgang des Theodoros *nicht* überliefert, *ja nicht einmal angedeutet hat*». ⁴⁵ Es kommt in dem Bericht des Theaitetos auch der regelrechte Terminus technicus des mathematischen Beweises, das Zeitwort *δείκνυμι*, *nicht* vor. (Dass dabei durch Theodoros *nebensächlich* dennoch wohl auch irgendwelche Beweise zum mindesten angedeutet werden mussten, das erschliesst man aus dem Verbum *ἀποφαίλω*, das im alltäglichen Gespräch — besonders über ein mathematisches Thema — in der Tat leicht auch den Sinn «beweisen» haben mochte.) Stellt man trotz dieser Umstände in der Interpreta-

⁴⁴ Siehe bei H. VOGT (oben Anm. 11).

⁴⁵ Ebd.

tion dennoch die *Beweise* des Theodoros in den Vordergrund, so verdreht man auch dadurch schon unwillkürlich den Sinn eines solchen Platon-Textes, in dem es *nicht* auf die Beweise, sondern auf etwas anderes ankam. — Nun sei es aber hier dennoch kurz geschildert, welcher Art die nur *nebensächliche* Beweisführung des Theodoros gewesen sein mag.

Es heisst in dem obigen Bericht: «Über *δυνάμεις* zeichnete uns etwas Theodoros, über diejenige mit drei und fünf Quadratfuss-Fläche, indem er zeigte, dass diese der Länge nach nicht messbar mit dem Einheitsquadrat sind; und so nahm er jede *dynamis* einzeln bis zu derjenigen mit siebzehn Quadratfuss-Fläche vor . . .» — Wie mag man diesen Tatbestand in dem zeitgenössischen Schulunterricht am einfachsten gezeigt, oder «bewiesen» haben? — Ich glaube, es genügten dazu die folgenden zwei Schritte:

1. Es wurden die Zahlenrechtecke 3, 5, 6, . . . 17 — oder mindestens *ein* illustratives Beispiel von diesen — unter Benutzung des Satzes *Eucl. Elem. VI 13* in *dynameis* verwandelt. Diese Konstruktion musste natürlich *regelrecht bewiesen werden* — und ebenso vielleicht auch noch *Elem. VI 17* (Wenn $a : b = b : c$, dann auch $ac = b^2$.) Denn man weiss ja *nur* auf Grund des Beweises, dass die vorgelegten *dynameis* in der Tat den betreffenden Rechtecken flächengleich sind (also je ein Flächenmass von 3, 5, 6, . . . 17 Quadratfuss haben): ihre Seiten sind *mittlere Proportionalen* zu den beiden Seiten der entsprechenden Rechtecke.

2. Der Nachweis der linearen Inkommensurabilität für die einzelnen *dynamis*-Seiten mag wohl als ein Hinweis auf die Sätze *Eucl. Elem. VIII 18* und *20* erfolgt sein: es gibt eine mittlere proportionale *Zahl n u r* zwischen zwei «ähnlichen Flächenzahlen». Und nachdem die Seiten der betreffenden Rechtecke *keine* «ähnlichen Flächenzahlen» sind, können auch die mittleren Proportionalen zu ihnen, die Seiten der entsprechenden *dynameis*, nicht mit der Längeneinheit kommensurable Grössen sein.

Ausführlich und detailliert musste diese «Beweisführung» nur in einer einzigen Hinsicht sein. Es mussten in der Tat alle *dynameis* zwischen 3 und 17 einzeln vorgenommen werden — *κατὰ μίαν ἐκάστην προαιρούμενος*, lesen wir in dem griechischen Text —, um zu zeigen, dass die Seiten der entsprechenden Rechtecke nie «ähnliche Flächenzahlen» sind. — Mit anderen Worten heisst dies folgendes: Theodoros nahm wohl alle ganze Zahlen zwischen 3 und 17, und er zeigte, dass keine von diesen — ausgenommen natürlich die drei Quadratzahlen 4, 9 und 16 — sich in zwei solche Faktoren zerlegen lässt, die ihrerseits «ähnliche Flächenzahlen» wären. Und damit war die lineare Inkommensurabilität der behandelten *dynameis* vor den Schülern wohl auch schon hinreichend plausibel gemacht. Denn die Seiten dieser *dynameis* sind ja mittlere Proportionalen zwischen je zwei «*nicht*-ähnlichen Flächenzahlen», und mittlere proportionale *Zahlen* gibt es doch nur zwischen je zwei «ähnlichen Flächenzahlen».

Aber es kam ja in dem vorliegenden Fall gar nicht auf einen regelrechten Beweis an. Man beachte, dass in unserem Platon-Text nicht nur der Begriff

dynamis mit einer überraschenden Selbstverständlichkeit benutzt wird -- Theaitetos erklärt weder was eine *dynamis* ist, noch wie die *dynameis* des Theodoros hergestellt wurden --, sondern die athenischen Jünger des Mathematikers aus Kyrene die Lehre ihres Meisters, wie es scheint, sogleich auch verstanden und mit einer erstaunlichen Leichtigkeit zur Kenntnis nahmen. Die Beweise des Theodoros -- falls solche überhaupt regelrecht ausgeführt wurden -- scheinen sie nicht besonders interessiert zu haben. Sie wollten, anstatt sich um die Beweise zu kümmern, mit dem, was ihnen vorgelegt wurde, sogleich etwas ganz anderes anfangen.

Was wollte nun eigentlich Theodoros mit der Aufzählung aller *dynameis* zwischen 3 und 17 und mit dem Nachweis der linearen Inkommensurabilität für 12 Fälle von denselben, wenn es ihm in Platons Schilderung -- wie ich es nochmals betonen muss -- *nicht auf die Beweise ankam?* -- Ich glaube, man wird diese Frage nur dann beantworten können, wenn man den inneren Zusammenhang der untersuchten mathematischen Stelle mit dem Ganzen des Platonischen Dialoges nicht aus dem Auge verliert.

Man vergesse nämlich nicht, wodurch überhaupt der junge Theaitetos an seine mathematische Erfahrung erinnert wurde. Sokrates erklärte ihm vorhin: Es wäre keine richtige Antwort auf die Frage »*Was ist Lehm?*«, wenn man einzelne Lehmarten von verschiedenen Handwerkern aufzählen wollte. Man müsste eher -- unter Berücksichtigung dessen, was in allen aufgezählten Lehmarten *gemeinsam* ist -- eine Definition geben: »Lehm ist Erde mit Wasser vermischt.« Der Aufzählung von *Einzelfällen* folgt also -- in dem Beispiel des Sokrates -- die *Zusammenfassung* derselben Fälle. Genau so wird es auch in dem mathematischen Teil des Dialogs.

Denn Theaitetos berichtet ja, nachdem er die Aufzählung des Theodoros geschildert hatte: »Uns fiel nun ein solcher Gedanke ein: nachdem es unendlich viele *dynameis* gibt, sollte man es versuchen, diese in eins zusammenzufassen, wonach wir alle diese *dynameis* benennen könnten.« -- Die Aufzählung von einzelnen *dynameis* und der einigermassen doch detaillierte Nachweis für diese durch Theodoros (*κατὰ μίαν ἐκάστην προαιρούμενος*) scheinen also eine *Vorbereitung* für die zusammenfassende Benennung gewesen zu sein. -- Es fragt sich nur, ob die zusammenfassende Benennung, die in dem folgenden durch Theaitetos und seinen Freund gegeben wird, *von Anfang an auch von Theodoros bewusst vorbereitet, ja vielleicht auch verlangt wurde*, oder ob es sich hier vielleicht *um eine eigene und spontane Initiative dieser jungen Leute handelt*, wie es die Worte: »Uns fiel nun ein solcher Gedanke ein . . .« nahezu legen scheinen? -- Aber auf diese Frage wollen wir erst später eingehen. Hier registrieren wir zunächst den kleinen Unterschied zwischen dem Beispiel des Sokrates einerseits, und dem mathematischen Bestreben der Theodoros-Schüler andererseits. Denn in dem Beispiel des Sokrates wurde nach dem Aufzählen der verschiedenen Lehmarten eine *Definition* des Lehmes versucht, während Theaitetos und

sein Freund mehr nur nach einem *Gesichtspunkt* trachten, wonach sie alle *dynameis* benennen könnten (*προσαγορεύσομεν*).

Bevor wir nun genauer untersuchen wollten, ob und inwiefern man überhaupt von einer Selbständigkeit der Theodoros-Schüler ihrem Lehrer gegenüber sprechen kann, wollen wir das Vorgehen dieser jungen Leute näher ins Auge fassen.

Theaitetos und sein Freund gehen von den *Zahlen* aus; wie es in dem Bericht heisst: »Wir teilten alle *Zahlen* in zwei Gruppen . . .» Dies ist leicht verständlich, nachdem auch Theodoros von den *Zahlen* ausgegangen war; er verwandelte zuerst die *Zahlenrechtecke* zwischen 3 und 17 in Quadrate (= *dynameis*) und erst danach lenkte er die Aufmerksamkeit seiner Schüler auf die Seiten dieser Quadrate.

Auch in der Unterscheidung der «*Quadratzahlen*» und «*Rechteckzahlen*» folgten die Schüler einer solchen Unterscheidung, die in der Demonstration ihres Lehrers mindestens angedeutet werden musste. Denn Theodoros vermochte ja nur im Falle der *dynameis* 3, 5, 6 . . . die lineare Inkommensurabilität der Seiten nachzuweisen; die *dynameis* 4, 9 und 16 musste er entweder stillschweigend übergehen, oder evtl. hat er sogar ausdrücklich hervorgehoben, dass diese Fälle sich von den übrigen *unterscheiden*, nachdem die Seiten der betreffenden «*Rechteckzahlen*» (1·4, 1·9 und 2·8) in diesen Fällen doch als «ähnliche Flächenzahlen» gelten können.

Nachdem die Einteilung aller *Zahlen* in zwei Gruppen — «*Quadratzahlen*» und «*Rechteckzahlen*» — vorgenommen wurde, wandten sich die jungen Leute den *dynameis* des Theodoros zu, die eben *Zahlen* veranschaulichen, und sie benannten zunächst die Seiten derjenigen *dynameis*, die den *Quadratzahlen* entsprechen, mit dem Wort «*Länge*» (*μήκος*). Der Sinn dieser Benennung liegt auf der Hand. Theodoros hatte ja vorhin gezeigt, dass die Seiten der *dynameis* mit 3, 5 etc. Quadratfuss-Flächen «der *Länge* nach nicht kommensurabel» (*μήκει οὐ σύμμετροι* = *linear* inkommensurabel) sind. Die Seiten der anderen Quadrate mit 4, 9 und 16 Quadratfuss-Fläche bekommen jetzt eben deswegen den Namen «*Länge*» (*μήκος*), weil diese im Gegensatz zu den *dynameis* mit Fläche 3, 5 etc. «der *Länge* nach kommensurabel (d. h. also: *linear* kommensurabel)» sind.

Höchstens könnte man nur an der etwas *ungenauen*, *nicht-präzisen* Namengebung Anstoss nehmen. Denn die Seiten jener *dynameis*, die den *Quadratzahlen* entsprechen, sollten eigentlich doch nicht bloss mit dem Wort «*μήκος*», sondern eher mit dem Ausdruck *μήκει σύμμετρος* bezeichnet werden. Der präzise Terminus heisst ja eben *μήκει σύμμετρος* (bzw. *ἀσύμμετρος*) auch bei Euklid, z. B. in der 3. Definition des Buches X der «*Elemente*». Ausserdem wurde die regelrechte Form des Terminus, bzw. der Gegensatz des hier festzulegenden Terminus, in dem Bericht des Theaitetos eben auch gebraucht: *μήκει οὐ σύμμετροι*, 147 D 4—5. Der ungenaue Gebrauch des mathematischen Terminus seitens des Theaitetos ist also auf alle Fälle anstössig. — Aber diese bloss

stilistische Ungenauigkeit in der Bezeichnungsart darf uns dennoch nicht allzusehr wundernehmen. Ähnliche terminologische Ungenauigkeiten — die dabei den Sinn des Gedankens gar nicht stören — kommen ja in unserem Platon-Text auch sonst vor. Ich habe z. B. oben in den Anmerkungen schon darauf hingewiesen, dass die «Quadratzahl» in unserem Platon-Text einmal *τετράγωνός τε καὶ ἰσόπλευρος* heisst. In dieser Bezeichnung ist das Wort *ἰσόπλευρος* eigentlich überflüssig, nachdem im Sinne der allgemeinen und ganz gewöhnlichen mathematischen Terminologie ein *τετράγωνον* «eo ipso» nur *ἰσόπλευρον* sein kann. Ein anderes Mal heisst daselbst wieder die «Quadratzahl» *ἰσόπλευρος καὶ ἐπίπεδος*. In dieser anderen Bezeichnungsart ist das Wort *ἐπίπεδος* noch ärgerlicher, nachdem es in dem Vorgehenden doch nur von «*Flächenzahlen*» (also von bloss in zwei Faktoren zerlegten Zahlen) die Rede war. — Es scheint also, dass man die bloss stilistischen Ungenauigkeiten der mathematischen Terminologie seitens des Platonischen Theaitetos in Kauf nehmen muss.

Nebenbei muss ich hier auch noch eine andere interessante und wichtige Tatsache zu dem ungewöhnlichen Wortgebrauch des Theaitetos festlegen. Es wurde auch schon in der bisherigen Forschung mit Recht hervorgehoben, dass die Bezeichnungsart des Theaitetos «*μήκος*» und der regelrechte Terminus für denselben Begriff *μήκει σύμμετρος* im X. Buch der Euklidischen «*Elemente*» auf das engste miteinander zusammenhängen.⁴⁶ Ich muss diese treffende Beobachtung nur noch mit der *relativen* Chronologie der beiden Bezeichnungsarten ergänzen. Denn überlege man sich nur! Wäre es etwa möglich, dass erst *nach* der «älteren» Bezeichnungsart des Theaitetos bloss mit dem Wort «*μήκος*» *zeitlich später* der präzisere Terminus *μήκει σύμμετρος* für denselben Begriff geprägt worden sei? — Ich glaube, ein jeder wird sofort einsehen, dass diese zeitliche Reihenfolge der beiden Bezeichnungen sehr unwahrscheinlich wäre. Hätte man für den Begriff «linear inkommensurabel» *früher* bloss das Wort «*μήκος*» in sich benutzt, so wäre es *nie* möglich gewesen, aus dieser vagen und gar nicht selbstverständlichen Bezeichnung später den völlig klaren und präzisen Terminus *μήκει σύμμετρος* abzuleiten. Zeitlich nacheinander entstanden ja diese Bezeichnungen offenbar in den folgenden *drei* Schritten:

1. Als die lineare *Inkommensurabilität* erkannt wurde, prägte man dafür zuerst die Bezeichnung: *μήκει ἀσύμμετρος*.
2. Der gewöhnliche Fall der linearen *Kommensurabilität* wurde erst dann mit Namen benannt, nachdem die Inkommensurabilität selber schon ein geläufiger Begriff war. Und selbstverständlich wurde ein Fall der Kommensurabilität — als Gegensatz zu der Inkommensurabilität — ursprünglich mit dem genauen und präzisen Terminus als *μήκει σύμμετρος* bezeichnet. Diese Bezeichnung ist ja gar nichts anderes, als *der*

⁴⁶ B. L. v. d. WAERDEN, *Erwachende Wissenschaft* 234.

genaue Gegensatz zu dem in Punkt 1. genannten griechischen Namen, wobei in beiden Fällen das Wort «mekos» neben «symmetros» und «asymmetros» das *weniger wichtige Element des Namens* darstellt.

3. Die seltsame Bezeichnung des Theaitetos für die lineare Kommensurabilität mit dem blossen Wort «μηκος» kann nur eine *nachträgliche Abkürzung des vorher schon existierenden präzisen Terminus* (μηκει σύμμετρος) sein.

Zu bemerken ist dabei auch noch, dass diese Bezeichnung des Theaitetos für die lineare Kommensurabilität einfach als «mekos» aus der mathematischen Literatur der Antike — soviel ich weiss — sonst gar nicht bekannt ist. Gewöhnlich hat man dafür immer den normalen Namen: «mekei symmetros». — Der junge Mann hat also in diesem Fall offenbar eine klare, eindeutige und präzise Bezeichnung ziemlich überflüssig und willkürlich verkürzt.

Am ärgerlichsten ist jedoch der nachlässige und ungenaue Wortgebrauch des jungen Theaitetos im letzten Teil seines Berichtes. (Obwohl ich wiederholt im voraus betonen muss, dass der Sinn der Textstelle dennoch vollkommen eindeutig bleibt.)

Nachdem nämlich die jungen Leute die Seiten jener *dynameis*, die den Quadratzahlen entsprechen, als «*der Länge nach kommensurabel*» bezeichnet hatten, wenden sie sich jetzt jenen anderen *dynameis* zu, die den Rechteckzahlen entsprechen. Die Seiten dieser letzteren bekommen von ihnen einfach den Namen «*δύναμις*»; wie es zur Erklärung hinzugefügt wird: «*nachdem diese letzteren Strecken der Länge nach zwar inkommensurabel zu den anderen sind — eben das hat über diese Theodoros vorhin gezeigt —, doch sind dieselben kommensurabel nach jenen Flächen, die sie in Quadrat ausmachen.*» — Kein Zweifel, es geht aus dieser Erklärung eindeutig hervor, wie der sonderbare Name, den Theaitetos diesen letzteren Strecken gibt — «*δύναμις*» —, zu verstehen sei. Natürlich heisst der richtige Terminus nicht einfach «*δύναμις*», sondern *δυνάμει σύμμετρος* (d. h. «kommensurabel nach jenem Quadrat, das man auf sie errichtet»), wie auch vorhin anstatt «mekos» hätte genauer und präziser «*mekei symmetros*» gesagt werden müssen. Und selbstverständlich begegnet man auch diesmal der korrekten und präzisen Form des Terminus (*δυνάμει σύμμετρος*) im X. Buch der Euklidischen «Elemente».

Aber ich muss auch in diesem Fall wieder die Frage der *relativen* Chronologie der beiden Bezeichnungsarten «*dynamis*» und «*dynamei symmetros*» stellen, wie dieselbe Frage auch schon im Falle der ähnlichen Bezeichnungen «mekos» und «mekei symmetros» gestellt wurde. — Wäre es etwa möglich, dass man ursprünglich einen Fall der nur quadratischen Kommensurabilität bloss mit dem Wort «*δύναμις*» bezeichnet hätte — wie dies der junge Theaitetos tut —, und erst *später* aus dieser vagen Bezeichnung der präzise und eindeutige Terminus *δυνάμει σύμμετρος* abgeleitet worden wäre? — Ich glaube, man wird diese

Möglichkeit ganz entschieden leugnen müssen. Denn man weiss ja schon den genauen und völlig klaren Sinn des Wortes «*dynamis*»; *δύναμις* heisst in der Mathematik «*Quadratwert eines Rechtecks*», oder allgemeiner «*Quadratwert*» bzw. «*Quadrat*», aber nie etwas anderes. Benutzt man dasselbe Wort «*dynamis*» in sich auch noch im Sinne «*dynamei symmetros*» — wie Theaitetos es macht —, so ist dies schon ein Fall für die *beinahe* irreführende Ungenauigkeit in der mathematischen Terminologie. So ungenau ist diese nachlässige und oberflächliche Bezeichnungsart, dass man den Sinn des Gemeinten nur noch aus dem Textzusammenhang erraten kann. — Aber wir wollen den jungen Mann für seine, wie es scheint, schon *charakteristische* Ungenauigkeit in der mathematischen Terminologie nicht allzu streng rügen. Wichtiger ist für uns einstweilen die *relative* Chronologie der beiden Bezeichnungsarten. Selbstverständlich muss auch in diesem Fall der genaue und präzise Terminus *δυνάμει σύμμετρος* (im X. Buch der Euklidischen «*Elemente*») *der ältere sein*. Die ungenauere Bezeichnung für denselben Begriff bloss als «*dynamis*» kann nur etwas nachträgliches sein. Wieder hat Theaitetos einen völlig klaren und eindeutigen Terminus überflüssig und willkürlich verkürzt, ja er hat mit dieser Ungenauigkeit auch noch einige Philologen und Historiker zu der *irrtümlichen* Vermutung verleitet: vielleicht könnte *dynamis* auch soviel heissen, wie «*Quadratseite*» oder «*Quadratwurzel*».

Nun versuchen wir jetzt die Frage näher ins Auge zu fassen: inwiefern könnte man von einer *Selbständigkeit* des jungen Theaitetos und seines Freundes ihrem Lehrer, Theodoros gegenüber sprechen? Wir beschränken uns jedoch in dieser Untersuchung zunächst darauf, inwiefern jene mathematischen Bezeichnungen, die Theaitetos und sein Freund vorschlugen, neu sind. Denn wohl hat man zwar behauptet, dass Theaitetos im Sinne unserer Platon-Stelle auch irgendwelche mathematische *Sätze* aufgestellt und bewiesen hätte. Aber auf die Untersuchung dieses anderen Problems können wir erst später eingehen. Nach der Textstelle bei Platon wollten ja die Schüler des Theodoros alle *dynameis* nach irgendeinem gemeinsamen Gesichtspunkt benennen. Darum stellen auch wir zunächst die Frage ihrer «*Benennungen*» oder «*Definitionen*» in den Vordergrund.

Die «*selbständige Arbeit*» der jungen Leute fing damit an, dass sie alle Zahlen in zwei Gruppen teilten: «*Quadratzahlen*» und «*Rechteckzahlen*». War diese Einteilung der Zahlen etwa eine eigene Leistung des Theaitetos? — Ausser E. Frank hat wohl keiner auch diese Erfindung noch dem Theaitetos schenken wollen.⁴⁷ Gegenbeweise brauchen hier wohl nicht angeführt zu werden. Ein jeder, der auch nur einigermaßen in der griechischen Mathematik bewandert

⁴⁷ E. FRANK, o. c. 258—259: «Die Antithese *Quadrat-Rechteckzahl* stammt aus der pythagoreischen Gegensatztafel bei SPEUSIPP, und dass sie nicht wirklich alpythagoreisch ist, sondern erst zur Zeit PLATOS möglich war, ist schon dadurch bewiesen, dass dies mathematische Verfahren, wie PLATO selbst im *Theätet* sagt, die *Entdeckung erst dieses Mathematikers ist . . .*»

ist, wird sich eher der Meinung von H. Vogt anschliessen; er schrieb ja gerade über unsere Frage:⁴⁸ «Der erste Schritt, sowohl die Verknüpfung der Zahlen mit Figuren, wie die Teilung der Zahlen in Quadrat- und Rechteckzahlen, *ist keineswegs eine persönliche Leistung des Theaitetos; sie ist von den Pythagoreern erfunden worden und ist Gemeingut der damaligen Zahlenlehre gewesen.*»

Hat aber Theaitetos die Einteilung der Zahlen in Quadratzahlen und Rechteckzahlen *nicht* selber erfunden, so hat er nur noch die beiden Begriffe «*der Länge nach kommensurabel*» und «*dem Quadrat nach kommensurabel*» evtl. selber prägen können. Allerdings habe ich oben schon darauf hingewiesen, dass jene verkürzten Benennungen, die Theaitetos für diese Begriffe benutzt («*mekos*») und «*dynamis*») den korrekten und präzisen Termini gegenüber nachträgliche Erscheinungen sein müssen. Die Bezeichnungen des Theaitetos können also chronologisch *nur* später, nach dem schon *früheren* Vorhandensein der präzisen Termini entstanden sein. Aber jetzt fragen wir, um der Vollständigkeit halber, nicht nach den Bezeichnungen, sondern nach den *Begriffen* selbst. Könnten irgendwie die *Begriffe* «*der Länge nach kommensurabel*» und «*dem Quadrat nach kommensurabel*» etwa von Theaitetos selbst stammen?

Es geht aus dem Bericht des Theaitetos selber hervor, dass der Begriff «*der Länge nach kommensurabel*» (*μήκει σύμμετρος*) *nicht* seine eigene und selbständige Schöpfung sein kann. Denn er erzählt ja, dass Theodoros gezeigt hätte: die *dynameis* mit 3 und 5 Quadratfuss-Fläche sind *ihrer Länge nach nicht kommensurabel* (*μήκει οὐ σύμμετροι*). Daraus folgt natürlich, dass Theodoros selbstverständlich wissen musste: die Seiten der anderen Quadrate (mit 4, 9, 16 etc. Quadratfuss-Fläche) sind umgekehrt «*der Länge nach kommensurabel*». Begriff und Name: *μήκει σύμμετρος* kann also keineswegs eine Neuschöpfung des Theaitetos sein. Theaitetos hat diesen Namen nur selbständig ausgesprochen, aber bekannt war der Begriff mindestens auch schon seinem Lehrer. — Dabei hat der junge Mann den präzisen und korrekten Namen (*μήκει σύμμετρος*) — wie oben darauf schon hingewiesen wurde — auch noch willkürlich verkürzt.

So bleibt aber nur noch der Begriff *δυνάμει σύμμετρος* «*dem Quadrat nach kommensurabel*» übrig. Wäre etwa dieser Begriff eine Neuschöpfung des Theaitetos?

Man kann aus unserer Platon-Stelle nicht unmittelbar nachweisen, dass auch diesen Begriff schon Theodoros gekannt haben muss. Ich konnte oben nur die Vermutung wahrscheinlich machen, dass die ungenaue Bezeichnung einer nur quadratisch messbaren Länge als «*dynamis*» dem präzisen Namen («*dynamei symmetros*») gegenüber eine spätere, nachträgliche Bildung sein muss. Nun glaube ich aber auf Grund anderer Platon-Texte nachweisen zu können, dass auch der Begriff der «quadratischen Kommensurabilität» (*δυνάμει σύμμετρος*)

⁴⁸ S. oben Anm. 11 (Bibl. math. 10, 1909—10 S. 113).

vorplatonischen Ursprungs ist. Auch diese Definition hat *nicht* Theaitetos geprägt. — Um dieses historischen Nachweises willen sei hier als Sonderkapitel der folgende Exkurs eingefügt.

III

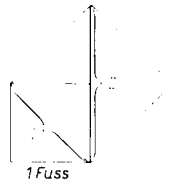
Mein erster Beleg für die *vorplatonische* Existenz des Begriffes der «*quadratischen Kommensurabilität*» ist ein seltsames und ziemlich kompliziertes *Wortspiel* aus dem Platonischen Dialog «*Politikos*» (266 A 5—B 7), das man ohne die Kenntnis der zeitgenössischen griechischen Mathematik kaum enträtseln könnte. Einige Philologen, die sich mit dieser Platon-Stelle beschäftigten,⁴⁹ haben schon richtig erkannt, dass das Wortspiel durch den *Doppelsinn* des Ausdruckes «*dynamis*» ermöglicht wird. Denn «*dynamis*» hiess in der alltäglichen Sprache «*Fähigkeit*», während dasselbe Wort in der Geometrie die Bedeutung «*Quadrat*» hatte. — Ich gehe noch um einen Schritt weiter, über diese zutreffende Beobachtung hinaus, und ich behaupte, dass auch die Kenntnis der «*quadratischen Kommensurabilität*» (*δυναμίει σύμμετρος*) eine unerlässliche Vorbedingung des fraglichen Wortspiels bildet. Ohne die geläufige und allgemein verbreitete Kenntnis dieses Begriffes hätte Platon gar nicht daran denken können, ein solches Wortspiel zu machen. — Nun wollen wir aber das Wortspiel selbst ins Auge fassen.

Das Problem, das Sokrates diesmal, in dem Dialog «*Politikos*», zusammen mit seinem Gesprächspartner lösen möchte, ist eine Frage der Klassifikation. Wonach könnte man nämlich den *Menschen* und das *Schwein* unterscheiden? — Am einfachsten wäre wohl zu sagen, dass der Mensch *zweifüssig*, während das Schwein *vierfüssig* ist. Aber so ist es doch allzu einfach! Sokrates schlägt scherzhaft einen etwas gelehrteren Gesichtspunkt der Klassifikation vor. Denn sein Gesprächspartner ist ja diesmal derselbe «*junge Sokrates*», von dem wir auch in dem Dialog «*Theaitetos*» als einem Schüler des Mathematikers Theodoros gehört hatten. Es wird übrigens auch diesmal nebenbei erwähnt, dass Theaitetos und der «*junge Sokrates*» eifrige Anhänger der Geometrie sind (266 A 6—7). Eben deswegen soll man auch in der vorliegenden Klassifikation ein Anhänger der Geometrie bleiben; und darum schlägt Sokrates vor, dass die vorhin angedeutete Unterscheidung des «*Menschen*» und des «*Schweines*» «*nach dem Gesichtspunkt der Diagonale und wieder nach demjenigen der Diagonale der vorigen Diagonale*» (*τῆ διαμέτρῳ δῆπου καὶ πάλιν τῆ τῆς διαμέτρου διαμέτρῳ*) vorgenommen werde.

Natürlich ist der junge Mann auf diesen seltsamen Vorschlag hin zunächst verblüfft, und er versteht es ebensowenig, worauf eigentlich Sokrates hinaus möchte, wie wir selber.

⁴⁹ Vgl. L. CAMPBELL, *The Sophistes and Politicus of Plato*, Oxford 1867 pp. 30—33; H. LEISEGANG, *Die Platondeutung der Gegenwart*, Karlsruhe 1929; sowie die Bemerkungen von O. APELT zu seiner Übersetzung der Stelle.

Wir können uns jedoch das Verstehen des sogleich darauffolgenden Wortspiels im voraus erleichtern, wenn wir an den folgenden, hochgelehrten Satz denken: «der Mensch ist nach seiner Fähigkeit zum Gehen (*κατὰ δύναμιν . . . εἰς τὴν πορείαν*) zweifüssig». — Wie würde man aus diesem gelehrten Satz die Wendung «*der Fähigkeit nach zweifüssig*» in das alltägliche Griechisch der Platonischen Zeit zurückübersetzen? — Etwa folgendermassen: *δυνάμει δίπους*. — Hört jedoch ein Geometer den Ausdruck *δυνάμει δίπους*, so muss er sogleich an die Diagonale des Einheitsquadrats denken. Denn auch diese linear inkommensurable Strecke ist ja in einem anderen Sinne des Wortes *δυνάμει δίπους*, das heisst: «*zweifüssig jener Quadratfläche nach gemessen, die man auf sie errichtet*». — Das Wortspiel ist in der Tat durch den Doppelsinn der Ausdrücke *δύναμις* und *δίπους* ermöglicht worden, und darum sagte Sokrates scherzhaft, dass der Mensch «nach dem Gesichtspunkt der Diagonale» (d. h. genauer: nach dem Gesichtspunkt der Diagonale des *Einheitsquadrats*) klassifiziert werden soll. — Damit haben wir den ersten Teil des Wortspiels schon enträtselt. Aber Sokrates setzt seinen Scherz noch fort. Auch den zweiten Teil seines Wortspiels müssen wir noch näher ins Auge fassen.



I. Diagonale, *δυνάμει δίπους* = «zweifüssig dem Quadrat nach»

II. Diagonale, *μήκει δίπους* (der Länge nach zweifüssig) = *κατὰ δύναμιν δυοῖν γέ ἐστι ποδοῖν δις πεφυκνῖα* «dem Quadrat nach gemessen zweimal zweifüssig»

Wieso möchte Sokrates auch noch die *Vierfüssigkeit* des Schweines «nach dem Gesichtspunkt einer Diagonale» klassifizieren? — Man soll nach seinem Vorschlag auf die Diagonale des Einheitsquadrats — welche scherzhaft als diejenige angesehen wird, die die Zahlenmässigkeit unserer menschlichen *δύναμις* (= «Fähigkeit»), die *zwei* ergibt — ein Quadrat errichten (s. die Abb.), und dann frage man: wieviel Füsse die Diagonale dieses zweiten Quadrats hat? — Diese letztere Frage darf natürlich *nicht* in der Form beantwortet werden, in der auf sie ein Geometer zu Platons Zeit antworten würde. Denn ein Geometer würde ja sagen, dass diese zweite Diagonale schon eine auch *linear kommensurable* Grösse ist, und darum als «*der Länge nach zweifüssig*» (*μήκει δίπους*) bezeichnet werden soll. Dagegen hält Sokrates — natürlich nur um des Scherzes willen — fest daran, dass auch diese zweite Diagonale «*dem Quadrat nach*» (= *δυνάμει* — «der Fähigkeit nach», wie man das Wort in seinem alltäglichen Sinne verstehen würde) gemessen werde; darum kann er behaupten, dass diese zweite Diagonale «*nach jenem Quadrat gemessen, das man auf diese errichten kann, zweimal zwei füssig ist*» (*κατὰ δύναμιν . . . δυοῖν γέ ἐστι ποδοῖν δις πεφυκνῖα*).

Dieses Festhalten des Sokrates an dem »Messen einer Strecke nach dem auf sie errichteten Quadrat« ist natürlich etwas ähnliches, als wollten wir das Quadratwurzelzeichen auch in solchen Fällen nicht weglassen, in denen dies vollkommen überflüssig ist; als wollten wir z. B. anstatt der Zahlen 5 und 6 konsequent immer $\sqrt{25}$ und $\sqrt{36}$ schreiben.

Man ersieht aus dem eben besprochenen Wortspiel, dass das Messen der der Länge nach inkommensurablen Strecken nach jenem Quadrat, das man auf diese Strecken errichten kann — also mit einem Wort: die »quadratische Kommensurabilität«, die angebliche Entdeckung des Theaitetos nach einer bisher üblichen Auslegung des anderen Platonischen Dialoges — zu jener Zeit, in der dieses Wortspiel gemacht wurde, schon ganz geläufig sein musste. Platon muss ja damit gerechnet haben, dass das komplizierte Wortspiel seines Sokrates — und dazu noch ein Wortspiel in sehr gedrängter Form, ohne nähere Erklärungen — von dem Leser verstanden wird. Aber wäre dies möglich gewesen, wenn jener Begriff, worauf das ganze Wortspiel aufgebaut ist — die quadratische Kommensurabilität linear inkommensurabler Strecken — erst eine neue Entdeckung eben jenes Theaitetos gewesen wäre, dessen Kameraden, den »jungen Sokrates«, der ältere Sokrates mit seinem Wortspiel verblüfft? — Ich halte dies für sehr unwahrscheinlich. Ich glaube eher, dass die quadratische Kommensurabilität zu Platons Zeit schon eine geläufige, allgemein bekannte mathematische Weisheit war, mit der man höchstens nur noch in der Schule, in dem Mathematikunterricht renommieren und in einer philosophischen Diskussion Wortspiele machen konnte.

Mein zweiter Beleg für die *vorplatonische* Existenz des Begriffes der »quadratischen Kommensurabilität« gewisser linear inkommensurabler Strecken ist die Platon-Stelle: *Resp. VIII 546 C 4—5*. Da diese Textstelle in der vorliegenden Arbeit später auch ausführlicher behandelt wird, darf ich daraus vielleicht ohne eingehendere Erörterung folgendes vorwegnehmen: Es wird an dieser Platon-Stelle die Zahl 50 als »Quadrat der (unsagbaren) Diagonale der Fünf« bezeichnet. Diese Aussage ist folgendermassen zu verstehen: wird die Seite eines Quadrats in 5 Längeneinheiten angegeben, so wird die Diagonale desselben Quadrats durch jene »Zahl« ausgedrückt, die wir als $\sqrt{50}$ bezeichnen. Die Griechen wollten jedoch in diesem Fall *nicht die Länge* der Diagonale angeben — denn diese ist ja eine *linear inkommensurable Strecke* —, sondern sie sagten: »das Quadrat auf dieser Diagonale macht 50 Quadrateinheiten aus«. — Man sieht also: die eben angeführte Bezeichnungsart war nur deswegen möglich, weil man wusste: es gibt linear inkommensurable Strecken, die dabei quadratisch kommensurabel sind.

Darum glaube ich, die *vorplatonische* Existenz des Begriffes der »quadratischen Kommensurabilität linear inkommensurabler Strecken« einwandfrei nachgewiesen zu haben, obwohl der regelrechte Terminus technicus dafür — *δυνάμει σύμμετρος* — in meinen eben genannten beiden Belegen (»Politikos«

266 A 5 — B 7 und Resp. VIII 546 C 4—5) *nicht vorkommt*. Aber jene Selbstverständlichkeit, wie mit diesem Begriff das Wortspiel im «Politikos» und mit welcher ein Ausdruck wie «*Quadrat der Diagonale zu der Seite 5*» für die Zahl 50 benutzt wird, zeigen, dass der Begriff der «quadratischen Kommensurabilität» (*δυνάμει σύμμετρος*) zu Platons Zeit schon ganz und gar geläufig sein musste. Auch dieser Begriff ist also *nicht* eine Neuschöpfung des jungen Theaitetos.

IV

Ich hoffe in dem vorigen gezeigt zu haben, dass man auf Grund der analysierten Platon-Stelle («Theait». 147 C — 148 B) *keine* neuen mathematischen Begriffe bzw. Bezeichnungen für solche, dem jungen Theaitetos zuschreiben kann. (Wohl heisst es am Ende des oben auch griechisch abgedruckten Textes, dass Theaitetos und sein Freund «*ähnliche Benennungen auch für die Körperzahlen*» versucht hätten. Da jedoch in dem Bericht selbst nichts ausführlicheres über diese andere «Entdeckung» des Theaitetos steht, und auch die moderne Forschung nichts näher bestimmbares aus dieser Aussage folgern wollte, können wir diese Schlussbemerkung des jungen Mannes — mindestens in dem vorliegenden Zusammenhang — auf sich beruhen lassen.)

Es wäre also verkehrt, wenn man auf Grund der mathematischen Stelle im Dialog «Theaitetos» behaupten wollte: «dem Theaitetos wären die exakten Definitionen der Begriffe *messbar, quadriert messbar, rational* und *irrational* zu verdanken». Denn von diesen *vier* Begriffen werden ja bei Platon durch Theaitetos überhaupt nur die beiden ersten genannt: «messbar» (bzw. genauer: *linear kommensurabel*) und «quadriert messbar» (bzw.: *dem auf sie errichteten Quadrat nach kommensurabel*). Aber auch diese beiden Begriffe sind ohne jeden Zweifel *vorplatonisch*, und Theaitetos hat für sie in dem Dialog nur *ungenau*, *nicht präzise*, *ja beinahe irreführende Bezeichnungen* («mekos» und «dynamis», anstatt «mekoi symmetros» und «dynamei symmetros») benutzt.

Aber könnte man unsere Platon-Stelle nicht etwa in dem folgenden Sinne interpretieren?

«Theodoros hätte die spezielle Aussage aufgestellt:

A) *Die Quadrate von 3, 5, . . . 17 Quadratfuss-Fläche sind der Länge nach nicht kommensurabel mit dem Quadrat von einem Fuss.*

Dagegen hiesse die allgemeinere Aussage des Theaitetos:

B) *Die Seite eines Quadrats, dessen Fläche n-mal so gross ist, als diejenige des Einheitsquadrats, ist nur dann linear messbar, wenn n eine Quadratzahl ist. (Ist n keine Quadratzahl, dann ist die Seite des betreffenden Quadrates nur quadratisch (= 'quadriert') kommensurabel.)*

Beide Aussagen stünden vollkommen deutlich in Platons Text, auch wenn

sie in Nebensätzchen komprimiert erscheinen. Aber die Hauptsache ist, dass beide Sätze mathematisch hochinteressant sind.»

Nun bezweifle ich überhaupt nicht, dass man Sätze wie A) und B) — auf Grund dessen, was bei Platon erzählt wird — rekonstruieren *kann und darf*. Ich frage mich nur, ob z. B. der Satz B) wirklich eine mathematisch bedeutende Verallgemeinerung auch dem gegenüber war, was auch Theodoros wissen musste? — Denkt man nämlich daran, wie Theodoros seine *dynameis* hergestellt haben mag («Konstruktion der mittleren Proportionale zu zwei beliebigen Strecken»), und wie er wohl die Inkommensurabilität seiner *dynamis*-Seiten für die Schüler plausibel machte («die mittleren Proportionalen zwischen zwei *nicht*-ähnlichen Flächenzahlen sind *keine* Zahlen»), so erscheint es so gut wie unmöglich, dass er *nur* den Satz A), und nicht zugleich auch den Satz B) gekannt hätte. Schreibt man also den Satz B), der bei Platon in der Tat nur «in ein Nebensätzchen komprimiert erscheint», dennoch dem Theaitetos zu, so darf man darin keine hervorragende mathematische Leistung des jungen Mannes, sondern nur eine *schöne Schüler-Leistung* erblicken. — Aber darf man die Sätze A) und B) selbst dem Theodoros als «eigene Leistungen» zuschreiben? Setzt nicht auch schon die blosse Existenz des mathematischen Begriffes *dynamis* (= «Quadratwert eines Rechtecks») sogleich auch die Kenntnis solcher Sätze wie A) und B) voraus? — Ich vermute auf alle Fälle, dass Theodoros, der nach dem Bericht des Theaitetos den mathematischen Begriff *dynamis* mit einer erstaunlichen Selbstverständlichkeit gebrauchte, die Sätze A) und B) *nicht neu aufzustellen brauchte*, denn der Inhalt dieser Sätze war ihm ja mit dem Begriff *dynamis* selbst schon von vorneherein als überlieferte mathematische Weisheit gegeben. Er zeigte die *dynameis* 3, 5, . . . 17 seinen Schülern, und er erklärte vor ihnen die Eigentümlichkeiten derselben, weil diese jungen Leute Mathematik von ihm lernten, und weil er selber die Schüler vielleicht zum «*selbständigen Nachdenken*» anregen wollte.

Nachdrücklich betonen muss ich ausserdem, dass man auf Grund unserer Platon-Stelle auch davon nicht reden kann, dass Theaitetos irgendwelche mathematische Sätze — etwa den oben formulierten Satz B) — *bewiesen hätte*. Von einem «*Beweis* des Theaitetos» steht in dem Platon-Text kein Wort.

Es scheint also, dass im Sinne der mathematischen Stelle im Dialog «Theaitetos» *keine* Sätze und Beweise oder irgendwelche mathematische Definitionen dem jungen Theaitetos sich *als neue und eigene mathematische Schöpfungen* zuschreiben lassen. Alles, was man bisher mit Berufung auf Platons Dialog dem Theaitetos zuschreiben wollte, muss ja *vorplatonische Kenntnis* gewesen sein.

*

Aber wir besitzen dennoch in der Tat auch *zwei* solche antike Quellen, die von einer Überlieferung zu zeugen scheinen, wonach dem Theaitetos schon im Altertum *konkrete Entdeckungen* im Zusammenhang mit der Lehre über die Irrationalitäten zugeschrieben wurden. Da nun diese beiden Quellen — ein Scholion zu dem Satz Eucl. Elem. X 9,⁵⁰ und ein Bericht, der vermutlich aus dem Kommentar des Pappos zum X. Buch der Euklidischen «Elemente» stammt und nur in arabischer Übersetzung erhalten blieb⁵¹ — auf das engste mit Platons Dialog «Theaitetos» zusammenhängen, müssen wir in dem folgenden auch diese beiden im Einzelnen überprüfen. Diese Prüfung wird uns zugleich auch ermöglichen, die mathematische Stelle des Platonischen Dialogs noch von einer neuen Seite her zu beleuchten.

Ein Scholion zu dem Satz Eucl. Elem. X 9 besagt in genauer Übersetzung folgendes:⁵² *«Dieses Theorem ist eine Erfindung des Theaitetos. Es wird auch bei Platon erwähnt im Dialog 'Theaitetos', nur liegt es dort in spezieller, hier dagegen in allgemeiner Fassung vor.»*

Um die Behandlung dieses Scholions zu erleichtern, sei hier sogleich auch der Satz Elem. X 9 abgedruckt, er heisst nämlich:

*«Die Quadrate über linear kommensurablen Strecken haben zueinander ein Verhältnis wie eine Quadratzahl zu einer Quadratzahl;
und von Quadraten, die zueinander ein Verhältnis haben wie eine Quadratzahl zu einer Quadratzahl, müssen auch die Seiten linear kommensurabel sein;
die Quadrate über linear inkommensurablen Strecken hingegen haben kein Verhältnis zueinander wie eine Quadratzahl zu einer Quadratzahl;
und von Quadraten, die kein Verhältnis wie eine Quadratzahl zu einer Quadratzahl zueinander haben, können auch die Seiten nicht linear kommensurabel sein.»*

Vergleicht man nun das vorhin zitierte Scholion und den Satz Elem. X 9 miteinander, so muss man sich zunächst erstaunt fragen: »Wieso behauptet der Scholiast, dass der Satz X 9 im Platonischen Dialog *erwähnt werde*? Wird ein solcher Satz bei Platon in der Tat genannt?« — Man hat nämlich zunächst den Eindruck, als handelte es sich hier bloss um einen Irrtum, denn der Satz X 9 wird in unserem Platon-Text *unmittelbar* nicht genannt. Es muss also auf alle Fälle noch erklärt werden, wieso der Scholiast (oder seine Quelle) zu der auffallenden Behauptung kam, der Satz X 9 werde bei Platon erwähnt.

⁵⁰ Euclides, Elementa, ed. J. L. HEIBERG, vol. V p. 450, 16 ff. (Den griechischen Text siehe weiter unten in Anm. 52.)

⁵¹ Siehe darüber TH. L. HEATH, Euclid, vol. 3 pp. 3—4. Der Text dieses arabischen Kommentars wurde i. J. 1930 auch von G. JUNGE und W. THOMSON mit englischer Übersetzung als Bd. VIII der Harvard Semitic Series (Cambr.) herausgegeben. TH. L. HEATH benutzte eine noch frühere Ausgabe des arabischen Kommentars durch WOEPCKE (Paris 1855). Man findet den bei mir weiter unten englisch zitierten Text auch bei K. v. FRITZ in RE s. v. «Theaitetus».

⁵² Vgl. oben Anm. 50: τὸ θεώρημα τοῦτο Θεαιτήτειόν ἐστιν εὔρημα καὶ μέμνηται αὐτοῦ Πλάτων ἐν Θεαιτήτῳ, ἀλλ' ἐκεῖ μὲν μερικώτερον ἐργεῖται, ἐνταῦθα δὲ καθόλου etc.

Bevor ich jedoch die zuletzt gestellte Frage beantworten wollte, muss ich hier noch die *Datierung* des Satzes X 9 versuchen. Denn ich glaube, dass man diesen Satz — unabhängig von der Behauptung des Scholions — ziemlich leicht auch datieren kann. Darum sei hier an folgendes erinnert:

Es wurde oben erwähnt, dass man zu jener Zeit, in der — nach dem Entdecken der Möglichkeit der mittleren Proportionale zwischen zwei beliebigen Strecken — der mathematische Begriff *dynamis* (= «Quadratwert eines Rechtecks») geschöpft wurde, sogleich wohl auch erkennen musste: es gibt nicht nur solche Quadrate, die sowohl ihren Seiten wie auch ihren Flächen nach kommensurabel sind, sondern auch solche anderen, die ihren Seiten nach inkommensurabel und nur ihren Flächen nach kommensurabel sind. Eben diese Erkenntnis soll — meiner Vermutung nach — zu der Schöpfung des Begriffes *dynamis* geführt haben. Mit anderen Worten: durch die Schöpfung des neuen Begriffes *dynamis* wurde auch die *Klassifikation der Quadrate* unumgänglich. Nun wird in dem Satz Elem. X 9 eben diese *Klassifikation der Quadrate* vollzogen. Darum würde ich den Satz Elem. X 9 — unabhängig von der Behauptung des Scholiasten — nicht dem Theaitetos, und auch nicht seinem Lehrer Theodoros zuschreiben, sondern ich würde ihn auf dieselbe alte Zeit datieren, in der der Begriff *dynamis* geschöpft wurde.

Daraus versteht man aber sogleich auch, warum der Scholiast behauptet: der Satz X 9 werde bei Platon im Dialog «Theaitetos» erwähnt. Wohl steht dieser Satz *nicht explicite* in Platons Text, aber er ist im Grunde doch nur eine *Klassifikation der Quadrate*. Und hat der Platonische Theaitetos nicht eben die Quadrate (*dynamis*) des Theodoros klassifiziert? (Der einzige interessante Unterschied zwischen den beiden Texten besteht nur darin, dass bei Platon von *δυνάμεις*, während bei Euklid in X 9 von *τετράγωνα* die Rede ist. Aber das hängt nur mit dem *Purismus* des Euklid zusammen. In den «Elementen» wird nämlich der Ausdruck *δύναμις* nur in der Zusammensetzung *δύναμις σύμμετρος* bzw. *ἀσύμμετρος* gebraucht. Sonst benutzt Euklid auch für den Begriff *dynamis* den alten gewöhnlichen Namen: *τετράγωνον*.) — Insofern hat also der Scholiast (oder seine unbekannte Quelle) vollkommen Recht: Es handelt sich in Platons Dialog um dasselbe Problem (Klassifizierung der Quadrate), wie in dem Satz Elem. X 9. Bezweifeln muss ich nur die Richtigkeit seiner anderen Behauptung, dass nämlich Theaitetos der Erfinder des betreffenden Satzes (X 9) gewesen wäre. Bevor ich jedoch zeigte, wie man überhaupt in der Antike zu einer solchen irrtümlichen Behauptung gekommen war, sei hier noch daran erinnert, wie das fragliche Scholion einmal auch schon vor mir beurteilt wurde. Man liest nämlich bei C. Thaer:⁵³

«Die Überlieferung, die diesen Satz (X 9) als Eigentum des Theaitetos bezeichnet, ist darum verdächtig, weil sie wahrscheinlich aus einer Stelle des

⁵³ C. THAER, Die Elemente von Euklid, IV. Teil, 1936 (Ostwald's Klassiker der Exakten Wissenschaften, Nr. 241) S. 108.

gleichnamigen Platonischen Dialogs entstanden ist; mit wohl grösserem Recht hat Vogt (wie vor ihm auch Hankel) aus dieser Stelle geschlossen, dass mindestens Theodoros schon denselben Satz (X 9) gekannt habe . . .»

Nun bin ich mit dieser Behauptung vollkommen einverstanden. Ich finde nur, dass sie in *einer* Hinsicht dennoch *mangelhaft* ist. Denn die zitierten Worte erklären ja doch nicht, wieso aus der betreffenden Stelle des gleichnamigen Platonischen Dialogs die *irrtümliche Überlieferung* entstehen konnte. Gibt es nicht in dem Platon-Text selbst solche Anhaltspunkte, auf die sich die spätere Überlieferung berufen konnte, als man behauptete: es handelte sich in der mathematischen Stelle dieses Dialogs doch um eine *eigene wissenschaftliche Entdeckung* des jungen Theaitetos?

Ich glaube nämlich, dass in der Tat in dem Platon-Text selbst schwerwiegende Anhaltspunkte auch für die *falsche* Überlieferung über Theaitetos vorhanden sind. Ja, ich möchte beinahe sagen: *Platon selber hat die Leser — sowohl die antiken wie die modernen — mit seiner Darstellungskunst irregeführt*. Bevor wir jedoch nach Platons Absichten fragen, wollen wir zunächst ganz nüchtern jene Platonischen Anhaltspunkte ins Auge fassen, die die falsche Überlieferung über Theaitetos auf den ersten Anblick *vollkommen zu begründen scheinen*.

Ich habe oben einmal schon nebenbei die Frage gestellt: Ob Theodoros, als er die *dynameis* vor den Schülern aufzählte und erklärte, *von Anfang an auch jene zusammenfassende Benennung*, die seine Schüler vollzogen, *bewusst vorbereitet, ja vielleicht von ihnen auch verlangt hatte*, oder ob es sich hier um eine vollkommen eigene Initiative der jungen Leute handelt? — Nun glaube ich, diese Frage mit Bestimmtheit in dem Sinne beantworten zu dürfen: ja, zweifellos *muss* Theodoros jene «selbständige Arbeit», die nachher von seinen Schülern geleistet wurde, von vorneherein erwartet haben. Einen anderen Sinn *kann* seine Demonstration auch gar nicht gehabt haben. — Ich werde später versuchen, diese meine Ansicht auch näher zu begründen. Aber hier muss ich zunächst darauf hinweisen, dass der Platon-Text selber — mindestens auf den ersten Anblick — *gar nicht diesen Eindruck erweckt!* Im Gegenteil!

Beachtet man *nur* die Erzählung des Theaitetos, so bekommt man zweifellos den Eindruck: der junge Mann berichtet hier über eine *eigene wissenschaftliche Entdeckung von ihm selbst*, woran höchstens noch sein Freund, der «junge Sokrates» teilnahm. Davon, dass diese Entdeckung durch Theodoros sorgfältig vorbereitet, ja auch verlangt worden wäre, steht kein Wort im Text. Es wird *nicht* gesagt, dass Theodoros seine Schüler etwa aufgefordert hätte: «Wohlan, Jungens! Versucht mal jene *dynameis*, die ich euch gezeigt habe, nach einem gemeinsamen Gesichtspunkt zu benennen!» — Nichts von einer solchen Aufforderung. Statt dessen heisst es im Text nur, dass Theodoros bei seiner 17. *dynamis* «irgendwie aufgehört hätte» (*ἐν δὲ ταύτῃ πως ἐπέσχετο*). Umso betonter wird durch Theaitetos die *eigene Initiative* hervorgehoben. Nicht nur am Anfang des Berichtes sagt der junge Mann zu Sokrates: «du fragst ja etwas ähnliches,

wie es auch *uns zuletzt im Gespräch begegnete, mir und deinem Namensverwandten, dem anderen Sokrates*». Auch später wird noch einmal auf die eigene wissenschaftliche Leistung von Theaitetos selber mit Nachdruck hingewiesen: «*Uns* fiel nun ein solcher Gedanke ein . . .» — und mit diesem «*uns*» wird keineswegs auch Theodoros mitgemeint, sondern *nur* Theaitetos und der «junge Sokrates».

Kein Zweifel, der Platonische Theaitetos redet wirklich in der Überzeugung, dass er über seine *eigene mathematische Entdeckung* berichtet. Und das kann auch kein Zufall sein. Selbstverständlich liess Platon seinen Theaitetos *absichtlich in diesem Sinne reden*. — Kein Wunder also, dass man diese Schilderung in dem Sinne verstehen zu müssen meinte: es wäre in der mathematischen Stelle in der Tat von einer eigenen und selbständigen Entdeckung des jungen Theaitetos die Rede.

Aber was wollte eigentlich Platon mit dieser seltsamen Schilderung? Hätte er etwa nicht gewusst, dass das alles, was der junge Mann über seine eigene wissenschaftliche «Entdeckung» erzählt, auch dem Lehrer Theodoros bekannt sein musste, denn es ist ja eine längst vorhandene mathematische Weisheit aus *vorplatonischen* Zeiten? — Natürlich musste dies auch Platon selber ganz genau wissen. — Oder hätte er etwa seinen «Helden», den jungen Theaitetos mit fremden Federn schmücken wollen? Denn es genügt ja nicht, dass Theaitetos so unbefangen die alte Weisheit als eine «eigene Entdeckung» schildert, er wird dafür auch gar nicht zurechtgewiesen. Keiner sagt zu ihm: «Schön, mein Junger! Aber meinst du nicht, dass auch dein Lehrer, der gute alte Theodoros dasselbe, was du uns eben als eure *eigene Entdeckung* aufgetischt hast, schon im voraus wusste?» Anstatt einer solchen Zurechtweisung erntet der junge Mann das Lob des Sokrates: «Grossartig, Kinder! Ich glaube, Theodoros hatte doch recht, als er dich lobte!» Und diese Worte klingen zweifellos ernst. Oder wäre das alles nur Spott und Ironie? — Keineswegs!

Nun, ich glaube gar nicht, dass man Platons wahre Absichten in diesem Fall so ganz leicht erraten könnte. Aber warum sollte es auch *leicht* sein? Ist es etwa auch *leicht*, das Lächeln der Gioconda zu verstehen? — Der brave Spiessbürger versteht es meistens überhaupt nicht. Er schüttelt nur darüber den Kopf. Denn ihm sind ja Mehrdeutigkeit und feine Nuancen von vorneherein kaum zugänglich. — Und warum sollte auch Platon, der grosse Künstler, weniger rätselhaft als der Schöpfer der Gioconda sein?

Aber vielleicht kann man mit einiger Aufmerksamkeit dem wahren Sinn der rätselhaften Platonischen Schilderung doch etwas näher kommen. Man beachte nämlich, wie der junge Theaitetos bei Platon geschildert wird. Am Anfang dieser Arbeit wurde einiges aus dieser Schilderung schon wiedergegeben. Es wurde gesagt, dass Theaitetos hochbegabt, mathematisch sehr talentiert ist. Nie war noch Theodoros einem solchen Jüngling begegnet. «Er geht, wie geräuschlos ausfliessendes Öl, an die Wissenschaften und an die Forschung, und doch ist er dabei ganz ruhig und bescheiden.» — Und so könnte man das Lob,

das bei Platon auf diesen Jungen so reichlich ausgeschüttet wird, noch lange fortsetzen.

Nur *eines* vergisst man gewöhnlich in der modernen Wiedergabe der Platonischen Schilderung des Theaitetos. Dass nämlich diese Schilderung gar nicht überall so völlig eindeutig ist. Es gibt auch *Widersprüche* in dem Platonischen Bild des Theaitetos. Und vergisst man diese Widersprüche, so läuft man Gefahr, Platon doch nicht recht zu verstehen.

Beginnen wir damit, dass Theaitetos nicht nur hochbegabt und mathematisch sehr talentiert, sondern gleichzeitig auch ein *naiver Junge* ist, der — wie es scheint — auf die vorgelegten Fragen manchmal nicht nur *falsche*, sondern auch *einfältige*, um nicht zu sagen: *törichte* Antworten zu erteilen weiss. Z. B. auf die Frage des Sokrates: »Was ist Wissen?«, antwortet er — «der wie geräuschlos ausfliessendes Öl an die Wissenschaften herangeht» — ohne zu ahnen, wie schwer und kompliziert eigentlich die vorgelegte Frage ist, zunächst mit einer überraschend leichten Aufzählung. Sokrates kann darauf nur mit zurückgehaltener Ironie erwidern: «*Grosszügig und freigiebig bist du, mein Lieber, denn man hat dich ja nur um ein einziges Ding gebeten, und siehe, du gibst uns sogleich vieles und vielerlei!*» (146 D). Aber der junge Mann versteht noch nicht einmal diese Ironie seines Partners. In rührender Einfalt fragt er: »*Wie meinst du das, Sokrates?*» — Und was könnte Sokrates auf eine solche naive Frage antworten? Natürlich nichts, lieber lässt er seine Ironie einstweilen völlig fallen: «*Oh nein! Ich meine ja damit gar nichts, oder vielleicht doch etwas . . .*»

Dächte man nun, dass «Einfalt und Naivität» auf der einen Seite, und «geniale Begabung» auf der anderen, Gegensätze wären, die sich ausschlossen, so müsste ich entschieden widersprechen. Nein, im Gegenteil! Denn gerade die unbefangene Naivität ist ja der besondere Reiz an dem begabten Jüngling Theaitetos, der ihn für Platon und auch für die Leser so sympathisch macht. Es kann ja keine Rede davon sein, dass er etwa «dumm» oder «töricht» wäre. Er legt sogleich auch ein glänzendes Zeugnis von seiner Intelligenz, der schnellen und treffsicheren Assoziation ab. Kaum entfaltet vor ihm Sokrates sein übertrieben einfaches, banales Beispiel von den «Lehmarten», und sofort wird dadurch der Junge an das verwandte Problem auf einer viel höheren Ebene, in der Mathematik erinnert. Die «Lehmarten» des Sokrates sind zwar ziemlich entfernt von den «*dynameis*» des Theodoros, und ein gewöhnlicher Junge würde die beiden auch kaum so leicht miteinander verbinden, aber die Abstraktionsfähigkeit des Theaitetos scheint schnell zu funktionieren: im Nu kriegt er aus den beiden weit auseinanderliegenden Dingen das Gemeinsame mit sicherem Griff heraus. Und in diesem Augenblick ist auch schon der wahre Kontakt mit Sokrates hergestellt.

Der ruhige und bescheidene Theaitetos erzählt auf die Frage des Sokrates hin von seiner mathematischen «Entdeckung». Doch ist er dabei ein wenig auch *aufgeregt und nervös*. Man spürt an ihm, wie er auch jetzt noch durch die blosse

Erinnerung beinahe wieder in die aufgeregte Stimmung der damaligen schönen «Entdeckung» versetzt wird. Ich finde es einfach erstaunlich, mit welchen einfachen Mitteln Platon den *Seelenzustand* des jungen Mannes — während seines eigenen Berichtes — zu schildern vermochte. *Weitschweifigkeit* auf der einen Seite, und kaum zurückgehaltene *ungeduldige Hast* auf der anderen, sind die charakteristischen Merkmale dieses Seelenzustandes. Denn Theaitetos gebraucht ja in seinem Bericht — wie ich oben darauf schon aufmerksam zu machen versuchte — teils überflüssig tautologische, und teils übertrieben, beinahe bis zur Unverständlichkeit verkürzte Fachausdrücke der Mathematik. Und es ist dabei keineswegs uninteressant: bei welchem Punkt Theaitetos weitschweifig, tautologisch ist, und bei welchem er wieder plötzlich knapp und kurzsilbig wird.

Den völlig trivialen Begriff des «Quadrates» bzw. denjenigen der «Quadrat-zahl» bezeichnet er keineswegs mit dem einfachen Namen *τετράγωνον*, sondern er fügt noch hinzu — was völlig überflüssig ist —, dass es *ισόπλευρον*, ja ein anderes Mal, dass es *ἐπίπεδος* ist. — Müsste man diesen Übereifer bei einem fertigen Mathematiker nicht belächeln? Aber Theaitetos ist eben kein «fertiger Mathematiker», sondern ein junger, begabter, doch unerfahrener Forscher, der nicht missverstanden werden möchte. Er strebt nach Genauigkeit in seinen Worten, und gerade dieses, an und für sich richtige Streben verführt ihn bei dem allereinfachsten Fall zu einer naiven Tautologie.

Aber die minutiöse Sorgfalt und das Streben nach Genauigkeit lassen ihn in dem Augenblick im Stich, als er bei demjenigen Punkt angelangt ist, der von seinem Gesichtspunkt aus der allerwichtigste sein sollte. Denn es gilt ja für ihn als eine «eigene Entdeckung»: die richtige Benennung der zweierlei Quadrat-Seiten: *mekei symmetros* und *dynamei symmetros*. Eben diese Begriffe müssten mit den genauen Bezeichnungen angegeben werden, denn diese sind ja für den Nicht-Mathematiker doch nicht so völlig geläufig, wie der triviale Begriff: «*tetragonon*». Und doch fällt der junge Mann eben bei diesen Begriffen seiner hastigen Entdecker-Ungeduld und -Freude zum Opfer: diese bezeichnet er nur noch mit den verkürzten Namen als «*μηκος*» und «*δυναμις*», auf die Gefahr hin, dass die betreffenden Begriffe auch nicht mehr genau verstanden werden könnten. (In der Tat hat man die Bezeichnung des Theaitetos «*δυναμις*» — anstatt von *δυνάμει σύμμετρος* — lange Zeit hindurch gar nicht richtig übersetzen können.)

Denkt man nun an diese feine und nuancierte Platonische Schilderung des Theaitetos, so wird man vielleicht auch meine folgende Auslegung der mathematischen Stelle des Dialogs nicht mehr ablehnen.

Ich brauche wohl nicht noch einmal zu betonen, dass der Platonische Theaitetos in der Wirklichkeit gar nichts neues gefunden hatte. Aber Platon liess ihn dennoch so reden, als handelte es sich hier um eine «eigene Entdeckung» des jungen Mannes. Sein Theaitetos scheint in der Tat der Ansicht gewesen zu

sein: er hätte eine neue wissenschaftliche Entdeckung völlig auf eigene Faust -- höchstens nur zusammen mit dem «jungen Sokrates» -- gemacht. Und Theaitetos gab sich auch darüber gar keine Rechenschaft, dass selbst die Begriffe, die er für die Benennung seiner vermeintlichen «neuen Entdeckung» gebrauchte -- *μήκει σύμμετρος* und *δυνάμει σύμμετρος* -- in der Wirklichkeit altes, überliefertes Gedankengut darstellen.

Aber lag nicht eben in diesem leichten Selbstbetrug des begabten jungen Mannes ein schöner Pädagogen-Erfolg des alten Theodoros? Denn Theodoros wollte ja seine Schüler, wie jeder echte Mathematik-Lehrer, wohl zum *selbständigen* mathematischen Denken erziehen. Als geschickter Lehrer scheint er sie darauf auch gut vorbereitet zu haben. Denn die beiden Schüler haben ja das, was er von ihnen erwartet haben muss, glänzend gelöst. Auf der anderen Seite scheint Theodoros in seiner Erziehung zur Selbständigkeit auch sehr taktvoll gewesen zu sein; er stellte wohl keine unmittelbaren Fragen, er forderte die jungen Leute wohl nicht geradewegs auf: «Nun, Kinder, benennt mal jene *dynamis*, die ich euch eben vorgelegt hatte, nach einem gemeinsamen Gesichtspunkt!» Eine solche Aufforderung war nicht nötig, denn er konnte sich -- wohl nach ähnlichen Übungen schon vorher -- darauf verlassen, dass die Schüler seine unausgesprochenen Absichten auch von selbst erraten würden. Wichtiger war ihm eher, dass die eigenen pädagogischen Griffe nicht auffällig werden. Und dies gelang ihm so sehr, dass man auch gar nicht wusste: warum er eigentlich bei der «dynamis 17» mit der Demonstration aufgehört hatte. «Er hörte nur irgendwie auf bei dieser *dynamis*» -- sagt Theaitetos selber in seinem Bericht. Der Lehrer wurde bei einem geeigneten Punkt unauffällig still, als könnte er den eigenen Gedankengang gar nicht mehr weiterführen, und von da ab liess er die Schüler im Sinne dessen, was er bewusst und sorgfältig aber *unbemerkt* für sie vorbereitet hatte, «selbständig» weiterdenken. Und diese fanden auch «selbständig» jene Lösung, die ihr Lehrer von ihnen im voraus erwartet hatte.

Aber hätte dann Theodoros nicht mindestens nachträglich die jungen Leute über ihren Selbstbetrug aufklären müssen? -- fragt man vielleicht nach der obigen Interpretation. -- Nun bin ich fest davon überzeugt, dass man heutzutage so etwas auf keinen Fall versäumen würde. Aber mir scheint, dass Theodoros doch ein besserer Pädagoge war, wenn er es *nicht* tat. -- Auch darüber wundere ich mich nicht im mindesten, dass auch Sokrates über die «Entdeckung» des jungen Mannes so hocheifrig war, und es gar nicht nötig fand, ihn auch noch über den kleinen, und vom Gesichtspunkt des Sokrates aus zweifellos *nebensächlichen*, Selbstbetrug aufzuklären. Es wäre in der gegebenen Situation wirklich nur lächerlich und pedantisch gewesen -- nachdem der junge Mann schöne und interessante mathematische Tatsachen sozusagen selbständig wiederentdeckt hatte --, ihn jetzt noch darauf hinzuweisen, dass dieselben Wahrheiten auch anderen schon früher bekannt waren.

V

Und nun fassen wir jetzt noch einmal das Scholion zu Eucl. Elem. X 9 ins Auge. Ist es ein Wunder, wenn man behauptet, der Erfinder des Satzes Elem. X 9 wäre Theaitetos gewesen? Redet nicht in dem Platonischen Dialog der junge Theaitetos selber über seine «eigene Entdeckung», und ist dort nicht über dieselben mathematischen Tatsachen die Rede, die auch in dem Euklidischen Satz (X 9) behandelt werden? — Ja, das stimmt doch alles wörtlich und haargenau! Und doch bleibt der Wahrheitsgehalt der vorigen Behauptung mehr als fraglich! Denn was versteht ein Scholiast von Platons Freude an einem naiven und hochbegabten Jüngling, und von seinem vieldeutigen, verständnisvollen Lächeln über einen kleinen, unbedeutenden Selbstbetrug desselben? Hat nicht Platon selber mit seiner grossartigen und verführerischen Kunst die Theaitetos-Legende angeregt und vorbereitet?

*

Die andere Quelle, die von jener antiken Überlieferung zeugt, nach welcher — eben auf Grund der analysierten Platon-Stelle — konkrete mathematische Entdeckungen dem Theaitetos zugeschrieben wurden, ist ein oben schon erwähnter Bericht, der in arabischer Übersetzung erhalten blieb. Vollständigkeitshalber sei hier die wichtigste Partie dieses Berichtes in leicht zugänglicher englischer Übersetzung abgedruckt:⁵⁴

«. . . the theory of irrational magnitudes had its origin in the school of Pythagoras. It was considerably developed by Theaetetus the Athenian, who gave proof, in this part of mathematics, as in others, of ability which has been justly admired. He was one of the most happily endowed of men, and gave himself up, with a fine enthusiasm, to the investigation of the truths contained in these sciences, *as Plato bears witness for him in the work which he called after his name*. As for the exact distinction of the above-named magnitudes and the rigorous demonstrations of the propositions to which this theory gives rise, I believe that they were chiefly established by this mathematician; and, later, the great Apollonius, whose genius touched the highest point of excellence in mathematics, added to these discoveries a number of remarkable theories after many efforts and much labour. — *For Theaetetus had distinguished square roots (puissance must be the δύναμεις of the Platonic passage) commensurable in length from those which are incommensurable,*⁵⁵ and had divided the well-known species of irrational lines after the different means, assigning the *medial* to ge-

⁵⁴ Siehe oben Anm. 51.

⁵⁵ Besser ist die deutsche Übersetzung dieser Stelle bei K. v. FRITZ (s. oben Anm. 51): «. . . THEAITETOS, welcher unterschieden hat *Quadrate* (Potenzen), welche kommensurabel sind in der Länge von den nicht-kommensurablen, etc.»

ometry, the *binomial* to arithmetic, and the *apotome* to harmony, as is stated by Eudemos the Peripatetic, etc.»

Wie man sieht, beruft sich der Text ausdrücklich auf den Dialog «Theaitetos». Die allgemeine Charakterisierung des Mathematikers Theaitetos scheint unmittelbar von Platon übernommen zu sein — einerlei ob der Verfasser dieser Quelle selber, oder nur seine Vorlage den Platon-Text in der Hand hatte. Auch hier wird die mathematische Stelle des Dialogs in dem Sinne ausgelegt, als handelte es sich bei Platon wirklich um eine eigene und neue wissenschaftliche Entdeckung des jungen Theaitetos: «er habe *die Quadrate je nach der Kommensurabilität bzw. Inkommensurabilität ihrer Seitenlängen unterschieden*. — Einen Kommentar zu dieser Behauptung brauche ich — nach dem, was oben zu dem Scholion des Satzes Eucl. Elem. X 9 gesagt wurde — wohl nicht mehr hinzuzufügen.

Interessant ist das obige Zitat aus dem arabisch erhaltenen Bericht eigentlich nur wegen seines letzten Satzes, der einen Hinweis auf Eudemos enthält: Auch Eudemos habe schon die Unterscheidung und Benennung der irrationalen Strecken: *mese*, *ek dyoin onomaton* und *apotome* dem Theaitetos zugeschrieben. — Das Überprüfen dessen, ob in diesem einzigen Punkt — der von Platons Dialog unabhängig zu sein scheint — eine echte, vielleicht auch historisch zuverlässige Überlieferung vorliegt, bleibe der künftigen Forschung überlassen.

*

Es wird vielleicht nicht uninteressant sein, noch zu betonen, dass ausser den beiden eben behandelten Quellen gar keine antiken Zeugnisse über irgendwelche konkrete und selbständige wissenschaftliche Leistungen des Mathematikers Theaitetos auf dem Gebiete der Irrationalitäten-Theorie überliefert sind. Denn wohl erwähnt zwar der Euklid-Kommentar des Proklos die mathematischen Leistungen des Theaitetos auch bei drei verschiedenen Gelegenheiten, aber man erfährt aus diesen Erwähnungen sehr wenig konkretes und handfestes.

Einmal heisst es (66, 14) über die drei Zeitgenossen — Leodamas den Thasier, Archytas den Tarentiner, und Theaitetos den Athener —, dass «von ihnen die Lehrsätze vermehrt und in ein den wissenschaftlichen Anforderungen entsprechenderes System gebracht wurden».

Ein anderes Mal hören wir von einem gewissen Hermotimos von Kolophon (67, 20 ff.), dass «er die Ergebnisse des Eudoxos und Theaitetos weiterentwickelte». — Schade nur, dass wir von diesem Hermotimos, der u. a. auch das Werk des Theaitetos weitergebaut haben soll, ausser dem blossen Namen gar nichts wissen.

Und noch einmal wird schliesslich bei Proklos Theaitetos erwähnt, diesmal anlässlich einer Bemerkung über Euklid selbst (68, 7 ff.): «Nicht viel jünger als diese ist Euklid, der die *Elemente* zusammenstellte, viele Ergebnisse des

Eudoxos zusammenfasste, *viele des Theaitetos zum Abschluss* und die weniger zwingenden Beweise seiner Vorgänger in eine unwiderlegbare Form brachte.»

Eine besondere Gruppe bilden jene beiden antiken Berichte — eine Notiz im Suda-Lexikon und ein Scholion zu dem XIII. Buch der Euklidischen «Elemente»⁵⁶ —, die dem Theaitetos *stereometrische Entdeckungen* zuschreiben. Die Kontrolle dieser anderen Berichte gehört nicht in den Rahmen der vorliegenden Untersuchung, die nur das Thema «Theaitetos und die Theorie der Irrationalitäten» behandeln wollte.

Aber auf diese Weise bleibt eigentlich nur ein einziger, bisher noch nicht beglaubigter Bericht, nämlich jene Behauptung der arabisch überlieferten Quelle übrig, wonach schon Eudemos die Unterscheidung und Benennung der irrationalen Strecken «*mese*», «*ek dyoin onomaton*» und «*apotome*» dem Theaitetos zugeschrieben hätte. Alles übrige sonst, was man ausser diesem einzigen Bericht bisher noch darüber zu wissen meinte, was die griechische Theorie der Irrationalitäten dem Theaitetos zu verdanken hätte, ist im Sinne der oben vorgelegten Untersuchung nur eine *Legende*, die von Platon selbst angeregt und vorbereitet wurde.

VI

Es wurde im ersten Abschnitt dieser Arbeit ein Zitat angeführt, wonach den «Fixpunkt» in der Entwicklungsgeschichte der Irrationalitätentheorie die Entdeckung des Theodoros von Kyrene bilden sollte; Theodoros hätte die Irrationalität von $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$. . . bis $\sqrt{17}$ bewiesen, und darum sollte die Irrationalität von $\sqrt{2}$ schon früher, in der Zeit *vor* Theodoros bekannt gewesen sein.

Nun hoffe ich, gezeigt zu haben, dass diese historische Rekonstruktion auf eine Reihe von Missverständnissen gebaut wurde, und dass sie sich mit gar nichts begründen lässt. In der Wirklichkeit besitzen wir überhaupt keine zuverlässige Überlieferung, weder über die Entdeckung noch über die weitere Entfaltungsgeschichte der mathematischen Irrationalität.

Die Frühgeschichte dieser liesse sich — meiner Ansicht nach — nur auf dem Wege einigermaßen klären, dass man jene griechischen Fachausdrücke historisch beleuchtet, durch welche die mathematische Irrationalität zum Ausdruck gebracht wird. In dem folgenden versuche ich die wichtigsten und bekanntesten Fachausdrücke der griechischen Mathematik von diesem Gesichtspunkt aus zu behandeln.

*

⁵⁶ Suda-Lexikon 1120, und Euclides, Elementa, ed. J. L. HEIBERG, vol. V p. 654.

Das gewöhnlichste Begriffspaar, das man der Entdeckung der mathematischen Irrationalität verdankt, heisst griechisch: *σύμμετρον* und *ἄσύμμετρον*, *messbar* und *unmessbar*. Wie es die 1. Definition im Buch X der Euklidischen «Elemente» besagt:

«*Kommensurabel* heissen jene Grössen (*σύμμετρα μέγεθη*), die von demselben Mass gemessen werden, und *inkommensurabel* solche (*ἄσύμμετρα δέ*), für die es kein gemeinsames Mass gibt.»

Zweifellos wurden diese Begriffe — *kommensurabel* und *inkommensurabel* — von der griechischen Mathematik selbst geprägt. Ohne die wissenschaftliche und deduktive Mathematik der Griechen wüsste man ja gar nichts von der Inkommensurabilität. Wie Aristoteles einmal treffend bemerkt:⁵⁷

«. . . den Ausgangspunkt bildet bei allen die Verwunderung, dass die Sache sich wirklich so verhalten sollte . . . So verwundert man sich . . . über die Inkommensurabilität der Diagonale und Seite des Quadrats. Denn zunächst erscheint es jedermann verwunderlich, dass es etwas geben sollte, was auch mit dem kleinsten gemeinsamen Mass nicht gemessen werden kann. Zuletzt aber kommt es ganz anders . . ., wenn man nur erst über den Gegenstand unterrichtet ist. Denn ein geometrisch gebildeter Kopf würde sich über nichts mehr verwundern, als wenn die Diagonale auf einmal kommensurabel sein sollte.»

Ich glaube, man wird aus diesem Zitat zwei Tatsachen hervorheben dürfen:

1. Aristoteles ist sich dessen voll bewusst, dass die Inkommensurabilität — wobei er nur an die *lineare Inkommensurabilität* zu denken scheint (daher sein Beispiel: die Quadratdiagonale und -Seite) — keineswegs ein Begriff der naiven, unmittelbar von der Anschauung ausgehenden Denkweise sein kann. «Zunächst erscheint es jedermann verwunderlich, dass es etwas geben sollte, was auch mit dem kleinsten gemeinsamen Mass nicht gemessen werden kann . . .». Ich glaube, mit dieser Verwunderung setzt sich eigentlich schon die *wissenschaftliche Denkweise* ein. Denn auf einer naiven, vorwissenschaftlichen Stufe hat man wohl noch überhaupt gar keine Ahnung, selbst von der *Möglichkeit* der linearen Inkommensurabilität zweier Strecken nicht. Für die naive, bloss mit der Praxis operierende Denkweise gibt es auch gar keine linear inkommensurablen Strecken. Bloss *praktisch* könnte man ja schliesslich auch für die Quadratdiagonale und -Seite ein «gemeinsames Mass» finden. Man sollte sich nur ein so kleines Mass wählen, bei dem die Inkommensurabilität der beiden Grössen mit praktischen Mitteln nicht mehr nachweisbar wird. Die Inkommensurabilität ist also ein Begriff mehr von *theoretischem* und nicht von praktischem Ursprung.

2. Die andere Tatsache, die in dem Aristoteles-Text betont wird: «ein geometrisch gebildeter Kopf würde sich über nichts mehr verwundern, als wenn

⁵⁷ Met. A. 2. 983 a 13 ff.

die Diagonale des Quadrats zu der Seite auf einmal kommensurabel sein sollte.» Zur Zeit des Aristoteles war also die Inkommensurabilität — mindestens für die Geometer — schon ein ganz geläufiger Begriff.

Hat jedoch Aristoteles mit der «*Verwunderung über die Inkommensurabilität der Diagonale und Seite des Quadrats*» recht, so wird man wohl auch vermuten dürfen: es ist gar nicht wahrscheinlich, dass man anfangs die neuentdeckte, verblüffende Tatsache — die Inkommensurabilität dieser beiden Strecken — hätte ohne weiteres, ruhig und gelassen zur Kenntnis nehmen können. Im Gegenteil! Man hat zunächst wohl Versuche angestellt, ob es nicht möglich wäre, die Längenverhältnisse dieser beiden Strecken dennoch genau anzugeben.

Es gibt in der Tat eine Stelle bei Platon, die unter anderen auch von diesen anfänglichen Versuchen zu zeugen scheint. Ich meine die berühmte Stelle über die «Hochzeitszahl» im Staat (VIII 546 C ff.). Es würde wohl allzu weit führen, wenn ich hier die vollständige Interpretation dieser mathematisch hochinteressanten Stelle versuchen wollte.⁵⁸ Es genüge hier, anstatt dessen, die Aufmerksamkeit nur auf jenen wichtigen Fachausdruck der Mathematik zu lenken, der an dieser Platon-Stelle zum ersten Male erscheint.

«Platon nennt die Zahl 7 die *rationale Diagonale*, zur Seite 5 gehörend» — liest man über diese Stelle in der Fachliteratur.⁵⁹ Diese Behauptung ist folgendermassen zu verstehen: wird die Seite eines beliebigen Quadrats in 5 Einheiten angegeben, so hat die Diagonale desselben den Approximationswert 7, wie man sich davon mit Anwendung des pythagoreischen Lehrsatzes leicht überzeugen kann. Denn es gilt ja für die Seite (a) und Diagonale (d) des Quadrates $d^2 = 2a^2$, und wenn $a = 5$, dann $d^2 = 50$, und darum $d = \sqrt{50} \approx 7$. Darum wird also bei Platon die Zahl 7 als die «*rationale Diagonale*, zur Seite 5 gehörend» bezeichnet. Nun interessiert uns jedoch diesmal, mehr als die eben geschilderte Tatsache, der Ausdruck selber: «*rationale Diagonale*».

In der Tat übersetzt man gewöhnlich jene beiden mathematischen Termini, die von Platon in diesem Zusammenhang gebraucht werden — $\acute{\alpha}\rho\eta\tau\acute{o}\nu$ und $\acute{\alpha}\rho\eta\tau\omicron\nu$ — mit «*rational*» und «*irrational*». Aber es wird sich lohnen, sogleich auch an den ursprünglichen, etymologischen Sinn dieser Worte zu erinnern; $\acute{\alpha}\rho\eta\tau\acute{o}\nu$ heisst: «*was gesagt werden kann*», und $\acute{\alpha}\rho\eta\tau\omicron\nu$: «*was nicht gesagt werden kann*». — Nun versuche man sich zunächst den Ursprung des letzteren Ausdruckes ($\acute{\alpha}\rho\eta\tau\omicron\nu$) zu erklären. Warum bezeichnete man wohl die Diagonale des Quadrats als $\acute{\alpha}\rho\eta\tau\omicron\nu$? — Der Ursprung dieser Bezeichnungsart kann doch nur der folgende gewesen sein: Offenbar wollte man die Diagonale eines beliebigen Quadrats — dessen Seite als eine Zahl angegeben wurde — ebenfalls als eine Zahl bestimmen, und als man dahinter kam, dass dies nicht möglich ist, dann

⁵⁸ Zu der Interpretation der Stelle vgl. man A. AHLVERS, Zahl und Klang bei Platon (Noctes Romanae, Forschungen über die Kultur der Antike, herausg. von Prof. Dr. W. WILH, Bern, Heft 6) Bern–Stuttgart 1952.

⁵⁹ B. L. v. d. WAERDEN, Erwachende Wissenschaft, 206 f.

bekam die betreffende Diagonale den Namen: ἄροητον = «was nicht gesagt werden kann».

Die Tatsache jedoch, dass Platon an unserer Stelle nicht nur den Ausdruck διάμετρος ἄροήτη = «die unsagbare Diagonale», sondern sogleich auch das Gegenteil dieses Begriffes, διάμετρος ῥήτη = «die sagbare Diagonale», namhaft macht, zeigt, dass man hier den Ausdruck ἄροητον wohl nicht im Sinne eines Verbotes auffassen darf. Zweifellos handelt es sich im Falle der mystisch-religiösen ἄροητα⁶⁰ um Dinge, die auch nicht gesagt werden sollen, aber die Quadratdiagonale heisst nicht aus einem solchen Grunde ἄροητον, sondern einfach nur deswegen, weil sie sich nicht als eine Zahl bestimmen lässt. Dagegen kann die Zahl 7 — als Approximationswert der zur Seite 5 gehörigen Quadratdiagonale — eben aus dem Grunde als διάμετρος ῥήτη = «sagbare (= rationale) Diagonale» bezeichnet werden, weil sie in der Tat doch als eine Zahl angegeben wird. — Diese kurze Betrachtung scheint also dafür zu sprechen, dass jene Überlieferung, wonach das Entdecken und mehr noch das öffentliche Behandeln der mathematischen Irrationalität als ein «Frevel» angesehen wurde, wohl nur eine späterfundene naive Legende ist. Es ist nicht wahrscheinlich, dass diese Entdeckung für die Mathematiker jemals als ein «Skandal» galt.

Übrigens heisst jener halbe Satz bei Platon, der in einem Atem die beiden Begriffe — «sagbare und unsagbare Diagonale» — ausspricht, folgendermassen:

Resp. VIII 546 C 4—5: ἑκατὸν μὲν ἀριθμῶν ἀπὸ διαμέτρων ῥητῶν πεμπάδος, δεομένων ἑνὸς ἑκάστου, ἀροήτων δὲ δυοῖν . . .

Anstatt der Übersetzung begnüge man sich in diesem Fall lieber mit der genauen Paraphrase des angeführten Textes. Wie bekannt, wird durch die zitierten griechischen Worte auf zwei verschiedene Weisen dieselbe Zahl — 4·800 — ausgedrückt, nämlich: «100 Quadrate der sagbaren Diagonalen der 5, jedes Quadrat um 1 vermindert», also: $100 \cdot (7^2 - 1) = 100 \cdot 48 = 4.800$; und andererseits: «100 Quadrate der unsagbaren Diagonalen der 5, jedes Quadrat um 2 vermindert», also: $100 \cdot (50 - 2) = 100 \cdot 48 = 4.800$.⁶¹ — Demnach kann also die Diagonale jenes Quadrats, dessen Seite 5 Einheiten ausmacht, sowohl als «unsagbare» wie auch als «sagbare» Diagonale bezeichnet werden. Die sagbare Diagonale macht in diesem Fall 7 Einheiten aus. Mit anderen Worten: der Ausdruck «sagbare Diagonale» ist eine griechische Umschreibung für unseren «Approximationswert». — Die «unsagbare Diagonale» macht in demselben Fall nach unserer Bezeichnungsart die Länge $\sqrt{50}$ aus. Aber die Griechen wollten — wie darauf oben in einem anderen Zusammenhang schon hingewiesen wurde —, anstatt sich unserer Bezeichnungsart mit Quadratwurzelzeichen zu bedienen, nicht die Länge der fraglichen inkommensurablen Strecke, sondern das auf sie errichtete Quadrat messen, und sie sagten, dass die betreffende Diagonale

⁶⁰ HER. 5, 83; XEN. Hell. 6, 3, 4; EURIP. Hel. 13, 23 etc.

⁶¹ Siehe oben Anm. 58. — A. AHLVERS, o. c. 12 Anm. 4: «In der mathematischen Fachsprache bedeutet ἀριθμὸς ἀπὸ . . . = Quadrat von . . .»

«ihrem Quadrat nach gemessen» (= «quadriert») 50 Einheiten — d. h. also 50 Quadrateinheiten — ausmacht.

Man weiss sowohl aus Proklos⁶² wie auch aus anderen antiken Quellen,⁶³ dass es die Pythagoreer waren, die die Methode dessen ausgearbeitet hatten, wie man die einzelnen Seiten- und Diagonalzahlen nacheinander gewinnen kann. Die bei Platon genannten 5 und 7 bilden ja das dritte Glied in der unendlichen Reihe von solchen Zahlen. Natürlich kann man dieses System der «Seiten- und Diagonalzahlen» auch als eine antike Methode zur Approximierung des Wertes von $\sqrt{2}$ auffassen. Rechnet man nämlich das Verhältnis der aufeinanderfolgenden Diagonal- und Seitenzahlen — $d : a$ — als Dezimalbrüche nacheinander um, so bekommt man eine interessante Reihe, in der die einzelnen Werte den Wert von $\sqrt{2}$ mit wachsender Genauigkeit von unten und oben her abwechselnd annähern.⁶⁴

Nun wird aber nicht nur die Erfindung der Seiten- und Diagonalzahlen den Pythagoreern zugeschrieben, sondern es wird heutzutage im allgemeinen — und wohl mit Recht — vermutet, dass auch der erste wissenschaftliche Beweis für die Inkommensurabilität der Quadratdiagonale und -Seite von den Pythagoreern stammt.⁶⁵ Wie bekannt, gründet sich dieser Beweis — in dem Satz *Eucl. Elem. X Appendix 27* — auf eine *reductio ad absurdum*: wären nämlich Seite und Diagonale des Quadrats kommensurabel, so müsste dieselbe Zahl gerade und auch ungerade sein.

Es ist jedoch bemerkenswert, dass man auch einen kleinen *Unterschied* in der Terminologie des vorhin angeführten Platon-Textes einerseits, und des eben erwähnten pythagoreischen Satzes bei Euklid andererseits, beobachten kann. Denn Platon redet von der «*unsagbaren Diagonale*» (*διάμετρος ἀρρήτη*), während es in dem Satz bei Euklid (X Appendix 27) heisst, dass die Diagonale der Seite «*linear inkommensurabel*» ist (*ἀσύμμετρος ἔστιν . . . μήκει*). Natürlich kommt in beiden Bezeichnungsformen — *διάμετρος ἀρρήτη* bzw. *ἀσύμμετρος μήκει* — dieselbe Tatsache zum Ausdruck, nämlich, wie wir sagen würden: die Irrationalität der $\sqrt{2}$ (wenn die Quadratseite als Längeneinheit gewählt wird). Aber die beiden griechischen Formen der Bezeichnungsart legen doch eine historische Vermutung nahe, auch wenn es im voraus zugegeben werden muss, dass sich diese Vermutung näher, mit anderweitigen Zeugnissen *nicht* belegen lässt.

Denn es liegt nahe, zu vermuten, dass von den beiden Bezeichnungsarten — «*unsagbare Diagonale*» und «*inkommensurable Grösse*» — die erstgenannte

⁶² Proclus Diadochus, In Platonis rem publ. comm (ed. W. KROLL, 1901) II. 23 (S. 24—25).

⁶³ Vgl. die Quellen bei B. L. v. d. WAERDEN, *Erwachende Wissenschaft* S. 206 ff.

⁶⁴ Vgl. E. STAMATES, *Euklidou Geometria*, Tom. II. Athen 1953 S. 9 ff.

⁶⁵ Vgl. O. BECKER, *Quellen und Studien zur Gesch. d. Math. etc.* B Bd. 3 1936 533—553 (wiederabgedruckt im Sammelband «Zur Geschichte der griechischen Mathematik», s. oben Anm. 4).

die *relativ ältere* sein mag. Zunächst hat man wohl versucht, die Diagonale eines Quadrats — dessen Seite als eine Zahl angegeben wurde — als eine andere Zahl zu bestimmen. Als man dahinterkam, dass dies nicht möglich ist, drückte man diese verblüffende Tatsache in der Form aus, dass man die betreffende Diagonale als eine «unsagbare Grösse» (*ἀσφητον*) bezeichnete. Natürlich war man auf diese Weise schon nahe daran, einen völlig neuen mathematischen Begriff zu schöpfen; aber dieser neue Begriff trat doch erst dann endgültig in Erscheinung, als man für ihn den Ausdruck «inkommensurabel» (*ἀσύμμετρον*) geprägt hatte.

Es fragt sich nur: wieso man überhaupt auf das Problem der Quadratdiagonale aufmerksam geworden sein mag? Ob man nicht auch jenen Weg der mathematischen Überlegungen einigermaßen rekonstruieren könnte, der dann zu der Entdeckung der Inkommensurabilität geführt hatte? — Wohl wird diese Frage die Historiker der Wissenschaft zunächst befremden. Denn einerseits bietet ja die Überlieferung gar keine solche Anhaltspunkte, die uns ermöglichen, die gestellte Frage mit Bestimmtheit zu beantworten. Und andererseits scheint das Problem der Quadratdiagonale selber doch so einfach zu sein, dass man auf den ersten Anblick geneigt wäre zu glauben: selbstverständlich musste man einmal beinahe von selbst auf diese Frage kommen. Hat es denn einen Sinn — ohne nähere Anhaltspunkte — nach weiteren historischen Zusammenhängen zu forschen, wo das, was erforscht werden soll, doch so unvermittelt und naheliegend ist? — Aber ich glaube dennoch, dass die folgenden Vermutungen — auch wenn sie gar nichts anderes als bloss Vermutungen sind — von historischem Gesichtspunkt aus einiges Interesse beanspruchen dürfen.

Ich vermute nämlich, dass man auf das Problem der Quadratdiagonale ursprünglich wohl anlässlich des Problems der *Quadratverdoppelung* aufmerksam wurde. Für diese Vermutung habe ich zunächst *zwei* Anhaltspunkte. Denn erstens ist es ja bekannt, dass *Verdoppelungsprobleme* die griechischen Mathematiker in der Tat ziemlich lange Zeit hindurch beschäftigt hatten. Es genüge hier darauf hinzuweisen, dass schon Hippokrates von Chios einen geistreichen Vorschlag dafür hatte, wie man das berühmte «delische Problem» — die Verdoppelung des Würfels — anpacken sollte.⁶⁶ Er selber hat zwar den eigenen Vorschlag nicht verwirklichen können, aber bald nach ihm fand Archytas von Tarent die erste Lösung des Problems in der Tat im Sinne des Vorschlages von Hippokrates. Aber auch nach Archytas beschäftigten sich noch mehrere Mathematiker mit dem Problem der Würfelverdoppelung und sie fanden auch, unabhängig von Archytas, andere Lösungen dafür. — Man dürfte also mit einiger Wahrscheinlichkeit doch vermuten, dass in einer früheren Zeit — also selbstverständlich in einer Zeit noch *vor* Hippokrates von Chios — die *Quadratverdoppelung* für die Mathematiker ein ebenso interessantes Problem gewesen

⁶⁶ Vgl. O. BECKER, Das mathematische Denken der Antike, Göttingen 1957 S. 75 ff.

sein mag, wie später, auf einer entwickelteren Stufe die Würfelverdoppelung zum Problem wurde. — Denkt man an diese Möglichkeit, so fällt einem sofort ein, dass wir in der Tat eine berühmte literarische Stelle besitzen, aus der man u. a. auch ersieht, wie gerade das Problem der Quadratverdoppelung in dem frühen Mathematikunterricht der Griechen behandelt wurde.⁶⁷ Und das ist der zweite Anhaltspunkt für meine vorige Vermutung.

Wie bekannt, fragt Sokrates an einer Stelle des Platonischen Dialoges «Menon» (82 B — 85 E) einen einfachen, unwissenden Sklaven: wie liesse sich der Flächeninhalt jenes Quadrats, dessen Seite zwei Fuss lang ist, in der Weise verdoppeln, dass dabei die Gestalt des Quadrats auch nach der Verdoppelung unverändert bleibt? Damit die Frage nicht missverstanden werde, zeichnet Sokrates sofort vor dem Gefragten jenes Quadrat hin, dessen Seite die Länge von zwei Fuss darstellen soll. (Das gezeichnete Quadrat besteht also aus vier kleineren Quadraten.) Wie liesse sich nun diese Fläche in Quadratform verdoppeln? Nachdem der Gefragte durch Sokrates ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht wurde, dass die Seite des ursprünglichen Quadrats *zwei Fuss* lang ist, verfällt er zunächst auf den Gedanken, dass jenes andere Quadrat, dessen Flächeninhalt das Doppelte des Gegebenen darstellt, wohl auch doppelt so lange Seiten — also eine Seitenlänge von *vier Fuss* — besitzen müsste. Sokrates zeichnet gleich auf diese Antwort hin das neue Quadrat mit der Seitenlänge von vier Fuss, indem er die eine Seite des ursprünglichen Quadrats auf ihr Doppeltes verlängert, und mit der neuen Seitenlänge ein Quadrat konstruiert. Man ersieht aber sofort aus seiner Zeichnung, dass der Flächeninhalt des ursprünglichen Quadrats auf diese Weise nicht verdoppelt, sondern vervierfacht wurde. Der Sklave muss einsehen, dass sein erster Versuch, die Frage des Sokrates zu beantworten, verfehlt war. Jene Quadratfläche, die man mit der verdoppelten Seitenlänge herstellt, ist nicht das Doppelte sondern das Vierfache der ursprünglichen.

Nun denkt jetzt der Gefragte folgendermassen weiter. Jenes Quadrat, dessen Flächeninhalt das Doppelte des ursprünglichen darstellt, wird offenbar eine längere Seite haben, als dasjenige, dessen Fläche verdoppelt werden muss. Die gesuchte Seitenlänge wird also auf alle Fälle *mehr als zwei Fuss* betragen — so viel beträgt nämlich die Seite des gegebenen Quadrats. Vier Fuss lang kann jedoch die gesuchte Seite nicht sein, denn mit einer vier Fuss langen Seite wird das ursprüngliche Quadrat schon vervierfacht. Die gesuchte Seite wird also *weniger als vier Fuss* lang. — Mehr als zwei und weniger als vier ist *drei*. Vielleicht stellt also das Quadrat *mit drei Fuss langer Seite* den doppelten Flächeninhalt des ursprünglichen dar. — Sokrates antwortet auf diesen neuen Versuch wieder mit einer Zeichnung; er verlängert die Seite des ursprünglichen

⁶⁷ O. BECKER (Grundlagen der Mathematik in geschichtlicher Entwicklung, Freiburg — München, 1954, S. 109) bezeichnete die folgende «Menon»-Stelle mit Recht als «ein lebendiges Bild des geometrischen Elementarunterrichts der Zeit».

Quadrats auf drei Einheiten, und konstruiert mit dieser neuen Seitenlänge ein grösseres Quadrat. Man ersieht aber aus der Zeichnung wieder, dass die Verdoppelung des Flächeninhalts auch diesmal nicht geglückt ist. Denn das grössere Quadrat besteht diesmal aus *neun* kleineren Quadraten, während es nur aus *acht* bestehen sollte, da ja das ursprüngliche Quadrat aus *vier* kleineren Quadraten zusammengesetzt war. Auf Grund der Zeichnung muss also der Sklave wieder einsehen, dass seine Antwort auch diesmal falsch war.

Die Frage wird dann schliesslich dadurch gelöst, dass Sokrates eine neue Figur zeichnet und daran zeigt, dass das ursprüngliche Quadrat dadurch vervierfacht werden kann, dass man seine Seitenlängen verdoppelt — wie es auch der Gefragte in seinem ersten Versuch wollte. Dabei kann man jedoch die so erhaltenen Quadrate durch ihre *Diagonalen* in je zwei gleiche Dreiecke teilen. Nun bilden aber auch die Diagonalen ein Quadrat (s. die Abb.), dessen Fläche



jedoch aus *vier* gleichen Dreiecken besteht, während das ursprüngliche Quadrat nur aus *zwei* solchen Dreiecken bestand. Auf diese Weise kann also der Flächeninhalt des ursprünglichen Quadrats — vermittels der *Diagonale* — verdoppelt werden, und doch bleibt die Quadratform auch nach der Verdoppelung der Fläche unverändert.

Besonders lehrreich ist für uns die eben zusammengefasste Platon-Stelle nicht nur deswegen, weil man daraus ersieht, dass der naive, ungelernete Mensch das Problem der Quadratverdoppelung zunächst in der Tat auf dem Wege zu lösen versucht, dass er die Seite des gesuchten Quadrats als eine *Zahl* angeben will, sondern auch noch wegen einiger sehr aufschlussreicher Worte des Sokrates. Denn Sokrates sagt ja nach dem zweiten misslungenen Versuch des Sklaven: «Wohlan, versuche uns genau zu sagen — nämlich: wie gross die gesuchte Seite wird —, und wenn du es nicht willst in einer Zahl ausdrücken, so zeige es uns doch!» (83 E: *πειρῶ ἡμῖν εἰπεῖν ἀκριβῶς, καὶ εἰ μὴ βούλει ἀριθμεῖν, ἀλλὰ δεῖξον*). Natürlich wird durch diese Worte der kundige Leser im stillen darauf hingewiesen, dass die gesuchte Seite des Quadrats mit verdoppeltem Flächeninhalt — also die *Diagonale* des ursprünglichen Quadrats — sich *nicht* als eine Zahl angeben lässt, weil sie ein *ἄρρητον* ist. — Zweifellos führt also das Problem der Quadratverdoppelung — die Suche nach jener Zahl, die die Seite des Quadrats mit verdoppeltem Flächeninhalt angeben würde — zu dem Problem der Quadratdiagonale, und auf diese Weise zu dem Problem der linearen Inkommensurabilität. Ja, man möchte beinahe versuchen, eine unmittelbare Verbindung

zu vermuten, die von dem mathematischen Problem der Platon-Stelle im «Menon» zu dem pythagoreischen Beweis für die Inkommensurabilität der Quadratdiagonale und -Seite führt. Denn einerseits wird ja in dem Dialog «Menon» angedeutet, dass die Quadratdiagonale sich *nicht als eine Zahl* bestimmen lässt — wenn die Seite des Quadrats als eine Zahl angegeben war —, und andererseits ist der pythagoreische Beweis für die Inkommensurabilität der Quadratdiagonale und -Seite ein *zahlentheoretischer Beweis*: wären Seite und Diagonale des Quadrats kommensurabel, dann müsste dieselbe Zahl gerade und auch ungerade sein, was unmöglich ist.

Ich glaube also, dass die eben genannten beiden Anhaltspunkte — einerseits der Hinweis auf das Problem der Würfelverdoppelung, und andererseits derjenige auf die «Menon»-Stelle — meine Vermutung, dass nämlich den Ausgangspunkt zu der Entdeckung der linearen Inkommensurabilität das *Problem der Quadratverdoppelung* gebildet haben soll, einigermaßen doch erhärten. — Nun lässt aber dieselbe Vermutung auch noch andere, wie mir scheint, interessante historische Zusammenhänge erkennen. Man muss dazu nur einsehen, dass das Problem der Quadratverdoppelung seinerseits für die antike mathematische Denkweise mit einem anderen, ursprünglich gar nicht geometrischen Problem identisch war. Darum überlege man sich zunächst folgendes:

O. Becker bemerkte in seiner historischen Behandlung des Problems der Würfelverdoppelung:⁶⁸ «Diese Aufgabe war für die antike Mathematik in dieser Form zunächst unangreifbar.» Darum verwandelte Hippokrates von Chios die Aufgabe der Würfelverdoppelung in eine andere, nämlich in die Aufgabe: *zwei mittlere Proportionale x , y zwischen a (die Kante des Würfels) und $2a$ zu finden*. Dieser Vorschlag des Hippokrates führt in der Tat zu der Lösung des Problems. Denn, wenn $a : x = x : y = y : 2a$, dann auch $ay = x^2$ und $xy = 2a^2$. Und daraus folgt ja, dass $a : x = x^2 : 2a^2$, bzw. $x^3 = 2a^3$.

Aber wie kam Hippokrates auf den glücklichen Gedanken, dass sich das Problem der Würfelverdoppelung auf das Problem der «zwei mittleren Proportionalen» reduzieren lässt, wobei er doch nicht imstande war, den eigenen Vorschlag zu verwirklichen? — Ich glaube, der Vorschlag des Hippokrates war eigentlich gar nichts anderes, als sozusagen nur ein *Analogieschluss*. Er wollte das ungelöste stereometrische Problem seiner Zeit nach dem Vorbild eines damals schon längst gelösten verwandten planimetrischen Problems behandeln. Denn er ging ja wohl von dem Gedanken aus: «Quadrat» und «Würfel» sind irgendwie verwandte Gebilde, und wird einmal das Quadrat dadurch verdoppelt, dass man zwischen seine Seite (a) und das Doppelte dieser Seite ($2a$) eine mittlere Proportionale einfügt ($a : x = x : 2a$), dann wird man den Würfel auf dem Wege verdoppeln können, dass man zwischen seiner Kante und dem doppelten der Kante *zwei* mittlere Proportionalen findet. — Es ergibt sich auf

⁶⁸ Vgl. oben Anm. 66.

diese Weise aus dem Analogieschluss des Hippokrates für uns die Vermutung, dass für die antike mathematische Denkweise das Problem der Quadratverdoppelung ursprünglich wohl mit dem *Problem der mittleren Proportionale* zwischen einer Zahl und ihrem Doppelten gleichbedeutend war.

Die Beobachtung, dass für die antike mathematische Denkweise die Frage der Quadratverdoppelung ursprünglich mit der anderen Frage gleichbedeutend gewesen sein mag: wie man zwischen zwei Zahlen die *mittlere Proportionale* finden kann, eröffnet sogleich auch eine Perspektive in die Vergangenheit, sozusagen in die *Vorgeschichte* des Problems der linearen Inkommensurabilität. Denn man weiss in der Tat, dass das Problem der «mittleren Proportionale» auch schon auf einer *vorgeometrischen* Stufe, in der Musiktheorie der Pythagoreer eine wichtige Rolle gespielt hatte. Der Satz 3 in der *Sectio canonis* besagt ja:

*«Zwischen zwei Zahlen in einem überteiligen Verhältnis können niemals mittlere proportionale Zahlen, weder eine noch mehrere, gefunden werden.»*⁶⁹

Wir müssen uns in dem folgenden mit diesem Satz etwas ausführlicher beschäftigen, da er — meiner Ansicht nach — die Vorgeschichte des Problems der linearen Inkommensurabilität in ein interessantes Licht zu stellen vermag.

Man muss vor allem wissen, um den vorigen Satz zu verstehen, dass die Griechen unter einem «überteiligen Verhältnis» (*ἐπιμόριον διάστημα*) dasselbe verstanden, was wir in der Form $(n + 1) : n$ zum Ausdruck bringen. Ein «überteiliges Verhältnis» ist also in der Musiktheorie z. B. die Quarte (4 : 3), oder die Quinte (3 : 2). Aber selbstverständlich gilt der vorige Satz nicht nur für die Quarte und Quinte, sondern auch für die Oktave (2 : 1). Denn wohl bezeichneten zwar die Alten die Oktave nicht als ein «überteiliges» sondern als ein «vielfaches Verhältnis» (*πολλαπλάσιον*). Aber die Verhältniszahlen der Oktave (2 : 1) bilden doch jenen Spezialfall, der nicht nur als «vielfaches» sondern mit demselben Recht auch als «überteiliges Verhältnis» gelten kann. — Interessant ist in der *Sectio canonis* auch der Beweis des vorhin zitierten Satzes, der nämlich daraus besteht, dass gezeigt wird: *jedes überteilige Verhältnis kann auf die Form $(n + 1) : n$ gebracht werden.* Die kleinsten Termen eines «überteiligen Verhältnisses» sind also *aufeinanderfolgende Zahlen.* Darum gibt es zwischen

⁶⁹ Es sei hier nebenbei bemerkt: der eben zitierte Satz der *Sectio canonis* wird in den Werken über die antike Mathematik und Musikwissenschaft häufig als ein *Satz des ARCHYTAS* bezeichnet. Der Grund für diese Bezeichnung liegt teils in der Tatsache, dass BOETHIUS den Satz einmal zitiert (*De musica* III 11) und mit jenem Beweis, den ARCHYTAS für ihn geliefert hatte, nicht zufrieden ist; teils lässt sich die Bezeichnung «Satz des ARCHYTAS» auch damit noch begründen, dass man nachzuweisen vermochte: er spielte eine wichtige Rolle in der Musiktheorie des ARCHYTAS. Aber damit ist über das *wirkliche Alter* des Satzes *Sectio canonis* 3 noch sehr wenig gesagt. Denn BOETHIUS bezeugt ja gar nichts über das wirkliche Alter dieses Satzes. Woher sollte man wissen, dass auch der Satz selber, nicht nur sein von BOETHIUS erwähnter und von ARCHYTAS stammender Beweis, in der Tat von ARCHYTAS stammen soll? Es geht aus den Worten des BOETHIUS nicht einmal soviel eindeutig, hervor, dass es in der Tat ARCHYTAS war, der diesen Satz *als erster* bewiesen hatte. Und wollte man eine relative Chronologie für den fraglichen Satz suchen, so fände man die einzigen Anhaltspunkte dafür doch nur in dem Satz selber.

diesen gar keine mittlere proportionale Zahl, da es zwischen zwei aufeinanderfolgenden Zahlen keine mittlere Zahl gibt. (Im Sinne der griechischen Arithmetik gelten natürlich nur die *ganzen Zahlen* als «Zahlen».) Und nachdem es nun zwischen den kleinsten Termen eines überteiligen Verhältnisses keine mittlere proportionalen Zahlen gibt, kann es solche auch zwischen denjenigen Zahlen nicht geben, die dasselbe gegebene Verhältnis zueinander haben, wie die geprüften kleinsten Termen (vgl. Eucl. Elem. VIII 8).

Aber noch interessanter wird der vorhin zitierte Satz aus der Sectio canonicis, wenn man bedenkt, dass die «überteiligen Verhältnisse» der Musikwissenschaft — die Quarte (4 : 3), Quinte (3 : 2) und Oktave (2 : 1) — in der Theorie der Pythagoreer eigentlich *Saitenabschnitte*, also *Strecken* waren, wie ich es in einer früheren Arbeit schon gezeigt hatte.⁷⁰ Die musikalischen Intervalle der Konsonanzen waren ja *lineare Grössen* des Monochords, die an dem «Kanon» auch als *Zahlen* angegeben wurden. Wird z. B. die Oktave als 2 : 1 bezeichnet, so heisst dies soviel, dass das ganze Monochord als eine *Strecke von 2 Längeneinheiten* angesehen wird; diese Strecke von 2 Längeneinheiten ergibt den ersten Ton der Oktave, während die Hälfte des Monochords — *die Strecke von 1 Längeneinheit* — den zweiten Ton erzeugt. «Zahlen» und «Strecken» (= Saitenabschnitte) waren in dieser Musiktheorie ursprünglich gleichbedeutend, und man scheint auch noch der Ansicht gewesen zu sein, dass man *jede* Strecke als eine Zahl (eine Mehrheit von irgendwelchen Längeneinheiten) auffassen dürfte.

Besagt also der Satz Sectio canonicis 3, dass es «zwischen zwei Zahlen in einem überteiligen Verhältnis keine mittleren proportionalen Zahlen gibt», so ist diese Behauptung auf die Oktave bezogen in dem Sinne zu verstehen, dass zwischen den beiden Saitenabschnitten (Streckensegmenten) der Oktave (2 und 1) keine mittlere proportionale Zahlstrecke existiert, auch dann nicht, wenn man mit irgendwelchen Mehrfachen desselben Verhältnisses (2 : 1) die Probe anstellt.

Natürlich war das Problem der «mittleren Proportionale in einem überteiligen Verhältnis» innerhalb der Musiktheorie zunächst ein arithmetisches und nur *quasi-geometrisches* Problem, nachdem man doch die mittlere proportionale *Strecke* (= Saitenabschnitt) zwischen zwei anderen *Strecken* (= Saitenabschnitten) suchte. Aber ich glaube, man wird doch zugeben müssen, dass mit der *Quadratverdoppelung* (wohl später!) eigentlich dennoch dasselbe ursprünglich musikalische Problem der «mittleren Proportionale zwischen zwei Strecken» — allerdings schon in rein *geometrischer* Form — gelöst wurde. Selbstverständlich wird dabei das musiktheoretische Problem der «mittleren Proportionale in einem überteiligen Verhältnis» durch eine mächtige Kluft von der geometrischen Lösung der Quadratverdoppelung getrennt. Inzwischen musste nämlich — wie ich vermute — jene Proportionenlehre, deren rein musiktheoretische Herkunft

⁷⁰ Á. SZABÓ, Die frühgriechische Proportionenlehre im Spiegel ihrer Terminologie, Archive for History of Exact Sciences, vol. 2, 1965, 197—270.

zuletzt in meiner oben genannten Arbeit nachgewiesen wurde,⁷¹ auf die Geometrie angewendet werden.

Im Sinne meiner Vermutung liessen sich also in der Entdeckungsgeschichte der linearen Inkommensurabilität einstweilen die folgenden Etappen unterscheiden:

1. In der Musiktheorie versuchte man zunächst, die wichtigsten Konsonanzen — und darunter besonders die Oktave (2 : 1) — in zwei untereinander *gleiche* Teilintervalle zu zerlegen. Dadurch tauchte das Problem der «*mittleren proportionalen Zahlstrecke*» — und insbesondere dasjenige der mittleren Proportionale zwischen einer Strecke und ihrem Doppelten (die Oktave 2 : 1) — auf. Dieses Problem führte zu der grundlegenden Feststellung: »Es gibt zwischen zwei Zahlen in überteiligem Verhältnis *keine mittlere proportionale Zahl.*»

2. Nachdem man gelernt hatte, die ursprünglich rein musiktheoretische Proportionslehre auf die Geometrie anzuwenden, wurde das Problem der *Quadratverdoppelung* gelöst. Damit löste man jedoch (auf geometrischem Wege !) auch das Problem der *mittleren Proportionale* zwischen einer Strecke und ihrem Doppelten.

3. Als man auf diese Weise auf das Problem der *Diagonale* des Quadrats aufmerksam wurde, versuchte man wohl wieder, diese Strecke ebenso als eine *Zahl* zu bestimmen, wie auch die Seite des Quadrats als eine Zahl angegeben war. Nach vergeblichen Versuchen — im Laufe deren auch das pythagoreische System der Seiten- und Diagonalzahlen ausgearbeitet wurde — musste man einsehen, dass die betreffende Strecke, die Diagonale, im Vergleich zu der Seite des Quadrats *keine Zahl*, sondern eine «unsagbare Grösse», ein *ἄσχητον* ist. — Bald danach prägte man für den neuen mathematischen Begriff den Ausdruck *ἀσύμμετρον*, «inkommensurabel», und man *bewies* auch die Inkommensurabilität der Quadratdiagonale und -Seite mit einer *reductio ad absurdum*.

*

Meine vorige Vermutung, dass nämlich den Ausgangspunkt zu der Frage der Inkommensurabilität das Problem der «mittleren Proportionale» gebildet hatte, lässt sich auch noch von einer anderen Seite her erhärten, und auch dadurch fällt wieder mehr Licht auf die Frühgeschichte der Theorie.

Es wurde oben im Zusammenhang mit der Analyse der mathematischen Stelle im Dialog «Theaitetos» schon darauf hingewiesen, eine wie wichtige Rolle in der ganzen griechischen Theorie der Inkommensurabilitäten dem mathematischen Begriff *dynamis* zufällt. Theodoros illustrierte vor seinen Schülern die lineare Inkommensurabilität der Seiten jener *dynameis*, die den *Rechteckzahlen* entsprechen. Dieselben linear inkommensurablen Strecken werden in der mathe-

⁷¹ Siehe die vorige Anm.

matischen Terminologie als *dynamei symmetroi*, d. h. als «kommensurabel nach jenem Quadrat, das man auf sie errichtet», bezeichnet.

Nun liess sich über den mathematischen Begriff *dynamis* schon eingangs mit rein sprachgeschichtlichen und philologischen Mitteln feststellen, dass der ursprüngliche Wortsinn dieses Ausdruckes in der Mathematik *dynamis* = «Quadratwert eines Rechtecks» gewesen sein muss. Auch darauf wurde später hingewiesen, dass die *dynamis* (= «Quadratwert eines Rechtecks») ursprünglich mit «*tetragonismos*» (= «Verwandeln eines Rechtecks in flächengleiches Quadrat») gewonnen wurde. Dieses Verwandeln eines Rechtecks in flächengleiches Quadrat konnte man jedoch erst dann lösen, als man schon gelernt hatte, wie die *mittlere Proportionale* zu zwei beliebigen Strecken zu konstruieren ist. Es scheint also, dass sowohl das Problem der *Quadratverdoppelung* (und damit das Problem der *Quadratdiagonale*), wie auch dasjenige des *Verwandeln eines beliebigen Rechtecks in flächengleiches Quadrat* (und damit die Schöpfung des mathematischen Begriffes *dynamis* = «Quadratwert eines Rechtecks») von dem Problem der *mittleren Proportionale* untrennbar sind. Darum glaube ich, dass eben das Problem der mittleren Proportionale jener wichtige Ausgangspunkt war, der zu der Entdeckung der linearen Inkommensurabilität (und zu derjenigen der quadratischen Kommensurabilität) geführt hatte.

Nun scheint jedoch der Hinweis darauf, dass der Begriff *dynamis* sein Entstehen dem Problem der mittleren Proportionale verdankt (ebenso wie auch das Problem der Quadratdiagonale ein spezielles Problem der mittleren Proportionale ist!), auch noch dafür zu sprechen, dass die Entdeckung der linearen Inkommensurabilität an dem Beispiel der Quadratdiagonale und -Seite vielleicht von Anfang an *gar kein isolierter Einzelfall war*. Es wäre möglich, dass man mit dem geometrischen Lösen des Problems der mittleren Proportionale sogleich erkannt hätte: nicht nur die Seite des verdoppelten Quadrats (die Diagonale des Einheitsquadrats), sondern auch die Seiten aller Quadrate, die Rechteckzahlen entsprechen, sind linear inkommensurable Grössen.

Dabei ist es wohl auch nicht gleichgültig, dass die vorhin analysierte Platon-Stelle («Theait.» 147 C — 148 B) den Ausdruck *dynameis* in einem sozusagen «altertümlichen» Sinne gebraucht. Denn die *dynameis* des Theodoros sind ja nicht einfach «Quadrate», oder «Quadratwerte von beliebigen Rechtecken» (wie etwa das Wort *dynamis* bei Archimedes gebraucht wird), sondern die *dynameis* des Theodoros sind lauter *ganze Zahlen* von 3 bis 17. Es wurden also — wie ich es schon hervorzuheben versuchte — *Zahlenrechtecke* in flächengleiche Quadrate verwandelt. Demnach hat man also den Begriff *dynamis* noch zu einer solchen Zeit geprägt, in der man die mittlere Proportionale zwischen zwei *Zahlstrecken* suchte, um dadurch über die bloss arithmetische Behauptung des Satzes *Sectio canonis 3* hinauszukommen. Und eben dadurch, dass man das geometrische Mittel zweier Strecken zu konstruieren gelernt hatte, kam man auch über jene

naive Vorstellung hinaus, dass *jede* Strecke auch als eine Zahl aufgefasst werden könnte.

Nun hoffe ich, mit der hier vorgelegten Untersuchung nicht nur die Theaitetos-Legende aufgelöst, sondern auch einige Gedanken zu einer neuen Rekonstruktion der Entwicklungsgeschichte der pythagoreischen Irrationalitätentheorie beigetragen zu haben.

E. MARÓTI

CURRUS ACHAICUS

IN MEMORIAM AMICI I. K. HORVÁTH

Zu Beginn des dritten Stückes in der zweiten Sammlung seiner lyrischen Gedichte (c. IV. 3, 2—9) stellt Horaz den Sieger der griechischen Wettkämpfe und den siegreichen römischen Feldherren nebeneinander. Der Gedanke, die Verkörperer der klassischen griechischen und der traditionellen römischen Ideale, die Verwahrer des größten Mannesruhmes in eine Parallele zu stellen bzw. sie einander entgegenzuhalten,¹ war auch vor ihm in der römischen Literatur nicht unbekannt. Die Gegenüberstellung des olympischen Sieges und des Konsulats der alten Zeiten finden wir an einer Stelle bereits bei Cicero vor²; an einer anderen Stelle macht er wiederum davon Erwähnung, daß dieser Sieg bei den Griechen höhergeschätzt wird, als in Rom der Triumphzug.³

Bei Horaz steht sofort im Empfehlungsgedicht der ersten Sammlung der *carmina* das Streben zur Erreichung der olympischen Palme und der kurulischen Würden nebeneinander (c. I. 1, 3—8). Im gegebenen Zusammenhang ist für uns die Frage, in welchem Maße er die Vorbilder der hier aufgeführten verschiedenen Lebensformen und -ideale aus seinen griechischen literarischen Lektüren bzw. aus dem Kreise der Typen der zeitgenössischen römischen Gesellschaft geschöpft hat, gleichgültig.⁴ Hingegen ist — unserer Meinung nach — der Umstand, daß in dem späten Gedicht nur mehr die klassischen Ideale beider Völker — und römischerseits gerade der Ruhm des Feldherren, der *triumphus* — vorkommen, selbst aus den Änderungen der inneren Lage Roms und aus der Lebensgestaltung des Dichters durchaus verständlich.

¹ Vgl. D. NORBERG: *L'olympionique, le poète et leur renom éternel*. Uppsala Univ. Arskrift 1945: 6, 16. W. WIL: *Horaz*. Basel 1948, 258. K. BÜCHNER: *Horaz. Studien zur röm. Literatur III*. Wiesbaden 1962, 95.

² Cic. *Tusc.* II. 41 *Sed quid hos, quibus Olympiorum victoria consulatus ille antiquus videtur?* Vgl. *Acta Ant. Hung.* 13, 1965, S. 105, Anm. 60.

³ P. Flacc. 51 . . . *Atyanas pugil Olympionices? hoc est apud Graecos . . . prope maius et gloriosius quam Roma triumphasse.*

⁴ Die lebensvollen Gestalten des *serm.* I. 1. und die auch in Rom heimischen Typen des c. I. 1. weisen jedenfalls darauf hin, daß eher nur die Form als der Inhalt für einen literarischen Typ angesehen werden kann, vgl. NOHL, *Woch. f. Kl. Phil.* 52, 1915, 46—47. G. PASQUALI: *Orazio lirico*.² Firenze 1964, 747—48. *I. Trencsényi-Waldapfel: Acta Ant. Hung.* 12, 1964, 152—53.

Vor den Lesern Ciceros ist es kein Geheimnis, was für den einstigen *homo novus*, für den die alten Zeiten immer mehr idealisierenden *consularis* der Begriff: «*consulatus ille antiquus*» bedeutet hat. Es kann nicht bestritten werden, daß im Mannesalter des Horaz, in der Periode der Befestigung des Prinzipats das Konsulat bereits weit von diesem Begriff gestanden hat. Es stimmt zwar, daß dieses in formaler Hinsicht auch weiterhin das höchste ständige Magistrat war und wenn er auch so manches von seiner faktischen politischen Bedeutung eingeüßt hatte, blieb das Erreichen dieser Würde dennoch die höchste Ambition der römischen Aristokratie.⁵ Gerade aber vom Jahre 23 — vom Erscheinungsjahr des c. I—III — an wurde es Sitte, daß von den Überlieferungen abweichend jährlich zwei Konsulpaare gewählt wurden. Dies spricht zwar auch für den bereits erwähnten gesellschaftlichen Anspruch, für die Ambition (vgl. Cassius Dio 53, 23, 3), hat jedoch zugleich auch die Zeitbeschränkung der höchsten Würde der Republik bedeutet und stark zur weiteren Verminderung ihrer Wichtigkeit beigetragen. Es ist bekannt, zu welcher unbedeutender Formalität die Rolle der Wahl, der Volksversammlung mit der Zeit bei der Erreichung der einzelnen Würden zusammengeschrumpft ist, ferner auch die Tatsache, wie weit all dies der Konzeption des Augustus entsprochen hat, bzw. wie weit es die Folge der Politik des Prinzeps war. In diesem Zusammenhang sind vielleicht die geringschätzigen Äußerungen des Dichters «*libertino patre natus*» sowie die ironischen Ausdrücke über das Gereißte im öffentlichen Leben, über die Popularitätshascherei und die Launenhaftigkeit der Volksstimmung weniger überraschend.⁶ Es wird zugleich auch verständlich, daß er für eine derartige bedeutsame Leistung, die er daher mit Recht neben dem im klassischen griechischen Wettkampf errungenen Sieg zu stellen vermag, den Sieg eines Feldherren und dessen Anerkennung: den Triumphzug betrachtet hat. Und dies um so mehr, weil Horaz sich auch diesmal im Zusammenhang mit dem Bewußtsein seiner dichterischen Berufung äußert. Darin liegt auch die Erklärung dafür, weshalb er die alltäglichen, Lebensziele und Vergnügungen verkörpernden, früher erwähnten Typen (den Grundbesitzer, den Bauern, den *mercator*, den Lebenskünstler, den Krieger und den *venator*) unbeachtet läßt. Bei der Verfassung des *carm. 1. 1.* rechnet der Dichter nur bei wenigen auf Beifall,⁷ sein Lebensziel kann nur eines von den vielen möglichen sein — in *IV. 3.* spricht bereits der «*Romanae fidicen lyrae*» (v. 23.) zu uns, den nach der offiziellen Anerkennung (*Carmen saeculare*) auch dem Anschein nach die Gesellschaft aufnimmt, anerkennt. Das mit der Entstehung des c. I. 1. zweifellos gleichaltrige *III. 30* ist noch eine selbstbewußte, fast brüske Aufforderung an Melpomene — *IV. 3* ist bereits eine vertrauliche Danksagung an die Muse für den Erfolg.

⁵ N. A. МАШКИН: Принципат Августа. Москва-Ленинград 1949, 438—39. P. SATTLER: Augustus und der Senat. Göttingen 1960, 23.

⁶ Vgl. z. B. *serm. I. 6,15—17.* c. I. 1,7. *III. 3,2.* *epist. I. 19, 37.* *II. 1,102.186.*

⁷ Vgl. *serm. I. 6,63—63.* c. I. 1,30—32. *III. 1,1.* *epist. I. 17, 35. 20,23.*

Aus diesem Aspekt geht hervor, daß all das, was er seinem Lebensideal gegenüberzustellen für würdig hält, nur das prachtvollste sein kann.⁸

Die Vorführung des griechischen und römischen Ideals⁹ gliedert sich in der Abfassung des Horaz gleichfalls in je zwei Teile. Im Falle des römischen Feldherren steht einesteils der über den Feind errungene Sieg selbst — als eine Begründung (*quod*) —, andererseits als dessen Preis, der *triumphus*, obwohl er das Wort nicht gebraucht. Die Abfassung der traditionellen, gemeingültigen Ideen wird in charakteristischer Weise von der herrschenden Auffassung seiner Zeit beeinflußt. Der römische Feldherr erringt nicht nur irgendeinen Sieg, sondern schlägt das bedrohliche Auftreten des überheblichen Feindes zurück: *regum tumidas contuderit minas*.¹⁰ In Übereinstimmung mit dem vergilischen Prinzip *debellare superbos* wird bei Horaz die feindliche Bedrohung so häufig hervorgehoben, daß wir dies keineswegs für einen Zufall halten können. So z. B. im allgemeinen *regum colla minacium* (c. II. 12, 12); im Zusammenhang mit historischen Gestalten: *minacis Porsenae* (epod. 16, 4), *Hannibalis minae* (c. IV. 8, 16). Und nicht nur im Zusammenhang mit dem äußeren Feind, sondern auch in bezug der Gegner im Bürgerkrieg, z. B. *minatus urbi vincla* (nämlich Sex. Pompeius, epod. 9, 9), ja selbst auch auf sich und auf die einstigen, im Heere des Brutus kämpfenden Kameraden projiziert: *minaces † turpe solum tetigere mento* (c. I. 7, 11—12). — Das Ausdrücken des militärischen Standhaltens kommt den bei Horaz so oft vorkommenden Erfordernissen des uralten *virtus* nach; der Hinweis auf den feindlichen Angriff entspricht gleichfalls der anderen leitenden Parole des Zeitalters, den von Augustus ausgehenden Friedensbestrebungen.

Nach diesem kurzen Abstecher, der vielleicht auch in sich selbst lehrreich war, kehren wir zu unserem Ausgangspunkt zurück: es kann demnach festgelegt werden, daß an römischer Seite einesteils der Kriegserfolg, andererseits dessen Honorierung, der auf das Kapitolium geführte Triumphzug steht.

Zur Hervorhebung des eigenartig griechischen bzw. römischen Charakters des Ideals als Wettkampfsieger und Feldherr stellt Horaz in bewußter

⁸ Vgl. C. BECKER: Das Spätwerk des Horaz. Göttingen 1963, 179.

⁹ Die erste, klassische Fassung des griechischen agonistischen Lebensideals können wir in der Odyssee lesen, VIII. 145—48:

„Δεῦρ' ἄγε καὶ σὺ, ξεῖνε πάτερ, πείνησαι ἀέθλων, / εἰ τινά που δεδάηκας· ἔοικε δέ σ' ἴδμεν ἀέθλους· / οὐ μὲν γὰρ μείζον κλέος ἀνέρος, ὄφρα κ' ἔησιν, / ἢ ὃ τι ποσσὶν τε ὀρέξη καὶ χερσὶν ἔησιν.“

Von da an begegnen uns lange Jahrhunderte hindurch auf Schritt und Tritt solche Erklärungen und Angaben, welche die gesellschaftliche Gültigkeit dieses Ideals in einem weiten Kreis bestätigen, unabhängig davon, welcher Meinung darüber die einzelnen Verfasser und Philosophen sind (diesbezüglich siehe B. BILINSKI: L'agonistica sportiva nelle Grecia antica. Roma 1961, 25—50), siehe z. B. Xenophanes, eleg. 2. (Bergk), Bacchylides und Pindaros passim, Aristot. probl. 30,10 (siehe noch 30,7), Isokr. IV. 1. XVI. 32—33. Lukian. Anach. 10. Dion Chrysosth. or. 31, 110. Philostrate. gymna. 21.

¹⁰ V. 10. Denselben Gedanken in schärferer Abfassung drücken auch die 6—8. und 14—15. Zeilen des carm. I. 37 aus. Spezifisch für das Motiv der östlichen Bedrohung in der Dichtung der Augustuszeit siehe FRÈRE LÉON-MARCIEN; LEC 24, 1956, 330 f. I. TRENCSENYI-WALDAPFEL: a. a. O. 166.

Weise die in paralleler Lage stehenden Wörter *Achaico* und *Capitolio* gegenüber.¹¹ Es ist aber eine andere Frage, wie vollkommen diese Gegenüberstellung, diese Parallele im Gedankengang von Horaz ist. Das heißt, ob es sich auf griechischer Seite (v. 3–6) von einem oder zwei Agonsiegern, einem Faustkämpfer und einem Wettkämpfer im Wagenrennen handelt (wie im Falle des c. IV. 2, 17–18), oder ob wir nur den ersten (*pugilem*) hierfür halten sollen — wie dies die, dem obigen ähnliche, jedoch nicht genügend beachtete Parallele *victorem — ducem* inspiriert. Und wie sollen wir in diesem Falle den *Passus curru ducet Achaico victorem* auslegen, wenn wir aus der grundsätzlich für berechtigt vermuteten Hypothese ausgehen, daß der Dichter die parallele Abfassung beabsichtigt hat? Stehen wir in diesem Falle nicht ebenfalls dem verhüllten Ausdruck und Umschreiben der ähnlich beehrenden Anerkennung (*ducet ~ ostendet*) der Verdienste des *Wettkampfsiegers* gegenüber?

Um diese Fragen klären zu können, müssen wir die 3–6. Zeilen des Gedichtes einer gründlichen Untersuchung unterziehen.

Es soll mit dem Ausdruck *labor Isthmius* begonnen werden. Die Kommentare halten im allgemeinen für das Wort *labor*¹² die bei Pindar den Wettkampf bezeichnenden Ausdrücke *πόρος, ζάματος* bzw. *μύθος* für die entsprechenden Äquivalenzen. In der Kenntnis der tiefen pindarischen Inspiration¹³ der späteren Lyrik Horaz' kann diese Identifikation angenommen werden. Als Hinweis für die allgemeine Verbreitung des Wortgebrauches können wir uns jedoch auch darauf berufen, daß diese Ausdrücke auf den Inschriften agonistischen Inhaltes häufig vorkommen.¹⁴

Es ist offenkundig, daß Horaz mit dem Attribut *Isthmius* den Kreis der «ἀγῶνες ἰερόβ» nicht einengen wollte, der Wortgebrauch von stilarischem Anspruch weist *im allgemeinen* auf die vier großen panhellenischen Spiele hin.¹⁵

Ähnlicherweise bedeutet das Wort *pugil* nicht nur den Faustkämpfer, sondern im allgemeinen den Wettkämpfer, den Teilnehmer bzw. im gegebenen Zusammenhang den Sieger (*victorem*) des Agons. Es bedarf jedenfalls einer Erklärung, weshalb Horaz gerade den Vertreter dieser Wettkampfform zur Bezeichnung des Wettkämpfers gewählt hat. Mit der Feststellung des Ps.

¹¹ Darauf verwiesen bereits mehrere, vgl. das Kommentar von KIESSLING—HEINZE (ed. 7, 1930 Bln.) ad I. E. FRAENKEL: *Horace*. Oxford 1957, 407–408. K. BÜCHNER: a. a. O. 95. Dieser Umstand ist umso wichtiger, da der bei den Wettkämpfen und im Krieg erworbene Ruhm, als welcher den größten Preis daventrägt, bereits bei Pindar nebeneinandersteht (Isthm. 1,50–52) und zwar einer ganzen Reihe von erwerbstätigen Beschäftigungen gegenübergestellt. Vergl. E. MORAVCSIK: A költői szó funkciója Pindarosnál (Die Funktion des dichterischen Wortes bei Pindar). *Acta Literaria* 2, 1964, 119 (in ungarischer Sprache).

¹² Vgl. Statius, *silv.* IV. 4,31 *Eleis laboribus*. *Anth. Palat.* IX. 588,6

¹³ Vgl. PASQUALI: a. a. O. 750f. T. SMERDEL: *Živa Ant.* 8, 1958, 21f. P. STEINMETZ: *Gymn.* 71, 1964, 1f.

¹⁴ Zur Frage siehe neuerlich L. MORETTI: *Riv. Fil.* 92, 1964, S. 323 und Anm. 1. mit der früheren Literatur.

¹⁵ Vgl. c. IV. 2,17–18. — Kann eventuell als ähnlich allgemeine Bezeichnung *Bacchyl.* ep. 8,39–40. Pindar. *Ol.* 7,10. betrachtet werden.

Aero können wir uns kaum abfinden, hierfür erhalten wir keine Erklärung: *pugiles vero athletae dicuntur eo quod pugnis valeant.*

Der Gedankengang des Gedichtes bietet von sich selbst die Feststellung, daß sich der auf den Dichter bezogene Gegensatz auf diese Weise besonders plastisch hervorhebt.¹⁶ Vielleicht können wir der Lösung von der Seite der archaisierenden Züge, die sich in der Abfassung des klassischen griechischen Ideals manifestieren, näher kommen. Bekannterweise steht in den homerischen Epen bei der Aufzählung der Wettkämpfe und der Wettkämpfer stets das Faustfechten, der Faustkämpfer an erster Stelle.¹⁷ Die Erklärung für diese Erscheinung beschäftigte bereits die antiken Verfasser, so widmete z. B. Plutarch dieser Frage eigene Auseinandersetzungen.¹⁸ — Auffallend ist übrigens die Orientiertheit Horaz' in diesen Fragen. So war z. B. der in der epist. I. 1, 30—31 erwähnte Philippus Glaucos eine leibhafte Persönlichkeit, ein berühmter Athlet seiner Zeit, der auf den olympischen und pythischen Spielen in Pankration, an den Isthmia wiederum gerade im Faustkampf den Sieg errungen hat.¹⁹

Bezüglich der Frage ob auf der zu Rede stehenden Stelle es sich um ein Wagenrennen oder um etwas anderes handelt, gibt uns selbst der Ausdruck *curru Achaico* keine unmittelbare Antwort. Der *currus Achaicus* bezeichnet nämlich keinen speziellen Wagentyp. — Daß wir das Attribut *Achaicus* allgemein in der Bedeutung «griechisch» auffassen müssen, dessen war bereits Ps. Aero bewußt.²⁰ Als Erklärung scheint jedoch weder das zu entsprechen, daß Korinth einst Mitglied des Achaischen Bundes war, noch daß zur Zeit Horaz' die griechische Provinz Achaia hieß. Auch in diesem Falle müssen wir eher an die archaisierende Tendenz in diesem Teil des Gedichtes denken. Übrigens kommt bei Horaz die Bezeichnung *Achaia*, *Achivi* auf das Griechentum der Heldenzeit bezogen vor (c. I. 15, 35 epist. I. 2, 14), wie dies auch im Kreise der Zeitgenossen allgemein war.²¹ Ähnlich ist die Lage auch in der Relation der griechischen Agonistik: *luctamur Achivis doctius unctis* (epist. II. 1, 33). Interessant ist auch die Zeile des Zeitgenossen Grattius im Zusammenhang mit den Rennpferden: «. . . *merita quas signet Achaia palma*»²²; zugleich schreibt

¹⁶ Hierzu müssen wir nicht unbedingt an die allgemein als keine Athletenstatur bekannte Gestalt des Dichters denken; es genügt im allgemeinen auch hier, den von Horaz auch an dieser Stelle ziemlich stark betonten Gegensatz zwischen dem dichterischen und dem agonistischen Ideal im Auge zu behalten.

¹⁷ II. XXIII. 621—23. 634—37. (Vgl. 653. 660—61.) Od. VIII. 103. 206. (Vgl. 246).

¹⁸ Quaest. conv. II. 5 (639). *Διὰ τί τῶν ἀθλημάτων Ὀμηρος πρῶτον αἰεὶ τάρτει τὴν πυγμῆν . . .*;

¹⁹ Siehe L. MORETTI: Iserizioni agonistiche greche (im weiteren: Mor.). Roma 1953, nr. 58 und p. 150. — Er trug übrigens auch bei den weiter unten erörterten Spielen zu Actium den Sieg davon.

²⁰ Wenn seine Begründung auch nicht überzeugend ist: *Achaico = Graeco; unde aurigae famosi.*

²¹ Siehe Thes. I. L. I. 383/C. D.

²² Cyneg. 531. Zum Thema vgl. 503. *quis Eleas potior lustravit harenas?* Zum Ausdruck Stat. silv. V. 3. 141. *Achaia praemia.*

er aber in einem verurteilenden Zusammenhang *Graecia*.²³ Noch interessanter ist bei Ausonius in seinem Epigramm: «De lustralibus agonibus» die einleitende Zeile (VIII. 20 = 386): *Quattuor antiquos celebravit Achaia ludos*. Diese ist nämlich die Übersetzung des einen Stückes der Anthologia Palatina (IX. 357) und im griechischen Originaltext steht ἀγωνες ἀν' Ἑλλάδα. Es ist zu vermuten, daß die Erklärung des archaisierenden Wortgebrauches, wenigstens bei Horaz, darin liegt, daß die Ilias die gegen Troja in den Krieg gezogenen Griechen meist mit dem Wort Ἀχαιοί bezeichnet hat.

Die gestellte Frage kann demnach auf Grund des Ausdruckes *currus Achaicus* nicht entschieden werden. So sehr auch im allgemeinen die traditionelle Auffassung angenommen wird²⁴, im Abschnitt *equos impiger | curru ducet Achaico | victorem* ein Wagenrennen zu sehen, können wir aus mehreren anderen Gründen dieser Deutung auch dann nicht beipflichten, wenn wir das mit dem Gedankengang und den parallelen Ausdrücken im Zusammenhang oben Gesagte außer acht lassen. So kann der Ausdruck *'victorem ducere'* vor allem nur soviel bedeuten, wie *'den Sieger führen, als Sieger führen'* — die Bedeutung *'zum Siege führen'* ist jedenfalls erzwungen und grammatisch unhaltbar. Geschweige dann, daß der Besitzer der Quadriga nur bei seltenster Gelegenheit seine Pferde selbst getrieben hat — und in diesem Fall sein Gespann daher nicht ihn, sondern seinen Wagenlenker zum Sieg geführt hätte. In einem wirklichen Wagenrennen wäre ferner der Gebrauch des Attributs *Isthmius* dem Anzeichen nach keine glückliche Wahl gewesen, da das Wagenrennen unter den vier panhellenischen Spielen eben an den Isthmia das unbedeutendste war.²⁵ Die Wörter *pugilem* und *victorem* lassen sich schon deshalb nicht voneinander trennen, weil den Wettkämpfer nur jener Umstand und allein dann berühmt macht (*clarabit*), wenn er den Sieg davonträgt. Die im Falle der als Parallele so oft erwähnten «pindarischen Ode» führt c. IV. 2, 17. 19. die *palma caelestis* (und nicht *equos*) die Sieger — und zwar, sowohl den Faustkämpfer als auch den Wagenlenker (*pugilemve equumve*)²⁶ — nach Hause (*domum*) und nicht zum Siege. Und dennoch führt uns diese auf die festliche Heimkehr der siegreichen Wettkämpfer verweisende Stelle der Lösung näher. Insofern es sich nämlich bestätigt hat, daß es sich in dem bestrittenen Zusammenhang um ein

²³ 324., Siehe noch 527. *cantatus Graeis* — vgl. mit der Vorstellung der Horazischen *Graecia capta*.

²⁴ Porphyrio: *curru ducet Achaico: Id est quadrigali certamine*. Ps. Acro spricht in eigenartiger Weise eigentlich von einem Pferde- und keinem Wagenrennen: *non equos i.: Id est, qui neque equestri certamine enitescit*. — Zur Frage siehe neuestens C. BECKER: a. a. O. S. 178, S. 180. Anm. 10.

²⁵ Vgl. A. MARTIN: Hippodromos. (Daremborg-Saglio) Dict. Ant. III. 203.

²⁶ Im Zusammenhang mit Pindar ist es natürlich berechtigt, neben dem die gymnastischen Wettkämpfer vertretenden Faustkämpfer auch den Wettkämpfer im Wagenrennen zu erwähnen, da ja die geehrten Persönlichkeiten — Mäzenen — seiner Epinikien zum größten Teil tatsächlich bei den hippischen Agonen den Sieg errungen haben. — Vgl. im Zusammenhang mit dem Thema des Epinikions Hor. a. p. 84. *et pugilem victorem et equum certamina primum*.

Wagenrennen handelt, um so mehr sind wir dazu berechtigt an dieser Stelle auf den dem Sieger gebührenden Triumphzug in seine Geburtsstadt zu denken (*labor Isthmius . . . pugilem . . . curru ducet Achaico victorem*).

Zur Unterstützung unserer Hypothese können wir das erste positive Argument aus der einschlägigen ausführlichen Information von Vitruvius, einem Zeitgenossen Horaz' schöpfen. Bei Vitruvius können wir in der Einleitung des 9. Buches seines Werkes De Architectura folgende Mitteilung lesen: *Nobilibus athleticis, qui Olympia, Pythia, Isthmia, Nemea vicissent, Graecorum maiores ita magnos honores constituissent, uti non modo in conventu stantes cum palma et corona ferant laudes, sed etiam cum revertantur in suas civitates cum victoria, triumphantes quadrigis in moenia et in patria invehantur reque publica perpetua vita constitutis vectigalibus fruuntur.* — Aus dem Bericht erhalten wir zugleich auch Antwort auf die Gegenmeinung, daß im Gegensatz zur Stelle c. IV. 2, 17. in IV. 3, 5 nicht *reducit*, sondern *ducet* steht: die Siegespalme (*palma caelestis*) durfte nämlich den heimkehrenden Sieger auch auf weiten Weg, sogar auf einen langen Seeweg begleiten — der eigentliche siegreiche Einzug begann jedoch nur unmittelbar in der Heimat des Siegers, offenbar auf dem von der Geburtsstadt geschenkten Prunkwagen.

Wir wissen auch davon, daß anlässlich des Einzuges des Siegers in einzelnen Fällen, als Symbol dessen, daß die Stadt, die solche Söhne hat, keine Mauern benötigt, auch ein Teil der Statmauer vor ihm abgerissen wurde: *καὶ τὸ τοῖς νικηφόροις εἰσελαύνουσι τῶν τευχῶν ἐφίεσθαι μέρος διελεῖν καὶ καταβαλεῖ...*²⁷

Und gerade von dem festlichen, auf dem Triumphwagen erfolgten Einzug der Sieger (*εἰσελαύνειν*) erhielten jene wichtigsten panhellenischen Spiele, die hierzu berechtigt waren, das Attribut *εἰσελαστικοί*, lateinisch *iselastici*.²⁸

Laut Zeugnis unserer inschriftlichen Denkmäler erweiterte sich später die Reihe dieser Spiele in der Zeit der Antoninen z. B. in Kleinasien in bedeutendem Maße.²⁹ Aus dem Briefwechsel zwischen Kaiser Traian und Plinius erfahren wir, daß es im Zusammenhang mit der Deutung einzelner, neuerer Verordnungen zu einer Meinungsdivergenz gekommen ist, so z. B. auch in der Frage, ob den Siegern die festgelegten Spenden schon unmittelbar nach dem Wettkampf

²⁷ Plut. Quaest. conv. II. 5,2 (639 E), vgl. Suet. Nero 25,1. *disiecta parte muri*. Siehe noch weiter unten S. 399 und Anm. 37.

²⁸ Vgl. REISCH: Agones, PW—RE I. 849. JÜTHNER: *Εἰσελαστικός ἀγών* (*certamen iselasticum*), ebd. V. 2141. R. SARGENT-ROBINSON: Sources For The History Of Greek Athletics. 1955 Cincinnati, 173. «Iselastics» (i. e. games assuring a triumphal homecoming). Vgl. dazu Plinius, ep. X. 118,1. . . . *quando certamine vicerint, ex quo (sc. die) invehā possint.* — Für die allgemeine Verbreitung des Begriffes ist charakteristisch, daß das Wort auch in übertragenem Sinn z. B. zum Ausdrücken der Himmelfahrt angewandt wurde, vgl. Or. Sibyll. II. 39—40. *καὶ τότε μὲν μέγας αὐτὶς ἀγὼν ἐσελαστικός ἐσται ἕως πόλον οὐράνιον.*

²⁹ Siehe z. B. CIG 2932 3426 CIL X 515. Vgl. Plinius, ep. X. 75,2.

oder erst nach ihrem eigentlichen Einzug gebühren sollen.³⁰ Aus der Erörterung des Plinius (X. 118,2—3) und aus der Antwort des Kaisers (119.) geht gleicherweise hervor, daß es diesen Typ der Wettkämpfe bereits früher gegeben hat. Und tatsächlich, der Text einer aus der Zeit Traians stammenden pergamenischen Inschrift (CIL III. 7086.) bezeugt, daß bereits zur Zeit des Augustus solche Spiele zu Ehren der Stadt Rom und des Kaisers veranstaltet worden sind:

- 18 placuere ut certamen] quod in honorem templi Iovis amicalis et
Imp. Caes. divi Nervae f. Ne]rvae Traiani Augusti Germanici Dacici
pontificis max. est const]itutum *εισελαστικόν* in civitate
Pergamo, eiusdem con]dicionis sit, cuius est quod in honorem Romae
et divi Augusti ibi fit, it]a. . .
- 26 Cum secundum meam c]onstitutionem certamen in civitate
Pergamo ab Iulio Quadrato a]mico clarissimo viro quinquennale
, *εισελαστικόν* c]onstitutum sit idq. amplissimus ordo
eiusdem iuris esse decreverit,] cuius est quod in eadem civitate
- 30 in honorem Romae et divi A]ug. institutum est, huius quoque iselas-
tici idem quod in altero] certamine custoditur dari oportebit
victoribus praemium.]

Den Zeichen nach läßt sich sogar die Verbreitung dieser iselastischen Spiele gerade auf die Anregung von Augustus zurückführen. Er ließ nämlich zum Andenken des bei Actium errungenen Sieges zu Ehren Apollos in der neuerbauten Stadt Nikopolis mit der Bezeichnung *Ἀκτια*³¹ Wettspiele von olympischem Range (*ισολύμπιος*)³² veranstalten.³³ Genauer gesagt, wurden die örtlichen, früher «dreijährlich» — also in jedem 2. Jahr — veranstalteten Spiele³⁴ von da an «fünfjährlich» — d. h. in jedem 4. Jahr — abgehalten (vgl. Dio 51, 1, 9), das ein Privileg der olympischen (und pythischen) Spiele war.

³⁰ Plinius, ep. 118, 1. *Athletae, domine, ea, quae pro iselastice certaminibus constituti, debere sibi putant statim ex eo die, quo sunt coronati . . .* ebd. 119. *Iselasticum tunc primum mihi videtur incipere debere, cum quis in civitatem suam ipse εισήλασεν.*

³¹ Auch *Ἀκτια ἐν Νεικοπόλει* kommen auf der Siegesliste eines aus Ägypten stammenden Pankrators, namens M. Aurelius Aselepiades vor: CIG III 5113,24 = IG XIV 1102 = Mor. 79 (Rom). Ähnlicherweise CIG I 1068, 30—31 = IG VII 149 = Mor. 88 CIG III 4472,10 = Mor. 85 IG III 128,17 Mor. 75,5—6 87,7 90,17. Siehe noch CIG I 172011 CIG III 5804,18. 27 = IG XIV 747 = Mor. 68 CIG III 5806,7 = IG XIV 746 = Mor. 67 IG XIV 739,10 = Mor. 77 Iscr. Olymp. (siehe Anm. 45) 56,5 Mor. 58,3 62,b 5 69,4 70,4 71,a 9 b 6 82,18—19 84,10.

³² Zum Begriff vgl. REISCH. a. O. 860. H. ΡΟΜΤΩV: Klio 14, 1914, 728, Anm. 3. R. M. GEER: TAPA 66, 1935, 209. 218.

³³ Strabon VII. 7,6 (p. 352) *ἀγών Ὀλύμπιος*. Der den Siegern gebührende Ausdruck *Ἀκτιονείκης*, ferner das den Zeitraum zwischen zwei Kampfspielen bezeichnende Wort *Ἀκτίας* und der Beiname der nach dessen Muster auch anderwärts verbreiteten Spiele *ισάκτιος* sprechen gleichfalls von dem Ansehen der neuen Veranstaltungen. Ähnliche Spiele wurden z. B. auch in der zum Andenken des bei Alexandrien errungenen Sieges gegründeten ägyptischen Stadt Nikopolis veranstaltet, siehe neuestens H. VOLK-MANN: Zur Gallus-Inschrift auf dem Vatikanischen Obelisken. Gymn. 72, 1965. 329.

³⁴ Steph. Byz. s. v. *Ἀκτιον*. *Ἀπόλλωνος γυμνικός ἀγών καὶ ἵππικός καὶ πλοίων ἄμιλλα διὰ τριετηρίδος ἦν.*

Zugleich bekleidete er die neuorganisierten Spiele mit dem Charakter *ιερός* und *εισελαστικός*.³⁵ Ein Bericht, der diese letztere Tatsache expressis verbis besagt, ist uns aber nicht bekannt. Hingegen erwähnt eine Inschrift zu Beginn des 3. Jahrhunderts unter den *iselasticus* genannten Spielen (Mor. 84, 4), auf welchen der verewigte Faustkämpfer und Pankrator den Sieg errungen hat, auch die *Ἀκτια* (10. Zeile); ferner kann auf Grund einer Bemerkung von Cassius Dio angenommen werden, daß die Spiele vom Charakter *ιεροί* (*sacri*) zugleich auch *εισελαστικοί* (*iselastici*) waren. Der Geschichtsschreiber besagt nämlich im Zusammenhang mit der Gründung der *Ἀκτια* folgendes: *ἀγωνὰ τε τινα . . . πεντητηρικὸν ἱερὸν (οὕτω γὰρ τοὺς τὴν σίτησιν ἔχοντας ὀνομάζουσι) κατέδειξεν . . .* (51, 1, 9). Fassen wir nun jetzt die dem Sieger gebührenden, bei Vitruvius aufgezählten Preise, Ehrungen als eine zusammenhängende Einheit auf— wozu auch die Mitteilung von Plinius uns berechtigt: so müssen wir das bei Dio vorkommende Wort *σίτησις* als einen mit der Bezeichnung *ἀγῶνες ἱεροί* verbundenen Ausdruck betrachten, bei dem auch der tatsächlich abgehaltene Einzug als Bedingung der Versorgung mitinbegriffen ist. Diese Folgerung scheint um so mehr berechtigt zu sein, da in der primären Quellenüberlieferung das Attribut *εισελαστικός* auch als Qualifizierung der zugleich *ιερός* genannten Spiele steht.³⁶ Wir möchten schließlich noch als konkretes historisches Beispiel den — übrigens unverdienten — Siegesinzug Neros, sowohl nach Rom wie auch in andere Städte Italiens erwähnen. Diese Einzüge hielt er unter dem Titel seines auf willkürlich veranstalteten olympischen und anderen Spielen (Suet. Nero 23. Philostr. Tyran. Apoll. V. 7, 87) als Wagenlenker erfolgten ruhmlosen Auftretens (Suet. 24. Dio 63, 14, 1), ferner seiner Produktion als Sänger, tragischer Aktor und Ausrufer (Euseb. Chron. Hieron. p. 184 ed. Helm): *Reversus e Graecia Neapolim . . . albis equis introiit, disiecta parte muri, ut mos hieronycarum est . . .*,³⁷ wie wir gesehen haben, erwähnte Plutarch denselben Brauch im Zusammenhang mit den *iselasticus* genannten Einzügen. Auch frühere Angaben sprechen dafür, daß zumindest der olympische Sieg eine Berechtigung für den triumphalen Einzug gegeben hat. So können wir z. B. von dem Athener Dioxippos, dem siegreichen Pankrator der 111. olympischen Spiele (336 v. u. Z.) folgendes lesen: *Διώξιππος Ὀλυμπιονίκης ἀθλητῆς ὁ Ἀθηναῖος εἰσήλανεν εἰς τὰς Ἀθήνας κατὰ τὸν νόμον τῶν ἀθλητῶν . . .* (Aelian. v. h. XII. 58). Auf Grund der Erzählung von Plutarch (de curios. 12 B, 521) ist es zweifellos,

³⁵ J. FRANZ: CIG III. p. 730—31.

³⁶ Siehe CIG 2932, 4—5.7—8. 3426 Mor. 69,2—3 71,a 10 73,3 84,4 CIL X 515 (*sacri certaminis iselastici*) Corp. Papyr. Hieropol. I. (ed. WESSELY) nr. 54,8—9. 12—13 (= MITTEIS—WILCKEN: Grundzüge und Chrestomathie d. Papyruskunde² I. 2. Hildesheim 1963, nr. 157. Vgl. R. SARGENT-ROBINSON: a. a. O. 209), nr. 55 56 73 (im wesentlichen mit dem vorherigen übereinstimmende Texte), nr. 70,11 72,6. MITTEIS—WILCKEN: ebd. nr. 156,86—87. 91. S. noch IGR IV 1251 bzw. L. ROBERT: RPh 56, 1930, 38—9, 45. Im gegebenen Zusammenhang kommt öfters auch das Attribut *ισολύμπιος* vor.

³⁷ Suet. Nero 25. Auf Grund der einzelnen Momente der weiteren Beschreibung halten wir es für möglich, daß einige folgende Stellen des Bacchylides: epin. 11,10. 17—21. 13,69—76. 3,9—18 gleichfalls mit dem siegreichen Einzug zusammenhängen.

daß der Einzug auf einem Gespann erfolgt ist: *Διογένης Θεασάμενος εἰσελαύνοντα τὸν ὀλυμπιονίκην Λιόξιππον ἐφ' ἄρματος, καὶ γυναικὸς εὐμόρφου θεωμένης τὴν πομπὴν* . . . Exainetos von Akragas, der Sieger des Stadionlaufes auf den 91. und 92. Olympischen Spielen (416 und 412) zog ebenfalls auf einem Viergespann in seiner Geburtsstadt ein und wurde seitens seiner Mitbürger von 300 Bigen begleitet (Diod. Sic. XIII. 82, 7).

Die *Ἄκτια* wurden übrigens in Nikopolis bis zum Beginn des 4. Jahrhunderts abgehalten, sodann versuchte Kaiser Iulian sie in späterer Zeit nochmals zu erneuern. Nach ihrer Gründung wurden überall im Reich nach dem Vorbild dieser Spiele — vor allem in den hellenisierten östlichen Gebieten — zu Ehren des Augustus «Actischer» Spiele³⁸ bzw. ähnliche unter dem Namen *Σεβαστά* veranstaltet.

In Italien war Neapel der Hauptschauplatz dieser Wettkämpfe. Im Jahr 2 u. Z.³⁹ wurden die früher zweijährlich zu Ehren der Aphrodite abgehaltenen traditionellen Spiele ebenfalls zu vierjährigen umgestaltet,⁴⁰ und nachher zu Ehren, dann später zum Andenken des Augustus, als des Abkömmlings der Göttin Venus,⁴¹ veranstaltet. Die amtliche Bezeichnung der Spiele ist von da an: *Ἰταλικὰ Ῥωμαῖα Σεβαστά Ἰσολύμπια*.⁴² Der volle Name kommt jedoch aus verständlich praktischen Gründen meist in abgekürzter Form vor, wie z. B. *Σεβαστά ἐν Νεαπόλ(ε)ι; Νέαν πόλιν; ἐν Νέα πόλει*.⁴³ Die Spiele bestanden ursprünglich aus gymnastischen Agone und Wagenrennen. Nach dem Tode des Augustus wurden dann auch noch musikalische und dramatische Wettspiele abgehalten. Die *quinquennalia* in Neapel waren in Italien und in der westlichen Hälfte des Reiches bis zur Begründung der kapitolinischen Spiele des Domitian (86 u. Z.) am volkstümlichsten.⁴⁴ Kurz vor seinem Tode beehrte Augustus diese mit seiner persönlichen Anwesenheit, im späteren hatten auch Claudius und Titus bei den Spielen den Vorsitz. Die Spiele kann man auf Grund des auf sie bezüglichen epigraphischen Materials bis zur zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts verfolgen. Eine bei den Ausgrabungen in Olympia zum Vorschein

³⁸ Über die Verbreitung der *Ἄκτια* siehe V. GARDTHAUSEN: Augustus und seine Zeit. I. 394. II. 206—207. Neuere Literatur über die Spiele selbst: J. GAGÉ: *Mélange d'archéol. et d'hist. de l'École franc. de Rome*. Paris 53, 1936, 92 f. B. M. TIDMAN: *CQ* 44, 1950, 123—25. MORETTI: a. a. O. 205—206.

³⁹ R. M. GEER: *The Greek Games at Naples*. a. a. O. 208. 216. G. BUCHER: *La Parola del Passato* 7, 1952, 406f. MORETTI: a. a. O. 175.

⁴⁰ Vgl. Strab. V. 4, 7 (p. 246) Suet. Aug. 98, 5. *CIL* XII 3232, 4. MITTEIS—WILCKEN: a. a. O. I. 2. nr. 156, 45.

⁴¹ G. KAIBEL: *IG* XIV p. 191.

⁴² Siehe z. B. *CIG* III 5805, 3—4 = *IG* XIV 748 *Iscr. Olymp.* 56, 2—3. 7—8. MITTEIS—WILCKEN: a. a. O. 156, 45—46. *IGR.* I 448. 449, 3—4.

⁴³ Siehe *CIG* I 247, 12—13 = *IG* III 128 *CIG* I 1068, 42 = *IG* VII 49 = *Mor.* 88. *CIG* III 5804, 19 = *IG* XIV 747 = *Mor.* 68. *CIG* III 5806, 7 = *IG* XIV 746 = *Mor.* 67. *CIG* III 5913, 23 = *IG* XIV 1102 *IG* III 129, 16 *XIV* 737, 6. *Iscr. Olymp.* 232, 5. *TAM* II 887, 2 (= *JHS* 34, 1914, nr. 15) *Mor.* 65, 6 69, 4 71, a 8 b 5. 72, 14 73, 13 75, 12—13. 84, 9 87, 6 90, 17. Siehe noch *CIL* X 1481, 4 *XII* 3232, 4

⁴⁴ Vgl. H. PHILIPP: *PW—RE* XVI 1212 s. v. Neapolis GEER: a. a. O. 208. 213—14.

gekommene umfangreiche, doch stark beschädigte Inschrift aus dem 1. Jahrhundert enthält ausführliche Verordnungen über die Umstände, den Ablauf und die Belohnung des Wettkampfes.⁴⁵ Den vom Gesichtspunkt unseres Themas aus gesehen wesentlichsten Beitrag liefert jedoch das an Ort und Stelle gefundene inschriftliche Material: laut dessen Bezeugung auch dieser Wettkampf einen iselactischen Charakter hatte.⁴⁶

Als Zusammenfassung unserer obigen Erörterungen müssen wir folgendes feststellen. Die behandelte Erscheinung, der Triumphzug des siegreichen Wettkämpfers in seiner Geburtsstadt war zu Horazens Zeit allgemein bekannt (Vitruvius); die Gründung der Wettkämpfe, welche sich dem mit Recht als historischen Wendepunkt zu bezeichnenden Siege von Actium anschließt, ließ auch das Thema zeitgemäß werden. — Das häufige Vorkommen der ähnlichen Fragen bei Horaz ist umso verständlicher, da sich die Wiederherstellung der Traditionen der griechischen Agonistik in die politischen Propagandabestrebungen des Augustus gut eingefügt und die *Pax Augusta* auf die Renaissance der festlichen Wettkämpfe jener Zeit auch übrigens fördernd gewirkt hat. Wir konnten auch im Falle der *Ἀκτῖα* und *Σεβαστά* beobachten, daß Augustus, wahrscheinlich im Interesse der Festigung seiner persönlichen Macht und der Einheit des Reiches, diesen neuorganisierten Spielen die in der Glanzzeit des Griechentums bei den traditionellen panhellenischen Spielen auch vorhandenen kultischen Grundlagen zu sichern versucht hat.⁴⁷

Auf Grund all dieser halten wir — nebst anderen Lehren — unsere Ansicht für begründet, daß wir das untersuchte horazische Bild (c. IV. 3, 4—6) nicht für ein Wagenrennen, sondern für den *ἑρπονίης* gebührenden Triumphzug auslegen müssen, und es auf diese Weise mit dem Triumphzug eines Feldherren in einer Parallele steht. — Aus dem Gedankengang des ganzen Gedichtes geht übrigens offenkundig hervor, daß der in den Hain der Muse sich zurückgezogene⁴⁸ Dichter beide in gleicher Weise von seinen eigenen Idealen für weit abstehend hält.⁴⁹

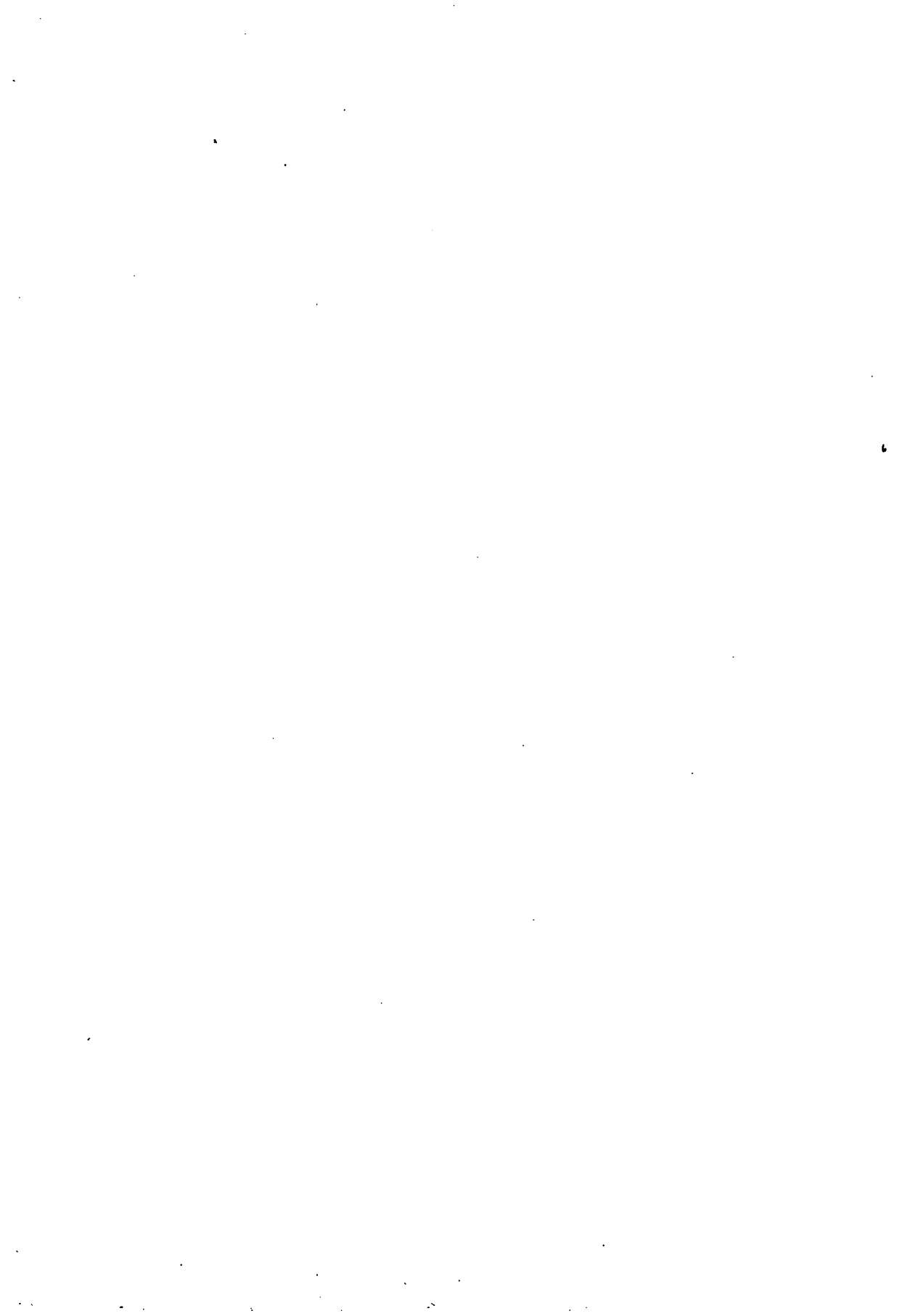
⁴⁵ Siehe W. DITTENBERGER—K. PURGOLD: Die Inschriften von Olympia (CURTIUS—ADLER: Olympia. Die Ergebnisse der . . . Ausgrabungen V. (Bln. 1896, nr. 56. Vgl. R. SARGENT-ROBINSON: a. a. O. 162—63.

⁴⁶ *ἱππικῶν δὲ ἐν[ε]ίμων εἰς[ε]λαστικῶν*] Siehe Notiz. Scav. 1890, p. 41, a 6 (F. COLONNA) Vgl. GEER: a. a. O. s. 210, Anm. 8.

⁴⁷ Vgl. I. TRENCSENYI-WALDAPFEL: A görög irodalom. A világirodalom története I. (Die griechische Literatur. Die Geschichte der Weltliteratur I.) Budapest 1944, 167—69. Neuerlich L. DREES: Der Ursprung der Olympischen Spiele. Beitr. zur Lehre u. Forsch. d. Leibeserziehung. Bd. 13. 1962.

⁴⁸ Vgl. c. I. 1, 29—32. Zur Frage siehe S. COMMAGER: The Odes of Horace. New Haven—London 1962, 350—51.

⁴⁹ Vgl. im Zusammenhang mit der Deutung des horazischen Wortes *deducere* (c. III. 30, 14) unseren vorherigen Hinweis bezüglich des vorliegend besprochenen Gedichtes, Acta Ant. Hung. 13, 1965, S. 100, Anm. 22.



Г. ПУЗИС

ВОПРОСЫ РИМСКОГО РОМАНА «САТИРИКОН»

Памяти моих учителей
Николая Федоровича Дератани и
Сергея Петровича Кондратьева.

В последнее время оживилось обсуждение проблем романа. Большое внимание уделялось ему на симпозиуме Сообщества писателей в 1964 году в Ленинграде и на других конференциях. В западной прессе раздаются голоса, что роман, как унаследованная литературная форма эпоса, изжил себя. Во Франции даже появились «опровергательские» течения вроде «школы антиромана», «школы взгляда» и др. Эти школы отрицают какую бы то ни было авторскую концепцию в повествовании и агитируют за натуралистическое отражение моментов жизни «самих по себе».

В противовес современному роману критического реализма, а, тем более, социалистического реализма, имеющим здоровые идейные социально-моральные, образовательно-воспитательные основы, усиленно ведется пропаганда «нового романа» (Роб-Грийе), самодовлеющей «языковой техники» игнорирующей содержание (Натали Саррот) и т. п.

Встречается и мнение, что в связи с прогрессом техники, и развитием «технических» искусств — кино, радио, телевидения, — чтение беллетристики отходит на задний план. Говорят, что место романа в чтении должна занять кинодраматургия, радиокомпозиции. Поэтому композиции и сценарные формы идут на место романа в эпическом повествовании — они должны заменить романы. Теперь вместо многочастевых эпосов должны господствовать двух-трех-четырёхсерийные сценарии, которые «идут за темпом жизни». Их чтение должно укладываться в один вечер. Ведь так нередко и создавались прежние романы.

В качестве примера приводятся названия романов и их авторов, живших в XVIII—XIX в. в., а иногда и современных, начиная с «Истории кавалера Де-Грие и Манон Леско» аббата Прево, «Пиковой дамы» Пушкина, малых романов Бальзака, «Мадам Бовари» Г. Флобера, «Отцы и дети» Тургенева, и до «Амок» Стефана Цвейга. В этот ряд относят также «Железный поток» Серафимовича, «Зависить» Ю. Олеши. «Собачий переулочек» Льва Гумилевского, «Хитрые глаза» Валерии Герасимовой, «Белеет парус» Валентина Катаева, «Двое в степи» Э. Казакевича, «Оттепель» Ильи Эренбурга и «Судьба человека» Михаила Шолохова. При этом говорят, что вот сумели же

эти современные авторы создать глубочайшие произведения киносценарного типа много меньшего размера, чем прежде, и так легко экранизируемые.

В этом свете вновь стали актуальны вопросы композиции и специфики новеллы, рассказа, повести и романа, как эпических жанров, а также их некоторые историко-теоретические аспекты. Возрос интерес к начальным формам эпоса, к эллинистическому любовному роману, к таким римским романам, как «Сатирикон» и «Золотой осел», к античной новелле, к пикареске и т. д. А это, в свою очередь, усилило внимание к литературоведческим проблемам, связанным с первыми романами, с развитием социального и авантюрного романа.

Известно, что первоисточком исторически изменявшихся форм такого повествовательного жанра, как социально-бытовой и сатирический роман, является римский роман — «Сатирикон», к сожалению, сохранившийся неполностью. Тем не менее, дошедшие фрагменты «Сатирикона» оказали огромное влияние на европейскую литературу.

Достоинства романа «Сатирикон» признавались Вольтером и Лессингом, Бальзаком и Флобером (последний искренно возмущался, например, обнаружив, что один из его собеседников «не читал «Сатирикона»»). В дореволюционной России этот роман привлекал внимание Пушкина, Майкова, Блока, Брюсова и других поэтов и писателей.

Немалый интерес роман «Сатирикон» представляет для материалистического литературоведения. Однако, все еще пока немногочисленны такие исследовательские работы об этом произведении. В русском и советском литературоведении нет даже хорошего обзора обильной зарубежной литературы о «Сатириконе», накопившейся с XVIII века, когда даже были сделаны попытки реставрировать роман «Сатирикон» (например, Нодо).

Между тем, обращение к источникам показывает, что среди исследований «Сатирикона» преобладают работы узкого характера. Это робкие экскурсы в отдельные исторические детали, частные филологические и лингвистические интерпретации, иногда попытки характеризовать жанр и композицию в границах распространеннейшей противоречивой и явно неправильной версии об эпохе Нерона, как о времени создания и жизни автора романа «Сатирикон».

Традиции научного материала весьма ограничили рамки истолкования романа. Это отразил и такой известный социально-критический этюд, как «Очерк общественных настроений эпохи цесаризма» Гастона Буасье (русск. перев. СПб, 1896 г.).

Все еще отсутствуют работы о творческой лаборатории автора романа «Сатирикон», что осложняется фрагментарностью дошедшего текста. Между тем даже фрагменты романа позволяют выявить не мало важного, если не навязывать исследователю каких либо распространенных суждений о романе, его авторе и его других подобных догматических рамок.

Немного найдется классических произведений в мировой литературе, которые по количеству заключенных в них загадок могли бы сравниться с романом «Сатирикон», приписываемым Петронию. Изучение романа «Сатирикон» началось с эпохи Ренессанса. Споры различных ученых и направлений, привели к сформированию ряда распространенных гипотез в качестве ответов на эти проблемы. Но это все же только гипотезы, а не ответы.

Благодаря некоторым из таких гипотез сузился простор для новых предположений, но не уменьшилось количество проблем, возникших в связи с романом. По прежнему нет еще достоверных сведений об условиях создания «Сатирикона», об его авторе, об его идейном замысле.

Круг историко-литературных и филологических изысканий приводил к отнесению романа на конец первого или начало второго века нашей эры. Но здесь большие трудности возникали из-за того, что проще всего было связать имя Петрония как автора произведения с рассказом историка Тацита в XVI книге его «Аннал» об арбитре изящества Неронова двора — вифинском проконсуле Кае Петронии.

Роман «Сатирикон» является интереснейшим явлением как с теоретической и литературно-критической сторон, так и со стороны эстетической. Сам факт появления произведения отличного по своей форме от предшествовавших ему жанров античной литературы примечателен. Эта черта примечательности не ограничивается тем, что здесь устанавливается отражение новых явлений в идейном развитии античного общества в эпоху его упадка. Роман «Сатирикон» звучит как финальный аккорд во всей классической античной литературе.

Одновременно в мыслительном плане он как бы является выходом в новую эру человечества из эпохи рабовладельческой замкнутости, когда в ней, в ее недрах, появлялись новые элементы, усиливавшие разложение античного мира, предвещая неизбежное крушение античного способа производства.

Для материалистического литературоведения и критики весьма заманчивы творческая лаборатория выдающегося писателя такой эпохи, его литературное окружение, его жизненные условия. Все это несомненно дало бы материал, чтобы с большей определенностью разобраться в таком произведении как «Сатирикон». Ведь хотя этот роман дошел до нас далеко неполностью, он брызжет интеллектуальными веяниями времени своего создания.

Великий Бальзак в предисловии к «Человеческой комедии», вспоминая «Сатирикон», отмечал: «Отрывок из Петрония о частной жизни римлян скорее возбуждает, нежели удовлетворяет наше любопытство».¹ Это любопытство увеличивается не только потому, что ряд больших произведений эпохи Воз-

¹ Литературные манифесты французских реалистов. Изд. Пис. в Ленинград, 1935 г., стр. 51.

рождения отмечен влиянием романа «Сатирикон». К этому ряду надо отнести и современные романы «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» И. Ильфа и Е. Петрова, «Четвертый позвонок» финна Марти Ларни, и др.

Без преувеличения можно говорить об отзвуках романа «Сатирикон» во всей сатирической, социально бытовой, авантюрной эпике. Недаром испанский ученый Менандец-Пелаго в своем исследовании, посвященном развитию новеллистики, писал, что роман «Сатирикон» повлиял исключительно на литературу: «Наши древние писатели и писатели гуманисты никого еще не цитировали столь охотно; правда по латыни... Книгам, подобным «Сатирикону», принадлежит первое место в *Necropolis scientifica*.»²

Все это свидетельствует, что роман «Сатирикон» вполне заслуживает стать предметом внимания исследователей материалистов, как одно из ярких произведений античного искусства, как едва ли не первый памятник социально-бытового, эпического, сатирического повествования античности.

Впервые на русском языке фрагменты романа «Сатирикон» были изданы в конце XVIII или в начале XIX века. В каталоге Смирдина за № 6696 значится: «Петрония Арбитра гражданская брань пер. с лат. Михаила Муравьева. Санкт-Петербург» (дата издания не указана). Экземпляр этого редчайшего издания имеется в хранилище библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде.

Следующее русское издание романа «Сатирикон» появилось уже в конце 19 века в серии «Европейские писатели и мыслители» в переводе В. В. Чуйко (СПБ, 1882). Однако учебное название перевода сказалось в многочисленных купюрах.

В 90-х годах интерес к Петронию среди русских филологов усилился и в «Филологическом обозрении» (№ 2 за 1900 г.) появляется перевод фрагмента «Пир Тримальхиона», выполненный И. И. Холодняком. В 1913 году вышла вольная обработка романа для широкой публики.

Первой русской научной работой была диссертация Н. Короваева, «Кто был автором романа „Сатирикон“» (см. ж. «Гимназия», Ревель (Таллин) № 5 за 1894 г.). В 1900 году в журнале «Русская мысль» (книга VII) был опубликован доклад В. П. Потемкина (при советской власти — дипломат, академик и министр просвещения РСФСР), сделанный в Историческом обществе Московского университета — «Кай Петроний и его роман». Затем Витольд Клиндер опубликовал эссе «Петроний и его роман» (Киев, 1908 г.). Такова была основная русская дореволюционная Петрониана.

Обзор состояния изучения романа «Сатирикон» имеется в предисловии В. И. Ярко к первому полному советскому переводу романа (Москва, 1924 г.).

В 1930 г. появился доклад ак. М. М. Покровского «Петроний и русский фольклор». В 1938 г. была защищена неопубликованная еще диссертация

² «Происхождение новеллы», Мадрид, 1925 г., I.I. XIV отрывки в пер. Д. Факторовича (рукопись, 1939 г.).

Н. А. Тимофеевой — «Сатирикон» Петрония и «Метаморфозы» Апулея в свете проблемы античного романа». В 1941 г. была защищена наша диссертация «Повествовательные, идейные и эстетические мотивы романа «Сатирикон». Если указать работу Н. М. Сантросян «Иронический язык Петрония» (О романе «Сатирикон», см. уч. зап. Ереванского пединститута, т. 8 за 1957 г.), то вот почти все отечественные работы о романе «Сатирикон», не считая указаний в учебниках, пособиях и др.

Недостаточное внимание в отечественном литературоведении привело к тому, что в оценках романа «Сатирикон» и Петрония, как его автора, господствует взгляд, принятый в большинстве зарубежных трудов XIX века. Он имел своим истоком примитивные характеристики образованных аристократов XVIII века и монахов, которым импонировал описанный Тацитом образ неронова проконсула Кайля Петрония — «судьи изящества», восставшего против узурпатора.

Превратившись в догматическую традицию, признание аутентичности автора «Сатирикон» с Петронием, описанным Тацитом, наложило печать и на большинство позднейших исследований. Только немногие ученые находили смелость отрешиться от предвзятого подхода, например, к историческим вопросам романа, хотя это и встречало пренебрежительную оценку. Так, например, М. Шанц, в своей фундаментальной «Истории римской литературы», упоминая труд Г. Крафферта, считавшего имя Петрония псевдонимом, а роман относящимся к эпохе Флавијева, охарактеризовал эту работу всего одним словом, как «несущественную».³

Наибольший интерес представляет собой тот факт, что такая предвзятая точка зрения оказалась и на исследовательском подходе, на методологии изучения романа. Логика требует при атрибуции взвесить все фактические данные, реалии и т. д. исходя из романа, делать выводы о его идейной направленности и значении независимо от того, кто бы быть его автором. Однако роман интерпретировался, как отражение уже готовых представлений об авторе, как о проконсуле Петронии, краткая характеристика которого имеется у Тацита в XVI книге «Анналов».

К тому же надо указать, что на роль обрывочности и испорченности отдельных слов и строк в сохранившемся такте романа. Неполнота и несовпадение сохранившихся фрагментов в различных рукописях открыли возможность обходить кое что из того, что противоречило установившимся представлениям об авторе как о проконсуле Петронии, т. е. фальсифицировать роман для подгонки датировки. Например, общепризнана по качеству редакция романа «Сатирикон», выполненная Франциском Бюхелером в 1862 г. и многократно переизданная. Но в ней, среди фрагментов 18 главы не ука-

³ M. Schanz. Geschichte d. römischen Literatur. B. II. 2. p. 130.

зана встречающаяся в рукописях строка с упоминанием парфюмера Косьмиана. Между тем Коллинзон писал, что это имя — парфюмер Косьмиана принадлежало известному во времена Домициана парфюмеру, несколько раз упомянутому также и в эпиграммах Марциала.⁴ Значит роман «Сатирикон» написан не ранее эпохи Домициана!!!

Очевидно, что признание тождества автора «Сатирикон» с Петронием царедворцем Нерона может освободить от исследования ряд сложных вопросов, но не снимает эти вопросы. Кроме того таким путем не облегчаются трудности раскрытия внутренних идейных тенденций романа. Наоборот, это приводит к появлению ряда новых противоречий, которые ученые обычно обходили или пытались разрешить, нарушая ими же самими принятые принципы суждения.

Наиболее ярким примером такого противоречивого подхода является обычный прием анализа историко-литературных совпадений романа. Среди литературных цитат и сходств в романе «Сатирикон» имеются упоминания, строки и переработки строк из разных произведений римских поэтов от Луцилия до Маркала, Ювенала и Стация.

Обычно исследователи поступают так:

исходя из того, что по указанию Тацита проконсул Кай Петроний умер в 65 г. все аналогии с произведениями, опубликованными до 65 г. относят на счет заимствований сделанных автором романа «Сатирикон».

Все же сходства строк романа со строками более поздних авторов относят на счет заимствований, сделанных из романа более поздними авторами.

Таким образом Стацию приписывается заимствование из «Сатирикона» стиха 661. III, а Мавциалу и Ювеналу даже ряда строк из «Сатирикона». Непоследовательность такого подхода бросается в глаза, а между тем она некритически принималась многими литературоведами.

Такое отношение несправедливо, например, к Марциалу. Не углубляясь в личную характеристику этого поэта надлежит признать за ним огромную литературную цепетильность. Как известно, великий эпиграмматист был весьма требователен к своим маленьким и изящным шедеврам. Иногда он неделями оттачивал эпigramму в десять строк, добиваясь ее филигранности и оригинальности.

Марциал нетерпимо относился ко всякого рода заимствованиям и использованиям чужих строк; об этом он неоднократно говорил в своих стихотворениях:

«То, что читаешь — мое, о, Фидентин, сочиненье
Плохо же если прочтешь станет твореньем твоим».⁵

⁴ Martialis, I. 88; III. 55; XII 55; XIV. 110.

⁵ Mart. I. 40.

Или:

«В книги мои, Фидентин, ты одну лишь страницу прибавил,
Но отпечатались в ней черты твои с яркостью полной,
И обличают они, что все остальное украл ты...
.....

Вот пред тобою страница твоя и кричит тебе: вор ты!»⁶

Не будем множить этих примеров, из которых напрашивается закономерный вывод, что при такой резкости суждений и литературной требовательности Марциал, не мог рисковать и ставить себя под удар критики, каким либо заимствованием.

Так же и Ювенал говорит в VII сатире: (стр. 53—54)

«Лишь выходящий из ряда поэт, особенной крови
Что не привык повторять приведенное...»

Это приводит к мысли, что *все текстуальные совпадения*, которые встречаются в «Сатириконе» *имели предшественников* к моменту написания соответственных страниц романа, а не наоборот. Первое более закономерно с собственно литературной стороны.

Это обстоятельство бесспорно одно из существеннейших при рассмотрении «Сатирикона». Оно тесно связано с вопросом о смешении стиха и прозы, являющимся особенностью данного произведения, о которой ниже будет сказано подробнее. Здесь же очевидно необходимо опереться все же на заключение академика А. Н. Веселовского, который в «Трех главах из исторической поэтики» писал:

«... вопрос о психологических поводах такого смешения возникает естественно: дело идет об эпохах переходных, полных начинаний и переломов, когда мысль, чувство и вкус настроены к выражению чего-то нового, желаемого, чему нет слов. И слова ищут в приподнятом потенцированном стиле поэзии, в цитате из поэта, в введении поэтического словаря в оборот прозы. Это производит впечатление чего-то нервного, личного и слабого места, искусственной изнеженности и искусственного бомбаста».⁷

Затем, характер связи романа «Сатирикон» с произведениями других поэтов может пояснить следующая мысль А. Н. Веселовского:

«Язык поэзии инфильтруется в язык прозы: наоборот прозой начинают писать произведения, содержание которых облеклось когда-то, или, казалось естественно облекалось когда-то в поэтическую прозу форму. Это явление, постоянно надвигающееся и более общее, чем рассмотренные выше».⁸

⁶ Mart. I. 53.

⁷ А. Веселовский. Три главы из Исторической поэтики. ГИХЛ. Л. 1940 г., стр. 379.

⁸ Там же, стр. 380.

Эти мысли известного ученого подтверждают характер и временную связь между текстуальными совпадениями романа «Сатирикон» со строками других авторов.

При таком положении наиболее правильно рассматривать «Сатирикон», не считаясь с установившимися хронологическими границами представлений об авторе. Анализ романа следует вести по его фактологическому, тематическому и идейному содержанию, в рамках эпохи, отзвуки литературы которой встречаются в романе. Конец ее очерчивается началом второго века, когда встречаются самые ранние упоминания о Петронии у Тацита, каковой точки зрения придерживался и Штудер.⁹

Весьма вероятно, что роман «Сатирикон» был известен Тациту, хотя он упоминает лишь о завещании Петрония. Тонкие иносказания знаменитого римского историка давно оценены по достоинству. Видимо, описывая Нерона, Тацит не мог не думать о политических параллелях, которые вызовут эти описания у его современников при чтении «Аннал», точно также как это отражается в его «Диалоге об араторах», «Агриколе» и др. сочинениях.

Отмечая эту внутреннюю направленность Тацитова творчества, проф. В. Модестов (1839—1907) говорил: «Бывают времена, когда сатира и грустная ирония у передовых людей века так свыкается с мыслью, что сопровождает ее постоянно, о чем бы эти люди не думали и не писали. И в каком сочинении Тацита нет сатиры или правильное иронии».¹⁰

Но какое значение могла бы иметь сатира и ирония историка, описывающего людей и события, покрытые почти полувековой давностью, для современников Тацита, если бы эти сочинения не содержали в себе более злободневных намеков?!

Можно задать вопрос: почему Тацит не писал прямолинейнее после смерти Домициана, в более либеральное время Нервы и Траяна? Ответ на этот вопрос надо искать в историческом и политическом опыте Тацита. Он знал о судьбе Кремуция Корда неосторожно помянувшего одобрительно Брута и Кассия, он знал, как свидетель, об участии Юния Рустика и т. д. и т. п. Все это должно было служить ему предостережением на случай изменения общественно-политической атмосферы.

Необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что описывая эпоху Нерона, Тацит не отмечает фактов привязанности к этому цезарю значительной части римского населения и солдат, свидетельства о которой собраны и использованы Ренаном.¹¹

С другой стороны общеизвестно, что Домицианова чудовищность неизмеримо превосходила пороки Нерона и доставила ему прозвище «Лысого Нерона».¹² Тот же Ренан отмечает, что спустя 30—40 лет многие желали, чтоб

⁹ Studer. Über das Zeitalter des Petrons 1843.

¹⁰ В. Модестов. Тацит и его сочинения. СПб. 1864 г., стр. 69.

¹¹ Ренан. История первых веков христианства. т. IV, стр. 140.

¹² Ренан. Указ. соч. т. V, стр. 170.

Нерон был жив и мечтали о его возвращении.¹³ Историческим подтверждением этому служит авантюра «Лже-Нерона», доставившая немало хлопот императору Титу.

Все эти обстоятельства дают достаточную основу, чтобы видеть ряд намеков на более близкую современность и в рассказе Тацита о Петронии, сделанном в описании царствования Нерона из дома Юлиев. В первую очередь обращает на себя внимание следующее противоречие в высказывании Тацита, характеризующем смерть Петрония. — Он: «говорил с друзьями, не вдаваясь в глубокомысленные вопросы и не стараясь блеснуть твердостью. Он не хотел слушать рассуждений о бессмертии души и философских притчах...»

Здесь следует остановиться на том, что в романе «Сатирикон» затронуты немало философских вопросов, прославляется Эпикур и др. Наконец, повествование носит явно выраженный сатирический характер. В «Лекциях по эстетике» Гегеля (в интерпретации и издании Г. О. Гого) говорится: «Для сатиры требуются твердые принципы...»¹⁴ Такая принципиальность, несомненно, налицо в романе «Сатирикон».

Далее Тацит говорил: «В завещании своем он не льстил, подобно прочим осужденным, Нерону, Тигеллину или другим сильным людям; он описал в нем все ужасы распутства принцепса под вымышленными именами развратных женщин и продажных мужчин...»

Раз Петроний отказался от лести, непонятно, зачем было ему перед смертью скрывать под вымышленными именами распутства принцепса. Примечательно также, что Тацит говорит не о распутстве Нерона, а именно п р и н ц е п с а, позволяя направить социальное обличение по более широкому адресу.

Видимо, Тацит знал и произведение и его автора, как знал, что автор возможно обдуманно выступил под псевдоним Петрония. События, связанные с жизнью Петрония, были хорошо известны в римском обществе, а его эпоха имела немало сходных черт с эпохой Марциала—Ювенала, неоднократно бичевавших современных им Мальхионов.

Не случайно, роман «Сатирикон» широко затрагивает тему, развитую в «Диалоге об ораторах» Тацита, создавая убеждение, что этот «Диалог об ораторах» Тацита в свою очередь, был известен автору романа «Сатирикон».

К этому можно было добавить то обстоятельство, что герой «Сатирикона» — Эноклп, носит имя, зафиксированное не только у Марциала, но и в письмах Плиния и принадлежавшее человеку, пользовавшемуся покровительством этого писателя и т. д. и т. п.

¹³ Ренан. Указ. соч. т. IV, стр. 194.

¹⁴ Тигель. Лекции по эстетике. (См. т. XIII, с. 86, М., 1940).

Повидимому Тацит намеренно фиксировал для читателей образ Петрония и воспоминания о его «завещании», связывая его с принципсом. Тем самым возможно, что он увековечивал и привлекал внимание к произведению, которое украшалось именем Петрония и толковало о внешне сходном предмете, но в то же время проводило в более глубокие и серьезные злободневные идеи.

Одно из основных мест в научной литературе занимает вопрос о жанровом становлении и композиционных особенностях романа Петрония. Здесь имеют место самые разнообразные высказывания, роман связывают с менипповой сатирой, новеллой, бытовой комедией и мимом, риторическими суазориями и контрверсиями, эпистолярной литературой и мн. друг. жанровыми явлениями.

В образной системе романа и, в частности, в образе Тримальхиона, ученые долго видели намеки на Клавдия,¹⁵ затем Нерона, а позднее на исторически зафиксированных рабов-вольноотпущенников, достигших вершин общественной лестницы в эпоху принципата, что по-видимому наиболее правдоподобно.

В связи с этим, ряд острых замечаний, был сделан В. Потемкиным.¹⁶

Действительно, рассказ Тримальхиона о том, как будучи ростом с канделябр, он уже был любезен и хозяину и хозяйке, нельзя не сопоставить с общеизвестной в ту эпоху историей о Клеонте, купленном в придачу к канделябру. Унаследовав состояние своей хозяйки Гигины, любовником которой он стал, Клеонт всю остальную жизнь почитал канделябр, как бога.

Однако, касаясь образов романа, исследователи не уделяли должного внимания особенностям художественного обобщения в литературном произведении. Ведь персонифицируя те или иные человеческие качества и недостатки, писатель-художник концертирует в одном образе свои впечатления от разных людей, перемешивает их и создает образ, типичный для многих. Также изображая эпоху, автор может собрать в своем образе черты людей, живших разновременно.

Особенно это обычно, если внешние проявления разновременности незаметны, а развитие протекало в течение эпохи в замедленных темпах и представлялось автору только сменой людей. Между тем именно такой период общественной стагнации, которая соответствовала экономическим процессам жизни, представлял собой цезаризм в конце первого и начале второго века нашей эры.¹⁷

¹⁵ См. М. Nisard. «Notice sur Petron et sur le Satyricon». Ed. Didot. Paris 1860.

¹⁶ В. Потемкин. «К. Петроний и его роман». Р. Мысль. 1900, т. VII, гл. V, стр. 106—135.

¹⁷ Ф. Энгельс. О происхождении христианства. К. Маркс и Ф. Энгельс об античности. Л. 1932, стр. 123—124.

С другой стороны, в процессе создания типичных образов, неизбежны дробления, расщепления черт прообразов, придания этих черт различным персонажам произведения. Это сужает возможность прямых сопоставлений, одновременно требуя увеличения числа сопоставлений косвенных, по частичному сходству. И чем разнообразнее и шире круг таких параллелей, тем типичнее образ для эпохи. Именно в этих условиях образ органичнее подчиняется идейному замыслу автора, теме произведения. Эти особенности творческого процесса весьма существенны для понимания идейной стороны произведения, для понимания его реалистического звучания в целом.

Правильное уяснение всякого явления художественной литературы требует представления об экономических условиях, историческом и политическом фоне, о правовых, религиозных и философских взглядах, морали, нравах и быте эпохи, к которой произведение относится.

Часть этих требований выдвигалась в литературоведении и ранее. В какой-то мере это находило отражение и в имеющейся иностранной литературе о романе «Сатирикон». Однако в лучшем случае она не выходит за пределы условий литературоведческого анализа, выдвигающихся культурно-исторической школой и сформулированных в XIX в. И. Тэнном так:

... «необходимо с полной отчетливостью представить себе мировоззрение и нравы той эпохи», к которой принадлежат художники и явления искусства, ибо «они объясняют все, они та первопричина, которая определяет остальное». И далее: «искусство появляется и исчезает одновременно с определенными течениями в области мысли и нравов, с которыми они связаны...»¹⁸

Но что отражают эти течения? Какие материальные условия жизни общества формируют их? Каков способ производства у общества, влияющий на образ мыслей, на нравы? Тэн не задумывался.

Именно, следуя за И. Тэнном пытался проанализировать роман «Сатирикон» Г. Буассье. Поэтому его попытка страдает ограниченностью и односторонностью, сужающей возможности понимания процессов развития искусства и литературы и важнейших явлений художественного творчества, так же как узко и неправильно понимались эпоха создания этих произведений, и весь исторический процесс.

Классики марксизма-ленинизма в своих высказываниях об искусстве и культуре указали путь всестороннего изучения и постижения явлений. Всегда должно в них видеть отмирание старых и зарождение новых форм жизни, а в связи с ними развитие новых идей и форм общественного сознания. При том надо учесть такую особенность, как неравномерное развитие искусства по отношению и общему развитию общества.

¹⁸ И. Тен. *Философия искусства*. Изогиз. М. 1933, стр. 6.

В характеристике классиков марксизма-ленинизма мыслители и художники, да и сами факты искусства, интересны особенно с той стороны, с которой всего виднее, насколько они преодолевали ограниченность мировоззрения эпохи и современников, или подчинялись ей.

Для материалистической науки особенно важно установить, в какой мере, благодаря чему и с какой стороны, произведение искусства и его автор именно возвысились над эпохой, над своей средой, сделали новый шаг в развитии культуры? Здесь особое значение имеет характер сдвигов в общественном развитии, с которыми были связаны явления искусства, их соответствие сознанию общества, характер затрагиваемых социально-политических вопросов, степень реалистического отражения действительности.

Стремясь именно с этой стороны разобраться в романе «Сатирикон», одновременно надо помнить, что как о человеке нельзя судить по тому, что он сам о себе думает, так и об эпохе нельзя судить только по собственным ее о себе представлениям, отраженным в ее литературе. Эти указания позволяют совершенно иначе отнестись к отражениям в этом романе и окружающей его литературе идеям, выявляя тенденции, заключенные в образных положениях «Сатирикона.»

Ленин писал: «Помыслы и чувства, которые воспроизводятся в общественной идеологии, это помыслы и чувства вытекают из данной общественной среды, которая служит материалом, объектом духовной жизни личности и которая (среда) отражается в ее помыслах и чувствах с положительной или отрицательной стороны в представительстве интересов того или другого общественного класса».¹⁹

С этих позиций «Сатирикон» является наглядной иллюстрацией того, как производительные силы, общественное состояние и сознание римского общества вступили в противоречие друг с другом.

В «Немецкой идеологии» указывается: «разделение труда делает возможным — больше того, действительным, — что духовная и материальная деятельность, наслаждение и труд, производство и потребление выпадает на долю различных индивидов...»²⁰

Эти указания особенно необходимо иметь в виду, поскольку объект рассмотрения — роман «Сатирикон» односторонне освещает жизнь эпохи. Здесь встречается лишь отражение потребления, наслаждения и духовной деятельности рабовладельцев, господствующего рабовладельческого класса. К нему примыкают и деклассированные герои романа и упомянутые в нем рабы, оторванные от непосредственной материальной деятельности, труда, производства.

Рассматривая идейные тенденции романа нужно помнить, что вне поля зрения остается более значительная часть действительности, сферы мате-

¹⁹ Ленин. Ленинский сборник. IX, стр. 161.

²⁰ Маркс и Энгельс. «Немецкая идеология» М. 1934, стр. 21—22.

риального производства и обмена. В них происходили важнейшие процессы общественно-исторического развития с опозданием и своеобразно находившие себе отражение в идеологических представлениях эпохи. Маркс говорил об этом в «Капитале»: «В духовном мире, начиная с последних лет республики, когда мануфактура стояла ниже среднего уровня ее развития в античном мире, купеческий капитал, денежно-торговый капитал и ростовщический капитал достиг высшего пункта развития в пределах своих античных форм».²¹

Особенностью этих античных форм капитала являлось то, что он не стремился превратиться в промышленный, перейти из сферы обмена в сферу производства. Он оставался в пределах рабовладельческой системы хозяйства, замыкая порочный круг: рабовладельческой системы хозяйства, замыкая порочный круг: рабовладельческая система — торгово-ростовщический капитал — рабовладельческая система.

Отражением именно этого порочного круга являются те гиперболические формы «безумного расточительства», «чрезмерного потребления» (Маркс),²² которые отразились в сценах романа «Сатирикон». Они сопровождали атичное общество на всем протяжении периода его загнивания и гибели, получившей свое выражение в «Zusammenbruch»-е как его назвал Ленин.

Но период, затронутый в романе, отделен от момента крушения античного общества более чем тремя веками, и гораздо ближе к самому началу последнего этапа его развития, который характеризуется в вышеприведенных словах Маркса. Для этого этапа отличительными признаками является зарождение в недрах античного мира, медленное, но неизменное развитие элементов нового способа общественного производства, который возобладаст после.

У Маркса есть также указание, что «Каждая форма общества имеет определенную отрасль производства, которая преобладает над другими и отношения которой поэтому определяют место и влияние всех остальных.»²³

Маркс добавляет: «Это — общее освещение, в котором утопают все остальные краски и вторые модифицируют их в особенностях. Это — особый эфир, который определяет удельный вес всякого существа в нем находящегося».

Тот факт, что в эпоху создания романа «Сатирикон» господствующей отраслью производства было земледелие, отчетливо отражен в романе. В людях, показанных «Сатириконом», выделяется их животная, физиологическая сторона существования, даже тогда, когда эти люди являются представителями наибольшего интеллектуального развития эпохи. В периоде

²¹ Маркс. Капитал. т. III, ч. II, стр. 107. М. 1929.

²² Маркс. Теория прибавочной стоимости. II ч. 2. стр. 203—204.

²³ К. Маркс. К критике политической экономии. М. 1933, стр. 38.

упадка рабовладельческого общества деморализовалась гражданская личность. И по роману можно заключить, что передовые умы ощущают эту деморализацию. С таким ощущением связаны обращения героев к древней римской добродетели, их сетования на роскошь, разъедающую Рим, бичевание упадка нравов и морали.

Смешно предъявлять к этим идеологам претензий за то, что они не понимали действительных причин такого упадка, не понимали, что они коренились в самом рабстве, из основы существования этого общества превращавшегося в причину его распада.

Энгельс отметил, что общение с рабами деморализует граждан²⁴ рабство разрушало в человеке личность и это разрушение переходило с раба на его господина. Картинами такой деморализации личности, обостренного проявления в ней животности переполнен роман. Отражением этого процесса представляется нам и кинизм, широко описанный и несомненно отрицательно оцененный в «Сатириконе».

В свете изложенного по иному представляется и эротическая тема, проведенная в романе «Сатирикон» и ее место в содержании произведения.

В вопросе о теме романа «Сатирикон» в иностранной литературе упрочилось весьма своеобразное и не соответствующее самому произведению представление. Центральной темой романа, с которой связано развитие событий, обычно считали гнев бога половой страсти Приапа. Роман оценивался иногда как комико-эротический, пародирующий, якобы, греческий любовный роман.

Автору приписываются в качестве его взглядов, чуть ли не все высказывания главных персонажей, смотря по произволу того или иного исследования. О нем говорят, как о человеке, не знающем нравственных возмущений, глубоко погрязшем в разврате и разложившемся и в то же время как об авторе святого бесстыдства.

В идейных характеристиках Петрония встречаются оценки его как циника, стоика, эпикурейца, человека, настроенного религиозно-скептически, свободомыслящего и поражающего широкой терпимостью. Одновременно его эстетические вкусы определяются, как консервативные и архаические и т. д. Следует подчеркнуть чрезмерную противоречивость и взаимоисключение многих из таких заключений.

Как справедливо отмечалось в литературе, идеалом мудрости у стоиков значило жить сообразно законам природы. Признав автора романа «Сатирикон» стоиком, необходимо все иные идейные взгляды, отраженные в романе, размежевать на отвечающие и не соответствующие стоической позиции. С другой стороны известно преклонение стоиков эпохи рубежей I и II веков перед памятью Катона, а в романе встречается недвусмысленное

²⁴ Энгельс. Диалектика природы. стр. 60. изд. V.

критически выраженное отношение автора к стоикам в словах «Что вы наморщивши лбы в лицо мне умерли Катоны...»²⁵

Рядом с этим в романе явно вызывающе звучит предисловие Эпикура и свободомыслящий тезис: «Нет ничего нелепее человеческих предрассудков и пошлее лицемерной строгости».

Надо иметь в виду, что, как это установлено Ренаном,²⁶ в ту эпоху с а м о с в о б о д о м ы с л и е т р е б о в а л о б о л ь ш о г о м у ж е с т в а. Ренан отмечает, что свободомыслящий был существом заподозренным, принужденным лицемерить. С ужасом повторяли историю некоего Евфрата, закоренелого эпикурейца, который заболел и был отнесен родителями в храм Эскулапа, где божественный оракул прописал ему рецепт: «сжечь книги Эпикура, замесить пепел с влажным воском, смазать живот этой мазью и все забинтовать».

В романе сатирически пародируется эта легенда и рассказанный в ней способ лечения, после чего автор громко прославляет «Правды — отца Эпикура».²⁷ Все это свидетельствует об определенной смелости и твердости нашего автора, придерживавшегося эпикуреизма и свободомыслия в своем мировоззрении. Сатирическая направленность романа бесспорна и это гармонирует с определенностью взглядов автора, которые заслуживают специального рассмотрения.

Эта статья ограничивается изложенными замечаниями об упомянутых основных вопросах проблематики римского романа «Сатирикон», т. к. подробное их освещение превышает ее задачи.

Естественно, что в этих замечаниях затронутые вопросы не исчерпаны, а только показано, что господствующие в Петрониане мнение по проблематике романа ошибочно, что в нем слишком много пробелов, необоснованных допусков, ошибок и условностей.

Можно признать, что некритическое следование за господствующим истолкованием спорных вопросов романа «Сатирикон» не только нас лишает необходимой свободы суждения. Оно неизбежно приводит к повторению и углублению уже ранее сделанных ошибок в оценке и понимании романа. «Сатирикон», одного из наиболее важных памятников римской литературы.

Надо ли говорить, что это истолкование должно быть, наконец, преодолено.

Вопрос о таком преодолении давно уже поднят столь видными учеными — классиками, как Кассито, Крафферт, Лахман, Нибур и другими, указавшими, что роман «Сатирикон» создан не ранее начала II века. Как писал Кассито (1763—1822), возможно, его автор, современный Марциалу поэт Кассий Руф, неоднократно упомянутый Плинием.

²⁵ «Satyricon» (с. 132)

²⁶ Ренан. назв. соч. т. VII, стр. 207.

²⁷ «Satyricon» (с. 132)

¶ Настало время предложить молодым исследователям античной литературы и истории усердно проследовать за этими, действительно научными указаниями Кассито, Крафферта, Лахмана, Нибура, Коллишьона и др., наконец, отдав должную дань научной благодарности благородным трудам и именам этих достойных мужей мировой науки клинической филологии

A. MÓCSY

DIE UNKENNTNIS DES LEBENSALTERS IM RÖMISCHEN REICH

Statistische Untersuchungen der durchschnittlichen Lebensdauer der Römer stossen immer wieder auf ein merkwürdiges Missverhältnis in den Altersangaben,¹ insofern die mit 5 oder 10 teilbaren, also runden Zahlen immer einen auffallend grossen Teil der Angaben ausmachen, als ob die Sterblichkeit gerade im 25., 30., 35., 40. usw. Lebensjahr die grösste gewesen wäre. Im Falle einer hinreichend grossen Menge von Angaben dürfte man eine gleichmässige Verteilung der Zahlenendungen in den Altersangaben erwarten, weil zwischen dem Todesalter und der Teilbarkeit der Altersangabe mit 5 natürlich auch damals kein ursächlicher Zusammenhang bestehen konnte. Die zehn Zahlenendungen (0 bis 9) müssten je in etwa 10₀/₀ der Angaben vorkommen, das heisst, dass z. B. von 10 000 Verstorbenen etwa 1000 im 10., 20., 30., usw. Lebensjahr, wiederum 1000 im 1., 11., 21. usw. Lebensjahr verstorben sind, und so fort bis zu den Lebensjahren auf 9 (9, 19, 29 39, usw.). Die im Alter von 5, 10, 15, 20, 25, 30 usw. Jahren Verstorbenen machen daher notwendigerweise etwa 20% aller Verstorbenen aus, und so dürfte man die runden Altersangaben nur bei etwa einem Fünftel der Gesamtzahl erwarten. In der römischen Kaiserzeit ist jedoch dies beinahe nie und nirgends der Fall gewesen. Bei statistischen Berechnungen der durchschnittlichen Lebensdauer bzw. der Sterblichkeit wendet man deshalb auch Korrekturen an, um mit einem ausgeglichenen Angabenmaterial arbeiten zu können; J. Szilágyi² hat zuletzt die Zahl der runden Altersangaben auf ihr Fünftel herabgesetzt.

Die unverhältnismässig hohe Zahl der runden Altersangaben wird meistens nur als ein Problem der Quellenkritik behandelt; bei Sterblichkeitsstatistiken muss ja das Rohmaterial der epigraphischen Angaben auch auf ihre Zuverlässigkeit hin geprüft werden. Darüber hinaus wurde diese zwar auffallende, aber nur durch mühsame statistische Berechnung zugängliche Erscheinung

¹ In der letzten Zeit J. SZILÁGYI: *Acta Archaeol. Hung.* 13(1961) 127; A. DEGRASSI: *Akte des IV. Internat. Kongr. für gr. u. lat. Epigr.* Wien 1962 (Wien 1964) 82; H. NORDBERG: *Biometrical Notes (Acta Instituti Romani Finlandiae Vol. II: 2, Helsinki 1963)* 25 ff. Die ältere Literatur bei W. LEVISON: *Bonner Jbb.* 102 (1898) 18.

² SZILÁGYI: a. a. O.

wenig beachtet. Nur der vor mehr als sechzig Jahren veröffentlichte gründliche Aufsatz von W. Levison hat sie in einen Zusammenhang gestellt, der über das bloss Quellenkritische hinauszuführen schien. Er versuchte, auf Grund des Prozentsatzes der runden Zahlen zu entscheiden, ob die Geburtsanzeige von Marcus eingeführt worden war, wie dies an einer an sich nicht unglaubwürdig anmutenden Stelle der Marcusvita behauptet wurde. Inzwischen haben neue Papyrusfunde unser Wissen über die Geburtsanzeige wesentlich gefördert. Auch neue, derjenigen von Levison ebenbürtige Statistiken von Altersangaben stehen uns zur Verfügung, und so wird es wohl nicht überflüssig, über die Häufigkeit der runden Altersangaben wieder einmal nachzudenken. Unsere Berechnungen beruhen grösstenteils auf den Statistiken von J. Szilágyi, der eine ungeheure Menge von epigraphischen Altersangaben aus den lateinischen Provinzen des Römischen Reichs tabellarisch ordnete und zugänglich machte.³

1. Das Übergewicht der runden Zahlen als Zeichen der Unkenntnis des Lebensalters

Man darf von einer unverhältnismässigen Häufigkeit der runden Altersangaben in jenen Fällen sprechen, in denen die Verhältniszahl dieser Angaben mehr als 20% ausmacht. Alle grösseren Gruppen von Angaben aus dem Römischen Reich ergeben auf diese Weise einen höheren Prozentsatz. Am höchsten ist der Prozentsatz in Noricum, am niedrigsten in Italien. Diese beiden extremen Fälle sind auf Abb. 1—2 dargestellt.⁴ Die runden Altersangaben übertreffen die nicht runden um das Mehrfache. In Noricum gibt es etwa vom 50. Lebensjahr an beinahe nur runde Angaben. (Auf dem Diagramm von Italien [Abb. 1] haben wir versucht darzustellen, wie die Sterblichkeit in der Wirklichkeit etwa verteilt gewesen sein könnte. Die Quantität der runden Altersangaben haben wir verkleinert, und die der benachbarten Altersklassen demgemäss vergrössert, und zwar so, dass wir das Plus, womit die Zahl der runden Angaben die der benachbarten Altersklassen übersteigt, unter den vier benachbarten Altersklassen verteilt haben: z. B. vom Plus im 50. Lebensjahr bekamen die Lebensjahre 48, 49, 51, 52 je ein Viertel.)

Im Diagramm von Italien sind 3350, in dem von Noricum 356 Angaben zusammengefasst. Eine zufällige Anhäufung der runden Altersangaben ist

³ Beiträge zur Statistik der Sterblichkeit in den westeuropäischen Provinzen des Römischen Imperiums. *Acta Archaeol. Hung.* 13 (1961) 125 ff; Beiträge zur Statistik der Sterblichkeit in der illyrischen Provinzgruppe und in Norditalien. ebda 14 (1962) 297 ff; Die Sterblichkeit in den Städten Mittel- und Süd-Italiens sowie in Hispanien. ebda 15 (1963) 129 ff. — Im folgenden werden diese Aufsätze nur mit Band- und Seitennummern zitiert, XV 137 bedeutet also den dritten Aufsatz, S. 137. Für seine Hilfsbereitschaft spreche ich J. Szilágyi auch hier meinen aufrichtigen Dank aus. Den vierten, noch ungedruckten Aufsatz über die Sterblichkeit in Afrika habe ich durch sein Entgegenkommen im Manuskript benützen können.

⁴ Auf Grund von XIV 301. 319.

daher ausgeschlossen, zumal die übrigen, nicht runden Altersangaben die erforderliche regelmässige Verteilung aufweisen, so z. B. im italischen Angabenmaterial folgendermassen:

Zahlenendungen auf 1: 278	8,3%
2: 298	8,9%
3: 278	8,3%
4: 272	8,1%
5: 497	14,8%
6: 261	7,8%
7: 297	8,9%
8: 284	8,5%
9: 211	6,3%
0: 640	19,1%
Jünger als 1 Jahr: 34	1,0%
Insgesamt 3350	100,0%

Lässt man die Zahlenendung auf 9, worüber noch zu reden sein wird, ausser acht, dann ist die Häufigkeit der nicht runden Angaben 7,8–8,9%. Die Schwankung ist also nicht mehr als 1,1%. Die runden Angaben machen dagegen 33,9% aus, das den zu erwartenden Prozentsatz (20) um 13,9% übertrifft. Man wird daher den Schluss wagen dürfen, dass die unverhältnismässige Häufigkeit der runden Altersangaben nicht auf einen Zufall der Überlieferung, sondern auf die Schätzung des Lebensalters, folglich auf eine Unkenntnis des Lebensalters zurückzuführen ist.

Dies klingt zunächst äusserst unwahrscheinlich, weil — wie bekannt — dem Geburtstag im Familien- und Kulteleben der Römer eine hervorragende Rolle zukam. Des *dies natalis* wurde ja auch nach dem Tode feierlich gedacht, wozu im Testament,⁵ wie auch in verschiedenen Stiftungen⁶ manchmal beträchtliche Geldsummen zur Verfügung gestellt wurden. Aus verschiedenen Gründen, die letzten Endes auf astrologische Kombinationen zurückgehen,⁷ hat man auch die Geburtsstunde in Evidenz gehalten, wofür eine Unmenge von Altersangaben nach Jahr, Monat, Tag und Stunde zeugt.⁸ Verwandte Vorstellungen haben manche veranlasst, auch den Tag der Woche, worauf ihre Geburt fiel,

⁵ Z. B. ILS 6468: *caput ex testamento: . . . ut ex usuris semissibus eius pecuniae omnibus annis die natalis mei, qui est X Kal. Apr. distributio fiat decurionibus epulantibus . . .*

⁶ Z. B. ILS 6328a: *. . . ita ut ex reditu eorum (sc. praediorum) quodannis (sic) die natalis mei XI K. Ian. divisio fiat et epulentur.* ILS 6466: *. . . ut ex usuris eorum quod quod annis VII Idus Apriles natale filiae meae epulantes confrequentetis . . .*

⁷ S. z. B. die in Anm. 69. zitierte Apuleius-Stelle.

⁸ Belege liessen sich aus allen Teilen des Reiches anführen, hier nur ILS 7589: *qui die natali suo hora qua natus est obiit*, ebenso ILS 8530, vgl. auch ILS 1660: *obiit natali suo*. Andere Beispiele bei LEVISON: a. a. O. 19.

in Gedächtnis zu halten.⁹ War jedoch der Geburtstag so genau bekannt, so dürfte man vermuten, dass auch das Lebensalter ebenso bekannt gewesen sein müsste.

Dass diese Annahme für die Römerzeit nicht berechtigt ist,¹⁰ folgt zunächst aus solchen Inschriften, in denen das Lebensalter zwar bis auf die Tage angegeben, aber die blosse Abschätzung der Jahre dennoch ausdrücklich hervorgehoben wird, wie z. B. *bixit annis plus minus XXXX me(n)sibus V die I*.¹¹ Wie bereits durch Levison darauf hingewiesen wurde, ist der Prozentsatz der runden Altersangaben auch innerhalb der Altersangaben mit Monat und Tag unverhältnismässig hoch, d. h. durchwegs mehr als 20%.¹² In den Monats- und Tagesangaben ist dagegen keine Schätzung nachzuweisen. Unter den 450 Monatsangaben auf den christlichen Grabinschriften in Rom¹³ sind der 5. und 10. Monat 85mal vertreten: der Prozentsatz ist also normal (18,9%), unter den 835 Tagesangaben daselbst sind die 5., 10., 15., usw. Tage 209mal vertreten,¹⁴ der Prozentsatz ist beinahe normal (25%). Dass das Lebensalter abgeschätzt wurde, wird auf den Inschriften oft mit *p(lus) m(inus), circiter* u. ä. ausdrücklich betont. Nordberg hat 16 Fälle aus den stadtrömischen Grabinschriften von Christen zusammengestellt, in denen *PM* neben Monats- und Tagesangaben steht. Von den 16 Fällen ist die Jahreszahl 6mal rund (37,5%).¹⁵ Alle Jahresangaben mit *PM* in der Sammlung von Nordberg ergeben einen sehr hohen Prozentsatz (66,4%) der runden Zahlen.¹⁶ *PM, circiter* werden aber erst in der späteren Zeit häufig, während sich der hohe Prozentsatz der runden Zahlen auch in den früheren Zeiten nachweisen lässt. Man darf daher nicht behaupten, dass der Umstand der Schätzung immer eigens betont wäre. Eher dürfte man annehmen, dass *PM* und *circiter* einen besonderen Fall von Schätzungen gekennzeichnet haben; nämlich, wenn gewisse Stützpunkte zur Errechnung des Lebensalters berücksichtigt wurden und die Altersangabe durch irgendeinen Rechnungsvorgang entstanden ist. Auf diese Weise konnten sich nicht nur runde Zahlen ergeben, wie auch nach der Statistik von Nordberg bloss 66,4% der mit *PM* gekennzeichneten Altersangaben runde Zahlen, und die übrigen 33,6% keine solchen waren.

Dass das Lebensalter oft erst anlässlich des Todes errechnet, also frühe nicht genau gewusst war, lässt sich auch an Rechnungsfehlern nachweisen. Auf einer Inschrift¹⁷ wird z. B. ein Offizier genannt, der mit 16 Jahren ins Heer

⁹ Z. B. ILS 8528. 8529.

¹⁰ Vgl. schon LEVISON: a. a. O. 18 ff; DEGRASSI: a. a. O. 82 f. usw.

¹¹ CIL X 3438 = ILS 2891. Vgl. noch z. B. CIL III 11032 cf. p. 2190, wo das Alter von drei Personen mit runden Zahlen, aber bis auf die Tage ausgerechnet angegeben wird (80 Jahre, 5 Monate, 9 Tage; 35 J., 5 M., 13 T.; 10 J., 4 M., 5 Tage.)

¹² A. a. O. 18 und die Kolumnen «b» seiner Tabellen, die die Prozentsätze dieser Angaben enthalten.

¹³ NORDBERG: A. a. O. 30.

¹⁴ Ebda. 32.

¹⁵ A. a. O. 28.

¹⁶ A. a. O. 26, Tabelle 3.

¹⁷ CIL V 8278 = ILS 2333.

eintrat, 34 Jahre diente, und «ungefähr» 40 Jahre sein sollte: *stip. XXXVIII annor. circiter XXXX tiro probitus (sic) an. XVI*. Der Beginn des Dienstes im 16. Lebensjahr ist nicht unwahrscheinlich,¹⁸ und 34 Jahre Dienstzeit ist bei einem Offizier, der hohe Rangstufen erreicht hatte,¹⁹ durchaus normal. Man wird also diese beiden Angaben nicht bezweifeln wollen, aber auch XXXX konnte nicht durch Schreibfehler anstatt L entstehen. Das Lebensalter des verstorbenen Offiziers wurde auf Grund von zwei offiziellen Angaben errechnet, auf den Umstand der Rechnung wurde mit *circiter* aufmerksam gemacht, bei der Kontraktion 16 + 34 begangen jedoch die Angehörigen einen groben, wenn auch leicht verständlichen Fehler.

Dass das eigene Lebensalter auch von Soldaten nicht in Evidenz gehalten war, wird vielleicht überraschen, weil die Zählung der vergangenen Jahre gerade beim Militär, anhand der Dienstzeit ohne weiteres möglich war. Die Stipendienzählung auf Grabsteinen ist in der Tat korrekt: Levison fand unter 1007 Stipendienangaben 233 runde Zahlen, die nicht mehr als 23% ausmachen.²⁰ Die 3% über die normalen 20 lassen sich damit erklären, dass bei Veteranen die Dienstzeit meistens 25 Jahre sein musste; in der Tabelle von Levison ist gerade die Nummer 25 am stärksten vertreten, sie macht rund 3% aus. Auf den Soldatengrabsteinen des Legionslagers Carnuntum fand ich 75 Stipendienangaben, davon 11 runde Zahlen (15%).²¹ Demnach dürfte man annehmen, dass auch die Altersangaben der Soldaten genau waren. Dass auch dies nicht der Fall ist, werden wir noch sehen. Hier möchte ich nur auf die Soldatengrabsteine der Legio XV Apollinaris in Carnuntum hinweisen,²² unter denen der Prozentsatz der runden Zahlen 68% ist (43 von 63).

Die Unkenntnis des Lebensalters lässt sich auch anhand der schriftlichen Überlieferung nachweisen.²³ In der unten in extenso anzuführenden Stelle aus der Apologie des Apuleius wird über das Alter einer Frau verhandelt; das von der Gegenpartei behauptete Alter der reichen Witwe Pudentilla war 60, in der Wirklichkeit war sie jedoch nur ein wenig älter als 40. Reskripte und Juristenstellen haben sich oft mit Irrtümern befasst, die bei der Bestimmung des Alters entstanden waren.²⁴ Sehr bezeichnend ist in dieser Hinsicht ein Reskript Alexanders,²⁵ gerichtet an eine junge Frau, die über ihr eigenes Alter betrogen wurde.

¹⁸ S. die Zusammenstellung von G. FORNI: *Il Reclutamento delle Legioni da Augusto a Diocleziano* (Milano 1953) 135 ff.

¹⁹ *centurio supernumerarius, discens equitum, ordine factus magister equitum* (sonst unbekannter Rang).

²⁰ A. a. O. 22.

²¹ A. Mócsy: *Die Bevölkerung von Pannonien bis zu den Markomannenkriegen* (Budapest 1959) Nr. 153–154.

²² Ebda Nr. 154

²³ Vgl. auch die beiden (von einander abweichenden!) Statistiken der Hundertjährigen in Italien unter Nero bei Plinius d. Ä. und Phlegon, LEVISON: a. a. O. 7 f. Der Prozentsatz der runden Zahlen ist bei Plin. 97,5, bei Phlegon 77.

²⁴ Z. B. Dig. XXII 3, 13. Cod. Iust. II 42. IV 19, 9.

²⁵ Cod. Iust. II 42, 1 (234).

2. Die Formel zur Errechnung des Prozentsatzes der Unkenntnis

Lässt sich der hohe Prozentsatz der runden Zahlen auf die Unkenntnis des Lebensalters zurückführen, dann hängt auch seine Höhe von der Zahl der Verstorbenen unbekanntes Alters ab. Die Unkenntnis des Lebensalters dürfte daher anhand von statistischen Berechnungen genauer untersucht werden. Eine solche Untersuchung wurde von Levison durchgeführt. Er hat aber die bearbeiteten Angaben nur territorial gruppiert, auf eine zeitliche Gruppierung hat er verzichtet. Uns stehen die statistischen Tabellen von J. Szilágyi zur Verfügung, der das Material auch zeitlich, in zwei grosse Gruppen (1. – 2. Jh., spätere Zeiten) eingeteilt hat. Ich bin mir freilich im klaren darüber, dass auch diese grobe Scheidung in zwei Zeitabschnitte nicht bei allen Grabinschriften möglich ist. Da es sich jedoch meistens um eine grosse Masse von Angaben handelt, darf angenommen werden, dass die Ergebnisse nicht wesentlich durch die sowieso unvermeidlichen Datierungsfehler entstellt sind.

Nach Levison²⁶ war das Alter der Kinder und jungen Leute genau bekannt. Auf den Tabellen von Szilágyi sind die Altersangaben der jüngeren Altersklassen in der Tat normal verteilt.²⁷ Es gibt z. B. auf der bereits öfter herangezogenen Tabelle Italiens (Abb. 1.)²⁸ 1479 junge Verstorbene bis zum 20. Lebensjahr einschliesslich, und davon sind 289 im 5., 10., 15. oder 20. Lebensjahr gestorben. Der Prozentsatz der runden Zahlen entspricht daher genau dem normalen (19,6%). Die Unkenntnis des Lebensalters begann daher nach Levison erst im 3. Jahrzehnt des Lebens und deshalb hat er die Altersangaben unter 21 ausser acht gelassen. Ich habe jedoch die 20jährigen mit eingerechnet, weil in allen Provinzen bereits auch dieses Lebensalter abnormal hoch vertreten ist (z. B. Abb. 2).²⁹ Aber ich glaube doch nicht, dass die Unkenntnis erst etwa um das 20. Lebensjahr begann. Moderne Analogien, wie z. B. Bulgarien im 19. Jh. unter der Türkenherrschaft,³⁰ haben gezeigt, dass, wenn das Lebensalter nicht bekannt war, es dann bereits im 2. Jahrzehnt unbekannt war. Die run-

²⁶ A. a. O. 18. 21. Neulich DEGRASSI: a. a. O.

²⁷ Vgl. auch die spätantike Censurliste bei A. H. M. JONES: JRS 43 (1953) 55, wo von 9 Erwachsenen 7 runde Altersangaben haben, während von den 10 Minderjährigen bloss 1. LEVISON: a. a. O. 21 bringt schöne Beispiele von Familiengrabsteinen, auf denen alle Kinder mit genauen, alle Erwachsenen mit abgeschätzten Altersangaben genannt werden.

²⁸ XIV 301.

²⁹ Ausnahmen nur Mogontiacum (XIII 128), Germanien (XIII 131), Carnuntum (XIV 311), Pannonien in der späteren Zeit (XIV 315) und einige afrikanische Städte, wie Castellum Celtianum, Thubursicum Numidarum, Mastar; das Angabenmaterial ist aber in den meisten Fällen nicht gross genug, um Sicheres aussagen zu können. In Italien (Abb. 1) ist das 20. Jahr bei den Männern schon unverhältnismässig hoch, bei den Frauen dagegen nicht.

³⁰ F. KANITZ: Donau-Bulgarien und der Balkan, I. (Leipzig, 1875) 208: «Selten sind die Leute im Stande, ihr Alter anzugeben und wenige Mütter können genau jenes ihrer Kinder bestimmen» (in der Gegend von Lom und Artschar, wo der Analphabetismus ausschliesslich ist, und die Steuer auf Holzstäben gebucht wird).

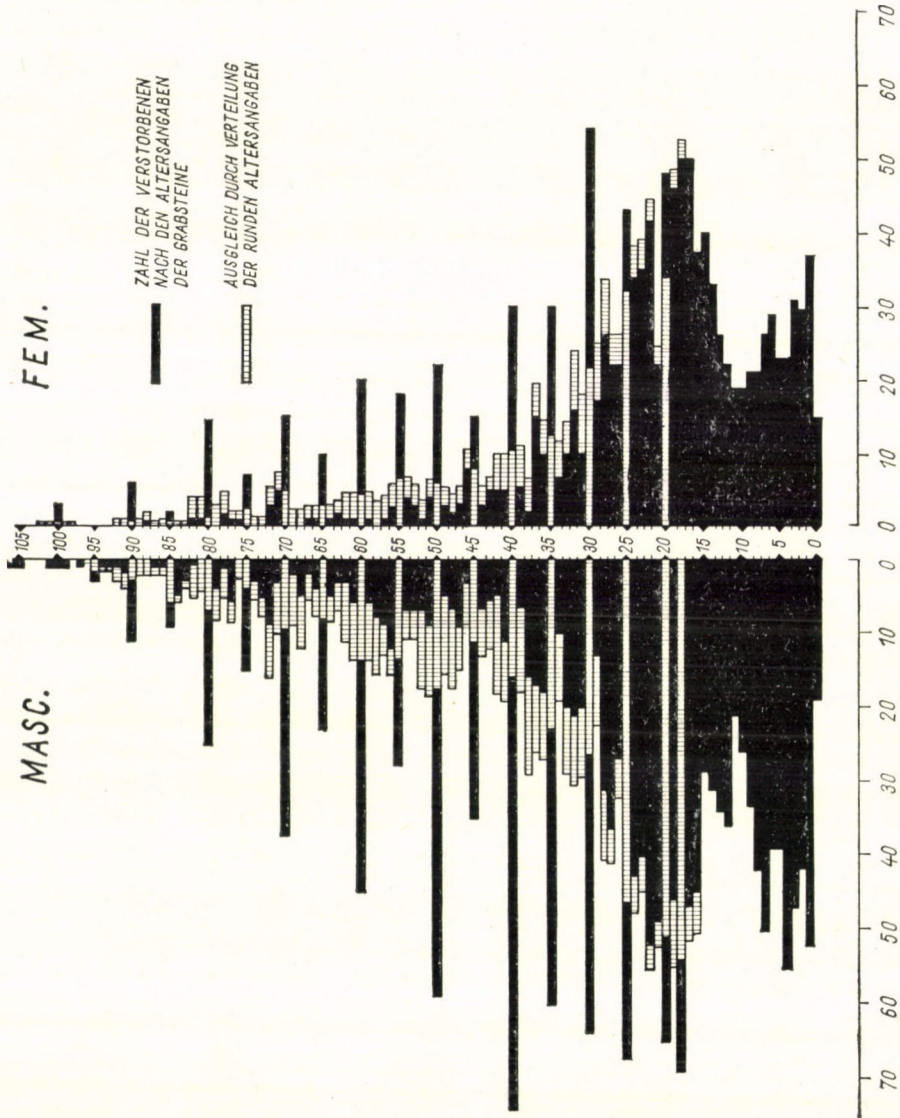


Abb. 1

den Zahlen sind deshalb auch bei den Soldaten im Übergewicht, weil die Soldaten bereits zur Zeit des Eintritts ihr Alter nicht gewusst haben. Das Alter eines Knaben oder eines Mädchens kann nicht mit einer nur fünfjährigen Genauigkeit angegeben werden. Auch durch Schätzungen konnten also «genaue»

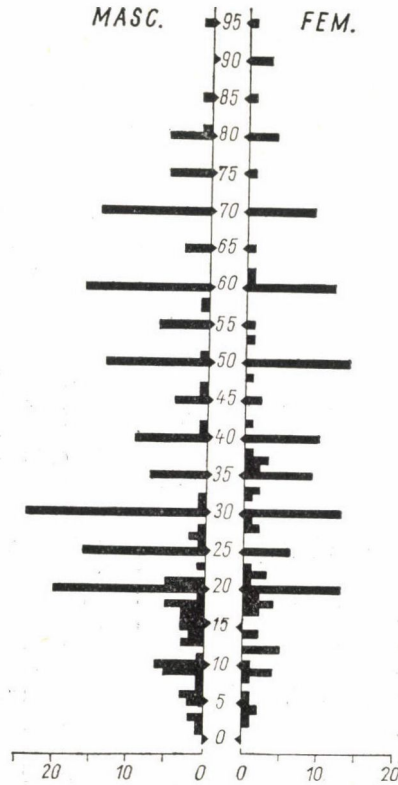


Abb. 2

Angaben entstehen, aber nur im jungen Alter. Dass dies wirklich so war, lässt sich mit der unverhältnismässigen Häufigkeit des 18. Lebensjahres beweisen.³¹ Wir haben die Angaben bis zum 20. Lebensjahr deshalb nicht berücksichtigt, weil die Unkenntnis in dieser jüngsten Altersklasse statistisch nicht gesondert werden kann. Unsere Prozentsätze sind daher nur für die Erwachsenen gültig.

Auch eine weitere Korrektur ist noch nötig. Der Prozentsatz der runden Altersangaben darf nicht mit dem Prozentsatz der Verstorbenen unbekanntem Alters gleichgesetzt werden, weil unter den runden Zahlen auch diejenigen vertreten sind, die zwar in einem mit 5 teilbaren Lebensjahr gestorben sind,

³¹ S. Anm. 79.

aber ihr Alter genau bekannt war und demzufolge ihre Altersangabe korrekt ist. Dieser Teil der runden Altersangaben muss also vom Prozentsatz aller runden Altersangaben abgezogen werden.³² Dazu braucht man eine Formel, die folgendermassen aufgestellt werden kann: ist der Prozentsatz der runden Altersan-

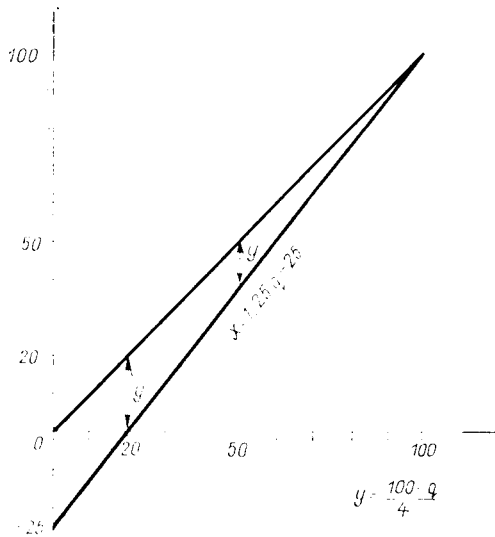


Abb. 3

gaben (im folgenden: q) 20%, dann war das Alter von allen Verstorbenen genau bekannt, der Prozentsatz der Verstorbenen unbekanntes Alters (im folgenden: x) ist daher Null. Ist dagegen $q = 100\%$, dann darf man annehmen, dass das Lebensalter bei keinem der Verstorbenen bekannt war, sonst wären ja auch nicht runde Zahlen vorhanden. Ist also $q = 100\%$, dann ist auch $x = 100\%$. Wir haben es also mit einer Funktion zu tun, deren Kurve eine Gerade ist, die in der Höhe von 0 bei 20 beginnt und in der Höhe von 100, bei 100 endet (Abb. 3). Die Formel dieser Funktion ist $x = 1,25q - 25$. — Diese Formel ergibt sich auch dann, wenn wir von einer Verhältnisgleichung ausgehen. Ist nämlich das Verhältnis zwischen runden und nicht runden Zahlen 1 : 5 (die runden Zahlen machen ja normalerweise 20% aus), dann ist dieses Verhältnis auch dann gültig, wenn die Angaben in zwei Gruppen, in die der Verstorbenen bekannten und in die der unbekanntes Alters geteilt werden (Abb. 4). Innerhalb beider Gruppen ist dieses Verhältnis gleichfalls 1 : 5, das heisst jedoch, dass der Prozentsatz der nicht runden Altersangaben $(100 - q)$ vier Fünftel des Prozentsatzes aller

³² In der provisorischen ungarischen Fassung (Antik Tanulmányok 10 [1963] 201 ff) habe ich noch ein anderes, weniger korrektes Rechnungsverfahren angewendet.

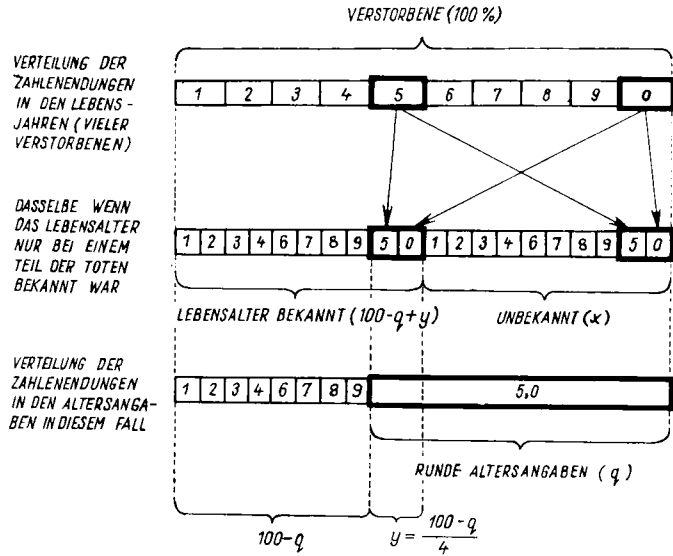


Abb. 4

Verstorbenen bekannten Alters ist. Die von q abzuziehende Summe ist daher

$$\frac{100 - q}{4}, \text{ aber } q - \frac{100 - q}{4} = 1,25q - 25.$$

Mit dieser Formel habe ich auch die Prozentsätze von Levison umgerechnet, um sie mit den übrigen vergleichen zu können, wobei nicht zu vergessen ist, dass Levison die 20jährigen ausser acht gelassen hatte. Seine Prozentsätze sind daher manchmal niedriger als die übrigen.

3. Die Zuverlässigkeit der Rechnungen

Die Zuverlässigkeit der errechneten Prozentsätze hängt freilich von der Quantität der bearbeiteten Angaben ab. Je kleiner eine Angabengruppe ist, umso grösser ist die Rolle des Zufalls. Auf der Tabelle wurde ebendaher die Zahl der bearbeiteten Angaben stets angegeben, und ebendaher wurden die Prozentsätze auch ab- und aufgerundet. Es darf ja schliesslich nicht auf halbprozentige Unterschiede ankommen. Bereits Szilágyi hat nur Gruppen gebildet, die eine genügend grosse Zahl von Angaben enthalten.³³ Aber auch ein Blick in die Ta-

³³ XIII 128.

belle überzeugt davon, dass die Prozente mit einem Zulassen von etwa 5—10% Fehler zuverlässig sind. Man vergleiche z. B. die Prozente aus den Städten von Noricum (ia—ie), Dakien (na--nd) usw., bei denen trotz des verhältnismässig kleinen Materials die Prozentsätze derselben Grössenordnung angehören, was sich keinesfalls einem blossen Zufall zuschreiben lässt. In welchem Masse die Prozentsätze von der Grösse des Materials abhängig sind, lässt sich sehr gut an dem Beispiel des Prozentsatzes innerhalb der Gruppe der stadtrömischen Christen verfolgen. Levison hat mit 77 Angaben 38,2% errechnet,³⁴ während Nordberg mit einem 16mal grösseren Material (1283 Angaben) 46,5% erhielt.³⁵ Der Unterschied macht 8,3 aus, es ist also durchaus berechtigt, wenn man mit einem Zulassen von nicht mehr als 10% rechnet. Die Grenzen lassen sich auch anhand der prozentmässigen Häufigkeit der Zahlenendungen in Gruppen von verschiedener Art und Grössenordnung bestimmen. Hier gebe ich diese Prozente von vier Angabengruppen an von denen zwei territoriale Gruppen sind, zwei nach sozialen Schichten aufgestellte Gruppen, je eine Gruppe enthält mehr als 1000, je eine etwa 130 Angaben (Prozente abgerundet).

Zahlenendung	Liberti ³⁶ (1022 Angaben)	Italien ³⁷ (3350 Angaben)	Mediolanum ³⁸ (139 Angaben)	Geistige Arbeiter ³⁹ (132 Angaben)
1	5	8	14	4
2	8	9	9	9
3	5	8	7	3
4	7	8	8	4
6	7	8	6	6
7	6	9	6	4
8	7	8	8	13
9	5	6	4	4
Duldung	3	3	10	10
	(5—8)	(6—9)	(4—14)	(3—13)

Die Zuverlässigkeit der errechneten Prozentsätze hängt auch davon ab, ob die Verstorbenen unbekanntes Alters in der Tat nur unter den Verstorbenen mit runden Altersangaben zu suchen sind. Es ist nämlich an sich leicht möglich, dass bei Schätzungen des Lebensalters auch nicht runde Zahlen angegeben wurden. In diesem Fall dürfte man jedoch eine ziemlich festgesetzte Reihen-

³⁴ A. a. O. 31.

³⁵ A. a. O. 29.

³⁶ XIV 301.

³⁷ XIV 323.

³⁸ XIV 299.

³⁹ XIV 334.

Die Prozentsätze der Unkenntnis des Lebensalters auf Inschriften der lateinischen Provinzen

		Szilágyi							Levison		Hinweis (Szilágyi: z. P. XV 130, Levison: L)
		Angaben	1.-2. Jh.	später	Insgesamt	Mehrnamige	Einnamige	Ausgewanderte	Angaben	Prozent	
a	Lateinische Provinzen	30 066	50	50	50	—	61	49	—	—	bf, cb, dL, eg, f, gh, hd, ie, k, lc, mc, nd, pq
ba	Rom	4957	35	41	35	—	—	—	6786	35	XV 131; L 30
bb	Rom Soldaten	—	—	—	—	—	—	—	454	31	L 29
bc	Rom griech. Inschr.	—	—	—	—	—	—	—	299	24	L 33
bd	Rom Sklaven	293	—	—	44	—	—	—	—	—	XV 149
be	Rom Freigelassene	789	—	—	41	—	—	—	—	—	XV 150
bf	Ostia	261	27	31	30	—	—	—	—	—	XV 133
bg	Puteoli	292	31	61	41	—	—	—	—	—	XV 134
bh	Misenum	216	46	56	49	—	—	—	—	—	XV 135
bi	Brundisium	163	70	67	69	—	—	—	—	—	XV 136
bk	Capua	76	25	35	31	—	—	—	—	—	XV 139
bl	Beneventum	45	42	46	44	—	—	—	—	—	XV 141
bm	Tarquinii	108	36	51	39	—	—	—	—	—	XV 140
bn	Ravenna	88	49	36	41	—	—	—	—	—	XIV 300
bo	Aquileia	113	25	53	41	—	—	—	—	—	XIV 298
bp	Mediolanum	96	0	44	3	—	—	—	—	—	XIV 299
bq	Übriges Italien	1960	34	38	36	—	—	—	—	—	XIV 301
br	Carales	135	41	57	54	—	—	—	—	—	XV 137

bs	Sardinia	—	—	—	—	—	—	—	168	45	L 42
bt	Latium	—	—	—	—	—	—	—	949	29	L 34
bu	Campania	—	—	—	—	—	—	—	904	29	L 35
bv	Bruttium, Lucania	—	—	—	—	—	—	—	164	38	L 36
bw	Apulia, Calabria	—	—	—	—	—	—	—	484	54	L 36
bx	Samnium	—	—	—	—	—	—	—	297	12	L 37
by	Picenum	—	—	—	—	—	—	—	75	4	L 38
bz	Etruria	—	—	—	—	—	—	—	351	32	L 41
bA	Aemilia	—	—	—	—	—	—	—	117	28	L 40
bB	Venetia, Histria	—	—	—	—	—	—	—	447	30	L 45
bC	Liguria, Transpadana	—	—	—	—	—	—	—	168	18	L 46
bD	Stil- u. Mittelitalien, Christen ...	—	—	—	—	—	—	—	422	53	L 46
bE	Norditalien, Christen	—	—	—	—	—	—	—	331	49	L 47
bF	Italien	3558	37	41	39	—	—	36	—	—	bf—br
ca	Catina	61	66	61	63	—	—	—	—	—	XV 142
cb	Sicilia	183	62	48	54	—	—	—	208	45	XV 142; L 44
da	IV Coloniae (Cirta)	1448	61	40	52	—	—	—	—	—	
db	Lambaesis	1130	56	60	59	—	—	—	—	—	
dc	Castellum Celtianum	1212	69	71	70	—	—	—	—	—	
dd	Castellum Tidditanorum	383	54	58	56	—	—	—	—	—	
de	Theveste	301	53	51	51	—	—	—	—	—	
df	Sigus	223	87	70	80	—	—	—	—	—	
dg	Thibilis	217	56	57	56	—	—	—	—	—	
dh	Arsacal	191	54	53	54	—	—	—	—	—	
di	Masculula	101	42	37	39	—	—	—	—	—	

		Szilágyi							Levison		Hinweis (Szilágyi: z. B. XV 130, Levison: L)	
		Angaben	1.-2. Jh.	später	Insgesamt	Mehrnamige	Einnamige	Ausgewanderte	Angaben	Prozent		
dk	Thamugadi	85	64	75	72	—	—	—	—	—	L 59	
dl	Numidia	—	—	—	—	—	—	—	4815	59		
dm	Mastar	323	65	71	69	—	—	—	—	—		
dn	Caesarea	149	44	58	52	—	—	—	—	—		
do	Auzia	174	65	57	59	—	—	—	—	—		
dp	Sitifis	119	50	48	49	—	—	—	—	—		
dq	Altava	76	62	70	69	—	—	—	—	—		
dr	Mauretania	—	—	—	—	—	—	—	1101	55		L 60
ds	Carthago	728	43	49	46	—	—	—	—	—		
dt	Carthago Sklaven	209	40	45	41	—	—	—	—	—		
du	Sicca Veneria, Ucubi	560	30	34	32	—	—	—	—	—		
dv	Madaura	666	52	54	53	—	—	—	—	—		
dw	Thubursicum Numidarum	611	46	57	52	—	—	—	—	—		
dx	Thugga	526	44	47	46	—	—	—	—	—		
dy	Ammaedara	256	34	34	34	—	—	—	—	—		
dz	Mactar	221	53	56	55	—	—	—	—	—		
dA	Calama	139	73	55	60	—	—	—	—	—		
dB	Thubursicum Bure	124	55	66	61	—	—	—	—	—		
dC	Thala	118	70	60	64	—	—	—	—	—		
dD	Maxula	112	33	57	51	—	—	—	—	—		
dE	Uchi Maius	104	44	51	47	—	—	—	—	—		
dF	Mustis	109	31	26	29	—	—	—	—	—		

dG	Thagaste	107	57	51	54	—	—	—	—	—	
dH	Simitthu	94	49	42	45	—	—	—	—	—	
dI	Africa proconsularis	—	—	—	—	—	—	—	3763	46	L 57
dK	Byzacena	—	—	—	—	—	—	—	937	46	L 55
dL	Afrika	15135	55	52	54	—	57	40	—	—	da—dk, dm—dq, ds—dH
ea	Augusta Emerita	113	58	34	50	—	—	—	—	—	XV 144
eb	Gadees	110	35	42	36	—	—	—	—	—	XV 145
ec	Saguntum	109	56	71	60	—	—	—	—	—	XV 146
ed	Olisipo	62	29	33	30	—	—	—	—	—	XV 146
ee	übriges Spanien	1485	58	60	59	—	—	—	—	—	XV 147
ef	Spanien	1879	55	58	55	51	65	56	1999	53	ea—ee, L 53
f	Britannia	166	62	53	58	—	54	—	157	54	XIII 132, XV 175; L 52
ga	Lugdunum	132	22	46	41	—	—	—	—	—	XIII 134
gb	Burdigala	154	55	32	39	—	—	—	—	—	XIII 136
gc	Treviri	65	?	45	45	—	—	—	—	—	XIII 137
gd	Vienna	75	0	36	34	—	—	—	—	—	XIII 138
ge	Arelate	59	20	48	43	—	—	—	—	—	XIII 140
gf	übriges Gallien	288	40	45	43	—	—	—	—	—	XIII 141
gg	Gallia Narbonensis	—	—	—	—	—	—	—	286	18	L 48
gh	Gallien	773	38	42	41	32	49	51	—	—	ga—gf, XV 157, 167, 176
ha	Mogontiacum	212	62	33	59	—	—	—	—	—	XIII 128
hb	Colonia Cl. Agripp.	38	50	33	44	—	—	—	—	—	XIII 130
hc	übriges Germanien	201	58	36	51	—	—	—	—	—	XIII 131
hd	Germanien	451	58	36	50	50	56	56	251	54	ha—hc, XV 156, 166, 174; L 49

		Szilágyi							Levison		Hinweis (Szilágyi: z. B. XV 130), Levison: L)
		Angaben	1.—2. Jh.	später	Insgesamt	Mehrnämige	Einnamige	Ausgewanderte	Angaben	Prozent	
ia	Celeia	175	88	76	83	—	—	—	—	—	XIV 317
ib	Flavia Solva	55	84	71	80	—	—	—	—	—	XIV 318
ie	Virunum	28	56	77	68	—	—	—	—	—	XIV 318
id	übriges Noricum	286	80	80	80	—	—	—	—	—	XIV 319
ie	Noricum	544	82	77	80	78	88	—	610	75	ia—id, XV 165, 173; L 67
k	Raetia	61	79	46	59	—	—	—			
la	Salonae	334	45	48	46	—	—	—	—	—	XIV 303
lb	übriges Dalmatien	419	58	57	57	—	—	—	—	—	XIV 304
lc	Dalmatien	753	53	53	53	—	—	—	774	51	la—lb, L 65
ma	Viminacium	41	37	58	45	—	—	—	—	—	XIV 306
mb	übriges Moesien	328	69	68	68	—	—	—	—	—	XIV 307
mc	Moesien	369	65	67	66	—	—	—	172	60	ma—mb, L 64
na	Sarmizegethusa	56	67	39	49	—	—	—	—	—	XIV 308
nb	Apulum	56	62	38	51	—	—	—	—	—	XIV 309
nc	übriges Dakien	195	93	48	60	—	—	—	—	—	XIV 309
nd	Dakien	307	79	45	56	—	—	—	312	60	na—nc, L 65
o	Nordbalkan	1429	60	54	56	60	61	54	—	—	lc, me, nd, XV 153, 163, 170

pa	Carnuntum	168	66	42	64	—	—	—	—	—	XIV 311
pb	Aquincum	109	66	54	61	—	—	—	—	—	XIV 312
pc	Emona	98	86	83	85	—	—	—	—	—	XIV 313
pd	Brigetio	75	57	59	58	—	—	—	—	—	XIV 313
pe	Intercisa	56	63	69	64	—	—	—	—	—	XIV 314
pf	übriges Pannonien	434	78	69	75	—	—	—	—	—	XIV 315
pg	Pannonien	940	72	66	70	63	81	46	684	69	pa—pf, XV 155, 164, 171; L 66
q	Orient	201	—	—	—	—	—	61	130	57	XV 152; L 63
ra	Sklaven (ausser Rom und Carthago)	341	50	55	51	—	—	—	—	—	XIV 322
rb	Freigelassene (ausser Rom und Carthago)	669	62	47	59	—	—	—	—	—	XIV 323
rc	Militär, Offiziere	823	39	45	42	—	—	—	—	—	XIV 328
rd	Militär, «I. klassige Truppen» ...	1365	54	50	52	—	—	—	—	—	XIV 326
re	Militär, «II. klassige Truppen» ..	1209	54	59	52	—	—	—	—	—	XIV 325
rf	Militär, Flottensoldaten	—	—	—	—	—	—	—	383	45	L 44
rg	freie Händler u. Handwerker ..	151	37	50	45	—	—	—	—	—	XIV 330
rh	Beamte, Pächter usw.	774	40	35	38	—	—	—	—	—	XIV 332
ri	geistige Arbeiter	109	45	47	46	—	—	—	—	—	XIV 334
rk	Priester	453	46	43	44	—	—	—	—	—	XIV 335
sa	Dekurionen Italien	87	—	—	25	—	—	—	—	—	errechnet nach dem Mate- rial in den Fussnoten bei Szilágyi XIII—XV
sb	Dekurionen Westprovinzen	43	—	—	42	—	—	—	—	—	
sc	Dekurionen Donauprovinzen ...	112	—	—	57	—	—	—	—	—	

folge in der Häufigkeit der Zahlenendungen erwarten. Nach der Beobachtung des Psychologen K. Marbe⁴⁰ werden bei Schätzungen gewisse Zahlen bevorzugt, und stellt man eine Reihenfolge nach der Häufigkeit der bei Schätzungen angegebenen Zahlen auf, dann ergeben sich ziemlich übereinstimmende Zahlenreihen. Marbe hat diese These mit drei Zahlenreihen illustriert, die auf Grund von Altersangaben auf römischen Grabsteinen (!), von Schätzungen von Längen in Zentimeter, und von Altersangaben amerikanischer Neger errechnet wurden. Diese Zahlenreihen sind:

Römische Grabsteine	0, 5, 8, 2, 3, 7, 6, 4, 9, 1
Längenschätzungen	0, 5, 8, 2, 3, 7, 6, 4, 9, 1
Amerikanische Neger	0, 5, 8, 2, 9, 3, 6, 4, 7, 1

Vergleicht man jedoch diese Tabelle mit der obigen Tabelle der Verteilung der Zahlenendungen in Italien, dann wird man mindestens der ersten Zahlenreihe von Marbe Zweifel entgegenbringen müssen. Denn die Häufigkeit der Zahlenendungen auf der Tabelle von Italien ist derart ausgeglichen, dass eine Reihenfolge nach der Häufigkeit bloss vom Zufall abhängen kann. Die Reihenfolge wäre in Italien 0, 5, 2, 7, 8, 1—3, 4, 6, 9; die Reihenfolge in den ersten vier Tabellen von Szilágyi:⁴¹

0, 5, 2, 6, 1, 7, 8, 3, 4, 9
0, 5, 6, 8, 2—4, 1, 3—7—9
0, 5, 6, 7, 2, 8, 3, 1, 4, 9
0, 5, 8—3, 4—2, 1—6, 7, 9

Bei einer Schätzung von unbekanntem Grössen gibt man ja nur annähernde, abgerundete Zahlen an, und nur dann versucht man «genauer» zu schätzen, wenn man dazu aufgefordert wird. Von den Beispielen Marbes ist im zweiten und dritten Fall mit einer solchen Aufforderung zu rechnen, aber bei den Altersangaben auf Grabsteinen ist dasselbe ausgeschlossen.

Nach den oben angeführten Rechnungen von Nordberg waren nicht alle Altersangaben mit PM runde Zahlen. Aber wie gesehen, gehen diese Zahlen auf gewisse Rechnungen zurück, und sind nicht auf Grund einer blossen Schätzung entstanden. Eine feinere Analyse der Unkenntnis sollte daher diese Altersangaben gesondert behandeln. Aber es stehen uns einstweilen keine solchen Materialzusammenstellungen zur Verfügung.

Die Zahlenreihen von Marbe beweisen also nur, dass die runden Zahlen auch bei Schätzungen anderer Art überwiegen. Aus unseren Zahlenreihen lässt sich dabei noch eine Regelmässigkeit hervorheben, und zwar die Stellung der Nummer 9, die immer am Ende steht. Dies lässt sich leicht erklären, weil die Aufrundung einer Zahl mit der Endung auf 9 durchaus verständlich ist. Levison

⁴⁰ Die Gleichförmigkeit in der Welt (München, 1916) 40 ff. 52 ff. Für Auskünfte bin ich Herrn Prof. L. KARDOS zum Dank verpflichtet.

⁴¹ XIII 128 ff.

hat dazu einen einleuchtenden Einzelfall angeführt.⁴² Man hätte daher bei der Aufstellung der Rechnungsformel auch die Aufrundung der auf 9 ausgehenden Zahlen berücksichtigen müssen, insofern vom rohen Prozentsatz (q) noch ein wenig abgezogen werden sollte. Darauf haben wir aber aus naheliegenden technischen Gründen verzichtet. Diese Aufrundung der Zahlen ist in manchen Gruppen nicht nachweisbar (z. B. in der Gruppe der Liberti oder der geistigen Arbeiter), und auch sonst wäre ihr Prozentsatz nicht mehr als höchstens 2% gewesen.

Es sei zum Schluss noch bemerkt, dass es nicht möglich ist, über Kenntnis oder Unkenntnis des Lebensalters bei einem bestimmten Verstorbenen zu entscheiden.⁴³

4. Die Verbreitung der Unkenntnis des Lebensalters auf Inschriften der lateinischen Provinzen

Die Prozentsätze sagen freilich nur über die Bevölkerungsschichten etwas aus, die auf Inschriften erwähnt werden. Diese Schichten waren offenbar die gesellschaftlich höher stehenden im Reich, aber die am höchsten gestandenen Senatoren und zum Teil auch die Ritter gehörten nicht zu ihnen, weil sie äusserst selten durch Grabsteine mit Altersangaben bekannt sind.⁴⁴

Nach dem Gesamtdurchschnitt war nur etwa die Hälfte dieser epigraphisch greifbaren Schicht über ihr eigenes Lebensalter im klaren (a). Dieser Durchschnitt ergibt sich aber aus einer äusserst grossen Differenzierung der lokalen Prozentsätze, die ohne Zweifel auf Unterschiede in der Tiefe der Romanisation zurückgehen; der Prozentsatz der Unkenntnis ist nämlich am niedrigsten in Italien, am höchsten in den Donauprovinzen (s. auch Abb. 5):

35%: Rom	55%: Spanien
39%: Italien	56%: Dakien
41%: Gallien	58%: Britannien
—	59%: Raetien
50%: Germanien	—
53%: Dalmatien	66%: Moesien
54%: Sizilien, Afrika	70%: Pannonien
80%: Noricum	

⁴² A. a. O. 19 = CIL VI 3453.

⁴³ LEVISON: a. a. O. 20 f.

⁴⁴ DEGRASSI: a. a. O. 83 mit Berufung auf ILS 862—1472.

Die aufgezählten Gebiete lassen sich zwanglos in drei Gruppen scheiden. In die erste Gruppe gehören Rom, Italien und Gallien, wobei nicht zu vergessen ist, dass Italien mit seiner riesigen Menge von Angaben nicht ohne weiteres mit Gallien verglichen werden kann. Das epigraphische Material Italiens und Roms

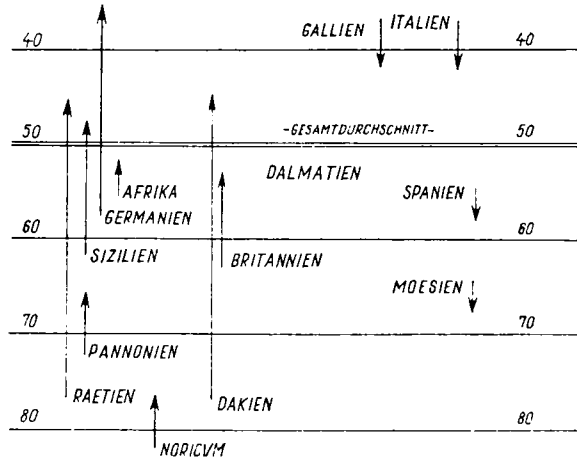


Abb. 5

übertrifft das von Gallien um das Mehrfache, woraus zu schliessen ist, dass zwar die Unkenntnis des Lebensalters bei den romanisierten Gesellschaftsschichten Italiens und Galliens sich etwa die Waage hält, aber diese Schichten waren in Gallien viel dünner als in Italien. Der Prozentsatz von Gallien muss freilich weiter differenziert werden, da Südgallien mit seinen 18% (gg) eine Ausnahmestellung einnimmt. Der Durchschnitt Gesamtgalliens fasst eigentlich den sehr niedrigen Prozentsatz von Südgallien und einen viel höheren vom übrigen Gallien (gb, gc, gf) zusammen. Dem entsprechen unsere Kenntnisse über die Romanisation von Gallia Narbonensis und den Drei Gallien. Gallia Narbonensis steht auf der gleichen Stufe mit einigen Regionen Mittel- und Norditaliens, die eigentlich an der Spitze unserer oben aufgestellten Reihenfolge stehen sollten: Picenum, Samnium, Ligurien und Transpadana (bx, by, bC). In diesen Regionen gab es keine grösseren Städte, die anscheinend immer einen höheren Prozentsatz aufweisen als jene Regionen, denen sie angehörten. Denn Latium, Campanien, Etrurien, die Aemilia, Venetien und Histrien (bt, bu, bz, bA, bB) haben ebenfalls Prozentsätze, die durchwegs niedriger sind als der Durchschnitt Gesamtitaliens, aber auffallenderweise auch niedriger als die Städte derselben Regionen (bf–bp). Und dasselbe gilt auch für Süditalien (bv, bw), Sardinien (bs) und Sizilien (cb), wo es zwar mit der Unkenntnis viel ärger bestellt war, aber die Städte daselbst (bi, br, ca) auch den hohen Prozentsatz ihrer Regionen übertreffen. Die Unkenntnis des Lebensalters war also in den grösseren Städten

immer grösser als im Lande. Diese Erscheinung erklärt sich leicht damit, dass die grösseren Städte Sammelpunkte von verschiedenen fremden Elementen waren, wie ja die höchsten Prozentsätze gerade die beiden Hafentplätze der *Classes Practoriae*, Misenum und Ravenna (bh, bn) und die Hafenstadt Brundisium (bi) aufweisen. Dieser Unterschied zwischen den grossen Städten und den übrigen Siedlungen ist aber immer nur relativ. Der Prozentsatz von Rom steht höher als der von Latium und Ostia (ba, bf, bt), ist aber niedriger als die Durchschnitts von Süditalien (bv, bw) und Sardinien (bs), die wiederum niedriger als die ihrer Städte sind. Es gibt also einen gewissen regionalen Charakter, der für Land, Klein- und Grossstadt gleichfalls bestimmend war, und nur innerhalb dieses regionalen Spielraums von Prozentsätzen sind Unterschiede zwischen Stadt und Land festzustellen.

Die zweite Gruppe hat Prozentsätze zwischen 50 und 59%. Hierzu gehören alle übrigen Gebiete ausser drei Donauprovinzen. Vergleicht man aber die Prozentsätze der Städte mit denen des übrigen Landes, so zerfällt diese zweite Gruppe in zwei oder drei weitere Gruppen, die wohl den verschiedenen Tiefen der Romanisation entsprechen. In Afrika, besonders in Mauretanien und in *Africa proconsularis* haben die Städte, ebenso wie in Italien, meistens einen höheren Prozentsatz als das Land (dr, vgl. dm, do, dq; dI, vgl. dv, dw, dz, dA-dD, dG). Nach dem Beispiel Italiens dürfte man diese Gebiete zu den tiefer romanisierten zählen, bei denen die grössere Unkenntnis des Lebensalters für die Städte bezeichnend war. In Numidien halten dagegen die Städte mit einem höheren Prozentsatz bereits die Waage mit denen, die einen niedrigeren Prozentsatz haben (dl, vgl. dc, df, dk—da, de, di), und die Lage ist ähnlich auch in Germanien (hd, vgl. ha—hb) und Spanien (ef, vgl. ea, ec—eb, ed). Numidien, Spanien und Germanien leiten zu jener Gruppe hinüber, bei der die Städte mit einer ganz kleinen Ausnahme durchwegs niedrigere Prozentsätze als die betreffenden Provinzen selbst haben. Diese Provinzen sind Dalmatien und Dakien (lc, vgl. la; nd, vgl. na, nb), wo die Städte Salonae, Sarmizegethusa und Apulum Zentren der Romanisation waren, und deren Niveau höher stand als das des Landes. Die Lage war also in diesen Provinzen umgekehrt wie in Italien.

Zur dritten Gruppe gehören Noricum, Moesien und Pannonien, in denen die Unkenntnis des Lebensalters bei wenigstens zwei Drittel der epigraphisch greifbaren Bevölkerung bezeugt ist. Der regionale Spielraum der Prozentsätze ist auch für diese Gruppe bezeichnend. Die Städte stehen auch hier niedriger als das Land (ie, vgl. ic; mc, vgl. ma; pg, vgl. pa—pb, pd—pe—Emona: pc scheidet aus, weil ihr hoher Prozentsatz auf die Urbevölkerung südlich der Stadt zurückgeht). Die Städte waren ja die Zentren der Romanisation.

Diese Vergleichen haben regionale Unterschiede erwiesen, die im grossen und ganzen von der Tiefe der Romanisation abhängig sind. Jedes Gebiet oder jede Provinz hat einen eigenen Spielraum von Prozentsätzen, innerhalb dessen die Unterschiede zwischen Stadt und Land beschränkt waren. Dieser

Spielraum war regional bedingt und bestimmte die Grössenordnung aller Prozentsätze, und zwar dermassen, dass auch die der Auswanderer danach gerichtet waren. Die Prozentsätze der Ausgewanderten unterscheiden sich vom Durchschnitt der Heimatsprovinzen nur unerheblich (bF, dL, ef, gh, hd, o, pg, q). Einzig die ausgewanderten Pannonier haben einen um 24% niedrigeren Prozentsatz als derjenige ihrer Heimat gehabt. Dasselbe gilt für die Personen mit einem Namen, die zum grössten Teil offenbar Peregrine waren. Die Unkenntnis des Lebensalters war bei ihnen freilich immer grösser als sonst, aber ihre Prozentsätze übersteigen die Durchschnitte ihrer Provinzen um nicht mehr als 3—11% (dL, ef, f, gh, hd, ie, o, pg), und daher haben die Peregrine einiger Provinzen niedrigere Prozentsätze als die Bürger anderer Provinzen, so z. B. die Peregrine Galliens (gh) im Vergleich zu allen übrigen Provinzen, die Peregrine Germaniens (hd) im Vergleich zu den Donauprovinzen (ie, o, pg) und die Peregrine Afrikas (dL) und Spaniens (ef) im Vergleich zu Noricum und Pannonien (ie, pg). Ähnlich ist der Fall auch bei den Sklaven, deren Prozentsätze (bd, dt, vgl. ra) ebenfalls innerhalb des regionalen Spielraums bleiben, und schliesslich auch bei den Dekurionen (sa—sc), deren Prozentsätze aber meistens auf Grund von verhältnismässig wenigen Angaben errechnet werden mussten.

Die regionale Bestimmtheit äussert sich auch in der Ab- und Zunahme der Unkenntnis des Lebensalters. Zunächst fällt es auf, dass es in den ersten beiden Jahrhunderten grössere Unterschiede gab als später. Die Prozentsätze der Städte schwanken im 1.—2. Jh. zwischen 0 (bp, gd) und 93 (nc), später zwischen 26 (dF) und 83 (pc), die der Provinzen im 1.—2. Jh. zwischen 37 (bF) und 82 (ie), später zwischen 36 (ha) und 77 (ie). Die Provinzdurchschnitte haben sich nur selten erheblich verändert, eigentlich nur in Germanien (von 58 zu 36), in Raetien (von 79 zu 46) und in Dakien (von 79 zu 45), s. auch Abb. 5. Sonst beträgt der Unterschied zwischen den Prozentsätzen der früheren und späteren Zeit meistens nur 1—6, einmal 9% (f). Die Schwankungen zwischen dem grössten und kleinsten Wert innerhalb der Provinzen waren die folgenden:

Provinz	1.—2. Jh.	später
Italien	70	36
Afrika	57	49
Spanien	29	27
Gallien	55	16
Germanien	12	3
Noricum	32	9
Dalmatien	13	9
Moesien	32	10
Dakien	31	10
Pannonien	20	27

Die Schwankungen waren also in der späteren Zeit durchwegs kleiner, und auch im Ausnahmefall Pannonien, wo die Schwankung grösser geworden, ist der Unterschied unerheblich (7). Das ist eine Nivellierungserscheinung, die sich am besten durch den Vergleich zwischen den grösseren Städten und dem übrigen Lande verfolgen lässt. Es gibt in unserem Material eigentlich nur wenige Städte, bei denen sich der Prozentsatz der Unkenntnis wesentlich verschlechtert oder verbessert hat. Aber in diesen Fällen geschah die Veränderung immer in der Richtung des Durchschnitts der übrigen Teile des Landes. War also der Prozentsatz einer Stadt in der Frühzeit verhältnismässig niedrig, so hat er sich in der späteren Zeit erhöht (z. B. bg, bo, bp, vgl. bq; dn, dB vgl. dL; ga, gd, ge, vgl. gf; ie, vgl. id; ma, vgl. mb), und war der Prozentsatz früher hoch, so hat er sich später ebenfalls dem Durchschnitt der übrigen Siedlungen, nur in umgekehrter Richtung angepasst (bn, vgl. bq; dA, vgl. dL; ha, hb, vgl. hd; na, nb, vgl. nc. Ausnahme ist wiederum Pannonien: pa, vgl. pg).

Das Ergebnis dieses Nivellierungsprozesses konnte nichts anderes sein, als dass die Unkenntnis des Lebensalters auch später gleich stark verbreitet war, und der Durchschnitt des ganzen bearbeiteten Materials um kein einziges Prozent verändert wurde (a). Die Richtungen der Veränderungen im Durchschnitt der einzelnen Provinzen haben sich ausgeglichen. Während es am Anfang grössere Unterschiede unter den Provinzen gab, sind diese Unterschiede später kleiner geworden (Abb. 5).

Wie gesehen, ist es berechtigt, im Prozentsatz der Unkenntnis des Lebensalters eine Widerspiegelung der Tiefe der Romanisation zu erblicken. Romanisation und Kenntnis des Lebensalters hängen bis zu einem gewissen Grad zusammen, das auch durch die Prozentsätze einiger von Szilágyi aufgestellten sozialen Gruppen bewiesen werden kann: die Offiziere haben nämlich einen niedrigeren Prozentsatz als die übrigen Soldaten (rc, rd, re), die Händler, Beamte, geistigen Arbeiter usw. (rg, rh, ri, rk) niedrigere, als der Gesamtdurchschnitt (a), die Personen mit einem Namen dagegen immer höhere als der Durchschnitt des betreffenden Gebietes (a). Aber gerade dieses letzte Beispiel hat gezeigt, dass man auch mit einem weiteren, ebenso bedeutenden Faktor zu rechnen hat, der sehr schwer zu definieren ist. Dieser Faktor äussert sich in der regionalen Bestimmtheit aller Prozentsätze, und zwar so, dass die Höhe des regionalen Spielraums letzten Endes von der Höhe der Romanisation abhängt -- deshalb steht Italien an der Spitze und die Donauprovinzen am Ende --, aber alle weiteren Unterschiede bleiben innerhalb dieses regionalen Spielraums. Die Wirkung dieses Faktors geht wohl darauf zurück, dass die Breite der epigraphisch greifbaren, also Inschriften stellenden Schicht nicht überall die gleiche war. Wie bereits beim Vergleich zwischen Italien und Gallien gesehen, hat in Rom oder in Italien ein viel grösserer Teil der Bevölkerung sich leisten können, Grabsteine zu errichten, als z. B. in Gallien. Völlig anders hat sich dagegen dieses Verhältnis in den Donauprovinzen gestaltet, wo der überaus

hohe Prozentsatz der Unkenntnis (besonders in Noricum und Pannonien) damit zusammenhängt, dass auch jene Mitglieder der Urbevölkerung Inschriften gestellt haben, die noch barbarische Namen trugen und kein römisches Bürgerrecht besaßen. Dadurch wird erst klar, warum der Prozentsatz z. B. in der tiberischen Colonia von Emona (pc) so hoch steht. Die Mehrheit der Grabsteine des Stadtbezirkes machen grösstenteils diejenigen der einnamigen Peregrinen mit barbarischer Namengebung aus. Der sehr hohe Prozentsatz von Noricum (ie) geht ebenfalls darauf zurück, dass verhältnismässig breite Schichten der Urbevölkerung Inschriften gestellt hatten.

Setzt man daher Romanisation mit Kenntnis des Lebensalters gleich, so darf die epigraphisch greifbare Schicht nicht der romanisierten Schicht gleichgesetzt werden, denn überall, wo sich ein einigermaßen hoher Prozentsatz der Unkenntnis nachweisen lässt, erscheinen auf Inschriften auch diejenigen, die ihr Lebensalter nicht gekannt haben. Hält man dagegen das Errichten von Inschriften für das Zeichen der Romanisation, dann muss man die Kenntnis des Lebensalters für ein Kriterium halten, das für die Romanisation nicht notwendigerweise bezeichnend war. — Man wird offenbar der zweiten von diesen Alternativen Vorzug geben müssen. Das Errichten von beschrifteten Grabdenkmälern setzt einen gewissen Wohlstand und Ansprüche auf Äusserlichkeiten römischer Art voraus, die Kenntnis des Lebensalters folgt aber nicht aus diesen Voraussetzungen, denn während z. B. ein Analphabet eine Grabinschrift bestellen kann, kann er nicht ohne weiteres seine Lebensjahre in Evidenz halten.

Das heisst aber, dass man untersuchen muss, welche Voraussetzungen zur Kenntnis des Lebensalters nötig waren, und es wird wohl historisch nicht unerheblich sein, in welchem Masse diese Voraussetzungen bei den romanisierten (epigraphisch greifbaren) Schichten vorhanden waren. Ein niedriger Prozentsatz bedeutet das Vorhandensein, ein hoher das Nichtvorhandensein dieser Voraussetzungen. Und da wir notwendigerweise immer innerhalb des epigraphischen Materials bleiben müssen, d. h. innerhalb der romanisierten Bevölkerung, dürfen wir hoffen, dass durch die Untersuchung dieser Voraussetzungen einiges zur Definition des bisher von uns ohne Definition gebrauchten Ausdrucks «Romanisation» beigetragen werden kann.

5. Ursachen und Umstände der Unkenntnis des Lebensalters

Levison hat seinerzeit die Prozentsätze der runden Zahlen zu einem bestimmten Zweck zusammengestellt. In einem umfangreichen Aufsatz über «Die Beurkundung des Zivilstandes im Altertum»⁴⁵ hat er auch die — damals

⁴⁵ Bonner Jbb 102 (1898) 1—82.

allerdings äusserst dürftigen — Angaben über die Geburtsanzeige im Römischen Reich untersucht, und fand einen Widerspruch zwischen zwei, gleichfalls zuverlässig anmutenden Stellen. Diese sind:

Apuleius, de magia oratio (apologia) 89: *de aetate vero Pudentillae, de qua post ista satis confidenter mentitus es, ut etiam sexaginta annos natam diceres nubsisse, de ea tibi paucis respondebo: nam [non] necesse est in re tam perspicua pluribus disputare. pater eius natam sibi filiam more ceterorum professus est. tabulae eius partim tabulario publico partim domo adservantur, quae iam tibi ob os obiciuntur. porrige tu Aemiliano tabulas istas: linum consideret, signa quae impressa sunt recognoscat, consules legat, annos computet, quos sexaginta mulieri adsignabat. probet quinq̄ue et quinquaginta: lustro mentitus sit. parum hoc est, liberalius agam, — nam et ipse Pudentillae multos annos largitus est, redonabo igitur vicissim decem annos — Mezentius cum Ulixē erravit: quinquaginta saltem annorum mulierem ostendat. quid multis? ut cum quadruplatore agam, bis duplum quinquennium faciam, viginti annos semel detraham. iube, Maxime, consules computari: nisi fallor, invenies nunc Pudentillae haud multo amplius quadragensimum annum aetatis ire. o falsum audax et nimium, o mendacium viginti annorum exilio puniendum. dimidio tanta, Aemiliane, mentiris, falsa audes sesquialtera. si triginta annos pro decem dixisses, posses videri computationis gestu errasse, quos circulare debueris digitos adgessisse. cum vero quadraginta, quae facilius ceteris porrecta palma significantur, ea quadraginta tu dimidio auges, non potes digitorum gestu errasse, nisi forte triginta annorum Pudentillam ratus binos cuiusque anni consules numerasti.*

Diese Stelle beweist, dass die Geburten am Anfang des 2. Jhs in der afrikanischen Stadt Oea amtlich registriert wurden, und dass diese «*professio*» einer allgemeinen Sitte (*mos ceterorum*) entsprach. In der *Historia Augusta* ist dagegen zu lesen, dass die Geburtsanzeige, und auch die *tabularia publica* zu diesem Zweck erst von Marcus eingeführt worden sind:

SHA vita Marci 9, 7—8: *inter haec liberales causas ita munivit, ut primus iuberet apud praefectos aerarii Saturni unumquemque civium natos liberos profiteri, intra tricensimum diem nomine imposito. per provincias tabulariorum publicorum usus instituit, apud quos idem de origine fieret, quod Romae apud praefectos aerarii, ut si forte aliquis in provincia natus causam liberalem diceret, testationes inde ferret.*

Demnach wurde angenommen, dass die Geburtsanzeige erst unter Marcus verordnet⁴⁶ und die durch Apuleius bezeugte *professio* in Oea eine lokal beschränkte Sitte gewesen wäre.⁴⁷ Die Schwierigkeit besteht darin, dass der

⁴⁶ z. B. J. MARQUARDT: *Das Privatleben der Römer I* (1879) 87, Anm. 1.: «vollständige Geburtslisten . . . von denen vor der Anordnung M. Aurel's keine Spur nachweisbar ist.» Ähnlich in neuerer Zeit B. DOER: *Die römische Namengebung* (Stuttgart 1937) 11.

⁴⁷ Z. B. LEVISON: a. a. O. 68 ff, wo aber zum *mos ceterorum* (unrichtig) die ägyptischen *ὑπομνήματα τῆς ἐπιγεννήσεως* zitiert wurden.

mos ceterorum und das *tabularium publicum* bei Apuleius nicht wegzuinterpretieren sind, und die korrekte Ausdrucksweise⁴⁸ auch in der Marcusvita eine gute Quelle voraussetzt, weshalb diese Stelle ebenfalls nicht einfach beiseite geschoben werden darf, bloss weil sie in der *Historia Augusta* zu lesen ist.

Die Bestätigung oder Widerlegung der Marcusvita schien also davon abzuhängen, ob in der Kenntnis des Lebensalters nach Marcus eine Besserung eingetreten ist. Levison ging daher an die Errechnung der Prozentsätze der runden Altersangaben, weil «wenn wirklich zuerst Marc Aurel die Ausfertigung von Geburtsurkunden allgemein durchführte, sich dies wegen der erleichterten Altersfeststellung in einer grösseren Genauigkeit der Altersangaben und der Abnahme der runden Zahlen auf den Grabdenkmälern der Zeit nach Marc Aurel äussern musste».⁴⁹ Levison hat die Hauptmasse der Angaben chronologisch nicht geordnet, ging daher von den meistens sehr kleinen Gruppen der datierten Inschriften aus, und fand, dass die runden Zahlen in der späteren Zeit ein wenig abgenommen haben, so z. B. auf den datierten Grabinschriften Spaniens,⁵⁰ des Ostens⁵¹ und besonders Mauretaniens. Er musste dagegen feststellen, dass die Grabinschriften der Christen hohe Prozentsätze von runden Zahlen haben.⁵² Diese Zunahme der runden Zahlen hat er aber teils mit den unsicheren Verhältnissen,⁵³ und teils damit erklärt, dass die Christen gegenüber dem Lebensalter ziemlich gleichgültig waren.⁵⁴ Für entscheidend hielt Levison die mit der Provinzialära datierten Inschriften Mauretaniens, wo die runden Zahlen gerade in der Zeit des Marcus stark abgenommen haben:⁵⁵

vor 169: 10 Angaben, davon 9 rund,
nach 169: 42 Angaben, davon 14 rund.

Abgesehen davon, dass diese beiden Angabengruppen zu klein sind, um auf sie bauen zu dürfen, ist auch das Scheidejahr 169 verdächtig, denn hätte Marcus die Geburtsanzeige allgemeingültig verordnet, dann dürfte man ihre Wirkung auf die Kenntnis des Lebensalters erst etwa nach zwei Jahrzehnten erwarten, frühestens also um 180 (wenn die Verordnung sofort nach dem Regie-

⁴⁸ J. SCHWENDEMANN: *Der historische Wert der Vita Marci* (Heidelberg 1923) 28 f.

⁴⁹ A. a. O. 21. vgl. 26.

⁵⁰ A. a. O. 54: von 49,4% zu 35% (127, bzw. 26 Angaben).

⁵¹ A. a. O. 63: von 73,3% zu 48% (92, bzw. 38 Angaben).

⁵² Gallien 60,7% (a. a. O. 51), Byzacena 57,5% (a. a. O. 56), Africa proconsularis 58,9% (a. a. O. 58), Mittel- und Süditalien 62,6% (a. a. O. 46), Oberitalien 59% (a. a. O. 47). Diese Prozente sind mit unserer Formel umgerechnet in Gallien 51, Byzacena 46, Africa proconsularis 49, Mittel- und Süditalien 53 (Tabelle bD), Oberitalien 49 (Tabelle bE). Man vergleiche diese Zahlen mit den Zahlen der betreffenden Gebiete (Tabelle gh, dK, dI, bt—bC, bF).

⁵³ A. a. O. 47 f.

⁵⁴ A. a. O. 27 f.

⁵⁵ A. a. O. 61.

rungsantritt erfolgt wäre),⁵⁶ weil die Altersangaben der Minderjährigen kein Übergewicht der runden Zahlen aufweisen.

Da Szilágyi sein Material chronologisch so geordnet hatte, dass die Scheidelinie gerade der Fragestellung Levisons entspricht (1.—2. Jh. — spätere Zeit), sind wir heute in der Lage, die Frage auf Grund einer sehr breiten Quellenunterlage zu beantworten. Wie gesehen, kann von einer Besserung in der Kenntnis des Lebensalters in Reichsmassen keinesfalls die Rede sein (Tabelle: a). Die Schlussfolgerung Levisons, dass die Geburtsanzeigen von Marcus verordnet worden seien, und die Stelle der Marcusvita zuverlässig sei, steht daher auf sehr schwachen Füßen. Aber inzwischen haben die Papyrusfunde unser Wissen reichlich vermehrt und haben eigentlich auch die Problemstellung von Levison gegenstandslos gemacht. Es fragt sich nicht mehr, ob die betreffende Stelle der Marcusvita recht hat, sondern wie sie interpretiert werden soll, wenn die *professio liberorum natorum* nicht erst unter Marcus eingeführt wurde.

Die korrekte Lesung der Papyrus P. Kairo 29 812⁵⁷ durch O. Guéraud⁵⁸ hat nämlich den Beweis erbracht, dass die Geburtsanzeige von legitimen Kindern römischer Bürger *e lege Papia Poppaea et Aelia Sentia* geschah, das heisst, dass sie bereits unter Augustus eingeführt worden war. Neuerich kamen ähnliche Urkunden auch ausserhalb von Aegypten, in Herculaneum zutage.⁵⁹ Die Entdeckung von Guéraud hat Anlass zu einer Anzahl juristischer Untersuchungen gegeben,⁶⁰ worauf für alle Einzelheiten hingewiesen werden soll. Vieles ist noch ungelöst und problematisch, aber was für unsere Betrachtungen am allerwichtigsten ist, steht fest, und man kann es folgendermassen zusammenfassen: die Geburt von legitimen Kindern der römischen Bürger wurde im Tabularium angemeldet, wo sie im *album* oder *tabula professionum* gebucht wurde, und woraus die Familie einen Auszug, *descriptum ex tabula professionum* (auch *tabula professionis* genannt) erhielt. Illegitime Kinder durften ins Album nicht eingetragen werden, das haben die *Lex Aelia Sentia* und *Lex Papia Poppaea* ausdrücklich verboten, aber sie wurden beim Tabularium ebenfalls angemeldet,

⁵⁶ SCHWENDEMANN hat a. a. O. die Verordnung auf 177/178 datiert, als Marcus *civilia multa correxit* (v. Marci 27,6). Wegen des *inter haec* an der betreffenden Stelle der Vita dürfte man vielleicht auch an 164 denken, vgl. die vorher (9,4—6) erwähnten Ereignisse, s. aber Anm. 62.

⁵⁷ FIR III² nr. 2.

⁵⁸ Études de Papyrologie 4 (Kairo 1938) 14 ff.

⁵⁹ V. ARANGIO-RUIZ — G. PUGLIESE-CARRATELLI: La Parola del Passato 16 (1961) 67 f.

⁶⁰ F. SCHULZ: JRS 32 (1942) 78 ff; 33 (1943) 55 ff. F. LANFRANCHI: Ricerche sul valore giuridico delle dichiarazioni di nascita (Faenza, 1942. rist. Bologna, 1951). O. MONTEVECCHI: Aegyptus 27 (1947) 3 ff; 28 (1948) 129 ff. E. WEISS: Πραγματεία τῆς Ἀκαδ. Ἀθηνῶν 14/2 (1948) 1 ff. Weitere Literatur s. bei R. TAUBENSCHLAG: The Law of greco-roman Egypt in the Light of Papyri (Warschau 1955) 107, Anm. 17; 626. P. PESCARI: Aegyptus 41 (1961) 129 ff. G. BARBIERI: Diz. Epigr. s. v. Lex Papia Poppaea 736 f. usw. LANFRANCHI, MONTEVECCHI, SCHULZ und WEISS behandeln die juristische Seite des Problems ausführlich (am eingehendsten LANFRANCHI), konnten aber wegen des Krieges meistens nicht von einander Kenntnis nehmen, vgl. MONTEVECCHI: a. a. O. 28 (1948) 137.

worüber eine *tabula testationis* ausgefertigt wurde. Bei Soldatenkindern, die ja bis Septimius Severus als *spurii* behandelt waren, wurde diese Einschränkung *propter distrinctionem militiae* genannt. Dieser Übung entspricht die angeführte Apuleius-Stelle genau. Die Urkunden waren im Tabularium und zu Hause aufbewahrt.⁶¹ — Unter Marcus ist allem Anschein nach eine Änderung eingetreten; frühestens 175 verschwindet der Unterschied zwischen *professio* und *testatio*,⁶² bzw. wurde die *testatio* aufgehoben und für alle Bürgerkinder die *professio* eingeführt.⁶³ Die diesbezügliche Stelle der Marcusvita ist also in dem Sinne zutreffend, dass Marcus die *professio* aller Bürgerkinder verordnet hat (*iuberet u n u m q u e m q u e . . . profiteri*). Nicht zutreffend ist sie dagegen, wenn sie mit dieser Verordnung die Einführung der Geburtsanzeige überhaupt vermengt, und auch die Aufstellung der Tabularia (richtiger eigentlich die Organisierung der *tabularii . . . apud quos* etc.) erst für diese Zeit annimmt.⁶⁴ Die Neuerung⁶⁵ des Marcus nahm wahrscheinlich auf die Freiheitsprozesse Rücksicht,⁶⁶ worüber die Marcusvita auf terminologisch einwandfreie Weise berichtet. Die illegitimen, aber freien Bürger waren in einem Freiheitsprozess gewissermassen benachteiligt, weil sie über keine *professio*, sondern nur über eine *testatio* verfügten.⁶⁷ Eine weitere Änderung ist noch später eingetreten, als man den einmonatigen Termin der *professio* aufgehoben hat.⁶⁸ Diese Lockerung dürfte vielleicht auf die Constitutio Antoniniana zurückgeführt werden.

Aus der oben extensiv angeführten Stelle des Apuleius ist ersichtlich, dass das Lebensalter mit der *tabula professionis* bewiesen werden konnte.⁶⁹ Zahlreiche Juristentexte⁷⁰ und Reskripte handeln darüber,⁷¹ man hat daher das Recht zu fragen, wie das Lebensalter trotz Geburtslisten und Matrikelauszügen doch unbekannt sein konnte?

⁶¹ Vgl. LEVISON: a. a. O. 13.

⁶² LANFRANCHI: a. a. O. 77. 93 ff. Aus dem Jahr 175 haben wir noch Professionsurkunden vom alten Typus (BGU 1032. Oxyr. 1451), s. LANFRANCHI: a. a. O. 94, der die Verordnung des Marcus ebendaher auf 175/177 datiert. Seine weitere Begründung, dass wegen des Singulars in SHA v. Marci 9,7 nur die Alleinherrschaft des Marcus in Frage käme, ist nicht überzeugend.

⁶³ Dies ist aus Dig. XXII 3, 29 zu schliessen. LANFRANCHI: a. a. O. 95, SCHULZ: JRS 32 (1942) 81 f.

⁶⁴ Dieses Missverständnis lässt sich damit erklären, dass das für die Geburtsanzeigen der Stadt Rom zuständige Aerarium Saturni in der Zeit der Historia Augusta nicht mehr existierte, vgl. auch das Praeteritum bei Serv. ad Georg. II 502: *reponebantur acta . . . quae faciebant patres*.

⁶⁵ Unrichtig MONTEVECCHI: a. a. O. 154: Marcus «confermò una legge già esistente».

⁶⁶ SCHWENDEMANN: a. a. O. 28, LANFRANCHI: a. a. O. 92.

⁶⁷ Dass dem Marcus die Freiheitsprozesse auf dem Herzen lagen, geht auch aus v. Marci 10,1 hervor.

⁶⁸ FIR III² nr. 1.

⁶⁹ Eine andere Stelle bei Apuleius ist metam. VIII 24,4: *rursum requirit annos aetatis meae, sed praeco lascivius: mathematicus quidam, qui stellas eius disposuit, quintum ei numeravit annum, sed ipse scilicet melius istud de suis novit professionibus*.

⁷⁰ Besonders Dig. IV 4, und Modestinus Dig. XXVII 1, 2, 1: *ἡ δὲ ἡλικία δείκνυται ἢ ἐκ παιδογραφῶν ἢ ἐξ ἐτέρων ἀποδείξεων νομίμων*.

⁷¹ S. LANFRANCHI: a. a. O. 97 ff.

Die erste und einfachste Erklärung ist, dass die römischen Bürger auch im Besitz eines Matrikelauszugs nicht immer imstande waren, das Lebensalter zu errechnen. Während heute das Lebensalter mit einer einzigen Substraktion errechnet werden kann, brauchten dazu die Römer eine Konsulliste, oder besseren Falls eine Zusammenstellung der Regierungsjahre der Kaiser.⁷² Die Hauptrolle haben die Konsulardatierungen gespielt, nahm doch auch Apuleius in seiner umständlich zugespitzten Art einzig darauf Rücksicht, obwohl er die Gelegenheit gewiss nicht versäumt hätte, die leichtere Rechnungsart durch Kaiserjahre in Vordergrund zu stellen. *O nata mecum consule Manlio* klingt zwar einfach, aber ohne eine Konsulliste hätten nur wenige sagen können, welches Jahr gemeint ist. Die Konsulpaare mussten nacheinander abgezählt werden (*consules legat, annos computet . . . ; iube . . . consules computari; binos cuiusque anni consules numerasti* bei Apuleius); ein eigenes Rechnungsverfahren, das als *annorum computatio* nicht nur bei Apuleius, sondern auch in kaiserlichen Reskripten erwähnt wird.⁷³

Konsullisten standen aber gewiss nicht in jedem Haushalt zur Verfügung, und, wie die Datierungsfehler selbst auf öffentlichen Inschriften zeigen, waren die Menschen keinesfalls auf dem laufenden, was die Kaiserjahre und Konsulen betrifft. So ist es nicht überraschend, wenn jemand über sein eigenes Alter betrogen werden konnte,⁷⁴ oder (bei Apuleius) eine etwa vierzigjährige Frau für sechzigjährig gehalten werden durfte. Bei einem gerichtlichen Verfahren war oft eine *probatio aetatis* nötig,⁷⁵ die vom Tabularium ausgestellt wurde, und auch beim Tabularium waren Irrtümer nicht ausgeschlossen.⁷⁶ Datierungen mit Suffektkonsulen haben die Altersbestimmung offenbar nur noch erschwert. Im allgemeinen hat man den Eindruck, dass das Lebensalter nicht zu Hause errechnet, und noch weniger in Evidenz gehalten wurde. Dann ist es aber kaum wahrscheinlich, dass die Angehörigen eine *probatio aetatis* bloss deshalb ausfertigen liessen, um die Lebensjahre des Verstorbenen genau auf dem Grabstein angeben zu können.⁷⁷

In der Rechtsordnung und im öffentlichen Leben der Römer gab es zahlreiche Gebundenheiten, die mit dem Lebensalter zusammenhingen.⁷⁸ Die wich-

⁷² LEVISON: a. a. O. 20. — Andere antike Zeitrechnungen kommen bei den nach römischer Art datierten Professions- und Testationsurkunden nicht in Betracht. Aber auch mit einer lokalen Ära wäre wenig geholfen, vgl. z. B. Censorinus: de die natali 19.

⁷³ Z. B. bei Celsus: Dig. XXII 3, 13.

⁷⁴ Cod. Iust. II 43, 1: *tabulis quae sunt tuarum professionum oblati tibi aetatem quasi maior annis XXV decepta probasti . . .* s. auch Anm. 76.

⁷⁵ Cod. Iust. IV 19, 9: *adire praesidem provinciae debes et de aetate probare*. Weiteres s. bei LANFRANCI: a. a. O. 97 ff.

⁷⁶ Cod. Iust. II 43, 4: *cum circa probandum annorum numerum apud rectorem provinciae erratum esse proponas . . . ea, quae in prece contulisti, praesidem provinciae examinare convenit, qui, si aestimata aetate tua maiorem annis falsa opinione te praesumpsisse ex probationum luce cognoverit etc.*

⁷⁷ LEVISON: a. a. O. 23. DEGRASSI: a. a. O. 82.

⁷⁸ S. z. B. LANFRANCI: a. a. O. 97, Anm. 291. LEONARD: PW—RE I (1894) 692 ff. usw.

tigsten fielen zwischen die Lebensjahre 18—25; mit 18 Jahren⁷⁹ hörten die Alimentarzahlen auf.⁸⁰ Die volle Freilassungsbefugnis trat mit dem 20. Jahr,⁸¹ die rechtliche Volljährigkeit (*perfecta aetas* Dig. IV 4, 32) mit dem 25. ein. Es war daher oft notwendig, das Lebensalter urkundlich nachzuweisen.⁸² Man darf annehmen, dass so lange, bis die Volljährigkeit nicht *ex aspectu* offenkundig geworden war, jüngere Leute oft auf die *probatio aetatis* angewiesen waren, wenn ihre Sache zum römischen Gericht kam. Bis etwa ins 4. Jahrzehnt hinein hätten also alle ihr genaues Lebensalter in Evidenz halten müssen. Aber auch darüber hinaus gab es Gebundenheiten, wie bei der Werbung um ein municipales Amt,⁸³ bei verschiedenen Excusationen (*exc. tutelae, exc. munerum, exc. munitionum* usw.), bei Immunität,⁸⁴ bei der Errechnung des Kapitalwertes von Alimenten,⁸⁵ beim Erbschaftserwerb⁸⁶ und vielleicht auch bei der Adoption.⁸⁷ Die nach römischem Recht und römischen Verwaltungsnormen Handelnden waren also daran interessiert, dass sie in die Geburtslisten eingetragen werden und gelegentlich Altersprobation erhalten konnten.⁸⁸ Daraus folgt die zweite Erklärung: diejenigen, die ihr Alter nicht gewusst haben, waren gegen gewisse römische Einrichtungen gleichgültig. In dieser Hinsicht ist es einerlei, ob jemand sein Alter deshalb nicht kannte, weil er nicht standesamtlich registriert war, oder weil er sein Alter aus den angeführten Gründen nicht errechnen konnte. Denn hätte er nötig gehabt, sein Alter zu wissen, dann hätte er auch irgendeine Möglichkeit finden können, über Hilfsmittel der Zeitrechnung zu verfügen. Viele haben die Geburt ihrer Kinder nicht einmal angemeldet. Solche Fälle werden im 3. Jh. in Reskripten behandelt.⁸⁹ Sogar die *probatio aetatis* durfte nach dem Aussehen (*ex aspectu corporis*)⁹⁰ und nicht nach den Urkunden

⁷⁹ Das Jahr der *plena pubertas* nach Dig. I 7, 40, 1, vgl. aber Dig. XXXIV 1, 14. Die Stellen sind, wie mich Herr Professor KUNKEL darauf aufmerksam gemacht hat, interpoliert. — Aber es ist auffallend, dass das 18. Lebensjahr in einigen Gruppen und Provinzen gerade so unverhältnismässig häufig ist, wie die runden Zahlen vom 20. Jahr an, s. z. B. die Sklaven und Freigelassenen (XIV 322—324), die «Beamte, Pächter» usw. (XIV 332), Dalmatien (XIV 304), Italien (Abb. 1), ferner in Afrika Lambaesis, Carthago (auch hier bei Sklaven!) usw. Bei den Männern immer stärker als bei Frauen.

⁸⁰ Dig. XXXIV 1, 14, 1.

⁸¹ Gerade nach der Lex Aelia Sentia: Gaius I 38, 40, vgl. GUÉRAUD: a. a. O. 28. Seit Justinian bereits mit dem 17. Lebensjahr: Inst. I 6, 7.

⁸² Dig. IV 4, 32, Cod. Iust. II 45, 2, 1 usw. LEVISON: a. a. O. 8.

⁸³ Im 25. oder 30. Lebensjahr. Lex Malacitana LIV = ILS 6089, p. 520, bzw. Lex Iulia Munic. ILS 6085, p. 496.

⁸⁴ Z. B. Dig. I 15, 3.

⁸⁵ Dig. XXXV 2, 68.

⁸⁶ Gebundenheiten für Männer zwischen 25 und 60, für Frauen zwischen 20 und 50, nach der Lex Papia Poppaea WEISS: a. a. O. 7.

⁸⁷ Dig. I 7, 40, 1. Inst. I 11, 4.

⁸⁸ Deshalb geschah nach LANFRANCHI (a. a. O. 106 f) die *professio* oder *testatio citra causarum cognitionem*. Dass man den *professionem* wenig Vertrauen entgegengebracht hat, darüber s. z. B. Cod. Iust. IV 19, 14: *ementita professio* und die vielen Reskripte über *falsae professiones*.

⁸⁹ Cod. Iust. V 4, 9: *neque . . . tabulae . . . ad natam filiam pertinentes factae sunt*, VII 16, 15: *omissa professio*. FIR I² nr. 90: *παρολιθηθείσα τέκνων απογραφαι* vgl. noch Schol. Basil. XLVIII 20, 5 (LEVISON: a. a. O. 17).

⁹⁰ Dig. IV 4, 32.

(*ex nativitatibus scriptura*)⁹¹ geschehen, offenbar aus dem einfachen Grund, weil Urkunden nicht vorhanden waren. Demnach ist es wenig wahrscheinlich, dass das Lebensalter mit Hilfe von privaten Aufzeichnungen oder Privaturkunden⁹² in Erinnerung gehalten war.

Eine weitere Möglichkeit, das Lebensalter in Evidenz zu halten, scheint der fünfjährige Census gewesen zu sein.⁹³ Hat aber jemand den Faden der Zählung verloren, dann wurde sein Alter auch beim Census schätzungsweise eingetragen,⁹⁴ und beim nächsten Census mit 5 vergrößert. In dieser Hinsicht hat R. Étienne recht, wenn er die runden Altersangaben auf die fünfjährigen Perioden des Census zurückführt.⁹⁵

Soweit die Bürger. Man dürfte annehmen, dass es mit der Kenntnis des Lebensalters der Sklaven und Freigelassenen noch ärger bestellt war. Die Statistiken haben jedoch gezeigt, dass der Durchschnitt bei den Sklaven (ra) mit dem Gesamtdurchschnitt die Waage hält (a). Der Prozentsatz bei den Sklaven in Rom (bd) stand nicht bedeutend höher als der Durchschnitt in Rom (ba), und in Carthago stand er sogar niedriger als der Durchschnitt der Freigeborenen (ds, dt).⁹⁶ Die Erklärung dafür ist einfach. *In servis deferendis observandum est, ut et nationes eorum et aetates et officia et artificia specialiter deferantur*,⁹⁷ haben doch alle diesen Eigenschaften den Wert des für eine Ware geltenden Sklaven bestimmt. Ferner waren die Freilassungen an das Alter der Sklaven gebunden. Ein junger Sklave bis zum 30. Lebensjahr durfte nur unter gewissen Umständen manumittiert werden.⁹⁸ Sklaven wurden deshalb nicht nur als Vermögensbestandteile⁹⁹ amtlich registriert, sondern ausserdem im gleichen *Album probationum* gebucht wie die Bürger,¹⁰⁰ wohl um zu vermeiden, dass Peregrine durch fiktive Manumission zum Bürger erhoben werden. Da die Umstände der Manumissio durch die Lex Aelia Sentia geregelt waren, wurde dieses Album probationum offenbar ebenso wie die Professiones unter Augustus eingeführt. Es ist daher nicht überraschend, dass die Sklaven und Freigelassenen ihr Alter ebensogut oder ebensowenig gekannt haben wie die Freien.

⁹¹ Dig. XXVII 1, 2.

⁹² die *ad probationem sola non sufficiunt*: Cod. Iust. IV 19, 5.

⁹³ *aetatem in censendo significare necesse est*: Dig. L 15, 3, pr. vgl. Plin. n. h. VII 159, wo der Kaiser Claudius *collatis censibus* das Alter des 150jährigen T. Fullonius kontrolliert hat.

⁹⁴ S. das Beispiel in Anm. 27.

⁹⁵ Atti del 3. Congresso Internaz. di epigr. greca e latina, Roma 1957 (Roma 1959).

⁹⁶ LEVISON kam zu ähnlichen Ergebnissen a. a. O. 24, 26. Zur Kontrolle habe ich die Prozentsätze bei der Zivilbevölkerung von Carnuntum im 1.—2. Jh. errechnet (aus den Angaben bei MÓCSY: a. a. O. nr. 156). Unter 15 Altersangaben von Freien fand ich 13 runde Zahlen (83%), unter 16 Altersangaben von Sklaven und Freigelassenen 10 runde Zahlen (53%). Es ist daher nicht zutreffend, wenn DEGRASSI (a. a. O. 83) die Unkenntnis des Lebensalters in Italien auf die hohe Anzahl der Freigelassenen zurückführt.

⁹⁷ Dig. L 15, 4, 5.

⁹⁸ Gaius I 18, 39.

⁹⁹ R. TAUBENSCHLAG: Opera Minora I (Warschau 1959) 249.

¹⁰⁰ FIR III² nr. 6 = Sammelbuch Gr. Urk. I, 5217: Ἐκ τόμον ἐπιγραφῶν . . . : [οἱ δ]ιογεγραμμένοι Ῥωμαῖοι καὶ ἀπελευθεροὶ καὶ δοῦλοι . . .

Die Peregrinen schliesslich waren zwar gleichfalls in Geburtslisten eingetragen, aber die diesbezüglichen Vorschriften scheinen viel lockerer gewesen zu sein. Das für unseren Gesichtspunkt wesentliche Element, das Festhalten des Geburtsdatums hat keine grosse Rolle gespielt, wenn die Meldung auch nach Jahren erfolgen durfte, und sich wahrscheinlich nur auf die männlichen Kinder erstreckt hat.¹⁰¹ Wenn die Voraussetzung der Kenntnis des Lebensalters bei den Bürgern die Kenntnis von gewissen römischen Einrichtungen oder die Rücksicht auf sie war, dann ist es leicht verständlich, dass die Unkenntnis des Lebensalters bei den Peregrinen noch stärker verbreitet war. Aber unsere Statistiken haben gezeigt, dass die Prozentsätze der Unkenntnis bei Bürgern und Peregrinen nur innerhalb des regionalen Spielraums voneinander abweichen; die Unkenntnis war z. B. bei den Peregrinen von Gallien weniger verbreitet als bei den Bürgern anderer Provinzen. Ist der Prozentsatz der Unkenntnis irgendwo hoch, so bedeutet dies, dass gewisse römische Rechts- und Verwaltungsnormen dort nicht einmal von den Bürgern, ja nicht einmal von den Dekurionen (sb, sc) berücksichtigt wurden, und ist er irgendwo niedrig, so wurden sie dort in entsprechendem Masse auch von Peregrinen berücksichtigt.¹⁰² Ein gemeinsames Reichsniveau lässt sich nicht einmal bei der munizipalen Aristokratie feststellen.

Damit glaube ich den Punkt erreicht zu haben, den zu überschreiten ich mich aus zweifachem Grund nicht entschliessen kann. Erstens, weil die weiteren Folgerungen — wenn sie überhaupt gestattet sind — eine juristische Untersuchung erfordern, wozu ich mich nicht berufen fühle, und zweitens, weil weitere Schlüsse nur aus differenzierteren Angabengruppen zu ziehen wären, die nach entsprechenden Gesichtspunkten aufgestellt sind. Solche Gruppen stehen uns zur Zeit nicht zur Verfügung.¹⁰³ Dass die bereits gezogenen Schlüsse letzten endes keine Fehlschlüsse sind, glaube ich behaupten zu dürfen, zumal die auf Abb. 5 dargestellten Unterschiede unter den Provinzen des lateinischen Westens im grossen und ganzen den «erheblichen Niveauunterschieden im Rechtsleben»¹⁰⁴ entsprechen, die die anderweitigen Untersuchungen von W. Kunkel ergeben haben.¹⁰⁵ Es würde sich aber bei einer wei-

¹⁰¹ TAUBENSCHLAG: *The Law* . . . 625 f, s. auch LANFRANCHI: a. a. O. 48, Anm. 127 und die oben zitierten Aufsätze von MONTEVECCHI. — Peregrine Soldaten haben über die Geburt ihrer Kinder private Testamentsurkunden ausgestellt (BGU VII 1690), offenbar um die künftige Legitimation und die rückwirkende Bürgerrechtsverleihung anlässlich der *honestia missio* zu erleichtern.

¹⁰² Aus Dakien z. B., wo die Prozentsätze stark abgenommen hatten (na—nc), haben wir die Mancipationsurkunden von Kaufverträgen zwischen Bürgern und Peregrinen oder sogar zwischen zwei Peregrinen!

¹⁰³ Es fragt sich freilich, ob die Grösse solcher Angabengruppen zuverlässige Analysen ermöglichen würde. Bereits die Dekurionen liessen sich nicht je nach Provinz gruppieren (Tabelle sa—sc).

¹⁰⁴ W. KUNKEL: *Herkunft und Soziale Stellung der Römischen Juristen* (Weimar 1952) 371.

¹⁰⁵ S. besonders a. a. O. 263 ff. über die inschriftlich bezugten Juristen im Römischen Reich (die meisten in Italien, Afrika, einige in Dalmatien, Südgallien und Spanien).

teren Untersuchung wohnicht nur um Niveauunterschiede handeln, sondern auch um das Fortleben von herkömmlichen lokalen Einrichtungen. In dem im Verhältnis zu anderen Donauprovinzen relativ gut romanisierten Noricum z. B. kann der sehr hohe Prozentsatz der Unkenntnis (ia—ie) nur damit zusammenhängen, dass das römische Recht gewisse lokale Einrichtungen nicht zu verdrängen vermochte. Es liess sich auch anderswo feststellen, dass auf den Grabinschriften der Ortsansässigen nur sehr selten *heredes ex testamento* genannt werden, während solche auf den Grabinschriften der Soldaten derselben Gegend äusserst häufig vorkommen.¹⁰⁶ Offenbar war die Erbfolge durch althergebrachte Familienordnungen geregelt, wozu die Anwendung römischer Kategorien weder nötig noch möglich war.

Was schliesslich die Romanisation betrifft, dürfte man die Behauptung wagen, dass das Eindringen römischer Rechts- und Verwaltungsnormen mit ihr nicht korrelativ war. Kunkel hat die Pflege des römischen Rechts in Afrika mit der «allgemeinen wirtschaftlichen und kulturellen Blüte» in Zusammenhang gebracht.¹⁰⁷ In den Donauprovinzen lagen die Dinge ganz anders. Die Romanisation war eine vorwiegend politische Erscheinung,¹⁰⁸ die nur insofern mit der wirtschaftlichen Blüte zusammenhing, dass diese Blüte meistens aus politischen Gründen hervorgerufen wurde.¹⁰⁹ Eine intensive Rechtspflege setzt aber ein entwickeltes Wirtschaftsleben, insbesondere rege Warenproduktion und Wertverkehr voraus, wovon in den Donauprovinzen nur in beschränktem Masse die Rede sein kann.

Eines ist noch auffallend. Die Altersangaben kommen erst vom Anfang der Kaiserzeit auf,¹¹⁰ und sind seither regelmässige Bestandteile der sepulchralen Texte. Es ist bezeichnend, dass dieser Regel auch diejenigen folgten, die eigentlich alle Gründe gehabt hätten dies nicht zu tun. Das Lebensalter wurde auch dann angegeben, wenn es unbekannt war, obwohl es hätte ebensogut verschwiegen werden können. Eine verwandte Erscheinung ist das Errichten von Inschriften überhaupt. Die groben Schreib- und Sprachfehler auf den Inschriften legen es nahe, dass die Besteller der Denkmäler kein oder nur ein sehr

Zu Afrika ebda 347 ff, zu Dalmatien 350. Die relativ niedrigen Prozentsätze des 3. Jhs. in Dakien dürften mit der auffallenden Praxis der Mancipatio auf den Wachstafeln (FIR III² nr. 87—90) auf die gleichen Ursachen zurückgehen.

¹⁰⁶ MÓCSY: a. a. O. 132

¹⁰⁷ KUNKEL: a. a. O. 352. Der andere Faktor nach ihm, die «Neigung des dortigen Menschenschlages zur Dialektik» geht offenbar auf den ersten Faktor zurück. Im allgemeinen vgl. die treffliche kurze Darstellung bei F. WIEACKER: *Recht und Gesellschaft in der Spätantike* (Stuttgart 1964) 27 ff.

¹⁰⁸ S. z. B. E. SWOBODA: *Anz. der phil.-hist. Kl. d. Öst. Akad. d. Wiss.* 1963, 153 ff.

¹⁰⁹ S. z. B. A. MÓCSY: *Annales Univ. Sc. Budapestinensis Sectio Hist.* 5 (1963) 3—13; *Acta Arch. Acad. Sci. Hung.* 15 (1963) 435 f.

¹¹⁰ DEGRASSI: a. a. O. 78 f.

schlechtes Latein gekonnt hatten.¹¹¹ Doch haben sie Inschriften errichtet, weil dies gewissen sozialen und politischen Normen entsprach. Die Ideen der Romanisation waren vielleicht zu weit gespannt — jedenfalls weiter, als die objektiven Voraussetzungen der provinzialrömischen Gesellschaft.¹¹²

Zusammenfassung

1. Auf den (lateinischen) Grabinschriften kommen die Altersangaben mit runden Zahlen unverhältnismässig häufig vor. Diese Häufigkeit lässt sich nur dahin erklären, dass das Lebensalter bei einem Teil der Verstorbenen unbekannt war und daher schätzungsweise angegeben wurde. Wo die Schätzung mit *p(lus) m(inus)* oder ähnlich kenntlich gemacht war, dort haben auch gewisse Stützpunkte bei der Errechnung des Alters mitgespielt.

2. Aus den Prozentsätzen der runden Zahlen kann der Prozentsatz derjenigen, deren Alter unbekannt war, mit der Formel $x = 1,25 q - 25$ errechnet werden, wo q der Prozentsatz der runden Zahlen vom 20. Lebensjahr an ist.

3. Die mit dieser Formel errechneten Prozentsätze der Unkenntnis weisen bezeichnende Unterschiede auf, die die jeweilige Höhe der Romanisation mit folgenden Einschränkungen widerspiegeln:

a) ist der durchschnittliche Prozentsatz eines Gebietes relativ niedrig, so sind dort die Prozentsätze der Städte ein wenig höher; und wo der durchschnittliche Prozentsatz relativ hoch ist, dort sind die Prozentsätze der Städte ein wenig niedriger,

b) alle Prozentsätze innerhalb eines Gebiets gehören zur selben Grössenordnung. Es gibt regional bedingte Spielräume, und nur die Höhe des regionalen Durchschnitts darf mit dem Niveau der Romanisation verglichen werden.

Im Gesamtdurchschnitt des Prozentsatzes der Unkenntnis ist mit der Zeit weder eine Besserung noch eine Schlechterung eingetreten.

4. Die Unkenntnis des Lebensalters bei römischen Bürgern scheint zunächst unerklärlich zu sein, zumal die Bürger standesamtlich registriert waren. Die Unkenntnis ist mit Schwierigkeiten der Zeitrechnung und besonders mit der Gleichgültigkeit gewisser sonst romanisierter Schichten gegenüber den Einrichtungen römischen Rechts und römischer Verwaltung zu erklären. Das-

¹¹¹ Vgl. PW—RE Suppl. — Bd. IX (1962) 767. Dass hier gewisse Normen eine ausschliessende Rolle gespielt haben, geht auch daraus hervor, dass die Orientalen, deren Muttersprache griechisch, syrisch usw. war, in den Westprovinzen lateinische Grabinschriften und Altäre gestellt haben.

¹¹² Herr Professor KUNKEL hat mir die Auszeichnung zuteil werden lassen, die erste Fassung dieses Aufsatzes zu lesen und mir seine ausserordentlich nützlichen kritischen Bemerkungen mitzuteilen. Ich spreche ihm dafür auch hier meinen aufrichtigen Dank aus. Für Form und Inhalt des Aufsatzes trage ich allein die Verantwortung.

selbe gilt für die Sklaven und auch für die Peregrinen, deren Prozentsätze durchwegs nach der Grössenordnung des betreffenden Gebietes gerichtet waren.

5. Die Ergebnisse sind freilich nur für die auf Inschriften genannten Bevölkerungsschichten gültig; aber es darf ohne weiteres angenommen werden, dass es mit der Kenntnis des Lebensalters der epigraphisch nicht greifbaren Schichten noch ärger bestellt war.

(Auf Abb. 6 habe ich die Prozentsätze in einem Kartodiagramm zusammengefasst, und auch die Grössenordnungen der Angabengruppen kenntlich gemacht. Die angegebenen Prozentsätze sind auf dem Kartodiagramm diejenigen der Kenntnis des Lebensalters [also $100 - x$], während die Tabelle im Text die Prozentsätze der Unkenntnis angibt.)



J. HARMATTA

NEW EVIDENCES FOR THE HISTORY OF EARLY MEDIEVAL NORTHWESTERN INDIA

I

In the volume containing the summaries of the papers, the participants of the XXVIth International Orientalist Congress, held in New Delhi between the 4th and 10th January, 1964, could read with interest the statement of H. Humbach and R. Göbl,¹ according to which the latter scientist succeeded in discovering two inscriptions, which place the question of the chronology of Kaniška in a new light. According to the summary one of the inscriptions contains Arabic and Bactrian text, while the other represents a Sanskrit-Bactrian bilingual text. In the inscriptions — with the exception of the Arabic text — dating can be found. Especially interesting is the Sanskrit-Bactrian bilingual inscription, inasmuch as in this dating according to two different eras can be observed. The authors think that the Sanskrit text was dated according to the Saka Era, while the Bactrian text uses a time-reckoning different from this which could be called Bactrian Era. According to their opinion the dating of the Surkh Kotal inscriptions was also made according to this Bactrian Era, and on this basis their absolute chronological position can be determined. Finally they also assume that this newly discovered «Bactrian Era» is identical with the Kaniška Era.

The paper of H. Humbach and R. Göbl was actually read on the 5th January 1964 in the afternoon,² but the results described in it were considerably different from the conceptions of the summary in several points. It seems, that the results of the authors at the time of the sending in of the summary were still in a rather liquid state. At any rate from the paper it has become clear that we have to deal not with two, but with three inscriptions the first of which contains Arabic and Bactrian text, and in the Bactrian text a dating relating to the 635th year of an era can be read. The second inscription is a Sanskrit-Bactrian bilingual text, in which the Sanskrit version contains a dating relating to the 38th year of an era, while the Bactrian text contains a dating relating to the 612th year of an era different from the former. Finally the third

¹ Summaries of Papers. Ed. by R. N. DANDEKAR. Delhi 1964. 126 foll.

² In section 6/D (Indology. History and Culture), under the title «The Date of Kanishka in the Light of a Sanskrit-Bactrian Bilingual».

inscription is an Arabo-Sanskrit bilingual one in the Arabic text of which the dating Hīgra 243 occurs, while its Sanskrit text contains a dating relating to the 32nd year of an era.

According to Humbach's argumentation, starting out from the dating of the Arabic text, the beginning of the era used in the Bactrian text can easily be determined. If the 32nd year of the era used in the Sanskrit text corresponds to the 243rd year of the Hīgra, or to 857 A. D., then in the Sanskrit-Bactrian bilingual the 38th year of the era used in the Sanskrit text will correspond to 862 A. D. Subtracting from this the 612 years of the era used in the Bactrian text, we shall get 250 A. D., as the beginning of the «Bactrian Era». According to Humbach's opinion the «Bactrian Era» is identical with the Kaniška Era, and thus we ought to date the beginning of the reign of Kaniška to 250 A. D.³

As it became clear in the course of the discussion following the lecture, the specialists participating at the session of the section received Humbach's conception with definite scepticism, and on the one hand they doubted the bilingual character of the inscriptions (thus for example Mme. J. van Lohuizen, Dutch professor), and on the other hand they held the supposed identity of the «Bactrian Era» and the Kaniška Era unestablished. After this, the next day a summary of Humbach's paper appeared in the «Daily Bulletin» the conception of which again considerably differed from the paper, as well as from the summary printed in advance. The new element in the text of the summary was that Humbach now already presumed a «Bactrian Era» beginning in 251 A. D., which according to him was to eternize the victory won by the Sassanians over the Kušāṇas, and thus the middle of the IInd century A. D. renders itself as the starting date of Kaniška's reign.⁴

It is not known, whether in the drawing up of the summary the intention of H. Humbach asserted itself, or it was Mrs. R. Thapar, secretary of the section, who simply drew the conclusions necessarily resulting from the critical remarks. The recent assumption, according to which the *raison d'être* of the «Bactrian Era» was the victory of the Sassanians over the Kušāṇas, supports rather the first possibility. At any rate, the main thesis of Humbach's lecture, according to which the «Bactrian Era» occurring in the described inscriptions is identical with the Kaniška Era, and thus the beginning of the reign of Kaniška can be placed to 250/251 A. D., can already be omitted.⁵

³ On the basis of my notes prepared at the session.

⁴ Cf. «Daily Bulletin» 5th January 1964, International Congress of Orientalists XXVI Session, New Delhi, 9–10. The text of the summary is as follows: «Two inscriptions the Peshawar Museum found in the Tuchi agency of the north-west throw light on the history of the Seythian domination in Bactria and India. The calculation of the eras referred to in these inscriptions relates to the date of Kanishka, one of the yet unsettled major problems of ancient Indian chronology. A Bactrian era of A. D. 251 was suggested perhaps to commemorate the Sassanian victory over the Kushans, and this would strengthen a date in the mid-Second Century A. D. as a possible date for Kanishka.»

⁵ H. HUMBACH read a paper at the XXVI. International Congress of Orientalists also on the 5th January 1964 in the forenoon in the Section of Iranian Studies, entitled «New

Although thus the great expectation which hoped from the above-mentioned inscriptions the solution of the chronology of Kaniska, proved to be idle, still the discovery of Bactrian records written in Greek letters in the Indus Valley deserves great interest. Therefore a great service was rendered to science by Ahmad Hasan Dani, professor of the Peshawar University, when he published the inscriptions⁶ with the cooperation of R. Göbl and H. Humbach, and hereby he made their study available for a broader circle of scholars.

Altogether four inscribed stones have been published, and these contain 2 Arabic, 2 Sanskrit, and 3 Bactrian inscriptions.⁷ All the stones have been found in the territory of the Tochi Agency, between Idak and Spinwam, west of Bannu, and at present are kept in the Peshawar Museum. The inscribed stones were described already in 1946 by M. A. Shakoor,⁸ but stone «A» containing Arabic and Sanskrit inscriptions was studied still earlier by M. H. Kuraishi and M. Shafi,⁹ moreover the former also published the reading of the Sanskrit inscription given by H. Sastri. According to the card-index of the Peshawar Museum H. Sastri deciphered a few words from the Sanskrit inscription of stone «B», too.¹⁰

In the above-mentioned publication the Arabic and Sanskrit inscriptions were in charge of A. H. Dani, while the Bactrians were described by R. Göbl and H. Humbach. A. H. Dani completed the interpretation of the Arabic inscription given by Kuraishi and Shafi with the remarks of Haji Muhammad Idris, professor of Arabic at the Peshawar University, and he also corrected the interpretation of the Sanskrit inscriptions given by Sastri, in several points.

As for the historical background of the inscriptions, A. H. Dani thinks that the construction of a tank on part of the Arab official mentioned in the Arabic text clearly shows the consolidation of the Arab rule in the region of Idak and Spinwam as from 856/857 A. D. According to his opinion, however, the local ruler continued to be in his office also under the Arab rule, and this

Materials on Bactrian Language». It appears that in this he dealt also with the explanation of the Tochi inscriptions, but regarding this we do not find any nearer foothold either in the summary of the lecture printed in advance (Summaries of Papers. 35), or in the «Daily Bulletin» (5th January 1964. 4). I had no opportunity to attend this lecture of HUMBACH's.

⁶ A. H. DANI—H. HUMBACH—R. GÖBL: Tochi Valley Inscriptions in the Peshawar Museum. Ancient Pakistan (Bulletin of the Department of Archaeology, University of Peshawar) 1 (1964) 125—135. I express my gratitude to Dr. L. BESE, Director of the Oriental Library of the Hungarian Academy of Sciences, who drew my attention to this publication.

⁷ A. H. DANI speaks only about three inscriptions, because he believes that we have to do with bilingual inscriptions.

⁸ M. A. SHAKOOR: A Handbook to the Inscriptions Gallery in the Peshawar Museum. Peshawar 1946. It is inaccessible for me.

⁹ M. H. KURAISHI: A Kufic Sarada inscription from the Peshawar Museum. Epigraphia-Indo-Moslemica. 1925—26. 27—28. It is inaccessible for me. M. SHAFI: هندو-سینا قدیمہ سنہ ۸۵۶ء کی کتبہ. Similarly inaccessible for me.

¹⁰ Cp. A. H. DANI: *op. cit.* 126.

explains why besides the Arabic inscription, also Sanskrit and Bactrian texts appear. According to Dani the title of the local ruler appearing in the Sanskrit and Bactrian inscriptions is *nṛpa* in Sanskrit, and *ṣahi*, *kuzula* or *kuzana*¹¹ and the descendant of *Fromo* in Bactrian, and his name in the Sanskrit variant is *Navīna Candra Phruma*, son of *Khojana*, and in the Bactrian variant *Gomo ṣahi*. Regarding the question, to which historical dynasty the local ruler can be ranged, Dani raises also two possibilities. On the one hand he thinks that the rulers bearing the title *ṣahi* belong to one of the branches of the old *Kuṣāṇa ṣahi* kings of Gandhāra. On the other hand, however, he considers possible that they are identical with the rulers of Zābulistān, who bore the title *ratbil*, and he wants to trace back the latter word to *ratna-pāla*.¹²

H. Humbach and R. Göbl complete A. H. Dani's conclusions with the assumption that the beginning of the Bactrian Era used in Tochi falls on 230 A. D., when the delegation of the Kuṣāṇa king Po-t'iao paid a visit to the Chinese Court. For the time being the authors do not decide, whether the Bactrian Era beginning in 230 A. D. was introduced by Po-t'iao after the return of his delegation, or by one of his rivals, who in the meantime achieved some results.¹³

Even if temporarily we disregard the interpretation of the inscriptions, at any rate a series of considerations arise immediately concerning the historical explanation connected with them. As it becomes clear from the arguments of A. H. Dani, the inscriptions can by no means be regarded as bilingual or trilingual texts, because according to the Arabic inscription an Arab official had built a tank, while according to the Sanskrit inscription a *nṛpa* named Navīna Candra Phruma, and according to the Bactrian inscription a certain *ṣahi* Gomo eternized a certain establishment of his. We can, of course, imagine that in the Indian territories under Arab rule Arabo-Sanskrit bilingual inscriptions were prepared. In this case, however, the texts of the inscriptions in different languages should be identical in their contents. It is, however, quite unlikely that besides the inscription of an Arab governor the local ruler should have carved his own inscription with identical or similar contents, or that he should attribute to himself the establishment eternized in the Arabic inscription. In fact in the case of stone «A» from the Sanskrit text only the dating could be read, while on the Arabo-Bactrian «bilingual» stone «C/1» the Arabic inscription could not at all be deciphered. Thus, as a matter of fact, it cannot be proved that the text or content of the inscriptions was identical. It can also easily be imagined that the Sanskrit text on stone «A», and the Bactrian text on stone

¹¹ DANI brings also the place names *Khazana* and the the form *Khojana* into connection with the name *Kuṣāṇa*. This, however, is unacceptable from the the viewpoint of phonological development.

¹² A. H. DANI: *op. cit.* 126—127.

¹³ H. HUMBACH—R. GÖBL: *op. cit.* 135.

«C/1» was carved in only later on, and that they with regard to their contents are not in connection with the Arabic text. We could most easily regard the Sanskrit and Bactrian inscriptions of stone «B» as bilingual texts, but these according to the reading and interpretation of the authors differ from each other in such a degree that they cannot be held bilingual either.

The historical conceptions attached to the Tochi inscriptions — even if we disregard the correctness of the reading and linguistic interpretation of the inscriptions — must therefore be held unlikely already in advance. But in order to make a correct picture of the historical background of the inscriptions, we have also to examine their reading and their interpretation, inasmuch as this is possible on the basis of the unsatisfactory photographic reproductions.

II

The stone bearing inscription «A» was found in 1907 (Shakoor No. 49) A. H. Dani does not give its nearer site. On the stone above there is an Arabic inscription consisting of 9 lines, and under the same a Sanskrit inscription consisting of 5 lines follows. Since on the published photograph (see Fig. 1) the lower part of the stone cannot be seen, it cannot be stated whether the Sanskrit inscription also originally consisted of only 5 lines, or the lower part of the stone was broken off, and thus part of the inscription is missing.

The style of writing of the Arabic inscription can be defined as *kūfī*, which, however, shows to some extent the effect of the *nashī* style. Unfortunately, it is difficult to determine the exact form of the letters on account of the poor quality of the photographic reproduction. For a similar reason the reading of the inscription is difficult in several points. Besides this the uncertain readings of those, who studied the inscription in original, point to the fact that also the stone is considerably worn off, and as a result of this certain parts of the letter forms have disappeared. What we can see of the inscription on the photograph under a magnifying glass, is represented by the autography prepared by me, and the letter forms determined in a similar way are shown on the table of script (Figs 2 and 3). We also have to remark that according to the statement of Dani the inscription does not use dots for the distinction of the letters with identical form. On the other hand, however, on the photograph in certain cases, thus in line 2 on the letters *qāf*, *bā*, and *nūn* we can clearly observe the use of dots. If the photograph does not mislead me, and this is really so, then the inscription in general follows the practice of the early *kūfī* inscriptions, according to which in certain cases the dots were used.¹⁴

^{13a} [For technical reasons, the Figs referred in the text will be published in the continuation of this paper appearing under the title «Late Bactrian Inscriptions» in the forthcoming number of the *Acta Antiqua*. — Editor.]

¹⁴ See for example V. A. КРАСКОВСКАЯ: Эпиграфика Востока 6 (1952) 46 ff., Pls. III, V—VI.

The text of the Arab inscription of stone «A» can be read as follows:

line 1 *hd' m' 'mr 'qd hd'*
 2 *'l-tl'h qy bn 'm'r tq' b'l*
 3 *'lh mnh sl[']h' '[m]'lh*
 4 *wǧf'r' lh šqy ġ' dth*
 5 *k't'b ywm 'lǧm'h ll'lh*
 6 *'šrh hlwn mn ġm'dy*
 7 *'l-'hrh fy' snh ll'lh w'rb'wn*
 8 *wm'y't'n' sly 'l' 'ly' mħmd*
 9 *w'l mħmd 'l-'mš'[tf]y*

Remarks on the reading

Line 1. Instead of *hd'* standing at the end of the line M. Shafi gives the reading *bn'[']*, but on the basis of the photograph the reading *hd'* can be regarded as quite sure (thus correctly also A. H. Dani), and beside the verb 'aqada 'to prepare a structure' the occurrence of the verb *banā* 'to construct' seems also superfluous. M. H. Kuraishi after the word 'mr did not read anything.

Line 2. In the beginning of the line A. H. Dani gives the reading *'l-tl'h hyy*. The reading and explanation of the word *tl'h* originates from H. M. Idris. On the basis of the photograph the reading can be held certain. After the word *tl'h*, however, there is no other *h* or *ħ*, but before the word *bn* only two combined letters can be seen. Of these the head of the upper one is considerably curved and is supplied with two dots, thus it can be read clearly as *qāf*. The reading 'm'r originates from M. Shafi.

Line 4. A. H. Dani reads this line as *w'f' lh sw['] wqdr 'mlh*, noting that instead of *f'* others read *ǧfr*, and that the reading of *sw[']* originates from M. Shafi. From the viewpoint of the interpretation of the text it is absolutely indifferent, whether we count in the text with the verbs 'afā 'extinguish, forgive', or *qafara* 'forgive', and the character of writing of the two words also differs only in the last letter. On the basis of the photograph, however, the reading *r* seems to be more likely.

Dani gives the following translation of the whole line: «and forgive his sinful deeds!». The reading of the line, however, does not correspond to this interpretation. The text given by Dani could be translated as follows: «and he should forgive him the wickedness and should appreciate his activity!». In this case, however, from the linguistic point of view the difficulty arises that before the word *sū* 'wickedness, sin' the article, or after it the pronominal suffix *-hū* is missing. From the palaeographic point of view the main difficulty of this reading is that on the photograph no trace of the *r* in the word *qdr* can be seen,

and besides that the letters presumed after the word *lh* cannot find enough room in the line. All these linguistic and palaeographic difficulties are solved by the observation that the letter following after *s* cannot be *wāw*, because it is linked to the left. Thus we can read it only *qāf*, after which traces of a *yā* can be seen. After this, quite clearly, *ḡ* can be read after which an *ṣ/d* and an *ālif* follows. Hereafter again the traces of *ṣ/d* or eventually *qāf* can be seen, after which traces of a *t/n/y*, and a somewhat damaged *hā* can be deciphered. Thus on the basis of the photograph the most likely reading seems to be *ṣqy ḡd'ḏth*.

Line 5. At the beginning of the line M. H. Kuraishi read *k'n*, and A. H. Dani at the end of the line gives the reading *'l-ḡm'th bllth* (or *bllt*). The reading of Kuraishi (= *kāna* 'to happen, to take place') would fit into the context, and the middle letter is so indistinct, that in place of *tā* we could also think about *ālif*, but the last letter can by no means be *nūn*, because in this case it ought to reach under the line. Thus it is definitely more correct to read this *bā*. In contradiction to Dani's reading, on the photograph the correct form *'l-ḡm'h* is clearly seen. Similarly at the end of the line as against Dani's form *bllth* the correct reading is *llth* beyond any doubt.

Line 7. Dani gives the following reading of this line: *'l'wly snth llth w'rb'yn*. Against this reading already in advance doubts are raised by such incorrect linguistic forms, as *snth*, *llth*, and *'rb'yn*, as well as by the incorrect grammatical structure of the dating, inasmuch as in its beginning the preposition *fī* is missing. In fact, if we examine the photograph, we can state immediately that on the stone the forms *snh* and *llth* can be read. Although the end of the word *'rb'wn* is very indistinct, and only the left upper part of the *wāw* is seen, the fact that this letter remnant has to be read *wāw*, and not *yā*, is still made doubtless by the circumstance that the unlinked form of the *nūn* stands at the end of the word. As regards the absence of the preposition *fī*, in connection with this we can state the following: Between the letters *'l* and the word *snh* there is such a large space that even 5 to 6 letters can find room in it. The letters *hrh*, the remnants of which can be seen on the photograph left of the *lām-ālif* in the form of dark strokes (otherwise the letters on the photograph appear mostly as white strokes), reach up to the place, where a horizontal white stroke can be seen. The *hā* rests on the left part of this white stroke, and the lower part of the *rā* curving to the left crosses the right part of the same white stroke. Right of the white stroke, in the form of a dark stroke, we can clearly enough discern the form of the *hā*. By this the reading *'l'wly* of the earlier interpreters of the inscription can be excluded. Left of the white stroke on the photograph a white dot can be seen. If we examine this under a magnifying glass, above it we can see the upper part of a *fā* in the form of dark strokes. And from the left side of the white dot a semicircle starts out downwards, similarly in the form of a dark stroke. We have to remark that between the

6th and 7th lines above the letters *rh fy* there is a dark stroke with several ramifications. This is obviously a scratch independent from the inscription, or a chipping out of the stone. Thus in conclusion the correct reading of the passage in question will be as follows: 'l-*hrh fy snh llh w'rb'wn*.

Line 8. In the beginning of the line A. H. Dani gives the reading *wm'yty*. On the basis of the photograph this reading seems to be possible, but in this case we ought to presume a clerical error, because the correct form of the word is *m'yt'n*. This difficulty is solved, if we examine the photograph under a magnifying glass: the short vertical line read *yā* discernibly continues upwards in the form of a vague dark stroke, and thus it can be interpreted as *ālif*. At the end of the line the letters 'ly *mḥmd* appear in the form of dark strokes.

Line 9. In this Dani gives the reading 'l-*t'hryn* originating from M. Shafi, while the reading of M. H. Kuraishi was 'l-*mṣṭfy*. Of the two readings the latter seems to be acceptable, because on the photograph the letters 'l-*mṣ. y* are fairly well discernible. It would be also imaginable that instead of the only partly visible *mīm* we should read *šād*, but the letter following hereafter can by no means be read as *ālif*. Thus the reading 'l-*t'hryn* must in any case be excluded.

Remarks on the interpretation of the inscription

Line 2. The explanation of the word *tl'h* (or *tl'h*, *tl'ḡ* and *tl'h*, *tl'h* *tl'ḡ* respectively) is difficult. According to H. M. Idris the form *tl'h* is the arabized form of the Urdu word *tālāb* 'water-reservoir, pond, tank'.¹⁵ This opinion has, however, serious difficulties. Urdu *tālāb* is the adoption of the New Persian word *talab*, but this borrowing is in all probability much later, than the IXth century from which the inscription originates. Besides this, if this word would have been adopted by Arabic either from Urdu, or from New Persian itself, it is entirely incomprehensible, why would it have been arabized in the forms *talāḥ*, *talāḥ*, or *talāḡ*. Thus we must regard the explanation of H. M. Idris as unacceptable.

We do not get a satisfactory solution even, if instead of the form *tālāb* we start out from *talao*, which is held by A. H. Dani a variant of the former word. The Urdu dictionaries actually contain such a word the more precise form of which they give in *tālāw* and *tālāo*.¹⁶ This word, however, is not at all in

¹⁵ Cp. J. T. PLATTS: A Dictionary of Urdū, Classical Hindī, and English.² Moscow 1959. تالاب *tālāb* 'pond, pool, tank, reservoir of water'; А. П. БАРАННИКОВ: Урду-русский словарь. Moscow 1951. 185: تالاب *tālāb* 'пруд, резервуар, водоем'; Z. ANSARI: Урду-русский словарь. Moscow 1964. 237: تالاب *talāb*. 'водоем, пруд, бассейн'.

¹⁶ See J. T. PLATTS: *op. cit.*, who holds the word being of Hindi origin.

connection with the word *tālāb*, but it belongs to the old elements of the vocabulary of the Indian languages. Thus it is doubtless that the form *tālā'o* would also not have been adopted by Arabic in the forms **talāḥ(un)*, **talāḥ(un)*, or **talāḡ(un)*, but its phonemic form would be also in Arabic **tala'(un)*, and its written form **tl'*.

It seems at any rate likely that the word *tl'h* is some local phrase, because neither of the possible interpretations of its written form can be explained from Arabic. Taking into consideration the possible interpretations of the written form of the word given above, the reading *tl'ḡ* is obviously to be connected with the Sanskrit word *taḍāga-* 'lake, tank, artificial pond'. The Sanskrit word has a rich variety of forms (*taṭāka-*, *taṭākinī-*, *taḍaga-*, *taḍāka-*), and it is widely spread in Middle Indian (cf. Pāli *taḷāka-*), and New Indian (cp. Hindi *talāu* = *tālā'o* mentioned above, etc.).¹⁷ Whether we start out from the Sanskrit *taḍāga-*, or from the Middle Indian form **talāga-*, in Arabic the adoption of either of them must occur in the form **talāg(un)*, or later **talāḡ(un)*. Therefore, the word *tl'g* occurring in the inscription is undoubtedly the adoption or eventually transliteration of a local Indian word *taḍāga-* or *talāga-* 'artificial pond, tank'.

Line 4. Above we have already referred to the difficulties encountered by A. H. Dani's interpretation of the end of the line. All these are eliminated by the proposed new reading of the text. We can identify the reading *s/šqy* with the word *šaḡīy* 'unfortunate, mean, wicked', and the form *ḡd'dt-* with the word *ḡaḍāḍa* 'absence, mistake, blemish'. Thus the meaning of the whole line will be as follows: «and he should forgive him his mean blemish!».

Line 5. The phrase *l'ltḥ 'šrh hlwn mn ḡm'dy 'l-'hrh* «when 13 (nights) from (the month) *ḡumādā l-āḡira* elapsed» resulting from the new reading corresponds fairly well to the usual Arabic indication of time, cf. for example *li-sab'i layālin ḡalauna min ḡa'bāna* «when 7 nights from (the month) *ḡa'bān* elapsed».

Line 9. A. H. Dani translates the line, read by him *w'l mḡmd 'l-ḡhryn*, as follows: «(Muḡammad), the chosen, and his descendants». This translation, however, does not correspond to the reading at all, since the meaning of the word *ḡāhir* is not 'chosen', but 'pure', and besides this it is not clear either, how the genitive plural *aṭ ḡāhirīna* can be fitted into the context. All these difficulties disappear as a result of the reading *'l-mḡṭfy*. Dani probably adopted the translation of Kuraishi, who read this passage in this way, and he did not notice that his own reading about which he does not tell, from where it originates, does not correspond to this translation.

¹⁷ Cp. M. MAYRHOFER: Kurzfassstes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. I. Heidelberg 1956. 470.

On the basis of the aboves we can interpret the inscription as follows:

- line 1 «This is, what he ordered to be built — this is
 2 that tank — Qayy bn 'Amār. May accept
 3 Allāh from him his pious deed
 4 and forgive him his mean blemish!
 5 Written on Friday (*yaum al-ġum'a*), when
 6 13 (nights) elapsed from (the month) *Ġumādā*
 7 *l-āhira*, in the 243rd year.
 8 May Allāh bless Muḥammad
 9 and the progeny of Muḥammad, the chosen!»

In connection with the structure and style of the inscription we can remark in addition that the absence of the *basmala*-formula in the beginning of the inscription — in contradiction to the statement of A. H. Dani — is not at all surprising. It is frequently missing exactly on early inscriptions, thus *e. g.* on the famous inscription of the *Qubbat aš-šahra* at Jerusalem. The whole style of the inscription follows well the formulae and structure of the contemporary Arabic inscriptions. The conclusive formula can be regarded as a variant of the well known blessing *ṣalla-llāhu 'alayhi wasallama*.

The dating of the inscription caused many problems to A. H. Dani, as well as to H. Humbach and R. Göbl. On the basis of the erroneous readings *btllth* and *'l-wly* of lines 5 and 7, Dani interpreted the text as follows: «It was recorded on Friday, the thirteenth day of Jumādā I». As it becomes clear from this interpretation, he disregarded the word *halauna*, which in the structure *btllth 'srh hlvn* has really no meaning, and he identified *yaum al-ġum'a* (Friday) with the 13th day of the month *Ġumādā l-ūlā*. Since in the 243rd year of the Hiġra the 1st day of the month *Ġumādā l-ūlā* corresponds the 26th August, 857 A. D.,¹⁸ the 13th day of this month falls on the 7th September, 857 A. D., which however is not Friday, but Tuesday. Thus obviously there is some mistake here with the dating. H. Humbach and R. Göbl thought that the preparer of the inscription mistook the year of the date, and thus the dating ought to be corrected to the 242nd year of the Hiġra, in which the 13th day of the month *Ġumādā l-ūlā* would really fall on Friday.

This conception according to which the error must be sought for in the year of the dating, did not seem to be likely already in advance. It can be observed that at the dating mistakes can occur much easier in the smaller units of time, in the days, than in the years or months. Thus, if we ought to

¹⁸ Regarding the conversion of the dating according to the Hiġra to the Christian era see E. MAHLER: *Wüstenfeld—Mahler'sche Vergleichungstabellen der mohammedanischen und christlichen Zeitrechnung.*² Leipzig 1926.

count with an error in the dating of the inscription, then this ought to be looked for not in the year of the dating, but in the days. But in this case we ought to count with a mistake of four days (Tuesday instead of Friday!), and it is also difficult to presume so much.

The problem is not solved even, if we accept the assumption of Humbach and Göbl, and we place the date of the inscription to the 242nd year of the Hīgra. In the 242nd year of the Hīgra the 1st day of *Āmādā l-ūlā* corresponds to the 5th September 856 A. D., which falls on Saturday. In accordance with this the 13th day of *Āmādā l-ūlā* according to the Christian time-reckoning falls to the 17th September, this however is not Friday, but Thursday.

As we have seen above, the mistake was in the erroneous reading of the name of the month and in the misunderstanding of the dating formula. If we start out from the correct reading of the inscription, then all difficulties are solved at once. In the 243rd year of the Hīgra the Friday following the 13th day of the month *Āmādā l-āhira*, i. e. the 14th day of *Āmādā l-āhira*, falls on Friday also according to the Christian time-reckoning. The 1st day of the month *Āmādā l-āhira* in the 243rd year of the Hīgra corresponds to the 25th September 857 A. D., which is Saturday. According to this the 14th day of the month *Āmādā l-āhira* falls on the 8th October, which is Friday. Thus the dating of the inscription is correct, and according to the Christian Era it corresponds to the 8th October 857, which is a Friday.

III

The Sanskrit text of inscribed stone «A» can be read as follows:

line	1	ṛoṃ śrī saṃ-va-tsa ¹ -re dvā-tr ¹ m ¹ -ṛśa ¹ -ti-
	2	ṛta-me saṃ ¹ -va-t 32 kā-rtti-
	3	ṛka ¹ -mā-sa-ba-hu-la-ṛti-thau dvi ¹ -tī-
	4	ṛyā ¹ -yā ¹ ṛṃ ¹ ba di 2 a-ttra di-va-
	5	ṛse ta-dā-kaṃ vi-bhi ¹ -[nnaṃ kāri-]
	6	[taṃ]

As a result of the very poor photographic reproduction the reading of this inscription is even more difficult than the Arabic text. The identification of several akṣaras was possible only with the help of reduced and consequently sharper photostatic copies with different tonality. The majority of the akṣaras appear on the photograph in the form of white, and their smaller part in the form of dark strokes. What we can see of the inscription with the help of the photostatic copies and the magnifying glass is shown by the autograph prepared by me and the akṣara-forms identified in a similar way are indicated by the table of characters (Figs 4 and 5). In connection with this it has to be re-

marked that the table of characters prepared by A. H. Dani¹⁹ does not reproduce the actual forms of the akṣaras seen on the photographs, but their somewhat idealized and schematized forms, and therefore it can hardly be used from the palaeographic point of view. Regarding the script Dani only remarks that the alphabet is neither pure Nāgarī, nor pure Sāradā.²⁰ This negative statement is undoubtedly correct, because on the basis of the akṣara-forms and the stylistic peculiarities of the script the alphabet used in the inscription can be defined as Siddhamāṭṛkā.²¹ This applies also for the Sanskrit inscription of stone «B», on which the cuneiform shape of the heads of the akṣaras («nailheaded type») characteristic of the Siddhamāṭṛkā script can well be observed in certain cases (cf. Fig. 5, akṣaras *a, la, ha, etc.*). On the photograph of the Sanskrit inscription of stone «B» the slanting to the right of the akṣaras can also be seen well. As a whole the inscription shows a somewhat more archaic form of the Siddhamāṭṛkā script than the Sanskrit inscription of stone «A». Since according to Bīrūnī about 1030 the Siddhamāṭṛkā alphabet was used in Northern India (*Kashmir*) as far as Banaras,²² thus in the territory where the inscriptions discussed were found, in the second half of the 9th century the use of this script was mostly expected.

Remarks on the reading

Line 1. The reading of this line given by A. H. Dani is the following: [*om namaḥ samvatsa*] *re dvāṛiṃśati*. Apart from the typographical errors, this reading has also two difficulties. First of all it is doubtless that in the last word the reading *ṛiṃ* (*rṃ*) is incorrect. The akṣara in question can clearly be defined as *ṭṛ* and it is possible that the white spot to be seen above it is the sign of *ṃ*. Since the pronunciation *ri* of the sound *ṛ* goes back to a very ancient time and the sound value of akṣara *ṭṛṃ* was in practice *triṃ*, thus its use instead of *triṃ* can easily be understood. An exact parallel of the form of akṣara *ṭṛ* can be found already in the inscription of Toramāṇa (about 500).²³ The other difficulty lies in the restoration. The restoration of the formula *om namaḥ* in the beginning of the inscription would be obvious in itself, but before the clearly legible akṣara *re* there is space only for 5 akṣaras at the most, and in fact only the traces of so many can be seen. In the beginning of the line in the form of dark strokes an indistinct akṣara *o* can be observed above which clearly enough the dot marking *ṃ* appears. After this, similarly in the form of dark strokes, but

¹⁹ A. H. DANI: *op. cit.* 129.

²⁰ A. H. DANI: *op. cit.* 128.

²¹ For the Siddhamāṭṛkā script cf. G. BÜHLER: *Indische Paläographie*. Strassburg 1896. 49 foll.; H. JENSEN: *Die Schrift in Vergangenheit und Gegenwart*.² Berlin 1958. 351 foll., Fig. 346.

²² G. BÜHLER: *Indische Paläographie*. 49–50.

²³ Cf. G. BÜHLER: *Indische Paläographie*. Pl. IV, akṣara VIII/22.

somewhat more definitely, the akṣara *śrī* can be seen. Right of this a white spot can be observed the contours of which reflect the form of akṣara *sa* fairly well, as we can see this immediately from the comparison with the akṣara *sa* of line 3. The small white spot to be seen above it is possibly the dot marking *ṃ*. Hereafter again a white spot follows the form of which is similar to that of the akṣara *va*. This is followed by a fairly sharply shaped black spot the outlines of which correspond quite well to akṣara *tsa*. The other characters can be read fairly well, only the akṣara *śa* is obliterated.

Line 2. The reading of A. H. Dani is: [*tame*] *saṃvat 32 Kārti-*. On the photograph the first really clearly visible character is the akṣara *t*. Before it the akṣara *va* appears quite well in the form of dark strokes, but in the beginning of the line the akṣara *ta* can be discerned and after this the contours and straight parts of *me* and *saṃ* can also be seen. The last akṣara of the line is undoubtedly *rtti* and not *rti*.

Line 3. Dani marks the last akṣara as a restoration. At the end of the line, however, the akṣara *tī* can clearly be read and even the *i-mātrā* is well discernible (Dani restored an akṣara *tī*).

Line 4. Dani's reading: [*yā*] *yāṃ vadi 2 atra diva-*. On the photograph the akṣara *yā* is also discernible. Since in the alphabet used in the inscription the akṣaras *va* and *ba* are identical, Dani's reading *vadi* is of course correct. Taking into consideration, however, that this is the abbreviation of the phrase *bahula-pakṣadina-*, we must give preference to the transcription *ba di*. After the akṣara *a* on the photograph we can clearly read an akṣara *ttra* (in the form of dark strokes), and not *tra*.

Line 5. This line is marked by Dani as illegible, he gives the restoration *se* only in the beginning. But in fact a few characters can be deciphered in the beginning of the line and only the akṣaras standing at the end of the line are unidentifiable, because only the heads of these can be seen, or they were entirely destroyed as a result of the whittling down of the stone. The vertical strokes of the first akṣara, an akṣara *se*, can be observed in the form of dark strokes above the white spot to be seen on the lower edge of the stone. Right of this again a white spot can be seen under which, however, the form of an akṣara *ta* is fairly well discernible. After this, in the form of dark strokes, clearly enough an akṣara *da* or eventually *dā* can be observed which, partly already in the form of white strokes, is followed by a *ka*. The sharp white stroke to be observed under this is obviously the chipping of the stone and does not belong to the akṣara. Hereafter an *i-mātrā* and parts of an akṣara can be observed in the form of white strokes, which can be restored most probably as *va* or *ba*. After the *bi* the very faint outlines of another *i-mātrā* emerge from the dark background under which a downwards open semicircular part of the akṣara can be observed which can most easily be interpreted as *bha*. Following this only the upper parts of the akṣaras can be seen which do not render a sufficient

foothold for their identification. After the *bhi* at any rate a one-stemmed akṣara follows which can be among other things *na* or *nna*. Hereafter a long, horizontal stroke can be observed, obviously the head of an akṣara with *ā-mātrā*. Of the next akṣara the *i-mātrā* can easily be discerned in the form of a dark stroke. The proposed restoration ([*nnaṃ ka-ri-*]) is in harmony with these remains of characters. It is possible that after the *i-mātrā* there was also another akṣara in line 5 under the akṣara *va* of line 4. In this case also the akṣara *taṃ* restored in line 6 can be placed still in this line.

Remarks on the interpretation of the inscription

From the linguistic point of view first of all the part of the inscription following the dating would be interesting. Of this, however, only the fragmentary line 5 has been preserved. In this we can identify the word *taḍākaṃ* fairly well which is the exact equivalent and obviously also the source of the word *tʿg* (**talāg*) occurring in the Arabic inscription. The occurrence of the word *ta lākaṃ* proves already in itself that the subject of the Sanskrit inscription could be similar to that of the Arabic inscription, *viz.* it reported on the establishment (or reconstruction) of a tank. Thus on the basis of its theme it can be regarded as a humble parallel of the famous *praśasti*-s of Rudradāman and Skandagupta which tell among other things about the reconstruction of the embankments of the water-reservoir Sudarśana. Of course, the Tochi valley Sanskrit inscription is very laconic, while the above-mentioned inscriptions are literary works of high standard, but even so they can be very valuable as parallels from the viewpoint of the restoration of the inscription discussed.

On the basis of the remnants of characters the word following after *taḍākaṃ* can be restored most probably as *vibhinnaṃ*. If this reading is correct, then the inscription does not report on the construction of a new water-reservoir, but on the reconstruction of the damaged dams of a reservoir. The derivatives of the root *bhid-* occur as technical terms for the bursting of dams of water-reservoirs also in other inscriptions. A good example for this is the Junagarh inscription of Skandagupta lines 26 and 27 of which report on the bursting of the dams of Lake Sudarśana, *viz.*:

26 *atha krameṇāmbudakāla āgate nidāghakālaṃ pravidārya toyudaiḥ*
 27 *vavarṣa toyam bahusaṃtataṃ ciraṃ sudarśanaṃ yena bibheda cātvarāt*
 «Then, when the season of clouds has come, driving away the season of heat with clouds, much rain was falling, uninterrupted, for a long time, and from this Lake Sudarśana suddenly burst.»

As compared with the detailed description of Skandagupta's inscription, however, the more modest Tochi inscription refers concisely to the bursting of the dams of the water-reservoir, *viz.*: «the water reservoir broke through

(or: the burst water-reservoir)». In the following part at any rate the reconstruction of the reservoir could be reported. In accordance with this the reading [.]ā-[.]î-[.] can be restored as *kāritam*, at least the remnants of script do not contradict to this restoration. The phrase *kāritam* occurs on inscriptions also in connection with the construction or reconstruction of water-reservoirs, although on account of its general meaning its use is naturally much broader. We have a good parallel to this part of the Tochi inscription in the passage of the Junagarh inscription of Rudradāman, which describes the reconstruction of the Sudarśana lake, viz.:

16 . . . *svasmātkośāt mahatā dhanaughena anatinmahatā ca kalena triguṇadr̥ḍhataravistārāyāmam setuṃ vidhāya . . . sudarśanataram karitamiti*

« . . . from his own treasury at a high cost and in a short time causing to be built a three times stronger, larger and longer dam . . . he had the Sudarśana made larger».

The Tochi inscription does not give the details or circumstances of the reconstruction. If the restoration of line 5 is correct, then the whole inscription can be interpreted as follows:

line 1 «Bliss! In the thirty-second year,
2 in the 32nd year, on second day of the dark (fortnight)
3 of the month Kārttika
4 on 2nd d(ay) of the da(rk fortnight). On this day
5 the burst water-reservoir was reconstructed».

The disproportionateness of the contents of the inscription is conspicuous, viz.: four fifths of it are occupied by the dating and only one line is left for its actual say. This is by all means remarkable and unusual in the practice of Indian inscriptions, and thus we have to presume that the inscription was originally longer and after the word *kāritam* there followed still the name, rank and titles of the king or official by whom the reconstruction of the water-reservoir was caused to be done, and eventually the blessing formula usual at the end of the inscriptions. Unfortunately neither the photograph nor the publication of A. H. Dani give any foothold to show, whether originally the stone continued underneath and was only broken away or chiselled off, or the Sanskrit inscription consisted of 5 lines only also originally. The inscription undoubtedly represents a rounded whole also in its present form, but the construction of its text differs so much from the usual type of the Indian inscriptions that, even if this was its original form, it must have had a special reason.

Here we can raise the question, in what relationship is the Sanskrit inscription with the Arabic inscription arranged on the stone above it. The

circumstance, if the Sanskrit inscription could be shown to be the translation of the Arabic inscription, or at least an equivalent of the latter from the viewpoint of the contents, would obviously explain clearly the divergence of the construction of its contents from the usual type of the Indian inscriptions. Unfortunately, this question cannot be decided definitely on the basis of the text of the Sanskrit inscription. In fact, as regards the text the Sanskrit and the Arabic inscription differ so much from each other that actually we cannot speak about a bilingual text. It seems to be likely, however, that the word *tadākaṃ* occurring in the Sanskrit inscription refers to the same water-reservoir, as the phrase *l'g* used in the Arabic inscription. In this case two suppositions can be offered regarding the relationship of the two inscriptions. One of them is that the two inscriptions were prepared at the same time and that the Sanskrit inscription was meant as the translation of the Arabic text, but, either as a result of the difficulties of translation from the Arabic or on account of the immense cultural differences, a considerable part of the Arabic inscription could not be translated into Sanskrit. We could think also of the possibility that the concise drafting was demanded because of the shortage of place on the stone under the Arabic inscription, or that in the concealing of the measure taken by the Arab governor a certain political resistance was manifested against the Arab rule. According to the other supposition the two inscriptions were not made at the same time, but the Sanskrit inscription is later and reports on the reconstruction in a later time of the water-reservoir established by the Arab governor. The correctness of either of the two suppositions can only be decided by the definition of the dates of preparation of the two inscriptions.

IV

As we have seen, the dating of the Arabic inscription corresponds to October 8th, 857. H. Humbach and R. Göbl do not doubt that the dating of the Sanskrit inscription is exactly identical with that of the Arabic inscription.²⁴ They believed further that the dating of the Sanskrit inscription was made according to the *Laukika*-Era. The latter assumption is really obvious, because as we know it on the basis of experiences of A. Cunningham, A. Stein and others,²⁵ the *Laukika*-Era was in use till the latest times in Kashmir, or in that area of Northern India, which geographically is situated comparatively near to the site of the inscription. When, however, H. Humbach and R. Göbl converted the date of the inscription into the Christian Era, it turned out that it does not correspond to 857, but to 856. They endeavoured to eliminate this difficulty by correcting the date in the Arabic inscription from 243 to 242.

²⁴ Ancient Pakistan 1 (1964) 134.

²⁵ A. CUNNINGHAM: *Book of Indian Eras*. Calcutta 1883. 7 ff.; M. A. STEIN: *Kalhana's Rājatarāṅgiṇī. A Chronicle of the Kings of Kaśmīr*.² Delhi—Patna—Varanasi 1961. I. 58 etc.

But, as we have seen, this is impossible. Thus as regards the relationship of the dating of the inscription we are faced by a seemingly insolvable difficulty, because, on the other hand, it seems to be unlikely that the Sanskrit inscription would be earlier than the Arabic one. This is quite clearly shown already by the order of the two inscriptions on the stone.

The solution of the problem is rendered possible by the report of Bīrūnī on the *Laukika*-Era. This goes as follows: «The common Indian people reckon the years according to centuries which they call *saṃvatsara* or 'century'. On every occasion, when a century is completed, they leave out (the century number) and start to reckon the next century (from the beginning). They call this era *Loka-kāla*, which means 'the era of the people' . . . It is said that the inhabitants of Kanir, adjacent to Kashmir, start the year with the month *Bādhrapada*. As compared to the year chosen by us as an example (= 422 H. = Yazdگرد Era 400 = 1031 A. D.) their date will be 84. Those people, who live between *Bardar* and *Marigala*, start the year with the month *Kārttika* and reckon the year chosen by us as the 10th year of their own era. According to the calendar of Kashmir this year corresponds to the 6th year of the new 'century'; such is the practice of the Kashmiri people. The inhabitants of the province of *Nīrāhāra*, which spreads over Marigala up to the farthest regions of *Tākēśar* and *Lohāvar*, start the year with the month *Mārgaśīrṣa* and count the year taken by us as an example as the 8th year of their own era. The inhabitants of *Lanbaga*, or *Lamgan* follow them in this respect. I heard the inhabitants of *Mūltān* saying that this custom spread also among the inhabitants of *as-Sīnd* and *Kanauj* and that these start the year with the new moon of (the month) *Mārgaśīrṣa*, but the inhabitants of *Mūltān* gave up this procedure a few years ago and joined the practice of the Kashmiri people and in agreement with them start the year with the new moon of (the month) *Caitra* . . . 99 — these are those years which elapsed from the started 'century'. This is confirmed by a page of the *zīg* discovered by me, which was compiled by Durlabha of *Mūltān*. In this he says: 'Write 848 and add to this figure the *Laukika-kāla*, that is the people's era; as a total the *Śaka-kāla* will result'. If we write down first that year of the *Śaka-kāla*, which corresponds to the year chosen by us as an example *viz.* the year 953 and subtract from it 848, then the remaining 105 must be the year of the *Laukika-kāla*, while the destruction of Somanātha falls really to the 98th year of the century' of the *Laukika-kāla* (an obvious clerical error instead of 99 — J. H.). Durlabha says: 'The year starts with the month *Mārgaśīrṣa*, but the astronomers of *Mūltān* start it with the month *Caitra*.'»²⁶

From the quoted report of Bīrūnī it can be stated that in the first half of the 11th century several versions of the *Laukika*-Era were in use in Northwestern India. On the basis of this report, we get the following picture:

²⁶ АБУ РЕЙХАН БИРУНИ, Избр. произведения. II. Transl. A. B. HALIDOV—YU. N. ZAVADSKIY: Taskent 1963. 358—359.

1. In the territory of *Kanir* the 84th year of the *Laukika-kāla* corresponded to the year 1031 A. D. and the beginning of the year was reckoned from the month *Bādhrapada* (July-August). The identification of *Kanir* has not been possible so far. At any rate we can state that *Kanir* was situated northwest of Kashmir, since at the southwestern border of Kashmir the province of *Nirāhāra* and at its southern border the region of *Tākēśar* was situated. Taking this into consideration, it is obvious to correct the written form *kn̄yr* either to *kn̄r* and read it as **Kunār*, or to read it as **Kunir* and to regard this as the transliteration of a form **Kunər*. In both cases the name can be identified with the name of the river and locality *Kunar*. The territory of *Kunar* could include *Chitral* and *Swat*.

2. In the territory between *Bardar* and *Marigala* the 10th year of the *Laukika-kāla* could correspond to the year 1031 A. D. and the beginning of the year was reckoned from the month *Kārttika* (September-October). According to *Bīrūnī Marigala (mryklh)* is identical with *Takṣasīlā*.²⁷ The geographical identification of *Bardar* has not been possible so far. Considering the other territories mentioned in *Bīrūnī's* report, it seems to be doubtless that this city can be looked for only south, southeast or southwest of *Takṣasīlā*. In this area we really find a place-name, with which *Bardar* can be identified without any greater difficulty. This is *Bīrūza* occurring in the *Hudūd al-Ālam* and in *Mas'ūdī*. According to the *Hudūd al-Ālam* «*Bīrūza* is a town within the limits of *Mūltān* in *Hindūstān*. All the merchandise of *Hindūstān* comes there and in it are idol-temples.»²⁸ As it becomes clear from this report, *Bīrūza* was a significant city, and we must definitely regard also *Bardar*, mentioned together with *Takṣasīlā*, as a large city. From the report of *Mas'ūdī* we learn the following about *Bīrūza*: «The king of *Qinnauj*, one of the kings of *Sind*, is (called) *B.rūza*. This is the title of the king of *Qinnauj*, and here (too) stands a town called *B.rūza* (named) after the title of the king. It is now the territory of *Islām* forming a district of *Mūltān*. From the town comes one of the rivers which form the *Mīhrān* of *Sind*.»²⁹ On the basis of the data of *Mas'ūdī* and the *Hudūd al-Ālam* V. *Minorsky* places *Bīrūza* convincingly on the banks of the *Sutlej*. In the *Hudūd al-Ālam* and in *Mas'ūdī* we find the following variants of the written form of the name *Bīrūza*: *byruzh*, *brucz*, *brudh*, *bvrh*, *brvrh*. The writing of the name *Bardar* in *Bīrūnī* is *brdry* and this can be well fitted among the variants of the written form of *Bīrūza*. The form *brdry* can be corrected without any difficulty to **brvry* or **brvzy* and this can be read as **Bīrūza*.

²⁷ *BĪRŪNĪ: op. cit.* 277.

²⁸ *Hudūd al-Ālam*. 'The Regions of the World'. Translated and explained by V. MINORSKY. Oxford—London 1937. 91—92.

²⁹ V. MINORSKY: *op. cit.* 253; J. Marquart: *Ērānšahr nach der Geographie des Ps. Moses Xorenac'i*. AGGW N. F. III. 2. Berlin 1901. 264.

As it follows from the report of Mas'ūdī, the name was originally the title of the rulers of Kanauj and thus we must obviously regard it as a word of Indian origin.³⁰ Taking this into consideration, the Indian source of the forms *byruvzh*, *bruvzh*, **bruzy* can be reconstructed in the form **bhīraujaḥ*. The meaning of this would be 'of formidable strength', just like that of the compound *bhīma-ujas-* 'of formidable strength'. The attribute **bhīraujaḥ* as a title suits undoubtedly well the Pratihāra rulers of Kanauj, who were regarded as the most powerful kings of their age. This view is well reflected by the report of the *Hudūd al-Ālam* on Kanauj, viz.: «Qinnauj, a large town and the seat of the raja of Qinnauj who is a great king; most of the Indian kings obey him and this raja does not consider any one his superior. He is said to have 150,000 horses and 800 elephants (destined) to take the field on the day of battle.»³¹

Thus according to these in the area spreading from *Takṣaśila*, that is from the intermediate space between the Indus and the Jhelum, to *Birūza*, that is to the Sutlej, they used that variant of the *Laukika-kāla* according to which the 10th year of this era corresponded to 1031 A. D.

3. In the territory of *Kashmir* the beginning of the year was reckoned from the month *Caitra* and according to the *Laukika-kāla* used there the 6th year of the era corresponded to 1031 A. D.

4. In the province of *Nirāhāra* the year started with the month *Mār-gaṣīrśa* and according to the variant of the *Laukika-kāla* used there the 8th year of the era corresponded to the year 1031 A. D. Regarding the area of the province of *Nirāhāra* a foothold is rendered by the remark of *Bīrūnī*, according to which it spreads as far as the borders of *Tākēšar* and *Lohāvar*. The two latter place-names can easily be identified. *Tākēšar* (*t'kyšr*) is obviously the equivalent of *Takka-deśa* mentioned in the *Rājataranḡiṇī*, which was situated south of Kashmir and east of Sialkot between the upper courses of the rivers Chenāb and Rāvi.³² As regards the form of name used by *Bīrūnī*, this is very likely the Arabo-Persian name of the region and goes back to an original form **Takke-šahr* 'Takka land'. The geographic situation of *Lohāvar* (*loh'wr*) was identified by A. Stein.³³ This place-name can be identified very likely with the fort *Lohara* frequently occurring in the *Rājataranḡiṇī*, which was situated south of the mountain chain of Pir Pancāl. If the Arabic form reflects the contemporary Indian form correctly, then we can trace back the name *Lohāvar* or

³⁰ For the criticism of the different supposition of J. MARQUART (Über das Volkstum der Komanen. Berlin 1914. 100) see V. MINORSKY: *loc. cit.*

³¹ V. MINORSKY: *op. cit.* 89. In connection with the title *bīrūza* we could think also of the Middle Persian word *pērōz*. However, this, on the one hand, was adopted in Arabic in the form *fīrūz*, and on the other hand, from the historical point of view in the case of the *Pratihāra* dynasty a title of Middle Persian origin is not likely either.

³² *Nirāhāra* (*Nagarahāra*) was situated 8 kilometres south of Jalālābād, see V. MINORSKY: *op. cit.* 252–253. Regarding *Tākēšar* see M. A. STEIN: Kulhaṇa's *Rājataranḡiṇī*. I. 205; V. MINORSKY: *op. cit.* 249.

³³ M. A. STEIN: *op. cit.* II. 293 ff.

Lohaur to an Old Indian form **Lohāvāra* 'Copper Fort' or **Lohapura* 'Copper City'. If this explanation is correct, then the names «Copper Fort, Copper City» for the designation of forts held impregnable can be regarded as considerably wide-spread not only in Inner-Asia,³⁴ but also in Northern and Western India.

5. In the province of *Lanbaga/Lamgan* a similar variant of the *Laukika-kāla* was used as in *Nīrāhāra*.

6. In the territories of *Mūltān*, *Sind* and *Kanauj* at the time of *Bīrūnī* the year was started already with the month *Caitra* just like in the Kashmir calendar, but according to the variant of the *Laukika-kāla* used there the 5th year of the era corresponded to 1031 A. D. This is proved exactly by the calculation of *Bīrūnī* made on the basis of the *zīg* (astronomical tables) of the *Mūltānī* astronomer *Durlabha*.

7. Since according to *Bīrūnī* on the territories of *Mūltān*, *Sind* and *Kanauj* the year was started earlier with the month *Mārgaśīrṣa*, inasmuch as by this the beginning of the year fell on *Mārgaśīrṣa*, after *Caitra*, this can cause a postponement of one more year. Thus in this case the 4th year of the *Laukika-kāla* would correspond to 1031 A. D. In the 9th century we must obviously reckon with this possibility in the territory under discussion.

If now on the basis of the data of *Bīrūnī* we calculate the years which corresponded in the 9th century to the 32nd year of the *Laukika-kāla* in the different territories of Northwestern India, we get the following picture:

1. In the territory of *Kunar* (Chitral and Swat) 833.
2. In the territory between *Takṣaśilā* and *Bīrūza* 853.
3. In the territory of *Kashmir* 857.
4. In the province of *Nīrāhāra* 855.
5. In the territory of *Lamgan* 855.
6. In the territories of *Mūltān*, *Sind* and *Kanauj* 858.
7. In the territories of *Mūltān*, *Sind* and *Kanauj*, if the year started with the month *Mārgaśīrṣa*, 859.

Since in the Sanskrit inscription an earlier dating than that of the Arabic inscription can hardly be presumed, thus the 32nd year of the *Laukika-Era* can correspond in the *Tochi* inscription to 857, 858, or 859. As we have seen, however, H. Humbach and R. Göbl converted the 32nd year of the *Laukika-Era* as 856. This conversion corresponds to that version of the *Laukika-kāla*, which was studied first by G. Bühler in Kashmir,³⁵ and the traditions of which

³⁴ For the Iranian and Turkish «Copper Cities» of Inner Asia see J. MARQUART: *Ērānšahr*. 93; J. MARKWART: *Wehrot und Arang*. Leiden 1938. 159 ff., 164 ff.; K. CZEG-LÉDY: *Ant Tan* 4 (1957) 302, 7 (1960) 211 ff.

³⁵ G. BÜHLER: *Detailed Report of a Tour in Search of Sanskrit MSS. made in Kaśmir, Rajputana and Central India, Bombay 1877*. 59 foll.

were found later on by A. Cunningham also in the mountain states situated southeast of Kashmir, between the Chenāb and the Jumna.³⁶ These data and traditions recorded in the 19th century paralleled the 1st year of the century of the *Laukika-kāla* with the 1825th year of the Christian Era. On the basis of this were prepared those chronological tables, thus among others also that of Cunningham, which are used by scientific investigation even now for the conversion of the years of the *Laukika-kāla* into the years of the Christian Era. According to this converting the dating of the Tochi inscription, viz. (*Laukika-kāla*) *saṃvat 32 Kārttikamāsabahulatīthi 2*, we find that this corresponds to the 20th September 856, which day was a Sunday. This conversion gives a date, which is more than a year earlier than the date of the Arabic inscription, which corresponds to October 8th 857. Since the Arabian dating is correct, we can look for the cause of the contradiction between the two datings only in the conversion of the *Laukika-kāla*.

As we have seen, reckoning on the basis of the data of Bīrūnī, in the 9th century exactly 857 corresponds to the 32nd year of the *Laukika-kāla* in the territory of Kashmir. If on the basis of this we convert the dating of the Tochi inscription precisely, the resulting date will be Saturday, the 9th October 857. This dating differs only by one day from the date of the Arabic inscription, which is Friday, the 8th October 857. It is possible, however, that even this difference is only illusory, because in the Sanskrit dating the designation *tīthi* 'lunar day' occurs. If we assume that the *tīthi* was reckoned from the rise of the moon to the rise of the moon, then the beginning of *Kārttikamāsabahulatīthi 2* falls on the 8th October 857 and in this case the Arabic and Sanskrit datings coincide exactly also in the days.

The other two possible conversions of the Sanskrit dating to be made on the basis of Bīrūnī are Thursday, the 29th September 858 and Monday, the 18th September 859. In these cases, of course, neither the months nor the days coincide with the Arabic dating. In the first case, however, the Arabic and the Sanskrit datings coincide so strikingly that, on the one hand, we must regard this conversion as the most likely one, and on the other hand this exact congruence induces us to revise the conversion of the *Laukika*-Era of Kashmir generally used so far.

The data of Bīrūnī on the *Laukika-kāla* are judged by investigation differently. On the one hand their accuracy is stressed and their authenticity is asserted,³⁷ while on the other hand it is presumed that he did not get his data from sufficiently well informed individuals.³⁸ The reason of this not quite unanimous standpoint is obviously the fact that Bīrūnī's data on the

³⁶ A. CUNNINGHAM: Book of Indian Eras. 12 foll.

³⁷ M. A. STEIN: Kalhaṇa's Rājatarāṅgiṇī. I 58, note 6, A. CUNNINGHAM: Book of Indian Eras. 6. 10, 16.

³⁸ For example A. CUNNINGHAM: *op. cit.* 11.

Laukika-kāla are in contradiction to the informations of Bühler and Cunningham on Kashmir and the territories situated southeast of it. This turns out clearly already from the fact that according to Cunningham's calculation the 7th year of the century of the *Laukika-kāla* corresponds to the year 1031 A. D., although according to Bīrūnī in Kashmir the 6th year and in Mūltān the 5th year corresponded to it. This difference cannot arise from the supposition that Bīrūnī worked on the basis of unreliable sources. From his text quoted earlier it becomes clear that his data on Mūltān originate from the *zīg* of Durlabha, that is from a first-rate written source, and at another place he refers to a Kashmir calendar as a source.³⁹ Thus we can hold it doubtless that Bīrūnī's data are based on reliable sources, therefore the contradictions appearing between them and the data of the 19th century should not be removed but they should rather be explained.

Cunningham tried to smooth away the contradiction between the data of Bīrūnī and the Kashmir *Laukika-kāla* of the 19th century by the assumption that the *Laukika-kāla* year 99, resulting as the date of the destruction of Somanātha on the basis of the calculation of Durlabha, must be calculated as an elapsed year and as a matter of fact the occupation of Somanātha falls in the 100th year of the *Laukika-kāla*, which corresponds to 1025/26 A. D. and thus the calculation is correct inasmuch as the destruction of Somanātha occurred in January of 1026.⁴⁰ This assumption, however, cannot be accepted at all. In fact Bīrūnī identifies the 99th year of the *Laukika-kāla* with the 947th year of the *Śaka-kāla* and if we place the destruction of Somanātha in the 100th year of the *Laukika-kāla*, then this will correspond to the 948th year of the *Śaka-kāla*, although the occupation of Somanātha happened really in the 947th year of the *Śaka-kāla*. Thus it is evident that the explanation of Bīrūnī, according to which 99 mean the years that elapsed from the *Laukika-kāla* century, must not be interpreted so that in the computation the *Laukika-kāla* appears with elapsed years and the *Śaka-kāla* with current year. This is clearly excluded by the data of Bīrūnī according to which the 105th year of the *Laukika-kāla* corresponds to the 953rd year of the *Śaka-kāla*. Bīrūnī looks back to the time computation of the destruction of Somanātha as a past event and thus it is natural that he marks the 99 years of the *Laukika-kāla* as elapsed. But besides this the explanation of Cunningham is unacceptable also for the reason, because Bīrūnī's computation does not agree with the *Laukika-Era* used by him in his tables even with 1 year's correction. In fact the date of the destruction of Somanātha, January of 1026, does not fall on the 100th, but on the (10)1st year of the *Laukika-Era* even according to Cunningham's own chronological tables.

³⁹ BĪRŪNĪ: op. cit. 356.

⁴⁰ A. CUNNINGHAM: Book of Indian Eras. 16.

Cunningham's error had two reasons. On the one hand, he did not take into consideration that Bīrūnī's computation regarding the date of the destruction of Somanātha is based on the work of Durlabha, that is on the *Laukika-Era* used in Mūltān, which was by 1 year lagging behind the Kashmiri *Laukika-Era*. On the other hand, he did not notice that the *Laukika-Era* used in Bīrūnī's age in Kashmir was not identical with the time-reckoning used there in the 19th century, but was lagging behind it similarly by 1 year. The 2 years' difference (99 instead of 101) of the computation of Bīrūnī from the chronological tables of Cunningham results from here.

Regarding the Kashmiri *Laukika-Era* of Bīrūnī's age we have a first-rate source, viz.: the work entitled *Rājatarāṅgiṇī* by Kalhaṇa. In this we find the following datum of decisive importance regarding the *Laukika-Era*:

I 52 *laukikebde caturviṃśe śakakālasya sāmpratam|*
saptatyābhyadhikaṃ yātam sahasraṃ parivatsarāḥ ||52| |
 «In the twenty-fourth *Laukika*-year at present from the *Śaka-kāla*
 by seventy more than thousand complete years have elapsed. ||52||»

In this passage Kalhaṇa accurately gives the relationship of the *Laukika*-year to the *Śaka-Era*, viz.: 1070 full years of the *Śaka-kāla* have elapsed now, when the 24th year of the *Laukika-kāla* is in progress. Since the beginning of the year is identical according to both time-reckonings, Kalhaṇa's text can be interpreted only so that the 24th current year of the *Laukika-kāla* corresponds to the 1071st current year of the *Śaka-kāla*. Cunningham, however, interpreted this passage of the *Rājatarāṅgiṇī* incorrectly as follows: «The 24th year of the *Laukika* corresponds with the year 1070 of the Saka-Kāl.»⁴¹ Thus, of course, at the identification of dates of the *Laukika-kāla* 1 year's error slipped into his tables, although the exact agreement of Kalhaṇa's evidence with the data of Bīrūnī ought to have made it doubtless for him that there is 1 year's difference between the *Laukika-Era* used in Kashmir about the year 1000 and the data of Kashmir from the 19th century, which cannot be removed.

The fact that something is wrong with the conversion of the *Laukika-Era* was observed already by A. Stein, who revised Cunningham's work entitled «Book of Indian Eras» for the publication, translation and commentary of the *Rājatarāṅgiṇī* very thoroughly and he wrote several corrections into the copy of this book used by him on the Mohan Marg, Kashmir, which he left to the Library of the Hungarian Academy of Sciences. Thus for example he wrote in pencil in the beginning of the book the following remark: «The Kali, Śaka and Saptarṣi years given in Cunningham's General Table are all Expired years, comp. Rāj. i. 52. Lauk. 24 = Śaka 1070 expired = Kali 4249 expired.» Stein's reference to verse I. 52 of the *Rājatarāṅgiṇī* quoted above shows that its correct interpretation drew his attention to the problem of the

⁴¹ CUNNINGHAM: *op. cit.* 6.

conversion of the *Laukika*-Era. In fact, in his translation of the *Rājatarāṅgiṇī* this passage appears undoubtedly in correct interpretation, viz.: «At present, in the twenty-fourth year of the *Laukika* [era], one thousand and seventy years of the Śaka era have passed.»⁴² His noting in Cunningham's book also betrays, however, that he could not form an entirely clear conception about the conversion of the *Laukika*-Era. As a matter of fact his above quoted remark has two deficiencies. On the one hand he reduces the *Kali-kāla*, *Śaka-kāla* and *Laukika-kāla* to the same denomination by regarding the years of each of them as expired in Cunningham's tables. The consequence of this would be that the destruction of Somanātha would fall not in the 4126th year of the *Kali-kāla*, the 947th year of the *Śaka-kāla* and the 1st year of the *Laukika-kāla*, but on the 4127th, 948th and 2nd year, respectively, of the above-mentioned eras. This is, however, absolutely impossible. On the other hand, the second part of the noting parallels the current 24th year of the *Laukika*-Era with the past 1070th year of the *Śaka*-era and the 4249th expired year of the *Kali-kāla*. Thus, however, the absurd situation results that a current year becomes the equivalent of an expired year, which is, of course, impossible. The correct wording would have been as follows: In the general table of Cunningham the years of the *Kali*-Era and *Śaka*-Era are expired years as compared with the years of the *Laukika*-Era. The given years of the *Laukika*-Era (= Sapt. Rishi.) correspond always to the years of the *Kali*-Era and *Śaka*-Era of the next item. Thus the following item of Cunningham, viz. A. D. 1025 = Kali Yuga 4126 = Sak Sal 947 = Sapt. Rishi 1, will run correctly as follows: A. D. 1025 = Kali Yuga 4126 = Sak Sal 947 = Sapt. Rishi 100. Cf. Rāj. i. 52 Lauk. 24 = Śaka 1071. The fact that A. Stein in spite of his essentially correct observation could not arrive at the solution of the question is very likely due to a considerable extent to the high authority of Bühler and Cunningham and to his respect felt towards them (he dedicated his book directly to the memory of Bühler).

At any rate the exact agreement of the data of Kalhaṇa and Bīrūni renders doubtless that in the course of the Middle Ages a variant of the *Laukika*-Era different from that of the 19th century was in use in Kashmir. The difference between the two was 1 year, thus if, on the basis of the conversion table used at present, we want to define the equivalent of a date in the *Laukika*-Era, we must always deduct 1 year from the date of year of the *Laukika*-Era. If, on the other hand, we want to convert a date expressed in the *Laukika*-Era into another era, we must always take into account the data of the item following after the date of the *Laukika*-Era concerned.

Thus it seems to be very likely that the dating of the Tochi Sanskrit inscription has to be interpreted as the 8/9 th October 857 according to the contemporary *Laukika-kāla* of Kashmir. This is to a certain extent surpris-

⁴² M. A. STEIN: Kalhaṇa's Rājatarāṅgiṇī. I. 11.

ing, because from the geographical point of view in the region of Tochi we would rather expect a dating according to the *Laukika*-Era of Mūltān. Bīrūnī, however, does not publish data just on this region, thus, naturally, nothing contradicts to our reckoning in Tochi with the *Laukika*-Era corresponding to that of Kashmir.

Now we can raise the question, what is the reason for the difference between the time-reckoning according to the Kashmiri *Laukika-kāla* in the Middle Ages and in the modern times. Bīrūnī's data on the *Laukika-kāla* clearly show that in Northwestern India several views relating to the different eras existed side by side and that these very often influenced each other considerably. In the case of the *Laukika-kāla* it is especially clear that behind the different variants there are different theories of time-reckoning which placed the beginning of the eras on different dates. The different variants of the same era could obviously influence each other most easily. Thus it becomes clear from the report of Bīrūnī that a few years before in Mūltān they adopted the Kashmiri practice according to which the year was started with the month *Caitra*. The difference between the *Laukika-kāla* of Kashmir in the Middle Ages and modern times has very likely also a similar explanation. Some time after the age of Kalhaṇa, in the 13th and 14th centuries, or even later another variant of the *Laukika*-Era spread in Kashmir which differed by 1 year from that used in the age of Bīrūnī and Kalhaṇa.

The origin of this *Laukika*-Era used also in the 19th century can be ascertained without difficulty. According to the report of Bīrūnī in the western, southern and southeastern territories adjacent to Kashmir, in the provinces of Lamgan and Nirāhāra, as far as *Lohāra* and *Ṭakka-deśa* a variant of the *Laukika*-Era was in use according to which the year was started with the month *Mārgaśīrṣa* (October—November) and the 8th year of the era corresponded to 1031 A. D. Since at the choosing of the year 1031 as a chronological example Bīrūnī was governed by the viewpoint that in this year in the different time-reckonings the beginnings of the year are rather near each other (the beginning of the 953rd year of the *Śaka*-Era = the 25th February 1031, the beginning of the 422nd year of the *Hīgra* = the 29th December 1030, the beginning of the 400th year of the *Yazdgird*-Era = the 9th March 1031), it is obvious that in connection with the different variants of the *Laukika*-Era he took into consideration always the years beginning within the framework of the year chosen as an example. This means that in the western, southern and southeastern territories adjacent to Kashmir the beginning of the 8th year of the *Laukika*-Era fell on the 19th October 1031 (provided that the beginning of the year was reckoned from the 1st *Mārgaśīrṣa su di*). Thus, on the other hand, the 7th year of the *Laukika*-Era of these neighbouring territories was parallel with the greater part of the 6th year of the *Laukika-kāla* used in Kashmir. Thus in these territories as a whole that variant of the *Lau-*

kika-Era was used already in the age of Bīrūnī, which was still found there and in Kashmir by G. Bühler and A. Cunningham in the 19th century, the only difference was that they started the year not with the month *Caitra* but with the month *Mārgaśīrṣa*. Very likely sometimes after the age of Kalhaṇa they adopted in Kashmir the *Laukika*-Era of the adjacent southern and south-eastern territories, but they maintained the beginning of the year with the month *Caitra*. Thus it seems that the *Laukika*-Era used in the 19th century in Kashmir developed actually from the amalgamation of the variants of the *Laukika-kāla* used in Kashmir and in the adjacent southern and southeastern territories.

Regarding the date of this event some foothold can be rendered by the consideration that the break of the continuity of the time-reckoning suggests a certain break in the tradition of time-reckoning of the astronomers in Kashmir. This is obviously connected with some historical event. If we make a survey of the history of Kashmir during the time after Kalhaṇa, it seems to be doubtless that up to 1399, the rise of the Muhammadan sultanate of Kashmir, we cannot reckon with any historical event, which could have broken the continuity of the *Laukika*-Era of Kashmir. In itself, of course, the Muhammadan rule could not cause a break in the time-reckoning, because — as it is shown by the report of Bīrūnī — the different variants of the *Laukika-kāla* were used invariably also in the territories occupied by the Arabs. Later on, during the reign of Sikandar (1394—1416), however, an event occurred which can be brought well into connection with the break taking place in the continuity of the *Laukika*-Era in Kashmir. Sikandar expelled the brāhmaṇas from Kashmir,⁴³ and they were called back again only after several decades by Zayn al-ʿĀbidīn (he reigned from 1420 to 1470). The brāhmaṇas expelled from Kashmir could find refuge obviously just in the neighbouring territories, where that variant of the *Laukika-kāla* was in use, which differed by 1 year from that of Kashmir. The astronomer brāhmaṇas of Kashmir could adopt at this time the variant of the *Laukika*-Era, which dated the beginning of the era to 3076/75 B. C., but at the same time they continued to start the year with the month *Caitra*. When, several decades later, they returned to Kashmir on the invitation of Zayn al-ʿĀbidīn, they could take along with them already this variant of the *Laukika*-Era.

Thus for the time being, as long as eventually more recent data do not suggest another assumption, it seems to be likely that the variant of the *Laukika*-Era used in Kashmir in the 19th century was introduced in Kashmir only between 1420 and 1470, and the datings according to the *Laukika*-Era originating from earlier times than this, according to the evidence of Bīrūnī and Kalhaṇa, reflect the *Laukika-kāla* used in their age in the territory of Kashmir.

⁴³ R. C. MAJUMDAR—H. C. RAYCHAUDHURI—KALIKINKAR DATTA: *An Advanced History of India*.² London 1958. 353 foll.

V

Stone «B» (Shakoor No. 15) was found in 1926 in a place named Khazana about 4 miles from Mir Ali on the Idak--Spinwam road in the territory of the Tochi Agency. It was delivered to the museum on the 30th July 1926 by Captain H. A. Barnes, who made the following remark on the find: «There are several remains of ancient forts and buildings at Idak-Spinwam and Shertulla plain. In addition I have had coins brought to me discovered on three sites. The coins were chiefly of Azes and those of several Kushana kings, notably Kanishka I.»⁴⁴ On the stone in longitudinal direction side by side two inscriptions were engraved, *viz.* on the left side a Sanskrit inscription and on the right side a Bactrian inscription. The two inscriptions are separated from each other by a double vertical line. The left side part of the Sanskrit inscription is broken away, so that -- as this can be stated on the basis of the doubtless restoration of line 2 -- only about one half of the inscription has been preserved. Since the script of both inscriptions goes from left to right, their arrangement shows already in itself that first the Sanskrit inscription was engraved.

For the first time H. Sastri dealt with the Sanskrit inscription. Some of his readings are also mentioned by A. H. Dani.⁴⁵ A. H. Dani himself gives the reading of a great part of the preserved text and he also restores lines 1 and 2. He remarks, however, that on account of the breaking off of part of the text it is difficult to ascertain the meaning of the Sanskrit inscription in itself, but with the help of the Bactrian inscription this can be solved easily. Thus, relying on the interpretation of the Bactrian inscription given by H. Humbach and R. Göbl, he translates the Sanskrit inscription as follows: «Hail. Salutation. In the year thirty-eight, year 38, on the seventh day of the bright fortnight of the month of Bhadra. On this day . . . Navīna-chandra Phruma . . . (established?) . . . king of the family of . . . the son of Khojana (*i. e.* the Kushana).»⁴⁶

The Sanskrit inscription of stone «B» on the published photograph (see here Fig. 6) can be read considerably better than the Sanskrit inscription of stone «A». What can be deciphered on it with the help of a magnifying glass is indicated on the annexed design (Fig. 7), while the forms of characters can be studied on the table of script (Fig. 5). The surface of the stone is on certain places worn off and on other places it is chipped so that the reading of all akṣaras cannot be ascertained with complete surety. As we have already mentioned, the Sanskrit inscription of stone «B» was written in a somewhat cursive variant of the Siddhamātrkā alphabet, the vertical axis of the akṣaras is leaning by about 30 degrees to the right. The text of the inscription can be read and restored as follows:

⁴⁴ Ancient Pakistan 1 (1964) 126.

⁴⁵ Ancient Pakistan 1 (1964) 126, 130.

⁴⁶ Ancient Pakistan 1 (1964) 131.

- line 1 [oṃ śrī saṃ-va-tsa-re a-ṣṭa-triṃ-śa]-ti-ta-me saṃ-vat 38 bhā-dra-
 2 [pa-da-mā-sa-śu-kḷa-pa-ⁱṣa-sa-pta]-myāṃ su di 7 a-ttra di-va-
 3 [se pa-rja-nya-sya ve-gai-ru-da]-p^rā¹-naṃ i-na-bha-gna-hru-^rtaṃ¹
 4 [dṛ-ṣṭvā-lpa-kā-la-tvaṃa-ku-ru]-ta saṃ-yā-na-sṛ-tvā-u-da-
 5 [pā-naṃ pa-ra-me-śva-ra-va-si]-ṣṭha-ai-la-ha-ra-va-ra bho-ja ^rsa¹-pu-tra

Remarks on the reading

Line 1. Jitame saṃvat 38 Sastri. The beginning of the line is restored by Dani to oṃ na-mah. As regards the subject this is possible, thus, however, 11 akṣaras ought to be restored and this seems to be much. Thus it seems to be more likely that after oṃ only the word śrī followed.

Line 2. The restoration originates from A. H. Dani. The *su di 7* appearing in the preserved part of the line renders the restoration sure. The 6th akṣara was read by Dani as *tra*, but on the photograph we can clearly see *ttra*.

Line 3. A. H. Dani's reading was *naina candra phruma*, while Sastri read *nayana* instead of *naina* and *bhupa* instead of *phruma*. The first akṣara of the line is slightly damaged, but the U-formed body of akṣara *pā* is well discernible, and also the *ā*-mātrā starting out from the upper end of its right stroke. The next akṣara is undoubtedly *naṃ*, the dot marking the anusvāra *ṃ* above the akṣara is clearly visible. The next two akṣaras were read by Dani correctly as *i-na*. Hereafter an akṣara can be seen the form of which resembles to some extent to that of akṣara *na*, but its right side stroke does not extend so deep. Dani read this akṣara as *ca* and included it so even in his table of characters, but the akṣara *ca* is of quite different form, so that this character can by no means be read as *ca*. In the alphabet used the form of the *bha* is nearest to that of the *na*, so that this akṣara must definitely be read as *bha*. The next, compound akṣara was read by Dani as *ndra*. This reading, however, can by no means be brought in harmony with the constituent parts of the akṣara. The reading could be held uncertain also by Dani himself, because he did not even include the character in his table of script. First of all the sign of the *r* is missing from the akṣara. Then the upper part of the akṣara could perhaps be *na*, but its lower part can by no means be interpreted as *da*. Thus the reading *nda* cannot be taken into consideration either. The akṣara consists of two semicircular parts open downwards the lower one of which is linked to the right side stroke of the upper one. Thus the akṣara can have only two interpretations. If we hold the two constituent parts identical, then the resulting reading will be *nna*. We can also think, however, that the upper akṣara is a rounded off *ga* and in this case the character must be read as *gna*. In the case of the next akṣara the reading *bhu* of Sastri can by no means be taken into account. This is also a compound akṣara and the sign of the *u*-mātrā and the *r* can clearly be observed in it. Thus only the basic akṣara is questionable. Dani thought of *pha* and actually the akṣara resembles to some extent to a

pha. The difficulty of this spreading is, however, that the *pha* is usually such a U-formed character, the right side stroke of which is curving inside backwards in a narrow curve and reaching the horizontal lower stroke it forms a narrow noose.⁴⁷ Contrary to this in the case of the discussed akṣara this U-form is missing, the left side stroke is underneath bulging out to the left, the lower stroke goes downwards to the right at 45 degrees and from its end in a circular form a stroke curving outwards to the right goes out which, however, does not form a closed noose (Dani in his table of characters changes the form of the akṣara considerably). This form is characteristic of akṣara *ha*, so that the whole compound akṣara can most likely be read as *hru*. The last akṣara read by Sastri as *pa* and by Dani as *ma* is also questionable. In connection with this akṣara some difficulty is caused by the fact that it is touched by a long straight oblique line, which was made very likely at the engraving of the lines separating the Sanskrit and Bactrian inscriptions eventually by the slip of the chisel. The fact that this does not belong to the akṣara is clearly shown by the circumstance that on the one hand it extends considerably higher than it ought to, and on the other hand it is not parallel with the right side stem of the akṣara, as this ought to be in the case of *ma* or *pa*. Observing it thoroughly, we can see that the short vertical stem of the akṣara bifurcates underneath and is curving downwards (this can be observed in the form of obliterated, dark strokes) and the right side stroke extends deeper than the left one. This is on the inscription the characteristic form of the akṣara *ta*, and thus we must read the same also here.

Line 4. Dani's reading was . . . *sa ya . . . dda . . .* The first letter of the line at the edge of the break is a clearly legible *ta*. Hereafter follows the *sa* read by Dani, above which, however, even the dot marking the anusvāra *ṃ* can be seen well (between the two stems of the *naṃ* above it), thus its correct reading is *saṃ*. The next akṣara was identified by Dani also correctly as *ya*, but he did not take into consideration the *ā* mātrā starting out from its right side stem above. Thus the correct reading of the akṣara is *yā*. This is followed by a well discernible *na*, and then tightly beside this, so that the two akṣaras touch with each other above, a *sa* can be seen, which is linked underneath with a *ṛ*-mātrā, partly crossing the *o*-mātrā of the akṣara appearing under it. Thus the reading of this akṣara is *sṛ*. Now that akṣara follows, which was read by Dani as *dda*. It is doubtless that we have to do here with a compound akṣara the lower component part of which at the first glance really resembles to the *da*. Its upper constituent, however, can by no means be *da*, but can be clearly defined as the akṣara *ta*. Of course, a compound akṣara *tda* cannot come into consideration. Observing the lower constituent more thoroughly, we can state that it is by no means *da* (cf. for example with the *di* to be seen in line 2),

⁴⁷ G. BÜHLER: Indische Palaeographie. Pl. IV, 28/VII, IX—XIII.

but a small-size, stubby *va*. Thus the compound akṣara must be read as *tva*. Besides this we must also take into consideration that obviously an *ā-mātrā* starts out from the upper part of the akṣara, thus the exact reading of the akṣara is *tvā*. The penultimate akṣara is a clearly legible *u*. The last character is considerably obliterated and its reading is disturbed also by two white spots. The form of the akṣara appears in the shape of faint dark lines. The vertical stem of the character passes through the lower white spot, and then it culminates considerably to the left and from here a horizontal stroke starts out from it which is closed down by a well discernible vertical stroke. This is the characteristic form of *da* used on the inscription.

Line 5. Earlier readings are: *putra* Sastri, *kulanarapa khojana-putra* Dani. Before the first character read by Dani still another akṣara can be seen. This is U-formed above, and in its lower third part its two vertical strokes are connected by a horizontal stroke. The stone is chipped out between the two horizontal lines. Thus the upper part of the aksara can be defined as *ṣa*. Under this a slightly oval noose appears, which can be interpreted as *tha*. Thus the reading of the compound akṣara is *ṣtha*. The form of the next letter resembles to a right triangle standing with its vertex downwards. From its upper part in the form of a dark line a semicircle starts out to the left. This letter form can undoubtedly be identified as *ai*. It is absolutely incomprehensible how Dani read *ku* instead of it. The next akṣara was correctly read by Dani as *la*. The following character was interpreted by Dani as *na*. This, however, differs considerably from the form of the other akṣaras *na* occurring in the inscription. Its vertical stroke is considerably profiled, it turns outside in a quadrangular form to the left and from its end a semicircle starts out. This letter form can most likely be interpreted as *ha*, although it slightly differs from the form of the *ha* occurring in the compound akṣara *hru*, in which its vertical stroke is less profiled. The next akṣara was defined by Dani correctly as *ra*. The akṣara following this, however, can by no means be *pa*, because underneath on the left side it terminates in a vertex and above, its left side stem is curving towards the right one and almost touches the latter. As a whole the form of the akṣara corresponds accurately enough with the *va* to be read in line 1, so that another reading than *va* can hardly be taken into consideration. Hereafter Dani reads an akṣara *kho*. This reading came about so, that Dani interpreted the one-stemmed akṣara coming after *va* and also the second akṣara following the same as one character. This, however, is impossible, because the two akṣaras are not interconnected above by any horizontal stroke and their strokes do not touch each other underneath either. Thus we have undoubtedly to do not with one but with two akṣaras. Of these the first one can be read as *ra*. In the case of the second akṣara under the wedge-formed head the vertical stroke of the akṣara bifurcates and its left branch forms a wedge-shaped noose, while its right branch curves downwards. The

oblique line to be seen right of the akṣara obviously does not belong to either of the characters. On the head of the akṣara an *o*-mātrā can be seen. The form of the character as a whole corresponds with that of the akṣara *bhā* occurring in line 1 (the vowel mātrās are, of course, different), and thus here we must read definitely *bho*. The next letter was read by Dani correctly as *ja*. The akṣara following hereafter according to Dani's reading is *na*. The form of the letter really reminds of the *na*, but certain details still distinguish it from this akṣara. From its left stroke in its outer side underneath an oblique stroke extends upwards. The right stroke goes downwards at a 45 degree angle and then broken at a sharp angle extends upwards, but it reaches only to about the middle of the akṣara. It is doubtless that the akṣara in this form does not correspond to any character accurately, but at any rate it is nearest to the *sa*. Very likely the upper part of the right stem of the *sa* has been worn off on the stone and therefore it cannot be seen on the photograph.

Remarks on the interpretation of the inscription

Lines 1 and 2 of the inscription contain the dating and on the basis of the remaining part the missing part can be restored with surety. Thus from the restoration of line 2 we can conclude that 9 to 10 akṣaras are missing from each line.

In *line 3* only the word *inabhagnahrutaṃ* has been preserved in a complete form. This is a compound, the parts of which are *ina-* 'strong, mighty', *bhagna-* 'broken; break' and *hruta-* 'deviated, went aside, missed the road' (from the verb *hru-* 'diverge, go aside, deviate' etc.). Thus the meaning of the whole compound could be 'from a mighty break went aside (from its place)'. This attribute refers obviously to the noun preceding it of which only the part *pānaṃ* has been preserved. The fact that this form cannot be a complete word is clearly shown by the circumstance that if we identify it either with the word *pāna-* 'drinking, drink' or with the word *pāna-* 'protection', the attribute *inabhagnahrutaṃ* does not fit any of them. On the other hand, if we take into consideration that at the end of line 4 the word *uda-* can be read, which may stand there either as the first or the last part of a compound word, but has the meaning 'water' in any case and thus it shows that we have to do with «water» in the inscription, it is obvious to restore the form *pānaṃ* to [*uda*]pānaṃ. The meaning of the word *udapāna-* is 'water-reservoir, well' and it appears frequently in inscriptions commemorating its construction or repair.⁴⁸ The attribute *inabhagnahrutaṃ* will receive a meaning as soon as we correlate it with the word *udapānaṃ* in as much as the whole phrase can be read as follows: «the water-reservoir inundated from the mighty break (of dam)». This phrase points to the fact that the inscription reported first on the damage of the water-reservoir. It is obvious that later on the inscription de-

⁴⁸ H. LÜDERS: Mathurā Inscriptions. Göttingen 1961. 99, 135.

scribed also the reconstruction of the water-reservoir. Therefore it seems to be very likely that the word *udapāna-* occurred again in the inscription. Taking this into consideration it is obvious to restore the word *uda-* occurring at the end of line 3 as *uda[pānam]*. We can still mention that instead of the reading *inabhagnahrutaṃ* we can eventually read also *ina^rbhi^lnnahrutaṃ*, if we presume that in akṣara *bhi* the *i-mātrā* is worn off from the stone. This does not change the meaning of the compound at all, since the word *bhinna-*, as we have seen above, is also used to express the bursting of a dam.

On the basis of the above line 3 can be restored as follows: [*se letters 6—7 u-da*]-*pā-naṃ* etc. On the basis of the inscriptions of similar subject it is obvious to restore between the initial formula and the word *udapānaṃ* some phrase referring to the cause and circumstances of the damage of the water reservoir. Besides the above quoted passage of the Junagarh inscription of Skandagupta we can also refer to that part of the Junagarh inscription of Rudradāman, which describes the causes of the bursting of the dam of Lake Sudarśana. In this we find among others also the following passage:

line 6 *palāśinīprabhṛtīnāṃ nadīnāṃ atimātrodvṛttairvegaiḥ . . .*

«by the excessive destructive power of the rivers carrying along trees».

A phrase similar to this, but naturally more simple and shorter, could stand also in the inscription under discussion before the word *udapānaṃ*. On the basis of the phrases occurring in the Junagarh inscription of Rudradāman, we could think most probably of the following restorations: *sr̥ṣṭavr̥ṣ.inā parjanyaena* «by the rainfall of pouring rain»⁴⁹ or *nadīnāṃ vegaiḥ* «by the power of the rivers» or *parjanyaṣya vegaiḥ* «by the power of the rainfall» etc. Of these the latter one occupies just the space corresponding to akṣaras 6—7, and therefore we can restore line 3 with this phrase at a high probability.

From the viewpoint of the further restoration of the inscription it is important to clarify the question with what syntactic structure we can count in the part beginning with line 3. From this point of view the syntactic function of the word *udapānaṃ* is of decisive importance. With regard to its form this compound could be masculine accusative or neuter nominative and accusative. It will be decided by the gender of the word *udapāna-* which of the two possibilities can be taken into consideration. In the Mathurā inscriptions the nominative of the word appears once in the form *udapāno* and at another time in the form *udapānaṃ*⁵⁰, which could point to the possibility that it was used in masculine as well as in neuter. The form *udapānaṃ*, however, cannot be regarded as sure. On the published photograph of the squeeze⁵¹ not one, but two dots can be seen above the akṣara *na*. These two dots are arranged in equal height above the akṣara and can be regarded without any difficulty as

⁴⁹ Cp. line 5 of the Junagarh inscription of Rudradānam.

⁵⁰ H. LÜDERS: Mathurā Inscriptions. No. 64 and No. 98.

⁵¹ H. LÜDERS: Mathurā Inscriptions. 296, Fig. §98.

the remainders of the *o-mātrā*. Thus it can hardly be doubted that also in this case the correct form is *udapāno* and thus the use of the word in masculine seems to be exclusive. On the basis of this the form *udapānam* can be regarded at a high probability as masculine accusative also in the inscription under discussion and as a consequence of this we can reckon with an active construction in the passage beginning with line 3.

This conclusion is in good agreement with the last line of the inscription the remaining part of which]*ṣṭha ailaravarabhoja saputra* obviously contains the name and title of the restorer of the water-reservoir. The fragment *-ṣṭha* is very likely the termination of a superlative adjective, like *vasiṣṭha-* 'bravest', *variṣṭha-* 'most eminent' etc. The next words, viz.: *aila-* 'giver of refreshing drink', *hara-* 'mighty, of destructive strength', *vara-* 'most eminent', are also fitting well as epithets among the titles of a ruler or a high dignitary. The name of the restorer is obviously *Bhoja*, as this is indicated by the subsequent phrase *saputra* 'together with his son'. Thus the remaining part of line 5 can be interpreted as follows: «the [brav]est, giver of refreshing drink, mighty, most eminent Bhoja together with his son». Since this phrase stands in nominative, only an active or middle predicate can belong to it and the word *udapāna-* must really stand in accusative.

If we observe the attributes of Bhoja, it is striking that there is no actual dignitary name among them, although the long enumeration of attributes in comparison to the shortness of the inscription renders it doubtless that Bhoja was some significant personality and had a high office. For this reason we must presume that in the broken off part of the line before the word [*vasi*]-*ṣṭha* still a dignitary name must have stood. We can think of the following titles of rulers: *mahārājan-*, *adhīrājan-*, *rājatīrājan-*, *parameśvara-* etc., or some other dignitary name. Since in the beginning of the line in all probability [*pānam* . . . has to be restored, and before the akṣara *ṣṭha* still at least 2 letters could have stood, thus taking into consideration that from line 5 also otherwise more has been preserved on the stone than from the other lines, it can be held doubtless that between the words *uda[pānam* and *vasi]ṣṭha* there was space at the most only for 4 or 5 akṣaras. This is filled up by any dignitary name and thus it is evident that the predicate could not stand in line 5, but only in line 4.

In line 4 before the word *uda* the form *saṃyānastīvā* can be read. This is a compound word and it must be obviously the attribute of the word *udapāna-*. However, the termination of the word can only be explained with difficulty. The second element of the compound is undoubtedly the word *s tvan-* 'flowing, running, hurrying' and beside the form *uda[pānam* this ought to appear as an attribute in the form *saṃyānasītvānam* and as an attributive compound in the form *saṃyānasītvoda[pānam*, instead of this, however, we find the masculine nominative form *saṃyānasītvā*. In fact we could think that instead of

uda[*pānam* we could restore the form *uda*[*pāno* in the last line. But, on the one hand, we ought to expect the form *saṃyanasṛtvoda*[*pāno* also in this case, which would not solve the actual problem, and on the other hand we ought to count with a double anakoluthia within three lines, which is rather unlikely. Thus we can most probably suppose that the scribe preparing the inscription interpreted the *o* as a *pluta* vowel and thus in accordance with this he wrote it with the orthography *ā-u*.

The interpretation of the word *saṃyāna-* in the given context is rather difficult. The meaning of the word is very diversified, *viz.:* 'mould, bricks, going together, travelling, start, means of travelling' *etc.* Of these meanings in correlation with *udapāna-* perhaps the first one could be taken into consideration at the highest probability. In this case the word *saṃyāna-* could mean the bed of the water-reservoir, which in the course of the reconstruction was strengthened with bricks or stones and shaped into the «mould» of the tank. If this interpretation of the word *saṃyāna-* is correct in the given context, then the phrase *saṃyānasṛtvāḥuda*[*pānam* can be translated as follows: «the water-reservoir flowing in bed (paved with stone)».

In line 4 before the word *saṃyānasṛtvā* still an akṣara *ta* can be read. Since we have to look for the predicate in line 4, the beginning of which could have been occupied still by the end of the sentence started in line 3, the word from which this letter has been preserved, can hardly be anything else than the predicate sought for. The termination *-ta* could be either the passive past participle or the middle preterit form of a verb. However, as we have seen above, we must undoubtedly presume an active construction in the sentence, and thus the first possibility can be left out of account. Considering that in the inscriptions the forms of the verb *kar-* are used in the meaning 'to cause to prepare, to cause to make' in general it is obvious to restore the fragment]*ta* as the form *akuru]**ta* 'caused to be made, caused to be prepared'. Thus the translation of lines 3 and 4 could be as follows: « . . . the great king, the bravest, the giver of refreshing water, the mighty one, the most eminent Bhoja together with his son caused to prepare a water-reservoir flowing in a bed (paved with stone).»

The predicate *akuru]**ta* satisfies well the syntactic requirements of lines 4 and 5, but does not explain the accusative *uda*[*pānam inabhagnahrutam* to be read in line 3, since this can by no means depend on this predicate. Thus we can only think that in line 4 before the verbal form *akuru]**ta* there must have been also another verbal form, to which the phrase in question was subordinated. For the restoration of this passage of the inscription a good parallel is rendered by one of the Mathurā inscriptions.⁵² In this after the introduc-

⁵² H. LÜDERS: Mathurā Inscriptions. No. 99.

tory part describing the earlier history of the *devakula* we can read the following:

- line 3] . . . 'ta'ta'sca deva'kulam bha'gnapatitavi'sir'nam dṛ'sya ma'ha' [tā dhanaughena devakulam . . .]
 4 . . .] 'mahār'āja'rājā'tir'ājade'vapu[trasya] Huvīṣkasya āyuba'lavṛddhya'rtha cakkre[. . .]
 5 . . . mahāda]ṇḍanāyaka . . .

On the reading and restoration of the inscription we can remark the following. In line 3 the fragment *ma'ha'*[, of course, could be restored also as the form *ma'hā'*[*rājasya* or the complete title of Huvīṣka and in this case we could presume the word *pratimā* 'image, statue' as possession to the genitive, which definitely must have appeared in the inscription, which is carved into the base of a statue. It is, however, unlikely that in the same sentence the name and titles of Huvīṣka would have appeared twice. Thus we can think at the most that the word *pratimā* stood without a genitive and with a separate predicate between the phrase *mahatā dhanaughena* and the word *devakulam*. In this case the passage would be run as follows: *maha[tā dhanaughena pratimām pratyasthāpayat devakulamca] . . . cakkre*. Another possibility would be to insert the phrase *pratimām pratyasthāpayat* in the text after the verbal form *cakkre*. For the fact that the name and titles of the person represented by the statue are not repeated once more, if these have occurred already once in the context of the sentence, a good example is rendered by the Dalpat-ki-Khirki Mohalla inscription originating from the 14th year of Kaniṣka, the parallel passage of which runs as follows: . . . *Samghilā bhagavāto Pitāmāhāsya samṃyasaṃbuddhasya svamatasya devasya pūjārtham pratimām pratiṣṭhāpayati* «Samghilā in honour of the saint Pitāmaha, the Most Fully Enlightened One, the god preaching his own teaching causes the image to be erected». ⁵³ In connection with the reading of the inscription we must still remark that H. Lüders read in line 4 the form *cakkra* and in connection with the next akṣara he thought of the reading *ma*. The latter reading is, however, entirely uncertain and the verbal form 'caṃ'kkra'ma'[te or 'caṃ'kkra'mi'[ti to be restored thus, would not have any meaning in the context, because in this passage obviously a verbal form meaning 'caused to be made' must stand. Of the two photographs of squeezes published the lower one ⁵⁴ shows the reading *kkre* possible and thus we can very likely count in the context with the verbal form *cakre* as a restoration fitting in this passage.

On the basis of the afore-said the quoted passage can be interpreted as follows:

⁵³ H. LÜDERS: Mathurā Inscriptions. No. 81.

⁵⁴ H. LÜDERS: Mathurā Inscriptions. 297.

«And later seeing that the sanctuary broke in, collapsed and is in a ruined state, at a high expenditure the sanctuary . . .
 caused to be repaired for the increase of the life and power of the great king, the king of kings, the son of god, Huviṣka . . .
 . . .the commander in chief of the army . . .»

As we can see, the syntactic construction of this part of this inscription is very near to that of the inscription discussed by us, so that on the basis of this it is very likely that also in this we can restore the absolutive *drśya* or *drṣtvā* at the beginning of line 3. In this case only a space for 4 or 5 akṣaras will remain between the words *drṣtvā* and *akuruta*, so that we can restore here some adverb at the most. The word *alpakālatvaṃ* recommended is, of course, only one of the numerous possibilities (*tvarayā*, *ātvarayā*, etc.).

On the basis of these remarks we can give the following interpretation to the inscription:

- Line 1 [«Bliss! In the thirty-eight]th year, in the 38th year
 2 [on the seven]th [of the bright fortnight of the month] Bhādra[pa-
 da], on the 7th d(ay) of the bri(ght fortnight), on this day
 3 [seeing the water]-reservoir flooded [from the strength of the rainfall]
 with mighty bursting of dam
 4 [in a short time caused to build] in (paved) bed flowing water-
 5 [reservoir the great king, the brav]est, the giver of refreshing drink,
 the mighty one, the most eminent Bhoja together with his son.»

VI

In connection with the inscription still two further problems arise. One of them is the question of dating. If we presume that the era used in the inscription is the same variant of the *Laukika-kāla*, which was used in the Sanskrit inscription of stone «A», then the 38th year of the *Laukika*-Era, the 7th day of the bright fortnight of the month Bhādrapada corresponds to Saturday, the 4th September 863. The second problem is the identification of the person named Bhoja causing the reconstruction of the water-reservoir, in whom we must see in all events a significant ruler on the basis of his strikingly numerous titles as compared with the shortness of the inscription. The name Bhoja occurs rather frequently in the History of India, but in the 9th century we know only of one Bhoja, whose name can appear on an inscription in this region and this is Bhoja I, one of the most significant rulers of the Pratihāra dynasty, who held Kanauj firmly in his hands already as from 836.⁵⁵ Bhoja, who also appears under the names Mihira, Ādivarāha, Prabhāsa, is mentioned in the inscriptions of Deogarh (from 862 A. D.), Gwalior (from 876

⁵⁵ See R. C. MAJUMDAR—H. C. RAYCHAUDHURI—KALIKINKAR DATTA: An Advanced History of India. 170.

A. D.) and Pehoa (from 882—883 A. D.) On the basis of this his reign is dated to the years between 836 and 890.⁵⁶

In the year of the preparation of the inscription Mihira Bhoja was already the ruler of a mighty empire. On the Deogarh inscription originating from the year 862 he bears the title *paramēśvara*, this is why we restored line 5 of the inscription with this title. One of the historical reports of the *Rājatarāṅgiṇī* also elucidates how the name of Bhoja can appear on the inscription found in the region of Idak—Spinwam. According to Kalhaṇa's report Śaṃkaravarman, king of Kashmir between 883 and 902, led a warfare against Alakhāna, ruler of Gurjara situated between the Jhelum and the Chenab. The warfare brought victory for Śaṃkaravarman, who thus succeeded to get hold of the already mentioned *Takka-deśa*, which by this was drawn out from the rule of Bhoja, the chief king (*adhīrāja*)⁵⁷. This datum of the narrative clearly shows that Alakhāna, as ruler of Gurjara, was in fact a satellite of Mihira Bhoja. But Kalhaṇa also tells that in the fight against Śaṃkaravarman, Alakhāna was helped by Lalliya Śāhi, the ruler of Udabhāṇḍa, against whom the king of Kashmir could not have any success, although he would have liked to put him under his own regime.⁵⁸ The role of Lalliya Śāhi in the war between Alakhāna and Śaṃkaravarman shows that he belonged to the same power grouping as Alakhāna, and thus he was probably also the vassal of Mihira Bhoja. Lalliya Śāhi was the founder of the Hindu Śāhi dynasty of Udabhāṇḍapura. The story of his accession is known from the report of Birūnī. According to this Lalliya (in Birūnī *klr*, read *lly*, as this was recommended first by Ch. Seybold⁵⁹) was the Minister of Lagā-Tūrmān (*lg'twrm'n* = ? **Laghu Toramāna* 'Heedless Toramāna'), the last ruler of the Turk Śāhi dynasty, who on the side of the evil-minded king acquired great power and influence, and finally he had Lagā-Tūrmān imprisoned and occupied the throne himself.⁶⁰ Taking into consideration that Lalliya later on, in the beginning of the reign of Śaṃkaravarman, that is about the years 883—885, was the vassal of Mihira Bhoja and participated in the repulsion of the Kashmiri attack on his side, it is obvious to suppose that this vassal relation dates back still to the time, when there was a need for the consolidation of his reign and that his accession to the throne was carried out in fact with the help of Mihira Bhoja.⁶¹

⁵⁶ B. PRAKASH: India as described by a Tenth Century Persian Geographer. Summaries of Papers. 78.

⁵⁷ M. A. STEIN: Zur Geschichte der Čāhis von Kābul. Festgruss an Rudolf von Roth. Stuttgart 1893. 6 ff. (lithographic print), as well as Kalhaṇa's *Rājatarāṅgiṇī*. I. 205 ff., II. 336. ff.

⁵⁸ M. A. STEIN: Kalhaṇa's *Rājatarāṅgiṇī*. I. 206.

⁵⁹ CH. SEYBOLD: ZDMG 48 (1894) 700.

⁶⁰ Birūnī: op. cit. 361.

⁶¹ Already B. PRAKASH: *loc. cit.* thought of the possibility that the coming into power of the Hindu Śāhi dynasty in Udabhāṇḍapura is connected with the occupations and expansion of the Pratiharas in Punjab.

This event must have taken place much before the 880-s, because in 897 already Kamaluka reigned in Udabhāṇḍapura,⁶² who was preceded on the throne even by Sāmanta. It seems to be likely, therefore, that Lalliya Śāhi must have died soon after the warfare of Śaṃkaravarman. Thus the beginning of his reign must be dated at least around the year 860, because two decades were surely needed by Lalliya Śāhi to consolidate his rule and to regain the power and authority of the kingdom of Udabhāṇḍapura. Thus the coming into power of Lalliya Śāhi and simultaneously with this the expansion of the power of Mihira Bhoja can be dated to the years in the neighbourhood of 860. The vassal dependence of the rulers of Udabhāṇḍapura from the Pratihāra kings of Kanauj lasted to the end of the 9th century, when the Hindu Śāhi dynasty for a time became the vassal of the kings of Kashmir. In the twenties of the 10th century, however, the rulers of Kanauj restored their supremacy over the kingdom of Udabhāṇḍa and maintained it up to its fall in the 11th century. This is clearly testified by the report of the Ḥudūd al-‘Ālam on Udabhāṇḍa, viz.: «Vayhind (= Udabhāṇḍa), a large town. Its king Jaypāl is under the orders (of the raja) of Qinnauj. In it live a few Muslims, and the Hindūstān merchandise, such as musk, precious things, and precious stuffs, mostly come to this country.»⁶³

This historical picture is now completed by the Sanskrit inscription of stone «B» with very interesting new details. From its text it becomes clear that the territory of Idak-Spinwam in 863 as part of the Udabhāṇḍa kingdom belonged already under the regime of Mihira Bhoja, who rendered help to the reconstruction of a damaged water-reservoir in that territory. According to later sources the power of the rulers of Udabhāṇḍa extended from Lamghān to the Chenāb and from the southern border of Kashmir to the limits of the properties of the Amīr of Mūltān.⁶⁴ The territory of Idak and Spinwam was obviously a border region between the kingdom of Udabhāṇḍa and the territories under Arab regime. Under the weak last ruler of the Turk Śāhi dynasty of Udabhāṇḍa the Arabs extended their rule also over the Tochi valley. This is clearly shown by the Arabic inscription of stone «A», according to which in 857 in this region an Arab official had built or reconstructed a water-reservoir. When, however, Lalliya Śāhi came into power, who by the recognition of the supremacy of Mihira Bhoja consolidated his position very soon, the kingdom of Udabhāṇḍa regained the territory of Idak and Spinwam about 860 with the help of the Pratihāra ruler. For the development of the agricultural production of the area Mihira Bhoja rendered help in the form of reconstruction of water-reservoirs which is eternized by the Sanskrit inscription of stone «B».

⁶² See J. MARQUART: *Ērānšahr*. 296 foll.

⁶³ V. MINORSKY: *Hudūd al-‘Ālam*. 92.

⁶⁴ V. MINORSKY: *op. cit.* 254.

Thus the three inscriptions discussed so far reveal quite different historical relationships from those thought by the publishers. A. H. Dani thought that the inscriptions prove the definitive consolidation of the Arab rule in the territory of Idak-Spinwam from the year 857. In reality just the opposite has turned out. In this area the Arab rule was only of transitional character. As a result of the defectiveness of the sources for the time being it is difficult to state exactly when the Arabs extended their power over the territory of Idak-Spinwam. According to the report of Balādūrī al-Muhallab bn Abū Ṣufra led a predatory expedition already under the reign of Mu'āwiya in 664/5 (44 H.) against *bnh* and 'lhw'r «which are situated between Mūltān and Kābul». ⁶⁵ The identification of the two place-names is disputed. J. Marquart identifies *bnh* with *Fa-la-na* of Hiūan-tsang and looks for it far to the south of the area of Idak-Spinwam, in the region of the Bholan mountain pass. ⁶⁶ This definition can well be adjusted with the fact that Balādūrī in his report on the warfare mentions the province of Qīqān, which can definitely be looked for in the above-mentioned region. Thus, however, the geographical definition will be in contradiction with the datum, according to which *bnh* and 'lhw'r are situated between Mūltān and Kābul. We could eventually think that the narrative of Balādūrī deals in fact with two clashes, one of which took place at *bnh* and the other in the province of Qīqān. In this case it would be possible to identify *bnh* (**Banna*) with Bannu, which is really situated between Mūltān and Kābul. ⁶⁷ If this identification is correct, then we can count with the transitory appearance of the Arabs in the area of Bannu and thus in the region of Idak and Spinwam already in the 7th century.

According to another report of Balādūrī and Ya'qūbī under the caliph Maṣṣūr (754—775) the governor of Sind, Hīšām bn 'Amr al-Taḡlibī, launched an attack against 'lqndh'r navigating upwards in the river Indus. ⁶⁸ It is a general custom to identify the place-name 'lqndh'r (**Qandhār*) with the province *Gandhāra*, although it is not absolutely sure, whether the name **Qandhār* refers to the capital Udabhāṇḍapura. ⁶⁹ At any rate it seems to be likely that the more southern territories of the kingdom of Udabhāṇḍa, thus also the regions of Idak, Spinwam and Bannu came under Arab rule only at this time or hereafter. Thus we can reckon with Arab administration in this region only as from the end of the 8th century, and as it is proved by the Arabic inscription of stone «A», the Arab regime existed in this area at any rate up to 857.

⁶⁵ J. MARQUART: *Ērānšahr*. 273.

⁶⁶ J. MARQUART: *op. cit.* 274—277.

⁶⁷ As this has already been assumed by M. REINAUD: *Mémoire géographique, historique et scientifique sur l'Inde*. Paris 1849. 109 foll. 176.

⁶⁸ J. MARQUART: *Ērānšahr*. 271.

⁶⁹ J. MARQUART: *loc. cit.*; V. MINORSKY: *Hudūd al 'Ālam*. 254.

It is not difficult to recognize those historical reasons, which led to the end of the Arab regime in the region of Idak—Spinwam. In the Eastern Iranian main territory of the Arab rule, in Siyistān started those disturbances and fights about 850, which led to the elevation of the Ṣaffarids. Ya'qūb bn Layt aṣ-Ṣaffar gained the rule over Siyistān already in 861.⁷⁰ As a result of these struggles, however, the Arab rule was considerably shaken in the territories of Eastern Iran and Western India, as this is shown just by those warfares, which had to be led against these territories by Ya'qūb and after his death by his brother, 'Amr bn Layt, for the restoration of their regime between 868 and 897. It is obvious to think that the perturbation of the Arab rule as from 850 was exploited by the Pratihāra ruler, Mihira Bhoja, and his vassal, Lalliya Śāhi, king of Udabhāṇḍapura, to liberate the region of Bannu, Idak and Spinwam and eventually also other territories, from the Arab rule. Since neither the warfares of Ya'qūb, nor those of 'Amr affected the territory of India, it is evident that the region of Idak and Spinwam remained under the regime of the ruler of Udabhāṇḍapura also after 863.

From the above analysis it also becomes clear that the Turk and then Hindu Śāhi rulers of Udabhāṇḍapura in the period under discussion cannot be identified either with the Kābul-śahs, or with the rulers of Zābulistan. The latter fell victims to the wars of conquest of the Ṣaffarids during the 9th century and had been in vassal dependence already earlier. The rulers of Udabhāṇḍapura, on the other hand, have never been under Arab supremacy and as from the 860-s with the support of the Pratihāra kings, as their vassals, played the role of the bulwark of India against foreign occupation, up to their fall in the 11th century.

⁷⁰ See W. BARTHOLD: *Turkestan down to the Mongol Invasion*. London 1928. 216.

I N D E X

<i>R. Ghirshman</i> : Délégation archéologique française en Iran. Campagne de l'hiver 1965/1966	249
<i>J. Harmatta</i> : The Bisitun Inscription and the Introduction of the Old Persian Cuneiform Script	255
<i>D. Hegyi</i> : The Historical Background of the Ionian Revolt	285
<i>Á. Szabó</i> : Theaitetos und das Problem der Irrationalität in der griechischen Mathematikgeschichte	303
<i>E. Maróti</i> : <i>Currus Achaicus</i>	359
<i>Г. Пузис</i> : Вопросы римского романа «Сатирикон»	371
<i>A. Mócsy</i> : Die Unkenntnis des Lebensalters im Römischen Reich	387
<i>J. Harmatta</i> : New Evidences for the History of Early Medieval Northwestern India ..	423

Printed in Hungary

A kiadásért felel az Akadémiai Kiadó igazgatója

Műszaki szerkesztő: Farkas Sándor

A kézirat nyomdába érkezett: 1966. IX. 12. — Terjedelem: 18,75 (A/5) ív, 10 ábra, 1 melléklet

66.62883 Akadémiai Nyomda, Budapest — Felelős vezető: Bernát György

Sklaverei und Humanität

Studien zur antiken Sklaverei und ihrer Erforschung

Von JOSEPH VOGT

Historia-Einzelschriften Nr. 8. 1965. VIII, 129 Seiten, brosch. DM 22,—

Der Tübinger Althistoriker hat an der Erforschung der antiken Sklaverei entscheidenden Anteil. Seine vorliegenden Studien behandeln das Problem der antiken Humanität und führen zur Beantwortung der vieldiskutierten Frage, wieweit die antike Kultur auf der Sklaverei beruhte.

Die Sklaverei im mykenischen und homerischen Griechenland

Von J. A. LENCMAN

Aus dem Russischen übersetzt von Maria Bräuer-Pospelova
Herausgegeben von H. Bräuer und Joseph Vogt

1966. XII, 332 Seiten, Ln. DM 48,—

Dieser Band eröffnet eine Reihe von Monographien, die von der Akademie der Wissenschaften der UdSSR geplant sind und die die gesamte Geschichte der antiken Sklaverei behandeln sollen. Als Forschungsergebnis des sowjetischen Marxismus verdient das Werk des russischen Gelehrten genaue Kenntnisnahme und kritische Prüfung.

Freigelassene und Sklaven im Dienst der römischen Kaiser

Von HEINRICH CHANTRAINE

Ca. 400 Seiten, brosch. ca. DM 66,—

Das vorliegende Werk wertet epigraphische und Papyrustexte aus, um zu einer Bezeichnungsweise der Freigelassenen und Sklaven in ihrer Funktion als Kassenverwalter, Steuereintreiber, Kanzlist, Arzt, Domänenverwalter usw. zu gelangen. Von hier ergeben sich wichtige Aufschlüsse über Beförderungschancen der Sklaven, Vermögensverhältnisse, Altersversorgung und ihr soziales Ansehen ganz allgemein.

Zu beziehen durch Ihre Buchhandlung · Prospekte durch den Verlag

MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ

(Bulletin of Fine Arts)

A periodical of the Hungarian Academy of Sciences

Editor in chief: Dr. G. Ö. POGÁNY, Director General of the Hungarian National Gallery

Editorial Board: NÓRA ARADI, Assistant Professor, Department of Arts, Eötvös Loránd University, Budapest

Dr. DEZSŐ DERCSÉNYI, Director in Charge of the Scientific Work at the National Board for Art Relics, Honorary University Lecturer

Dr. KLÁRA GARAS, Director-general of the Budapest Museum of Fine Arts

Dr. TIBOR HORVÁTH, Director of the Budapest Museum of East Asian Art

Dr. LAJOS VAYER, Professor and Head of Department of Arts, Eötvös Loránd University, Budapest

MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ contains the following sections in each copy: "Studies", "Research", "Documentation", "Book Reviews", "Debate" as well as a subject and author index for each volume, the bibliography of the literature of the Hungarian history of arts, together with a review of the most prominent foreign periodicals dealing with fine arts.

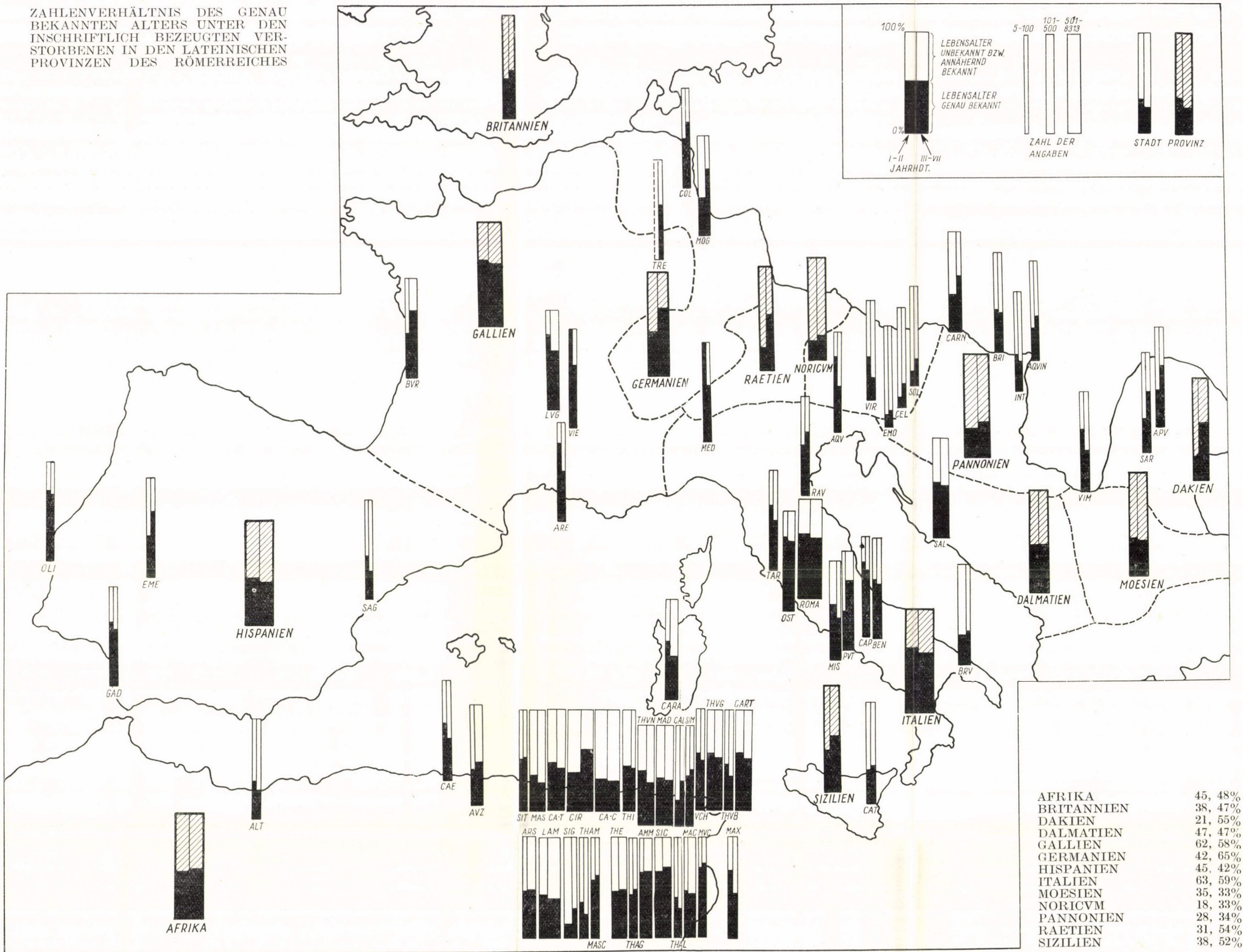
MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ deals with the research work conducted in the field of universal and Hungarian history of art, treating the periods from the early middle ages up to the present day. Contributions dealing with modern arts, especially those discussing the immediate preliminaries of present-day artistic trends will be given preference so as to serve the purpose of further research.

MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ is published in Hungarian with summaries in foreign languages. It is issued four times a year making up a volume of some 320 pages. Size: 21 × 30 cm.

Distributors: KULTURA Budapest 62, P.O. Box 149

Editorial Office: Budapest V., Kossuth Lajos tér 12.

ZAHLENVERHÄLTNIS DES GENAU BEKANNTEN ALTERS UNTER DEN INSCRIFTLICH BEZEUGTEN VERSTORBENEN IN DEN LATEINISCHEN PROVINZEN DES RÖMERREICHES



ALTAVA	38, 30
AMMAEDARA	66, 66
APVLVM	38, 62
AQVILEIA	75, 47
AQVINCVM	34, 46
ARELATE	80, 52
ARSACAL	46, 47
AVZIA	35, 47
BENEVENTVM	58, 54
BRIGETIO	43, 41
BRVNDISIVM	30, 33
BVRDIGALA	45, 68
CAST; CELTIANVM	31, 29

CAESAREA	56, 42
CALAMA	27, 45
CAPVA	75, 65
CARALES	59, 43
CARNVNTVM	34, 58
CARTHAGO	57, 51
CAST. TIDDITANORVM	46, 42
CATINA	34, 39
CELEIA	12, 24
CIRTA (III COLONIAE)	39, 60
COLONIA CL. AGRIPP.	50, 67
EMERITA AVGVSTA	42, 66
EMONA	14, 17

GADES	65, 58
INTERCISA	37, 31
LAMBAESIS	44, 40
LVGDVNVM	78, 54
MACTAR	47, 44
MADAVRVS	48, 46
MASCVLVLA	58, 63
MASTAR	35, 29
MAXVLA	67, 43
MEDIOLANVM	100, 56
MISENVN	54, 44
MOGONTIACVM	38, 67
MVSTIS	69, 74
OLISIPO	71, 67

OSTIA	73, 69
PVTEOLI	69, 39
RAVENNA	51, 64
ROMA	64, 59
SAGVNTVM	44, 29
SALONAE	55, 52
SARMIZEGETHUSA	33, 61
SICCA VENERIA, VCVBI	70, 66
SIGVS	13, 30
SIMITHV	51, 58
SITIFIS	50, 52
SOLVA	16, 29
TARQVINII	34, 49

THAGASTE	43, 49
THALA	30, 40
THAMVGADI	36, 25
THEVESTE	47, 49
THIBILIS	44, 43
THVBRSICVM BVRE	45, 34
THVBRSICVM NVMID.	54, 43
THVGGA	56, 53
TREVIRI	? 55
VCHI MAIVS	56, 49
VIENNA	100, 64
VIMINACIUM	63, 42
VIRVNVM	44, 23

The *Acta Antiqua* publish papers on classical philology in English, German, French, Russian and Latin.

The *Acta Antiqua* appear in parts of varying size, making up volumes.

Manuscripts should be addressed to:

Acta Antiqua, Budapest 502, Postafiók 21.

Correspondence with the editors or publishers should be sent to the same address.

The rate of subscription to the *Acta Antiqua* is 110 forints a volume. Orders may be placed with "Kultúra" Foreign Trade Company for Books and Newspapers (Budapest I., Fő utca 32. Account N° 43-790-057-181) or with representatives abroad.

Les *Acta Antiqua* paraissent en français, allemand, anglais, russe et latin et publient des travaux du domaine de la philologie classique.

Les *Acta Antiqua* sont publiés sous forme de fascicules qui seront réunis en volumes.

On est prié d'envoyer les manuscrits destinés à la rédaction à l'adresse suivante:

Acta Antiqua, Budapest 502, Postafiók 21.

Toute correspondance doit être envoyée à cette même adresse.

Le prix de l'abonnement est de 110 forints par volume.

On peut s'abonner à l'Entreprise pour le Commerce Extérieur de Livres et Journaux «Kultúra» (Budapest I., Fő utca 32. Compte-courant No 43-790-057-181) ou à l'étranger chez tous les représentants ou dépositaires.

«*Acta Antiqua*» публикуют трактаты из области классической филологии на русском, немецком, французском, английском и латинском языках.

«*Acta Antiqua*» выходят отдельными выпусками разного объема. Несколько выпусков составляют один том.

Предназначенные для публикации рукописи следует направлять по адресу:

Acta Antiqua, Budapest 502, Postafiók 21.

По этому же адресу направлять всякую корреспонденцию для редакции и администрации.

Подписная цена «*Acta Antiqua*» — 110 форинтов за том. Заказы принимает предприятие по внешней торговле книг и газет «Kultúra» (Budapest I., Fő utca 32. Текущий счет № 43-790-057-181), или его заграничные представительства и уполномоченные.

Reviews of the Hungarian Academy of Sciences are obtainable
at the following addresses:

ALBANIA

Ndermarja Shtetnore e Botimeve
Tirana

AUSTRALIA

A. Keesing
Box 4886, GPO
Sydney

AUSTRIA

Globus Buchvertrieb
Salzgries 16
Wien I.

BELGIUM

Office International de Librairie
30, Avenue Marnix
Bruxelles 5
Du Monde Entier
5, Place St. Jean
Bruxelles

BULGARIA

Raznoiznos
1 Tzar Assen
Sofia

CANADA

Pannonia Books
2 Spadina Road
Toronto 4, Ont.

CHINA

Waiwen Shudian
Peking
P. O. B. 88.

CZECHOSLOVAKIA

Artia
Ve Smeckách 30
Praha 2
Postova Novinova Sluzba
Dovoz tisku
Vinohradská 46
Praha 2
Madarská Kultura
Václavské nám. 2.
Praha I
Postova Novinova Sluzba
Dovoz tlace
Leningradska 14
Bratislava

DENMARK

Ejnar Munksgaard
Nørregade 6
Copenhagen

FINLAND

Akateeminen Kirjakauppa
Keskuskatu 2
Helsinki

FRANCE

Office International de Documentation
et Librairie
48, rue Gay Lussac
Paris 5

GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC

Deutscher Buch-Export und Import
Leninstraße 16.
Leipzig 70I
Zeitungsvertriebsamt
Clara Zetkin Straße 62.
Berlin N. W.

GERMAN FEDERAL REPUBLIC

Kunst und Wissen
Erich Bieber
Postfach 46
7 Stuttgart 5.

GREAT BRITAIN

Collet's Holdings Ltd.
Dennington Estate
London Rd.
Wellingborough, Northamps.
Robert Maxwell and Co. Ltd.
Waynflete Bldg. The Plain
Oxford

HOLLAND

Swetz and Zeitlinger
Keizersgracht 471—487
Amsterdam C
Martinus Nijhof
Lange Voorhout 9
The Hague

INDIA

Current Technical Literature
Co. Private Ltd.
India House OPP.
GPO Post Box 1374
Bombay I.

ITALY

Santo Vansia
Via M. Macchi 71
Milano
Libreria Commissionaria Sansoni
Via La Marmora 45
Firenze

JAPAN

Nauka Ltd.
92. Ikebukuro O-Higashi 1-chome
Toshima-ku
Tokyo
Maruzen and Co. Ltd.
P. O. Box 605
Tokyo-Central
Far Eastern Booksellers
Kanda P. O. Box 72
Tokyo

KOREA

Chulpanmul
Phenjan

NORWAY

Johan Grundt Tanum
Karl Johansgatan 43
Oslo

POLAND

RUCH
ul. Wilcza 46.
Warszawa

ROUMANIA

Cartimex
Str. Aristide Briand 14—18.
Bucuresti

SOVIET UNION

Mezhdunarodnaja Kniga
Moscow G—200

SWEDEN

Almquist and Wiksell
Gamla Brogatan 26
Stockholm

USA

Stechert Hafner Inc.
31 East 10th Street
New York, N. Y. 1003
Walter J. Johnson
111 Fifth Avenue
New York, N. Y. 1003

VIETNAM

Xunhasaba
19, Tran Quoc Toan
Hanoi

YUGOSLAVIA

Forum
Vojvode Misica broj 1.
Novi Sad
Jugoslovenska Knjiga
Terazije 27.
Beograd